

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВИКТОР ГЮГО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 15 ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

ВИКТОР ГЮГО

ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ



ДЕЛА И РЕЧИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

Издание осуществляется под редакцией

В. Н. Николаева, А. И. Пузикова,

М. С. Трескунова

Перевод с французского

ДЕЛА И РЕЧИ

ИЗ КНИГИ

«ДО ИЗГНАНИЯ»

РЕЧЬ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ ВО ФРАНЦУЗСКУЮ АКАДЕМИЮ

2 июня 1841 года

Милостивые государи!

В начале этого века Франция являла народам велико-
лепное зрелище. В то время один человек заполнял ее
собою, и он сделал Францию столь великой, что она запол-
нила собою Европу. Человек этот, вышедший из неиз-
вестности, сын бедного корсиканского дворянина, поро-
ждение двух республик — ибо его предки происходили из
Флорентинской республики, а сам он был порожден Фран-
цузской республикой, — в короткий срок достиг такой вер-
шины королевского величия, какой, пожалуй, никогда не
видела история. Он был монархом благодаря своему ге-
нию, благодаря своей судьбе и благодаря своим деяниям.
Все в нем обличало законного обладателя власти, ниспо-
сланной провидением. На его стороне были три важней-
ших обстоятельства: ход событий, всеобщее признание и
миропомазание. Революция его породила, народ его из-
брал, папа возложил на него корону. Короли и генералы,
сами отмеченные роком, в предчувствии своего мрачного
и загадочного будущего, признали в нем избранника
судьбы. Русский царь Александр, которому суждено было
умереть в Таганроге, сказал ему: *«Вы предначертаны не-
бом»*; Клебер, которому суждено было умереть в Египте,
сказал ему: *«Вы велики, как мир»*; Дезе, павший при Ма-
ренго, сказал ему: *«Я — солдат, а вы — генерал»*; Валью-
бер, испуская дух под Аустерлицем, сказал ему: *«Я умру,*

но вы будете царствовать». Его военная слава была бес-
предельна, его завоевания — колоссальны.

Каждый год он все дальше и дальше отодвигал границы своей империи и на много преступил те величественные и необходимые пределы, какие бог даровал Франции. Он упразднил Альпы, подобно Карлу Великому, и Пиренеи, подобно Людовику XIV; он перешел Рейн, подобно Цезарю, и едва не перешел Ламанш, подобно Вильгельму Завоевателю. Под властью этого человека Франция насчитывала сто тридцать департаментов; с одной стороны она соприкасалась с устьем Эльбы, с другой — достигала Тибра. Он был повелителем сорока четырех миллионов французов и покровителем ста миллионов европейцев. Смело устанавливая новые границы, он использовал как материал два независимых герцогства — Савойю и Тоскану — и пять старинных республик — Геную, римские владения, Венецию, Валлис и Соединенные провинции. Он построил свое государство наподобие цитадели в центре Европы и придал ему, в качестве бастионов и передовых укреплений, десятков монархий, включив их одновременно и в свою империю и в свою семью.

Всех детей, некогда игравших с ним во двореике родного дома в Аяччо — своих кузенов и братьев, — он сделал коронованными особами. Своего приемного сына он женил на баварской принцессе, а своего младшего брата — на принцессе вюртембергской. Что до него самого, то, отняв у Австрии Германскую империю и почти присвоив ее под именем Рейнской конфедерации, отобрав у Австрии Тироль, чтобы придать его Баварии, и Иллирию, чтобы присоединить ее к Франции, — он соизволил жениться на австрийской эрцгерцогине.

Все в этом человеке было грандиозным и ослепительным. Подобный необычайному видению, он возвышался над Европой. Однажды его видели среди четырнадцати владетельных, коронованных и помазанных особ сидящим между кесарем и царем в кресле, возвышавшемся над всеми другими. В другой раз он дал возможность Тальма сыграть перед «партером королей».

Еще на заре могущества ему пришла фантазия прикоснуться к имени Бурбонов в одном из уголков Италии и возвеличить его на свой лад: Людовика, герцога Пармы, он сделал королем Этрурии. В ту же эпоху он воспользо-

вался перемирием, навязанным врагам силой его влияния и его оружия, чтобы принудить королей Великобритании отказаться от титула «королей Франции», который они незаконно носили в течение четырехсот лет. С тех пор они больше не осмеливались вернуть себе этот титул — так решительно он был у них отобран! Революция стерла лилии с герба Франции; он тоже их стер, но только с герба Англии, возвысив их тем же способом, каким они были унижены.

Императорским декретом он то делил Пруссию на четыре департамента, то объявлял Британские острова подвергнутыми блокаде, то провозглашал Амстердам третьим городом империи — Рим был только вторым, — то извещал мир, что династия Браганца перестала царствовать. Когда он переходил Рейн, германские курфюрсты — люди, некогда избиравшие императоров, — встречали его у самых границ своих владений в надежде, что он, быть может, сделает их королями. Старинное королевство Густава Вазы, не имея наследника престола и ища себе повелителя, попросило у него в короли одного из французских маршалов. Наследник Карла V, правнук Людовика XIV, король Испании и обеих Индий просил себе в жены одну из его сестер.

Его понимали, поругивали и обожали солдаты — старые гренадеры, сдружившиеся со своим императором и со смертью. На другой день после сражений он вел с ними длинные диалоги, великолепно поясняющие великие события и превращающие историю в эпопею. В его могуществе и величии заключалось нечто простое, резкое и грозное. У него не было, как у императоров Востока, венецианского дожа в качестве кравчего, или, как у германских императоров, герцога Баварии в качестве конюшего, но ему случалось иной раз отправлять под арест короля, командовавшего его кавалерией.

В промежутках между двумя войнами он прокладывал каналы и дороги, субсидировал театры, обогащал академии, побуждал к открытиям, закладывал грандиозные памятники или, составляя кодексы в гостиной Тюильри, ссорился с государственными советниками до тех пор, пока ему не удавалось внести в текст закона, на место рутинной процедуры, высшую и простую формулу гения. И, наконец, последний штрих, довершающий, по-моему,

причудливые очертания этой великой славы: своими подвигами он так глубоко вошел в историю, что мог сказать и говорил: *«Мой предшественник — император Карл Великий»*; а своими семейными связями он настолько слился с монархией, что мог говорить и говорил: *«Мой дядя — король Людовик XVI»*...

Это был удивительный человек. Его удача, господа, превозмогала все. Как я вам только что напомнил, самые знаменитые монархи искали его дружбы; древнейшие королевские династии стремились с ним породниться; знатнейшие дворяне домогались возможности попасть к нему на службу. Все головы, даже самые высокие и гордые, склонялись перед этим челом, на которое рука божья почти зримо возложила две короны: одну из золота, именуемую королевским величием, и другую, сотканную из света, именуемую гением.

Все на континенте преклонялось перед Наполеоном, все, господа, кроме шести поэтов, — позвольте мне с гордостью заявить об этом именно здесь, в зале Академии, — кроме шести мыслителей, стоявших во весь рост среди коленопреклоненной вселенной. Вот эти славные имена, и я спешу произнести их перед вами: *Дюси, Делиль, госпожа де Сталь, Бенжамен Констан, Шатобриан, Лемерсье*.

Что означало это сопротивление? Посреди Франции, обладающей силой, могуществом, властью, господством, славой, победой; посреди Европы, восхищенной и побежденной, которая, став почти французской, сама заимствовала блеск у Франции, — что представляли эти шесть умов, восставших против гения, эти шесть репутаций, возмущенных его славой, эти шесть поэтов, гневающихся на героя? Господа, они представляли в Европе то единственное, чего нехватало тогда Европе, — независимость; они представляли во Франции то единственное, чего не было тогда во Франции, — свободу.

Боже меня избави осуждать те менее суровые умы, которые окружали владыку мира своими восхвалениями! Ведь этот человек, сперва бывший звездой нации, со временем превратился в ее солнце, и не было преступлением позволить себя ослепить. К тому же личности, которую Наполеон пожелал бы привлечь, было труднее, чем думать, защищать свои границы против этого не-

удержимого захватчика, обладавшего и великим искусством поработать народ и великим искусством пленять человека. Да и кто я такой, господа, чтобы присваивать себе право высшей критики? Что за должность я занимаю? Не нуждаюсь ли скорее я сам в благожелательной снисходительности в тот час, когда я вступаю в это содружество, обуреваемый всеми чувствами сразу, гордый призвавшим меня голосованием, счастливый встреченной мною симпатией, взволнованный этой внушительной и чарующей аудиторией, опечаленный тяжелой потерей, которую вы понесли и в которой мне не дано вас утешить; смущенный, наконец, сознанием того, как мало я значу в этом почтенном месте, насыщенном чистой и братской славой великих покойников и знаменитостей, ныне здравствующих?

А кроме того, говоря откровенно, я ни в коем случае не признаю за новыми поколениями права жестоко бранить наших предков и представителей старшего поколения. Имеет ли право судить тот, кто сам не сражался? Мы должны помнить, что были тогда детьми и жизнь текла для нас легко и беспечно, в то время как для других она была и сложной и трудной. Мы приходим вслед за своими отцами; они устали, будем же почтительными. Мы воспользовались одновременно и великими идеями, которые боролись между собой, и великими событиями, которые в конце концов возобладали. Будем же справедливы ко всем — и к тем, кто считал императора своим повелителем, и к тем, кто считал его противником. Поймем энтузиазм и почтим сопротивление. И то и другое было законным.

И все же, господа, повторим еще раз: сопротивление было не только законным — оно было славным. Оно огорчало императора. Человек, который, как он говорил об этом потом, на острове святой Елены, *«сделал бы Паскаля сенатором, а Корнеля министром»*, этот человек, господа, обладал слишком большим величием, чтобы не понимать величия других. Пошлый ум, опирающийся на свою неограниченную власть, мог бы, пожалуй, пренебречь этим восстанием талантов; Наполеона оно беспокоило. Он слишком хорошо сознавал свою историческую роль, чтобы не заботиться об истории; он слишком хорошо ощущал свою поэтичность, чтобы не тревожиться о поэтах. Нужно

открыто признать: он был подлинным монархом, этот младший лейтенант артиллерии, выигравший у молодой французской республики битву Восемнадцатого брюмера, а у европейских монархий — битву при Аустерлице. То был победитель и, подобно всем победителям, — друг литературы. Наполеону были присущи все вкусы и инстинкты государя, разумеется иные, чем у Людовика XIV, но в такой же сильной степени. У великого императора было нечто от великого короля. Одним из первых проявлений его честолюбия было стремление объединить литературу под своим скипетром. Он не довольствовался тем, что обуздал народные страсти, — ему хотелось бы подчинить Бенжамена Констана; он не довольствовался тем, что победил тридцать армий, — ему хотелось бы победить Лемерсье; он не довольствовался тем, что завоевал десять королевств, — ему хотелось бы завоевать Шатобриана.

Не то чтобы эти люди, каждый из которых судил о первом консуле или императоре под влиянием своих личных склонностей, отрицали все великодушное, редкое и блистательное, что заключалось в Наполеоне. Но в нем, по их мнению, политик заслонял победителя, тиран затмевал героя, Сципион осложнялся Кромвелем; одна половина его жизни бросала горькие реплики другой половине. Бонапарт приказал своей армии носить на знаменах траур по Вашингтону, но сам не стал подражать Вашингтону. Он именовал Латура д'Оверня первым гренадером республики, но он же упразднил республику. Он сделал Дом Инвалидов склепом великого Тюренна, но он же превратил венсенский ров в могилу внука великого Конде.

Несмотря на гордую и неприступную позицию шести поэтов, император без колебаний делал им самые заманчивые предложения. Должности послов, денежные субсидии, ордена Почетного Легиона высших степеней, кресла сенаторов — все было предложено, скажем об этом к чести императора, и все было отвергнуто, скажем об этом к чести благородных слушников.

После милостей начались — я отмечаю это с прискорбием — преследования. Никто из них не уступил. Благодаря шести талантам, шести мужественным характерам в это царствование, отменившее столько свобод и унижившее столько престолов, уцелело царственное достоин-

ство свободной мысли. И не только это, господа. Они сумели оказать услугу всему человечеству. Они сопротивлялись не только деспотизму, но и войне.

Я не хочу, чтобы смысл и значение моих слов толковались неправильно: я из тех, кто считает, что война зачастую бывает полезна. Если исходить из высшей точки зрения, когда вся история предстает как единое целое, а вся философия — как единая мысль, битвы так же мало походят на раны, нанесенные человечеству, как борозды от плуга походят на раны, причиненные земле. Вот уже пять тысяч лет любая жатва готовится плугом, а все цивилизации — войнами. Но когда война стремится господствовать, когда она становится нормальным состоянием нации, когда она переходит, так сказать, в хроническое состояние, когда происходит, к примеру, тринадцать больших войн на протяжении четырнадцати лет — тогда, господа, какими бы великолепными ни казались последующие результаты, человечество страдает.

От соприкосновения с идеями насилия забывается и сходит на нет утонченность нравов; сабля становится единственным орудием общества; сила выковывает для себя собственное право; божественное сияние доверия, которое должно всегда освещать лик нации, с каждой минутой угасает во мгле, под покровом которой вырабатываются договоры и разделы государств; торговля, промышленность, лучезарное развитие талантов, вся мирная деятельность исчезают; само существование человеческого общества оказывается под угрозой. В такие-то минуты, господа, подобает поднять внушительный протест. Нравственность требует, чтобы ум смело высказал силе всю правду; хорошо, если мыслители предостерегают героев в разгаре их побед и всемогущества, а поэты, эти спокойные, терпеливые и мирные просветители, выступают против завоевателей, жестоко насаждающих цивилизацию.

Среди этих знаменитых протестантов находился человек, которого Бонапарт некогда любил, кому он мог бы сказать, как сказал другой диктатор другому республиканцу: «*Tu quoque!*»¹ Этот человек, господа, был Лемерсье. Натура честная, сдержанная и скромная; ум

¹ И ты тоже (лат.).

прямой и логичный; воображение точное и, так сказать, алгебраическое даже в области фантазии, дворянин по рождению, но верящий только в аристократию таланта, рожденный в богатстве, но умеющий быть благородным в бедности; скромный, но какой-то высокомерной скромностью; кроткий, но скрывающий в своей кротости нечто упрямое, молчаливое и непоколебимое; строгий в общественных делах, нелепо дающий себя увлечь, омраченный тем, что ослепляет других, господин Лемерсье — замечательная черта у человека, отдавшего теории значительную часть своих помыслов, — господин Лемерсье строил свои политические выводы только на фактах. Но и факты он видел на свой лад. То был один из тех умов, которые уделяют больше внимания причинам, нежели следствиям, и охотно судили бы о растении по его корням, а о реке — по ее истокам.

Подозрительный и всегда готовый встать на дыбы, исполненный тайной и зачастую отважной ненавистью ко всему, что стремится господствовать, он, казалось, устремлял не меньше честолюбия на то, чтобы постоянно отставать на несколько лет от событий, чем иные тратят на то, чтобы опережать их. В 1789 году он был роялистом, или, как тогда говорили, «монархистом образца 1785 года», в 1793 году он стал, по его словам, либералом образца 1789 года; в 1804 году, когда Бонапарт созрел для империи, Лемерсье почувствовал себя созревшим для республики. Как видите, господа, презирая то, что казалось ему капризом дня, он всегда избирал политическое направление по прошлогодней моде.

Позвольте мне привести здесь некоторые подробности о среде, в которой протекала молодость господина Лемерсье. Только исследуя истоки жизни, можно изучать становление характера. А если хочешь до конца узнать людей, источающих свет, то надо не меньше интересоваться их характером, чем их гением. Гений — это факел, светящий снаружи, характер — это лампа, горящая внутри.

В 1793 году, в разгар террора, господин Лемерсье, тогда еще совсем молодой, с редким усердием посещал заседания Национального конвента. То было, господа, мрачное, скорбное, устрашающее, но возвышенное зрелище. Будем справедливы — сегодня это не опасно для

нас, — будем справедливы по отношению к величественным и грозным событиям, которые пронесли над человеческой цивилизацией и больше не вернутся! На мой взгляд, по воле провидения во главе Франции всегда стоит нечто великое. При старых королях то был принцип; во времена империи — человек; во времена революции — Собрание. Собрание, разбившее трон и спасшее страну, вступившее в поединок с монархией, как Кромвель, и в поединок со вселенной, как Ганнибал; Собрание, наделенное одновременно гением всего народа и гением отдельной личности, совершавшее неудачные попытки и чудесные деяния; Собрание, которое мы можем ненавидеть и проклинать, но которым должны восхищаться.

Признаем все же, что во Франции в ту пору произошло некое затухание нравственного света и как следствие — обратите внимание, господа! — затухание умственного света. Подобное состояние полусвета или полумрака, схожее с вечерними сумерками, окутывает известные эпохи; оно необходимо, чтобы провидение могло во имя будущего блага человеческого рода свершить над состарившимся обществом те страшные насилия, которые были бы преступлениями, если бы исходили от людей, но, исходя от бога, зовутся революциями.

Это тень, отбрасываемая дланью господней, когда она распростерта над каким-либо народом.

Как я только что говорил, 1793 год не был эпохой высоких индивидуальностей, обособленных от общества в силу своего гения. Кажется, будто в этот момент провидение сочло человека слишком маленьким для того, что оно собиралось предпринять; оно отодвигает человека на второй план и само выступает на сцену. И действительно, в 1793 году из трех гигантов, совершивших французскую революцию: первого, представлявшего собой явление социальное, второго — явление географическое и третьего — явление европейское, — один, Мирабо, уже умер, другой, Сьейес, исчез, затмился, ему «удавалось выжить», как сказал позже этот трусливый великий человек; третий, Бонапарт, еще не родился для истории. Итак, за исключением, быть может, Дантона и Сьейеса, оставшегося в тени, в Конвенте не было людей первого плана, выдающихся умов, но были большие страсти, большие столкновения, яркие вспышки, великие иллюзии. Этого,

конечно, хватало, чтобы ослепить народ — грозного зрителя, склонившегося над роковым Собранием. Добавим, что в ту эпоху, когда каждый день был сражением, дела шли так быстро, в Европе и во Франции, в Париже и на границе, на поле битвы и на городской площади совершалось столько происшествий, все развивалось так поспешно, что на трибуне Национального конвента значение того или иного события вырастало, так сказать, от слов оратора, по мере его речи; события кружили оратору голову и сообщали ему свое величие. Кроме того, подобно Парижу и Франции, Конвент действовал в сумеречном освещении конца века, придававшим огромные тени самым маленьким людям, сообщавшем неопределенные и гигантские очертания самым хлипким фигурам и окрашивающем это грозное Собрание чем-то мрачным и сверхъестественным даже на страницах истории.

Подобные чудовищные собрания людей нередко пленяли поэтов, как змея очаровывает птицу. Долгий парламент поглотил Мильтона, Конвент привлекал Лемерсье. Впоследствии каждый из них осветил изнутри свою мрачную эпопею каким-то отражением этого крошечного ада. В «Потерянном рае» ощущается Кромвель, а в «Пангипокризаде» — Деяносто третий год.

Для юного Лемерсье Конвент был революцией, ставшей образом и сосредоточившейся перед его взором. Он ежедневно приходил сюда, чтобы увидеть, по великолепию его выражению, как ставят «законы вне закона». Каждое утро он являлся к открытию заседания и усаживался на трибуне для публики, среди тех странных женщин, которые любили сочетать какую-нибудь домашнюю работу с ужаснейшими зрелищами, — история сохранила за ними отвратительную кличку — «вязальщицы». Они его знали, ждали его и занимали для него место. Было, однако, в его молодости, в беспорядке его одежды, в его испуганном внимании, в его тревоге во время прений, в его пристальном взгляде, в прерывистых словах, вырывавшихся у него временами, нечто до того странное, что они считали его безумным. Однажды, придя позднее обычного, он услышал, как одна из этих женщин говорила другой: «Не садись сюда, это место идиота».

Через четыре года, в 1797-м, «идиот» дал Франции «Агамемнона».

Не случилось ли так, что Собрание внушило поэту его трагедию?

Но что общего между Эгистом и Дантоном, между Агроссом и Парижем, между гомеровским варварством и вольтерьянской распушенностью? И что за странная идея оделать наивные и простые преступления примитивной эпохи зеркалом преступлений дряхлой и испорченной цивилизации; заставить грандиозные призраки греческой трагедии бродить, так сказать, в нескольких шагах от эшафотов французской революции; сопоставить современное цареубийство, порожденное страстями народными, с античным цареубийством, порожденным страстями семейными! Признаюсь, господа, раздумывая об этом примечательном периоде таланта господина Лемерсье, я частенько искал какую-либо зависимость между прениями Конвента и ссорами Атридов, между тем, что он видел, и тем, о чем грезил, но обнаружил, самое большее, известную гармонию. Отчего, благодаря каким таинственным превращениям мысли в мозгу родился в таких обстоятельствах «Агамемнон»? Тут, очевидно, один из темных капризов вдохновения, секрет которых принадлежит только поэту. Как бы то ни было, «Агамемнон» — значительное произведение, бесспорно одна из прекраснейших трагедий нашего театра благодаря чувству ужаса и сострадания, благодаря простоте трагического элемента, благодаря серьезности и строгости стиля. Эта суровая поэма и вправду имеет греческий профиль.

Глядя на нее, ощущаешь эпоху, когда Давид в своих картинах расцвечивал афинские барельефы, а Тальма заставлял их говорить и двигаться. В ней чувствуется больше чем эпоха — в ней чувствуется человек. По ней догадываешься, что поэт страдал, когда писал ее. И действительно, глубокая меланхолия, смешанная с каким-то почти революционным террором, окутывает все великое произведение. Исследуйте его, господа, оно этого заслуживает — посмотрите на целое и на детали, на Агамемнона и Строфуса, на галеру, причаливающую к берегу, на приветствия народа, на героическое обращение на «ты» к царям. А главное — взгляните на Клитемнестру с ее бледным, окровавленным лицом — прелюбодеяние, доходящее до мужеубийства: она видит возле себя, не понимая и — страшная вещь! — не пугаясь их, пленную

Кассандру и маленького Ореста; два существа, слабых на вид, а на самом деле грозных! Грядущее говорит устами одного из них и живет в другом. Кассандра — это угроза в облике рабыни; Орест — это кара в облике ребенка.

Как я уже сказал, в возрасте, когда еще не страдают и только начинают мечтать, господин Лемерсье страдал и творил. Стремясь привести в порядок свои мысли, испытывая глубокое любопытство, влекущее смелые умы к устрашающим зрелищам, он подошел как только мог близко к Конвенту, то есть к революции. Он наклонился над печью, когда в ней еще плавилась статуя будущего, и увидел, как сверкают, услышал, как клокочут, наподобие лавы в кратере, великие революционные принципы — та бронза, из которой отлиты сегодня основания наших идей, наших свобод и наших законов. Грядущая цивилизация была еще секретом провидения, и господин Лемерсье не пытался его разгадать. Он ограничился тем, что молчаливо, со стоической покорностью переносил обрушивавшиеся на него рикошетом бедствия. Достоин внимания — я не могу не подчеркнуть этого, — что он, такой юный, неизвестный, еще не замеченный, затерянный в толпе, взиравшей во время террора, как движутся по улицам события, ведомые палачом, — что он то и дело сталкивался с общественными катастрофами, которые били по его самым интимным привязанностям.

Верноподданный и чуть ли не личный слуга Людовика XVI, он видел, как проехала карета 21 января; крестник госпожи де Ламбаль, он видел, как пронесли пику 2 сентября; друг Андре Шенье, он видел, как проехала тележка 7 термидора. Так в двадцать лет он увидел обезглавленными в лице трех самых священных для него, после отца, существ три самых лучезарных, после бога, явления нашего мира — королевское достоинство, красоту и гений!

Пережив подобные впечатления, ум нежный и слабый остается на всю жизнь печальным, ум возвышенный и сильный становится серьезным. Так господин Лемерсье воспринял жизнь со всей серьезностью. Девятое термидора открыло для Франции новую эру, которая является второй фазой каждой революции. После того как господин Лемерсье наблюдал распадение общества, он наблю-

дал и за тем, как оно перестраивается. Он вел жизнь светскую и литературную. Он изучал и следовал, порой с усмешкой, нравам эпохи Директории, которая была после Робеспьера тем же, чем была эпоха Регентства после Людовика XIV, — веселой суматохой культурной нации, вырвавшейся из атмосферы скуки или страха, когда ум, веселость и распушенность выражают оргиями протест против унылости богомольного деспотизма в одном случае и против одурения пуританской тирании — в другом.

Прославившийся тогда благодаря успеху «Агамемнона», господин Лемерсье искал сближения с избранными людьми того времени, а они в свою очередь искали его общества. У Дюси он познакомился с Экушар-Лебре-ном, как в свое время познакомился с Андре Шенье у госпожи Пура. Лебрен настолько полюбил его, что даже не написал на него ни одной эпиграммы. Герцог Фиц-Джемс и князь Талейран, госпожа де Ламет и господин де Флориан, герцогиня д'Эгийон и госпожа Тальен, Бернарден де Сен-Пьер и госпожа де Сталь принимали и чествовали его. Бомарше пожелал стать его издателем, как Дюпюитрен двадцать лет спустя пожелал стать его преподавателем. Находясь уже тогда слишком высоко, чтобы опускаться до партийной исключительности, будучи на равной ноге со всеми наиболее выдающимися людьми, он одновременно подружился и с Давидом, судившим короля, и с Делилем, оплакивавшим короля.

Вот каким образом в эти годы благодаря обмену мыслями с самыми различными натурами, благодаря созерцанию нравов и наблюдению над личностями в господине Лемерсье родились и развились, чтобы противостоять всем превратностям судьбы, как бы два человека, свободных человека: независимый политический деятель и оригинальный литератор. Незадолго до этого он познакомился с офицером, которому позже суждено было стать преемником Директории. На протяжении нескольких лет они жили бок о бок. Оба были неизвестны. Один был разорен, другой беден. Одного попрекали его первой трагедией, представлявшей собой упражнение школьника, а другого — его первым выступлением, представлявшим собой подвиг якобинца. Репутация обоих началась в одно и то же время с прозвищ. Говорили: «господин Мерсье-

Мелеагр» и тут же говорили! «генерал Вандемьер». Странный закон, по которому во Франции смешное задевает хотя бы на минуту всех выдающихся людей!

Когда госпожа де Богарне задумала выйти замуж за любимца Барраса, она советовалась с господином Лемерсье по поводу такого мезальянса. Лемерсье, проявлявший интерес к молодому артиллеристу Тулона, посоветовал ей этот брак. В дальнейшем оба — литератор и полководец — росли почти параллельно. В одно и то же время они одерживали свои первые победы. В год Арколе и Лоди господин Лемерсье поставил «Агамемнона», а в год Маренго — своего «Пинто». Их связь была тесной еще до Маренго. В салоне на улице Шантерен можно было видеть господина Лемерсье, читающего свою египетскую трагедию «Офис» главнокомандующему египетской армии. Клебер и Дезе слушали, сидя в уголке.

В эпоху Консульства связь перешла в дружбу. В Мальмезоне первый консул, с детской веселостью, присущей подлинно великим людям, внезапно входил среди ночи в комнату, где бодрствовал поэт, и шутки ради гасил его свечу, а затем убежал, заливаясь смехом... Жозефина доверила господину Лемерсье свой проект замужества; первый консул доверил ему свой проект Империи. В тот день господин Лемерсье почувствовал, что он теряет друга. Он не захотел иметь повелителя. Нелегко отказываться от равенства с человеком, подобным Наполеону. Поэт гордо удалился.

Можно сказать, что Лемерсье был последним во Франции, кто обратился к Наполеону на «ты». 14 флореаля XII года, в тот самый день, когда сенат впервые обратился к избраннику нации как к императору, назвав его: «ваше величество», господин Лемерсье в памятном письме еще называл его фамильярно великим именем — Бонапарт!

Дружба эта, за которой должна была последовать вражда, делала честь и тому и другому. Поэт не был недостойн полководца. Господин Лемерсье обладал редким и прекрасным талантом. Более чем когда-либо следует сказать об этом сегодня, когда его памятник завершен, сегодня, когда здание, воздвигнутое его умом, увенчалось последней роковой плитой, которую рука божья неизменно кладет на все труды человека.

Разумеется, господа, вы не ждете от меня досконального разбора его огромного, многообразного творчества, охватывающего, подобно вольтеровскому, решительно все: оды, послания, апологии, песни, пародии, романы, драмы, историю и памфлеты, прозу и стихи, переводы и оригинальные произведения, политические, философские и литературные наставления. Обширное собрание томов и брошюр, которое с достоинством венчают десять поэм, двадцать комедий и четырнадцать трагедий. Творчество его подобно богатому и фантастическому сооружению, местами затемненному, местами ярко освещенному. Под его сводами появляются в странном смещении, в оригинальной светотени все значительные образы мифологии, библии, истории: Атрид, Исмаил, левит Эфраим, Ликург, Камилл, Хлодвиг, Карл Великий, Бодуэн, святой Людовик, Карл VI, Ричард III, Ришелье, Бонапарт, и над ними всеми господствуют четыре символических колосса, изваянных на фронто́не: Моисей, Александр, Гомер и Ньютон, иначе говоря — законодательство, война, поэзия и наука.

Эта совокупность образов и идей, которую поэт носил в душе и щедро влил в нашу литературу, — эта совокупность, господа, полна величия. Теперь, после того как я выявил основную линию его творчества, позвольте мне указать на некоторые наиболее выпуклые и характерные произведения: комедия из времен португальской революции, такая живая и остроумная, полная иронии и глубины; «Плавт», отличающийся от мольеровского «Гарпагона» тем, как остроумно заметил сам автор, что «сюжет Мольера — скупец, потерявший сокровище, а мой сюжет — Плавт, нашедший скупца»; «Христофор Колумб», где так строго соблюдается единство места, поскольку все действие происходит на палубе корабля, и где это же единство так смело нарушено, оттого что корабль — я чуть не сказал «эта драма» — идет из Старого Света в Новый. Назову «Фредегонду», которая по первоначальному замыслу автора должна была быть чем-то вроде фантазии Кребильона, но по заложенным в ней идеям больше напоминает творение Корнеля; отмечу «Атлантиду», проникнутую довольно живым сиянием природы, хотя, быть может, природа показана скорее научно, нежели поэтически; наконец упомяну последнюю поэму —

о человеке, отданном богом на посмешище демонам, — «Пангипокризиаду», являющуюся одновременно эпопеей, комедией и сатирой, своего рода литературной химерой, чудовищем о трех головах, которое поет, смеется и лаег.

И вот, после того как мы заглянули во все эти книги, после того как мы поднялись и спустились по лестнице, построенной Лемерсье, очевидно, только для себя одного, по лестнице, с помощью которой этот мыслитель погружался в преисподнюю или проникал на небеса, — после всего этого, господа, нельзя не почувствовать искреннюю, сердечную симпатию к благородному и трудолюбивому уму, неутомимо и смело предлагавшему столько идей гордому французскому вкусу, который так трудно удовлетворить; нельзя не оценить этого философа в духе Вольтера, становившегося подчас поэтом в духе Шекспира, этого писателя-предтечу, посвящавшего свои эпопеи Данте в эпоху, когда Дора вновь расцветал под именем Демустье, этот ум широкого размаха, одним крылом касающийся истоков трагедии, а другим — революционной комедии, близкий своим «Агамемноном» к поэту Прометея, а своим «Пинто» — к поэту Фигаро.

Господа, на первый взгляд кажется, что право критики естественно вытекает из права на восхваление. Но человеческий глаз — хорошо это или плохо, не знаю — устроен так, что всегда во всем ищет недостатки. Буало хвалил Мольера не без оговорок. Делает ли это честь Буало? Не знаю, но это так. Вот уже двести тридцать лет, как астроном Жан Фабрициус нашел пятна на солнце; вот уже две тысячи двести лет, как грамматик Зсил обнаружил пятна у Гомера. Казалось бы, что и я могу, не нарушая ваших обычаев и не оскорбляя человека, память которого мне доверено здесь почтить, примешать к моим похвалам некоторые упреки и принять в интересах искусства известные предосторожности. И все же, господа, я этого не сделаю. Ведь если бы я, верный убеждениям, которые я провозглашал во весь голос всю свою жизнь, ненароком сделал в отношении господина Лемерсье какие-то оговорки, то они, повидимому, касались бы главным образом деликатнейшего и важнейшего пункта, того условия, которое, по моему мнению, открывает или закрывает для писателей двери в будущее, а именно — стиля.

Подумав об этом, господа, вы поймете мою сдержанность и одобрите мое молчание.

К тому же — и здесь следует повторить то, о чем я говорил вначале, — кто я такой? Кто дал мне право решать вопросы столь сложные и серьезные? Почему уверенность, которую я сам питаю, окажется убедительной для других? Одно лишь потомство — и это тоже мое убеждение — имеет право решающей критики и окончательного суждения о выдающихся талантах. Одно лишь потомство, рассматривая их творчество во всем его единстве, пропорциях и перспективе, может сказать, где они заблуждались, и определить, в чем они потерпели неудачу. Чтобы взять на себя здесь, перед вами, высокую миссию наших потомков, чтобы упрекать или осуждать великий ум, нужно по меньшей мере самому быть его выдающимся современником или считать себя таковым. Я не имею ни этого счастливого преимущества, ни подобной жалкой претензии.

А кроме того, господа, — и к этому всегда приходится возвращаться, когда говоришь о господине Лемерсье, — независимо от его литературной славы, следует признать, что его характер был, пожалуй, более законченным, нежели его талант. С того дня, когда он счел своим долгом бороться с несправедливостью, которая, как ему казалось, стала править страной, он принес в жертву этой борьбе свое состояние, возвращенное ему после революции и вновь отобранное империей, свой досуг, свой покой и ту внешнюю беззаботность, которая является как бы сградой домашнего счастья, и даже — удивительная вещь для поэта — успех своих произведений. Ни один поэт не заставлял свои трагедии и комедии сражаться с такой героической отвагой. Он посылал свои пьесы в цензуру, как генерал отправляет на приступ своих солдат. Запрещенная драма немедленно заменялась другой, но и ее постигала та же участь. Господа, из любопытства я подсчитал ущерб, причиненный этой борьбой славе автора «Агамемнона». Угодно вам узнать мрачные итоги? Не считая «Левита Эфраима», осужденного Комитетом общественного спасения, как пьеса, опасная для философии; не считая «Тартюфа-революционера», запрещенного Конвентом, как пьеса, противоречащая идее республики; не считая «Безумия Карла VI», запрещенного Реставрацией

как произведение, враждебное монархической идее; не останавливаясь на «Развратителе», освидетельствованном, говорят, в 1823 году лейб-гвардейцами, вот что я установил, ограничившись только решениями цензуры империи: «Пинто» сыгран двадцать раз, потом запрещен; «Плавт» поставлен семь раз, потом запрещен; «Христофор Колумб» поставлен семь раз в присутствии солдат со штыками, потом запрещен; «Карл Великий» запрещен, «Камилл» запрещен. В этой позорной для правительства, но почетной для поэта войне у господина Лемерсье в течение десяти лет было убито пять больших драм.

В течение некоторого времени он защищал свои права и свои идеи путем энергичных протестов, адресованных непосредственно самому Бонапарту. Однажды, во время щекотливого и почти оскорбительного спора, властелин, прервав свою речь, внезапно спросил его: «Что с вами? Вы стали совсем красным!» — «А вы совсем бледным, — гордо ответил господин Лемерсье. — Это наша с вами манера, когда что-нибудь нас раздражает: я краснею, а вы бледнеете». Вскоре после этого он вовсе перестал встречаться с императором.

Все же один раз, в январе 1812 года, в период наивысших успехов Наполеона, через несколько недель после произвольного запрещения «Камилла», когда господин Лемерсье утратил всякую надежду поставить какую-либо из своих пьес, пока существует Империя, ему, как академику, пришлось отправиться в Тюильри. Как только Наполеон его заметил, он тотчас направился к поэту: «Так что ж, господин Лемерсье, когда вы нам дадите хорошую трагедию?» Лемерсье пристально посмотрел на императора и произнес только три слова: «Скоро. Я выжидаю».

Грозные слова! Скорее слова пророка, нежели поэта! Слова, сказанные в начале 1812 года, но заключавшие в себе и Москву, и Ватерлоо, и святую Елену!

Однако в этом молчаливом и суровом сердце не совсем угасло чувство симпатии к Бонапарту. В последние годы возраст скорее раздувал, нежели гасил эту искру. В прошлом году, почти в это же время, прекрасным майским утром, в Париже распространился слух, что Англия, устыдившись, наконец, своих действий на острове святой Елены, возвращает Франции гроб Наполеона. Госпо-

дин Лемерсье, больной и уже около месяца прикованный к постели, велел принести газету. И действительно, газета сообщала, что на остров святой Елены готовится отплыть фрегат. Бледный и дрожащий, престарелый поэт встал со слезами на глазах, и когда ему прочли, что «генерал Бертран отправится за останками императора, своего повелителя...» — «А я? — вскричал он. — Почему бы и мне не отправиться навстречу моему другу, первому консулу?»

Через неделю его не стало.

«Увы, — говорила мне его почтенная вдова, рассказывая об этом грустном эпизоде. — Он не отправился ему навстречу, он сделал больше — он присоединился к нему».

Мы окинули взором всю эту благородную жизнь; извлечем теперь заключенный в ней урок.

Господин Лемерсье — один из тех редких людей, которые заставляют наш ум поставить и помогают нашему мышлению разрешить серьезную и прекрасную задачу: каково должно быть отношение литературы к обществу в зависимости от характера эпохи, народа и правительства?

Сегодня старинный трон Людовика XIV, правление Собраний, деспотизм славы, абсолютная монархия, тиранническая республика, военная диктатура — все это ушло в небытие. По мере того как мы, новое поколение, год за годом движемся в неизвестность, три формы правления, которые господин Лемерсье встречал на своем пути и которые он приветствовал, изучал и в конце концов отвергал одну за другой, эти три формы правления, ныне мертвые и неподвижные, постепенно погружаются в густой туман прошлого. Короли старшей ветви — теперь не более чем тени, Конвент — не более чем воспоминание, император — не более чем труп.

Однако связанные с ними идеи пережили их. Смерть и разрушение способствуют лишь высвобождению той внутренне присущей явлению истинной ценности, которая как бы составляет его душу. Иногда бог вкладывает идеи в определенные факты или в определенных людей, подобно тому как духи вливают в сосуды. Когда сосуд падает, идея распространяется.

Господа, старшая королевская линия несла в себе историческую традицию, Конвент нес в себе революционное

развитие, Наполеон нес в себе национальное единство. Из традиции рождается устойчивость, из развития рождается свобода, из единства рождается власть. А традиция, единство и развитие, иными словами, устойчивость, власть и свобода — это ведь и есть сама цивилизация. Корень, ствол и листва — это ведь и есть все дерево.

Традиция, господа, важна для нашей страны. Франция не колония, насильственно превращенная в нацию; Франция не Америка. Франция — неотъемлемая составная часть Европы. Она не может порвать с прошлым, точно так же как не может оторваться от своей почвы. И, на мой взгляд, наша последняя революция, серьезная, сильная и разумная, проявила замечательное чутье, осознав, что поскольку коронованные семьи существуют для блага суверенных народов, постольку, при известном возрасте королевской династии, следует заменять наследование от принца к принцу наследованием от одной ветви к другой. Проявив глубокий здравый смысл, революция избрала своим конституционным вождем бывшего лейтенанта Дюмурье и Келлермана, внука Генриха IV и внучатного племянника Людовика XIV; руководствуясь высшими соображениями, она превратила в новую династию старинную семью, одновременно и королевскую и народную, с богатым историческим прошлым и с богатой миссией в будущем.

Но если для Франции важна историческая традиция, то не менее важно для нее либеральное развитие. Развитие идей — таково присущее ей движение. Она существует благодаря традиции, она живет благодаря развитию. Боже упаси, господа, чтобы, напоминая вам только что, как могуча и горда была Франция тридцать лет тому назад, я имел хотя бы на минуту нечестивое намерение унижить, оскорбить или обескуражить путем много контраста нынешнюю Францию! Мы можем спокойно сказать — и нет надобности повышать голос для такой простой и правдивой вещи, — что сегодня Франция не менее велика, чем когда-либо. С тех пор как пятьдесят лет тому назад она начала свое превращение и тем самым положила начало омоложению всех одряхлевших обществ, Франция как бы разделила свою задачу и время на две равные доли. Первые двадцать пять лет она навязывала Европе силу своего оружия; последние двадцать

пять лет она внушает Европе свои идеи. Она управляет народами при помощи своей печати, она правит умами при помощи своих книг. И если у Франции нет больше завоеваний, или господства посредством войн, то у нее есть инициатива — господство посредством мира. Она устанавливает порядок дня всемирной мысли. То, что она предлагает, немедленно становится предметом обсуждения для всего человечества; то, что она решает, становится законом. Дух Франции постепенно проникает в правительства других стран и оздоравливает их. Франция является источником всех великодушных порывов других народов, всех незаметных переходов от зла к добру, происходящих сейчас среди людей и предохраняющих государства от бурных встрясок. Осторожные нации, заботящиеся о будущем, стараются влить в свою старую кровь полезную лихорадку французских идей — не как болезнь, а, если можно так выразиться, как вакцину, прививающую прогресс и предохраняющую от революции. Быть может, в данный момент материальные пределы Франции и ограничены, — конечно, не на вечной карте мира, где бог обозначил границы реками, океанами и горами, а на недолговечной карте, испещренной красным и синим карандашом, которую победа и дипломатия переделывают каждые двадцать лет. Неважно! Через определенное время будущее снова сбросит все в плавильную печь providения. Форма Франции предопределена. И к тому же, если коалиции, реакция и конгрессы построили одну Францию, то поэты и писатели создали другую. Помимо своих видимых границ, наша великая нация имеет еще границы незримые, которые заканчиваются только там, где человечество не говорит на ее языке, то есть на самом краю цивилизованного мира.

Еще несколько слов, господа, еще несколько минут вашего благосклонного внимания — и я кончаю.

Вы видите, я не из тех, кто отчаивается. Да простится мне эта слабость — я восхищаюсь своей страной и люблю свою эпоху. Что бы ни говорили, я так же мало верю в постепенное ослабление Франции, как и в прогрессирующее истощение человеческой расы. Мне кажется, что не таковы замыслы бога, который создал, один за другим, Рим для человека дрезности и Париж для человека нового времени. Перст божий, видимый, как мне кажется,

во всем, постоянно улучшает мир примером избранных наций, а избранные нации — трудами избранных умов.

Да, господа, пусть не прогневается дух хулы и поношения, этот зрячий слепец, — я верю в человечество и в свою эпоху; пусть не прогневается дух сомнения и проверки, этот прислушивающийся глухой, — я верю в бога, верю в его провидение.

Да, ничто, ничто у нас не выродилось. Франция по-прежнему держит светильник наций. Наша эпоха — великая эпоха, — я так думаю, и поскольку я сам ничего из себя не представляю, я вправе так говорить! — великая своей наукой, великая своей промышленностью, великая своим красноречием, великая своей поэзией и искусством. Люди нового поколения — пусть эта запоздалая справедливость будет им воздана хотя бы самым незначительным и самым последним из них, — люди нового поколения благоговейно и мужественно продолжали дело своих отцов. После смерти великого Гете немецкая мысль ушла в тень; со времени смерти Байрона и Вальтера Скотта английская поэзия угасла. В этот час в мире есть только одна горящая, живая литература — литература французская. От Петербурга до Кадиса, от Калькутты до Нью-Йорка люди читают только французские книги. Мир ими вдохновляется, Бельгия ими живет. На трех континентах, повсюду, новая мысль прорастает там, где была посеяна французская книга. Итак — честь и слава трудам молодого поколения! Могучие писатели, благородные поэты, знаменитые мастера, находящиеся среди вас, с радостью и нежностью взирают на то, как со всех сторон на вечной ниве мысли поднимаются прекрасные дарования.

О, пусть молодые таланты с доверием обращаются сюда! Как говорил вам одиннадцать лет тому назад, при своем вступлении в Академию, мой знаменитый друг господин де Ламартин, «вы не оставите на пороге ни одного из них»!

Но пусть не забывают эти юные дарования, эти прекрасные таланты, продолжающие великую литературную традицию Франции: новые времена — новые обязанности. Сегодня задача писателя не так опасна, как прежде, но она не менее величественна. Ему не приходится защищать королевскую власть от эшафота, как в 1793 году,

или спасти свободу от цензурного кляпа, как в 1810-м, — он призван распространять цивилизацию Нет больше необходимости отдавать свою голову, как Андре Шенье, или жертвовать своим творчеством, как Лемерсье, — достаточно посвятить делу все свои помыслы.

Позвольте мне торжественно повторить здесь то, что я всегда говорил, то, что я повсюду писал, то, что, в меру моих ограниченных сил, я всегда считал своим правилом, законом, принципом, целью: посвящать свои мысли постоянному развитию в людях общественных стремлений; презирать чернь и любить народ; уважать в политических партиях, подчас, впрочем, отдаляясь от них, бесчисленные формы, которые может принимать разнообразная и плодотворная инициатива свободных людей; беречь в лице правительства, оказывая ему, однако, в необходимых случаях противодействие, скрытую опору, божественную, по мнению одних, человеческую, по мнению других, но, по общему признанию, спасительную, ибо без этой опоры расшатывается любое общество; сопоставлять время от времени человеческие законы с законом христианским, а карательную систему с евангелием, помогать прессе книгой всякий раз, когда пресса отвечает подлинному духу века; щедро раздавать поощрения и симпатию поколениям, еще пребывающим во мраке, прозябающим из-за отсутствия воздуха и пространства, тем поколениям, от чьих страстей, страданий и мыслей, как мы слышим, гулко сотрясаются далекие врата будущего; проливать в толпу средствами театра, через смех и слезы, через впечатляющие уроки истории, через высокие вымыслы воображения, мягкие и волнующие чувства, которые обращаются в душах зрителей в жалость к женщине и уважение к старикам; пронизывать искусство божественными соками природы; одним словом, цивилизовать людей, простирая над их головами спокойное сияние мысли, — в этом и состоит сегодня, господа, миссия, обязанность и слава поэта.

То, что я говорю об отдельном поэте, то, что я говорю об одиночном писателе, я бы сказал, если бы посмел, о вас самих, господа. Вы имеете огромное влияние на сердца и души. Вы являетесь одним из главных центров той духовной власти, которая со времен Лютера переместилась и уже три столетия тому назад перестала

принадлежать только церкви. В современной цивилизации от вас зависят две области: интеллектуальная и нравственная. Ваши награды и премии оценивают не только таланты — они распространяются и на добродетель. Французская Академия находится в постоянном общении с теоретиками — через своих философов, с практическими деятелями — через своих историков, с молодежью, мыслителями и женщинами — через своих поэтов, с народом — через язык, который народ творит, а Академия фиксирует, исправляя. Вы поставлены между главными государственными органами и наравне с ними, чтобы дополнять их деятельность, освещать все темные углы общества и заставлять мысль — эту тончайшую и, так сказать, воздушную силу — проникать туда, куда не может проникнуть кодекс с его жестким и вещественным текстом. Другие органы власти обеспечивают и регулируют внешнюю жизнь наций, вы управляете ее внутренней жизнью. Они создают законы, вы создаете нравы.

Однако, господа, не будем переходить за грани возможного. Никому не дано окончательно разрешить вопросы религиозные, общественные или даже политические. Зеркало истины разбилось посреди современного общества. Каждая партия подобрала один из его осколков. Мыслитель пытается составить эти кусочки, имеющие по большей части самую причудливую форму, иногда забрызганные грязью, иногда — уввы! — запятнанные кровью. Чтобы хоть как-нибудь их сложить и найти — пусть с некоторыми изъянами — всеобщую истину, достаточно усилий одного мудреца; чтобы сплавить их вместе и вернуть им цельность, понадобился бы бог.

Никто не походил в такой степени на этого мудреца, — позвольте мне, господа, назвать в заключение почтенное имя, перед которым я всегда особенно благоговел, — никто так не походил на этого мудреца, как благородный Мальзерб, бывший одновременно великим ученым, великим судьей, великим министром и великим гражданином. Но он явился слишком рано. Он был скорее из тех, кто завершает, а не открывает революцию.

Незаметное поглощение грядущих сотрясений путем прогресса в настоящем, смягчение нравов, воспитание масс через школы, мастерские и библиотеки, постепенное улучшение людей при помощи законов и образования —

вот та серьезная цель, которую должно ставить перед собой каждое хорошее правительство и каждый подлинный мыслитель; такова была задача, которую взял на себя Мальзерб во время своих слишком кратких министерств. С 1776 года, чувствуя приближение бури, которая через семнадцать лет опрокинула все, он торопился привязать шатавшуюся монархию к этому прочному основанию. Он спас бы государство и короля, если бы не лопнул канат.

Но если сам Мальзерб и погиб, то воспоминание о нем — пусть это ободряет всех, кто захотел бы ему подражать, — осталось неприкосновенным в памяти народа, забывавшего обо всем в грозные дни революций; так на дне океана, наполовину погрузившись в песок, покоится старый чугунный якорь с корабля, пропавшего во время бури!

СЕМЕЙСТВО БОНАПАРТОВ

РЕЧЬ В ПАЛАТЕ ПЭРОВ

14 июня 1847 года

Господа пэры, при обсуждении такой петиции я не колеблясь заявляю, что мои симпатии на стороне изгнанных и ссыльных. Правительство моей родины может рассчитывать на меня всегда и везде, я готов помогать и служить ему при любых серьезных обстоятельствах, во всех справедливых делах. Вот и сегодня, в этот момент, я служу ему, или по крайней мере думаю, что служу ему своим советом — проявить благородную инициативу и взять на себя смелость совершить то, чего не сделало бы, я это признаю, ни одно прежнее правительство, одним словом — взять на себя смелость быть великодушным и разумным. Я уважаю правительство и считаю его достаточно сильным для этого.

К тому же разрешить въезд во Францию изгнанным принцам — значило бы проявить величие, а с каких это пор величие мешает людям быть сильными?

Да, господа, я скажу это во весь голос, даже если искренность моих слов вызовет улыбку у тех, кто признает в человеческих поступках только так называемую политическую необходимость или государственную мудрость, да, по-моему, было бы честью для нашего июльского правительства, триумфом цивилизации, венцом тридцатидвухлетнего мирного периода, если бы мы безоговорочно и просто вернули в их страну, — а это ведь и наша страна, — всех этих ни в чем не повинных прославленных людей, которых изгнание превращает в претендентов,

а воздух отечества превратил бы в граждан. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Господа, даже не ссылаясь, как это с достоинством сделал здесь благородный князь де ла Москова, на особые соображения, связанные со столь патриотическим и столь блестящим военным прошлым благородного просителя, собрата по оружию многих из вас, солдата после 18 брюмера, генерала при Ватерлоо, короля в промежутке, даже не ссылаясь, повторяю я, на все эти соображения, имеющие, впрочем, огромное значение, нужно сказать, что во времена, подобные нашим, нехорошо сохранять законы об изгнании и тем самым на неопределенный срок усугублять законом суровость человеческой участи и превратности судьбы.

Не будем забывать, ибо подобные события представляют собой величайшие уроки, не будем забывать, что наша эпоха видела все, что только судьба может сделать с человеком как в смысле возвышения, так и в смысле развенчания. Все может случиться, ибо все уже случилось. Создается впечатление, позвольте мне прибегнуть к этому образу, что судьба, не будучи правосудием, подобно ему держит в руках весы; когда одна чаша поднимается, другая опускается. В то время как младший лейтенант артиллерии стал императором французов, первый принц крови Франции стал преподавателем математики. Сегодня этот августейший преподаватель является самым выдающимся из королей во всей Европе. Господа, в момент, когда вы будете принимать решение по обсуждаемой петиции, помните об этих колебаниях в жизни королей. (*Знаки одобрения в зале.*)

Да, после стольких революций, после стольких перемен, не пощадивших ни одной головы, было бы весьма мудрым шагом дать торжественный пример священного благоговения перед бедствиями. Счастлива та династия, о которой смогут сказать: «Она никого не изгнала! Она никого не сослала! Увидев, что двери Франции закрыты для французов, она открыла их и сказала: «Входите!»

Признаюсь, когда была представлена эта петиция, я почувствовал радость. Я принадлежу к числу тех, кому близок затронутый там круг идей.

Господа, не думайте, что подобные обсуждения бесполезны! Они очень полезны. Они воскрешают для всех

и озаряют ярким светом ту благородную и чистую сторону человеческой природы, которая никогда не должна затемняться и стираться. На протяжении последних пятнадцати лет люди с каким-то пренебрежением и какой-то иронией относились ко всем этим чувствам; энтузиазм подвергался осмеянию. О нем говорили: «Поэзия!» Люди глумились над тем, что они именовали сентиментальным и рыцарским поведением, и таким образом подавили в сердцах извечное стремление к истинному, справедливому и прекрасному, выдвинув на первый план соображения выгоды и наживы, материальные интересы, деловых людей. Вы знаете, господа, к чему это нас привело. (*Движение в зале.*)

Что касается меня, то, наблюдая за деградацией совести, господством денег, ростом продажности, заполнением самых высоких мест людьми, обуреваемыми самыми низменными страстями (*длительное движение в зале*), наблюдая бедствия нашего времени, я размышляю о великих событиях прошлого, и бывают моменты, когда мне очень хочется сказать палате, прессе, всей Франции: «Давайте поговорим немного об императоре, это пойдет нам на пользу!» (*Живейшее и глубокое одобрение.*)

Да, господа, необходимо иногда вновь ставить в порядок дня, когда представляется случай, великодушные идеи и великодушные воспоминания. Займемся хоть немного, когда это возможно, тем, что было и остается благородным и чистым, славным, гордым, героическим, бескорыстным, национальным, хотя бы в утешение за то, что мы вынуждены так часто заниматься другими вещами. (*Возглас: «Превосходно!»*)

Перехожу теперь к чисто политической стороне вопроса. Я буду очень краток и надеюсь, что палата не будет возражать, если я скажу об этом в нескольких словах.

Я слышал только что, как рядом со мной говорили: «Будьте осторожны! Нельзя так легкомысленно настаивать на отмене закона о политических ссыльных; это опасно; это может вызвать опасность». Опасность! Какую опасность? Что именно? Какие-то происки и козни? Салонные интриги? Неблагодарность и заговоры в отплату за великодушие? Представляет ли все это серьезную угрозу? Нет, господа. Угроза исходит теперь не со стороны принцев. Мы, слава богу, родились не в век и не в стране

казарменных и дворцовых переворотов. Претендент очень мало значит перед лицом свободной, думающей и работающей Франции. Вспомните о провале страсбургской авантюры и вслед за ней — авантюры в Булони.

Хотите ли вы знать, в чем состоит сегодня действительная опасность? Позвольте мне мимоходом сказать вам это, господа. Обратите взгляд не в сторону принцев, а в сторону масс, в сторону многочисленных трудящихся классов. Вы обнаружите там много мужества, много ума, много патриотизма, много полезных задатков и в то же время, я говорю об этом с горечью, много грозных ферментов. Я обращаюсь к правительству с суровым предостережением: недопустимо, чтобы народ страдал! Недопустимо, чтобы народ голодал! Это серьезный вопрос, в нем-то и заключена опасность. В нем, только в нем, господа, и ни в чем другом! (*Возгласы: «Да!»*) Все интриги всех претендентов не смогут заставить самого незаметного из ваших солдат сменить кокарду, а удары вил в Бюзансе могут внезапно разверзнуть перед вами бездну. (*Движение в зале.*)

Я призываю мудрую и славную палату поразмыслить над тем, что я сейчас говорю.

Что же касается изгнанных принцев, о которых идут дебаты, вот что я скажу о них правительству — я настаиваю на этом, ибо таково мое убеждение, а также, я думаю, убеждение многих здравых умов: я допускаю, что при известных обстоятельствах законы об изгнании политических противников, законы, по своей природе всегда крайне революционные, могут быть необходимы в качестве временной меры. Но эта необходимость проходит; и с того дня, как они перестают быть необходимыми, они становятся не только насильственными и несправедливыми, они становятся неразумными.

Изгнание создает угрозу для престола, изгнанники превращаются в претендентов. (*Движение в зале.*) Наоборот, вернуть изгнанным принцам, по их просьбе, гражданские права — значит лишить их всякого значения, значит объявить им, что их не боятся, значит доказать им на деле, что их время прошло. Выражаясь точно, возратить им гражданские качества — значит лишить их политического значения. Это кажется мне очевидным. Поместите же их снова в рамки общих законов; позвольте им, раз

они вас об этом просят, позвольте им, простым и благородным французам, вернуться во Францию, и вы проявите не только справедливость, но и гибкость.

Я не собираюсь, разумеется, возбуждать здесь какие бы то ни было страсти. У меня такое чувство, что, поднимаясь на эту трибуну, я исполняю свой долг. Оказывая изгнанному королю Жерому-Наполеону мою слабую поддержку, я руководствуюсь не только убеждениями моей души, но и воспоминаниями моего детства. В этом долге есть, так сказать, элемент наследственности, и мне кажется, что это мой отец, старый солдат империи, приказывает мне подняться и говорить. (*Сильное волнение в зале.*) Так вот, господа пэры, я и говорю перед вами так, как говорят, исполняя долг. Я обращаюсь, заметьте это, к самым кротким, самым серьезным, самым благочестивым сторонам вашего сознания. Вот почему в заключение я хочу изложить и изложу все свои мысли по поводу отвратительной несправедливости закона, за отмену которого я выступаю.

Господа пэры, статья французского закона, навеки изгоняющая с французской земли семью Наполеона, вызывает у меня какое-то необычайное и невыразимое чувство. Чтобы пояснить свою мысль, позвольте мне сделать почти невероятное предположение. Бесспорно, история первых пятнадцати лет нашего века, та история, которую делали вы, слушающие меня здесь, вы, генералы, почтенные ветераны, перед которыми я преклоняюсь (*движение в зале*), эта история, говорю я, известна всему миру, и, вероятно, в самых отдаленных странах не найдется человеческого существа, которое ничего не слышало бы о ней. В Китае, в одной из пагод, нашли бюст Наполеона среди статуй богов! Так вот! Я делаю предположение, что в каком-то уголке вселенной существует человек, ничего не знающий из этой истории, никогда не слыхавший имени императора, и вот этот человек приезжает во Францию и читает текст закона, гласящий: «Семья Наполеона навеки изгоняется с французской территории». Знаете ли вы, что произошло бы в уме этого иностранца? Такая ужасная суровость заставила бы его спросить себя, кто же такой был этот Наполеон, и он ответил бы себе, что, безусловно, это был большой преступник, что его имя связано с неизгладимым позором, что, повидимому, он отступился от

своих богов, предал свой народ, изменил своей родине и кто знает, что еще? Охваченный ужасом, он, этот иностранец, спросил бы себя, какими же чудовищными преступлениями Наполеон мог заслужить такую вечную кару, распространяющуюся на все поколения его рода? (*Движение в зале.*)

Господа, его преступления — вот они: возвышение религии, составление гражданского кодекса, расширение территории Франции даже за пределы ее естественных границ; его преступления — это Маренго, Иена, Аустерлиц, Ваграм, это самый великолепный дар могущества и славы, который великий человек когда-либо приносил великой нации! (*Возгласы: «Превосходно!» Одобрение.*)

Господа пэры, брат этого великого человека сейчас взывает к вам. Это старец, бывший король, ныне обращающийся с мольбой. Верните ему землю его родины! У Жерома-Наполеона на протяжении первой половины жизни было только одно желание — умереть за Францию. На протяжении второй половины жизни у него была только одна мечта — умереть во Франции. Вы не отвергнете такую мольбу. (*Продолжительные аплодисменты на всех скамьях.*)

ОБРАЩЕНИЯ К ИЗБИРАТЕЛЯМ (1848)

ПИСЬМО ИЗБИРАТЕЛЯМ

Господа!

Я принадлежу моей стране, она вправе располагать мною.

Я полон уважения, быть может даже чрезмерного, к свободе выбора; позвольте же мне на этом основании не выдвигать самому своей кандидатуры.

Я написал тридцать два тома сочинений; восемь моих пьес поставлены в театрах; я шесть раз выступал в палате пэров: четыре раза в 1846 году — 14 февраля, 20 марта, 1 апреля и 5 июля; один раз в 1847 году — 14 июня; один раз в 1848 году — 13 января. Мои речи опубликованы в «Монитер».

Все это широко известно и доступно каждому. Мне не от чего отказываться и нечего добавить.

Я вам себя не представляю. К чему? Каждый человек, который написал за свою жизнь хотя бы одну страницу, уже представлен этой страницей, если он вложил в нее совесть и сердце.

Мое имя и мои произведения, возможно, не совсем безызвестны моим согражданам. И если мои сограждане, свободные и суверенные, сочтут уместным послать меня в качестве их представителя в Собрание, которое будет держать в своих руках судьбы Франции и Европы, я готов без колебаний взять на себя эту суровую обязанность. Я буду исполнять ее с той преданностью, бескорыстием и мужеством, на которые я только способен.

Если же выбор падет не на меня, то я, подобно известному спартанцу, возблагодарю небо за то, что у меня на родине нашлось девятьсот человек достойнее меня.

В этом случае я умолкну, буду ждать и восхищаться великими деяниями, которые свершит провидение.

Если мои сограждане остановят свой выбор на мне и возложат на меня эту важную общественную обязанность, я готов вернуться к политической жизни; если нет — я готов остаться только литератором.

В обоих случаях, каков бы ни был исход, я буду продолжать, как я это делаю на протяжении четверти века, отдавать все силы моего сердца, все мои помыслы, всю мою жизнь и всю мою душу служению родине.

Примите, господа, братские уверения в моей сердечной преданности,

Виктор Гюго

ПОСАДКА ДЕРЕВА СВОБОДЫ НА ВОГЕЗСКОЙ ПЛОЩАДИ

Я с радостью откликнулся на призыв моих сограждан и пришел приветствовать вместе с ними надежды на освобождение, порядок и мир, которые будут расти, смешав свои корни с корнями этого дерева свободы. Поистине нет лучшего и более верного символа свободы, чем дерево. Свобода уходит своими корнями в сердце народа, как дерево — в сердце земли; подобно дереву, ее ветви, распускаясь, устремляются к небу; подобно дереву, она непрестанно разрастается и осеняет целые поколения своей тенью. *(Возгласы одобрения.)*

Первое дерево свободы было посажено восемнадцать столетий тому назад; его посадил сам бог на Голгофе. *(Возгласы одобрения.)* Первое дерево свободы — это тот крест, на котором Иисус Христос принес себя в жертву во имя свободы, равенства и братства человеческого рода. *(Возгласы: «Браво!» Продолжительные аплодисменты.)*

Значение этого дерева совсем не изменилось за восемнадцать столетий; однако мы не должны забывать: новые времена — новые обязанности. Революция, которую совершили шестьдесят лет назад наши отцы, возвеличила

себя войной; революция, которую вы совершаете сегодня, должна возвеличить себя утверждением мира. Первая разрушала, вторая должна созидать. Созидание представляет собой необходимое дополнение разрушения; вот что неразрывно связывает 1848 год с годом 1789-м. Основывать, создавать, производить, умиротворять, осуществлять все права, развивать все великие чувства, заложенные в душе человека, удовлетворять все потребности общества — вот задача будущего.

Впрочем, в наше время будущее приходит быстро. (*Аплодисменты.*)

Можно даже сказать, что будущее это уже не завтра, оно начинается сегодня. (*Возгласы: «Браво!»*) А потому — за дело, за дело, люди физического труда, люди умственного труда, все вы, слушающие и окружающие меня! Завершите великое дело братского содружества всех народов, идущих к одной цели, преданных одной идее, живущих одними чувствами. Станем же все людьми доброй воли, не пожалеем ни нашего труда, ни нашего пота. Посеем среди народа, который нас окружает, а затем и во всем мире чувства взаимного уважения, любви и братства. Вот уже три столетия весь мир подражает Франции. Вот уже три столетия Франция — первая среди наций. А знаете вы, что означают слова «первая среди наций»? Эти слова означают — самая великая; эти слова означают — самая лучшая. (*Возгласы одобрения.*)

Друзья, братья, сограждане, утвердим же величием нашего примера господство наших идей во всем мире! Пусть каждая нация считает для себя гордостью и счастьем походить на Францию. (*Возгласы: «Браво!»*)

Итак, объединенные одной общей идеей, повторите вместе со мной этот клич: «Да здравствует всемирная свобода! Да здравствует всемирная республика!» (*Возгласы: «Да здравствует республика! Да здравствует Виктор Гюго!» Продолжительная овация.*)

РЕЧИ В УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ (1848 — 1849)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

20 июня 1848 года

Господа!

Я поднялся на эту трибуну не для того, чтобы придать еще большее ожесточение волнующим вас прениям и усилить горечь разделяющих вас противоречий. В момент, когда повсюду возникают трудности и повсюду таятся угрозы, я постыдился бы сознательно создавать затруднения для правительства моей страны. Мы переживаем торжественное и решающее испытание; я устыдился бы самого себя, если бы в столь трудный час становления республики, этой величественной формы общественной организации, которую наши отцы видели в прошлом великой и грозной и которую все мы хотим видеть в будущем великой и благодатной, мне взбрело бы на ум тревожить ее мелкими придирками. Вот почему, излагая то немногое, что я имею сказать по поводу национальных мастерских, я постараюсь не терять из виду истину, заключающуюся в том, что в щекотливую и суровую эпоху, которую мы переживаем, необходимы не только твердость в поступках, но и дух примирения в словах.

Вопрос о национальных мастерских уже неоднократно поднимался перед вами, причем ораторы проявляли весьма примечательную возвышенность взглядов и идей. Я не буду возвращаться к тому, что уже было сказано, и не стану приводить известные вам цифры. По моему мнению, я заявляю вам это с полной откровенностью, создание национальных мастерских могло быть и действительно было необходимостью; но отличительная черта подлин-

ных государственных деятелей в том именно и состоит, чтобы уметь извлечь пользу из каждой необходимости, а иногда даже роковое стечение обстоятельств повернуть на благо государству. Я вынужден отметить, что из данной необходимости польза для государства извлечена не была.

Что прежде всего поражает меня, как и всех здравомыслящих людей, в организации национальных мастерских в том виде, в каком они были созданы, это напрасная трата огромных сил. Мне известно, что господин министр общественных работ обещал принять необходимые меры; однако, пока осуществление этих мер всерьез не началось, мы обязаны поговорить о том, что существует сегодня и грозит продлиться, быть может, даже надолго; во всяком случае мы вправе, осуществляя контроль, вернуться к анализу содеянных ошибок, дабы избежать, если это только возможно, новых ошибок.

Итак, я сказал, что до сегодняшнего дня самым очевидным в организации национальных мастерских является напрасная трата огромных сил. И в какой момент? В момент, когда изнуренная нация нуждалась во всех своих ресурсах — в рабочих руках так же, как и в капиталах. Что же произвели за четыре месяца национальные мастерские? Ничего.

Я не могу заниматься перечислением работ, которые необходимо было срочно выполнить, ибо в них нуждалась страна, — всем вам это хорошо известно; но обратите внимание вот на какое обстоятельство: с одной стороны — необъятное поле деятельности, с другой стороны — огромное число свободных рабочих рук. А результат? Ничто. *(Движение в зале.)*

Ничто? Нет, я ошибся. Результат был, но огорчительный, огорчительный вдвойне: огорчительный с точки зрения финансовой и огорчительный с точки зрения политической.

Тем не менее суровость моей оценки допускает известную скидку; я не иду так далеко, как те, кто со строгостью, пожалуй слишком близкой к злобе для того, чтобы быть вполне справедливой, утверждают: «Национальные мастерские — предприятие пагубное. Создав их, вы способствовали вырождению могучих людей труда; вы отняли у части населения вкус к труду, вкус благотворный, вкус,

порождавший чувство собственного достоинства, гордость, самоуважение, здоровое сознание. Тех, кто до сих пор знал лишь благородную силу работающих рук, вы научили постыдному занятию — протягивать руку за подачкой; вы отучили плечи рабочего нести гордую ношу честного труда, вы приучили его сознание к унижительному бремени милостыни. Нам уже была знакома праздность богатства, вы создали праздность нищеты, во сто раз более опасную как для самого нищего, так и для других. Монархия плодила бездельников, республика наплодит лодырей». *(Знаки одобрения в зале.)*

Я не поддерживаю подобные речи, слишком резкие и слишком мрачные, я не иду так далеко. Нет, героический народ июля и февраля не вырождается никогда. Праздность, столь губительная для цивилизации, возможна в Турции; в Турции, но никак не во Франции. Париж не будет брать пример с Неаполя; никогда, ни при каких обстоятельствах Париж не будет брать пример и с Константинополя. Никогда, кто бы этого ни захотел, никогда никому не удастся превратить наших благородных и разумных рабочих, читающих книги и мыслящих, умеющих рассуждать и умеющих слушать, никогда никому не удастся превратить их в ладзарони в мирное время и в янычар в случае войны. Никогда! *(Сильное волнение в зале.)*

Слова «кто бы этого ни захотел», только что произнесенные мною, вырвались у меня случайно. Мне не хотелось бы, чтобы вы усмотрели в них заднюю мысль, попытку намеками обвинить кого-то. В тот день, когда я сочту необходимым обвинять, я буду обвинять, а не изъясняться намеками. Нет, я не думаю, я не могу подумать — я говорю это с полной искренностью, — что подобная чудовищная идея могла созреть в чьем бы то ни было мозгу и в особенности в мозгу одного или нескольких из наших правителей — идея превратить парижского рабочего в кондотьера и создать в самом цивилизованном городе мира из чудесных людей, составляющих его рабочее население, мятежников-преторианцев на службе диктатуры. *(Продолжительное движение в зале.)*

Нет, подобной мысли ни у кого не возникало. Такая мысль была бы кощунством по отношению к народу. *(Возглас: «Правильно!»)* Горе тем, кому она когда-либо взбредет в голову! Горе тем, кто попытался бы провести

ее в жизнь! Ибо народ — не сомневайтесь в этом, — народ, с присущим ему умом, тотчас разобрался бы в этом и в тот же день поднялся бы как один человек против этих тиранов, прикидывающихся льстецами, против этих деспотов, переодетых в угодников, и он был бы не только суров, он был бы страшен. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Отбрасывая подобный ход мыслей, я ограничусь тем, что скажу: даже если мы оставим в стороне вопрос об ущербе, причиняемом национальными мастерскими нашим финансам, то национальные мастерские, в том виде, в каком они существуют сейчас и грозят оставаться в будущем — об этой опасности вас уже предупреждали, и я тоже настаиваю на ней, — могли бы непоправимо исказить характер парижского рабочего.

Так вот, я принадлежу к числу тех, кто не хочет допустить искажения характера парижского рабочего; я принадлежу к числу тех, кто хочет, чтобы эта благородная порода людей сохранила свою чистоту; я принадлежу к числу тех, кто хочет, чтобы рабочие сохранили свое мужественное достоинство, свой вкус к труду, свою храбрость, одновременно и плебейскую и рыцарскую; я принадлежу к числу тех, кто хочет, чтобы эта благородная порода людей, которой восхищается весь мир, оставалась достойной восхищения.

Почему же я хочу этого? Я хочу этого не только ради самих парижских рабочих, я хочу этого ради всех нас; я хочу этого во имя той роли, которую играет Париж в мировой цивилизации.

Париж в настоящее время является столицей всего цивилизованного мира...

Голос с места. Это всем известно. (*Смех в зале.*)

Виктор Гюго. Безусловно, это всем известно! Я восторгаюсь тем, кто меня прервал! Было бы странно и невероятно, если бы Париж был столицей мира, а мир ничего об этом не знал. (*Возгласы: «Превосходно!» Смех.*) Я продолжаю. Чем некогда был Рим — тем стал теперь Париж. То, что Париж советует, Европа подхватывает; то, что Париж начинает, Европа продолжает. Париж играет важнейшую роль среди всех наций. Париж облечен привилегией совершать в определенные эпохи, властно, а иногда даже грубо, великие дела; свобода 1789, респуб-

лика 1792, июль 1830, февраль 1848; и кто же совершает эти великие дела? Мыслители Парижа их готовят, а рабочие Парижа их осуществляют. (*Различные выкрики в зале.*)

Вот почему я хочу, чтобы рабочий Парижа оставался таким, каков он есть: благородным и отважным тружеником, солдатом, если того требуют высокие идеи — идеи, а не мятеж (*сильное волнение в зале*), — зачинателем, подчас отчаянным, революций, великодушным, рассудительным, разумным и бескорыстным. Вот в чем состоит великая роль парижского рабочего. И я с негодованием отмечаю от него все, что может его развратить.

Вот почему я становлюсь в оппозицию к национальным мастерским.

Необходимо, чтобы национальные мастерские поскорее превратились из учреждения вредного в учреждение полезное.

Г о л о с а. Каким образом?

Виктор Гюго. Только что, в начале своей речи, я указал вам на эти средства; правительство их перечислило вчера, и я прошу у вас разрешения не повторяться.

Многие депутаты. Продолжайте! Продолжайте!

Виктор Гюго. Слишком много времени уже потрачено впустую; необходимо, чтобы обещанные меры были возможно скорее осуществлены. Это — самое главное. На это-то я и обращаю внимание Собрания и его представителей в органах исполнительной власти.

Я буду голосовать за кредиты только при условии, если мои замечания будут учтены.

Если завтра нам объявят, что меры, о которых говорил господин министр общественных работ, действительно осуществляются и что мы решительно вступили на этот путь, то все мои возражения отпадут. Разве вы не считаете, что сейчас, когда мы зря теряем время, когда силы Франции истощаются, важнее всего поощрить полезные действия правительства?

В заключение, господа, позвольте мне с высоты этой трибуны обратиться по поводу национальных мастерских... — боже мой, это имеет прямое отношение к обсуждаемому вопросу, ибо национальные мастерские представляют собой лишь печальную деталь печального целого... — позвольте же мне с высоты этой трибуны обратиться

с несколькими словами к группе суровых и убежденных в своей правоте мыслителей, именуемых социалистами (*возгласы: «Ого! Слушайте! Слушайте!»*), и вместе с ними бросить беглый взгляд на тот главный вопрос, который волнует сейчас все умы и обостряет все события; иными словами, давайте посмотрим в корень современного положения.

По моему мнению, основной вопрос, который занимает Францию сейчас и заполняет собою ее будущее, заключается не в словах, а в делах. Было бы ошибочным искать его в слове *«республика»*; на самом деле он заключается в необходимости *установления демократии*; это факт первостепенного значения, который должен определить окончательную структуру современного общества. Установление демократии мирным путем и составляет, я это утверждаю, цель каждого серьезного мыслителя.

Именно потому, что вопрос заключается в необходимости *установления демократии*, а не в слове *«республика»*, правы те, кто утверждал, что возникающая перед нами сегодня проблема, угрожающая по мнению одних, многообещающая по мнению других, представляет собою проблему не политическую, а социальную.

Господа народные представители, вся проблема состоит в положении народа. Я говорил об этом менее года тому назад в другом Собрании и имею право повторить это сегодня здесь; уже в течение многих лет весь вопрос сводится к бедствиям народа: к бедствиям деревни, страдающей от недостатка рабочих рук, и к бедствиям города, страдающего от их избытка; к бедствиям рабочего, лишенного работы и задыхающегося в своей каморке от недостатка воздуха; к бедствиям ребенка, вынужденного ходить босиком; к бедствиям несчастных девушек, которых гложет нужда и пожирает проституция; к бедствиям бездомных стариков, которых отсутствие социальной справедливости толкает на отрицание справедливости божественной; вопрос стоит о тех, кто страдает, о тех, кто мерзнет и голодает. Вот в чем состоит вопрос. (*Возгласы: «Да! Да!»*)

Так вот, я, сам — социалист, обращаюсь к нетерпеливым социалистам: неужели вы думаете, что эти страдания не раздирают нам сердце? Неужели вы думаете, что мы равнодушно взираем на них? Разве вы можете думать,

что эти страдания не вызывают в нас самого искреннего уважения, глубочайшей любви, самого пламенного и проникновенного сочувствия? О! Как вы заблуждаетесь, если думаете так! (*Глубокое волнение в зале.*) Однако сейчас, в переживаемый нами момент, мы говорим вам следующее.

После великих февральских событий, в результате глубоких потрясений, которые повлекли за собой неизбежные крушения, в бедственном положении оказалась не только часть населения, именуемая обычно народом; бедствия распространились на всю нацию в целом. Не стало доверия, кредит, промышленность, торговля пришли в упадок, резко сократился спрос на товары, сбыт затруднен, число банкротств непрерывно растет, заработная и арендная плата не выплачиваются, все подкосилось разом, богатые семьи стеснены в средствах, семьи среднего достатка обнищали, а бедные семьи голодают.

Я считаю, что революционная власть просчиталась. В этом повинны ошибочные поступки, а также в первую очередь роковое стечение обстоятельств.

Социальная проблема была поставлена. Что касается меня, вот как я понимал пути ее разрешения: никого не запугивать, всех успокоить, предоставить тем классам, которых до сих пор называют обездоленными, возможность пользоваться социальными благами, то есть обеспечить им образование, благосостояние, изобилие продуктов потребления, дешевую жизнь, небольшую собственность...

Голоса нескольких членов Собрания. Превосходно!

Голоса с разных сторон. Мы с вами согласны. Но как этого достигнуть?

Виктор Гюго. Одним словом — распространить богатства на низшие слои общества. Сделано же обратное: распространили нищету на верхние слои.

Что же получилось в результате? Мрачная обстановка, при которой все то, что еще не потеряно, находится под угрозой, а все то, чему не угрожает опасность, поставлено под вопрос; наступило, я это повторяю, всеобщее оскудение, на фоне которого бедствия народа — не более как осложняющее обстоятельство, душераздирающая деталь огромной катастрофы.

Мою невыразимую скорбь усугубляет еще и то, что нашими несчастиями пользуются, что на них наживаются другие. В то время как Париж бьется в припадке, который наши враги ошибочно принимают за агонию, Лондон торжествует, Лондон празднует; торговля там возросла втрое, промышленность, богатство, роскошь перекочевали туда. О! Те, кто будоражит улицу, те, кто гонит народ на городские площади, те, кто призывает к беспорядкам и восстаниям, те, кто своими действиями вызывает утечку капиталов и закрытие магазинов, — все эти люди не в ладах с логикой — я это легко допускаю, но я не могу примириться с мыслью, что они к тому же и плохие французы, и я говорю им, я кричу им: будоража Париж, возбуждая массы, провоцируя смуту и мятеж, понимаете ли вы, что творите? Вы укрепляете силы, величие, богатство, мощь, процветание и преобладание Англии. (*Длительное движение в зале.*)

Да, в переживаемый нами час Англия, усмехаясь, усаживается на краю той пропасти, в которую падает Франция. (*Сильное волнение в зале.*) О! Бесспорно, бедствия народа волнуют нас; мы принадлежим к числу тех, кому они причиняют наибольшие страдания. Да, бедствия народа волнуют нас, но бедствия Франции нас также тревожат. Мы испытываем глубокую жалость к рабочему, подвергающемуся алчной и жестокой эксплуатации, к голодному ребенку, к безработной и лишенной поддержки женщине, к пролетарским семьям, влачащим в течение длительного времени жалкое, угнетенное существование; но мы испытываем не меньшую жалость к родине, распятой на кресте революций и истекающей кровью, к Франции, нашей священной Франции, которая, если все это продлится, потеряет свою мощь и свое величие, потеряет свой свет в глазах вселенной. (*Возглас: «Превосходно!»*) Невозможно допустить, чтобы эта агония продолжалась; невозможно допустить, чтобы разорение и упадок поглотили и уничтожили шаг за шагом все жизненные силы нашей страны.

Возглас. Как это сделать?

Виктор Гюго. Как сделать? Я только что сказал: обеспечить спокойствие на улицах, единение в городах, сильное правительство, добрую волю в труде, добросовестность во всем. (*Возглас: «Да! Это правильно!»*)

Я повторяю: агония не должна продолжаться; нельзя допустить, чтобы все жизненные силы были погублены одна за другой. Кому это может быть полезно у нас? С каких пор нищета богачей стала богатством бедняков? В таком положении я мог бы усмотреть месть долго страдавших классов, но я никак не могу усмотреть в этом счастья для них самих. (*Возглас: «Превосходно!»*)

В этой крайне сложной обстановке я от глубины сердца, со всей искренностью обращаюсь к философам-зачинателям, к мыслителям-демократам — к социалистам, и говорю им: среди вас есть благородные сердца, могучие и доброжелательные умы, вы, так же как и мы, хотите блага Франции и человечеству. Так помогите же нам! Помогите! Ведь налицо не только бедственное положение рабочих, но и бедствие всей Франции. Не сейте же возбуждения там, где нужно умиротворять, не вооружайте несчастье одних против несчастья других; не поднимайте мятеж отчаяния против отчаяния. (*Возглас: «Превосходно!»*)

Берегитесь же! Два бича занесены над вами, два чудовища стоят за вами и за нами и рычат во тьме; это — гражданская война и война рабов (*волнение в зале*), иными словами — лев и тигр; не спускайте их с цепи! Во имя неба — помогите нам!

Во всех тех случаях, когда вы не посягаете на семью и собственность, эти святые основы, на которых зиждется вся цивилизация, мы признаем вместе с вами новые стремления человечества; признайте же вместе с нами сегодняшние потребности общества. (*Движение в зале.*)

Г - н Ф л о к о н, министр земледелия и торговли. Скажите лучше — «постоянные потребности».

Г о л о с. Извечные потребности.

В и к т о р Г ю г о. Я слышу, что кто-то сказал «извечные потребности». Мне кажется, что я высказал свою мысль достаточно ясно для того, чтобы меня правильно поняли. (*Возгласы: «Да! Да!»*) Не может быть сомнения в том, что человек, выступающий перед вами, не принадлежит к числу людей, отрицающих или ставящих под сомнение извечные потребности общества. Я указываю на неотложную необходимость избежать надвигающуюся на нас страшную опасность, и перед лицом этой серьезной опасности я взываю ко всем добрым гражданам,

независимо от цвета и оттенка, ко всем тем, кто хочет блага Франции и величия своей страны, и я говорю тем мыслителям, к которым я только что обращался: поскольку народ вам верит, поскольку вы обладаете сладостным и бесценным даром внушать к себе любовь, поскольку народ прислушивается к вам, я заклинаю вас, — внушите ему, что он не должен руководствоваться чувством гнева и устремляться на путь разрыва, внушите ему, что он не должен форсировать события, внушите ему необходимость возвращения к порядку, к мыслям о труде и мире, ибо будущее несет благо для всех, несет благо для народа! Нужно всего лишь немного терпения и духа братства; и было бы ужасно, если бы Франция — этот первый корабль во флоте всех наций — из-за бунта экипажа затонул бы у входа в великолепную гавань, ожидающую человечество, гавань, которую сноп яркого света уже позволяет нам различать. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

ЗА СВОБОДУ ПЕЧАТИ И ПРОТИВ АРЕСТА ПИСАТЕЛЕЙ

Я чувствую, что Собрание с нетерпением ожидает прекращения прений; поэтому я скажу всего несколько слов. (*Возгласы: «Говорите! Говорите!»*)

Я принадлежу к числу тех, кто убежден — сейчас более, чем когда-либо, в особенности со вчерашнего дня, — что при нынешних обстоятельствах добрый гражданин обязан воздерживаться от всего того, что может ослабить власть, столь необходимую для поддержания общественного порядка. (*Возглас: «Превосходно!»*)

Вот почему я отказываюсь вдаваться в те вопросы, которые могли бы разжечь страсти, и мне тем легче принести эту жертву, что я преследую ту же цель, что и вы, ту же цель, что и исполнительная власть; эта цель, понятная всем вам, может быть выражена в нескольких словах: вооружить сторонников общественного порядка и обезоружить его врагов. (*Одобрительные возгласы.*)

Моя мысль, как видите, совершенно ясна; но так как выступление господина министра юстиции посеяло во мне

некоторые сомнения, я прошу у правительства разрешения задать ему один вопрос.

Находимся ли мы на осадном положении или под властью диктатуры? Вот в чем, с моей точки зрения, состоит вопрос.

Если мы находимся на осадном положении, то закрытые газеты, подчинившись требованиям законов, имеют право вновь начать выходить. Если же мы находимся под властью диктатуры — тогда дело другое.

Демосфен Оливье. Кто же мог установить диктатуру?

Виктор Гюго. Я прошу главу исполнительной власти дать объяснения по этому поводу.

Что касается меня, то я думаю, что в течение четырех дней диктатура, вызванная настоятельной необходимостью, была справедливой и законной. По прошествии этих четырех дней можно было ограничиться осадным положением.

Осадное положение, заявляю я, необходимо; но осадное положение есть состояние законное и вполне определенное, и мне кажется недопустимым оставлять за исполнительной властью права неограниченной диктатуры, тогда как вы намеревались предоставить ей только права, вытекающие из осадного положения.

Теперь, если исполнительная власть считает полномочия, предоставленные ей Собранием, недостаточными, пусть она заявит об этом, и пусть Собрание рассудит. Что касается меня, то когда речь идет о первой и самой существенной из наших свобод, я не могу не выступить в защиту этой свободы. Защищать сегодня общество, завтра свободу, защищать и то и другое, защищать одно при помощи другого — вот как я понимаю свои обязанности депутата, свое право гражданина и свой долг писателя. (*Движение в зале.*)

Итак, если правительство хочет быть облечено диктаторской властью, пусть оно скажет об этом, и пусть Собрание решает.

Генерал Кавеньяк, глава исполнительной власти, председатель Совета министров. Не бойтесь, милостивый государь, мне не нужна такая власть; с меня вполне достаточно и той, что я имею, у меня даже

слишком много власти; умерьте вашу тревогу! (*Возгласы одобрения.*)

Виктор Гюго. В ваших же собственных интересах позвольте мне, мыслителю, сказать вам, властителю... (*Оратора прерывают продолжительными выкриками.*)

Я должен объяснить свое выражение, которое Собрание могло понять превратно.

Когда я говорю — мыслитель, я хочу сказать, что я — литератор, ведь все вы так меня и поняли. (*Возгласы: «Да, да!»*)

Так вот, в интересах будущего еще больше, чем в интересах настоящего, хотя это настоящее, поверьте мне, беспокоит меня не меньше, чем любого из вас, я говорю исполнительной власти: будьте осторожны! Огромная власть, которой вы обладаете...

Генерал Кавеньяк. Да нет же!

Депутат левой. Вносите предложение. (*Различные выкрики.*)

Председатель. Невозможно продолжать прения, когда подаются реплики с мест.

Виктор Гюго. Пусть правительство разрешит мне сказать ему — я отвечаю на слова прервавшего меня уважаемого генерала Кавеньяка, — что при нынешних обстоятельствах, при той значительной власти, которой оно облечено, ему следует остеречься от посягательств на свободу печати, ему следует уважать эту свободу! Пусть правительство не забывает, что свобода печати — это оружие той цивилизации, которую мы совместно защищаем. Свобода печати существовала до вас, она будет существовать и после вас. (*Возбуждение в зале.*)

Вот что я хотел ответить прервавшему меня уважаемому генералу Кавеньяку.

Теперь я прошу правительство сообщить, каким образом оно намерено употребить ту власть, которую мы ему доверили. Я со своей стороны считаю, что существующих законов, если их энергично применять, вполне достаточно. Я не разделяю мнения министра юстиции, который, повидимому, полагает, что мы находимся в состоянии некоего междуцарствия в законодательстве и что, прежде чем возбудить судебное преследование, нужно дождаться принятия Собранием нового закона. Если память мне не изменяет, 24 июня уважаемый генеральный прокурор Па-

рижского апелляционного суда объявил закон о печати от 16 июля 1828 года имеющим силу. Обратите внимание на это противоречие. Существует ли действующее законодательство о прессе? Генеральный прокурор говорит — да, министр юстиции говорит — нет. (*Движение в зале.*) Я разделяю мнение генерального прокурора.

В настоящий момент, вплоть до издания нового закона, деятельность нашей прессы регулируется законодательством 1828 года. Я полагаю, что если у нас существует только осадное положение, если у нас нет неограниченной диктатуры, то закрытые газеты, подчинившись требованиям этого законодательства, имеют право издаваться вновь. (*Волнение в зале.*) Так я ставлю вопрос и прошу объяснения на этот счет. Я повторяю, что дело идет о свободе, и добавляю, что в Национальном собрании, в Собрании народном, как наше, вопросы, касающиеся свободы, должны рассматриваться, не скажу — с осторожностью, скажу — с уважением. (*Возгласы одобрения.*)

Что же касается газет, то я не намерен распространяться на их счет, я не намерен высказывать своего мнения о них, так как для большинства из них это мнение оказалось бы, повидимому, очень суровым. Вы понимаете, что чем оно более сурово, тем больше у меня оснований умолчать о нем; я не хочу использовать свою возможность нападать на них в то время, когда они лишены возможности защищаться. (*Движение в зале.*) Я весьма неохотно употребляю выражение «запрещенные газеты»; термин «запрещенные» не кажется мне ни справедливым, ни благоразумным; газеты, выпуск которых приостановлен, — вот те слова, которыми должна была бы пользоваться исполнительная власть. (*Министр юстиции знаком выражает согласие.*) Я не нападаю в настоящий момент на исполнительную власть, я даю ей совет. Я хотел и хочу остаться в пределах самого умеренного обсуждения вопроса. Умеренное обсуждение — всегда самое полезное обсуждение. (*Возглас: «Превосходно!»*)

Я мог бы сказать, заметьте, что правительство посягнуло на собственность, на свободу мысли, на свободу личности одного писателя, что этого писателя без объяснения причин девять дней держали в одиночном заключении и одиннадцать дней под арестом. (*Движение в зале.*)

Повторяю, я не хотел касаться и не коснусь этой стороны вопроса, разжигающей страсти. Я просто хочу получить разъяснение, чтобы по окончании этого заседания газеты могли знать, чего им следует ожидать от властей, управляющих страной.

Я убежден, что разрешить им выходить вновь, строго ограничив их рамками закона, было бы одновременно актом истинной справедливости и разумной политической мерой; справедливость такого решения не требует доказательств; что же касается политической стороны вопроса, то мне кажется очевидным, что газеты, под давлением нынешних обстоятельств, в обстановке осадного положения, сами умерили бы первый взрыв своей свободы. А именно этот взрыв и было бы полезно умерить в интересах общественного спокойствия. Отсрочить момент взрыва — значит сделать его более опасным, вследствие длительности сдерживания. (*Движение в зале.*) Взвесьте это, господа.

Я обращаюсь к уважаемому генералу Кавеньяку с формальным запросом: пусть он сообразовал бы сказать нам, считает ли он, что запрещенные газеты, подчинившись существующим законам, могут немедленно начать выходить, или же они должны, в ожидании нового законодательства, пребывать в своем нынешнем состоянии, не живые и не мертвые, не только ограниченные правилами осадного положения, но и осужденные на смерть диктатурой. (*Длительное движение в зале.*)

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2 сентября 1848 года

Прения зашли в такую стадию, что, мне кажется, было бы полезно перенести их продолжение на понедельник. (*Возгласы: «Нет! Нет! Говорите! Говорите!»*) Я полагаю, что Собрание не пожелает закрывать прения до тех пор, пока не выскажутся все. (*Возгласы: «Нет! Нет!»*)

Я хочу ответить главе исполнительной власти всего лишь одним словом, но мне кажется необходимым перевести вопрос на его истинную почву.

Для того чтобы мы могли здраво обсудить конституцию, необходимы две вещи: свобода Собрания и свобода печати. (*Различные выкрики в зале.*)

С моей точки зрения, истинная суть вопроса заключается вот в чем: предполагает ли осадное положение отмену свободы печати? Исполнительная власть говорит — да; я говорю — нет. Кто же из нас ошибается? Если Собрание не решится высказаться, нас рассудят история и будущие поколения.

Национальное собрание ввело осадное положение, чтобы облегчить исполнительной власти подавление восстания, и установило законы, чтобы облегчить ей обуздание печати. Когда же исполнительная власть смешивает осадное положение с полной отменой законов, она глубоко заблуждается, и ее следует об этом предупредить. (*Голос слева: «Превосходно!»*)

Вот что мы должны сказать исполнительной власти.

Национальное собрание намеревалось предотвратить гражданскую войну, но не запретить обмен мнений; оно хотело вырвать оружие из рук людей, но не задушить их совесть. (*Одобрительные возгласы слева.*)

Чтобы восстановить мир на улицах, вы располагаете осадным положением; чтобы сдержать прессу, у вас имеются трибуналы. Не пользуйтесь же осадным положением для борьбы с прессой; вы применяете не то оружие и, полагая, что защищаете общество, на деле наносите рану свободе. (*Движение в зале.*)

Вы сражаетесь за священные принципы — за порядок, за семью, за собственность; мы последуем за вами, мы поможем вам в борьбе; но мы хотим, чтобы вы сражались, опираясь на законы.

Г о л о с. Кто — мы?

Виктор Гюго. Мы — все Собрание. (*Голоса слева: «Превосходно! Превосходно!»*)

Я не могу не напомнить, что различие между осадным положением и отменой существующих законов подчеркивалось неоднократно и было понято и осознано всеми вами.

Осадное положение есть положение вполне определенное и законное — об этом уже говорилось; отмена законов есть положение чудовищное, в которое палата не захочет поставить Францию (*движение в зале*), в которое великое

Собрание никогда не захочет поставить великий народ!
(*Снова движение в зале.*)

Я не могу допустить, чтобы исполнительная власть таким образом трактовала свои полномочия. Что касается меня, я заявляю, что, голосуя за осадное положение, я имел в виду вооружить правительство всеми социальными средствами для защиты порядка; я отдал ему всю ту власть, которой я располагал как депутат; но я не санкционировал диктатуру, но я не отдал на ее произвол свободу мысли, но я не намеревался предоставить ей право цензуры и конфискации! (*Возгласы одобрения на многих скамьях. Возгласы протеста на других.*) Цензура и конфискация — вот что в настоящий момент препятствует деятельности органов, призванных выражать общественное мнение. (*Возгласы: «Да! Превосходно!»*) Подобное положение несовместимо с обсуждением конституции. Необходимо, повторяю, чтобы печать была свободна, так как от свободы печати не в меньшей мере, чем от свободы самого Собрания, зависит качество и прочность конституции.

С моей точки зрения, эти два условия неотделимы одно от другого, и я не могу допустить, что Собрание будет в достаточной мере свободным, то есть в достаточной мере осведомленным (*восклицания в зале*), если рядом с ним не будет свободной печати и если свобода мнений за пределами Собрания не будет освещать своим светом ваши свободные дискуссии.

Я прошу господина председателя совета министров объяснить нам раз навсегда, каким образом он понимает осадное положение (*возглас: «Он уже сказал!»*); мы должны знать, подразумевает ли господин председатель совета министров под осадным положением отмену законов. Что касается меня, то, признавая осадное положение необходимым, я тотчас же проголосовал бы за его отмену, если бы его трактовали подобным образом; я убежден, что при таком толковании осадного положения вместо преходящей опасности — восстания — пришло бы величайшее несчастье — унижение нации. (*Движение в зале.*) Пусть продлится осадное положение, но пусть при этом уважают законность — вот чего я требую, вот чего жаждет общество, стремящееся обеспечить порядок, вот чего хочет общественное мнение, стремящееся сохранить свободу. (*Голоса: «Голосуйте! Прекратить прения!»*).

Я сожалею, что этот вопрос, быть может самый важный из всех, ставится на обсуждение почти внезапно и застает ораторов неподготовленными.

Что касается меня, я буду немногословен, но слова мои будут исходить из чувства глубокой, издавна сложившейся убежденности.

Вы только что освятили неприкосновенность жилища, мы просим вас освятить неприкосновенность еще более высокую и священную — неприкосновенность человеческой жизни.

Господа, конституция, и в особенности конституция, созданная Францией и для Франции, обязательно должна быть новым шагом по пути цивилизации. Если она не является шагом по пути цивилизации — она ничто. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Так вот, подумайте — что такое смертная казнь? Смертная казнь есть отличительный и вечный признак варварства. (*Движение в зале.*) Всюду, где свирепствует смертная казнь, господствует варварство; всюду, где смертная казнь — явление редкое, царит цивилизация. (*Сильное волнение в зале.*)

Господа, все это — неоспоримые факты. Смягчение мер наказания — большой и серьезный прогресс. Восемнадцатый век — и в этом состоит часть его славы — упразднил пытки; девятнадцатый век упразднит смертную казнь! (*Живейшее одобрение. Возгласы: «Да, да!»*)

Возможно, вы не упраздните смертную казнь сегодня; но, будьте уверены, вы упраздните ее завтра или ее упразднят ваши преемники. (*Возгласы: «Мы упраздним ее!» Волнение в зале.*)

Введение к вашей конституции вы начинаете словами: «Перед лицом бога» и тут же хотите отнять у этого бога то право, которое принадлежит ему одному, — право даровать жизнь и смерть. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Господа, есть три вещи, подвластные богу, а не человеку: безвозвратное, непоправимое, нерасторжимое. Горе человеку, если он вводит их в свои законы! (*Движение в зале.*) Рано или поздно общество согнется под их

тяжестью; они нарушают необходимое равновесие между нравами и законами; они делают человеческое правосудие несоразмерным; и вот что происходит в результате — подумайте об этом, господа, — совесть в ужасе отступает перед законом. (*Сильное волнение в зале.*)

Я поднялся на эту трибуну, чтобы сказать вам только одно слово, но, с моей точки зрения, слово решающее. Вот оно, это слово. (*Возгласы: «Слушайте! Слушайте!»*)

После февраля в народе созрела великая мысль: на следующий день после того, как народ сжег трон, он захотел сжечь эшафот. (*Голоса: «Очень хорошо!» Другие голоса: «Очень плохо!»*)

Те, кто тогда влиял на его разум, не поднялись, я глубоко об этом сожалею, до уровня его благородной души. Ему помешали осуществить эту величественную идею.

Так вот! В первой статье конституции, за которую вы голосуете, вы только что освятили первую мечту народа — вы опрокинули трон. Освятите же и другую его мечту — опрокиньте эшафот. (*Аплодисменты слева. Протесты справа.*)

Я подаю свой голос за полную, безоговорочную и окончательную отмену смертной казни.

РОСПУСК СОБРАНИЯ

29 января 1849 года

Я сразу же включаюсь в обсуждение вопроса и начинаю с того пункта, на котором остановился предыдущий оратор. Время идет, и я не стану долго занимать эту трибуну.

Я не буду следовать за distinguished оратором и останавливаться на различных политических соображениях, которые он затрагивал одно за другим; ограничусь лишь обсуждением права Собрания продолжать свою деятельность или принять решение о самороспуске. Предыдущий оратор стремился разжечь страсти, я постараюсь их умерить. (*Переешептывание слева.*)

Однако если, излагая свои мысли, я столкнусь с политическими вопросами, соприкасающимися с теми, которые

поднимал достопочтенный и красноречивый оратор, то он может быть уверен, что избегать их я не стану.

Не знаю, понравится ли это достопочтенному оратору, но я принадлежу к тем, кто считает, что наше Собрание получило одновременно и неограниченные и ограниченные полномочия. (*Различные выкрики.*)

Председатель. Прошу всех депутатов соблюдать тишину. Надо выслушать господина Виктора Гюго, как слушали господина Жюля Фавра.

Виктор Гюго. Не ограниченные в том, что касается верховной власти Собрания, ограниченные же — по стоящей перед ним задаче. (*Возгласы: «Превосходно!» Движение в зале.*) Я принадлежу к тем, кто думает, что полномочия Собрания исчерпываются завершением конституции и что первым следствием принятия конституции должен быть, согласно политической логике, роспуск Учредительного собрания.

И действительно, господа, — что такое Учредительное собрание? Это революция, которая действует и обсуждает, имея перед собой неограниченные горизонты. А что такое конституция? Это революция, которая завершена и отныне заключена в определенные рамки. Так вот, можно ли представить себе такое положение: революция завершена принятием конституции и в то же время она продолжается, ибо существует Учредительное собрание? Или, иначе говоря, провозглашено окончательное и при этом сохранено временное. Утверждение и отрицание одновременно. Конституция управляет нацией, но не управляет парламентом! Все это противоречит друг другу и взаимно исключается. (*Сильное волнение в зале.*)

Я знаю, что, согласно тексту конституции, вы взяли на себя миссию принимать так называемые органические законы. Поэтому я не стану говорить, что издавать их не надо; скажу лишь, что надо издавать возможно меньше таких законов. Почему? Да разве органические законы являются частью конституции? Разве на них распространяются ее преимущества и неприкосновенность? О, если так, ваше право и ваш долг принять как можно больше таких законов. Но ведь органические законы — это не что иное, как обычные законы; органические законы — такие же законы, как и все другие; они могут быть переделаны, изменены, отменены без особых формальностей. В то

время как конституция, вооруженная вами, будет защищаться, они могут рухнуть от первого толчка первого же Законодательного собрания. Это бесспорно. Но в таком случае для чего же множить их, для чего создавать их в условиях, когда они едва ли могут оказаться жизнеспособными? Учредительное собрание не должно предпринимать ничего, что не вызывается необходимостью. И не будем забывать, что там, где Собрание, подобное нашему, не может поставить печать своей верховной власти, оно неизбежно ставит печать своей слабости.

Итак, я говорю, что надо ограничиться очень небольшим числом органических законов, которые конституция обязывает вас принять.

Коснусь, но коротко, так как при существующих обстоятельствах не следует обострять прения, деликатного вопроса, который я назвал бы вопросом самолюбия. Я имею в виду конфликт, который стараются вызвать между правительством и Собранием в связи с предложением Рато. Повторяю, что я затрону этот вопрос бегло. Вы все понимаете причину — она вытекает из патриотизма, моего и вашего. Скажу только — и этим ограничусь, — что этот вопрос, поставленный таким образом, этот конфликт, эта обидчивость — все это ниже вас. (*Возгласы: «Да! Да!» Одобрение.*) Великие Собрания, подобные данному, не подвергают опасности мир в своей стране из-за обидчивости, они действуют и руководствуются соображениями более высокими. Великие Собрания, господа, умеют встретить час своего политического отречения свободно и с достоинством; и в день своего прихода к власти и в день своей отставки они подчиняются одному-единственному побуждению — общественной пользе. Вот то чувство, к которому я взываю, которое я хотел бы пробудить в ваших душах.

Итак, я отстраняю, как опровергнутые при обсуждении, три аргумента, из которых один основывается на природе наших полномочий, другой — на необходимости вотировать органические законы и третий — на излишней обидчивости Собрания по отношению к правительству.

Перехожу к последнему возражению, по-моему, еще не поколебленному, лежавшему в основе замечательной речи, которую вы только что слышали. Вот это возражение.

Настаивая на роспуске Собрания, мы ссылаемся на политическую необходимость. Те, кто желает его сохранить, также выдвигают перед нами политическую необходимость. Нам говорят: «Необходимо, чтобы Учредительное собрание оставалось на своем посту; нужно, чтобы оно наблюдало за осуществлением своих решений; важно, чтобы Собрание не отдало на погибель учрежденную им демократию, чтобы оно не отдало конституцию на волю течения, уносящего умы в неизвестное будущее».

А сверх того, господа, ссылаются на некий призрак другого Собрания, угрожающего якобы общественному спокойствию. Предполагают, что будущее Законодательное собрание (здесь-то и заложена суть вопроса — я на этом настаиваю и призываю к этому ваше внимание) принесет с собой потрясения и бедствия, что оно погубит Францию, вместо того чтобы ее спасти.

Вот в чем заключается весь вопрос, и ни в чем другом. Ибо не будь у вас этих тревог и опасений, у вас — моих коллег из большинства, которых я уважаю и к которым обращаюсь, — не будь у вас этой тревоги и страха и будь вы спокойны за участь будущего Собрания, ваш патриотизм, конечно, побудил бы вас уступить ему место.

Вот, на мой взгляд, в чем заключается истинная суть вопроса. Итак, господа, обращаюсь к этому возражению. Чтобы его опровергнуть, я и поднялся на трибуну. Нам говорят: знаете ли вы, каким окажется, что станет делать будущее Законодательное собрание? И на основании высказанных опасений делают заключение о необходимости сохранить Учредительное собрание.

Так вот, господа, я намерен вам показать, чего стоят эти угрожающие аргументы; сделаю это в немногих словах путем простого напоминания фактов, уже относящихся к истории. По-моему, они проливают свет на эту сторону вопроса. (*Возгласы: «Слушайте! Слушайте!» Глубокая тишина.*)

Господа, менее года тому назад, в марте прошлого года, часть временного правительства верила, повидимому, в необходимость оставаться у власти. Официальные объявления, вывешенные на улицах, утверждали, что политическое воспитание Франции еще не закончено, что при таком положении дел опасно предоставлять стране осуществление ее верховной власти, что существующим

властям необходимо продолжать свои функции. В то же время партия, называвшая себя самой передовой, течение, объявлявшее себя единственно республиканским, заявлявшее, что именно оно создало республику, и, кажется, полагавшее, что республика ему принадлежит, — это течение подавало сигнал тревоги, громко требовало отсрочки выборов и предупреждало патриотов, республиканцев, честных граждан о приближении страшной и неизбежной опасности. Эта страшная, приближающаяся опасность, господа, были вы. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*) Это было Национальное собрание, перед которым я сейчас выступаю. (*Снова возгласы одобрения.*)

Эти роковые выборы, которые следовало отсрочить любой ценой ради общественного спасения — они и были отсрочены, — это те самые выборы, которые выдвинули вас. (*Глубокое волнение в зале.*)

Так вот, господа, то, что говорили десять месяцев тому назад об Учредительном собрании, говорят сегодня о Собрании законодательном. Предоставляю вам самим сделать вывод, предоставляю вам спросить у своей совести, у себя самих о том, что вы собою представляли и что вы сделали. Здесь не место детально разбирать ваши действия, но я знаю, что не будь вас — цивилизация погибла бы, знаю, что цивилизация спасена вами. А спасти цивилизацию — это значит спасти жизнь народа. Вот что вы совершили, вот чем вы ответили на мрачные пророчества, стремившиеся отсрочить ваш приход. (*Живейшее и всеобщее одобрение.*)

Господа, я настаиваю: то, что прежде говорили о вас, сегодня говорят о ваших преемниках. Сегодня, как и тогда, будущее Собрание изображают опасным; сегодня, как и тогда, не доверяют Франции, не доверяют народу — не доверяют носителю верховной власти. Имея в виду, чего стоили прошлые опасения, судите, чего стоят опасения нынешние. (*Движение в зале.*)

Можно громогласно утверждать, что Законодательное собрание ответит на дурные предсказания так же, как отвечали вы сами, — своей преданностью общественному благу.

Господа, факты, которые я привел, сопоставление, которое я только что сделал, многие другие действия, о которых я не хочу вам напоминать, так как я стараюсь внести в эти прения дух глубочайшей умеренности (*воз-*

глас: «Это правда!»), — многие другие действия, которые у всех в памяти, — все это не только опровергает выдвинутый аргумент, но и заключает в себе некую очевидность, некий урок. Вот эта очевидность и этот урок: на протяжении одиннадцати месяцев, каждый раз, когда речь идет о необходимости узнать мнение страны, начинаются колебания, отступления, увертки. (*Возгласы: «Да! Да! Нет! Нет!»*)

Г - н де Ларошжаклен. Постоянно оскорбляют всеобщее избирательное право.

Один из депутатов. Но ведь выборы президента были проведены досрочно.

Виктор Гюго. Я уверен, что в данный момент обращаюсь к совести Собрания.

А знаете ли вы, что лежит в основе этих колебаний? Я скажу. (*Шум. Возгласы: «Говорите! Говорите!»*) Боже мой, господа, этот ропот меня не удивляет и не смущает. (*Различные выкрики в зале.*) Те, кто находится на этой трибуне, должны выслушивать ропот так же, как те, кто сидит на этих скамьях, должны выслушивать правду.

Мы слушали ваши истины, теперь послушайте наши. (*Продолжительное движение в зале.*) Господа, я скажу, что лежало в основе этих колебаний, и скажу громко, ибо свобода трибуны — ничто, если оратор не откровенен. В основе всего этого, в основе всех действий, о которых я напоминаю, лежит тайный страх перед всеобщим голосованием.

И я говорю вам — тем, кто сделал основой республиканского правления всеобщее избирательное право, тем, кто в течение долгого времени осуществлял всю полноту власти, — я говорю вам: в политике нет ничего более опасного, чем правительство, не доверяющее собственным принципам. (*Глубочайшее волнение в зале.*)

Вы обязаны — и пора это сделать — прекратить подобное положение вещей. Страна хочет, чтобы с ней проконсультировались. Покажите свое доверие стране, и страна ответит вам доверием. Я хочу закончить этими словами примирения. В своем мандате я черпаю право и силу увещевать вас — во имя Франции, которая ждет и тревожится (*различные выкрики в зале*), во имя благородного и великодушного парижского народа, который снова толкают на политические волнения...

Г о л о с. Это правительство его возбуждает!

Виктор Гюго. Во имя доброго и великодушного парижского народа, который столько страдал и продолжает страдать, я заклинаю вас не затягивать ситуацию, которая влечет за собой упадок кредита, торговли и труда. (*Возглас: «Правильно!»*) Я заклинаю вас самих завершить, путем роспуска Собрания, революционную фазу и открыть период законности. Я заклинаю вас как можно быстрее, с доверием призвать ваших преемников. Не впадайте в ошибку временного правительства. Не наносите того оскорбления, которое перед вашим приходом нанесли вам пристрастные партии, не наносите его, вы, законодатели, Законодательному собранию! Не будьте подозрительными, вы, кого подозревали; не откладывайте выборов, вы, сами испытывавшие отсрочку выборов. (*Движение в зале.*)

Большинство поймет, я не сомневаюсь, что настал, наконец, момент, когда верховная власть этого Собрания должна быть возвращена и растворена в верховной власти нации.

Если же случится иначе, господа, если окажется — в своем уважении к Собранию я далек от такой мысли, — что Собрание решит продлить на неопределенное время свои полномочия... (*шум и отрицания*) если окажется, говорю я, что Собрание продлит — вам не нравятся слова «на неопределенное время», хорошо! — свои оспариваемые отныне полномочия; если оно не зафиксирует дату окончания своих работ; если Собрание останется в нынешнем положении по отношению к стране, — тогда — еще есть время сказать вам это — дух Франции, оживляющий и вдохновляющий это Собрание, покинет его. (*Протесты.*) Тогда это Собрание не будет больше чувствовать, что в его груди бьется сердце нации. Быть может, ему и дано будет существовать, но не жить. Политическую жизнь декретировать нельзя. (*Продолжительное движение в зале.*)

РЕЧИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ (1849—1851)

НИЩЕТА

9 июля 1849 года

Господа! Я поддерживаю предложение достопочтенного господина де Мелена. Прежде всего отмечу, что подготовка предложений по всей тринадцатой статье конституции представляет собой громадную работу, тяжести которой не вынесла бы взявшаяся за нее комиссия. Однако в данном случае имеется в виду лишь подготовка законодательства, учреждающего общественное попечение и социальное обеспечение. Именно это подразумевал своим предложением достопочтенный докладчик, так понимаю его я сам и в этом его поддерживаю.

Позвольте мне сказать несколько слов в разъяснение тех политических вопросов, которые затрагиваются в данном предложении.

Господа, мне постоянно приходится слышать, и только что, готовясь подняться на эту трибуну, я вновь слышал это, что не существует двух способов восстановления порядка. Говорят, что во времена анархии нет более совершенного средства, чем применение силы, что за исключением силы все бесполезно и бесплодно и что предложение достопочтенного господина де Мелена, как и все подобные предложения, должно быть отклонено, потому что оно — я повторяю выражение, которое было употреблено, — является лишь замаскированным социализмом. *(Выкрики справа.)*

Господа, я полагаю, что такого рода речи были бы менее опасны, если бы их высказали публично, с этой трибуны, а не произносили шопотом; и если я ссылаюсь

на эти разговоры, то лишь в надежде вызвать на трибуну для объяснения тех, кто высказывал изложенные мною мысли. В таком случае, господа, мы могли бы открыто сразиться с ними. (*Ропот на правых скамьях.*)

Добавлю, господа, что люди шли даже дальше... (*Оратора перебивают.*)

Голос справа. Кто? Кто? Назовите тех, кто так говорил!

Виктор Гюго. Пусть говорившие так назовут себя сами. Это их дело. Пусть они имеют мужество высказать с этой трибуны те мнения, которые они высказывают в кулуарах и на заседаниях комиссий. Что касается меня, то мне не свойственна такая роль — называть имена тех, кто прячется. Проявляются идеи — и я борюсь с идеями; когда же выступят люди — я буду сражаться с людьми. (*Волнение в зале.*) Господа, вам известно, что вещи, о которых не говорят открыто, часто приносят наибольший вред. Сказанное здесь публично предназначается для масс, а высказанное тайком предназначается для голосований. Так вот, что касается меня, то я не желаю тайных речей, когда дело идет о будущем моего народа и о законах моей страны. Я оглашаю высказанное тайком; я разоблачаю скрытые влияния. Это мой долг. (*Сильное волнение в зале.*)

Итак, я продолжаю... Говорящие таким образом добавляют, что «возбуждать в народе надежды на рост благосостояния и уменьшение тягостей — значит обещать невозможное; что ничего не может быть сделано, кроме того, что уже делалось всеми правительствами при подобных обстоятельствах; что все остальное — лишь напыщенные фразы и химеры и что в настоящее время достаточно репрессий, а в будущем — гнета». (*Сильный ропот. К оратору обращаются с различными вопросами многие депутаты правого крыла и центра; особую активность проявляют гг. Дени Бенуа и де Дампьер.*)

Я счастлив, господа, что мои слова вызвали такие единомышленные протесты.

Председатель г-н Дюпен. Собрание действительно проявило свои чувства. Председателю нечего добавить! (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Виктор Гюго. Я не так понимаю восстановление порядка... (*Оратора перебивают справа.*)

Голос. Никто этого так не понимает!

Г-н Ноэль Парфе. Это было сказано в моем кабинете. (*Крики на правых скамьях.*)

Г-н Дюфурнель (*обращаясь к Н. Парфе*). Назовите имена! Скажите, кто так говорил!

Г-н де Монталамбер. С разрешения уважаемого господина Гюго я осмелюсь заявить... (*Его перебивают.*)

Голоса. На трибуну! На трибуну!

Г-н де Монталамбер (*с трибуны*). Беру на себя смелость заявить, что утверждения уважаемого господина Виктора Гюго являются тем более необоснованными, что предложение господина де Мелена было единогласно одобрено комиссией, и лучшим доказательством этого является то, что комиссия избрала докладчиком самого автора предложения. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Виктор Гюго. Уважаемый господин Монталамбер отвечает на то, чего я не говорил. Я не говорил, что комиссия не была единодушна в одобрении предложения, я лишь сказал — и подтверждаю это, — что мне часто приходилось слышать приведенные мною слова и что, в частности, я слышал их, поднимаясь на трибуну. Исходя из того, что скрытые возражения, на мой взгляд, являются наиболее опасными, я считаю своим правом и своей обязанностью изложить их публично, пусть даже вопреки желанию их авторов, чтобы покончить с этими возражениями. Вы видите, что я был прав, так как от первых же моих слов их охватил стыд и они исчезли. (*Шумные протесты справа. Многие депутаты, среди шума, обращаются к оратору с вопросами.*)

Председатель. Оратор никого персонально не назвал, но в его словах содержится что-то, затрагивающее каждого; вот почему я рассматриваю реакцию Собрания как единодушное опровержение его слов. Предлагаю вам вернуться к существу вопроса.

Виктор Гюго. Я приму опровержение Собрания лишь в том случае, если оно будет сделано не на словах, а на деле. Мы увидим, покажет ли будущее мою неправоту. Мы увидим, будет ли сделано что-либо помимо подавления и репрессий. Мы увидим, не обратятся ли мысли, от которых отмежевываются сегодня, в политику,

которая будет провозглашена завтра. А пока, так или иначе, мне кажется, что вызванное мною единодушие Собрания само по себе великолепно... (*Шум. Оратора перебивают.*)

Ну что же, господа, перенесем наш спор за пределы этого зала и не станем занимать им внимание членов Собрания. Покончив с этим, мне, может быть, дозволено будет заявить, что, со своей стороны, я не считаю систему, сочетающую подавление с репрессиями и ограничивающуюся ими, единственным и достойным способом восстановления порядка. (*Снова ропот в зале.*)

Я сказал, что не хочу привлекать внимания членов Собрания... (*Шум в зале.*)

Председатель. Собрание не обращает внимания. Оратор сам себе возражает и сам же отвергает свои возражения. (*Смех. Движение в зале.*)

Виктор Гюго. Господин председатель ошибается. В этом вопросе я вновь обращаюсь к будущему. Увидим! К тому же, учитывая, что я ни в чем себе не возражаю, я удовлетворен тем, что мне удалось вызвать единодушие Собрания, и, надеясь, что оно вспомнит об этом в будущем, я перехожу к другому.

Я также ежедневно слышу... (*Оратора перебивают.*)

Ах, господа, что касается этой стороны вопроса, то я не опасюсь ваших протестов, так как вы сами признаёте, что в ней заключается суть нынешнего положения. Я слышу со всех сторон, что общество только что еще раз одержало победу и что надо воспользоваться этой победой. (*Движение в зале.*) Господа, я никого не удивлю в этом зале, заявив, что таковы и мои чувства.

До 13 июня в Собрании царило какое-то беспокойство. Ваше драгоценное время растрачивалось на бесплодную и опасную словесную борьбу. Все проблемы, самые серьезные, самые плодотворные, отступали на задний план перед сражениями, происходившими на этой трибуне и на улицах. (*Возгласы: «Правильно!»*) Сегодня водворилось спокойствие, терроризм исчез, одержана полная победа. Ею нужно воспользоваться. Да, ею нужно воспользоваться! Но знаете ли вы, как?

Нужно воспользоваться молчанием, к которому приведены анархические страсти, для того чтобы дать слово народным нуждам. (*Сильное волнение в зале.*) Нужно

воспользоваться вновь завоеванным порядком, чтобы восстановить труд, чтобы в широком масштабе развернуть общественное попечение, чтобы заменить унижающую благотворительность (*неодобрительные возгласы с правых скамей*) помощью, восстанавливающей силы, чтобы повсюду и в разных формах создать различные учреждения, приносящие успокоение несчастным и поощрение труженикам, чтобы при помощи всевозможных улучшений дать страждущим классам больше, во сто раз больше того, что им когда-либо было обещано их лже-друзьями! Вот как нужно воспользоваться победой. (*Продолжительное движение в зале. Возгласы: «Правильно! Правильно!»*)

Нужно воспользоваться исчезновением духа революции, чтобы оживить дух прогресса! Нужно воспользоваться спокойствием, чтобы восстановить мир, не только мир на улицах, но настоящий, окончательный мир, мир в сознании и в сердцах! Одним словом, необходимо, чтобы поражение демагогии стало победой народа! (*Шумное одобрение зала.*)

Вот что надо сделать с победой! Вот как надо ею воспользоваться! (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Господа, учтите переживаемый вами момент. За истекшие восемнадцать месяцев мы были свидетелями исчезновения многих грез. Химеры, скрывавшиеся в тени, выступили наружу и были озарены ярким светом; ложные теории были привлечены к ответу; ложные системы были разоблачены. Что они создали? Ничего! Многие иллюзии были утрачены массами и, исчезая, вызвали крушение необоснованных популярностей и беспричинной ненависти. Постепенно приходит прояснение. Народ, господа, обладает чувством правды и чувством справедливости. Умиротворенный, он становится воплощением здравого смысла. Свет проникает в его сознание; в то же время в душах людей, в душе богатого, как и в душе бедного, начинает давать ростки подлинное братство, братство не по приказу, братство не в виде надписи на стенах, а братство, рожденное из глубины вещей и из реально существующей общности человеческих судеб. Повсюду — наверху, внизу — люди склоняются друг к другу с той невыразимой жаждой согласия, которая обозначает конец гражданских распрей. (*Возгласы: «Да!*

Да!») Общество стремится возобновить движение вперед после остановки на краю пропасти. Так вот, господа, никогда, никогда еще не было момента более благоприятного, более подходящего, с большей ясностью указанного провидением для осуществления — после стольких жестокостей и недоразумений — того великого дела, которое является вашей миссией и которое в целом может быть выражено одним словом — примирение! *(Длительное сильное волнение в зале.)*

Господа, предложение господина де Мелена ведет прямо к этой цели.

Таков, на мой взгляд, правильный и полный смысл этого предложения, которое, впрочем, может быть изменено к лучшему и усовершенствовано.

Сделать главной задачей этого Собрания изучение судьбы страждущих классов, то есть великой и неясной проблемы, выдвинутой февралем; окружить это изучение торжественностью, извлечь из этого глубокого изучения все возможные и практически осуществимые улучшения; заменить большой и единственной комиссией общественного попечения и социального обеспечения все второстепенные комиссии, занятые деталями и упускающие общее значение вопроса; поставить эту комиссию на такую высоту, чтобы она была видна всей стране *(движение в зале)*; объединить разрозненные знания, рассеянный опыт, различные усилия, добрую волю отдельных людей, документы, частичные исследования, данные местных проверок, объединить всех, проявляющих стремление к работе и создать здесь центр, куда будут стекаться все идеи и откуда будут исходить все решения; создавать шаг за шагом, закон за законом, но как единое целое, на основе нынешнего законодательства, зрелый, полный и упорядоченный свод законов, великий христианский свод законов общественного попечения и социального обеспечения; одним словом, заглушить химеры некоего социализма осуществлением евангельских идей *(шумное одобрение)*; такова, господа, цель предложения господина де Мелена. Вот почему я его энергично поддерживаю. *(Г-н де Мелен жестом показывает свое согласие с оратором.)*

Я только что сказал: «химеры некоего социализма», и я ничего не хочу изъять из этого выражения, которое даже не строго, а лишь справедливо. Объяснимся все же,

господа. Можно ли сказать, что в скоплении сбивчивых понятий, смутных побуждений, неслыханных иллюзий, необдуманых стремлений, неправильных формулировок, которое обозначают неясным и к тому же мало кому понятным названием «социализм», нет ничего правдивого, нет абсолютно ничего правдивого?

Господа, если бы в нем не было ничего правдивого, он не представлял бы никакой опасности. Общество могло бы пренебрегать им и выжидать. Чтобы быть опасным, чтобы проникнуть в массы, чтобы пробиться до самого сердца общества, обман или ошибка должны быть вооружены какой-то частицей правды. Правда, приложенная к ошибкам, — вот в чем кроется опасность! В таких случаях размеры опасности измеряются количеством правды, заключенной в химерах. (*Движение в зале.*)

Итак, господа, скажем, скажем именно для того, чтобы найти способ излечения, что в основе социализма есть частица болезненной действительности нашего времени, как и всех времен (*перешептывание в зале*); в нем отразилось вечное беспокойство, свойственное человеческой немощи; в нем отразилось стремление к лучшей доле, столь же естественное для человека, хотя он часто и ошибается в выборе пути, пытаюсь найти в этом мире то, что может быть найдено только в другом (*горячее и единодушное одобрение Собранин*); в нем отразились действительные, очень глубокие, очень мучительные, но вполне исправимые беды; в нем отразилось, наконец — и это составляет особенность нашего времени, — новое положение, созданное для человека нашими революциями, которые подняли на такую высоту человеческое достоинство и во всеуслышание провозгласили верховную власть народа; в результате человек из народа сегодня испытывает двойственное и противоречивое чувство, страдая и от своей нищеты, вытекающей из реальной действительности, и от своего величия, вытекающего из его прав. (*Глубокое волнение в зале.*)

Все это, господа, находит отражение в социализме, все это соединяется в нем с дурными страстями, все это создает его силу, и все это нужно у него отнять.

Голоса. Каким образом?

Виктор Гюго. Открывая глаза на то, что ложно, удовлетворяя то, что законно. (*Голоса: «Правильно!»*)

Как только это будет сделано, сделано добросовестно, чистосердечно, честно — все, чего вы опасаетесь в социализме, — исчезнет. Отняв у социализма правду, вы отнимете у него все опасное, что в нем заключено. От него останется лишь бесформенное облако ошибок, которое рассеется при первом же дуновении. (*Движение в зале.*)

Разрешите, господа, дополнить мою мысль. Волнение Собрания указывает на то, что меня не совсем поняли. Обсуждаемый вопрос серьезен. Это — наиболее серьезный вопрос из всех, которые могут быть перед вами поставлены.

Господа, я не принадлежу к тем, кто считает, что на этом свете можно уничтожить страдания. Страдание — божий закон. Но я принадлежу к тем, кто считает и утверждает, что можно уничтожить нищету. (*Протесты и неодобрительные возгласы на правых скамьях.*)

Заметьте, господа, я не сказал: уменьшить, ослабить, сократить, ограничить, — я сказал: уничтожить. (*Снова шум на правых скамьях.*) Нищета — это такая же болезнь на теле общества, как проказа была болезнью человеческого тела. Нищета может исчезнуть, как исчезла проказа. (*Возгласы слева: «Да! Да!»*) Уничтожить нищету! Да, это вполне возможно! Законодатели и правители должны неустанно думать об этом, так как до тех пор, пока в этой области не сделано все возможное, их долг остается невыполненным. (*Всеобщее сильное волнение.*)

Нищета, господа, — я приступаю здесь к самой сути вопроса, — хотите ли вы знать, где она, эта нищета? Хотите ли вы знать, до чего она может доходить, до чего она уже дошла, и не в Ирландии, не в средние века, а во Франции, в Париже и в наше время?! Нужны ли вам факты?

В Париже... (*Оратор делает паузу.*)

Боже мой, я без колебаний укажу на эти факты. Они плачевны, но их необходимо вскрыть. Послушайте! Высказывая мою мысль во всей ее полноте, я скажу вам, что хотел бы предложить Собранию — и в случае необходимости внесу формальное предложение — произвести большое и торжественно обставленное расследование истинного положения страдающих трудящихся классов Франции. Мне хотелось бы, чтобы факты получили огласку.

Как же можно побороть болезнь, не измерив глубины ран?! (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*).

Так вот они, эти факты.

В Париже, в тех предместьях Парижа, которые еще недавно так легко поднимал ветер восстаний, есть улицы, дома, помойные ямы, где семьи, целые семьи — мужчины, женщины, девушки, дети — живут вповалку, имея вместо кроватей и одеял — я чуть не сказал: вместо одежды — лишь отвратительные гниющие отрепья, подобранные в грязи городских отбросов, куда эти живые человеческие существа залезают, чтобы спастись от зимних холодов. (*Движение в зале.*)

Таков один из примеров. А вот другие: несколько дней тому назад один несчастный литератор — боже мой, нищета так же не щадит людей свободных профессий, как и людей физического труда, — несколько дней тому назад этот несчастный человек умер от голода, от голода в полном смысле этого слова, и после его смерти выяснилось, что он не ел в течение шести дней. (*Длительный шум прерывает оратора.*)

Выслушайте нечто еще более скорбное. В прошлом месяце, во время вспышки холеры, в отвратительных и зараженных свалках Монфокона обнаружили мать с четырьмя детьми, которые разыскивали там пищу! (*Сильное волнение в зале.*)

Так вот, господа, я утверждаю, что все это — вещи, которых не должно быть. Я утверждаю, что общество должно употребить всю свою силу, все свои заботы, весь свой разум, всю свою волю, чтобы таких вещей не было! Я утверждаю, что в цивилизованном мире подобные факты являются укором для совести всего общества, так что я, выступающий перед вами, чувствую себя ответственным за это и соучастником этого (*движение в зале*); я утверждаю, что такие факты являются не только грехом перед людьми, но и преступлением перед богом. (*Длительное сильнейшее волнение в зале.*)

Вот почему я сам преисполнен, вот почему я хотел бы, чтобы и все слушающие меня также преисполнились сознанием того, какое величайшее значение имеет предложение, переданное на ваше рассмотрение. Это лишь первый, но решающий шаг. Я хотел бы, чтобы большинство и меньшинство этого Собрания — я не признаю боль-

шинства и меньшинства в таких вопросах, — я желал бы, чтобы все Собрание как один человек двинулось к этой великой цели, к этой прекрасной цели, к этой возвышенной цели — уничтожению нищеты. *(Возгласы: «Браво!» Applaudissements.)*

Господа, я обращаюсь не только к вашему великодушию. Я обращаюсь ко всему, что только есть наиболее серьезного в политическом чутье Собрания законодателей. Скажу еще несколько слов по этому поводу и на этом закончу.

Господа, как я уже говорил, вы только что вновь укрепили при содействии национальной гвардии, армии и всех жизненных сил страны расшатанные устои государства. Вы не отступали ни перед какой опасностью, вы не колеблясь исполняли любой долг. Вы спасли основанное на порядке общество, законное правительство, все наши установления, гражданский мир, спасли цивилизацию. Вы совершили большое дело... Так вот! Вы не сделали ничего! *(Движение в зале.)*

Вы не сделали ничего, я на этом настаиваю, раз восстановленный порядок в материальной сфере не основывается на укреплении порядка в нравственной сфере. *(Возгласы: «Правильно! Правильно!» Горячее и единодушное одобрение.)* Вы не сделали ничего, раз народ страдает! *(Возгласы «Браво!» слева.)* Вы ничего не сделали, раз ниже вас есть часть народа, ввергнутая в отчаяние! Вы не сделали ничего, раз работающие люди во цвете лет остаются без хлеба, а старики, работавшие всю жизнь, остаются без крова, раз ростовщичество пожирает наши села, раз в наших городах люди умирают от голода *(продолжительное движение в зале)*, раз у нас отсутствуют братские, евангельские законы, которые должны со всех сторон спешить на помощь честным бедным семьям, добрым крестьянам, добрым рабочим, людям доброго сердца! *(Одобрительные возгласы.)* Вы не сделали ничего, раз страдания людей являются союзником революционного духа! Вы не сделали ничего, ничего, раз в деле разрушения и тьмы, которое продолжается в подполье, люди зла находят поддержку со стороны несчастных людей!

Вы видите, господа, — я повторяю это в заключение, — что я обращаюсь не только к вашему великоду-

пию, но и к вашей мудрости. Я заклинаю вас подумать над всем этим. Господа, подумайте над тем, что анархия раскрывает пропасти, но роет их нищета! (*Возгласы: «Правильно! Правильно!»*) Вы создали законы против анархии, создайте же теперь законы против нищеты!

(Продолжительное движение на всех скамьях. Оратор сходит с трибуны. Его приветствуют и поздравляют.)

РИМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

15 октября 1849 года

Господа, я перехожу сразу к сути дела.

Вчера министр иностранных дел, истолковывая — на мой взгляд, совершенно неправильно — вотум Учредительного собрания, произнес слова, которые налагают на меня, голосовавшего за Римскую экспедицию, обязанность прежде всего восстановить подлинные факты. Мы не вправе, по крайней мере поскольку это от нас зависит, оставить хотя бы малейшую неясность в вопросе об этом голосовании, которое уже повлекло и еще повлечет за собой столько событий. К тому же — тут я вполне согласен с достопочтенным докладчиком комиссии — в таком серьезном деле чрезвычайно важно установить нашу отправную точку, чтобы правильнее судить о том, к чему мы пришли.

Господа, после битвы при Новаре Учредительному собранию был представлен проект военной экспедиции в Рим. Взойдя на эту трибуну, генерал Ламорисьер сказал нам: «Италия только что проиграла свое Ватерлоо»; я привожу здесь его подлинные слова, которые вы все можете прочесть в «Монитер»: «Италия только что проиграла свое Ватерлоо; теперь Австрия владеет Италией, владеет положением; Австрия пойдет на Рим так же, как она пошла на Милан; она учинит в Риме то же, что учинила в Милане, что учиняет повсюду, — будет ссылать людей, гноить их в тюрьмах, расстреливать, вешать. Неужели вы согласны, чтобы Франция взирала на это, скрестив руки? Если нет — опередите Австрию, пошлите войска в Рим». Председатель Совета министров воскликнул:

«Франция должна послать в Рим войска, чтобы защитить свободу и человечность». Генерал Ламорисьер прибавил: «Если мы не сможем спасти в Риме республику, спасем же по крайней мере свободу». Собрание голосовало за Римскую экспедицию.

Господа, Учредительное собрание не колебалось ни минуты. Оно голосовало за Римскую экспедицию во имя тех целей, которые ей указал председатель Совета министров, — свободы и человечности; оно голосовало за Римскую экспедицию, чтобы создать противовес поражению при Новаре; оно голосовало за Римскую экспедицию для того, чтобы французская шпага оказалась там, где намеревалась косить австрийская сабля (*движение в зале*); вот почему — я это подчеркиваю — оно голосовало за Римскую экспедицию; никакого другого объяснения не было дано, ничего другого не было сказано; если кто-либо, голосуя, мысленно делал оговорки — мне это неизвестно... (*Смех в зале.*) Учредительное собрание голосовало за Римскую экспедицию, мы голосовали за нее, дабы никто не мог сказать, что Франция отсутствовала, когда интересы человечества, с одной стороны, забота о ее собственном величии — с другой, требовали от нее действий; словом, за римскую экспедицию голосовали, дабы защитить от Австрии Рим и людей, создавших Римскую республику, дабы оградить их от Австрии, которая в своей нескончаемой войне против революций неизменно бесчестит неслыханными гнусностями все свои победы, если только это можно называть победами! (*Продолжительные аплодисменты слева, протестующие возгласы справа; повернувшись к правой, оратор продолжает.*)

Вы протестуете! Я употребил слишком мягкое выражение, а вы находите его слишком резким! О! Такие выкрики вынуждают меня высказать все то возмущение, которое я старался подавить. Как! С трибуны английского парламента эти гнусности были заклеяны под аплодисменты всех партий, так неужели французская трибуна менее свободна, чем английская? (*Возгласы: «Слушайте, слушайте!»*) Так вот, я заявляю, — и я хотел бы, чтобы мои слова, именно потому, что они сказаны с этой трибуны, разнеслись по всей Европе, — я заявляю, что чудовищные поборы, контрибуции, конфискации, расстре-

лы, массовые казни, виселицы, на которых гибнут герои, палочные расправы с женщинами — все эти злодеяния обязывают Европу пригвоздить австрийское правительство к позорному столбу. (*Гром аплодисментов.*)

Я, безвестный, но преданный защитник правопорядка и цивилизации, всеми силами своей возмущенной души отталкиваю этих изуверов, этих Радецких и Гайнау (*движение в зале*), которые осмеливаются утверждать, будто они тоже служат этому святому делу, и жестоко оскорбляют цивилизацию тем, что защищают ее варварскими средствами. (*Шумное одобрение.*)

Итак, я напомнил вам, господа, во имя чего Собрание голосовало за Римскую экспедицию. Повторяю, этим я выполнил свой долг. Учредительного собрания уже нет. Оно уже не может постоять за себя; его вотум перешел по сути дела в ваши руки, отдан на вашу волю; вы можете использовать его для тех действий, какие вам угодно будет предпринять; но если — от чего избави нас бог — эти действия окажутся губительными для чести моей родины, ну что ж, тогда у меня по крайней мере будет утешение, что я, насколько мог, восстановил в вашей памяти первоначальные гуманные и свободолюбивые стремления Учредительного собрания, и сама идея экспедиции будет протестовать против результатов этой экспедиции. (*Возгласы: «Браво!»*)

Вы все знаете, каким образом Римская экспедиция отклонилась от своей прямой цели, и останавливаться на этом я не буду; бегло коснувшись прошлых событий, о которых я глубоко сожалею, я перейду к положению вещей в настоящем.

Вот каким оно представляется.

Второго июля наши войска заняли Рим, и папская власть была восстановлена безоговорочно; приходится сказать это напрямик. (*Движение в зале.*) Клерикальная власть, которую я лично строго отличаю от папской власти в том смысле, в каком ее понимают возвышенные умы и очень недолгое время, казалось, понимал сам Пий IX, — клерикальная власть снова наложила руку на Рим. Один триумvirат был заменен другим. Действия этой клерикальной власти, действия этой комиссии трех кардиналов вам известны, я считаю излишним подробно касаться их здесь; мне трудно было бы перечислять их, не давая им

должной оценки, а я не хочу еще больше обострять эти прения. (*Иронический смех справа.*)

Достаточно сказать, что с первых же своих шагов клерикальное правительство, свирепое в своем мракобесии, исполненное слепой, пагубной ненависти, чуждое благодарности, своими поступками глубоко возмутило все благородные сердца и все проницательные умы и сильно обеспокоило вдумчивых доброжелателей папы и папства. Общественное мнение Франции встревожилось. Каждый акт этой изуверской, жестокой, враждебной нам власти оскорблял в Риме нашу армию, во Франции — народ. Для этого ли, спрашивали себя французы, мы послали наши войска в Рим? Достойна ли Франции та роль, которую она там играет? И наконец гневный взгляд общественного мнения обратился на наше правительство. (*Сильное волнение в зале.*) В этот момент стало достоянием гласности письмо президента республики к одному из его адъютантов, которого он послал в Рим с особым поручением.

Демуссо де Живре. Я прошу слова. (*Смех в зале.*)

Виктор Гюго. Мне думается, почтеннейший господин де Живре будет удовлетворен тем, что я сейчас скажу. Господа, уж если говорить начистоту, я предпочел бы этому письму правительственный акт, предварительно обсужденный Советом министров.

Демуссо де Живре. Да нет же, нет! Я совсем не то хотел сказать! (*Снова продолжительный смех в зале.*)

Виктор Гюго. Ну что ж! Ведь я высказываю свою мысль, а не вашу. Итак, я предпочел бы этому письму правительственный акт. Что касается самого письма, то, по-моему, его следовало более тщательно продумать и выносить; каждое слово в нем надлежало взвесить. В документе такой важности малейшая оплошность может привести к осложнениям; но, должен сказать, даже такое, как оно есть, письмо президента, я это подчеркиваю, стало событием. Почему? Потому, что оно подлинно выражало общественное мнение; потому, что оно давало выход чувствам всей нации; потому, что оно оказало всем огромную услугу, — ведь в нем полным голосом говорилось то, что каждый думал про себя; потому, наконец, что это письмо, при всем несовершенстве его формы,

содержало целую политическую декларацию. (*Снова движение в зале.*)

Оно являлось основой для происходивших в то время переговоров; оно давало папскому престолу, в его же интересах, полезные советы и указания, продиктованные великодушием; оно требовало реформ и амнистии; оно представляло папе, которому мы оказали большую, возможно даже слишком большую, услугу тем, что восстановили его власть, не дождавшись изъявления воли народа... (*продолжительное сильное волнение в зале*) оно представляло папе разумную программу правления, основанного на свободе. Я говорю: «правление, основанное на свободе», так как я не умею иначе пояснить слова «либеральное правление». (*Одобрительный смех.*)

Спустя несколько дней после этого письма клерикальное правительство — то, которое мы вернули к власти, восстановили, укрепили, взяли под свою защиту и в настоящее время охраняем, — клерикальное правительство, обязанное нам тем, что оно все еще существует, это правительство опубликовало свой ответ.

Его ответ — булла «*Motu proprio*», с амнистией в виде приписки.

Что же представляет собой «*Motu proprio*»? (*Глубокая тишина в зале.*)

Господа, я всегда буду говорить о главе христианского мира не иначе, как с глубочайшим уважением. Я не забыл, что в стенах другого собрания я горячо приветствовал его восшествие на папский престол. Я принадлежу к числу тех, кто в ту пору видел в нем самый драгоценный дар, какой провидение может ниспослать народам, — великого человека в лице папы римского. Прибавлю — сейчас к моему уважению примешивается жалость. Ныне Пий IX несчастен, как никогда; я уверен, — хоть он и восстановлен на престоле, он не свободен. Я не вменяю ему в вину позорный документ, вышедший из его канцелярии; вот почему я могу смело сказать с этой трибуны все, что я думаю о булле «*Motu proprio*». Я изложу это в двух словах.

Произведение римской курии состоит из двух частей: там есть раздел политический, в котором рассматриваются вопросы, касающиеся свободы, и раздел, который я назову христианским, человеколюбивым, — в нем

рассматривается вопрос о милосердии. В отношении политической свободы папское правительство не идет ни на какие уступки. В отношении милосердия оно еще менее уступчиво — оно дарует только массовое изгнание. Но ему благоугодно назвать это изгнание амнистией. (*В зале смех и продолжительные аплодисменты.*)

Вот, господа, ответ, данный клерикальным правительством на письмо президента Республики.

Один великий епископ сказал в своем знаменитом сочинении, что руки папы римского всегда раскрыты и что одной рукой он непрестанно сеет в мире свободу, а другой — милосердие. Как видите, ныне папа крепко сжал обе руки. (*Продолжительное сильное волнение в зале.*)

Таково, господа, положение вещей. Оно полностью отражено в этих двух фактах: в письме президента и в послании «*Motu proprio*», иначе говоря — в просьбе Франции и в ответе папского правительства на эту просьбу.

Вы должны сделать выбор между этими двумя фактами. Что бы вы ни предпринимали, что бы ни говорили, пытаясь либо преуменьшить значение письма президента Республики, либо шире истолковать «*Motu proprio*», — их разделяет непроходимая пропасть. Письмо говорит: «Да», булла говорит: «Нет». (*Возгласы: «Браво, bravo!» Смех в зале.*) Эту возникшую силою вещей дилемму нельзя разрешить. Одна из сторон неизбежно должна быть неправа. Если вы одобряете письмо — вы тем самым осуждаете «*Motu proprio*»; если вы согласны с «*Motu proprio*» — значит, вы отвергаете письмо. (*Возгласы: «Правильно!»*) Перед вами, с одной стороны, президент Республики, требующий свободы для римлян, требующий ее именем той великой нации, которая в течение трех веков струит на цивилизованный мир потоки света и мыслей, а с другой стороны — кардинал Антонелли, именем клерикального правительства отвечающий отказом. Выбирайте!

Я говорю не задумываясь: в зависимости от вашего выбора общественное мнение Франции либо отвернется от вас, либо последует за вами. (*Движение в зале.*) Что касается меня, я не хочу ни на минуту усомниться в вашем выборе. Какую бы позицию ни занял кабинет министров, что бы ни говорилось в докладе комиссии, как бы

ни высказывались некоторые влиятельные представители большинства — полезно помнить, что даже австрийский кабинет счел послание «*Motu proprio*» отнюдь не либеральным, а нужно остерегаться быть менее взыскательным, чем князь Шварценберг. (*Долго не смолкающий хохот.*) Вы заседаете здесь, господа, для того, чтобы резюмировать и претворять в действия и законы здравый смысл французского народа. Вы не захотите, чтобы важный, запутанный вопрос об Италии стал источником раздоров в будущем; не захотите, чтобы Римская экспедиция стала для нынешнего правительства тем, чем Испанская экспедиция была для правительства Реставрации. (*Сильное волнение в зале.*)

Мы не должны забывать, что более всех других унижений Францию возмущают те, которые постигают ее из-за побед нашего оружия. (*Сильное возбуждение в зале.*) Во всяком случае я заклинаю большинство не упускать из виду, что это — решающий момент для него и для родины и что своим голосованием оно возьмет на себя огромную политическую ответственность. Господа, я хочу еще глубже вникнуть в этот вопрос. Помирить Рим и папскую власть, вернуть папство в Рим с согласия народа, возвратить мощному телу великую душу — вот задача, стоящая перед нашим правительством теперь, при том положении дел, которое создалось в результате происшедших событий; задача, бесспорно, трудная, вследствие накопившегося раздражения и взаимного непонимания, но выполнимая и полезная для водворения мира во всем мире. Но для этого нужно, чтобы папство со своей стороны помогло нам и помогло самому себе. Слишком уж давно оно изолирует себя от поступательного движения человеческого разума и от всего того, что прогресс осуществляет на нашем континенте. Нужно, чтобы папство поняло свой народ и свою эпоху. (*Взрыв негодования справа. Неумолчные, резкие выкрики прерывают оратора.*) Вы протестуете, вы прерываете меня.

Возгласы справа. Да, мы отрицаем то, что вы утверждаете!

Виктор Гюго. Ну что ж! Если так — я скажу то, о чем хотел молчать. Пеняйте на себя! (*По залу проносится трепет ожидания.*) Так вот! Знаете ли вы, в каком положении находится сейчас цивилизация в Риме, в том

самом Риме, который веками был светочем народов? Законов нет, или, вернее, взамен законов — невообразимый хаос феодальных и монастырских установлений, неизбежно приводящий к варварской жестокости в уголовном суде и к лихоимству — в гражданском. В одном только Риме насчитывается четырнадцать чрезвычайных трибуналов. (*Аплодисменты. Возгласы: «Говорите! Говорите!»*) В этих трибуналах ни для кого нет никаких гарантий соблюдения хотя бы подобия законности. Процессы слушаются при закрытых дверях, устная защита не допускается, духовные лица судят мирские дела и мирян. (*Продолжительное движение в зале.*)

Продолжаю.

Ненависть к прогрессу во всех его формах. Пий VII учредил комиссию по оспопрививанию, Лев XII ее упразднил. Что вам сказать еще? Конфискации возведены в закон, право убежища все еще в силе, евреев каждый вечер загоняют в особый квартал и запирают там на ночь, как в пятнадцатом веке, невероятнейшая путаница во всех делах, духовенство вмешивается во все. Священники пишут полицейские донесения, сборщики податей, как правило, отчитываются не перед казначейством, а только перед самим господом богом. (*Долго не смолкающий хохот.*) Я продолжаю. (*Возгласы: «Говорите! Говорите!»*)

Над мыслью тяготеют две цензуры — политическая и церковная: первая сковывает общественное мнение, вторая зажимает рот совести. (*Сильнейшее волнение в зале.*) Совсем недавно восстановлена инквизиция. Я знаю, мне скажут, что инквизиция сейчас — не более как название. Но это название ужасно, и оно страшит меня, ибо под покровом дурного названия могут твориться только дурные дела. (*Взрыв аплодисментов.*) Таково положение в Риме. Разве оно не чудовищно? (*Возгласы: «Да, да, да!»*)

Господа, если вы хотите, чтобы столь желательное примирение папства с Римом состоялось, нужно покончить с этим положением вещей; повторяю, нужно, чтобы папство поняло свой народ, поняло свою эпоху; нужно, чтобы животворный дух евангелия проник во все эти, ставшие варварскими, учреждения, где властвует мертвая буква, и обратил ее в прах. Нужно, чтобы папство под-

няло дорогое всей Италии знамя с двойным девизом: *секуляризация и национальное объединение*.

Я не требую, чтобы папство начало немедленно готовиться к возвышенной судьбе, которая ждет его в тот неотвратимый день, когда Италия станет свободной и единой. Но пусть оно по крайней мере ведет себя так, чтобы не препятствовать осуществлению в будущем этих великих предначертаний. (*Взрыв аплодисментов.*)

И, наконец, нужно, чтобы папство остерегалось своего злейшего врага; этот злейший враг — не дух революции, а дух клерикализма. Революционный дух может только сурово обойтись с папством; клерикальный же дух способен его умертвить! (*Шум справа, возгласы «Браво!» слева.*)

Вот в каком смысле, думается мне, господа, французское правительство должно влиять на действия римского правительства; вот, на мой взгляд, в каком смысле Собрание должно высказаться самым решительным образом: отвергнув «*Motu proprio*», полностью одоблив письмо президента, оно тем самым дало бы нашей дипломатии незыблемую точку опоры. После всего, что Франция сделала для папства, она имеет некоторое право внушать ему свои идеи. В сущности говоря, мы даже имеем право заставить папу принять их! (*Протесты справа, возгласы: «Заставить папу принять ваши идеи, ого-го! Попробуйте!»*)

Меня снова прерывают. Мне кричат: «Заставить папу принять ваши идеи; до чего додумались! Значит, вы хотите применить к папе римскому принуждение? Разве можно его принуждать? Как это вы заставите папу?»

Господа, если бы мы действительно хотели применить к папе римскому принуждение, заточить его в замок святого Ангела или привезти его в Фонтенебло (*долго не стихающий шум, перешептывание*)... мы натолкнулись бы на веские возражения и большие трудности.

Да, я не раздумывая соглашаюсь, что применить принуждение к такому противнику — дело нелегкое; перед лицом духовной мощи грубая сила пасует и оказывается несостоятельной. Батальоны бессильны против догматов — это я заявляю одному крылу Собрания, а другому, в дополнение к этому, скажу, что батальоны бессильны и против идей. (*Сильное волнение в зале.*) Перед нами

две одинаково нелепые химеры: мечта поработить папу римского и мечта поработить целый народ. (*Снова движение в зале.*)

Разумеется, я не хочу, чтобы мы попытались осуществить первую из этих химер; но разве невозможно помешать папе римскому претворить в жизнь вторую? Как, господа! Папа предает Рим произволу светской власти; человек, располагающий всей мощью веры и любви к ближнему, прибегает к грубой силе, словно жалкий мирской правитель! Он, чья миссия — распространять свет, хочет снова ввергнуть свой народ во мрак! Неужели вы не можете предостеречь его? Папу римского толкают на гибельный путь; люди, пораженные слепотой, советуют ему делать зло. Разве мы не можем решительно посоветовать ему делать добро? (*Возгласы: «Правильно!»*)

Бывают случаи — сейчас перед нами именно такой случай, — когда правительство великой страны должно говорить полным голосом. Скажите честно, разве это значит принуждать папу? Разве это значит применять к папе насилие? (*Возгласы «Нет! нет!» слева, «Да, да!» — справа.*) Но вы-то, вы, предъявляющие нам это обвинение, вы сами в сущности не так уж довольны; доклад комиссии признает, что вам еще многого остается просить у святейшего отца. Даже те, кто готов удовлетвориться немногим, даже они хотят амнистии. Если папа откажет в ней — что вы предпримете? Потребуете ли вы эту амнистию? Заставите ли вы объявить ее — да или нет? (*Сильное волнение.*)

Г о л о с с п р а в а. Нет. (*Движение в зале.*)

Виктор Гюго. Нет? Значит, вы, присутствующие здесь, вы дадите соорудить виселицы в Риме, под сенью трехцветного знамени? (*По всем скамьям пробегают трепет. Обращаясь к правой, оратор продолжает.*) Так вот, к вашей чести я говорю: вы этого не сделаете! Вы произнесли необдуманное слово, и я его не принимаю. Это не голос ваших сердец! (*Неистовый шум справа.*)

Тот же голос. Папа сделает то, что пожелает. Мы не станем его принуждать!

Виктор Гюго. Ну что ж! Тогда принудим его мы! И если он откажет в амнистии, мы заставим его дать ее. (*Продолжительные аплодисменты слева.*)

Разрешите мне, господа, закончить соображением, которое, надеюсь, повлияет на вас, ибо оно подсказано исключительно интересами Франции. Помимо заботы о нашей чести, помимо пользы, которую, в зависимости от того, какой партии мы сочувствуем, мы хотим принести либо римскому народу, либо папству, помимо этого, в Риме перед нами встает неотложный вопрос, в котором все мы заинтересованы и все будем единодушны, и заключается он в том, чтобы уйти из Рима как можно скорее. (*Протестующие возгласы справа.*)

Мы как нельзя более заинтересованы в том, чтобы Рим не стал для Франции своего рода Алжиром (*движение в зале; возглас справа: «Ну вот еще!»*), со всеми невыгодами Алжира, но без того преимущества, что Алжир нами завоеван и представляет собою наше владение; повторяю: своего рода Алжиром, который до бесконечности поглощал бы наших солдат и наши миллионы; солдат, необходимых для охраны наших границ, и миллионы, необходимые для облегчения страданий нашего народа (*возгласы «Браво!» слева, ропот справа*), — и где нам пришлось бы стоять лагерем, доколе — одному богу известно, всегда наготове, всегда начеку, почти что парализованными перед лицом осложнений в Европе. Повторяю: мы кровно заинтересованы в том, чтобы, как только Австрия оставит Болонью, поскорее уйти из Рима. (*Возгласы «Правильно!» слева, протесты справа.*)

Что же прежде всего необходимо для того, чтобы мы могли уйти из Рима? Твердая уверенность, что мы не оставляем позади себя революцию. А что нужно сделать для этого? Закончить эту революцию, пока мы еще в Риме. Но как заканчивают революцию? Я уже сказал вам это однажды и снова повторяю: принимая то, что в ней истинно, осуществляя то, что в ней справедливо. (*Движение в зале.*)

Наше правительство — хвала ему за это! — рассудило именно так и стремилось в этом смысле воздействовать на папское правительство. Отсюда письмо президента. Папский престол держится противоположного мнения: он тоже хочет закончить революцию, но другим способом — подавлением, и он издал буллу «*Motu proprio*». Что же произошло? «*Motu proprio*», амнистия, эти столь действительные успокоительные средства, вызвали негодование

римского народа. В настоящий момент в Риме царит сильнейшее возбуждение, и если только, — а я полагаю, что министр иностранных дел не станет опровергать мои слова, — если только мы завтра оставим Рим, знаете ли вы, господа, что произойдет, как только ворота города захлопнутся за последним нашим солдатом? Вспыхнет революция, более страшная, чем первая, и придется все начинать сызнова. (*Возгласы «Да, да!» слева, «Нет, нет!» справа.*)

Такова, господа, обстановка, которую клерикальное правительство создало для себя и для нас.

Так неужели вы не вправе вмешаться, притом самым решительным образом, когда речь идет о положении вещей, которое, помимо всего прочего, кровно затрагивает вас самих? Вы видите — средство, примененное папским правительством, чтобы закончить революцию, никуда не годится. Примените другое, лучшее, примените единственно годное средство, — я только что указал его вам. Ваше дело решить, согласны ли вы и в силах ли вы до бесконечности поддерживать, за пределами вашей страны, осадное положение! Ваше дело решить, пристало ли Франции находиться на Капитолии, чтобы получать там приказы церковной партии!

Что касается меня, я этого не хочу; я не согласен ни на это оскорбление наших солдат, ни на это разорение наших финансов, ни на это унижение нашей политики. (*Сильнейшее волнение.*)

Господа, сейчас лицом к лицу сталкиваются две системы: система мудрых уступок, дающая вам возможность уйти из Рима, и система угнетения, обрекающая вас на то, чтобы остаться там. Какую из них вы предпочтете?

Еще два слова, господа. Подумайте вот о чем: Римская экспедиция, безупречная по замыслу, — мне кажется, я доказал вам это, — может стать преступной по результатам. У вас есть только один способ доказать, что конституция не нарушается, — сохранить римлянам свободу. (*Продолжительное движение в зале.*)

И слово «свобода» должно быть правильно понято. Уходя из Рима, мы должны оставить там не только подтверждение некоего числа городских вольностей, иначе говоря — подтверждение тех прав, которыми почти

все города Италии пользовались в средние века, — вот уж действительно великий прогресс (*смех, возгласы: «Браво!»*), — а подлинную свободу, свободу в полном смысле слова, свободу, присущую девятнадцатому веку, единственную, которую те, кто называет себя французским народом, могут достойно обеспечить тем, кто называет себя римским народом, — ту свободу, благодаря которой могущественные народы достигают величия, а народы, утратившие мощь, вновь обретают ее, иными словами — политическую свободу. (*Сильнейшее волнение в зале.*)

И пусть нам не говорят, опираясь на голословные утверждения и не приводя доказательств, что эти либеральные акты, эта система мудрых уступок, эта свобода, сосуществующая с папством, полновластным в духовных делах, ограниченным в делах мирских, — что все это невозможно!

Ибо я отвечу им: господа, невозможно не это, а другое! И я скажу вам, что именно: невозможно, чтобы экспедиция, предпринятая, как нас заверяли, во имя человечности и свободы, привела к восстановлению инквизиции! Невозможно, чтобы мы даже не одарили Рим теми благородными вольными мыслями, которые Франция повсюду носит с собою в складках своего знамени! Невозможно, чтоб из нашей крови, пролившейся в Риме, не зародились ни права, ни милосердие, чтобы Франция, побывав в Риме, оставила там те же следы, какие оставила бы Австрия, вплоть до виселиц! Невозможно принять «*Motu proprio*» и амнистию кардинальского триумvirата! Невозможно стерпеть эту неблагодарность, эту неудачу, это оскорбление! Невозможно допустить, чтобы Франции давала пощечины та самая рука, которая должна ее благословлять! (*Продолжительные аплодисменты.*)

Невозможно допустить, чтобы Франция поручилась своим знаменем, одной из величайших святынь человечества, поручилась тем, что не менее священно и важно, — своей моральной ответственностью перед нациями, — чтобы она расточала свои деньги, деньги народа, терпящего лишения; чтобы она, повторяю, пролила кровь своих доблестных солдат — и чтобы все это не принесло ничего! (*Неописуемое волнение.*) Нет, я обмолвился: принесло бы позор! Вот что действительно невозможно! (*Гром аплодис-*

сментов, бурная овация. Оратора, сошедшего с трибуны, толпой обступают и поздравляют депутаты, среди них Дюпен, Кавеньяк, Ларошжаклен. Заседание прерывается на двадцать минут.),

ОТВЕТ МОНТАЛАМБЕРУ

20 октября 1849 года

Господа, вчера, в момент, когда я отсутствовал, достопочтенный господин де Монталамбер заявил, что аплодисменты некоторой части этого собрания, аплодисменты людей, глубоко взволнованных страданиями благородного и несчастного народа, что эти аплодисменты — возмездие мне. Я принимаю это возмездие (*сильное волнение в зале*), и я горжусь им. (*Продолжительные аплодисменты слева.*)

Бывают и другие аплодисменты; я отдаю их тем, кто ими не брезгает. (*Движение справа.*) Это — аплодисменты палачей Венгрии и душителей Италии. (*Возгласы «Браво! Браво!» слева.*)

Было время — да позволит мне господин де Монталамбер сказать ему это с чувством глубокой жалости к нему, — когда он более достойным образом применял свое прекрасное дарование. (*Протесты справа.*) Он защищал Польшу, как я теперь защищаю Италию. Тогда я был рядом с ним. Теперь он против меня. Это объясняется очень просто: он перешел на сторону угнетателей, я остаюсь на стороне угнетенных. (*Аплодисменты слева.*)

СВОБОДА ПРЕПОДАВАНИЯ

15 января 1850 года

Господа! Когда обсуждается вопрос, имеющий такое огромное значение для судеб нашей страны, нужно немедленно, без колебаний вникнуть в суть дела.

Сначала я скажу, чего я хочу, а затем — чего я не хочу.

Господа, на мой взгляд, цель, пусть далекая и трудно достижимая, но к которой нужно стремиться в важном деле народного образования, заключается в следующем. (*Возгласы: «Громче! Громче!»*)

Господа, для любого вопроса существует идеальное решение. Что касается меня, вот как я себе представляю идеальное решение вопроса о народном образовании: всеобщее бесплатное обязательное обучение, обязательное — только на первой ступени, бесплатное — на всех ступенях. (*Ропот справа, аплодисменты слева.*) Обязательное начальное образование — это право ребенка (*движение в зале*), и — не обольщайтесь! — оно еще более священно, чем права отца, и тождественно с правами государства.

Я продолжаю. Итак, вот, на мой взгляд, идеальное решение вопроса: бесплатное обязательное обучение в том объеме, который я только что указал. Величественная система народного образования, созданная и направляемая государством, начинающаяся с сельской школы и восходящая, ступень за ступенью, до Коллеж де Франс и еще выше, до Института. Врата науки настежь раскрыты для всех способных людей. Всюду, где есть пашня, всюду, где есть ум человеческий, должна быть книга. Ни одной сельской общины без начальной школы, ни одного городка без коллежа, ни одного крупного города без высшего учебного заведения. Обширнейшее сочетание, или, вернее сказать, обширнейшая сеть рассадников просвещения — лицеев, гимназий, коллежей, университетских кафедр, библиотек; их лучи, слитые воедино, освещают всю страну, повсюду пробуждая дремлющие способности, вызывая к жизни глубоко таящиеся призвания. Словом, воздвигнутая рукою государства прочная лестница познания, основание которой упирается в самые глубокие, самые отсталые низы общества, а верхние ступени уходят в лучистое поднебесье. Ничто не может воспрепятствовать последовательному восхождению. Сердце народа и мозг Франции непрерывно общаются друг с другом. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Таким мне представляется народное образование, организованное в национальных масштабах. Господа! При этой, созданной государством, прекрасной системе бесплатного народного образования, которая призывает

к себе всех людей — и щедро и скудно одаренных, — безвозмездно обеспечивает им самых лучших учителей и самые лучшие методы обучения и является образцом научности и стройности, системе разумной, подлинно французской, христианской и либеральной, благодаря которой национальный гений, несомненно, достиг бы наивысшего расцвета, — при такой системе я, нимало не колеблясь, допустил бы свободу преподавания: свободу преподавания для частных учителей, свободу преподавания для религиозных конгрегаций, свободу преподавания полную, неограниченную, безусловную, подчиненную, как и все другие свободы, действию общих государственных законов, — и эту свободу не пришлось бы ставить под бдительный надзор государства, так как противовесом ей служило бы бесплатное народное образование, предоставляемое все тем же государством. (*Возгласы «Браво!» слева, ропот справа.*)

Таково, повторяю, идеальное решение вопроса. Не волнуйтесь, господа, до этого еще далеко, ибо успешно разрешить эту проблему, как и все другие социальные проблемы нашего времени, можно только при условии больших денежных затрат.

Но все же, господа, это идеальное решение необходимо было указать; ведь всегда нужно ясно говорить, к чему стремишься. Его можно рассматривать со всевозможных точек зрения, но сейчас еще рано вдаваться в подробности. Я знаю, что Собранию нужно беречь время, и поэтому тотчас перейду к рассмотрению современного состояния этого вопроса. Я намерен рассмотреть его в той стадии относительной зрелости, которой он достиг под воздействием совершившихся событий, с одной стороны, и под воздействием здравого смысла общества — с другой.

Исходя из этой несколько суженной, но реальной точки зрения, из положения вопроса в настоящем, я хочу — и я это заявляю — свободы преподавания, но под наблюдением государства; а так как я считаю необходимым, чтобы это наблюдение было действенным, то я хочу, чтобы государство было светским, полностью светским, исключительно светским. Еще до меня distinguished господин Гизо сказал, что в деле народного образования

государство может и должно руководствоваться только принципами светской власти.

Итак, повторяю, я хочу свободы преподавания под наблюдением государства, и я убежден, что представлять государство в этом столь щекотливом и сложном деле, требующем сотрудничества всех живых сил страны, могут только люди, которые подвизаются на самых высоких поприщах, но которые ни в интересах религии, ни в интересах политики не поступятся единством нации. Это означает, что, на мой взгляд, епископам или их уполномоченным не место ни в высшем наблюдательном совете, ни в окружных советах. Да, я настаиваю на том, что нужно провести в жизнь, быть может даже более последовательно, чем когда-либо, древний благотворный принцип отделения церкви от государства, о котором так мечтали наши отцы: это и в интересах церкви и в интересах государства. (*Шумное одобрение слева. Протесты справа.*)

Я сказал вам, чего я хочу. А вот чего я не хочу.

Я не хочу того закона, который вам предлагают.

Почему?

Господа! Этот закон — оружие.

Оружие само по себе — ничто; все зависит от руки, которая им завладеет.

Чья же рука завладеет этим законом?

В этом весь вопрос.

Господа! Им завладеет рука клерикальной партии. (*Возгласы: «Совершенно верно!» Продолжительное возбуждение.*)

Господа! Я опасаясь этой руки, я хочу сломать это оружие, я отвергаю этот законопроект.

Предупредив об этом, я перехожу к рассмотрению самого законопроекта.

Прежде всего я должен самым решительным образом опровергнуть довод, всегда выдвигаемый против тех, кто разделяет мою точку зрения, — единственный довод, который может показаться убедительным.

Нам говорят: вы исключаете духовенство из государственного наблюдательного совета, значит вы хотите упразднить религиозное воспитание?

Господа, я сейчас поясню свою мысль, чтобы никто никогда не мог по моей вине превратно понять то, что я говорю, и то, что я думаю.

Я не только далек — вы слышите? — от намерения упразднить религиозное воспитание, но считаю, что в наши дни оно необходимо, как никогда. Чем более повышается человек, тем более необходима ему вера. Чем более он приближается к богу, тем яснее он должен видеть бога. (*Движение в зале.*)

Несчастье нашего времени, пожалуй даже почти единственное несчастье нашего времени, — это весьма распространенная склонность полагать, что земная жизнь вмещает в себе все. (*Сильное возбуждение в зале.*) Утверждение, что жизнь земная, материальная — предел и цель пути человека, что за ней уже нет ничего, усугубляет горести людские. К бременю, лежащему на обездоленных, прибавляется тягостная мысль о небытии, и страдание — закон, установленный богом, обращается в отчаяние — закон, царящий в аду. (*Продолжительное движение.*) Отсюда глубокие потрясения общества. (*Возгласы: «Да, да!»*)

Никто из находящихся здесь не усомнится, что я принадлежу к числу тех, кто, мало сказать — искренне, кто с невыразимой страстностью жаждет всеми возможными средствами улучшить в этой жизни участь страждущих; но самое неотложное из этих улучшений — вдохнуть в них надежду. (*Возгласы «Браво!» справа.*) Насколько легче переносятся наши земные страдания, когда им сопутствует беспредельная надежда! (*Возгласы: «Превосходно, превосходно!»*)

Общий наш долг, всех нас, кто бы мы ни были, законодатели или епископы, священники или писатели, общий наш долг — устремлять, направлять, расточать всю энергию общества во всех ее проявлениях на борьбу с нищетой и на уничтожение нищеты. (*Возгласы «Браво!» слева.*) И вместе с тем наш долг — побуждать всех людей обратить взоры к небесам (*возгласы «Браво!» справа*), направить все души, все чаяния к иной, посмертной жизни, где над всеми свершится суд и всем воздастся по заслугам. Скажем во весь голос — все те, кто претерпел незаслуженные или ненужные страдания, будут вознаграждены за них. Смерть дарует возмещение. (*Возгласы «Превосходно!» справа. Движение в зале.*) Материальным миром правит закон равновесия; духовным миром правит закон справедливости. У последней

черты всегда находишь бога. Мы должны всегда помнить сами и внушать всем, что жизнь наша была бы лишена всякого достоинства и человеку не стоило бы жить, если бы нам предстояло исчезнуть бесследно. Что облегчает нам работу, освящает наш труд, наделяет человека силой, добротой, мудростью, терпением, доброжелательностью, справедливостью, делает его одновременно смиренным и великим, достойным образования, достойным свободы? Прозрение иного, лучшего мира, вовек сияющего сквозь мрак земной жизни. (*Бурное единодушное одобрение.*)

Что касается меня, раз случаю угодно, чтобы по этому поводу здесь выступил я и чтобы столь веские слова произносил человек малоавторитетный, то да будет мне дозволено сказать, дозволено заявить здесь, с высоты этой трибуны, что я глубоко верю в этот лучший мир; для меня он гораздо более реален, нежели та жалкая химера, которую мы, жадно ею упиваясь, называем жизнью; он всегда у меня перед глазами; я верю в него всею силою своего убеждения; и после долгой внутренней борьбы, долгих размышлений и долгих испытаний этот мир стал высшей истиной для моего разума, так же как он стал высшим утешением для моей души. (*Сильное возбуждение в зале.*)

Итак, я искренно, твердо, страстно стою за религиозное воспитание, но при условии, что этим воспитанием будет ведать церковь, а не та партия, которая на это притязает. Я хочу, чтобы оно было правдивым, а не лицемерным. (*Возгласы: «Браво, браво!»*) Хочу, чтобы целью его было небесное, а не земное. (*Движение в зале.*) Не хочу, чтобы одна кафедра подменила собою другую, не хочу смешения священника с преподавателем. Если же я, как законодатель, соглашусь на это смешение — я буду наблюдать за ним, я позабочусь о том, чтобы за семинариями и конгрегациями, занимающимися преподаванием, следил глаз государства, притом, я настаиваю на этом, светского государства, стремящегося исключительно к величию и единству нации.

Пока же, до того, столь желанного дня, когда можно будет провозгласить полную свободу преподавания, — на каких условиях, это я уже сказал вам в начале своей речи, — до этого дня я хочу, чтобы религиозное воспитание давалось внутри церкви, а не вне ее. А главное, я считаю издевательством такую систему, когда

духовенство преподает и духовенство же, от имени государства, осуществляет наблюдение за преподаванием. Словом, я хочу — еще раз повторяю — я хочу того, чего хотели наши отцы: церкви — свое поприще, государству — свое. *(Возгласы: «Да, да!»)*

Теперь Собранию, по всей вероятности, ясно, почему я отвергаю этот законопроект; но я объяснюсь до конца.

Господа, предложенный нам законопроект имеет не только политическое значение; он — и это, пожалуй, гораздо опаснее — имеет значение стратегическое. *(В зале перешептывание.)* Разумеется, я обращаюсь не к почтеннейшему епископу Лангрскому и вообще не к тому или иному лицу в этом собрании, а к той партии, которая если не выработала, то во всяком случае вдохновила этот законопроект, к партии, одновременно и дряхлой и пылкой, — к клерикальной партии. Я не знаю, представлена ли она в правительстве, не знаю, представлена ли она в Собрании *(движение в зале)*, но влияние этой партии я ощущаю повсюду. *(Снова движение в зале.)* У нее острый слух, она меня услышит. *(В зале смех.)* Итак, я обращаюсь к клерикальной партии и заявляю ей: этот закон — ваше детище. А я скажу, не обинуясь, — я вам не доверяю. Просвещать — значит созидать. *(Сильное возбуждение в зале.)* Я не доверяю тому, что вы созидаете. *(Возгласы: «Превосходно, превосходно!»)*

Я не хочу доверить вам обучение юношества, души наших детей, развитие юных умов, устремленных навстречу жизни, мышление грядущих поколений, иными словами — будущность Франции. Я не хочу доверить вам будущность Франции, потому что доверить ее вам — значит предать ее. *(Движение в зале.)*

Мне мало того, что грядущие поколения продолжат нашу жизнь; нужно, чтобы они продолжили наше дело. Вот почему я не хочу, чтобы вы наложили на них руку и вдохнули в них свой дух. Я не хочу, чтобы вы разрушили то, что создали наши отцы. После великой славы я не хочу великого позора. *(Продолжительное движение.)*

Ваш закон предстает нам в маске. *(Возгласы: «Браво!»)*

Он говорит одно, а делать будет совсем другое. Под личиной свободы он таит в себе порабощение. Он сулит

щедрые дары, а принесет нищету. Он мне не нужен. (*Аплодисменты слева.*)

Это давняя ваша привычка. Вы куете цепь и заявляете: «Вот свобода!» Вы устраиваете массовое изгнание и кричите: «Вот амнистия!» (*Снова аплодисменты.*)

О, я отнюдь не отождествляю вас с церковью, так же как я не отождествляю омелу с дубом. Вы — паразиты церкви, вы — язва церкви. (*Смех.*) Игнаций — враг Иисуса. (*Бурное одобрение слева.*) Вы — не приверженцы, а схизматики религии, которую вы не понимаете. Вы — постановщики религиозного спектакля. Не впутывайте церковь в ваши дела, в ваши коварные происки, в ваши стратегические планы, в ваши доктрины, в ваши честолюбивые замыслы. Превращая церковь в свою служанку, не называйте ее своей матерью. (*Сильнейшее волнение.*) Не истязайте церковь под предлогом приобщения ее к политике, а главное — не отождествляйте ее с собой! Смотрите, какой вред вы ей наносите. Епископ Лангрский сказал вам это. (*Смех в зале.*)

Смотрите, как она хиреет с тех пор, как вы присосались к ней. Вы возбуждаете такую неприязнь, что в конце концов ее возненавидят из-за вас! Сказать правду — и я вам ее скажу (*смех в зале*), — церковь отлично обойдется без вас. Оставьте ее в покое. Когда вас там не будет, люди вернутся к ней. Оставьте ей, этой достойной преклонения церкви, достойной преклонения матери, ее отрешенность от мира, ее самоотречение, ее смирение. Из всего этого слагается ее величие! Отрешенность от мира привлечет к ней толпы людей, в самоотречении — ее сила, в смирении — ее величие. (*Шумное одобрение.*)

Вы говорите о религиозном воспитании. Знаете ли вы, в чем заключается истинное религиозное воспитание, заслуживающее того, чтобы перед ним преклонялись, чтобы в него не вмешивались? Это — подвиг сестры милосердия у изголовья умирающего. Это — миссионер, выкупающий невольника. Это — Венсан де Поль, подбирающий найденыша. Это — епископ Марсельский среди захваченных. Это — архиепископ Парижский, с улыбкой на устах являющийся в грозное Сент-Антуанское предместье, высоко поднимающий распятие над гражданской войной и готовый принять смерть ради того, чтобы водворился мир. (*Возгласы: «Браво!»*) Вот истинное

религиозное воспитание, настоящее, глубоко западающее в души, действенное, близкое народу, то религиозное воспитание, которое, к счастью для религии и человечества, привлекает к христианству гораздо больше сердец, чем вы их отвращаете от него. (*Продолжительные аплодисменты слева.*)

О, мы вас знаем! Мы знаем клерикальную партию. Это старая партия, у нее длинный послужной список. (*Смех в зале.*) Это она стоит на страже у врат прававерия. (*Смех в зале.*) Это она нашла для истины два великолепных столпа — невежество и заблуждение. Это она возбраняет науке, возбраняет гению человеческому выходить за тесные пределы молитвенника, это она силится замуровать свободную мысль в догме. Все, чего достиг человеческий разум во всей Европе, достигнуто им наперекор клерикальной партии. Ее история вписана в историю человеческого прогресса, но на оборотной стороне. (*Сильнейшее волнение в зале.*) Эта партия всегда противилась каждому шагу вперед. (*Смех в зале.*)

Это она подвергла телесному наказанию Принелли, утверждавшего, что звезды не могут падать с неба. Это она двадцать семь раз пытала Кампанеллу за его гипотезы о множественности миров и за то, что он приподнял завесу над тайной мироздания. Это она преследовала Гарвея, открывшего кровообращение. Чтобы доказать правоту Иисуса Навина, она бросила в темницу Галилея. Чтобы доказать правоту святого Павла, она заключила в оковы Христофора Колумба. (*Сильное волнение в зале.*) Открыть законы движения небесных светил — кощунство; открыть новую часть света — ересь. Клерикальная партия предала анафеме Паскаля — во имя религии, Монтеня — во имя нравственности, Мольера — во имя и религии и нравственности. О! Разумеется, кто бы вы ни были, вы, именующие себя католической партией, а на деле являющиеся партией клерикальной, — мы вас знаем! Давным-давно уже совесть человеческая восстает против вас и негодуяще вопрошает: «Что вам от меня нужно?» Давным-давно уже вы пытаетесь обречь разум человеческий на немоту. (*Бурное одобрение слева.*)

И вы, вы хотите распоряжаться просвещением? А ведь нет ни одного поэта, ни одного писателя, ни одного философа, ни одного мыслителя, которого вы признавали бы!

Все то, что написали, доказали, открыли, создали, постигли, озарили ярким светом, провидели, воплотили в своих творениях величайшие гении человечества, все сокровища цивилизации, все многовековое наследие бесчисленных поколений, общее достояние всех мыслящих людей, — все это вы отвергаете! Если бы разум всего человечества оказался перед вашими глазами, в полном вашем распоряжении, наподобие раскрытой книги, — вы бы изуродовали ее подчистками. (*Возгласы: «Да, да!»*) Признайтесь, это так! (*Продолжительное движение.*)

И, наконец, есть книга, с начала до конца пронизанная священным вдохновением, книга, являющаяся для всего мира тем, чем коран является для ислама, а веды — для Индии, книга, заключающая в себе всю мудрость человеческую, просветленную всей божественной мудростью, — книга, которую народы благоговейно называют книгою книг — библия. И что же? Ваша цензура и на нее посягнула. Неслыханное дело! Папство запретило библию! Как изумляются все здравые умы! Как сжимаются от ужаса все простые сердца при виде римского запрета, наложенного на слово господне! (*Шумное одобрение слева.*)

И вы, вы требуете свободы преподавания? Что ж, поговорим начистоту! Определим сообща, какой именно свободы вы требуете. Вот какой: свободы держать людей в невежестве. (*Аплодисменты слева. Резкие протесты справа.*)

А, вы хотите, чтобы вам дали просвещать народы? Превосходно! Посмотрим на ваших учеников. Посмотрим на плоды вашей деятельности! Что вы сделали с Италией? Что вы сделали с Испанией? Уже много веков вы держите в своих руках, в полном своем распоряжении, под своим исключительным влиянием, под своей ферулой обе эти великие нации, прославленные среди славных; что вы с ними сделали? (*Движение в зале.*)

Я вам скажу. По вашей милости Италия, имя которой всякий мыслящий человек ныне произносит с невыразимой сыновней скорбью, Италия, мать гениальных и великих наций, Италия, подарившая всему миру чудеснейшие творения искусств и поэзии, Италия, научившая человечество читать, Италия в наши дни — неграмотна! (*Сильное волнение в зале.*)

Да, Италия по числу грамотных стоит на последнем месте среди всех европейских государств! (*Протесты справа. Резкие выкрики.*)

Испания, столь щедро одаренная природой, древнейшую свою цивилизацию воспринявшая от римлян, более позднюю — от арабов, а от providения, вопреки вам, получившая новый мир — Америку, Испания, подпав под ваше позорное иго, оупляющее и умаляющее (*аплодисменты слева*), утратила тайну могущества, унаследованную ею от римлян, творческий гений, унаследованный от арабов, новый мир, дарованный ей providением, и взамен всего того, что она утратила по вашей милости, получила от вас инквизицию. (*Движение в зале.*)

Инквизицию, которую некоторые деятели вашей партии в настоящее время пытаются обелить, правда с какой-то стыдливой робостью, делающей им честь. (*Продолжительное веселое оживление слева. Протесты справа.*) Инквизицию, сжегшую на кострах и задушившую в темницах пять миллионов человек. (*Протесты справа.*) Почитайте историю. Обелить инквизицию, выкапывавшую трупы еретиков из могил для посмертного сожжения! (*Возгласы: «Это правда!»*) Так она поступила с Юржем и с Арно, графом Форкалькье. Инквизицию, объявлявшую детей и внуков еретиков бесчестными и лишавшую их права занимать общественные должности; исключение делалось только для тех, кто — буквально так сказано в декретах — *доносил на своих отцов!* (*Продолжительное движение в зале.*) Инквизицию, которая и теперь, в час, когда я говорю здесь, держит под спудом в библиотеке Ватикана, в разделе запрещенных сочинений, рукописи Галилея! (*Сильное возбуждение в зале.*) Правда, в утешение за все то, что вы отняли у Испании, и за все то, что вы ей дали, вы ее именуете «католической!» (*Шум справа.*)

О, знаете ли вы, какой страшный, обличающий вас вопль отчаяния ваши преступления исторгли у одного из самых выдающихся испанских деятелей? «По мне, — воскликнул он, — пусть лучше она будет великой, чем католической!» (*Сильный продолжительный шум справа мешает оратору продолжать. Раздаются бранные выкрики.*)

Вот ваши великие творения! Очаг света, называвшийся Италией, вы загасили. Под колосса, называвшегося Испанией, вы подвели мину. Италия превращена в пепел, Испания — в развалины. Вот что вы сделали с двумя великими народами. Что же вы хотите сделать с Францией? (*Продолжительное движение в зале.*)

Да, вы ведь совсем недавно побывали в Риме; поздравляю вас, вы достигли там блестящего успеха. (*Смех и возгласы «Браво!» слева.*) Вы только что зажали рот римлянам, сейчас вы хотите зажать рот французам. Я вас понимаю. Это был бы еще более громкий успех, это соблазнительно. Но берегитесь — это дело нелегкое! Наш народ — лев, полный силы. (*Сильное возбуждение в зале.*)

На кого вы в сущности ополчились? Сейчас скажу. На человеческий разум. Почему? Потому, что разум все освещает. (*Возгласы: «Да, да!», «Нет, нет!»*)

Хотите, я скажу, что именно вас тревожит? Яркий свет свободы, который в продолжение трех веков Франция струит потоками; свет, излучаемый разумом, сияющий теперь ярче, чем когда-либо; свет, которым Франция озаряет путь прогресса для всех наций и отблески которого видны на челе всех народов мира. (*Сильнейшее возбуждение в зале.*) И этот свет, излучаемый Францией, свет ясный и непреломленный, свет, исходящий не от Рима, а от бога, — вы хотите его загасить, мы хотим его сохранить! (*Возгласы: «Да, да!», крики «Браво!» слева.*)

Я отвергаю ваш закон, отвергаю его, потому что он разрушает начальное образование, потому что он ухудшает среднее образование, потому что он понижает общий уровень знаний, потому что он наносит ущерб моей родине. (*Сильное волнение в зале.*)

Я отвергаю его, потому что принадлежу к числу тех, у кого сердце сжимается и краска стыда приливает к лицу, когда Франция по той или иной причине терпит ущерб, будь то уменьшение территории, как в результате мирных договоров 1815 года, или умаление духовной мощи, которое неминуемо воспоследует за вашим законом. (*Бурные аплодисменты слева.*)

Господа! Прежде чем закончить, разрешите мне с высоты этой трибуны дать клерикальной партии,

стремящейся все заполнить (*возгласы: «Слушайте! Слушайте!»*), настоящий совет. (*Шум справа.*)

У этой партии ловкости — хоть отбавляй. При благоприятных обстоятельствах она сильна, очень сильна, слишком сильна! (*Движение в зале.*) Она в совершенстве владеет искусством подолгу держать народы в смутном, жалком состоянии, — это не смерть, но это и не жизнь. (*Возгласы: «Правильно!»*) В ее понимании это значит управлять. (*Смех в зале.*) Это — правление при помощи летаргического сна. (*Снова смех.*)

Но пусть клерикальная партия остерегается. Такое правление Франции не по вкусу. Опасная игра — дать Франции хоть одним глазком взглянуть на этот идеал: власть вручена ризнице, свобода предана, разум побежден и заключен в оковы, книги разодраны в клочья, на месте печатного станка — амвон, черные тени сутан окутали умы мраком, великие гении — под надзором церковных сторожей! (*Овация слева. Яростные протесты справа.*)

Разумеется, клерикальная партия ловка; но это не мешает ей быть наивной. (*Веселое оживление в зале.*) Как! Она боится социализма! Как! Она, по ее собственным словам, видит, что волна подымается, и выставляет против этой волны какое-то жалкое укрепление, забранное решеткой! Она видит, что волна подымается, — и воображает, будто общество будет спасено тем, что для его защиты она замыслила сочетать социальное лицемерие с вещественным принуждением и всюду, где нет жандарма, она поставит иезуита! (*Смех и аплодисменты.*) Как все это убого!

Повторяю, пусть клерикальная партия остерегается! Девятнадцатый век враждебен ей. Пусть она не упорствует, пусть откажется от мысли подчинить себе великую эпоху, полную новых, мощных устремлений, — иначе эта партия только возбудит ее гнев и, опрометчиво развив опасные склонности нашего времени, вызовет грозные события. Да, повторяю: придерживаясь системы, которая — я это подчеркиваю — просвещение подчиняет ризнице, а управление — исповедальне... (*Неистовый продолжительный шум прерывает оратора. Крики: «К порядку!» Некоторые члены правой вскакивают со своих мест. Председатель собрания и Виктор Гюго обмени-*

ваются репликами, расслышать которые невозможно. Шум перерастает в бурю. Обращаясь к правой, оратор продолжает.)

Господа, вы утверждаете, что будете всеми силами отстаивать свободу преподавания. Постарайтесь хоть сколько-нибудь отстоять свободу трибуны! (Смех в зале. Шум стихает.)

Да, придерживаясь этих доктрин с их неумолимой, роковой логикой, которая даже помимо воли тех, кто им предан, увлекает людей все дальше и толкает на злые дела, придерживаясь этих доктрин, внушающих ужас, когда в истории видишь их действие... (Снова крики: «К порядку!» Оратор сам себя прерывает словами:)

Господа, я уже сказал вам — клерикальная партия постепенно заполняет Францию. Я борюсь против нее, и в ту минуту, когда эта партия является с готовым законом в руках, я, как законодатель, вправе внимательно рассмотреть и этот закон и эту партию. Вам не удастся помешать мне в этом. (Возгласы: «Превосходно!») Я продолжаю.

Да, при такой системе, такой доктрине и такой истории клерикальная партия — пусть она это знает! — везде будет вызывать революции; чтобы спастись от Торквемады, везде будут кидаться к Робеспьеру. (Сильнейшее волнение в зале.) Вот почему партия, называющая себя католической, представляет серьезную опасность для общества. И те, кто, как я, в равной мере опасаются для народов и потрясений, порождаемых духом анархии, и сонной одури, порождаемой гнетом церкви, — быют тревогу. Итак, подумайте хорошенько, пока еще не поздно! (Сильный шум справа.)

Вы прерываете меня. Крик и ропот заглушают мой голос. Господа, я с вами разговариваю не как подстрекатель, а как честный человек. (Возгласы: «Слушайте! Слушайте!») Вот что, господа! Уж не внушаю ли я вам подозрений... (Крики справа: «Да, да!») Как, я внушаю вам подозрения? Вы это утверждаете?

(Крики справа: «Да, да!» Невероятная сумятица и шум. Многие члены правой вскакивают со своих мест и обращаются к Виктору Гюго со злобными выкриками, которые он, стоя на трибуне, выслушивает с невозмутимым спокойствием.)

Ну что ж! По этому пункту нужно объясниться. *(Тишина восстанавливается.)* Это — своего рода заявление по личному вопросу. Я думаю, вы согласны выслушать объяснение, на которое сами меня вызвали? Так вот оно что! Я внушаю вам подозрения. Какие именно? Я внушаю вам подозрения? Но ведь в прошлом году я защищал порядок, в то время находившийся в опасности, так же как сейчас защищаю свободу, которой угрожает гибель! И точно так же я завтра снова буду защищать порядок, если он снова окажется в опасности. *(Движение в зале.)*

Я внушаю вам подозрения? А внушал ли я их вам, когда, выполняя свой долг депутата от Парижа, я предотвращал кровопролитие на июньских баррикадах? *(Возгласы «Браво!» слева. Снова выкрики справа. Неистовый шум возобновляется.)*

Ах, так! Вы не хотите даже выслушать голос, решительно защищающий свободу? Если я вам внушаю подозрения, то и вы мне их внушаете. Нас рассудит отечество. *(Возгласы: «Превосходно, превосходно!»)*

Господа, еще одно, последнее слово. Быть может, я принадлежу к числу тех, кто имел счастье в трудные дни недавнего прошлого оказать делу порядка кое-какие малозаметные услуги. Об этих услугах могли забыть. Я о них не напоминаю. Но, выступая сейчас, в такую минуту, я вправе сослаться на них. *(Возгласы: «Нет, нет!», «Да, да!»)*

Так вот, ссылаясь на это прошлое, я заявляю, и это мое глубокое убеждение, что Франции нужен порядок, но порядок животворный, то есть прогресс; порядок, возникающий из нормального, мирного, естественного развития народа. Порядок, который, благодаря пышному расцвету духовных сил всей нации, одновременно устанавливается и в действиях и в мыслях. Это — полная противоположность вашему закону. *(Шумное одобрение слева.)*

Я принадлежу к числу тех, кто хочет для нашей благородной страны свободы, а не порабощения, непрерывного роста, а не умаления, могущества, а не упадка, величия, а не ничтожества. *(Возгласы «Браво!» слева.)* И что же! Вот какие законы вы нам представляете! И что же! Вы, правители, вы, законодатели, хотите остано-

виться! Хотите остановить Францию! Хотите обратить разум человеческий в мертвый камень, загасить божественный светоч, низвести дух до уровня косной материи! (*Возгласы: «Да, да!», «Нет, нет!»*) Да неужели вы не видите, какие проблемы волнуют наше время, время, в которое вы живете? Значит, вы словно чужие в вашем веке! (*Сильное волнение в зале.*)

Как, в наш век, великий век преобразований, открытий, изобретений, побед науки, вы мечтаете о неподвижности? (*Возгласы: «Превосходно!»*) В наш век, век надежды, вы проповедуете безнадежность? (*Возгласы: «Браво!»*) Как! словно усталые поденщики, вы швыряете наземь славу, мысль, разум, прогресс, будущее и восклицаете: «Хватит! Зачем продолжать путь? Остановимся!» (*Протесты справа.*) Да неужели вы не видите, что все движется, растет, изменяется, обновляется и преобразуется, что все — в волнении, и вокруг вас, и над вами, и под вами! (*Движение в зале.*)

А, вы хотите остановиться! Так вот — я повторяю вам это с глубокой скорбью, ибо я ненавижу катастрофы и разрушения, — я предупреждаю вас с отчаянием в душе (*смех справа*) — вы отвергаете прогресс? Ну что же, вы получите революцию! (*Сильное возбуждение в зале.*) Людям, настолько безумным, чтобы заявлять: «Человечество не пойдет вперед!» — бог отвечает тем, что сотрясает вселенную! (*Продолжительные аплодисменты слева. Депутаты обступают оратора, сходящего с трибуны, и поздравляют его. Заседание закрывается среди общего сильного возбуждения.*)

ССЫЛКА

5 апреля 1850 года

Господа! В числе февральских дней, которым нет равных в истории, был один особо знаменательный день, когда голос державного народа, сквозь смутный гул на площадях диктовавший временному правительству его декреты, произнес великие слова: «Смертная казнь за политические преступления отменяется». (*Возгласы: «Превосходно!»*) В этот день все великодушные и вдумчивые люди ощутили радостный трепет. И действительно —

видеть, как великий акт прогресса, порожденный революцией, еще полной пыла, спокойно, величаво утверждает себя; видеть, как Иисус, живой, осиянный светом, склоняется над взволнованными массами; видеть, как из ужасающего крушения законов человеческих встает во всем его величии божественный закон (*возгласы: «Браво!»*); видеть, как несметное множество людей поступает словно великий мудрец; видеть, как все эти страсти, все эти умы, все эти души, еще накануне распаленные гневом, как все эти люди, совсем еще недавно закусывавшие патроны, объединяются и сливают уста свои в едином возгласе, прекраснейшем, какой только может издать человек, — возгласе: «Милосердие!» — это было возвышенным зрелищем для философов, для публицистов, для политических деятелей, для Франции, для Европы. Даже те, чьи интересы пострадали от февральских событий, те, чьи чувства или симпатии были ими задеты, даже те, кто стонал, те, кто содрогался, даже они рукоплескали и должны были признать, что самые неистовые проявления революционного духа могут соединяться с благими действиями и что революции обладают изумительным свойством: они способны одним великим часом изгладить память о всех ужасных часах! (*Сильное волнение в зале.*)

Впрочем, господа, это внезапное и блистательное, хотя и неполное торжество принципа неприкосновенности человеческой жизни не удивило тех, кому известно могущество идей. В обычные времена — те времена, которые принято именовать спокойными, потому что под невозмутимой на вид гладью не умеют различить глубинные течения, — в так называемые мирные периоды идеями склонны пренебрегать; высмеивать их — признак хорошего тона. «Все это мечты, декламация, утопия», — так о них говорят. Считаются только с фактами, и чем эти факты вещественнее, осязаемее, тем большее они внушают уважение. Ценят одних лишь дельцов, людей *мыслящих практически*, как их называют на известном жаргоне (*возгласы: «Превосходно!»*), только людей положительных, которые по самой своей сути являются людьми отрицательными. (*Возгласы: «Верно!»*)

Но стоит только грянуть революции — и эти дельцы, эти ловкачи, казавшиеся гигантами, вмиг становятся карликами; все явления, несоразмерные огромному размаху

быстро разворачивающихся событий, рушатся и исчезают; все реальные факты обращаются в ничто, а идеи, устремляясь все выше, достигают небес. (*Движение в зале.*)

Так, благодаря внезапному, мощному распространению, которое идеи приобретают во время революций, совершилось это великое дело — отмена смертной казни за политические преступления.

Господа, Учредительное собрание приняло и утвердило это великое решение, этот плодотворный декрет, содержащий в зародыше целый кодекс, этот знаменательный акт, в котором воплощен не только прогресс, но и великий принцип. Оно поместило его, можно сказать, почти что на вершине конституции, словно некий великолепный залог, данный духом революции духу гражданственности, словно изумительную победу, а главное — словно торжественное обещание, словно отверзтые врата, сквозь которые ясный свет грядущего дня струится на еще туманные, еще неполные завоевания настоящего.

И действительно, в будущем отмена смертной казни за политические преступления неминуемо приведет, всепобеждающей силой логики, к полной отмене смертной казни. (*Возгласы: «Да! Да!»*)

И что же, господа! Сейчас это обещание хотят нарушить, от этого завоевания хотят отказаться, этот принцип — иначе говоря, то, что незыблемо, — хотят сокрушить! Достопамятный февральский день, отмеченный энтузиазмом великого народа и рождением великого прогрессивного начинания, этот день хотят вычеркнуть из истории! Под скромным названием закона о ссылке правительство внесло, а ваша комиссия предлагает вам принять проект закона, который общественное мнение — а оно не ошибается — уже расшифровало и определило одной строкой, вот она: смертная казнь за политические преступления восстанавливается. (*Возгласы «Браво!» слева, справа протесты и возгласы: «Об этом и речи нет! Заполняют пробел в уголовном кодексе, вот и все! Нужно ведь найти замену смертной казни!»*)

Вы слышите, господа — авторы законопроекта, члены комиссии, почтенные главари большинства протестуют и говорят: «Об этом нет и речи, нет и намека! В уголовном кодексе имеется пробел, его хотят заполнить — ничего больше; всего-навсего хотят найти за-

мену смертной казни!» Верно ведь? Я не ослышался? Итак, хотят всего-навсего найти замену смертной казни, — и как же за это берутся? Сочетают климат... Да, как бы вы ни старались, господа, сколько бы вы ни искали, сколько бы вы ни выбирали, ни исследовали, бросаясь с Маркизских островов на Мадагаскар и снова от Мадагаскара на Маркизские острова, которые адмирал Брюа называет *могилой европейцев*, — климат места ссылки, по сравнению с климатом Франции, всегда будет убийственным, и акклиматизация, уже весьма нелегкая для людей свободных, обеспеченных, поставленных в наилучшие условия труда и гигиены, будет невозможна — вы слышите? — совершенно невозможна для несчастных заключенных. (*Возгласы: «Правильно!»*)

Я продолжаю. Итак, всего-навсего хотят найти замену смертной казни. Что же для этого делают? Сочетают климат, изгнание и тюрьму. Климат порождает болезни, изгнание — безысходную тоску, тюрьма — отчаяние. Вместо одного палача — целых три. Замена смертной казни найдена. (*Сильное волнение в зале.*) Ах, оставьте эти иносказательные обороты, оставьте эту лицемерную фразеологию; будьте по крайней мере правдивы и скажите вместе с нами: смертная казнь восстановлена! (*Возгласы «Браво!» слева.*)

Да, восстановлена; да, это та же смертная казнь; и я вам сейчас докажу — если она менее страшна на вид, она ужаснее на деле! (*Возгласы: «Так оно и есть!»*)

Ну что ж! Давайте обсудим вопрос хладнокровно. Судя по всему, вы хотите выработать закон не только суровый, но и применимый, закон, который не перестал бы действовать на другой же день после его издания. Так вот, взвесьте следующее.

Когда вы вносите в закон чрезмерную суровость, вы тем самым вносите в него бессилие. (*Возгласы: «Да! Да! Правильно».*)

Слишком многого ждать от суровости закона — самый верный способ ничего от него не дожидаться. Знаете ли вы, почему? Потому, что в глубине своей совести каждый человек сознает, что наказание справедливо только до известного предела, преступить который не во власти законодателя. В тот день, когда по вашей воле закон попытается преступить этот предел — священный предел,

начертанный в чувстве справедливости человека перстом самого бога, — закон оказывается перед лицом совести, и она преграждает ему путь. Когда закон находится в добром согласии с общественным мнением, с состоянием умов, с нравственностью общества — он всемогущ. Когда закон враждует с этими живыми силами общества и цивилизации — он немогущ. Судьи колеблются, присяжные выносят оправдательные приговоры, тексты законов оказываются несостоятельными и обращаются в ничто на глазах у изумленных судей. (*Движение в зале.*) Призадумайтесь над этим, господа: все то, что карательный закон устанавливает не считаясь со справедливостью, рушится очень быстро, и, это я заявляю всем партиям, в чем бы вы ни запечатлели ваши подлости — в граните ли, в извести или в цементе, чтобы развеять их в прах, достаточно будет дуновения (*возгласы: «Да! Да!»*), которое исходит одновременно из всех уст и называется общественным мнением. (*Сильнейшее возбуждение в зале.*) Я повторяю, и вот единственно правильная формулировка в этом вопросе: излишняя суровость карательного закона соответственно уменьшает его силу. (*Возгласы: «Правильно!»*)

Но предположим, что мои рассуждения, которые — заметьте! — я мог бы подкрепить множеством доказательств, ошибочны. Согласен, я ошибаюсь. Тогда предположим, что это новшество в карательной политике не перестанут применять тотчас после того, как оно будет принято. Я делаю вам уступку, я допускаю, что, утвердив этот закон, Собрание будет иметь великое несчастье видеть его в действии. Прекрасно! Теперь разрешите мне два вопроса: в чем своевременность этого закона? В чем его необходимость?

«Своевременность? — отвечают мне. — Разве вы забыли вчерашние покушения, каждодневные покушения, пятнадцатое мая, двадцать третье июня, тринадцатое июня? Необходимость? Да разве мыслимо отрицать необходимость противопоставить этим покушениям, всегда возможным, всегда угрожающим, репрессии огромных масштабов, примерное устрашение? Февральская революция отняла у нас гильотину. Мы делаем все, что только можем, чтобы найти ей замену; стараемся изо всех сил. (*Продолжительное движение в зале.*)

Я это вижу. *(Смех в зале.)*

Прежде чем продолжать, я дам краткое разъяснение.

Господа, я столь же решительно, как любой другой гражданин, — я вправе это заявить, и, мне думается, я это доказал, — я столь же решительно, как любой другой гражданин, отвергаю и осуждаю, при наличии всеобщего избирательного права, всякие возмущения и смуты, всякое обращение к грубой силе. Великому народу, властителю своих судеб, великому народу, способному мыслить, подобает бороться не оружием, а идеями! *(Сильное волнение в зале.)* Что касается меня — впрочем, для демократии это должно быть азбучной истиной, — я считаю, что право голосовать отменяет право восставать. Тем самым всеобщее избирательное право поглощает революции и растворяет их в себе. *(Аплодисменты.)*

Это основной принцип, непреложный и абсолютный; я настаиваю на этом. Я должен, однако, сказать, что в применении его к определению наказаний возникают трудности. Когда пагубные и прискорбные нарушения общественного спокойствия дают повод к судебным преследованиям, очень нелегко в точности установить факты и соразмерить наказание с проступком. Доказательство этому — все наши политические процессы.

Как бы там ни было, общество должно защищать себя. В этом отношении я полностью согласен с вами. Общество должно защищать себя, и вы должны содействовать ему в этом. Эти беспорядки, восстания, мятежи, заговоры, покушения — вы хотите их предотвратить, пресечь, подавить. Пусть так! Я хочу этого не менее, чем вы.

Но разве для этого вам нужно вводить новую кару? Возьмите кодекс. Прочтите там определение ссылки. Какие огромные возможности устрашения и наказания! Рассмотрите закон о ссылке, действующий ныне, — какое страшное оружие он вам вручает!

Подумайте! Перед вами человек, осужденный особым судом. Человек, которому за самое неопределенное из всех преступлений — политическое — вынесло приговор самое неопределенное из всех правосудий — политическое правосудие! *(Шум справа долго мешает оратору продолжать свою речь.)*

Господа, меня удивляет, что мне не дают говорить. Я уважаю всякое законное, конституционное правосудие;

но когда я оцениваю политическое правосудие в целом так, как я это делаю сейчас, я только повторяю то, что во все времена говорили философы всех народов, я — лишь эхо истории.

Я продолжаю.

Перед вами человек, осужденный особым судом.

Он приговорен к ссылке; этот приговор отдает его в ваши руки. Взвесьте все то, что вы можете с ним сделать, взвесьте, какую власть над ним предоставляет вам закон! Я говорю о ныне действующем законе и о том определении ссылки, которое в нем дано.

Этого человека, этого осужденного, преступника — по мнению одних, героя — по мнению других, ибо несчастье нашего времени в том, что... (*Громкий ропот справа.*)

Председатель. После того как правосудие сказало свое слово, преступник становится преступником для всех, и героем его могут называть только его сообщники. (*Возгласы «Браво!» справа.*)

Виктор Гюго. Я позволю себе заметить председателю господину Дюпену следующее: правосудие объявило преступником маршала Нея, осужденного в 1815 году. В моих глазах он герой, а я — отнюдь не его сообщник. (*Продолжительные аплодисменты слева.*)

Я продолжаю. Этого осужденного — преступника по мнению одних, героя по мнению других — вы хватаете; хватаете его, невзирая на его славу, на его влияние, на его популярность; разлучаете его с женой, детьми, друзьями, семьей, отечеством; безжалостно вырываете его из круга всех его интересов и всех его привязанностей; он еще полон того шумного оживления, которое было его стихией, еще блистает тем светом, который излучал, — а вы хватаете его и швыряете во мрак, в молчание, ужасающе далеко от родной земли! (*Сильнейшее волнение в зале.*) Там вы держите его в полном одиночестве; предоставленный своим мыслям, он терзается сожалением о прошлом, если думает, что приносил родине пользу; терзается раскаянием, если признает, что приносил ей вред. Там вы держите его на свободе, но под надзором, побег немислим; его стережет гарнизон, размещенный на острове, стережет стационарное судно, плавающее вдоль побережья, стережет океан, разверзший между этим человеком и его родиной пучину протяжением

в четыре тысячи лье. Там вы держите этого человека, лишенного возможности вредить; вокруг него безмолвие, его терзает одиночество и бессилие; всеми забытый, он развенчан, разоружен, сломлен, уничтожен!

И вы не довольствуетесь этим! (*Движение в зале.*)

Этого человека, побежденного, изгнанного, отринутого судьбой, этого политического деятеля, обращенного в ничто, этого кумира масс, поверженного в прах, вы хотите заточить в тюрьму! Хотите сделать то, чему нет имени, чего никогда еще не делало ни одно законодательство, — довершить муки изгнания муками тюремного заключения! Хотите усугубить суровость жестокостью! (*Возгласы: «Это верно!»*) Вам мало того, что по вашей воле эта голова очутилась под раскаленным небом тропиков, — вы хотите, чтобы ее давил еще и свод тюремной камеры! Этого человека, этого несчастного вы хотите заживо замуровать в крепости, которая отсюда, на этом огромном расстоянии, представляется столь зловещей, что вы, ее строители, — да, это я вам говорю, — не уверены в том, что именно вы строите, и сами не знаете — тюрьма ли это будет, или могильный склеп! (*Продолжительное движение.*)

Вы хотите, чтобы понемногу, день за днем, час за часом, на медленном огне эта душа, этот ум, этот деятельный, этот — согласен! — честолюбивый человек, заживо, повторяю, заживо погребенный в четырех тысячах лье от родины, под палящим солнцем, под чудовищным гнетом этой тюрьмы-гробницы, изнемогал, корчился от боли, исходил тоской, отчаивался, просил пощады, призывал Францию, молил о воздухе, терпел смертную муку и бесславно погибал! О! Это чудовищно! (*Сильнейшее волнение в зале.*) О, я заранее протестую от имени человечества! О! Вы безжалостны и бездушны! То, что вы называете искуплением, я называю мученичеством; а то, что вы называете правосудием, я называю подлым убийством! (*Шумное одобрение слева.*)

Да встаньте же все вы — католики, священники, епископы, представители религии, заседающие в этом Собрании, — вы, которых я вижу здесь, среди нас! Встаньте же, это ваш долг. Что вы делаете на ваших скамьях? Подымитесь на эту трибуну и, опираясь на авторитет вашей святой религии, на авторитет ваших священных tradi-

ций, скажите этим вдохновителям жестоких мер, этим восхвалителям варварских законов, скажите всем тем, кто толкает большинство Собрания на этот гибельный путь, скажите им, что, поступая так, они совершают злое дело, совершают позорное дело, совершают кощунство. (*Возгласы: «Да! Да!»*) Напомните им, что Христос пришел в мир возвестить милосердие, а не жестокость; скажите им, что в тот день, когда богочеловек претерпел смертную казнь, он тем самым отменил ее (*возгласы «Браво!» слева*), ибо он показал, что правосудие человеческое, обезумев, способно обрушиться на голову не только ни в чем не повинную, но и божественную! (*Сильное волнение в зале.*)

Скажите же авторам этого законопроекта, скажите его защитникам, скажите вашим великим политикам, что, обрекая этих отверженных на медленную смерть в тюремных камерах, в четырех тысячах лье от родины, они этим отнюдь не заставят умолкнуть ропот на площадях, а, напротив, создадут новую грозную опасность — опасность довести сострадание народа до предела и обратить это сострадание в ярость. (*Возгласы: «Да! Да!»*) Скажите этим людям, чтобы они были человечны; велите им снова стать христианами; внушите им, что безжалостные законы не годятся ни для охраны правительства, ни для спасения общества; что в то тяжкое время, которое мы переживаем, время истерзанных сердец и страдавших умов, разрядить напряженность, которая создалась главным образом вследствие множества недоразумений и неясности многих понятий, — разрядить эту напряженность могут никак не репрессии, никак не меры, продиктованные духом реакции, злопамятностью и ожесточением, а лишь законы благородные, великодушные, законы, исполненные мудрости и миролюбия, и что — я без усталости буду твердить это — ключ к разрешению терзающего нас социального кризиса не в угнетении, о нет! — а в братстве; ибо прежде чем зародиться у народа, мысль о братстве зародилась у бога. (*Снова бурное одобрение.*)

Вы молчите? Ну что ж, я продолжаю. Я обращаюсь к вам, господа министры, я обращаюсь к вам, господа члены комиссии. Я намерен еще основательнее разобрать ваш план заключения ссыльных в цитадель, или крепость,

если уж вы так чувствительны, что название «цитадель» задевает вас. *(Смех в зале.)*

Пытались ли вы вообразить, что произойдет там, вдалеке, когда вы устроите эту каторжную тюрьму для ссыльных, когда вы создадите это кладбище? Представляете ли вы себе хоть сколько-нибудь ясно то, что там будет твориться? Сказали ли вы себе, что людей, осужденных по политическим делам, вы отдаете во власть неизвестности, более того — во власть самого страшного, что только есть в неизвестности? Случалось ли вам наедине с собой призадуматься над тем, какие ужасы таит в себе этот замысел — коварный замысел тюремного заключения в ссылке? *(Ропот справа.)*

Послушайте! В начале своей речи я пытался обрисовать вам и определить в двух словах действие этого климата, действие этой ссылки, действие этого тюремного заключения. Я сказал, что это будут три палача. Но есть четвертый палач, о котором я забыл упомянуть, — начальник каторжной тюрьмы. Запомнился ли вам Жане, палач Синнамари? Отдаете ли вы себе отчет в том, как будет действовать, я склонен сказать — почти неминуемо будет действовать, человек, который согласится взять на себя перед лицом цивилизованного мира нравственную ответственность за омерзительное учреждение на Маркизских островах, согласится быть могильщиком этой тюрьмы и тюремщиком этой могилы?

Уяснили ли вы себе, до чего страшна будет, так далеко от всякого надзора и всякого противодействия, при этой полной безответственности, при беспредельной власти начальника и беззащитности жертв, возможная тирания души злобной и подлой? Господа, Гудсоны-Лоу — порождение островов святой Елены. *(Возгласы: «Браво!»)* Так вот, представили ли вы себе все те пытки, все те изощренные издевательства, все те мучения, которые человек такого склада, как Гудсон-Лоу, сумел бы измыслить для людей, не озаренных такой славой, как Наполеон?

По крайней мере, когда здесь, во Франции, в Дулане, в Мон-Сен-Мишель... *(Оратор останавливается. Все напряженно ждут дальнейшего.)* Раз уж я произнес это название, я пользуюсь случаем заявить господину министру внутренних дел, что в ближайшее время внесу запрос о

тех ужасающих событиях, которые, как утверждают, разыгрались в пресловутой тюрьме Мон-Сен-Мишель. (*Перешептывание. Возгласы «Превосходно!» слева. Оратор продолжает.*) Когда в тюрьмах Франции, в Дулане, в Мон-Сен-Мишель, начальники совершают злоупотребления или пытаются действовать незаконно, газеты тотчас бьют тревогу, Законодательное собрание волнуется, и вопль заключенного, найдя двойной отзвук — в печати и на трибуне, — доходит до правительства и до народа. Но в вашей цитадели на Маркизских островах страдальцу останется только стонать! О! Если бы народ знал! (*Возгласы: «Превосходно!»*) Да, там, в ужасающем далеке, в немой тишине наглухо замурованного застенка, куда не доносится и откуда не долетает звук человеческого голоса, кому там может жаловаться злосчастный узник? Вы не услышите его жалобы, ее заглушит неумолчный грохот океана. (*Сильнейшее волнение в зале.*)

Господа, эта страшная политическая каторга будет окутана мраком и молчанием.

Никто ничего не будет знать о ней, ничто не проникнет оттуда к вам, ничто!.. Разве только время от времени, с некоторыми промежутками, страшная весть, которая пронесется по океанам и, словно погребальный звон, сольется во Франции и в Европе с живым, пронизанным болью голосом общественного мнения, — весть, гласящая: такой-то осужденный умер. (*Сильное возбуждение в зале.*)

То будет — ведь в этот великий час в человеке видят только его заслуги, — то будет маститый публицист, знаменитый историк, прославленный писатель, известный оратор. Вы прислушаетесь к этому зловещему звону, вы подсчитаете, как мало месяцев прошло, — и вы содрогнетесь! (*Длительное движение. Возгласы слева: «Они-то будут смеяться!»*)

А, теперь вы видите? Это — смертная казнь! Смертная казнь без проблеска утешения. Это нечто худшее, чем эшафот! Смертная казнь — и жертва не может в последний раз обратить взор к небу отчизны! (*Многочисленные возгласы «Браво!» слева.*)

Вы не пойдете на это! Вы отвергнете этот законопроект! (*Движение в зале.*) Раскрыв свою щедрую руку, народ даровал вам великий, благородный принцип —

отмену смертной казни за политические преступления. Неужели вы захотите отказаться от этого принципа? Неужели вы задумали украдкой отнять его у Франции? Ведь она не только далека от мысли, что вы на него посягнете, а ожидает, что вы его расширите! Нет, вы не захотите изуродовать подчистками этот декрет — самый доблестный из всех актов февральской революции! Не захотите самих себя обличить в том, что вы глухи к воплю совести народа, более того — к воплю совести человечества! (*Шумное одобрение слева. Ропот справа.*) Я знаю, господа, каждый раз, когда мы вкладываем в слово «совесть» тот веский смысл, который на наш взгляд оно имеет, это, к несчастью для нас, вызывает улыбку на лицах весьма крупных политических деятелей. (*Возгласы «Правильно!» справа, «Они этого не отрицают!» слева.*) На первых порах эти великие политики еще не считают нас неизлечимыми; мы внушаем им сострадание, они согласны врачевать недуг, которым мы поражены, — совесть — и елейно противопоставляют ему государственную необходимость. А вот если мы упорствуем — о, тогда они начинают гневаться, тогда они заявляют нам, что мы ничего не смыслим в делах, что у нас нет политического чутья, что мы — люди несерьезные и... как мне вам это сказать? Ну, так и быть, скажу! Они бросают нам в лицо бранное слово, самое что ни на есть оскорбительное, какое только могут найти, — они называют нас поэтами. (*Смех в зале.*)

Все то, что, по нашему глубокому убеждению, живет в нашей совести, — вера в прогресс, в постепенное смягчение законов и нравов, приятие великих основных принципов, провозглашенных революциями, любовь к народу, преданность свободе, фанатическая приверженность к величию нации — все это, по их словам, хорошо в отвлеченном смысле, но на практике неизбежно ведет к разочарованиям и химерам, и во всем, что касается этих предметов, якобы следует, сообразно случаю и конъюнктуре, исходить из того, что предписывает государственная необходимость. Государственная необходимость! А, вот они, великие слова, которые я только что расслышал среди выкриков, прерывавших мою речь!

Господа, размышляя о так называемой государственной необходимости, я вспоминаю все те дурные советы,

которые она давала уже много раз. Раскрывая историю, я вижу во все времена все те подлости, все те низости, все те беззакония, все те бесчестные действия, все те жестокости, которые государственная необходимость разрешала или к которым она подстрекала. Марат ссылался на нее совершенно так же, как Людовик XI; учинив Варфоломеевскую ночь, она затем учинила Второе сентября; она оставила свой след в Севеннах и оставила его в Синнамаре; она воздвигла гильотины Робеспьера и виселицы Гайнау. (*Движение в зале.*) О! Все во мне восстает! Я не хочу ни политики гильотины, ни политики виселицы, ни Марата, ни Гайнау, ни вашего закона о ссылке! (*Продолжительные возгласы: «Браво!»*) И что бы ни учиняли, что бы ни произошло, всякий раз, когда нужно будет искать вдохновения или совета, я неизменно буду в числе тех, кто, ни минуты не колеблясь, делает выбор между девственницей, именуемой совестью, и продажной женщиной, чье имя — государственная необходимость. (*Бурная овация слева.*)

Я всего лишь поэт, я и сам это вижу!

Господа, если бы — не дай бог! — произошло то, что я лично всеми силами стараюсь отвратить, если бы Собрание приняло предложенный ему законопроект, то пришлось бы — я говорю так с чувством глубокого сожаления, — пришлось бы тому знаменательному дню, о котором я напомнил вам в самом начале своей речи, противопоставить весьма прискорбное зрелище. Зрелище спокойного времени, не спеша разрушающего все то великое и доброе, что в порыве священного восторга было создано временем бурь. (*Возгласы: «Превосходно!»*) Зрелище ярости в сенате — ярости, которая резко контрастирует с мудростью толпы на площадях. (*Возгласы «Браво!» слева.*) Зрелище государственных деятелей, слепых и пристрастных там, где люди из народа проявили зоркость и справедливость. (*Ропот справа.*) Да, зоркость и справедливости! Господа, известно ли вам, что сделал народ в феврале, провозгласив милосердие? Он закрыл доступ революциям! А известно ли вам, что делаете вы, декретируя месть? Вы снова открываете им доступ! (*Продолжительное движение в зале.*)

Господа, говорят, этот закон не будет иметь обратной силы и его назначение — властвовать только над

будущим. О! Раз уж вы произносите слово «будущее», я настоятельно предлагаю вам призадуматься над этим словом и над его содержанием. Ну-ка! Скажите, для кого вы вырабатываете этот закон? Ясно ли вам это? (*Волнение на всех скамьях.*)

Господа, составляющие большинство, в настоящий момент вы победили, вы сильнее всех; но уверены ли вы, что так будет всегда? (*Продолжительный шум справа.*)

Не забывайте: меч, карающий по политическим делам, находится не в руках правосудия, а в руках случая. (*Волнение усиливается.*) Вместе с удачей он переходит к победителю. Он — часть той жуткой утвари революций, которую всякий удавшийся государственный переворот, всякий восторжествовавший мятеж находит на улице и подбирает на следующий день после победы; и этот грозный меч обладает тем страшным свойством, что волею рока каждая партия по очереди держит его в своей руке — и ощущает его прикосновение к своей голове. (*Неописуемое возбуждение.*)

О! Когда вы сочиняете какой-либо из этих законов, имеющих целью мщение (*возгласы «Нет! Нет!» справа*), законов, которые победившие партии в своем искреннем фанатизме именуют справедливыми (*движение в зале*), вы действуете крайне неосторожно, усиливая наказание и усугубляя суровость. (*Снова движение.*) Что касается меня, я и сам не знаю, какое будущее меня ждет в эти тревожные годы. Я испытываю братскую жалость ко всем тем, кто пострадал, и ко всем тем, кто, возможно, еще пострадает в наши революционные времена. Я ненавижу и хотел бы уничтожить все то, что может служить орудием насилия. А тот закон, который вы сочиняете сейчас, — страшный закон, действие которого может обернуться самым неожиданным образом. Это коварный закон, способный дать удивительный рикошет! И знаете ли вы, кого в эту минуту я, обращаясь к вам, быть может, защищаю от вас? Вот кого: вас самих! (*Невероятное возбуждение в зале.*)

Да, я подчеркиваю это: вы сами не знаете, что именно рано или поздно, при известном стечении обстоятельств, ваш собственный закон учинит с вами! (*Неописуемое волнение. Резкие выкрики слева и справа перекрещиваются.*)

Вы яростно возражаете, вы не верите моим словам. (*Возгласы «Нет! Нет!» справа.*) Что же, обсудим вопрос. Вы можете закрывать глаза на будущее. Но можете ли вы закрывать их на прошлое? О будущем можно спорить; прошлое непреложно. Так вот! Поверните голову, обратитесь на несколько лет вспять. Предположите, что королевская власть победила обе революции последних двадцати лет, предположите, что ваш закон о ссылке уже существовал в ту пору; Карл X имел бы возможность применить его к господину Тьеру, а Луи-Филипп — к Одилону Барро. (*Аплодисменты слева.*)

Одилон Барро (*встает со своего места*). Я прошу у оратора позволения прервать его.

Виктор Гюго. Охотно позволяю.

Одилон Барро. Я никогда не участвовал в заговорах; я был последним защитником монархии; я никогда не приму участия в заговорах, и в будущем у правосудия так же не окажется оснований карать меня, как не было их у него в прошлом. (*Возгласы «Превосходно!» справа.*)

Виктор Гюго. Одилон Барро, чей благородный характер я глубоко уважаю, превратно истолковал мои слова. Он забыл, что в настоящий момент я говорю не о праведном правосудии, а о правосудии неправедном, о правосудии в политических делах, о правосудии политических партий. А поскольку это неправедное правосудие карает праведников, оно могло и может еще покарать Одилона Барро. Вот что я сказал, и на этом я стою! (*Протесты справа.*)

Когда я говорю вам о том, что судьба зачастую берет реванш, о том, что обсуждаемый нами закон таит в себе грозные возможности, на ваших скамьях раздаются протесты. Ну что ж! Я все-таки стою на своем!

И я предупреждаю вас, что, протестуя теперь, вы протестуете против истории. (*Спокойствие восстанавливается. Возгласы: «Внимание!»*)

Среди всех тех, кто за последние шестьдесят лет возглавлял правительство или властвовал над общественным мнением, вы не найдете никого — вы слышите? — никого, кто не был бы гоним либо до, либо после своего возвышения. Все имена, напоминающие о триумфах, напоминают и о катастрофах; для каждого из этих имен история находит синоним, в котором увековечено его зло-

счастье, — для каждого, начиная с ольмюцкого узника, он же Лафайет, и кончая изгнанником святой Елены, он же Наполеон. (*Движение в зале.*)

Окиньте взглядом прошлое и подумайте! Кто снова взошел на французский престол в 1814 году? Изгнанник, вернувшийся из Гартуэла. Кто правил после 1830 года? Изгнанник, вернувшийся из Рейхенау, а ныне снова пребывающий в изгнании, в Клермонте. Кто правит в настоящее время? Узник Гамской тюрьмы. (*Сильнейшее волнение в зале.*) А теперь — вырабатывайте законы об изгнании! (*Возгласы «Браво!» слева.*)

О, пусть это заставит вас призадуматься! Пусть урок, преподанный одним, не пропадет для гордыни других!

Будущее — таинственное здание, которое мы своими руками строим во мраке, здание, где со временем всем нам придется жить. Настает день, когда его двери закрываются за теми, кто его воздвиг. О! Раз мы строим его сегодня, чтобы поселиться в нем завтра, раз оно нас ждет, раз, вне всякого сомнения, оно предназначено для нас, то возьмем же, чтобы строить это будущее, все самое лучшее, что есть в наших душах, а не самое худшее, — любовь, а не злобу.

Сделаем его лучезарным, а не сумрачным! Создадим дворец, а не тюрьму!

Господа! Закон, который вам предлагают принять, — плохой закон, варварский закон, бесчестный закон. Вы отвергнете его. Я верю в вашу мудрость и в вашу человечность. Внемлите им в момент голосования. Когда люди вносят в закон несправедливость, бог вносит в него справедливость и карает этим законом тех, кто его создал. (*Общее продолжительное движение.*)

Еще одно последнее слово, или, вернее сказать, последняя просьба, последняя мольба.

О! Поверьте мне — я обращаюсь ко всем вам, членам всех партий, заседающим в этих стенах, к людям, среди которых на всех этих скамьях столько благородных сердец и столько высоких умов, — поверьте тому, что я скажу вам с глубокой убежденностью и с глубокой скорбью: вырабатывать такие законы, как этот, значит дурно употреблять предоставленное нам время. (*Возгласы: «Превосходно! Верно!»*) Да, дурное это использование нашего

времени — расставлять друг другу ловушки в грозных дебрях карательного закона и создавать для наших противников бездны, полные страданий и горестей, бездны, куда, быть может, суждено упасть нам самим. (*Волнение в зале.*)

О боже, когда же, наконец, мы перестанем угрожать друг другу и терзать друг друга! А ведь нам нужно заниматься другими делами! Вокруг нас — рабочие, требующие мастерских, дети, требующие школ, старики, требующие домов призрения, народ, требующий хлеба, Франция, требующая славы! (*Возгласы «Браво!» слева. Смех справа.*)

Мы должны извлечь из лона старого общества новое общество; что до меня, я принадлежу к числу тех, кто не согласен пожертвовать ни матерью, ни ребенком. (*Движение в зале.*) О, у нас нет времени ненавидеть друг друга! (*Снова движение.*)

Ненависть требует затраты сил, и из всех видов затраты сил это самый непроизводительный! (*Возгласы: «Превосходно! Браво!»*) Так поступим же как раз наоборот: объединив в братском порыве наши усилия, направим их к общей цели — благу родины! Вместо того чтобы с великим трудом вырабатывать законы, полные вражды и злобы, законы, порочащие тех, кто их создает (*движение в зале*), давайте все вместе, в сердечном согласии, искать решение грозной проблемы, поставленной перед нами цивилизацией, проблемы, которая в зависимости от того, как мы сумеем с ней справиться, приведет нас либо к тягчайшим катастрофам, либо к прекраснейшему будущему. (*Возгласы «Браво!» слева.*)

Мы — поколение, которому суждено свершить многое; мы приближаемся к решающему перелому; на нас лежат обязанности, несравненно более обширные и грозные, чем те, которые были у наших отцов. Наши отцы должны были только служить Франции, мы должны спасти Францию. Поистине, у нас нет времени ненавидеть друг друга! (*Длительное движение в зале.*) Я голосую против законопроекта. (*Приветственные возгласы и длительные аплодисменты слева; депутаты левой, все как один, покидают свои места, окружают оратора, стоящего у подножия трибуны, и устраивают ему овацию. Заседание прерывается.*)

Господа! Февральскую революцию ныне считают побежденной, на нее всячески клеветают; именно поэтому я стараюсь воспользоваться любым случаем, чтобы прославить ее великодушные и прекрасные деяния. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*) Так вот, господа, февральская революция принесла с собой две величественные идеи: об одной из них я уже напоминал вам однажды; она состояла в том, чтобы подняться до вершин политической организации и покончить со смертной казнью. Другая имела целью разом поднять самые низшие силы общества до уровня самых высших и сделать их носителями верховной власти.

Это была двойная и притом мирная победа прогресса; с одной стороны, она возвысила человечество, с другой стороны — сформировала нацию; она залила своим сиянием одновременно и сферу политики и сферу социальной жизни; она возродила и укрепила обе эти сферы, первую — торжеством милосердия, вторую — установлением равенства. (*Возгласы «Браво!» слева.*)

Господа, величайшим деянием февральской революции, деянием политическим и христианским одновременно, деянием, благодаря которому она распространила свои принципы до самых корней общественного устройства, явилось установление всеобщего избирательного права; это был факт первостепенной важности, факт, грандиозный по своему масштабу, событие глубоко знаменательное, поставившее государство на новые основы, непреложные и вечные. Вдумайтесь, господа, и оцените все значение этого события. Ведь это было поистине величественно — признать права всех граждан, создать высшую власть из совокупности индивидуальных волеизъявлений; растворить все остатки общественных каст в возвышенном единстве народовластия и открыть народу доступ во все отсеки старого общества. Поистине это было великим делом. Но с особой силой преимущества всеобщего избирательного права обнаруживаются в том воздействии, которое оно оказывает на классы общества, до последнего времени именовавшиеся низшими. (*Иронический смех справа.*)

Господа, ваш смех заставляет меня настаивать на этом. Да, чудодейственная сила всеобщего избирательного права, его политическое значение, глубокий его смысл — не в том, что оно уничтожило крайне странные избирательные ограничения, под которые подпадала часть так называемого среднего класса и даже часть так называемого высшего класса общества, в силу каких причин — неведомо, но уж такова была мудрость великих государственных мужей того времени (*смех слева*), живущих и здравствующих и поныне. (*Снова одобрительный смех слева.*) Главное состоит не в том, что всеобщее избирательное право вновь сделало гражданином человека, который был адвокатом, врачом, литератором, административным деятелем, чиновником, учителем, священником, судьей, но не был избирателем, который был присяжным и не был избирателем, который был академиком и не был избирателем, который был пэром Франции и не был избирателем. Нет, я повторяю: чудодейственная сила всеобщего избирательного права, его глубокий смысл, его политическое значение состоят в том, что оно проникло в те слои общества, где живет страдание, добралось до самых «низов», как вы любите выражаться, что оно пришло к человеку, который был со всех сторон стиснут социальными ограничениями и, глубоко уязвленный несправедливостью, возлагал свои надежды только на мятеж, и вдохнуло в него надежду иного рода (*возгласы: «Превосходно!»*), сказав: «Голосуй! Тебе не нужно больше драться за свои права!» (*Движение в зале.*) Главное состоит в том, что всеобщее избирательное право передало долю участия в верховной власти людям, чьим уделом прежде было только страдание; в том, что оно, настигнув во тьме нищеты и невежества несчастного, который, будучи доведен до предела отчаяния, мог воспользоваться лишь одним видом оружия, одним средством самозащиты — насилием, освободило его от необходимости прибегать к насилию и взамен дало ему возможность свободно изъяслять свою волю. (*Долго не прекращающиеся возгласы: «Браво!»*)

Да, величайшая мудрость февральской революции, которая, положив в основу своей политики евангелие (*возглас справа: «Какое кощунство!»*), ввела всеобщее избирательное право, выразилась не только в том, что она

уравняла буржуа и пролетария и облекла их одинаковым достоинством носителей верховной власти; величайшая мудрость и в то же время величайшая справедливость этой революции выразилась главным образом в том, что она вывела охваченного отчаянием и ослепленного гневом человека из состояния придавленности, унижения, забитости, беспомощности, толкавшего его на дурные дела, и сказала ему: «Надейся и рассуждай!»; в том, что она пришла к людям, которых называют нищими, бродягами, бедняками, нуждающимися, обездоленными, несчастными, отверженными, и нарекла их всех гражданами. (*Одобрительные возгласы слева.*)

Обратите внимание, господа, на то, что акт глубокой справедливости всегда является одновременно и актом в высшей степени предусмотрительным. Вручая угнетенным избирательный бюллетень, всеобщее избирательное право заставляет их выпустить из рук ружье. Делая их могущественными, оно успокаивает их. Все, что возвеличивает человека, умиротворяет его. (*Движение в зале.*)

Всеобщее избирательное право говорит всем — и я не знаю более прекрасной формулы социального мира: «Сохраняйте спокойствие! Верховная власть принадлежит вам». (*Сильное волнение в зале.*)

Оно говорит также: «Вы страдаете? Так не усугубляйте же ваших страданий и общественных бедствий мятежом. Вы страдаете? Так вот, отныне вам самим предстоит принять участие в великом деле уничтожения нищеты через посредство людей, вышедших из вашей же среды, людей, в которых вы вдохнете вашу душу и которые будут, в известном смысле, вашими руками. Сохраняйте же спокойствие».

Оно говорит далее, обращаясь к тем, кто еще стал бы сопротивляться: «Вы подали свой голос? Не так ли? Ваше право тем самым исчерпано, вы все сказали». Когда всеобщее голосование сказало свое слово — это значит, что свое суждение произнесла верховная власть. Никакая группа людей не вправе разрушать или видоизменять то, что создано всеми сообща. Вы граждане, вы свободны, ваш час настанет снова, умеете же дожидаться его. А пока говорите, пишите, спорьте, учите, просвещайте; просвещайтесь сами, просвещайте других. Сегодня на вашей стороне правда, а завтра — верховная власть, вы сильны.

Как! У вас есть возможность действовать двумя способами: осуществлять свои права носителя верховной власти или поднимать мятежи; и вы выберете второй способ? Но это было бы глупостью и это было бы преступлением! (*Аплодисменты слева.*)

Вот те советы, которые дает всеобщее избирательное право страдающим классам. (*Возгласы слева: «Правильно! Правильно!» Смех справа.*) Господа, уничтожить взаимную вражду, обезоружить ненависть, заставить бедняков выпустить из рук ружейные патроны, возвысить того, кто несправедливо унижен, и оздоровить больной дух ни с чем не сравнимым по своей чистоте сознанием свободно осуществляемого права, отнять у каждого отдельного человека право прибегать к силе, исходящее от природы, и вернуть ему право участвовать в управлении, исходящее от общества, указать страдающим путь к свету и благополучию, отдалить революционные перевороты, предупредить о них общество и дать ему время к ним подготовиться, внушить массам спокойное и уверенное терпение, которое и создает величие народов, — вот какие результаты может дать всеобщее избирательное право (*сильнейшее волнение в зале*), вот его плоды — плоды первостепенного социального значения в масштабе всего государства и первостепенного нравственного значения в масштабе отдельной личности.

В самом деле, подумайте, господа, на почве равенства и свободы все люди дышат одним и тем же воздухом, пользуются одними и теми же правами. (*Движение в зале.*) В году бывает один день, когда тот, кто вам подчинен, ощущает себя подобным вам; день, когда тот, кто вам служит, ощущает себя равным вам; когда каждый гражданин, становясь на всеобщие весы, чувствует и отмечает особый вес гражданского права; день, когда самый малый уравнивает самого великого. (*Возгласы «Браво!» слева. Смех справа.*) В году бывает один день, когда человек, работающий ради куска хлеба, поденщик, чернорабочий, грузчик, каменотес, дробящий булыжники у края дороги, судит сенаторов, берет в свои огрубевшие от работы руки министров, депутатов, президента республики и говорит: «Власть — это я!» В году бывает один день, когда самый незаметный гражданин, так сказать социальный атом, принимает участие в огромном деле,

в жизни всей страны; когда каждая впалая грудь расправляется от свежего воздуха общественных дел; день, когда самый слабый чувствует в себе величие всенародной верховной власти, а самый скромный ощущает в себе душу родины! (*Аплодисменты слева. Смех и шум справа.*) Как это поднимает достоинство личности, а следовательно, и нравственность! Какое удовлетворение этот день приносит людям и как умиротворяет их! Посмотрите на рабочего, направляющегося на выборы. Он идет голосовать с обычным для угнетенного пролетария мрачным выражением лица; когда же он возвращается, его взгляд сияет гордостью носителя верховной власти. (*Одобрительные возгласы слева. Ропот справа.*)

Что же это все означает, господа? Это означает, что пора насилия, пора грубой силы, пора мятежей кончилась. Это означает, что природная стихия уступает место нравственному началу. (*Движение в зале.*) Это означает — я напому вам, с вашего разрешения, мои собственные слова, — что всеобщее избирательное право отменяет право на мятеж. (*Сильное волнение в зале.*)

А вы, законодатели, на которых провидение возложило обязанность заполнять пропасти, а не создавать их, вы, которые пришли сюда для того, чтобы укреплять общество, а не расшатывать его, вы, представители великого народа, смело пролагающего пути прогресса, вы, носители мудрости, носители разума, осознающие всю святость своей миссии и, конечно, стремящиеся быть достойными ее, знаете ли вы, что содержится в этом роковом, в этом пагубном законе, который ныне безрассудно осмеливаются представить на ваше рассмотрение? (*В зале глубокая тишина.*)

В нем содержится — я говорю это с содроганием, с чувством мучительной тревоги, естественной для каждого честного гражданина, который видит, что его родину хотят отдать на волю опасных случайностей, — в нем содержится предложение Национальному собранию отнять у страждущих классов право голоса и тем самым совершить нечто чудовищное и нечестивое, а именно — вернуть им право на мятеж. (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Вот, коротко говоря, какая возникает ситуация. (*Снова движение в зале.*)

Да, господа, этот проект, отражающий целую систему политических взглядов, делает два дела сразу: он порождает новый закон, и он создает новую ситуацию.

Ситуацию серьезную, неожиданную, новую, угрожающую, сложную, ужасную.

Подойдем к этому вопросу поближе. К закону как таковому мы еще вернемся в дальнейшем. Но сначала внимательно рассмотрим возникающую ситуацию.

Подумать только! Прошло два года тяжких испытаний и тревог, присущих, впрочем, всем великим общественным потрясениям, и цель была, наконец, достигнута!

Подумать только! Мир был установлен, свершилось самое трудное — был найден путь для решения проблемы, и вместе с ним появилась спокойная уверенность. Насильственный метод осуществления прогресса был заменен мирным; раздражение и гнев утихли; состоялся обмен права восставать на право голосовать; страждущие классы согласились на такой обмен, проявив при этом кротость и благородство духа. Конец волнениям, конец смутам! Общественное доверие подняло каждого обездоленного в его собственных глазах. И этот новый гражданин, этот восстановленный в своих правах носитель верховной власти вступил в гражданское общество с печатью невозмутимого достоинства на челе. *(Аплодисменты слева. Во время произнесения последних фраз на скамьях правого крыла раздается почти непрерывный шум, заглушающий голос оратора. Виктор Гюго останавливается и обращается к депутатам правого крыла.)*

Господа, я прекрасно знаю, что эти сознательные систематические помехи *(протесты справа, возгласы «Правильно! Правильно!» слева)* имеют своей целью сбить с толку оратора *(возгласы: «Верно!»)*, лишить его возможности свободно размышлять и, таким образом, фактически лишить его свободы слова. *(Возгласы: «Превосходно!»)* Но это поистине жалкая возня, мало пристойная для высокого Собрания. *(Протесты справа.)* Что касается меня, то я отдаю свое право оратора под защиту подлинного большинства. Я имею в виду благородных и справедливых людей, которых можно найти на всех скамьях и которые всегда численно преобладают среди избранных великого народа. *(Возгласы «Превосходно!» слева, молчание справа.)*

Я продолжаю. Пролетарий был вовлечен в общественную жизнь, и это не удивило его и не вскружило ему голову. Дни выборов были для страны более чем праздничными днями: это были дни спокойствия. (*Возгласы: «Верно!»*) В обстановке всеобщего спокойствия возобновилась мирная деятельность людей, стали заключаться сделки, оживились торговля, промышленность, искусства; вновь появилось изобилие; понемногу восстанавливался ритм обычной жизни. Общество достигло крупных успехов. Был подписан величайшего значения мирный договор между верхами и низами общества, как их еще до сих пор называют. (*Возгласы: «Правильно! Правильно!»*)

Вот какое время выбрали вы, чтобы снова поставить все под сомнение, чтобы изорвать в клочки договор, уже вступивший в силу! (*Движение в зале.*) Ваш закон хочет добраться до того человека, который еще стоит на последней ступени общественной лестницы, но уже надеялся начать постепенное и спокойное восхождение по ней, до несчастного бедняка, в недавнем прошлом опасного, а ныне умиротворенного, успокоившегося, исполненного доверия и братских чувств. Ради чего? Ради того, чтобы совершить нечто безрассудное, недостойное, омерзительное, ужасное, ведущее к анархии. Ради того, чтобы отнять у этого человека право голоса! Ради того, чтобы отвлечь его от идей мира, согласия, справедливости и гармонии, лишить его надежды и снова отдать его во власть идеи насилия. Так что же вы, господа, зачинщики смуты? (*Снова движение в зале.*)

Мыслимое ли дело! Надежная гавань найдена, а вы хотите снова пуститься по воле волн! Договор заключен, а вы грубо его нарушаете!

Но чем же объясняется такое грубое нарушение договора? Чем объясняется это нападение среди всеобщего мира? Чем объясняется это неистовство, эта ярость, это безумие? Я скажу вам, чем все это объясняется. Это объясняется тем, что народ избрал сначала угодных вам людей, что с вашей точки зрения было очень хорошо, а затем избрал также и людей, вам неугодных, а это уже, с вашей точки зрения, очень плохо. Это объясняется тем, что он счел достойными своего выбора людей, которых вы считали заслуживающими только оскорблений. Это объ-

ясняется тем, что он, как можно предполагать, осмелился переменить свое мнение о вас с тех пор, как вы стали у власти; тем, что он способен сопоставлять действия с декларациями и обещанное с осуществленным. (*Возгласы: «Вот именно!»*) Тем, что он, возможно, вовсе не склонен считать ваше правление столь уж прекрасным. (*Возгласы: «Превосходно!» Смех в зале.*) Тем, что он, кажется, позволяет себе не восхищаться вами в должной мере. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!» Движение в зале.*) Тем, что он, этот народ, берет на себя смелость пользоваться своим правом голоса по собственному усмотрению. Тем, что он, судя по всему, дошел до такой неслыханной наглости, что возомнил себя и впрямь свободным. Тем, что ему явно пришла в голову и еще одна нелепая идея, а именно, что он-то и есть носитель верховной власти. (*Возгласы: «Превосходно!»*) Тем, наконец, что он дерзко высказывает вам свое мнение в форме мирной баллотировки, а не простирается безропотно у ваших ног. (*Движение в зале.*) Поэтому-то вы и негодуете, гневаетесь, провозглашаете, что общество в опасности, вопите изо всех сил: «Народ, мы взывем с тебя! Мы тебя покараем! Ты ответишь нам за это, народ!» И, уподобляясь известному из истории безумцу, вы сечете розгами океан! (*Одобрительные возгласы слева.*)

Да позволят мне господа депутаты сделать одно замечание, которое, как мне кажется, прояснит все до конца, даст полное освещение проблеме всеобщего избирательного права.

Возможно ли! Правительство хочет ограничить, сжать, урезать, изуродовать всеобщее избирательное право! Не опрометчивый ли это шаг? Подумайте, господа министры, — вы ведь люди серьезные, политические деятели, — отдаете ли вы себе до конца отчет в том, что такое всеобщее избирательное право? Подлинно всеобщее, без каких-либо ограничений или исключений, основанных на недоверии, то есть именно такое, каким оно было провозглашено февральской революцией, каким его представляют себе, каким хотят его видеть все те, кто стоит за прогресс? (*Возгласы с правительственных скамей: «Это анархия! Мы этого не желаем!»*).

Я слышу, слышу ваш ответ: «Мы не желаем такого всеобщего избирательного права, ибо это путь к анархии!» (*Возгласы справа: «Вот именно!»*)

Так вот, дело обстоит как раз наоборот. Это путь к созданию устойчивой власти. (*Возгласы слева: «Браво!»*) Да! Надо, наконец, сказать во всеуслышание и тем самым прояснить все до конца: всеобщее избирательное право является источником свободы — это бесспорно, — но в еще большей степени оно является источником устойчивой власти!

В тот момент, когда нас отчаянно швыряет из стороны в сторону, оно дает нам надежную опору. Такой опорой является законно выраженная воля всего народа, воля нации, несокрушимый литой якорь, могучая крепь государства, о которую разбиваются волны революций и реакций. (*Сильнейшее волнение в зале.*)

Но для того чтобы всеобщее избирательное право могло создать эту опору, чтобы оно было в состоянии вывить волю народа во всей ее полноте и верховной непрерывности, надо, чтобы в нем не было никаких изъянов. (*Возгласы: «Верно! Вот именно!»*) Надо, чтобы оно было действительно всеобщим правом, то есть не оставляло бы за бортом никого, решительно никого, чтобы оно превратило в граждан всех без исключения, ибо допустить здесь хоть какое-нибудь изъятие — значит узурпировать власть (*возгласы «Браво!» слева*); короче говоря, надо, чтобы оно не предоставляло никому опасной возможности заявить обществу: «Знать тебя не хочу!» (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

При таких условиях всеобщее избирательное право порождает устойчивую власть, власть могучую, высящуюся над всеми и всякими посягательствами, власть, на которую можно нападать, но которую нельзя свергнуть, власть, способную пережить и 15 мая и 23 июня (*возгласы: «Правильно! Правильно!»*), власть, непобедимую благодаря своей неразрывной связи с народом, так же как непобедим Антей благодаря своей неразрывной связи с землей! (*Аплодисменты слева.*)

Да! Именно всеобщее избирательное право дает вам возможность создать власть, стоящую на страже порядка, власть, сосредоточивающую в себе всю мощь нации, власть, для которой невозможно только одно — разру-

шить собственную основу, убить то, что ее породило!
(*Снова аплодисменты слева.*)

Именно всеобщее избирательное право дает вам возможность в наши дни, когда всевозможные фикции то возникают, то разрушаются, найти устойчивую основу общественной жизни. Но, оказывается, всеобщее избирательное право стесняет вас, государственные мужи! На что оно вам! Великий боже! Да ведь это же точка опоры, непоколебимая точка опоры, которой было бы достаточно Архимеду, будь он политиком, чтобы перевернуть мир! (*Долго не прекращающиеся одобрительные возгласы слева.*) Господа министры, люди, управляющие нами! Разрушая целостный характер всеобщего избирательного права, вы покусаетесь на самую основу устойчивой власти, единственной возможной ныне власти. Как же вы можете не видеть этого?

Лучше уж я скажу вам прямо в глаза: вы сами не знаете ни кто вы такие, ни что вы творите. Виной всему не ваши сознательные намерения, а ваша слепота. Вы ведь искренно считаете себя охранителями устоев, восстановителями общественного порядка, организаторами? Сожалею, но мне придется разрушить ваши иллюзии. Сами о том не подозревая, даже отдаленно о том не догадываясь, вы на деле являетесь революционерами! (*Долго не прекращающееся волнение на всех скамьях.*)

Да! И к тому же революционерами самой опасной породы — революционерами простодушными. (*Всеобщее веселое оживление.*) У вас есть — и многие из вас уже доказали это на деле — удивительный талант совершать революции, не замечая, не желая и не понимая этого (*снова веселое оживление в зале*), в то самое время, когда вы собираетесь совершить нечто совсем иное! (*Смех. Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Вы говорите нам: «Сохраняйте спокойствие!» — и берете в свои руки Францию, общество, цивилизацию, настоящее, будущее, не имея представления о том, сколько они весят, и неосторожно роняете их на булыжник мостовой. Вы воюете с бездной, опрометью бросаясь в нее. (*Долго не прекращающееся движение в зале. Г-н д'Опуль смеется.*)

Так вот, бездна не разверзнется! (*Волнение в зале.*) Народ не утратит спокойствия! Когда народ спокоен, будущее обеспечено. (*Аплодисменты слева, ропот справа.*)

Разумные и великодушные парижане хорошо это знают — я не в состоянии понять, почему мои слова вызывают ропот недовольства, — и Париж даст вам величественный и полезный урок: он докажет, что в тех случаях, когда правительственная власть находится в руках подстрекателей революции, народ оберегает общественные устои. (*Возгласы: «Браво! Браво!» Справа смех.*)

В самом деле, народ призван оберегать будущее не одной Франции, а всех наций! Он призван оберегать человеческий прогресс, душой которого является Франция, демократию, очагом которой является Франция, и то великое дело, которое Франция совершает и со своей высоты распространяет по всему миру, — развитие цивилизации через торжество свободы. (*Взрыв одобрительных возгласов с мест.*) Да, народ это знает, и что бы вы ни делали, он, повторяю, не сдвинется с места. Ему принадлежит верховная власть, и он сумеет проявить величие. (*Движение в зале.*) Он будет невозмутимо ждать, пока не настанет его день, неотвратимый день, когда он вновь обретет свои права. Так же, как в течение последних восьми месяцев, он будет противопоставлять всем и всяческим провокациям и атакам величественное спокойствие, присущее сильным. С язвительной усмешкой и холодным презрением посмотрит он на ваши жалкие законы, такие злобные и такие слабые, бросающие вызов духу века, общественному здравому смыслу, демократии и вонзающие свои крохотные коготки в гранит всеобщего избирательного права! (*Долго не прекращающиеся одобрительные возгласы слева.*)

Еще несколько слов, господа. Я попытался охарактеризовать складывающуюся ситуацию. Позвольте мне, прежде чем покинуть трибуну, охарактеризовать самый закон.

Люди прогресса могли бы опасаться этого закона, как факела, способного вызвать пожар революции, но как основа избирательной системы он вызывает у них только презрение.

И это не потому, что он плохо состряпан; совсем наоборот. Хотя он ничуть не эффективен сейчас и никогда не будет эффективен, все же это хитрый закон, закон, оснащенный по всем правилам искусства. Я отдаю ему должное. (*Смех в зале.*)

Смотрите, вчитайтесь, каждая деталь в нем подогнана очень ловко. Давайте рассмотрим его вкратце. Это будет поучительно! (*Снова смех. Возгласы: «Превосходно!»*)

Простое требование, предъявленное к избирателю Учредительным собранием — проживать в определенном месте, — ваш закон исподтишка подменяет требованием иметь постоянное местожительство. Вместо шестимесячного ценза оседлости он устанавливает трехлетний срок и притом заявляет: «Это одно и то же!» (*Протесты справа.*) Он упраздняет необходимый для честного проведения выборов принцип постоянства избирательных списков с таким видом, словно и не прикасается к нему (*смех в зале*), и подставляет взамен принцип постоянного местожительства, посягающий на права избирателя. Новый закон зачеркивает, не обмолвясь об этом ни словом, статью 104-ю Гражданского кодекса, которая не требует для установления местожительства ничего, кроме простого заявления избирателя, и подменяет эту статью либо косвенно восстанавливаемым цензом, либо, при отсутствии ценза, установлением плохо замаскированной электральной зависимости рабочего от хозяина, слуги от господина, сына от отца. Он порождает таким образом — и в этом сказывается неблагоразумие его ловких сочинителей — глухую войну между хозяином и рабочим, между господином и слугой и — что преступнее всего — между отцом и сыном. (*Движение в зале. Возгласы: «Правильно!»*)

По-моему, я достаточно ясно показал, что избирательное право неотъемлемо от внутреннего существа гражданина, что без него нет и самого гражданина, что оно не следует за гражданином, а составляет с ним единое целое, дышит в его груди, течет в его жилах вместе с кровью, сопровождает его повсюду, является свободным, как и он сам, рождается и умирает вместе с ним; что это право не может быть утрачено, ибо оно является органическим, личным, живым, священным правом (*смех справа*); что оно представляет собой самую жизнь, плоть и душу человека. И как же поступает ваш закон с этим правом, кому он его передает? Неодушевленной вещи, жилищу, груде камней, номеру дома! Он делает из избирателя крепостного! (*Возгласы «Браво!» слева. Ропот справа.*)

Я продолжаю. Ваш закон запросто, словно тут и говорить не о чем, совершает нечто до крайности возмутительное: он упраздняет звание избирателя и подставляет на его место уполномоченного. (*Движение в зале.*) Но и это еще не все. Он изгоняет из числа лиц, пользующихся избирательным правом, целые группы граждан, исключает представителей некоторых свободных профессий, как, например, актеров, которые, занимаясь своим ремеслом, вынуждены почти ежегодно менять местожительство.

Голос справа. Ну что ж, комедианты останутся за бортом! Тем лучше!

Виктор Гюго. Я отмечаю, и «Монитор» тоже отметит это, что когда я посетовал на исключение из числа избирателей целой группы граждан, заслуживающих, как и любая другая группа, уважения и внимания, с этой стороны раздался смех и прозвучали слова: «Тем лучше!»

Голоса справа. Да, да!

Г - н Т. Б а к (*с места*). Возрождаются времена отлучения. Ваши предки выбрасывали комедиантов из лона церкви, а вы их превзошли: вы выбрасываете их из общества. (*Возглас слева: «Превосходно!»*)

Голоса справа. Да, да!

Виктор Гюго. Пойдем дальше. Продолжаю рассмотрение вашего закона. Он уравнивает и отождествляет уголовного преступника с писателем, нарушившим законы о печати. (*Возглас справа: «И правильно делает!»*) Он равно лишает их права голоса и на равных началах исключает из избирательных списков. (*Возглас справа: «Так и надо!»*) Таким образом, будь сейчас жив Вольтер, то при нынешнем строе, религиозная и политическая нетерпимость которого плохо прикрыта маской заботы о строгости нравов (*движение в зале*), Вольтера наверняка осудили бы за оскорбление общественной и религиозной нравственности... (*Возгласы справа: «Да, да! И отлично поступили бы!»* Тьер и Монталамбер проявляют явные признаки волнения.)

Г - н Т. Б а к (*с места*). А Беранже! Он тоже был бы лишен права голоса!

Другие голоса. А Мишель Шевалье!

Виктор Гюго. Я не хотел упоминать никого из числа живущих ныне. Я привел в качестве примера одно

из самых великих и прославленных во всем мире имен, имя, которым гордится Франция, и я говорю вам: Вольтер подпал бы под действие вашего закона. Да! Среди исключенных из избирательных списков и лишенных права голоса оказался бы злостный правонарушитель Вольтер. *(Долго не прекращающееся движение в зале.)*

Голос справа. И было бы очень хорошо! *(Неописуемое волнение на всех скамьях.)*

Виктор Гюго. Это было бы очень хорошо, не правда ли? Да, среди исключенных вами из избирательных списков и лишенных права голоса оказался бы злостный правонарушитель Вольтер *(снова движение в зале)*, и это доставило бы большое удовольствие Лойоле. *(Аплодисменты слева и долго не прекращающийся смех.)*

Что еще сказать о вашем законе? Он с дьявольской ловкостью сооружает целую систему формальностей и оттяжек, которые влекут за собой лишение избирательного права. Он полон ловушек и капканов, отнимающих права у трех миллионов человек. *(Сильное волнение в зале.)* Можно подвести итог, господа: этот закон наносит тяжкий удар тому, что предшествует конституции и стоит над ней, — праву народа на верховную власть. *(Возгласы: «Верно! Верно!»)*

Вопреки прямому смыслу статьи 1-й конституции, ваш закон передает одной части народа право осуществлять верховную власть, тогда как оно принадлежит лишь всей совокупности граждан. Три миллиона исключенных из избирательных списков он подчиняет на феодальных началах шести миллионам привилегированных. Он создает, как это ни чудовищно, класс илотов! *(Движение в зале.)* И, наконец, в силу лицемерия, которое, впрочем, прекрасно гармонирует с той искренностью, что царит у нас повсюду и заставляет называть римские проскрипции амнистиями, а закабаление народного просвещения — свободой *(возгласы: «Браво!»)*, ваш закон издевательски продолжает именовать это ограниченное, изуродованное избирательное право, право привилегированных, право лиц, обладающих постоянным местожительством, всеобщим избирательным правом! Итак, то, что мы с вами обсуждаем, то, о чем я говорю сейчас с этой трибуны, — это закон о всеобщем избирательном

праве! Господа, я не скажу, что этот закон сочинил Тартюф — упаси боже, — но я заявляю, что его окрестил Эскобар! (*Бурные аплодисменты и веселое оживление на всех скамьях.*)

Так вот, хотя ваш закон представляет собой — я настаиваю на этом — систему хитросплетений и ловушек, нагромождение уловок, сомнительных комбинаций и неблагоприятных приемов, знаете ли вы, чего вы добьетесь, если он, паче чаяния, когда-нибудь будет применен? Решительно ничего. (*Волнение в зале.*) Решительно ничего не даст он вам, его создателям. (*Возгласы справа: «Это наше дело!»*)

Ибо ваш законопроект, как я уже сказал, чудовищно дерзок, жесток, ужасен, но при всем этом он жалок. Его дерзость такова, что сравняться с ней может разве только его бессилие. (*Возгласы: «Правильно! Правильно!»*)

О, если бы общественному спокойствию не грозила из-за него огромная опасность, на которую я только что указал этому высокому Собранию, я бы сказал вам: бог ты мой, пускай себе он будет принят. Он ни к чему не приведет и не может привести. Избиратели, сохранившие свои права, отомстят за избирателей отстраненных. Сама реакция будет способствовать пополнению рядов оппозиции. Можете не сомневаться в этом, господа! Носитель верховной власти, ущемленный в своих правах, будет вести себя как разгневанный властелин. (*Шумное одобрение слева.*)

Что ж, действуйте! Избавляйтесь от трех миллионов избирателей, от четырех миллионов, даже от восьми миллионов из девяти. Прекрасно! Последствия для вас будут такими же, если не худшими. (*Возгласы: «Правильно! Правильно!»*) Вам не избавиться ни от ваших ошибок (*движение в зале*), ни от бессмыслиц вашей ограничительной политики, ни от вашей злосчастной бездарности (*смех на скамье министров*), ни от ваших ложных представлений о своей собственной стране, ни от той неприязни, которую вы к ней испытываете и которую вы ей внушаете. (*Снова движение в зале.*) Вам никуда не уйти от того, что время движется вперед, что наступил ваш последний час, что земля вращается, что идеи совершают свое восхождение, а предрассудки отступают, что пропасть между вами и эпохой, между вами и новыми поко-

лениями, между вами и духом свободы, между вами и духом философии становится все более непреодолимой! (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Вам не избавиться и от того неоспоримого факта, что вы и французская нация движетесь в противоположных направлениях, что ваш восток для нее — запад, что вы оборачиваетесь спиной к будущему, в то время как великий народ Франции оборачивается спиной к прошлому и лик его освещают лучи зари, восходящей над обновленным человечеством. (*Взрыв возгласов: «Браво!»*)

Что ж, приносите народ в жертву! Нравится вам это или нет, но прошлое есть прошлое. (*Возгласы: «Браво!»*) Пытайтесь починить его расшатанные оси и ветхие колеса, запрягайте в него, если хотите, семнадцать государственных мужей. (*Общий смех.*) Упряжка из семнадцати государственных мужей — недурно! (*Снова продолжительный смех.*) Тащите его сюда, и пусть сегодняшний день озарит его своим светом. Что же окажется на поверку? Что прошлое — это прошлое. Только еще яснее будет видна его ветхость, вот и все. (*Смех и аплодисменты слева. Ропот справа.*)

Я подвожу итог и заканчиваю.

Господа, ваш закон бесплоден и никчем, он мертв, хотя и не успел еще родиться. И знаете ли вы, что убивает его? То, что он лжив! (*Сильнейшее волнение в зале.*) То, что он лицемерит и фальшивит перед лицом народа, отличающегося прямотою и честностью. То, что он несправедлив и неправеден, то, что он пытается создать поддельную общественную справедливость и поддельную общественную истину. Но на свете нет двух справедливостей и двух истин. Есть только одна справедливость, источник которой — совесть, и одна истина, источник которой — бог! О мужи, правящие нами, знаете ли вы, что убивает ваш закон? То, что он, вознамерившись украсть у маленького человека, у бедняка избирательный бюллетень, залезая к нему в карман и похищая его суверенные права, встречает суровый, уничтожающий взгляд всей нашей неподкупно честной нации. И молнии, которые мечет этот взгляд, испепеляют ваше адское творение. (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Примиритесь же с неизбежным! В глубинах сознания каждого гражданина, как самого великого, так

и самого незаметного, в глубинах духовного существа последнего нищего, последнего бродяги, пользуясь вашими определениями, коренится прекрасная, святая, непобедимая, вечная, нетленная идея — идея права! (*Волнение в зале.*) Эта идея органична для человеческого разума, она является гранитной основой самосознания человека. Идея права — это утес, о который разбиваются и несправедливость, и лицемерие, и дурные замыслы, и дурные законы, и дурные правительства.

Вот то скрытое, незримое препятствие, которое таится глубоко в сознании каждого, но неизменно присутствует и не может быть обойдено. На это препятствие вы всегда будете наталкиваться и никогда его не сломите, что бы вы ни предпринимали. (*Возгласы: «Никогда, никогда!»*) Я заверяю вас: все ваши усилия напрасны. Вы не искорените идею права и не поколеблете ее. Скорей вам удастся оторвать скалу от дна морского, чем вырвать идею права из народного сознания. (*Одобрительные возгласы слева.*)

Я подаю свой голос против законопроекта. (*Заседание прерывается среди неопишемого волнения.*)

РЕПЛИКА МОНТАЛАМБЕРУ

23 мая 1850 года

Виктор Гюго. Я прошу слова по личному вопросу. (*Движение в зале.*)

Председатель. Слово имеет господин Виктор Гюго.

Виктор Гюго (*поднимается на трибуну; в зале полная тишина*). Господа, в сложной обстановке, подобной той, которую мы сейчас переживаем, выступления по личным вопросам означают, с моей точки зрения, лишь напрасную трату времени Собрания. Вот почему, если бы три достопочтенных оратора — господин Жюль де Ластейри, второй, чье имя я запомнил (*смех слева; все взоры устремляются на г-на Бешара*), и господин Монталамбер — не возвели на меня, все трое, один за другим, с поразительной настойчивостью, одно и то же странное обвинение, я, конечно, не поднялся бы на трибуну.

Я взошел на нее сейчас, чтобы сказать лишь несколько слов. Я оставляю без внимания яростные нападки, которые вызывают у меня лишь улыбку. Достопочтенный генерал Кавеньяк с большим благородством заявил вчера, что он презирает известного рода похвалы; что касается меня, то я презираю известного рода оскорбления (*сильное волнение в зале*) и обращаюсь прямо к сути дела.

Достопочтенный господин де Ластейри сказал, а два других достопочтенных оратора повторили вслед за ним в различных выражениях, что я прославлял на своем веку не одно правительство, что, следовательно, мои убеждения неустойчивы и что сегодня я впал в противоречие с самим собой.

Если мои уважаемые противники намекают на мои роялистские стихи, внушенные, впрочем, самым искренним и самым чистым чувством, на стихи, написанные мной в юности, даже в детстве (некоторые из них я написал в возрасте до пятнадцати лет), то это простое недомыслие, и отвечать на это я не стану. (*Движение в зале.*) Но если они имеют в виду взгляды взрослого человека, а не ребенка (*возгласы слева «Превосходно!», смех справа*), тогда вот им мой ответ. (*Возгласы: «Слушайте! Слушайте!»*)

Я отдаю всем вам, всем моим противникам, — как в этом Собрании, так и вне его, — все, что я написал, стихами или прозой, начиная с 1827 года, то есть с того времени, когда я вступил в зрелый возраст; я отдаю на ваш суд все, что я публично произнес с трибуны — не только в Законодательном собрании, но и в Учредительном собрании, и на собраниях избирателей, и во Французской Академии, и в палате пэров. (*Движение в зале.*)

Я отдаю на ваш суд все, что я написал и сказал с того времени, независимо от того, где это публиковалось и произносилось, я отдаю вам все, ничего не утаивая, ничего не скрывая, и я бросаю всем вам, с высоты этой трибуны, вызов: теперь, когда перед вами полностью раскрыта моя душа и все мои помыслы за двадцать три года жизни, — найдите во всем этом хоть единую страницу, хоть единую строчку, хоть единое слово, которыми я в каком-либо принципиальном вопросе противоречил своим нынешним убеждениям и себе самому — такому,

каков я сегодня! (*Возгласы: «Браво! Браво!» Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Исследуйте, ройтесь, ищите, я открываю вам все, я все вам отдаю; напечатайте рядом мои старые и мои новые мнения, — я бросаю вам этот вызов! (*Снова движение в зале.*)

Если вы не примете этого вызова, если вы отступите перед ним, то — заявляю об этом раз и навсегда — я буду отвечать на нападки такого рода только глубочайшим презрением и предоставляю судить о них общественному мнению, которое в равной степени является и моим и вашим судьей! (*Одобрительные возгласы.*)

Господин де Монталамбер заявил — мне, по правде говоря, стыдно даже повторить эти слова, — что я восхвалял все партии и от всех партий отрекался. Я требую, чтобы он вышел сюда и сказал, какие партии я восхвалял и от каких партий отрекался.

Может быть, речь идет о Карле X в связи с тем, что я с уважением говорил об его изгнании после его падения в 1830 году и о его могиле после его смерти в 1836 году? (*Сильное волнение в зале.*)

Голос справа. Антитеза!

Виктор Гюго. Или речь идет о герцогине Беррийской в связи с тем, что я заклеил того человека, который ее продал, и осудил того, который ее купил? (*Все взоры устремляются на г-на Тьера.*)

Председатель (*обращаясь к левому крылу*). Теперь вы удовлетворены; замолчите же! (*Восклицания слева.*)

Виктор Гюго. Господин Дюпен, вы не говорили этого вчера правому крылу, когда там аплодировали.

Председатель. Вам не нравится, когда смеются, но зато нравится, когда аплодируют. И то и другое не допускается регламентом. (*Аплодисменты на левом крыле возникают с новой силой.*)

Г-н де ла Москова. Господин председатель, вспомните о принципе свободной защиты обвиняемого.

Виктор Гюго. Я продолжаю рассмотрение вопроса о том, какие партии я восхвалял и от каких отрекался.

Не идет ли речь о Наполеоне в связи с тем, что я требовал разрешить его семье вернуться на землю родины,

требовал этого перед палатой пэров, выступая против теперешних друзей господина де Монталамбера, которых я не хочу называть, против людей, которых император осыпал благодеяниями и которые тем не менее осмелились поднять руку на имя императора? (*Все взоры устремляются на г-на де Монтебелло.*)

Или речь идет о герцогине Орлеанской, в связи с тем, что я одним из последних, а быть может, и самым последним, 24 февраля, в два часа пополудни, на площади Бастилии, перед лицом тридцати тысяч вооруженных людей, провозгласил ее регентшей, потому что помнил данную мной присягу пэра Франции? (*Движение в зале.*) Господа, я в самом деле странный человек: я дал в своей жизни только одну присягу, и я остался ей верен! (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Правда, с тех пор как установилась республика, я не злоумышлял против нее, — может быть, меня упрекают именно в этом? (*Аплодисменты слева.*)

Господа, я скажу достопочтенному господину де Монталамберу: назовите же партии, от которых я отрекался; что касается вас, я не буду говорить о партиях, которые вы восхваляли и от которых отрекались: я не бросаюсь подобными словами. Но я скажу вам, какие знамена вы — не к вашей чести — покинули. Их два: знамя Польши и знамя Свободы! (*Возгласы слева: «Превосходно! Превосходно!»*)

Г - н Жюль де Ластейри. Знамя Польши мы покинули 15 мая.

Виктор Гюго. Еще несколько слов. Достопочтенный господин де Монталамбер вчера горько упрекал меня в преступном отсутствии на заседаниях. Отвечу ему и на это. Да, всякий раз, когда я устану до изнеможения после полутора часов борьбы с присяжными обструкционистами из числа депутатов большинства... (*Крики справа.*) Видите, вот они снова берутся за свое! (*Смех слева.*)

Всякий раз, когда я надорву себе голос и охрипну до такой степени, что уже не буду в состоянии произнести ни слова, — а вы видите, что сегодня я едва могу говорить (*голос оратора и в самом деле заметно надорван*), — всякий раз, когда я сочту, что в моем молчаливом присутствии нет необходимости для Собрания, и осо-

бенно когда все будет сводиться лишь к личным стычкам, когда речь будет идти только о вас и обо мне, господин де Монталамбер, — я смогу доставлять вам удовольствие громить меня сколько вам будет угодно в мое отсутствие, а я тем временем буду отдыхать. (*Взрыв хохота и аплодисменты слева.*) Да, порой меня может и не быть в зале заседаний! Но примитесь только нападать — вы и клерикальная партия (*движение в зале*), — примитесь только нападать при помощи вашей политики на угнетенные национальности, на замученную Венгрию, на полузадушенную Италию, на распятый Рим (*сильнейшее волнение в зале*), примитесь только нападать на гений Франции при помощи вашего закона о народном образовании, примитесь только нападать на человеческий прогресс при помощи вашего закона о ссылке, примитесь только нападать на всеобщее избирательное право при помощи вашего закона об изуродовании этого права, примитесь только нападать на верховную власть народа, на демократию, на свободу — и вы увидите, буду ли я отсутствовать в такие дни!

(*Взрыв возгласов: «Браво!» Оратора, спускающегося с трибуны, окружает толпа поздравляющих его депутатов; под аплодисменты всего левого крыла он возвращается на свое место. Заседание на некоторое время прерывается.*)

СВОБОДА ПЕЧАТИ

9 июля 1850 года

Господа, хотя 31 мая по основным принципам, на которых зиждется всякая демократия, и особенно великая французская демократия, был нанесен тяжелый удар, все же, поскольку будущее никогда не бывает закрыто, и сейчас еще не поздно напомнить об этих принципах Законодательному собранию.

Эти принципы, на мой взгляд, таковы: верховная власть народа, всеобщее избирательное право, свобода печати. Все эти принципы тождественны, или, вернее, представляют собой одно и то же, хотя и называются по-разному. Вместе взятые, они образуют наше общественное

право: первый из них — это его основа, второй — способ его осуществления, третий — гласное его выражение.

Верховная власть народа — это идея нации в ее абстрактном выражении, это душа государства. Она проявляется в двух формах: одной рукой народ — носитель верховной власти — пишет, это и есть свобода печати; другой — он голосует, это и есть всеобщее избирательное право.

Эти три идеи, эти три истины, эти три принципа органически связаны друг с другом; каждый из них выполняет свою функцию: народовластие животворит, всеобщая подача голосов управляет, печать просвещает; все вместе они сливаются в одно неразрывное целое, и это целое есть республика.

Посмотрите, как гармонично сочетаются друг с другом эти принципы! Имея общую исходную точку, они ведут к одной и той же цели. Народовластие порождает свободу, всеобщее избирательное право порождает равенство, печать, просвещая умы, порождает братство.

Повсюду, где действуют и проявляются во всей полноте своего могущества эти три принципа — народовластие, всеобщее избирательное право и свобода печати, — там существует республика, даже если название ей — монархия. Повсюду, где их ущемляют, где они не могут действовать свободно, где не признают их органической связи друг с другом и оспаривают их величие, там существует монархия или олигархия, даже если название ей — республика.

Именно в таких случаях, при нарушенном порядке вещей, можно наблюдать чудовищное явление: сами правительственные чиновники с пренебрежением относятся к государственной власти. А от пренебрежения до предательства — один шаг.

При таких обстоятельствах даже наиболее мужественные люди начинают сомневаться в благодетельности революций, этих великих стихийных событий, извлекающих из тьмы на свет одновременно и возвышенные идеи и ничтожных людишек (*аплодисменты*), революций, которые мы расцениваем как благо, имея в виду провозглашенные ими принципы, но можем, бесспорно, расценить и как катастрофу, взглянув на людей, оказавшихся у власти. (*Одобрительные возгласы.*)

Я возвращаюсь, господа, к тому, о чем уже говорил. Нам, законодателям, нельзя быть опрометчивыми; мы не должны забывать, что эти три принципа — народовластие, всеобщее избирательное право, свобода печати — живут общей жизнью. Посмотрите хотя бы, как они защищают друг друга! Если опасность грозит свободе печати, всеобщее избирательное право тотчас берет ее под свою защиту. Если что-нибудь угрожает всеобщему избирательному праву, на подмогу немедленно приходит печать. А любой удар, наносимый свободе печати и всеобщему избирательному праву, оказывается в то же время покушением на принцип народовластия. При урезанной свободе парализуется право народа на осуществление верховной власти. Этого права нет вовсе, если оно не в состоянии проявить себя и в действии и в слове. Наложить путы на избирательное право — значит отнять у верховной власти возможность действовать, наложить путы на свободу печати — значит лишить верховную власть возможности высказываться.

Так вот, господа, это опасное предприятие (*движение в зале*) наполовину уже было осуществлено 31 мая. Сегодня хотят доделать остальное. Именно такова цель предлагаемого закона. Против народа — носителя верховной власти — затеяно судебное дело, и его хотят во что бы то ни стало довести до конца. (*Возгласы: «Правильно! Правильно! Именно так!»*)

Я не могу не предостеречь Собрание от этого.

Признаюсь, господа, я думал, что кабинет министров откажется от этого закона.

Мне казалось, что свобода печати и так уже полностью отдана в руки правительства. С помощью юриспруденции на борьбу с мыслью был мобилизован целый арсенал средств, правда отнюдь не конституционных, но, увы, вполне законных. Чего же еще оставалось желать? Разве полицейские не схватили уже за шиворот свободу печати вместе с газетчиком? Разве не травили ее вместе с расклейщиком, разве не подвергали взысканиям и не преследовали вместе с книгопродавцом, не изгоняли вместе с типографщиком, не заключали в тюрьму вместе с редактором? Нехватало только одного, и все из-за безбожия нашей эпохи, отвергающей назидательные зрелища такого рода, нехватало, чтобы свобода печати была вместе с пи-

шущим публично сожжена на добром ортодоксальном костре. (*Движение в зале.*)

Но и до этого можно дойти. (*Одобрительный смех слева.*) Видите, господа, как обстояли дела и как все было отлично налажено. Разумный закон о типографских патентах был превращен в стену между журналистом и типографщиком. Пишите себе сколько угодно для своей газеты, все равно ее не станут печатать! Полезный, при правильном его толковании, закон о торговле печатными изданиями вразнос превратили в средостение между газетой и читателями. Печатайте себе свою газету, все равно ее не станут распространять! (*Возгласы: «Превосходно!»*)

И вдобавок печати, оказавшейся за этими стенами, за этой двойной оградой, которая со всех сторон окружила мысль, говорили: «Ты свободна!» (*Смех в зале.*) Так наслаждение издевательством дополняло собой радость, вызываемую возможностью беспрепятственно творить произвол. (*Снова смех в зале.*)

Особо примечателен закон о типографских патентах. Есть упрямые люди, которые во что бы то ни стало хотят, чтобы у конституции был какой-то смысл, чтобы она приносила реальные плоды и была хоть в какой-то мере последовательна. Так вот, эти люди воображали, будто закон 1814 года и в самом деле отменяется статьей 8-й конституции, провозглашающей, или якобы провозглашающей, свободу печати.

Вместе с Бенжаменом Констаном, с господином Эзобом Сальвертом, с господином Фирменом Дидо, с distinguished господином де Траси они полагали, что этот закон о патентах отныне утрачивает всякий смысл, что свобода писать — это либо то же самое, что свобода печатать, либо это пустой звук. Они полагали, что, освобождая мысль, дух прогресса не мог вместе с тем не освободить и материальных средств, которыми она пользуется, — пера и чернил в писательском кабинете, машин в типографском заведении; что без этого толковать об «освобождении мысли» — значило бы просто насмехаться. Они полагали, что свобода распространяется на все способы писать черным по белому, что перо и печатный станок — это одно и то же, что по сути печатный станок есть не что иное, как перо, достигшее своего предельного могущества. Мысль,

полагали они, создана богом для того, чтобы, выйдя из головы человека, лететь вдаль, и именно печатные станки дают ей те крылья, о которых говорит священное писание. Бог сделал ее подобной орлу, а Гутенберг — подобной несметному воинству. (*Аплодисменты.*) Следовательно, если это и несчастье, то надо ему поклониться, ибо в девятнадцатом веке человеческое общество может жить только в атмосфере свободы. Они полагали, наконец, эти упрямы, что в эпоху, когда образование должно стать доступным для каждого гражданина подлинно свободной страны, при условии, что он будет ставить свое имя под своими сочинениями, — что в эту эпоху иметь в голове мысли, иметь на своем письменном столе средства для письма и держать у себя дома печатный станок — понятия тождественные, что без какого-либо одного из них нет двух других и что хотя всеми правами можно пользоваться, разумеется, лишь в соответствии с законами, сами законы должны быть охранителями прав, а не тюремщиками свободы. (*Живое одобрение слева.*)

Вот как рассуждали люди, имеющие слабость придерживаться принципов и требующие, чтобы государственные установления были логичны и чтобы они были истинно государственными установлениями.

Но если поверить тем законам, которые вы выносите на голосование, то, боюсь, истина окажется демагогией, логика окажется красной (*смех*), а все это вместе — взглядами и речами анархистов-бунтовщиков.

Зато взгляните на противоположную систему! Как в ней все логично и последовательно! Как прекрасен — я на этом настаиваю — закон о типографских патентах, истолкованный таким образом, как его истолковывают ныне, и примененный именно так, как его применяют сейчас. Как это превосходно — провозглашать в одно и то же время свободу труженика и несвободу орудия его труда, заявлять, что пером распоряжается писатель, но чернилами распоряжается полиция, что печать свободна, но типографский станок — в рабстве!

А сколь благотворным оказалось применение этого закона! Что за образцы справедливости! Судите сами. Вот пример. Год тому назад, 13 июня, была разгромлена одна типография. (*Зал слушает оратора с напряженным вниманием.*) Кем же именно? В данный момент я не веду след-

ствие. Я скорее преуменьшаю то, что было, и не хочу ничего раздувать; две типографии удостоились посещений такого рода, но я буду говорить только об одной.

Итак, некая типография была подвергнута разгрому, грабежу, опустошению, все в ней было перевернуто вверх дном.

Назначенная правительством комиссия, в состав которой входил и ваш покорный слуга, проверила факты, выслушала специалистов и вынесла заключение о необходимости возмещения убытков, определив для этой цели, если я не ошибаюсь, сумму в семьдесят пять тысяч франков. Решение о выплате, однако, задержалось. По истечении года пострадавший типографщик получает, наконец, письмо от министра. Что же находит он в этом письме? Извещение об ассигновании назначенной суммы?

Ничуть не бывало: он находит извещение о том, что он лишается патента. *(Сильное волнение в зале.)* Не находите ли вы, господа, что это восхитительно! Разнузданные негодяи громят типографию. Затем следует компенсация: правительство разоряет типографщика. *(Снова движение в зале. Оратор прерывает свою речь. Он очень бледен и, повидимому, испытывает недомогание. Ему со всех сторон кричат: «Передохните!» Г-н де Ларошжаклен подает ему флакон. Оратор подносит флакон к лицу, переводит дыхание, затем возобновляет речь.)*

Разве это не было чудесно? Разве все эти примененные правительством средства воздействия не нагнали такого страха, что дальше некуда? Разве не было исчерпано все, что могут измыслить произвол и тирания, разве оставалось еще что-нибудь в запасе?

Да, оставался еще этот закон.

Сознаюсь, господа, мне трудно сохранять хладнокровие, говоря об этом законопроекте. Я всего лишь человек, привыкший с малых лет глубоко уважать священную свободу пытливой мысли, и когда я читаю этот законопроект, которому нет названия, мне кажется, что у меня на глазах избивают мою мать. *(Движение в зале.)*

Попытаюсь все же хладнокровно разобрать этот закон. Он стремится, господа, — и в этом заключается его существо, — со всех сторон обставить мысль рогатками. Он налагает на политическую прессу, кроме бремени обычного залога, еще и бремя залога, устанавливаемого по осо-

бому определению, по благоусмотрению властей, по их капризу (*смех и возгласы: «Браво!»*), причем, в зависимости от прихоти прокуратуры, этот залог может возрастать до чудовищной суммы, которую к тому же надлежит внести в течение трех дней. В прямом противоречии с уголовным правом, исходящим всегда из презумпции невиновности, законопроект исходит из презумпции виновности и обрекает газету на финансовый крах еще до судебного разбирательства. В тот момент, когда газета, против которой возбуждено дело, переходит из следственной камеры в зал судебных заседаний, ее душит между дверями подстерегающий ее залог, установленный особым определением. (*Сильнейшее волнение в зале.*) Затем он швыряет умерщвленную газету на скамью подсудимых и говорит присяжным: «Судите ее!» (*Возгласы: «Превосходно!»*)

Законопроект покровительствует одной части прессы в ущерб другой и цинично дает в руки правосудию два веса и две меры.

Кроме политической стороны вопроса, есть еще и другая сторона: закон делает все для того, чтобы померкло сияние французской славы. К уже имеющимся многочисленным преградам, препятствующим появлению и развитию талантов, он добавляет новые — материального, денежного характера. Если бы сейчас были живы Паскаль и Лафонтен, Монтескье и Вольтер, Дидро и Жан-Жак, он взвалил бы и на них бремя гербового сбора. Нет такого великого произведения, которое он не замарал бы налоговым штемпелем. Благодаря этому закону — какой позор! — государственная казна получает возможность ставить свое грязное клеймо на литературу! На прекрасные книги! На великие творения! О прекрасные книги! В прошлом столетии вас сжигал палач, но он по крайней мере вас не пачкал! От книг оставался только пепел, но это был нетленный пепел: ветер уносил его со ступеней судебных зданий и бросал в души людей как семена жизни и свободы. (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Отныне же книги не будут сжигать — их будут клеймить. Но довольно об этом. Пойдем дальше.

Под угрозой ни с чем не сообразных штрафов, штрафов, размер которых, по подсчету самой «Журналь де Деба», может колебаться от двух с половиной до десяти миллионов франков за единичное нарушение закона... (*Бур-*

ные протесты на скамьях комиссии и министров.) Я повторяю, что таковы подсчеты, сделанные «Журналь де Деба»; вы их можете найти и в петиции книгоиздателей, и, кстати, вот они здесь. (*Оратор показывает бумагу, которую держит в руке.*) Это невероятно, но это факт! Под угрозой несуразных штрафов (*снова протесты на скамье комиссии; возгласы: «Вы клевете на закон!»*) законопроект облагает гербовым сбором любое издание, выходящее отдельными выпусками, что бы оно ни представляло, какое бы произведение в нем ни публиковалось, кем бы ни был автор произведения, независимо от того, жив он или умер; иначе говоря, новый закон убивает книгоиздателей. Я имею в виду французских книгоиздателей, ибо он убивает только их, обогащая вместе с тем книгоиздателей бельгийских. Он разоряет до нитки наших типографщиков и книгоиздателей, наших шрифтолителей и бумагоделателей, он разрушает наши мастерские, наши мануфактуры, наши фабрики; но зато он поощряет издателей контрафакций. Он наделяет рабочих чужой страны хлебом, отнятым у наших рабочих. (*Сильнейшее волнение в зале.*)

Я продолжаю. Законопроект с явным злорадством облагает гербовым сбором все театральные пьесы без изъятия, будь то пьесы Корнеля или Мольера — безразлично. Он мстит «Полиевкту» за «Тартюфа». (*Смех и аплодисменты.*)

Да, да, заметьте себе: новый закон — я настаиваю на этом — не менее враждебен литературному творчеству, чем газетной публицистике; именно это и придает ему характер клерикального закона. Он преследует театр так же, как и газету, он хотел бы вышибить из рук Бомарше и вдребезги разбить то зеркало, в котором узнает себя Базилио. (*Возгласы «Браво!» слева.*) Я продолжаю.

Он столь же неуклюж, сколь и зловреден. В одном лишь Париже он разом запрещает около трехсот безобидных и полезных периодических изданий, которые прививают людям вкус к тихим и спокойным умственным занятиям. (*Возгласы: «Совершенно справедливо!»*)

И, наконец, в довершение всех этих оскорбительных для цивилизации актов, закон делает невозможным дальнейшее существование такого популярного вида печатного слова, как брошюры, являющиеся доступной повседневной

пищей для умов. (*Возгласы «Браво!» слева. Возгласы справа: «Не станет брошюр! Тем лучше! Тем лучше!»*)

Взамен всего этого он предоставляет привилегию на распространение печатных изданий подлой ультрамонтанской клике, в руки которой отдано теперь народное просвещение. (*Возгласы: «Правильно! Правильно!»*) Монтескье закуют в цепи, но отец Лорике будет пользоваться полной свободой.

Господа, в основе этого законопроекта лежит ненависть к разуму. Подобно кулачку рассерженного ребенка, он пытается стиснуть — что же? Мысль публициста, мысль философа, мысль поэта, гений Франции! (*Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Итак, подавление всякой мысли и всякого печатного слова, преследование газет и травля книг, подозрительное отношение к театру, к литературе, к талантливым людям, вышибание пера из рук писателя, убийство книгоиздательского дела, разрушение десяти — двенадцати отраслей национальной промышленности, принесение Франции в жертву иностранным интересам, покровительство бельгийским издателям контрафакций, стремление оставить рабочих без хлеба, а разум без книг, продажа богатым права на чтение, отнимаемого у бедняков (*движение в зале*), уничтожение всех светочей народных, насильственная задержка масс — о, кощунство! — на пути их восхождения к свету, попрание справедливости, упразднение суда присяжных и замена его следственными камерами, восстановление конфискации в форме непомерных штрафов, осуждение и казнь до суда — вот что представляет собой ваш законопроект! (*Долго не прекращающиеся одобрительные возгласы.*)

Я не оцениваю его, я только излагаю его суть. Но если бы мне нужно было оценить его, я сказал бы кратко: это средневековый костер на современный лад!

Господа, в течение тридцати пяти лет свободная печать воспитывала страну; блестящим примером Соединенных Штатов, Англии и Бельгии доказано, что свобода печати является одновременно и наиболее очевидным признаком и наиболее существенной чертой социального мира; в течение тридцати пяти лет, говорю я, свобода печати была нашим достоянием; в течение трех веков разум, печатное слово были всемогущи, — и вот каков итог!

Я просто не нахожу слов... Все, что измыслила Реставрация, бледнеет перед этим; по сравнению с таким законопроектом ее законы о цензуре кажутся милосердными, а «Закон о справедливости и любви» кажется благодеянием; поэтому я требую воздвигнуть памятник господину де Пейронне! (*Смех и возгласы «Браво!» слева. Ропот справа.*)

Поймите меня правильно! Я отнюдь не хочу оскорбить господина де Пейронне, наоборот — я хочу воздать ему заслуженную хвалу. Его оставили далеко позади те, кто вынес ему приговор, так же как господина Гизо оставили далеко позади те, кто возбудил против него обвинение. (*Возгласы слева: «Так, так! Правильно!»*)

Господин де Пейронне, находишься он в этих стенах, — надо отдать ему справедливость, — несомненно, с негодованием голосовал бы против этого закона, а что касается господина Гизо, чей блестящий талант составил бы гордость всякого представительного собрания, то я надеюсь, что именно он, если ему предстоит когда-либо оказаться в числе членов этого Собрания, выступит с этой трибуны и огласит обвинительный акт против господина Бароша. (*Долго не прекращающиеся одобрительные возгласы.*)

Я возвращаюсь к законопроекту. Вы видели, господа, что он собой представляет. И вы называете это законом? Нет, нет! Это никак не закон, и такой документ никогда не станет законом моей страны, — порукой тому порядочность людей, к которым я сейчас обращаюсь! Уж слишком много, поистине слишком много дурного и пагубного несет он с собой! Нет, нет! Вы не заставите нас принять сутану иезуита, прикрывающую беззакония, за одеяние закона. (*Возгласы: «Браво!»*)

Хотите ли вы знать, господа, что все это означает? Это означает не что иное, как вызов, брошенный нам нашим же правительством, вызов, который содержится в новом законе и который вчера, как вы все слышали, вырвался из сердца министра. (*Сильное волнение в зале.*) Это вызов, брошенный министерством и его советниками духу нашего века и чувствам нашего народа; иначе говоря, вызов, брошенный фактом идее, вызов, брошенный силами, которые являются всего лишь материальным воплощением правительства, тому, что составляет его жизненную основу; вызов, брошенный властями — всего лишь властями! — могуществу народа, вызов, брошенный преходящим вечному;

вызов, брошенный ничтожными людишками, которые не властны даже над мгновением истории, великой нации и беспредельному будущему! (*Аплодисменты.*)

О, если бы этот вызов был только проявлением ребяческого безрассудства! Но, увы, он прозит смертельной опасностью. Вы не присоединитесь к нему, господа, вы осознаете нависшую угрозу, вы отвергнете этот закон!

По крайней мере я хочу в это верить! Прозорливые люди из числа депутатов большинства, — а ведь если они серьезно захотят подсчитать, сколько их, то сами убедятся в том, что их очень много, — прозорливые люди из числа депутатов большинства в конце концов возьмут верх над слепцами; они во-время удержат ускользающую из их рук власть, и рано или поздно мы увидим, как из лона этого великого Собрания, которому предстоит в назначенный час встретиться лицом к лицу с нацией, выйдет истинное правительство страны.

Истинное правительство страны — это не то правительство, которое предлагает нам такие законы! (*Возгласы слева: «Правильно! Не то!», справа: «Нет, именно то!»*)

Господа, в такой век, как наш, для такой нации, как французы, после трех революций, поставивших перед нами в совершенно непредвиденном порядке множество вопросов первостепенной важности, настоящим правительством, хорошим правительством может считаться только такое, которое понимает, какие условия необходимы для развития общества; которое наблюдает, изучает, исследует, экспериментирует; которое видит в разуме помощника, а не врага; которое помогает выявить истину из столкновения различных взглядов; которое способствует всесторонне-животворному действию свобод; которое добросовестно берется за разрешение проблемы обучения детей и предоставления работы взрослым! Настоящим правительством может считаться только такое, которому не внушает тревоги все шире распространяющийся свет знания, которому не страшен духовный рост народа. (*Одобрительные возгласы слева.*)

Настоящим правительством может считаться только такое, которое честно и прямо ставит в порядок дня, с целью углубленного изучения и разрешения в интересах общества, столь неотложные и серьезные проблемы, как кредит, заработная плата, безработица, товарное обраще-

ние, производство и потребление, колонизация, разоружение, бедность одних и достаток других, богатство одной части населения и нищета другой, все обещания конституции, иначе говоря — великий вопрос о народе!

Настоящим правительством может считаться только такое, которое организует, а не подавляет, такое, которое возглавляет шествие передовых идей и не допускает, чтобы им руководили злостные предубеждения! Нет, настоящим правительством Франции в девятнадцатом веке не может быть и никогда не будет правительство, которое движется вспять! (*Сильное волнение в зале.*)

Господа, в такую эпоху, как наша, попятные движения опасны, не совершайте же их!

Вам без конца твердят о пропасти, зияющей, разверстой, ужасной пропасти, в которую вот-вот может рухнуть общество. Господа, пропасть действительно существует; только она не перед вами, а позади вас. Вы в самом деле приближаетесь к ней, но именно потому, что идете не вперед, а назад. (*Аплодисменты слева.*)

То будущее, которое готовит нам оголтелая реакция, настолько близко и настолько зримо, что уже сейчас можно разглядеть его устрашающий облик. Послушайте! Еще не поздно остановиться. В 1829 году можно было избежать 1830 года. В 1847 году можно было избежать 1848 года. Достаточно было прислушаться к тем, кто говорил обоим монархиям, катившимся под уклон: «Вы на краю пропасти!»

Господа, я имею право так говорить. Сколь я ни безвестен, я один из тех, кто делал все, что мог; я один из тех, кто предупреждал обе монархии, кто делал это честно, кто делал это тщетно, но с самым горячим и самым искренним желанием их спасти. (*Крики и протесты справа.*)

Вы отрицаете это! Что ж! Назову точную дату. Прочтите мою речь, произнесенную 12 июня 1847 года в палате пэров; господин де Монтебелло, наверное, помнит ее. (*Г-н де Монтебелло опускает глаза и сохраняет молчание. Спокойствие восстанавливается.*) И вот я предупреждаю в третий раз; неужели и в третий раз я потерплю неудачу? Увы! Я сильно этого опасюсь.

Люди, управляющие нами, министры! Говоря таким образом, я обращаюсь не только к явным, но и к тайным министрам, ибо в настоящее время имеются двоякого рода

правители: одни действуют у всех на виду, другие прячутся подальше от глаз (*смех и возгласы: «Браво!»*), и нам всем известно, что господин президент республики стал Нумой Помпилием, имеющим при себе семнадцать Эгерий. (*Взрыв хохота.*)

Министры, ведомо ли вам, что вы творите? Видите ли вы, куда идете? Нет!

Я вам это скажу.

Вы требуете, чтобы мы утвердили эти законы, вы вырываете согласие на них у большинства, но не пройдет и трех месяцев, как вы убедитесь, что они совершенно бесполезны для вас, более того — что они еще и ухудшают ваше положение.

Как только вы попытаетесь провести выборы, как только вы примените на практике изуродованное вами избирательное право, как бы вы ни брались за это дело, реакция — это можно с уверенностью предсказать — неминуемо потерпит поражение. Вот что можно сказать в связи с вопросом о выборах.

Что касается прессы, наследие разоренных и умерщвленных газет пойдет впрок тем газетам, которые сохранятся. Вы находите, что газеты чересчур злы и чересчур сильны! Что ж, ваш закон принесет замечательные плоды! По прошествии трех месяцев вы удвоите силу газет. Правда, вы удвоите также и их ярость. (*Возгласы: «Правильно! Правильно!» Сильнейшее волнение в зале.*) О, государственные мужи! (*Смех в зале.*)

Вот что можно сказать по поводу газет.

Что касается права собраний — прекрасно! Народные сходки растворятся в тайных обществах. Вы заставите вернуться в эти общества тех, кто хотел их покинуть. Таково будет неизбежное противодействие. Вместо публичных собраний в зале Мартель или зале Валентино, на которых вы присутствуете в лице полицейского комиссара, вместо собраний под открытым небом, где страсти умеряются, вы будете иметь повсюду скрытые очаги пропаганды, где будет господствовать ожесточение, каждая идея будет принимать характер непреодолимой страсти, а гнев выльется в ненависть.

Вот что можно сказать о праве собраний.

Итак, ваши же собственные законы обернутся против вас, вам будет нанесен удар вашим же оружием! Основ-

ные принципы демократии поднимутся против вас со всех сторон; преследуемые, они станут могучими; разгневанные, они станут страшными для вас. (*Движение в зале.*)

Вы скажете: «Опасность усиливается».

Вы скажете: «Мы нанесли удар по всеобщему избирательному праву, и это нам не помогло. Мы нанесли удар по праву собраний, и это нам не помогло. Мы нанесли удар по свободе печати, и это нам не помогло. Надо выкорчевать зло с корнем».

И тогда, находясь во власти непреодолимой силы, подобно одержимым, которые действуют не по своей воле, а влекомы самой неумолимой логикой — логикой уже содеянных ошибок (*возглас: «Браво!»*), повинаясь роковому голосу, который будет толкать вас все дальше и дальше, — как вы поступите тогда?

Но тут я останавливаюсь.

Я принадлежу к числу тех, кто призван предостерегать, но я считаю себя обязанным умолкнуть, когда предостережение может быть воспринято как оскорбление. И сейчас я говорю лишь от сознания долга и с чувством глубокого огорчения. Я не хочу заглядывать в будущее, которое, быть может, слишком близко. (*Сильное волнение в зале.*) Я не хочу опережать события и строить какие бы то ни было мучительные догадки о последствиях тех ошибок, которые вы уже начали совершать. Я останавливаюсь. Но я не могу не сказать, что ужас охватывает честных граждан, когда они видят, что правительство устремляется по наклонной плоскости вниз, прямо в пропасть!

Я не могу не сказать, что мы уже не раз видели, как правительства спускались по наклонной плоскости, но никто еще никогда не видел правительства, которое сумело бы взобраться по ней обратно.

Я не могу не сказать, что мы — не правительство, а всего только нация — по горло сыты глупостями, провокациями, реакцией, нелепостями, совершаемыми от чрезмерной ловкости, и безрассудствами, совершаемыми от чрезмерной мудрости. Мы по горло сыты людьми, которые губят нас, прикидываясь нашими спасителями. Я не могу не сказать, что мы не хотим больше революций. Я не могу не сказать, что тогда как прогресс будет благотворен для всех, революции уже не будут благотворны ни для кого. (*Зал встречает эти слова живейшим одобрением.*)

Ах! Как необходимо, чтобы это стало ясно всем! Пора покончить с этими вечными пустыми декларациями, под прикрытием которых посягают на наши права, на всеобщее избирательное право, на свободу печати и даже — как показывают некоторые случаи произвольного толкования регламента — на свободу трибуны.

Что до меня, то я никогда не устану повторять, используя для этого любой случай, что при современном состоянии политических дел если и есть в Национальном собрании сторонники новой революции, то сидят они не по эту сторону. (*Оратор показывает на левое крыло Собрания.*)

Существуют истины, которые надо неустанно повторять, на которые надо вновь и вновь обращать внимание страны; в настоящий момент анархистами являются сторонники абсолютизма, а революционерами являются реакционеры! (*Возгласы «Правильно! Правильно!» слева. Все Собрание охвачено непередаваемым возбуждением.*)

Что же касается наших противников — иезуитов, этих ревнителей инквизиции, этих террористов от церкви (*аплодисменты*), для которых Девяносто третий год является неизменным и единственным аргументом в их споре с людьми 1850 года, то им я могу сказать следующее

Бросьте колоть нам глаза террором и теми временами, когда говорили: «О, горный дух Марата! О, горный дух Иисуса!» Мы больше не отождествляем Христа с Маратом, но мы не отождествляем его и с вами. Мы не отождествляем Свободу с Террором, но мы не отождествляем и христианство с обществом Лойолы. Мы не отождествляем крест бога-агнца и бога-голубя со зловещим знаменем святого Доминика; мы не отождествляем также богочеловека, казненного на Голгофе, с палачами Севенн и Варфоломеевской ночи, с вешателями, подвизающимися в Венгрии, в Сицилии и в Ломбардии (*сильное волнение в зале*); мы не отождествляем религию, нашу религию, проникнутую духом мира и любви, с этой мерзкой сектой, всюду маскирующейся и всюду разоблаченной, сектой, раньше проповедовавшей царевбийство, а ныне проповедующей угнетение народов (*возгласы: «Браво! Браво!»*), сектой, приспособляющей свои подлости к духу времени, осуществляющей с помощью клеветы то, чего она сегодня уже не может добиться с помощью костров, убивающей

репутации, так как она теперь уже не в силах сжигать людей, шельмующей наш век, так как теперь ей больше не дозволено истреблять народ, с этой гнусной школой депотизма, клятвопреступлений и лицемерия, которая с елейным видом распространяет отвратительные идеи, которая примешивает к евангельскому учению проповедь истребления и вливает яд в чашу со святой водой! *(Долго не прекращающееся движение в зале. Голос справа: «Оратора надо упрятать в Бисетр!»)*

Господа, поразмыслите над всем этим как патриоты, как люди разума. Я обращаюсь сейчас к тому истинному большинству, которое не раз проглядывало из-под мнимого большинства, к тому большинству, которое воспротивилось пункту о заключении в крепость в законе о ссылке и отказалось придать этому закону обратную силу, к тому большинству, которое недавно перечеркнуло закон о мэрах. Именно к этому большинству, которое может спасти страну, обращены сейчас мои слова.

Я не надеюсь убедить авторов теорий о твердой власти, которые преувеличивают ее значение и тем самым компрометируют ее, которые мастерски организуют провокации, для того чтобы затем вволю угнетать народ *(смех и возгласы «Браво!»)*, и которые, на том основании, что они вырвали несколько тополей из мостовых Парижа, считают себя в силах выкорчевать печатное слово из сердца народа. *(Возгласы: «Браво! Браво!»)*

Я не надеюсь убедить ни этих государственных деятелей прошлого, страдающих вот уже тридцать лет застарелыми политическими недугами, ни тех людей, которые пылко предают анафеме всю прессу без разбора, не снизойдя даже до того, чтобы отделить добропорядочную ее часть от злонамеренной, и которые утверждают, что самая лучшая газета не стоит самого плохого проповедника. *(Смех в зале.)*

Да, я отворачиваюсь от этих людей, стоящих на крайних позициях и глухих к голосу убеждения. Я заклинаю вас, законодателей, порожденных всеобщим избирательным правом и сознающих, несмотря на принятый недавно пагубный закон, свое высокое происхождение, я заклинаю вас признать и провозгласить торжественным вотумом, вотумом, который прозвучит как приговор, могущество и священную неприкосновенность мысли. Покушение на

прессу означает непосредственную угрозу для общества. (*Возгласы: «Правильно! Правильно!»*) Какой удар собираются нанести идеям при помощи такого закона, что хотят сделать с ними? Придавить их? Но они нестигаемы. Ограничить их? Но они бесконечны. Задушить их совсем? Но они бессмертны. (*Долго не прекращающееся волнение в зале.*) Да! Они бессмертны! Был случай, когда один депутат правой отрицал это, как вы, вероятно, помните; в своей речи, произнесенной в ответ мне, он воскликнул тогда, что бессмертны не идеи, а догматы, потому что идеи, по его словам, исходят от людей, тогда как догматы исходят от бога. О! Идеи тоже исходят от бога. И не в обиду будь сказано этому клерикальному оратору... (*Резкие выкрики справа. Г-н де Монталамбер проявляет беспокойство.*)

Справа. Надо призвать оратора к порядку! Это недопустимо! (*Крики.*)

Председатель. Разве вы не считаете господина де Монталамбера таким же депутатом, как и вы сами? (*Шум.*) Личные нападки запрещены.

Голос слева. Председатель проснулся.

Г-н Шаррас. Он спит только тогда, когда нападают на революцию.

Голос слева. Вы позволяете наносить оскорбления республике!

Председатель. Республика никак не задета и ни на что не жалуется.

Виктор Гюго. Я никак не предполагал, господа, что это определение может показаться оскорбительным почтенному депутату, к которому я обращался. Если оно кажется ему оскорбительным, я немедленно беру его обратно.

Председатель. Оно представляется мне неуместным. (*Г-н де Монталамбер встает, чтобы ответить.*)

Голос справа. Говорите! Говорите!

Слева. Не позволяйте прерывать себя, господин Гюго!

Председатель. Господин де Монталамбер, дайте закончить речь, не прерывайте. Вы выскажетесь потом.

Голос справа. Говорите! Говорите!

Голос слева. Нет! Нет!

Председатель (*Виктору Гюго*). Согласны ли вы позволить господину де Монталамберу высказаться?

Виктор Гюго. Согласен.

Председатель. Господин Виктор Гюго согласен.

Г-н Шаррас и другие. На трибуну!

Председатель. Да вы его видите и так!

Г-н де Монталамбер (*с места*). Я отношу к себе, господин председатель, то, что вы сейчас говорили о республике. Во всей этой речи, направленной главным образом против меня, ничто меня не задает, и я ни на что не жалуюсь. (*Энергичное одобрение справа. Возражения слева.*)

Виктор Гюго. Достопочтенный господин де Монталамбер ошибается, полагая, что моя речь обращена к нему. Она обращена совсем не к нему лично. Но, скажу без обиняков, она действительно обращена к его партии; а что касается его партии, то, поскольку он провоцирует меня на это объяснение, я непременно должен сказать ему... (*Громкий смех справа.*)

Г-н Пискатори. Он вас не провоцировал.

Председатель. Он вас не провоцировал ни в малейшей степени.

Виктор Гюго. Значит, вы не хотите, чтобы я ответил?

Слева. Нет! Они не хотят! Это их тактика!

Виктор Гюго. Сколько у вас различных мер и различных весов? Хотите ли вы, чтобы я ответил? Да или нет? (*Возгласы: «Говорите!»*) Ну, тогда слушайте!

Несколько голосов справа. Вам ничего не сказали, и мы не хотим, чтобы вы говорили о какой-то провокации.

Слева. Неверно! Неверно! Говорите, господин Виктор Гюго!

Виктор Гюго. Среди всех опасностей, подстерегающих мою родину, я не замечаю господина Монталамбера; я замечаю в лучшем случае его партию; а что касается его партии, то раз он хочет, чтобы я ему это сказал, пусть он знает, что... (*Выкрики справа.*)

Несколько голосов справа. Он не просил вас об этом!

Виктор Гюго. Раз он хочет, чтобы я ему это сказал, то пусть он знает, что... (*Снова выкрики.*)

Председатель. Господин де Монталамбер ничего у вас не спрашивал, значит вам нечего ему и отвечать!

Слева. Ага, теперь они идут на попятный! Они боятся услышать ваш ответ. Говорите!

Виктор Гюго. Как! Я даю согласие на то, чтоб меня прервали, а вы не позволяете мне ответить? Но ведь это не что иное, как злостная попытка большинства воспользоваться численным превосходством. Что сказал мне господин де Монталамбер? Что речь моя направлена против него. (*Выкрики справа.*) Так вот, я ему отвечаю, я вправе ему ответить, а вы, вы обязаны меня выслушать.

Голос справа. Вот еще!

Виктор Гюго. Вне всякого сомнения, это ваша обязанность. (*Депутаты со всех сторон выражают согласие.*)

Я вправе ответить господину де Монталамберу и заявить, что я обращался не к нему, а к его партии. А что касается его партии, то она должна знать, что времена, когда она могла представлять собой опасность для общества, прошли.

Голос справа. В таком случае оставьте ее в покое.

Председатель (*обращаясь к оратору*). Вы совсем отвлеклись от обсуждения закона.

Один из депутатов крайней левой. Председатель мешает оратору говорить.

Председатель. Председатель делает все возможное, чтобы вернуть оратора к обсуждаемому вопросу. (*Резкие протесты слева.*)

Виктор Гюго. Это произвол! Большинство вызвало меня на ответ. Хочет оно, наконец, или не хочет, чтобы я ответил? (*Возгласы: «Говорите же!»*) Я бы уже давно покончил с этим.

Я ни в коем случае не могу согласиться с такой постановкой вопроса. Что моя речь направлена против господина де Монталамбера — это неправда. Я хочу и я должен разъяснить, что я выступаю здесь не против господина де Монталамбера лично, а против его партии.

Теперь я должен сказать, ибо меня на это провоцируют, что...

Справа. Неправда! Неправда!

С л е в а. Правда! Правда!

В и к т о р Г ю г о. Я должен сказать, ибо меня на это провоцируют...

С п р а в а. Неправда! Неправда!

С л е в а. Правда! Правда!

Председатель (*обращаясь к депутатам правого крыла*). Этому, видно, не будет конца. Несомненно, что в данный момент именно вы нарушаете порядок в Собрании. Сейчас ведете себя недопустимо вы, сидящие с этой стороны.

Несколько депутатов правого крыла. Неверно, неверно!

В и к т о р Г ю г о (*обращаясь к правому крылу*). Что же, вы хотите, чтобы надо мной так и осталось тяготеть обвинение, возведенное господином де Монталамбером? Да или нет?

С п р а в а. Он ничего не сказал!

В и к т о р Г ю г о. Я повторяю в третий, в четвертый раз, что не желаю играть ту роль, которую мне навязывает господин де Монталамбер. Если вы хотите силой помешать мне ответить, что ж, мне придется подчиниться насилию и покинуть трибуну; если же нет, то вы должны дать мне объясниться; ведь лишняя минута не имеет никакого значения.

Итак, я сказал господину де Монталамберу, что речь моя обращена не к нему, а к его партии. А что касается этой партии... (*Снова выкрики справа.*) Да замолчите ли вы? (*Тишина восстанавливается. Оратор продолжает.*)

Что касается иезуитской партии, то, поскольку меня заставляют высказаться на ее счет (*шум справа*), что касается этой партии, которая ныне — хотят ли того сами реакционеры или нет — является душой реакции партии, с точки зрения которой мысль — это тяжкий проступок, чтение — серьезная провинность, сочинительство — преступление, а печатание — посягательство на устои (*шум в зале*), — что касается этой партии, не понимающей нашей эпохи, которой она глубоко чужда, партии, которая ныне стремится к тому, чтобы наша пресса была отдана в руки налогового управления, а наши театры — в руки цензуры, чтобы наши книги были преданы анафеме, а все наши идеи сурово осуждены, чтобы все связанное

с движением общества вперед подвергалось репрессиям, партии, которая в другое время стремилась бы навлечь проскрипции на наши головы (*возгласы: «Верно! Bravo!»*), партии — сторонницы абсолютизма, неподвижности, юродства, бессловесности, темноты, монастырского отупения, партии, которая мечтает о том, чтобы будущее Франции было похоже на прошлое Испании, — что касается этой партии, то я скажу о ней следующее: ей не помогут вкрадчивые речи о ее исторических заслугах, вызывающие у людей только отвращение; ей не помогут попытки перекроить наново ее старые доктрины, запятнанные человеческой кровью; ей не поможет ее, изощренное до предела, искусство плести всевозможные силки из всего того, что связано с юриспруденцией и законодательством; ей не поможет то, что она всегда обделяла свои делишки в подполье и во все времена, на всех эшафотах добровольно исполняла роль палача, прикрываясь при этом маской; ей не поможет то, что она при помощи обмана проникла в наше правительство, в нашу дипломатию, в наши школы, в наши избирательные урны, в наш закон, во все наши законы и особенно в тот, которым мы занимаемся сейчас, — все это ей не поможет. Пусть же она крепко усвоит — меня самого удивляет, что я мог хотя бы на минуту предположить обратное, — да, пусть она крепко усвоит: времена, когда она могла представлять опасность для общества, прошли! (*Возгласы: «Верно! Верно!»*)

Да, теперь, изрядно потрепанная, вынужденная пользоваться средствами, к которым прибегают лишь мелкие людишки, и хвататься самым жалким образом за что попало, вынужденная использовать для своих нападков на нас ту самую свободу печати, которую она хотела бы убить и которая убивает ее самое (*аплодисменты*), сама впадшая в ересь, если судить по используемым ею средствам, обреченная опираться в политике на высмеивающих ее вольтерьянцев, а в финансах — на евреев, которых она с радостью сожгла бы на кострах (*взрыв смеха и аплодисменты*), бормочущая в середине девятнадцатого столетия гнусные похвалы инквизиции и встречающая в ответ лишь недоуменное пожимание плечами и громкий смех, — иезуитская партия может представляться ныне чем-то удивительным, из ряда вон выходящим, неким феноменом, редкостным явлением, какой-то диковинкой

(смех), чудом — если вам больше нравится такое определение (*общий смех*), — чем-то странным, отталкивающим, ну, чем-то вроде филина, парящего над землей в полуденный час (*сильное волнение в зале*), — но не более того. Она внушает людям ужас? Да, конечно. Но она не внушает им страха. Пусть же она крепко усвоит это и пусть будет поэтому скромна! Она не внушает страха, нет! Нет, мы ее не боимся! Нет, иезуитской партии не задуть свободы: для этого сейчас слишком светло. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Есть, однако, нечто такое, чего мы действительно боимся, что заставляет нас трепетать, что внушает нам страх: опасная игра, затеянная нашим правительством, которое служит этой партии, хотя их интересы и различны, и которое использует все силы общества для борьбы с тенденциями общественного развития.

Господа, в момент, когда вы будете принимать решение, голосовать ли за этот безрассудный новый закон или отвергнуть его, примите во внимание следующее: ныне решительно все — наука, искусство, литература, философия, политика, королевства, превращающиеся в республики, нации, стремящиеся стать семьями, люди, живущие чувством, люди, живущие верой, гениальные одиночки и широкие массы — решительно все движется сейчас в одном и том же направлении, к одной и той же цели, одним и тем же путем с непрерывно возрастающей скоростью, являя собой изумительное гармоническое единство, которое свидетельствует, что первоначальный толчок этому движению дан самим богом. (*Сильное волнение в зале.*)

Движение девятнадцатого века, великого девятнадцатого века, не есть движение только одного народа: это движение всех народов. Франция идет впереди, другие народы идут за нею следом. Провидение говорит нам: «Идите!» И оно знает, куда мы идем.

Мы движемся от старого мира к новому миру. Ах, уж эти наши правители, люди, мечтающие остановить человечество в его движении вперед, опустить шлагбаум над дорогой прогресса, — подумали ли они о том, что делают? Отдают ли они себе отчет в том, какую катастрофу они могут вызвать, какое ужасающее социальное Фампу они готовят, когда в период невиданного в истории человечества движения идей, в момент, когда огромный и вели-

чественный поезд мчится на всех парах, они трусливо, подло, украдкой подсовывают подобные законы в колеса прессы, этого могучего локомотива всенародной мысли. *(Сильное возбуждение в зале.)*

Господа, уверяю вас, не стоит делать нас свидетелями борьбы законов с идеями. *(Возгласы слева: «Браво!», голос справа: «И вот такая речь обойдется Франции в двадцать пять франков!»)*

И в связи с этим, поскольку необходимо, чтобы вы полностью осознали, каковы те силы, против которых направлен ваш законопроект и на сопротивление которых он наталкивается, поскольку необходимо, чтобы вы оценили, какие шансы на успех имеет в своем походе против свободы партия страха — ибо во Франции и в Европе есть партия страха *(сильное волнение в зале)*, она-то и подсказывает вам политику угнетения; что же касается меня, то я был бы только рад, если бы мог не отождествлять ее с партией порядка, — итак, поскольку необходимо, чтобы вы знали, куда вас ведут, в какое немыслимое единоборство вас вовлекают и с каким противником, позвольте мне сказать напоследок еще несколько слов.

Господа, в обстановке переживаемого нами кризиса, кризиса в конце концов спасительного, который — я в этом глубоко убежден — разрешится благополучно, повсюду толкуют о том, что хаос в сфере нравственности приобрел гигантские размеры и обществу грозит опасность.

Люди с тревогой оглядываются вокруг, смотрят друг на друга и спрашивают один другого: кто же создает этот хаос? кто ответственен за это зло? кто виноват? кого следует наказать? на кого обрушить удар?

В Европе партия страха говорит: виновна Франция. Во Франции она говорит: виновен Париж. В Париже она говорит: виновна печать. А человек рассудительный, который наблюдает и мыслит, говорит: ни печать, ни Париж, ни Франция не виновны; во всем повинен человеческий разум! *(Движение в зале.)* Да, человеческий разум. Человеческий разум, который сделал народы тем, что они есть, который вечно изучает, исследует, рассуждает, спорит, сомневается, не соглашается, проникает вглубь вещей, выносит о них суждения и неустанно трудится над разрешением проблемы, от века поставленной создателем перед

его созданиями. Человеческий разум, с которым ведут борьбу, который, бесконечно преследуемый, подавляемый, теснимый, исчезает лишь для того, чтобы затем появиться вновь, и принимает последовательно, из столетия в столетие, переходя от одних свершений к другим, облик того или иного великого глашатая идей! Человеческий разум, который явился под именем Яна Гуса и не погиб на костре в Констанце (*возглас: «Браво!»*); который явился под именем Лютера и расшатал католические каноны; который явился под именем Вольтера и расшатал религию; который явился под именем Мирабо и расшатал королевскую власть! (*Долго не прекращающееся сильное волнение в зале.*) Человеческий разум, который с начала мира подвергал преобразованию общества и формы правления в соответствии с законом, все более и более приемлемым, который представал в виде теократии, в виде аристократии, в виде монархии и который ныне предстает в виде демократии. (*Аплодисменты.*) Человеческий разум, который являлся в образе Вавилона, Тира, Иерусалима, Афин, Рима и который явился ныне в образе Парижа; который выступал поочередно, а иногда и одновременно, в виде заблуждения, иллюзии, ереси, в виде отпадения от ортодоксии, в виде протеста, в виде истины. Человеческий разум, который является великим пастырем и который в конечном итоге всегда шествовал в направлении к справедливому, прекрасному и истинному, озаряя собой массы, возвышая души, все больше обращая народы к праву, а каждого отдельного человека — к богу. (*Взрыв голосов: «Браво!»*)

Так вот, я обращаюсь к партии страха не только в этом зале, но и во всей Европе, и говорю ей: взгляните хорошенько в то, что вы собираетесь сделать; задумайтесь над тем, какое дело вы предпринимаете, и прежде чем приступить к его осуществлению, оцените его масштабы.

Допустим, вы добьетесь своей цели. Когда вы уничтожите печать, вам придется уничтожить еще кое-что — Париж. Уничтожьте Париж, придется уничтожить еще кое-что — Францию. А когда вы уничтожите Францию, придется убить еще кое-что — человеческий разум. (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Да, я повторяю, большой всеевропейской партии страха следует оценить масштабы той грандиозной

задачи, которую она, в своем героизме, ставит перед собой. (*Смех и возгласы: «Браво!»*) Пусть даже она уничтожит и прессу, вплоть до последней газеты, и Париж, вплоть до последнего булыжника мостовой, и Францию, вплоть до последней деревушки. все равно она ничего не добьется. (*Движение в зале.*) Ей пришлось бы еще уничтожать нечто такое, что стоит непоколебимо, возвышаясь над сменой поколений, соединяя в известном смысле человека с богом; нечто такое, что создало все книги, измыслило все искусства, открыло все миры, основало все цивилизации; нечто такое, что путем революции всегда добивается того, в чем ему отказывают, когда оно проявляется в форме мирного прогресса; нечто такое, что, так же как свет, нельзя ощупать и удержать руками, что недоступно, как солнце, и что именуется человеческим разумом! (*Долго не прекращающаяся овация. Многие депутаты левого крыла покидают свои места и направляются к оратору, чтобы поздравить его. Заседание прерывается.*)

ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ

17 июля 1851 года

Господа, прежде чем высказаться по существу, я не могу не повторить те возражения, которые были уже выдвинуты другими ораторами. При нынешних обстоятельствах, когда действует закон от 31 мая и когда более четырех миллионов избирателей вычеркнуты из списков (я не даю здесь оценку этому факту, ибо любые мои слова показались бы мне слишком слабыми, а вам — слишком сильными, но все же полагаю, что в конце концов этот факт встревожит вас и наведет на размышления), когда всеобщее избирательное право формально попрежнему существует, а на деле уничтожено, — мы не можем не сказать авторам многочисленных предложений, которые вносятся с этой трибуны:

Чего вы хотите от нас?

О чем идет речь?

Чего вы требуете?

Чтобы был произведен пересмотр конституции?

Кем?

Носителем верховной власти?

Где же он?

Мы его не видим! Что с ним сделали? (*Движение в зале.*)

Как! Конституция была принята всеобщим голосованием, а вы хотите упразднить ее, ограничив право голоса?

Как! Вы хотите, чтобы привилегированная часть населения низвергла то, что воздвигла суверенная нация?

Как! Снова фикция «легальной страны» дерзко противопоставляется величественной действительности народовластия? И эту-то жалкую, пагубную фикцию вы желаете восстановить, реставрировать, хотите снова довериться ей?

До 1848 года говорить о «легальной стране» было неосмотрительно. После 1848 года — безумно! (*Сильное волнение в зале.*)

И еще одно: к чему может привести в существующей обстановке, пока не отменен закон от 31 мая, не отменен полностью и окончательно, вместе со всеми другими такого же рода и такого же назначения законами, которые следуют за ним и подкрепляют его: законом об ограничении книготорговли, законом против свободы собраний, законом против свободы печати, — к чему, спрашиваю я, может привести осуществление ваших предложений?

Чего вы ждете от них?

На что вы надеетесь?

Вы неминуемо потерпите поражение, натолкнувшись на устойчивое меньшинство, непоколебимо стоящее на страже народного суверенитета, меньшинство, ныне, по конституции, неприкосновенное и облеченное всеми правами большинства, меньшинство, которое, вернее сказать, само превратилось в большинство! Как! Не имея перед собой никакой реально достижимой цели — ибо никто, конечно, даже не собирается нарушать статью 111-ю, никто не замышляет преступления... (*Движение в зале.*) Как! Зная заранее, что в парламенте вы ничего добиться не можете, вы, называющие себя людьми практичными, положительными, серьезными и в своей скромности признающие только за самими собой право называться государственными деятелями, вы, повторяю я, не имея возможности ничего добиться парламентским путем, упорно настаиваете на прениях, столь острых и столь опасных?

Ради чего? Ради бури самих прений? (*Возгласы: «Браво! Браво!»*) Ради того, чтобы взбудоражить Францию, поднять волнение в массах, пробудить их гнев, парализовать деловую жизнь, умножить число банкротств, убить торговлю и промышленность! Ради забавы! (*Сильнейшее волнение в зале.*)

Ну что ж, партии порядка взбрело на ум учинить беспорядок — таков ее каприз! Она правит, у нее большинство в Собрании, ей нравится мутить страну, она ищет ссор, хочет пререканий — она у власти!

Пусть будет так!

Мы протестуем, ибо это — потеря времени, драгоценного времени, ибо это — серьезное нарушение общественного спокойствия. Однако если вам это нравится, если вы этого желаете — пусть ответственность за столь грубую ошибку падет на голову тех, кто так упорно хочет ее совершить. Что ж, поговорим

Итак, обратимся к сущности дела. (*Ропот справа. Крики: «Закрыть заседание!» Г-н Моле, сидящий в глубине зала, поднимается с места, пересекает весь амфитеатр, делает знак депутатам правого крыла и выходит. Никто не следует его примеру. Он возвращается. Слева смеются. Оратор продолжает.*)

Господа! Я начну с заявления, что, несмотря ни на какие протесты distinguished господина де Фаллу, distinguished господина Беррье, distinguished господина де Бройля — протесты запоздалые и не способные зачеркнуть все то, что было сказано, написано и совершено за последние два года, — с моей точки зрения и, я уверен, с точки зрения большинства депутатов, сидящих с этой стороны (*оратор указывает на левое крыло*), ваш поход против французской республики — это поход против французской революции.

Да, господа, против французской революции в целом, начиная с того ее часа, который пробил в 1789 году, и по настоящее время. (*Возгласы слева: «Правильно! Правильно! Так и есть!»*)

Для нас не существует различий между революцией и республикой. Если только в мире есть логика, они неотделимы друг от друга. Революция — мать, республика — дочь. Революция — это народное движение, которое разлилось широким потоком, республика — это

народное движение, которое отлилось в определенную форму. Республика — это утвердившаяся революция. *(Возгласы одобрения.)* Напрасно вы спорите против очевидности; Восемьдесят девятый год нельзя отделить от республики, как нельзя отделить зарю от солнца. *(Выкрики справа. Возгласы «Браво!» слева.)* Мы не принимаем ваших протестов. Ваш поход против республики мы расцениваем как поход против революции, и я во всяком случае так и намерен квалифицировать его перед всей страной. Нет, нас не обманешь! Не знаю, есть ли «маски» в этих стенах, как это было здесь сказано, но утверждаю, что дурачков тут не найдется. *(Шум справа.)*

Теперь перехожу к существу вопроса.

Господа! Предположим, что естественное и закономерное развитие событий, начиная с 1848 года, шло по правильному и мирному пути день ото дня растущей демократии и прогресса. Тогда, по истечении трех лет добросовестного испытания конституции, я понял бы, если бы сказали: конституция неполна. Она робка там, где ей следовало бы быть решительной. В ней множество оговорок и туманных формул. Ни одну из свобод она не провозглашает без ограничений. В вопросе о системе наказаний она знаменует прогресс лишь в том, что касается наказуемости политических преступлений. Она отменила смертную казнь лишь наполовину. Она по существу не исключает ни насилий со стороны исполнительной власти, ни цензуры на духовное творчество и разрешает полиции сковывать мыслителя и притеснять гражданина. Она не обеспечивает в полной мере ни личной свободы, ни свободы развития промышленности. *(Возглас слева: «Так и есть!» Ропот справа.)*

Она сохранила институт несменяемых судей, которые назначаются исполнительной властью, то есть сохранила правосудие, лишённое корней в народе. *(Шум справа.)*

Что означает этот ропот? Как! Вы делаете предметом обсуждения республику, а нам нельзя говорить о суде? Вы делаете предметом обсуждения народ, то есть самое высшее, а нам нельзя говорить о вещах значительно меньшего значения? Вы делаете предметом обсуждения самого носителя верховной власти, а нам нельзя говорить о судьях!

Председатель. Замечу вам, что дозволенное на этой неделе не будет дозволено на следующей; но уж так и быть: эта неделя — неделя терпимости.

Г - н де Пана. Неделя сатурналий...

Виктор Гюго. Господин председатель, то, что вы сказали сейчас, несерьезно. (*Возгласы слева: «Превосходно!»*)

Я продолжаю и настаиваю на сказанном мной. Я понял бы, если бы сказали: в конституции есть ошибки и упущения; она сохраняет институт несменяемых судей, назначаемых исполнительной властью, то есть, повторяю, сохраняет правосудие, лишенное корней в народе. Между тем правосудие должно обязательно исходить от верховной власти.

При монархии правосудие исходит от короля. При республике оно должно исходить от народа. (*Сильное волнение в зале.*)

Каким образом? Проводимыми на основе всеобщего избирательного права свободными выборами судей из числа лиц с юридическим образованием. Добавлю, что в республике так же невозможно допустить существование несменяемого судьи, как и несменяемого законодателя. (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Я понял бы, если бы сказали: конституция ограничивается только провозглашением демократии, а ее надо еще и осуществить. Надо, чтобы конституция, подобно цитадели, обеспечивала безопасность республики. Всеобщее избирательное право должно быть расширено и должно найти себе новые применения.

Так, например, конституция устанавливает полномочия Национального собрания, иначе говоря — его большинства, а между тем мы сегодня видим, насколько это опасно, ибо конституция не дает меньшинству противовеса этому полновластию, то есть возможности в трудных случаях непосредственно апеллировать, согласно заранее выработанной процедуре, к всенародному голосованию, производить непосредственный опрос для некоего окончательного арбитража между ним, меньшинством, и большинством.

А ведь такой способ обращения к народу и менее насильственен и более совершенен, чем старый прием конституционной монархии — роспуск парламента.

Я понял бы, если бы сказали... *(Выкрики и шум справа.)* Господа, я не могу не сделать одного замечания и судить о справедливости его предоставляю совести всех присутствующих. Ваше поведение в настоящий момент удивительным образом контрастирует с достойным и спокойным поведением этого крыла собрания. *(Указывает на левое крыло. Резкие протесты на скамьях большинства. Возгласы: «Хватит! Хватит! Закройте заседание! Закройте заседание!» Тишина восстанавливается. Оратор продолжает.)*

Я понял бы, если бы сказали: надо провозгласить в более полном виде и формулировать последовательнее, чем это делает конституция, четыре основных права народа:

во-первых, право на физическое существование, что означает: в части экономической — обеспечение работой...

Г - н Г р е л а н. Да ведь это право на труд!

Виктор Гюго *(продолжает)*. ...организованную помощь неимущим и в части уголовного законодательства — отмену смертной казни;

во-вторых, право на умственное и духовное существование, что означает: бесплатное обучение, свобода совести, свобода печати, свобода слова, свобода искусства и науки *(возгласы: «Браво!»)*;

в-третьих, право на свободу, что означает: устранение всех преград, мешающих поступательному движению и развитию человека в сфере нравственной, умственной, физической и производственной;

и, наконец, в-четвертых, право на верховную власть, что означает: всеобщее избирательное право во всей его полноте, принятие законов и утверждение налогов избранными на время законодателями, правосудие, управляемое избранными на время судьями... *(Восклицания справа.)*

Г о л о с а с л е в а. Слушайте! Слушайте!

Несколько депутатов правого крыла. Говорите! Говорите!

Виктор Гюго *(продолжает)*. ...местное самоуправление, осуществляемое избранными на время чиновниками, последовательное расширение сферы действия суда присяжных, возможность для всего народа непосредственным голосованием отвечать «да» или «нет» на

важные политические и социальные вопросы, после предварительного глубокого обсуждения каждого такого вопроса Национальным собранием, которое попеременно, то от имени меньшинства, то от имени большинства, спрашивает «да или нет?» у народа — верховного судьи. (*Шум справа. Долго не прекращающиеся бурные изъятия одобрения слева.*)

Господа! Будь взаимоотношения между нацией и ее правительством такими нормальными и корректными, какими я их сейчас обрисовал, — я понял бы, если бы ко всему сказанному выше прибавили следующее:

Конституция французской республики должна быть подлинной хартией человеческого прогресса девятнадцатого века, бессмертным завещанием цивилизации, политической библией народов. Она должна как можно больше приблизиться к абсолютной социальной истине. Надо пересмотреть конституцию.

Да, это я понял бы!

Но вот чего я не могу понять: того, что сейчас, в середине девятнадцатого века, перед лицом цивилизованных наций, под пристальным взглядом всего человечества, устремленным на Францию — ибо Франция несет светильник, — вдруг появляются люди, которые осмеливаются нам заявлять: «А мы погасим этот светильник, который несет Франция и который озаряет мир!» (*Протесты справа.*)

Господа, просвещеннейший народ в мире совершил три революции и, подобно гомеровским богам, сразу сделал три шага вперед! Эти три революции сливаются в единую революцию, которая носит не местный, а общечеловеческий характер и является не эгоистическим криком одного народа, а священным требованием всемирной справедливости (*бурное одобрение слева, смех справа*), уничтожением накопленных историей людских страданий, торжественным провозглашением прав человека после веков рабства, крепостной зависимости, церковного владычества, феодального угнетения, инквизиции, деспотизма, под каким бы именем он ни выступал, человеческих мук, в чем бы они ни выражались!

После длительных испытаний эта революция породила во Франции республику, другими словами — французский народ с полным самообладанием величаво осуществил свое могущество, перевел из области абстракций в область

фактов, создал и учредил, окончательно и бесповоротно установил самую логичную и самую совершенную форму правления — республику, которая является для народа столь же естественным правом, как и свобода для человечества! *(Ропот справа. Одобрение слева.)*

Французский народ высек из нетленного гранита и заложил посреди старого монархического континента первый камень грандиозного здания будущих времен, которое когда-нибудь назовут Соединенными Штатами Европы. *(Движение в зале. Долго не прекращающиеся раскаты хохота справа.)*

Эта революция, небывалая в истории, представляет собой не что иное, как идеал великих мыслителей, претворенный в действительность великим народом; она воспитывает другие народы на примере Франции. Ее цель, ее священная цель — это всеобщее благо, это, в известном смысле, общечеловеческое искупление. Это — эра, которую предвидел Сократ, за что ему и пришлось испытать цикуту, это — плод деяний Иисуса Христа, за что он и был распят на кресте. *(Резкие протесты справа. Крики: «К порядку!» Левое крыло несколько раз раздражается аплодисментами. Всеобщее длительное волнение.)*

Г-н де Фонтен и несколько других депутатов. Это кощунство!

Г-н де Геккерен. Если таким вещам аплодируют, то должно быть предоставлено и право освистывать их.

Виктор Гюго. Господа! То, что я сказал, говорят все, или, по меньшей мере, все это видят, ибо нельзя не видеть, что французская революция, что французская республика — это солнце, как в свое время сказал Бонапарт, и тем не менее находятся люди, которые осмеливаются заявлять: «Ну, а теперь мы все это разрушим, уничтожим революцию, низвергнем республику, вырвем из рук народа книгу прогресса и вычеркнем из нее три даты: 1792, 1830, 1848, преградим путь стихийной силе, которая совершает все, не спросив у нас совета, и которая называется провидением. Мы заставим отступить свободу, философию, разум, целые поколения; заставим отступить Францию, наш век, шествующее вперед человечество, мы заставим отступить бога!» *(Сильное волнение в зале.)* И вот, господа, такого рода заявления, мечтания

И Надежды повергают меня в безграничное изумление: этого я понять не могу. (*Возгласы слева: «Превосходно! Превосходно!» Смех справа.*)

Да и кто вы, что позволяете себе такие мечтания? Кто вы, что пускаетесь в такие предприятия? Кто вы, что вступаете в такие битвы? Как ваше имя? Кто вы такие?

Я скажу вам это.

Имя вам — монархия. Вы — это прошлое.

Монархия!

Какая монархия? (*Смех и шум справа.*)

Г - н Эмиль де Жирарден (у подножья трибуны). Слушайте же, господа! Вчера мы слушали вас!

Виктор Гюго. Господа, речь идет сейчас о самой сути обсуждаемого вопроса. Не мы хотели этого обсуждения, а вы. И если вы честны, то вы должны быть заинтересованы в том, чтобы обсуждение это было всеобъемлющим, полным, искренним.

Поставлен вопрос: республика или монархия? Никто не в силах, никто не вправе уклониться от него. Вот уже два года, как подкапываются под республику, исподтишка, коварно поднимая этот вопрос. Он навис над нашим настоящим, он застилает нам будущее. Да! Настало время покончить с ним. Настало время поставить его ребром, посмотреть, что кроется за ним. Карты на стол! Выскажемся до конца! (*Возгласы: «Слушайте! Слушайте!» Полная тишина.*)

Перед нами две монархии. Я не буду касаться форм правления, которые, даже с точки зрения тех, кто их открыто предлагает или тайно имеет в виду, являются лишь переходной ступенью или средством. Объединение упростило вопрос. Только две монархии считают себя подготовленными к тому, чтобы потребовать пересмотра конституции в свою пользу и в дальнейшем незаметно устранить суверенитет народа ради своих корыстных целей. Речь идет о традиционной, то есть легитимной, монархии и о «монархии славы», как называют ее некоторые привилегированные газеты (*смех и перешептывание*), то есть империи.

Начнем, по праву старшинства, с традиционной монархии. Господа, прежде чем пойти дальше, я хочу раз и на-

всегда оговорить, что, произнося в ходе этой дискуссии слово «монархия», я не подразумеваю отдельных лиц, оставляя их за пределами дискуссии; я отнюдь не имею в виду принцев-изгнанников, ибо в сущности не питаю к ним в душе ничего, кроме сочувствия, которого они заслуживают как французы, и уважения, которого они заслуживают как изгнанники; при этом мое сочувствие и мое уважение были бы, заявляю я, еще более глубокими, если бы эти изгнанники не были высланы из Франции в известной мере благодаря их собственным друзьям. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*) Я продолжаю. Итак, в этой дискуссии я говорю исключительно о монархии как принципе, о монархии как догме; не касаясь личностей, рассматривая только догму королевской власти, я, законодатель, намерен дать ей оценку со всей свободой философа и со всей суровостью историка.

Прежде всего договоримся о словах «догма» и «принцип». Я отрицаю, что монархия является, или что она могла бы быть, принципом или догмой. Монархия всегда была только фактом. (*Шум на некоторых скамьях.*) Да! Я повторяю, несмотря на ропот в зале: никогда власть над целым народом, осуществляемая одним человеком или одним семейством, не была и не могла быть ничем иным, как только фактом. (*Снова шум в зале.*)

Никогда — поскольку шум не умолкает, я настаиваю на этом, — никогда эта так называемая догма, в силу которой (я приведу вам пример не из средних веков, а почти из современности, он отделен от нас менее чем столетием) менее восьмидесяти лет назад курфюрст Гессенский продавал людей поштучно английскому королю для отправки их на убой в Америку!.. (*Резкие протесты.*)

Существуют письма, существуют доказательства, и их можно вам предъявить, когда вы только пожелаете... (*Тишина восстанавливается.*)

Никогда, говорю я, эта мнимая догма не могла быть чем-либо иным, нежели просто фактом, в большинстве случаев насильственно навязанным, часто чудовищным. (*Возгласы слева: «Правильно! Правильно!»*)

Да, я заявляю и настаиваю на этом во имя вечной человеческой морали: монархия — это факт, и только!

И когда этот факт исчезает, от него ничего не остается, ровно ничего! Иначе обстоит дело с правом.

Право, даже когда оно не опирается более на факт и лишено материального авторитета, все же сохраняет моральный авторитет и продолжает оставаться правом. Именно поэтому от задушенной республики остается право, тогда как от разрушенной монархии остаются только развалины. (*Аплодисменты.*)

Перестаньте же вы, легитимисты, твердить нам о праве. Наряду с правом народа на верховную власть может существовать еще только одно право — право человека, то есть свобода. (*Возгласы слева: «Превосходно!»*)

Все прочее — пустые выдумки.

Сказать в наш великий век и с высоты этой трибуны: «право короля» — значит произнести слова, лишенные смысла. Но если вы не можете ссылаться на право, то, может быть, вы сошлетесь на факты? Быть может, вы станете убеждать нас в полезности монархии? Это куда менее возвышенно, это значит с языка господина перейти на язык слуги и весьма умалить себя. Но пусть так. Разберемся в этом. Быть может, вы скажете, что принцип престолонаследия создает политическую устойчивость. Вы скажете, что демократия вредна для государства, что королевская власть благотворнее. Посмотрим! Я не стану перелистывать книгу истории, трибуна — не пюпитр для фолиантов. Ограничусь лишь самыми свежими живыми примерами, памятными всем.

Скажите, какие у вас есть претензии к республике 1848 года? Народные волнения? Но они были и при монархии. Состояние финансов? Бог мой! Я не считаю сейчас своевременным вдаваться в то, велись ли финансовые дела республики на достаточно демократических началах в течение трех лет ее существования...

Голос справа. Нет, к счастью для них!

Виктор Гюго. ...но конституционная монархия стоила чрезвычайно дорого. Ведь это она изобрела раздутые бюджеты. Скажу больше, ибо нужно сказать все: монархия в собственном смысле слова, то есть традиционная, или легитимная, монархия, которая считает себя — или делает вид, что считает, — однозначной с понятием устойчивости, безопасности, процветания, права собственности, эта старая монархия с ее четырнадцати-

вековой историей, господа, весьма часто и весьма охотно объявляла банкротство! (*Смех и аплодисменты.*)

Еще при Людовике XIV — я обращаюсь к прекрасной поре, к великому веку, к великому царствованию — нередко случалось, что рантье бледнели, как это сказано у Буало, узнав про

Закон, что сократил на четверть их доход...

Как бы иносказательно ни выражался сатирик, лстивший королю, закон, отсекающий у рантье четвертую часть их дохода, господа, не что иное, как банкротство. (*Возгласы слева: «Превосходно!» Шум справа. Возглас: «А ассигнации?»*)

В эпоху Регентства монархия прикарманила — это слово неблагоприятное, но точное (*смех*), — прикарманила триста пятьдесят миллионов, чеканя неполноценную монету. И в это же самое время служанку вешали за кражу пяти су.

В царствование Людовика XV за шестьдесят лет состоялось девять банкротств.

Голос справа. А поэтам жаловали пенсии.

Голос слева. Не обращайтесь на это внимания! Игнорируйте! Не отвечайте!

Виктор Гюго. Я отвечаю почтенному депутату, прервавшему меня. Обманутый некоторыми газетами, он намекает на пенсию, которая была мне предложена королем Карлом X и от которой я отказался.

Г-н де Фаллу. Прошу прощения, вы получали ее из королевской шкатулки. (*Шум слева.*)

Г-н Бак. Игнорируйте эти оскорбления!

Г-н де Фаллу. Позвольте мне сказать несколько слов.

Виктор Гюго. Вы хотите, чтобы я изложил факты? Они служат к моей чести, и я охотно сделаю это.

Г-н де Фаллу. Прошу прощения... (*Возгласы слева: «Это личные нападки!», «Хотят скандала!», «Дайте говорить!», «Не прерывайте!», «К порядку! К порядку!»*)

Г-н де Фаллу. Собрание могло видеть, что с самого начала заседания я все время сохранял полнейшее молчание и даже уговаривал моих друзей вести себя так

же, как и я. Я лишь прошу разрешения внести поправку фактического характера.

Виктор Гюго. Говорите!

Г-н де Фаллу. Достопочтенный господин Виктор Гюго сказал: «Я никогда не получал пенсии от монархии...»

Виктор Гюго. Нет, я этого не говорил. *(Резкие протесты справа, смешивающиеся с аплодисментами и ироническими смешками. Несколько депутатов левого крыла, обращаясь к Виктору Гюго: «Не отвечайте на это!»)*

Г-н Суби, депутат правого крыла. Подождите, по крайней мере, пока будут даны объяснения. Ваши аплодисменты неприличны!

Г-н Фришон *(обращаясь к г-ну де Фаллу)*. Бывший министр республики, вы предаете ее!

Г-н Ламарк. Это иезуитский яд!

Виктор Гюго *(обращаясь к г-ну де Фаллу и стараясь быть услышанным в шуме)*. Я прошу господина де Фаллу позаботиться о том, чтобы его друзья позволили ответить ему. *(Гул голосов.)*

Г-н де Фаллу. Я делаю все, что в моих силах.

Голос со скамей крайней левой. Заставьте же правое крыло замолчать, господин председатель!

Председатель. Шумят обе стороны. *(Обращаясь к оратору.)* Вы неизменно пытаетесь обратить в свою пользу все нарушения порядка и извлечь для себя из них выгоду. Я осуждаю эти нарушения, но констатирую, что шумят и на левом и на правом крыле. *(Бурные протесты на скамьях крайней левой. Депутаты, занимающие места на нижних скамьях левого крыла, стараются восстановить тишину.)*

Один из депутатов левого крыла. У вас уши слышат только то, что делается на нашем крыле.

Председатель. Оратора прерывают с обеих сторон. *(Возгласы: «Неправда! Неправда!», «Правильно! Правильно!»)*

Я вижу и констатирую... *(Снова шум и восклицания на тех же скамьях левого крыла.)*

Я констатирую, что вот уже пять минут господин Шельшер и господин Гревс требуют тишины. *(Снова во-*

склициания и протесты слева. Г-н Шельшер говорит что-то, но слова его тонут в шуме.)

Я констатирую, что вы сами, господин Шельшер и господин Гревс, уже в течение довольно продолжительного времени требуете тишины, я воздаю вам должное.

Г-н Шельшер. Мы требуем тишины, потому что было обещано, что нас будут слушать и выслушают все, что мы скажем.

Один из депутатов крайней левой. «Монитер» ответит господину председателю.

Председатель. Можно отрицать факт, который имел место в какой-нибудь конторе, но нельзя отрицать факта, происходящего перед лицом Национального собрания. *(На скамьях крайней левой раздаются неодобрительные возгласы, обращенные к председателю.)* Вам не терпится приняться за ваши обычные методы. *(Восклицания на скамьях крайней левой.)*

Один из депутатов. Нет, как раз это вам не терпится приняться за ваши методы.

Другие депутаты. Это провокационные выпады.

Председатель. Я требую, чтобы обе стороны соблюдали тишину.

Г-н Арно, депутат от Арьежа. Это личные нападки.

Г-н Саватье-Ларош. Это провокационные выпады, их нарочно стараются сделать возможно более оскорбительными.

Председатель. Замолчите же, наконец, и слушайте оратора. *(Тишина восстанавливается.)*

Виктор Гюго. Я благодарю глубокоуважаемого господина де Фаллу. Я не искал повода говорить о самом себе. Его подал мне господин де Фаллу в связи с одним случаем, который служит к моей чести. *(Обращаясь к правому крылу.)* Выслушайте же то, что я вам скажу. Вы смеялись первыми; я надеюсь на вашу честность и потому предсказываю, что вы не будете смеяться последними. *(Сильное волнение в зале.)*

Один из депутатов крайней правой. Будем!

Виктор Гюго *(обращаясь к прервавшему его депутату)*. В таком случае вы будете нечестны! *(Возгласы слева: «Браво!» В зале устанавливается полная тишина.)*

Мне было девятнадцать лет...

Один из депутатов правого крыла. Ах, вот оно что: я была так молода! *(Долго не прекращающийся ропот слева. Крики: «Это непристойно!»)*

Виктор Гюго *(оборачиваясь в ту сторону, откуда была подана реплика)*. Человек, способный на такой неслыханный выпад, должен иметь мужество назвать себя. Я требую, чтобы он назвал свое имя. *(Аплодисменты слева. Тишина справа. Никто не отзывается на предложение оратора.)*

Он молчит. Отметим это. *(Аплодисменты левого крыла усиливаются. Справа — гробовое молчание.)*

Виктор Гюго *(продолжает)*. Мне было девятнадцать лет. Я опубликовал томик стихов. Людовик XVIII, который был, как вам известно, образованным королем, прочел его и определил мне пенсию в две тысячи франков. Это произошло по инициативе самого короля, что служит к его чести и к моей. Я принял пенсию, но я не просил ее. Письмо, находящееся у вас в руках, господин де Фаллу, доказывает это. *(Г-н де Фаллу кивает головой в знак подтверждения. Движение справа.)*

Г-н де Ларошжаклен. Это превосходно, господин Виктор Гюго!

Виктор Гюго. Позже, несколько лет спустя, при Карле X, я написал пьесу «Марион Делорм». Она была запрещена цензурой. Я добился приема у короля и просил его дать разрешение играть мою пьесу. Он принял меня любезно, но снять запрещение отказался. На другой день, придя домой, я нашел у себя уведомление от имени короля о том, что в порядке возмещения убытков, понесенных мной в связи с этим запрещением, моя пенсия увеличивается с двух тысяч франков до шести тысяч. Я отказался. *(Долго не прекращающееся движение в зале.)* Я написал министру, что ни на что не променяю свободу своей поэзии и независимость своего пера. *(Продолжительные аплодисменты слева. Сильное волнение, захватывающее и правое крыло.)* Именно это мое письмо и находится у вас в руках. *(Возгласы: «Браво! Браво!»)* В этом письме я пишу, что никогда не позволю себе оскорбить как-либо короля Карла X. Я сдержал свое слово, вам это известно. *(Сильнейшее волнение в зале.)*

Г - н де Ларошжаклен. О да! И доказали это превосходными стихами.

Виктор Гюго (*обращаясь к правому крылу*). Видите, господа, вы больше не смеетесь, и я был прав, когда благодарил господина де Фаллу. (*Возгласы: «Верно! Верно!» Долго не прекращающееся движение в зале. В глубине зала один из депутатов смеется.*)

Голос слева. Безобразие! Это непристойно!

Несколько депутатов правого крыла (*обращаясь к Виктору Гюго*). Вы правильно поступили.

Г - н Суби. Тот, кто сейчас смеялся, принял бы все, что бы ему ни предложили.

Виктор Гюго. Итак, я говорил о том, что монархия порой объявляла банкротство. Я напомнил, что в эпоху Регентства монархия прикарманила триста пятьдесят миллионов, чеканя неполноценную монету. Я продолжаю. При Людовике XV состоялось девять банкротств. Если хотите, назову вам некоторые из них, припомнившиеся мне сейчас. Два банкротства банка Демаре, два банкротства братьев Парис, банкротство банка Виза и банкротство банка «Система». Не довольно ли банкротств? Или вам нужно еще? (*Долго не прекращающееся всеобщее оживление слева.*)

Так вот вам и другие, происшедшие в то же царствование: банкротство кардинала Флери, банкротство генерального контролера Силуэта, банкротство аббата Терре! Я называю эти банкротства монархии именами навсегда опозоренных ими министров. Господа, кардинал Дюбуа определял монархию так: это власть, которая сильна тем, что объявляет банкротство, когда пожелает. (*Снова смех.*)

Ну, а республика 1848 года — объявляла ли она банкротства?

Нет, хотя ей это и подсказывали те, кого я должен прямо назвать монархистами. (*Смех в зале на левом крыле и даже на правом.*) Эта республика, господа, ни разу не объявляла банкротства и, можно утверждать с уверенностью, не объявит его никогда (*крики слева: «Никогда! Никогда!»*), если только ей дадут спокойно существовать на началах искренности, прямоты и свойственной народу порядочности. Вела ли республика 1848 года войну в Европе? Опять-таки нет!

Республика даже, быть может, вела себя слишком миролюбиво, хотя ей достаточно было — я говорю это именно в интересах мира — лишь наполовину обнажить свою саблю, чтобы многие и многие сабли были вложены обратно в ножны.

В чем же вы ее упрекаете, господа главари монархических партий, вы, которым не удалось до сих пор, да и никогда не удастся, смыть с нашей современной истории пятна крови 1815 года? (*Движение в зале.*) Здесь говорили о 1793 годе, и это дает мне право говорить о 1815-м. (*Возгласы одобрения слева.*)

В чем вы упрекаете республику 1848 года? Боже мой! Одни и те же обвинения пережевываются во всех ваших газетах и, очевидно, до сих пор еще не истрепаны до конца. Не далее как сегодня утром я прочел в воззвании, требующем полного пересмотра конституции: «Агенты Ледрю Роллена! Сорок пять сантимов! Сопения социалистов в Люксембургском дворце!» Да! Люксембургский дворец! Да, да! Вот что вам не дает покоя! Смотрите, остерегайтесь Люксембургского дворца, не углубляйтесь слишком далеко в его сторону, вам может там повстречаться тень маршала Нея! (*Одобрительные возгласы. Продолжительные аплодисменты слева.*)

Г - н де Рессегье. А вы нашли бы там ваше кресло пэра Франции!

Председатель. Я вам не давал слова, господин де Рессегье.

Один из депутатов правого крыла. Конвент гильотинировал двадцать пять генералов!

Г - н де Рессегье. Ваше кресло пэра Франции! (*Шум.*)

Председатель. Не прерывайте.

Виктор Гюго. Бог ты мой, господин де Рессегье, кажется, упрекает меня в том, что я заседал среди тех, кто судил маршала Нея! (*Восклицания справа. Иронический и одобрительный смех слева.*)

Г - н де Рессегье. Вы ошибаетесь...

Председатель. Благоволите сесть на место и молчать; вам не предоставлено слово.

Г - н де Рессегье (*обращаясь к оратору*). Вы решительно ошибаетесь.

Председатель. Господин де Рессегье, я решительно призываю вас к порядку.

Г-н де Рессегье. Вы ошибаетесь умышленно.

Председатель. Я призову вас к порядку с занесением в протокол, если вы будете продолжать оставлять без внимания мои предупреждения.

Виктор Гюго. Представители старых партий! Я не злорадствую по поводу того, что составляет ваше несчастье. Но — говорю вам это без горечи — вы не в состоянии оглядеть свою эпоху и свою страну справедливым, благожелательным и трезвым взглядом. Вы ошибочно судите о явлениях современности. Вы кричите об упадке. Да, упадок в самом деле наблюдается, но только — не могу не сказать вам — это вы находитесь в состоянии упадка! (*Смех слева. Ропот справа.*)

Наступает конец монархии, а вы говорите: «Наступает конец Франции!» Но это обман зрения. Франция и монархия — не одно и то же. Франция остается, Франция возвеличивается, да будет это всем известно! (*Возгласы: «Превосходно!» Смех справа.*)

Никогда Франция не была величественнее, чем в наши дни. За границей знают это, а вы — я отмечаю это с грустью, и ваш смех служит подтверждением моим словам, — вы этого не видите!

Французский народ ныне достиг зрелости, а вы выбрали как раз это время, чтобы обвинять его в сумасбродствах. Вы отрицаете весь наш век целиком: его промышленность кажется вам чересчур материалистичной, его философия — безнравственной, его литература — анархичной... (*Иронический смех справа, возгласы: «Да! Да!»*) Вот видите, вы подтверждаете мои слова. Его литература кажется вам анархичной, его наука — нечестивой. А его демократию вы называете демагогией. (*Возгласы справа: «Да! Да!»*)

В своей заносчивости вы заявляете, что наше время — дурное время и что вы, собственно говоря, к нему не принадлежите. Вы — люди не нашего века. Этим все сказано. Вы даже тщеславитесь этим! Мы это принимаем к сведению.

Вы — люди другого века, вы не принадлежите к этому миру, вы — мертвецы! Пусть будет так! Я не возражаю!

(Смех и возгласы: «Браво!») Но если вы мертвецы, не возвращайтесь, оставьте в покое живых. (Общий смех.)

Г-н де Тенги (обращаясь к оратору). Вы полагаете, что мы мертвецы, господин виконт?

Председатель. Вы воскресли, господин де Тенги?

Г-н де Тенги. Я воскрешаю виконта.

Виктор Гюго (скрестив руки и оборачиваясь к правому крылу). Как! Вы хотите восстать из мертвых! (Снова веселое оживление в зале и возгласы «Браво!»)

Как! Вы хотите начать все сызнова! Как! Вам еще мало опасных экспериментов, которые губят королей и принцев — и слабых, как Людовик XVI, и сильных и ловких, как Луи-Филипп; вам еще мало этих достойных сожаления экспериментов, которые губят царственные семьи, августейших жен, высокочтимых вдов, невинных детей! Вам нужно, чтобы их было побольше! (Сильное волнение в зале.)

Неужели в вас нет жалости и вы утратили память о прошлом? Господа роялисты, мы просим вас смириться над несчастными королевскими семьями!

Как, вы хотите вернуться к той закономерной цепи событий, все звенья которой заранее известны и predeterminedены как неизбежные этапы развития! Вы хотите снова пустить в ход чудовищный механизм судьбы! (Движение в зале.) Вы хотите снова повторить страшный круговорот событий, все тот же круговорот, вместе со всеми его рифами, бурями и катастрофами? Сначала — фальшивое примирение народа с королем, реставрация, открытие ворот Тюильри, иллюминации и фанфары, торжественные речи, коронования и празднества! Затем — грубый нажим трона на парламент, силы на законность, королевской власти на нацию, борьба в палатах, сопротивление печати, недовольство общественного мнения, судебные процессы, на которых слишком подчеркнутое и неуклюжее рвение угодливых судей пасует перед энергичным натиском писателей (бурные аплодисменты слева); далее, нарушения конституционных норм при участии парламентского большинства (возгласы: «Превосходно!»), законы об ограничениях, чрезвычайные меры, полицейские притеснения, с одной стороны, тайные общества и заговоры — с другой; и, наконец... о боже, неужели площадь, которую вы ежедневно пересекаете,

направляясь в этот дворец, ничего не говорит вам? (*Выкрики. Возгласы: «К порядку! К порядку!»*) Топните ногой о мостовую, находящуюся в двух шагах от злополучного дворца Тюильри, к которому вы и теперь еще стремитесь, топните ногой об эту роковую мостовую — и вам явятся на выбор либо эшафот, увлекающий старую монархию в могилу, либо наемная карета, увозящая новых королей в изгнание. (*Продолжительные аплодисменты слева. Ропот. Восклицания.*)

Председатель. Кому вы угрожаете? Что это за угрозы? Прекратите это!

Виктор Гюго. Это предупреждение.

Председатель. Это предупреждение пахнет кровью; вы переходите все границы и забываете вопрос о пересмотре конституции. Это уже не речь, а диатриба.

Виктор Гюго. Как! Мне даже запрещают ссылаться на историю!

Голос слева (*обращаясь к председателю*). Стоит вопрос о конституции и о судьбе республики, а вы не даете говорить!

Председатель. Вы убиваете живых и вызываете с того света мертвецов; это уже нельзя назвать обсуждением вопроса. (*Долго не прекращающиеся крики. Одобрительный смех справа.*)

Виктор Гюго. Как, господа, после того как я в весьма уважительной форме пытался пробудить в вас воспоминания о прошлом, после всего того, что я сказал об августейших женах, высокочтимых вдовах и невинных детях, после того как я воззвал к вашей памяти, мне не будет позволено в этих стенах, многое слышавших за последние дни, привлекать факты из истории, не для того, чтобы угрожать — заметьте себе это хорошенько, — а для того, чтобы предостерегать? Мне не будет позволено сказать, что реставрации начинаются триумфально, а кончаются трагически? Мне не будет позволено сказать, что реставрации начинаются с самообольщения и кончаются тем, что называют катастрофой; следовательно, мне нельзя будет также заметить, что если вы топнете ногой о роковую мостовую, в двух шагах от вас, в двух шагах от злополучного дворца Тюильри, к которому вы и теперь еще стремитесь, то вам явятся — на выбор — либо эшафот, увлекающий старую монархию в могилу,

либо наемная карета, увозящая новых королей в изгнание! (*Ропот справа. Возгласы «Браво! Браво!» слева.*) Мне не будет позволено сказать все это! И это называют свободной дискуссией!

Г-н Эмиль де Жирарден. Свободной она была вчера!

Виктор Гюго. Я протестую! Вы хотите заглушить мой голос, но его все равно услышат. (*Протесты справа.*) Его услышат! Некоторые ловкие люди, находящиеся среди вас, а такие есть, я охотно это признаю...

Голос справа. Вы очень любезны!

Виктор Гюго. Некоторые ловкие люди, находящиеся среди вас в настоящий момент, считают себя сильными, потому что они опираются на коалицию перепуганных собственников. Странная точка опоры — страх! Но для злых умыслов и она годится. Вот что, господа, мне хочется сказать этим ловким людям: что бы вы ни стали делать, встревоженные собственники скоро успокоятся. Но по мере того как будет восстанавливаться доверие к республике, будет утрачиваться доверие к вам. Да, скоро собственникам станет ясно, что ныне, в девятнадцатом веке, после казни Людовика XVI...

Г-н де Монтебелло. Опять...

Виктор Гюго. После крушения Наполеона, изгнания Карла X, падения Луи-Филиппа, одним словом — после французской революции, то есть после полного, коренного, величайшего обновления и изменения принципов, верований, мнений, фактического положения вещей и соотношения сил, единственной надежной основой является республика, тогда как монархия является авантюрой. (*Аплодисменты.*)

Но достопочтенный господин Беррье вчера говорил вам: «Франция никогда не приспособится к демократии».

Голос справа. Он этого не говорил.

Другой голос справа. Он сказал это о республике.

Г-н де Монтебелло. Это другое дело.

Г-н Матье Бурдон. Это совсем не то же самое.

Виктор Гюго. Для меня это все равно! Я принимаю вашу версию. Господин Беррье заявил нам:

«Франция никогда не приспособится к республиканскому образу правления».

Господа! В течение тридцати семи лет с того времени, когда Людовиком XVIII была дарована хартия, — это подтверждают все современники, — сторонников «чистой» монархии, тех самых, которые называли Людовика XVIII революционером, а Шатобриана якобинцем (*веселое оживление в зале*), приводила в ужас конституционная монархия, точь-в-точь как сейчас сторонников конституционной монархии приводит в ужас республика. Тогда говорили: «Это годится для Англии», точно так же, как господин Беррье говорит сегодня: «Это годится для Америки!» (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Тогда говорили: «Свобода печати, открытые прения, выступления оппозиционных ораторов и журналистов, все это — беспорядок! Франция никогда не примирится с этим». Ну так вот: она примирилась с этим устройством.

Г - н де Тенги. И ее дела пришли в полное расстройство.

Виктор Гюго. Франция приспособилась к парламентскому режиму, и так же она приспособится к режиму демократическому! Это — еще один шаг вперед, вот и все. (*Движение в зале.*)

После конституционной монархии страна привыкнет к интенсивному росту демократического движения, точно так же как после абсолютной монархии она привыкла в конце концов к бурному развитию либерального движения, и общественное процветание выйдет из республиканских волнений, как оно вышло из волнений конституционной монархии, выросшим и окрепшим. Народные стремления войдут в определенную колею, как вошли в нее буржуазные страсти. Такая большая нация, как французская, всегда в конце концов приходит в равновесие. Самые ее размеры обеспечивают ей устойчивость.

И потом — следует вам сказать — свободная печать, полноправная трибуна, народные комиции, целые толпы, захваченные одной идеей, народ, этот шумный слушатель, но терпеливый судья, тысячи избирательных голосов, выигрывающие битвы там, где их проиграли мятежи, поток бюллетеней, в определенные дни наводняющий Францию, все то движение, которое ужасает вас, есть не что иное,

как брожение прогресса (*возгласы: «Превосходно!»*), брожение полезное, необходимое, здоровое, плодотворное — прекрасное. И вы считаете это лихорадкой? Нет, это — жизнь! (*Продолжительные аплодисменты.*)

Вот что я могу ответить господину Беррье.

Вы видите, господа, что в этом споре монархия не может сослаться ни на пользу, ни на политическую устойчивость, ни на финансовые гарантии, ни на общественное процветание, ни на право, ни на факты.

Теперь — так как пора уже подойти к этому — выясним, в чем же смысл нападения на конституцию, которое лишь маскирует нападение на республику?

Господа, я обращаю этот вопрос к старейшим, к посевшим, но попрежнему наиболее влиятельным вождям монархической партии, к тем, кто, как и мы, были членами Учредительного собрания, к тем, с кем я не смешиваю — объявляю об этом — благородную молодежь из их партии, которая следует за ними лишь скрепя сердце. Я не хочу никого оскорблять, я уважаю всех членов этого собрания, и если у меня вырвется какое-нибудь слово, которое может обидеть кого бы то ни было из моих коллег, я заранее беру его обратно.

Но все же я не могу не сказать этого: раньше были такие роялисты, которые...

Г-н Калле. Вам об этом кое-что известно. (*Восклицания слева. Возгласы: «Не прерывайте!»*)

Г-н Шаррас (*обращаясь к Виктору Гюго*). Покиньте трибуну!

Виктор Гюго. Очевидно, нет больше свободы трибуны! (*Протесты справа.*)

Председатель. Спросите у господина Мишеля, депутата от Буржа, упразднена ли свобода трибуны?

Г-н Суби. Она должна существовать для всех, а не для одного.

Председатель. Господин Суби, ораторы меняются, а Собрание остается все тем же. Оратор сам создает себе аудиторию. Об этом вам было сказано позавчера, и сказал это господин Мишель, депутат от Буржа.

Г-н Ламарк. Он сказал как раз обратное.

Председатель. Ну, это мой вариант.

Г-н Мишель, депутат от Буржа (*с места*). Господин председатель, позвольте мне сделать неболь-

шое замечание. (*Председатель знаком выражает согласие.*) Вы вывернули наизнанку то, что я сказал вчера. И сказанное мной принадлежит не мне. Мысль эту высказал величайший из ораторов семнадцатого века — Боссюэ. Он не говорил, что оратор создает аудиторию; он сказал, что аудитория создает оратора. (*Возгласы слева: «Превосходно! Превосходно!»*)

Председатель. Если даже перевернуть эту сентенцию, то суть дела от этого не изменится: оратор неизбежно оказывает воздействие на собрание, а собрание на оратора. Сам Руайе-Коллар, отчаявшись в попытках заставить аудиторию выслушивать известного рода высказывания, говорил ораторам: «Заставляйте себя слушать». Я заявляю, что не имею возможности в равной мере обеспечивать тишину для всех ораторов, столь не похожих друг на друга. (*Шум и веселое оживление на скамьях большинства. Ропот и различные интерпелляции слева.*)

Г - н Э м и л ь д е Ж и р а р д е н. Какое вы имеете право наносить оскорбления?

Г - н Ш а р р а с. Это наглость!

Виктор Гюго. Господа, на цитату из Руайе-Коллара, обращенную ко мне господином председателем, я отвечу цитатой из Шеридана, который сказал: «Когда председатель перестает защищать оратора, свобода трибуны ликвидируется». (*Продолжительные аплодисменты слева.*)

Г - н А р н о, депутат от Арьежа. Мир не видал подобной пристрастности.

Виктор Гюго. Итак, господа, о чем же я говорил? Я говорил, в связи с агрессией, направленной ныне против республики, и желая извлечь поучительный вывод из факта этой агрессии, что были роялисты и раньше. Этих роялистов, с которыми, в силу семейных традиций, могло быть связано детство многих из нас и, в частности, мое детство, поскольку мне об этом все время напоминают, этих роялистов хорошо знали наши отцы, и наши же отцы с ними боролись. Так вот, эти роялисты провозглашали свои принципы в самый момент опасности, а не после того, как она миновала! (*Возгласы слева: «Превосходно! Превосходно!»*) Они не были гражданами, пусть, но они были рыцарями. Они совершали ужасное,

безумное, нечестивое, отвратительное дело — вели гражданскую войну, но они действовали открыто, а не занимались провокациями. (*Горячее одобрение слева.*)

Перед ними стояла во весь рост юная, грозная, трепещущая от гнева, великая, всемогущая и прекрасная французская революция, которая посылала против них майнцских гренадеров, считая, видимо, что легче справиться с Европой, чем с Вандеей.

Г-н де Ларошжаклен. Это верно.

Виктор Гюго. Они стояли с нею лицом к лицу, сопротивлялись ей, но не хитрили, не вели себя как лисица со львом. (*Аплодисменты слева. Г-н де Ларошжаклен кивает в знак согласия.*)

Виктор Гюго (*г-ну де Ларошжаклену*). Это относится к вам и к вашему имени; я отдаю должное вашим соратникам. Они не похищали у этой революции одного за другим ее принципов, ее завоеваний, ее оружия, чтобы использовать их против нее же, они хотели убить ее, а не обокрасть! (*Возгласы слева: «Браво!»*)

Люди отважные, убежденные и искренние, они вели честную игру и не позволяли себе утром кричать двадцать семь раз подряд: «Да здравствует республика!», а потом, в тот же день, являться в Национальное собрание и невнятно бормотать: «Да здравствует король!» (*Одобрительные возгласы слева. Крики: «Браво!»*)

Г-н Эмиль де Жирарден. Они не посылали денежных подачек раненым бойцам Февраля.

Виктор Гюго. Подведем в двух словах итог всему мною сказанному. Традиционная монархия, легитимная монархия во Франции умерла. Она — факт, который был, но которого больше не существует. Восстановленная легитимная монархия привела бы к хроническим переворотам, к замене плавного общественного развития периодическими потрясениями. Республика, напротив, означает прогресс, воплощенный в самой форме правления. (*Одобрительные возгласы.*)

Покончим с этой стороной вопроса.

Г-н Лео де Лаборд. Прошу предоставить мне слово. (*Долго не прекращающееся движение в зале.*)

Г-н Матье Бурдон. Легитимная монархия просыпается.

(*Г-н де Фаллу поднимается со своего места.*)

Голоса слева. Нет! Нет! Не прерывайте! Не прерывайте!

(Г-н де Фаллу подходит к трибуне. Бурное волнение в зале.)

Голоса слева (оратору). Не разрешайте им говорить! Не разрешайте!

Виктор Гюго. Я не разрешаю прерывать себя.

(Г-н де Фаллу поднимается по ступенькам, подходит к председателю и обменивается с ним несколькими словами.)

Виктор Гюго. Достопочтенный господин де Фаллу настолько забыл о правах оратора, что просит разрешения прервать его не у самого оратора, а у председателя.

Г-н де Фаллу (вернувшись к подножию трибуны). Я прошу вас дать мне разрешение прервать вас.

Виктор Гюго. Я вам его не даю.

Председатель. Слово предоставлено вам, господин Виктор Гюго.

Виктор Гюго. Но существуют публицисты другого лагеря, газеты другого оттенка, которые, бесспорно, выражают мнение правительства, так как, в отличие от всех других газет, распространяются без ограничений. Эти газеты кричат нам: «Вы правы: легитимная монархия невозможна, монархия божественного права, традиционная монархия умерла. Но зато другая монархия — монархия славы, империя, — не только возможна, но и необходима». Вот какие речи с нами ведут.

Это — другая сторона вопроса о монархии. Рассмотрим и ее.

Прежде всего: вы говорите — «монархия славы»! Вот как! У вас есть слава! Покажите нам ее. (Веселое оживление в зале.) Любопытно, о какой славе может идти речь при таком правительстве! (Смех и аплодисменты слева.) Где же она, ваша слава? Я хочу обнаружить ее. Я смотрю во все глаза.

Из чего же она складывается?

Г-н Лепик. Спросите у вашего отца!

Виктор Гюго. Из чего же она состоит? Что я вижу? Что видим мы все?

Все наши свободы одна за другой пойманы в ловушку и задушены; всеобщее избирательное право предано,

продано и изуродовано; социалистические программы выродились в иезуитскую политику; в правительстве зреет гигантская интрига (*движение в зале*) — некий неслыханный тайный замысел, который делает целью республики империю и превращает пятьсот тысяч чиновников в своеобразную бонапартистскую масонскую ложу внутри нации; все реформы отложены на неопределенный срок или отклонены; сохранены или восстановлены несоразмерные и тяжкие для народа налоги; над пятью департаментами тяготеет осадное положение; Париж и Лион находятся под особым полицейским надзором; в амнистии отказано, политические преследования усилились, политические ссылки утверждены вотумом собрания; в крепости Бона раздаются стенания, в застенках Бель-Иля пытаются, в тюрьмах не дают гнить матрацам, но гноят людей (*сильное волнение в зале*); прессу травят; присяжных отбирают определенным образом; в стране слишком много полиции и слишком мало правосудия; внизу — нищета, наверху — анархия, произвол, притеснения, беззакония! А за пределами Франции — труп Римской республики! (*Возгласы слева: «Браво!»*)

Голос справа. Этот счет надо предъявлять республике.

Председатель. Перестаньте же; не прерывайте. Это будет означать, что трибуна свободна. Продолжайте. (*Возгласы слева: «Правильно! Правильно!»*)

Г - н Шаррас. Она свободна, несмотря на все ваши старания.

Виктор Гюго. Петля, иначе говоря — Австрия (*движение в зале*), душит Венгрию, Ломбардию, Милан, Венецию; в Сицилии расстрелы, надежда наций на Францию рушится, тесная связь между народами порвана, право растоптано повсюду, на севере так же, как и на юге, в Касселе так же, как и в Палермо; существует тайная коалиция королей, которая ждет лишь случая, чтобы стать явной, наша дипломатия молчит, чтобы не сказать — соучаствует во всем этом, — она всегда подличает перед тем, кто ведет себя нагло; Турция оставлена без всякой поддержки против царя и вынуждена бросить изгнанников на произвол судьбы. Кошут томится в тюрьме в Малой Азии, — вот до чего мы дошли! Франция низко склонила голову, Наполеон от стыда переворачивается

в гробу, а пять или шесть тысяч мошенников кричат: «Да здравствует император!»

Не это ли все, паче чаяния, вы называете вашей славой? (*Сильное волнение в зале.*)

Г - н Ладевансе. Это все принесла с собой республика!

Председатель. Во всем этом упрекают также и республиканское правительство!

Виктор Гюго. А теперь — поговорим о вашей империи. (*Смех слева.*)

Г - н Вьейяр. Никто о ней и не помышляет, вы это прекрасно знаете.

Виктор Гюго. Господа, можете возмущаться сколько вам угодно, но не надо увиливать. Мне кричат: «Никто не помышляет об империи». Но я имею обыкновение срывать маски.

Вы говорите: «Никто не помышляет об империи»? О чем же тогда свидетельствуют эти, оплаченные кем-то, возгласы: «Да здравствует император»? Разрешите простой вопрос: кто за них платит? «Никто не помышляет об империи!» — сказали мне сейчас. Что значат в таком случае слова генерала Шангарнье, его намеки на развращенных преторианцев — намеки, которым вы аплодируете? Что значат слова Тьера, которым вы тоже аплодируете: «Империя уже создана»? Что значит эта смешная и жалкая петиция о продлении полномочий? Что это за продление, скажите пожалуйста? Это пожизненное консульство! А куда ведет пожизненное консульство? К империи! Господа, здесь явная интрига. Интрига, говорю я вам! Я вправе распутать ее, и я ее распутаю. Выведем же все на чистую воду!

Нельзя допустить, чтобы Франция оказалась захваченной врасплох и в один прекрасный день обнаружила, что у нее неведомо откуда взялся император! (*Аплодисменты.*)

Император! Обсудим его притязания!

Как, только потому, что жил человек, который выиграл битву при Маренго и потом взошел на престол, хотите взойти на престол и вы, выигравший только битву при Сатори? (*Смех в зале. Возгласы слева: «Превосходно! Превосходно! Bravo!»*)

Г - н Эмиль де Жирарден. Он проиграл ее.

Г - н Фердинанд Барро. Вот уже три года, как он сражается и побеждает в битве порядка с анархией.

Виктор Гюго. Как, только потому, что десять веков назад из рук Карла Великого, после сорока лет славного правления, упали наземь скипетр и меч, такие гигантские, что никто после него не мог и не смел прикоснуться к ним, а между тем на протяжении этих столетий жили люди, которых звали Филипп-Август, Франциск I, Генрих IV, Людовик XIV; только потому, что тысячу лет спустя — ибо человечество вынашивает таких людей тысячелетиями — явился другой гений, который поднял этот скипетр и этот меч и встал во весь рост над целым континентом, гений, который совершил столь грандиозные дела, что ослепительный блеск их не угас и до сих пор, который сковал революцию во Франции и расковал ее в Европе, который неразрывно связал свое имя с прославленными именами Риволи, Иены, Эсслинга, Фридланда, Монмирайля; только потому, что после десяти лет огромной, почти легендарной славы он тоже в изнеможении уронил скипетр и меч, совершившие так много величественных деяний, — являетесь вы и хотите поднять их после Наполеона, как Наполеон поднял их после Карла Великого, хотите взять в свои слабые руки скипетр титанов и меч гигантов? Что вы будете с ними делать? (*Продолжительные аплодисменты.*) Как, после Августа — Августул? Как, только потому, что у нас был Наполеон Великий, нам придется терпеть Наполеона Малого? (*Аплодисменты слева. Крики справа. Заседание прерывается на несколько минут. Невыразимый шум.*)

Голос слева. Господин председатель, мы слушали господина Беррье; правое крыло должно выслушать господина Виктора Гюго. Заставьте большинство молчать.

Г - н Саватье-Ларош. Надо уважать великих ораторов. (*Возгласы слева: «Правильно!»*)

Г - н де ла Москова. Господин председатель должен был бы заставить уважать правительство республики в лице ее президента.

Г - н Лепик. Это — глумление над республикой.

Г - н де ла Москова. Эти господа кричат: «Да здравствует республика!» и оскорбляют президента.

Г - н Эрнест де Жирарден. Наполеон Бонапарт получил шесть миллионов голосов; вы оскорбляете избранника народа! *(Сильнейшее волнение на скамьях министров. Председатель безуспешно старается быть услышанным в общем шуме.)*

Г - н де ла Москова. А на скамьях министров не раздается ни одного слова возмущения в ответ на такие высказывания.

Г - н Барош, министр иностранных дел. Полемизируйте, но не наносите оскорблений.

Председатель. Вы имеете право оспаривать законность отмены статьи сорок пятой, но не имеете права наносить оскорбления. *(Аплодисменты крайней левой удваиваются и заглушают голос председателя.)*

Г - н Барош. Вы полемизируете с несуществующими проектами и наносите оскорбления! *(Аплодисменты крайней левой не утихают.)*

Один из депутатов крайней левой. Защищать республику следовало вчера, когда на нее напали.

Председатель. Оппозиция, как видно, стремится аплодисментами заглушить замечания, сделанные мною и господином министром. Я сказал, что господин Виктор Гюго имеет полное право оспаривать уместность требования о пересмотре статьи сорок пятой с точки зрения законности, но не имеет права высказываться в оскорбительной форме по поводу конкретного кандидата, о котором нет речи.

Голос со скамьи крайней левой. Нет, о нем-то речь и идет.

Г - н Шаррас. Вы сами видели его лицом к лицу в Дижоне.

Председатель. Здесь я призываю вас к порядку потому, что я председатель. В Дижоне я соблюдал приличия и молчал.

Г - н Шаррас. Их не соблюдали в отношении вас. Виктор Гюго. Я отвечу господину министру и господину председателю, обвиняющим меня в том, что я оскорбляю президента республики. Имея по конституции право обвинить президента республики, я воспользуюсь им тогда, когда сочту это уместным, и не буду терять время на то, чтобы наносить оскорбления. Но сказать, что

президент — не великий человек, еще не значит оскорбить его. (*Резкие протесты на нескольких скамьях правого крыла.*)

Г - н Б р и ф ф о. Ваши оскорбления не смогут задеть президента.

Г - н де К о л е н к у р. Есть оскорбления, которые не могут его коснуться, запомните это хорошенько!

Председатель. Если вы будете продолжать в том же духе после моего предупреждения, я призову вас к порядку.

В и к т о р Г ю г о. Вот что я хочу сказать, и господин председатель не сможет помешать мне довести до конца мои объяснения. (*Сильное волнение в зале.*)

Мы требуем от господина президента, ответственного за судьбы республики, мы ждем от него, мы имеем безусловное право ждать от него — не того, чтобы он осуществлял свою власть как великий человек, а того, чтобы он ушел от власти как человек порядочный. (*Возгласы слева: «Превосходно! Превосходно!»*)

Г - н К л а р и. А покамест не клеветайте на него.

В и к т о р Г ю г о. Ему наносят оскорбления его собственные друзья, те, которые намекают, что во второе воскресенье мая он не уйдет от власти честно и безоговорочно, как он обязан поступить, если только он не мятежник.

Г о л о с с л е в а. И не клятвопреступник!

Г - н В ь е й я р. Это все клевета, господин Виктор Гюго и сам это знает.

В и к т о р Г ю г о. Господа депутаты большинства, вы ликвидировали свободу печати; теперь вы хотите ликвидировать свободу трибуны? (*Движение в зале.*) Я не прошу вас о милости. Я прошу лишь об откровенности. Солдат, которому не дают выполнять его долг, ломает свою шпагу; если свобода трибуны умерла, скажите мне об этом прямо, и я разорву свой мандат. В тот день, когда трибуна перестанет быть свободной, я ее покину и больше на нее не взойду. (*Голос справа: «Вот горе-то!»*) Трибуна, лишенная свободы, приемлема только для оратора, лишенного чувства собственного достоинства. (*Сильнейшее волнение в зале.*)

Итак, посмотрим, уважается ли свобода трибуны. Я продолжаю.

Нет! После Наполеона Великого я не хочу Наполеона Малого! Довольно! Надо с уважением относиться к величию! Хватит пародий! Чтобы иметь право водрузить орлов на знамени, надо, чтобы орел водворился в Тюильри! Где же он, этот орел? (*Продолжительные аплодисменты.*)

Г-н Леон Фоше. Оратор оскорбляет президента республики! (*Возгласы справа: «Да! Да!»*)

Председатель. Вы оскорбляете президента республики. (*Возгласы справа: «Да! Да!» Г-н Аббатуччи энергично жестикулирует.*)

Виктор Гюго. Я продолжаю.

Господа, я, так же как и все, так же как и вы, сидящие здесь, держал в руках эти газеты, эти брошюры, эти памфлеты проимперского, или, как теперь говорят, цезаристского, направления. У меня возникла мысль, которой я не могу не поделиться с Собранием. (*Волнение в зале. Оратор продолжает.*) Да, я не могу утаить ее от этого Собрания. Что сказал бы этот боец, этот великий боец за Францию, чьи останки покоятся в Доме Инвалидов, чья тень служит кое-кому прикрытием и чье имя вспоминают столь часто и в столь странной связи? Что сказал бы этот Наполеон, который дал столько изумительных сражений и, в частности, отправившись за восьмисот лье от Парижа, вызвал старомосковское варварство на великий поединок 1812 года? Что сказал бы этот великий человек, который испытывал ужас при мысли, что Европа может быть отдана на постой казакам, и, несмотря на свою властную натуру, предпочитал такой Европе Европу республиканскую? Что сказал бы он, если бы мог из глубины своей могилы увидеть, что панегиристами, апологетами, теоретиками и реставраторами его империи, его воинственной и овечьей славой империи являются... кто же? Те, кто в нашу блистательную и свободную эпоху смотрит на север с глубокой тоской, которая была бы смешна, если б не была столь отвратительна; люди, которые всякий раз, как слышат, что в наших устах прозвучало одно из таких слов, как демократия, свобода, гуманность, прогресс, в страхе ложатся на землю лицом вниз, прикладывают к ней ухо и прислушиваются, не приближаются ли, наконец, русские пушки! (*Продолжительные аплодисменты слева. Неистовые крики справа.*)

Все правое крыло поднимается со своих мест и заглушает криками последние слова оратора. Возгласы: «К порядку! К порядку! К порядку!» Многие министры, поднявшись со своих мест, резко протестуют против сказанного оратором. Шум усиливается. Раздаются бранные выкрики по адресу оратора. Г-н Бино, генерал Гурго и многие другие депутаты, сидящие на первых скамьях правого крыла, возбуждены больше других.)

Г-н Барош, министр иностранных дел. Вам хорошо известно, что это неправда! От имени Франции мы протестуем!

Г-н де Рансе. Мы требуем призвать оратора к порядку!

Г-н де Крузейль, министр народного просвещения. Укажите, к кому персонально относятся ваши слова! Кого вы имеете в виду? Назовите! Назовите!

Председатель. Я призываю вас к порядку, господин Виктор Гюго, потому что, несмотря на мои предупреждения, вы не перестаете наносить оскорбления.

Несколько голосов справа. Наемный клеветник!

Г-н Шапо. Пусть оратор скажет нам, к кому он обращается.

Г-н де Стапланд. Назовите тех, кого вы обвиняете, если у вас хватит мужества! *(Неистовый шум.)*

Различные голоса справа. Вы подлый клеветник. Это низость и наглость. *(Возгласы: «К порядку! К порядку!»)*

Председатель. Своими криками вы заглушили призыв к порядку, с которым я только что обратился.

Виктор Гюго. Прошу позволить мне дать разъяснения. *(Громкий, долго не прекращающийся ропот.)*

Г-н де Геккерен. Дайте же, дайте же ему доиграть этот спектакль!

Г-н Леон Фоше, министр внутренних дел. Оратор... *(Выкрики слева.)* Оратор...

Голос слева. Вам не предоставлено слово.

Председатель. Пусть господин Виктор Гюго даст разъяснения. Я призвал его к порядку.

Г-н Леон Фоше. Как, господа, оратору будет позволено здесь оскорблять президента республики!.. *(Пронзительные выкрики слева.)*

Виктор Гюго. Позвольте же мне дать разъяснения! Я не позволяю вам говорить вместо меня.

Председатель. Вам слово не предоставлено. Вам не следует принимать на себя обязанности полиции в Собрании. Я призвал господина Виктора Гюго к порядку; он просит позволить ему дать разъяснения Собранию, и я предоставляю ему слово; но наведение порядка станет делом невозможным, если вы будете узурпировать мои функции.

Виктор Гюго. Господа, вы увидите сейчас, как опасны безответственные выкрики. (*Возгласы: «Громче! Громче!»*) Меня призвали к порядку; и один distinguished депутат, которого я не имею чести знать...

Один из депутатов (*выходит из рядов правого крыла, приближается к подножию трибуны*). Это я.

Виктор Гюго. Как, это вы?

Депутат, прервавший оратора. Я!

Виктор Гюго. Ну и хорошо! Замолчите!

Депутат, прервавший оратора. Мы не желаем больше слушать эти рассуждения. Дурная литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и во имя французской трибуны. Отправляйтесь с вашими речами в «Порт-Сен-Мартен», господин Виктор Гюго.

Виктор Гюго. Вы, оказывается, знаете мое имя, а я вот не знаю вашего. Как вас зовут?

Депутат, прервавший оратора. Меня зовут Бурбуссон.

Виктор Гюго. Это превосходит все мои ожидания! (*Долго не прекращающийся хохот на всех скамьях. Депутат возвращается на свое место.*)

Виктор Гюго (*возобновляя речь*). Так вот, господин Бурбуссон заявляет, что меня следует лишить слова.

Голос справа. Да! Да!

Виктор Гюго. А почему? Потому, что я квалифицировал, имея на то право (*протесты правого крыла*), потому, что я квалифицировал авторов цезаристских памфлетов, как... (*Протесты справа. Виктор Гюго наклоняется к стенографу «Монитор» и просит его немедленно передать ему запись той фразы из его речи, которая взволновала Собрание.*)

Голос справа. Господин Виктор Гюго не имеет права менять для «Монитор» сказанную им фразу.

Председатель. Собрание возмущено вашими словами, которые наверняка записал стенограф «Монитор». Вас призвали к порядку из-за этих слов, то есть тех именно, которые были вами произнесены и от которых никуда не уйти. Если теперь, давая разъяснения, вы их измените, то судить об этом будет Собрание.

Виктор Гюго. Поскольку стенограф «Монитор» записал на слух то, что исходило из моих уст... *(Различные выкрики.)*

Голоса. Вы изменили ваши слова! Вы разговаривали со стенографом! *(Гул голосов.)*

Г-н де Пана, квестор, и другие депутаты. Вам нечего опасаться. В «Монитор» появятся именно те слова, которые были произнесены оратором.

Виктор Гюго. Господа, завтра, когда вы прочтете в «Монитор» *(ропот справа)*... когда вы прочтете фразу, на которой меня прервали и которой вы не слышали, фразу, гласившую, что Наполеон был бы удивлен и возмущен, если бы увидел, что ныне теоретиками и реставраторами его империи, его овейной славой империи, являются... кто? Люди, которые всякий раз, как слышат, что в наших устах прозвучало одно из таких слов, как демократия, свобода, гуманность, прогресс, в страхе ложатся на землю лицом вниз, прикладывают к ней ухо и прислушиваются, не приближаются ли, наконец, русские пушки...

Голос справа. К кому вы это относите?

Виктор Гюго. За это меня призвали к порядку!

Г-н де Тревенек. К какой партии вы обращаетесь?

Голос слева. К Ромье! К «Красному призраку»!

Председатель *(Виктору Гюго)*. Вам не удастся искусственно отделить одну фразу от всей вашей речи. Все, что произошло, явилось следствием оскорбительной параллели между императором, которого больше нет, и президентом республики, который существует. *(Долго не прекращающееся бурное волнение в зале. Большое число депутатов спускается из амфитеатра вниз; приставам, действующим по распоряжению председателя, с большим*

трудом удастся вернуть их на места и восстановить тишину.)

Виктор Гюго. Завтра вы признаете, что я сказал правду.

Голос справа. Вы сказали: «Вы».

Виктор Гюго. Вовсе нет, и я заявляю с высоты этой трибуны, что мне ни на мгновение не приходило в голову адресовать эти слова кому бы то ни было в этом Собрании. (*Протесты и громкий смех справа.*)

Председатель. В таком случае оскорбление обращено всецело к президенту республики.

Г-н де Геккерен. Если речь не идет о нас, зачем нам об этом говорить, почему не приберечь всего этого для «Эвенман»?

Виктор Гюго (*оборачиваясь к председателю*). Вы видите, большинство считает себя оскорбленным. Теперь уже речь идет не о президенте республики!

Председатель. Вы вылили на него столько грязи, сколько могли...

Виктор Гюго. Не о том идет речь!

Председатель. Скажите, что вы не хотели оскорбить вашей параллелью президента республики, и покончим с этим! (*Бурное волнение в зале продолжается; раздаётся брань по адресу оратора; слышна неистовая перебранка между депутатами правого и левого крыла. Г-н Лефевр-Дюрюфле подходит к трибуне и передает оратору листок бумаги, прося прочесть его.*)

Виктор Гюго (*читает и затем говорит*). Мне сейчас передали записку с замечанием, на которое я немедленно отвечу. Вот что в ней значит: «Собрание возмущено тем, что вы сказали «вы», вместо того чтобы высказаться в неопределенно-личной форме».

Автор этой записки завтра, читая «Монитор», признает, что я не сказал «вы», что я говорил в неопределенно-личной форме и не обращался непосредственно ни к кому в этом Собрании. И я повторяю, что не обращаюсь ни к кому.

Покончим же с этим недоразумением.

Голос справа. Ладно! Ладно! Давайте дальше.

Председатель. Выведите же Собрание из того состояния, в которое вы его ввергли. Господа, соблюдайте тишину.

Виктор Гюго. Завтра вы прочтете «Монитор», стенограф которого записал мои слова, и пожалеете о своей поспешности. Я никогда, ни на единое мгновение не имел в виду кого бы то ни было из членов этого Собрания, я заявляю об этом и оставляю на совести председателя то, что я был призван к порядку. (*Движение в зале. Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Еще одна минута, и я покину трибуну. (*На всех скамьях восстанавливается тишина. Оратор оборачивается к правому крылу.*)

Традиционная монархия! Империя! Чего вы от нас хотите? Мы люди другой эпохи. Для нас нет других лилий и орлов, кроме лилий Фонтенуа и орлов Эйлау и Ваграма.

Я уже сказал вам, вы — прошлое. По какому праву вы подвергаете сомнению настоящее? Что общего между ним и вами? Против кого и во имя кого создаете вы коалицию? Что означает эта коалиция? Что это за союз? И как понимать эти крепкие рукопожатия, которыми обмениваются империя и легитимная монархия?

Сторонники легитимной монархии, империя убила герцога Энгиенского! Сторонники империи, легитимная монархия расстреляла Мюрата! (*В зале заметное волнение.*) Вы взялись за руки? Осторожнее! На них пятна крови убитых! (*Сильное волнение в зале.*)

И далее — что вы надеетесь совершить? Разрушить республику? Вы беретесь за нелегкое дело. Подумали ли вы об этом?

Когда рабочий трудился подряд восемнадцать часов, а народ — восемнадцать веков и когда оба они, наконец, получили свое вознаграждение, попробуйте-ка теперь отнять у рабочего его заработок и у народа его республику!

Знаете ли вы, почему республика сильна? Почему она непобедима? Почему ее нельзя разрушить? Я говорил вам это в начале и теперь, в конце моей речи, повторяю: потому, что она является плодом труда целого ряда поколений, итогом накопленных усилий предшествующих эпох; потому, что она не только политический факт, но и исторический итог; потому, что она в значительной мере определяет собой состояние современной цивилизации; потому, что она является высшим, необходимым, абсолютным выражением чаяний современности; потому, что

она — воздух, которым мы дышим, и если нации один раз вдохнули в себя этот воздух, другим они уже не могут дышать, хотите вы этого или нет!

Да знаете ли вы, почему республику нельзя разрушить? Потому, что она нераздельно связана, с одной стороны, с нашим веком, с другой — с народом. Она — идея века и венец народа.

Господа сторонники пересмотра конституции! Я спрашивал вас: чего вы хотите? Я скажу вам, чего хочу я. Вот в двух словах мои политические требования. Необходимо уничтожить в области социальной определенную степень нищеты и в области политической определенный род честолюбия. Довольно пауперизма, довольно монархизма! Франция будет спокойна лишь тогда, когда благодаря могуществу общественных учреждений, которые одним дадут работу и хлеб, а у других отнимут надежду, мы увидим, как исчезнут из нашей среды все, кто протягивает руку, — от нищих до претендентов. (*Взрыв аплодисментов. Крики и ропот справа.*)

Председатель. Дайте же кончить, ради всего святого. (*Смех в зале.*)

Г-н Белен. Хотя бы ради обеда.

Председатель. Ну полно же, прошу вас!

Виктор Гюго. Господа, бывают проблемы истинные и проблемы ложные. Общественная помощь, заработная плата, кредит, налоги, судьбы трудящихся классов... Увы, ведь именно этими вопросами всегда пренебрегают, всегда их откладывают! Примиритесь же с тем, что вам время от времени будут о них говорить! Ведь речь идет о народе, господа! Я продолжаю. Страдания обездоленных бедняков, женщин, детей, система воспитания, карательная система, производство, потребление, обмен, труд, который дает всем пищу, всеобщее голосование, которое дает всем права, солидарность между людьми и между народами, помощь угнетенным национальностям, братство французов, порождающее своим сиянием братство народов всей Европы, — вот истинные проблемы.

Легитимная монархия, империя, слияние партий, преимущество монархии перед республикой, концепции, чреватые уличными боями, выбор между претендентами — вот проблемы ложные.

Так вот, — скажу вам прямо в глаза, — вы отбрасываете проблемы истинные ради проблем ложных, проблемы живые ради проблем мертвых! Вот какова ваша политическая мудрость! Вот какое зрелище вы нам являете! Исполнительная и законодательная власти враждуют между собой, правители хватают друг друга за шиворот; все остановилось, все дела заброшены! Пустые и жалкие споры! Партии терзают конституцию в надежде разорвать на части республику; люди изолгались; одни забывают свои клятвы, другие забывают свои вчерашние требования, а пока происходит эта жалкая суматоха, уходит время, а значит, и жизни!

Вот до какого положения вы нас довели! Мы пришли к подрыву всех авторитетов, к унижению, а следовательно, и к бессилию власти, к застою, к оцепенению, к состоянию, подобному смерти.

Нет больше величия, нет силы, нет движущего начала. Одни только перебранки, грызня, ссоры, потасовки! Правительства не существует.

И в какой момент все это происходит!

В момент, когда мощная, проникнутая демократическим духом инициатива необходима как никогда! В момент, когда цивилизация, стоящая перед торжественным испытанием, более чем когда-либо нуждается во власти активной, умной, плодотворной, способной к проведению реформ, внимательной к страданиям народа, полной любви, а стало быть, и силы! В момент, когда наступают смутные дни, когда все материальные интересы готовы вступить в бой со всеми принципами, когда перед обществом, требуя от него незамедлительного разрешения, возникают самые грозные проблемы, когда приближается 1852 год, страшный, загадочный, несущий неизвестность! В момент, когда философы, публицисты, вдумчивые наблюдатели — не государственные деятели, а просто разумные люди, — внимательным и тревожным взглядом стремящиеся проникнуть в густую мглу неведомого будущего, явственно различают оглушительный грохот врат революции, которые снова отверзаются во мраке. *(Всеобщее волнение. Несколько депутатов правой смеются.)*

Господа, я кончаю. Не будем скрывать: какой бы бурной ни была наша дискуссия, как бы глубоко ни волновала она массы, это — лишь предисловие.

Повторяю, приближается 1852 год. Близится час, когда снова восстанут и перейдут в свое последнее наступление на связанное по рукам и ногам всеобщее избирательное право все упомянутые мной притязания, разбуженные и ободренные пагубным законом от 31 мая, вооруженные им, все эти стародавние «традиции», которые являются не чем иным, как стародавними узурпациями.

Близится час, когда произойдет грандиозное столкновение: все отжившие политические институты — монархизм, отстаивающий императорскую или королевскую власть, кулачное право, божественное право — ринутся в бой против великих демократических прав, прав человека! В этот час все снова будет поставлено под сомнение. По милости упрямых притязаний прошлого мрак снова покроет то великое и славное поле битвы, на котором развертывают свои сражения мысль и прогресс и которое называется Францией. Не знаю, как долго продлится это затмение, не знаю, насколько затянется бой; но я твердо знаю одно и предсказываю и утверждаю это: право не погибнет! И когда снова воссияет свет, нам откроется, что в этой борьбе выстояли только два воителя: бог и народ!

(Бурная овация. Все левые депутаты окружают оратора у подножия трибуны и жмут ему руку. Заседание прерывается на несколько минут, несмотря на крики председателя и приставов.)

РЕЧИ НА КОНГРЕССЕ МИРА В ПАРИЖЕ (1849)

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНГРЕССА

21 августа 1849 года

Господа! Многие из вас, воодушевленные благочестивой, святой мыслью, явились сюда из самых отдаленных уголков земного шара. Среди вас есть публицисты, философы, священники всех христианских исповеданий, выдающиеся писатели и немало тех популярных общественных деятелей, которые указывают своим народам путь к свету. Вы хотите, чтобы решения этого собрания людей убежденных и духовно зрелых, стремящихся к благу не какого-либо одного народа, а всех народов, были приняты в Париже. (*Аплодисменты.*) К тем принципам, которыми в наше время руководствуются государственные люди, правители, законодатели, вы добавляете еще некий высший принцип. Вы, можно сказать, раскрываете евангелие на его последней странице, священнейшей из всех, — той, которая призывает всех детей единого бога жить в мире; и в этом городе, некогда провозгласившем только братство граждан, вы ныне провозглашаете братство всех людей.

Приветствую вас! (*Продолжительное движение в зале.*)

Перед лицом такой мысли и таких действий изъяснения личной благодарности неуместны. Позвольте же мне в первых словах, обращенных к вам, отвлечься от самого себя, в известной мере забыть об оказанной мне великой чести и помнить только о том великом деле, которое вы хотите совершить,

Господа! Эта святая, эта великая мысль — мир во всем мире, неразрывное единение всех наций, признание евангелия верховным законом, замена войны мирным посредничеством — осуществима ли она? Возможно ли превратить эту святую идею в жизнь? Многие позитивные умы, как теперь выражаются, многие политики, «составившиеся в делах государственных», как ныне принято говорить, отвечают: «Нет!» Что касается меня, я отвечаю вместе с вами, отвечаю без колебаний, отвечаю: «Да!» (*Аплодисменты.*) И я сейчас постараюсь доказать это.

Я иду дальше. Я не только говорю, что эта цель достижима, я говорю: она несомненно будет достигнута; можно только отсрочить или приблизить этот момент — вот и все.

Законы, устанавливаемые людьми, не отличаются и не могут отличаться от божественного закона. Но божественный закон предписывает не войну, а мир. (*Аплодисменты.*) Люди начали с борьбы, как мироздание началось с хаоса. (*Возгласы: «Браво! Браво!»*) Что было их отправной точкой? Война; это очевидно. Но куда они идут? К миру; это столь же очевидно.

Когда вы провозглашаете эти великие истины, вполне понятно, что вашим утверждениям противопоставляют отрицание; вполне понятно, что вашей вере противопоставляют сомнение; вполне понятно, что в эти дни смут и жестоких распрей идея мира во всем мире поражает и смущает людей почти так же, как их поразило и смутило бы, если б идеальное и невозможное вдруг стало бы реальностью; вполне понятно, что люди кричат: «Утопия!» Что касается меня, смиренного и незаметного участника этого великого дела девятнадцатого века, я мирюсь с этой косностью умов, не удивляясь ей и не впадая в уныние. Возможно ли, чтобы люди не отворачивались и, ослепленные ярким светом, не закрывали глаза, когда посреди мрака, еще тяготеющего над нами, вы внезапно распахиваете перед ними лучезарные врата будущего? (*Аплодисменты.*)

Господа! Если бы кто-нибудь четыре века назад, в те времена, когда община воевала с общиной, город воевал с городом, провинция сражалась с провинцией, если бы тогда кто-нибудь сказал Лотарингии, Пикардии, Нормандии, Бретани, Оверни, Провансу, Дофине, Бургун-

дии: «Придет день, когда вы не станете больше воевать между собой; день, когда вы не станете больше посылать одних вооруженных людей против других; день, когда уже не станут говорить: нормандцы напали на пикардийцев, лотарингцы отразили нападение бургундцев. Правда, вам еще придется улаживать разногласия, разрешать тяжбы, примирять между собой противоречивые интересы, — но знаете ли вы, чем вы замените войска? Знаете ли вы, чем вы замените пехоту и конницу, пушки, фальконеты, пики, копья, сабли? Вы замените их небольшим деревянным ящиком, который вы назовете избирательной урной, и этот ящик даст вам... что же? Собрание, верховное собрание, которое для каждого из вас станет частицей его жизни, будет общою душою всех вас; державное всенародное собрание, полномочное обсуждать, судить, решать все дела на основании закона; собрание, велением которого мечи выпадут из всех рук и во всех сердцах воцарится справедливость! Собрание, которое каждому заявит: вот здесь кончается твое право, а вот здесь начинается твой долг. Долой оружие! Живите в мире! (*Аплодисменты.*) И в этот день вы все почувствуете общность ваших мыслей, ваших интересов, вашей судьбы; вы обниметесь, вы поймете, что все вы — братья по крови, дети единого отечества; в этот день вы перестанете быть враждующими племенами и превратитесь в единый народ; вашей родиной отныне будет не Бургундия, не Нормандия, не Бретань, не Прованс — вашей родиной будет Франция, имя вам отныне будет не война, а цивилизация!»

Господа! Если бы кто-нибудь сказал это в те времена, все позитивные умы, все серьезные люди, все великие политики той эпохи воскликнули бы: «Ну и мечтатель! Ну и фантазер! Как мало этот человек знает человечество! Какое странное безумие, какая нелепая химера!» Господа, время шагнуло вперед, и химера стала действительностью! (*Движение в зале.*)

И я подчеркиваю: того, кто изрек бы это потрясающее пророчество, мудрецы объявили бы помешанным за то, что он разгадал замыслы господни! (*Снова движение в зале.*)

И что же? Ныне вы заявляете, и я — один из тех, кто заявляет это вместе с вами, все мы, находящиеся здесь,

заявляем, обращаясь к Франции, Англии, Пруссии, Австрии, Испании, Италии, России:

Настанет день, когда и у вас — да, и у вас — оружие выпадет из рук! Настанет день, когда война между Парижем и Лондоном, между Петербургом и Берлином, между Веной и Туринном покажется столь же нелепой и будет столь же невозможной, как в наши дни была бы бессмысленна и казалась бы нелепой война между Руаном и Амьеном, между Бостоном и Филадельфией. Настанет день, когда ты, Франция, ты, Россия, ты, Италия, ты, Англия, ты, Германия, — все вы, все нации континента, не утрачивая ваших отличительных черт и вашего великолепного своеобразия, все неразрывно сольетесь в некоем высшем единстве и образуете европейское братство, совершенно так же, как Нормандия, Бретань, Бургундия, Лотарингия, Эльзас — все наши провинции слились в единой Франции. Настанет день, когда единственным полем битвы будут рынки, открытые для торговли, и умы, открытые для идей. Настанет день, когда ядра и бомбы будут заменены избирательными бюллетенями, всеобщим голосованием народов, мудрым посредничеством великого верховного сената, который будет для Европы тем, чем парламент является для Англии, сейм — для Германии, Законодательное собрание — для Франции. (*Аплодисменты.*) Настанет день, когда пушки будут выставлять в музеях, как сейчас выставляют там орудия пытки, и люди будут изумляться, что такое варварство было возможно. (*Смех и возгласы: «Браво!»*) Настанет день, когда мы воочию увидим два гигантских союза государств — Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Европы (*аплодисменты*), которые, став лицом друг к другу и скрепив свою дружбу рукопожатием через океан, будут обмениваться своими произведениями, изделиями своей промышленности, творениями искусства, гениальными дарованиями; увидим, как они поднимают новь на всем земном шаре, заселяют пустыни, под оком создателя совершенствуют все созданное им и ради всеобщего благоденствия сочетают воедино две необъятные силы — братство людей и могущество бога! (*Продолжительные аплодисменты.*)

И этого дня не придется ждать четыреста лет, ибо мы живем в эпоху, когда время движется быстро, когда бур-

ный поток идей и событий увлекает народы с небывалой стремительностью, когда один год нередко выполняет задачу целого столетия.

Что же все мы — французы, англичане, бельгийцы, немцы, русские, славяне, европейцы, американцы, — что же мы должны сделать, дабы этот великий день настал как можно скорее? Любить друг друга! (*Взрыв аплодисментов.*)

Любить друг друга! В великом деле всеобщего умиротворения это наилучший способ помогать богу. Ибо эту великую цель ставит сам бог. И глядите, что он делает для ее достижения! Глядите, сколько великих открытий делает окрыленный им человеческий дух, и все эти открытия ведут к единой цели — к миру! Какие огромные успехи, какое облегчение во всем! Смотрите, как природа все более и более подчиняется человеку! Как косная материя все более и более становится рабою мысли и служанкой цивилизации! Как причины войн исчезают вместе с причинами человеческих страданий! Как сближаются между собой самые отдаленные народы! Как сокращаются расстояния! А сокращение расстояний — начало братства народов!

Благодаря железным дорогам Европа скоро будет не обширнее средневековой Франции. Благодаря пароходам океан теперь пересекают быстрее, чем некогда пересекали Средиземное море. Еще немного времени — и человек будет обегать землю, как Гомеровы боги обегали небо, — тремя шагами от края до края. Еще несколько лет — и электрический провод единопущия обоймет весь земной шар и охватит вселенную! (*Аплодисменты.*)

И вот, господа, когда я глубже вникаю в это великое целое, в это грандиозное сочетание трудов и событий, которые все отмечены перстом Божиим; когда я размышляю об этой возвышенной цели — всеобщем мире, залоге благоденствия человечества; когда я сопоставляю то, что провидение делает для всеобщего мира, с тем, что политика делает против всеобщего мира, в мой ум закрадывается горестная мысль.

Статистика и исследование государственных бюджетов показывают, что народы Европы из года в год расходуют на содержание своих армий внушительную сумму

в два миллиарда франков, а если принять в расчет издержки на все виды военного снаряжения — не меньше трех миллиардов. Прибавьте сюда еще убытки, вызванные тем, что два с лишним миллиона людей, самые здоровые, самые сильные, самые молодые, цвет населения, затрачивают время и труд непроизводительным образом, убытки, которые никак нельзя оценить меньше, чем в миллиард, — и вы придете к выводу, что постоянные армии ежегодно обходятся Европе в четыре миллиарда франков. Господа! Мир в Европе длится вот уже тридцать два года, и за эти тридцать два года чудовищная сумма в сто двадцать восемь миллиардов истрачена в мирное время на нужды войны. (*Сильнейшее возбуждение в зале.*) Теперь предположите, что народы Европы, вместо того чтобы относиться друг к другу подозрительно, завидовать друг другу, ненавидеть друг друга, исполнились любви друг к другу; предположим, что они сказали себе: прежде всего, прежде чем быть французами, или англичанами, или немцами, каждый из нас — человек, и если каждая нация — родина своих сынов, то человечество — одна семья. А теперь — эти сто двадцать восемь миллиардов, так безрассудно и так бесполезно истраченные из-за взаимного недоверия, заставьте истратить их во имя доверия! Эти сто двадцать восемь миллиардов, принесенные в жертву ненависти, отдайте их делу всеобщего согласия! Эти сто двадцать восемь миллиардов, отданные делу войны, отдайте их делу мира! (*Аплодисменты.*) Отдайте их труду, просвещению, промышленности, торговле, судоходству, сельскому хозяйству, наукам, искусствам — и представьте себе результаты. Если бы за истекшие тридцать два года эта колоссальная сумма, сто двадцать восемь миллиардов, была употреблена таким образом и Америка со своей стороны оказала Европе содействие — знаете ли вы, что бы произошло? Лицо мира изменилось бы. Русла рек были бы углублены, перешейки перерезаны каналами, а горы — туннелями, оба континента покрылись бы густой сетью железных дорог, торговый флот всех стран увеличился бы во сто раз, и нигде уже не было бы ни засушливых степей, ни полей под паром, ни болот; где сейчас одни только пустоши, там строили бы города; где сейчас одни только голые рифы, там сооружали бы гавани; Азию

вернули бы цивилизации, Африку вернули бы человеку. Дружно трудясь, человечество извлекало бы из недр всего земного шара несметные богатства, и нищета исчезла бы бесследно. И знаете ли вы, что исчезло бы вместе с нищетой? Революция! (*Долго не смолкающие возгласы: «Браво!»*) Да, лицо мира изменилось бы! Вместо того чтобы враждовать друг с другом, люди мирно расселились бы по всей вселенной! Вместо того чтобы совершать революции, они создавали бы новые поселения! Вместо того чтобы вносить варварство в цивилизацию, они вносили бы цивилизацию в варварство! (*Снова продолжительные аплодисменты.*)

Вы видите, господа, до какого ослепления неотвязная мысль о войне доводит и народы и правителей. Если бы эти сто двадцать восемь миллиардов, истраченные Европой за тридцать два года на войну, которой в действительности не было, пошли на укрепление мира, который действительно был, то, скажем прямо и во всеуслышание, мы не увидели бы в Европе всего того, что видим сейчас: наш континент был бы не полем битвы, а грандиозной мастерской; и вместо ужасного, печального зрелища, которое представляется нам ныне: Пьемонт, поверженный в прах, вечный город Рим во власти изменчивой политики малодушных людей, Венгрия и Венеция, изнемогающие в героической борьбе, Франция, охваченная тревогой, обедневшая, скорбная; всюду — нищета, горе, гражданская война, будущее во мгле, — вместо этого зрелища перед глазами у нас были бы надежда, радость, благожелательность, стремление всех и каждого ко всеобщему благу, и мы видели бы, как цивилизация победно шествует вперед, озаряя весь мир величественным сиянием всеобщего согласия. (*Возгласы: «Браво! Браво!» Аплодисменты.*)

Отметим явление, над которым стоит призадуматься: те меры предосторожности, которые мы предпринимали против войны, — они-то и приводили к революциям. Люди затратили огромные средства, сделали все, чтобы избежать воображаемой опасности, и этим усилили реальную опасность — нищету. Вооружаясь против химерической опасности, они устремляли взгляд не туда, где собирались тучи; им мерещились войны, которые не разражались, —

и они не видели революций, которые назревали. (*Продолжительные аплодисменты.*)

И все же — не будем отчаиваться! Напротив, будем надеяться более чем когда-либо! Пусть не страшат нас временные сотрясения, быть может необходимые для осуществления великих замыслов. Не будем несправедливы к нашей эпохе; не надо видеть ее иною, чем она есть. Это все же изумительная, прекрасная эпоха, и, скажем полным голосом, — девятнадцатый век будет самой замечательной страницей истории. Я уже говорил вам: в этом веке прогресс обнаруживается и мощно проявляется везде и во всем, одни успехи влекут за собой другие — отмирание вражды между народами, исчезновение границ на карте и предрассудков в сердцах, стремление к единству, облагораживание нравов, повышение уровня образования и смягчение наказаний, господство языков, достигших наивысшего развития и тем самым ставших наиболее важными для всего человечества; все движется вперед одновременно — политическая экономия, точные науки, промышленность, философия, законодательство, и все направлено к одной цели — созданию благоденствия и всеобщего доброго согласия, иными словами — и что касается меня, это и есть та цель, к которой я всегда буду стремиться, — к уничтожению нищеты во всех странах и к прекращению войн между ними. (*Аплодисменты.*)

Да, я заявляю: эра бурных революций кончается, начинается эра мирных улучшений. Народы отказываются от насильственных способов борьбы за лучшую жизнь и переходят к мирным. Настало время, когда волею провидения беспорядочные действия возмутителей сменяются благородными, спокойными действиями умиротворителей. (*Возгласы: «Да! Да!»*) Отныне цель разумной и правильной политики должна заключаться в том, чтобы признать права всех наций, воскресить историческое единство народов и путем установления мира во всем мире навеки сочетать это единство с цивилизацией, неуклонно расширять круг цивилизованных народов, подавать добрый пример народам, еще коснеющим в варварстве, заменить сражения переговорами и, наконец, — в этом выражено все, — навсегда оставить за справедливостью то последнее слово, которое в старом мире принадлежало грубой силе. (*Сильнейшее волнение.*)

Скажу в заключение, и пусть эта мысль придаст нам мужества: человечество не сегодня вступило на этот великий путь. В нашей древней Европе Англия сделала первый шаг и своим вековым примером сказала народам: «Вы свободны!» Второй шаг сделала Франция, она сказала народам: «Вы полновластны!» Сделаем же теперь третий шаг и все вместе — Франция, Англия, Бельгия, Германия, Италия, Европа, Америка — скажем народам: «Вы — братья!» (*Бурная овация, оратор садится на свое место под гром аплодисментов.*)

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОНГРЕССА

24 августа 1849 года

Господа, вы позволили мне обратиться к вам с приветственным словом; позвольте же сказать вам несколько слов на прощание.

Я буду очень краток; час уже поздний, я твердо помню третий параграф регламента, и, будьте спокойны, председателю не придется призывать меня к порядку. (*Смех в зале.*)

Мы расстаемся, но наши сердца связаны неразрывно. (*Возгласы: «Да! Да!»*) Отныне, господа, нас объединяет общая мысль, а общая мысль — это, можно сказать, общее отечество. (*Сильнейшее волнение.*) Да, с этого дня мы все, собравшиеся здесь, — соотечественники! (*Возгласы: «Да! Да!»*)

В продолжение трех дней вы мудро и достойно обсуждали и разбирали важные вопросы, глубоко вникали в их суть, и при разрешении этих вопросов, самых великих, какие только могут занимать человечество, вы руководствовались благородными традициями свободных народов.

Вы давали правительствам советы, дружественные советы, на которые они несомненно обратят внимание. (*Возгласы: «Да! Да!»*) Здесь прозвучали красноречивые слова, горячие призывы ко всем возвышенным чувствам человека и народов; несмотря на предрассудки и неприязнь между отдельными народами, вы заронили в умы людей всхожее семя мира во всем мире.

Вполне ли вам ясно то, что совершалось на ваших глазах в течение трех дней? Англия пожимала руку Франции, Америка — Европе, и, что касается меня, я не знаю зрелища более величественного и прекрасного. (*Взрыв аплодисментов.*)

Вернитесь теперь с радостью в сердце к своим очагам, в свои страны и скажите всем, что вы побывали у **своих** соотечественников-французов. (*Движение в зале; продолжительные приветствия.*) Скажите, что там вы **заложили** основы мира во всем мире, распространяйте повсюду эту благую весть и сейте повсюду эту великую **мысль**.

Вы слышали здесь многих выдающихся деятелей; поэтому я не буду пространно говорить обо всем том, что вам уже объяснили и доказали. Но позвольте мне повторить при закрытии этого торжественного собрания те слова, которые я сказал, открывая его: «Надейтесь! Держайте!» Великий решающий акт прогресса, в котором многие видят лишь вашу мечту, а я вижу выношенное вами реальное начинание, — совершится. (*Возгласы: «Браво! Браво!»*) Подумайте о том, как далеко род человеческий уже шагнул в своем поступательном движении. Призадумайтесь над прошлым, — ведь прошлое зачастую освещает будущее! Раскройте историю — и вы укрепитесь в своей вере!

Да, прошлое и история — вот наши опоры. Не далее как сегодня утром, при открытии этого заседания, в тот момент, когда почтенный оратор, верующий христианин, волновал все сердца своим проникновенным красноречием, в котором душевная доброта сочеталась с братолюбием истинного священнослужителя, в этот момент один из присутствующих, имени которого я не знаю, напомнил ему, что сегодня, 24 августа, годовщина Варфоломеевской ночи, и священнослужитель-католик, достойный величайшего уважения, стыдливо отвернулся, как бы отрекаясь от этого позорного воспоминания. А я — я его принимаю! (*Глубокое всеобщее волнение.*) Да, я его принимаю. (*Продолжительное движение в зале.*)

Да, так оно и было: ровно двести семьдесят семь лет назад Париж, тот самый Париж, где вы сейчас находитесь, проснулся глубокой ночью в смертельном ужасе.

Звонил так называемый «серебряный колокол» Дворца Правосудия; католики хватались за оружие, врывались в жилища протестантов и, как в ловушке, убивали там людей, еще не очнувшихся от сна. Произошла кровавая резня, совершилось страшное преступление, в котором слились все виды вражды — вражда религиозная, вражда личная, вражда политическая, — и что же? Сегодня, в этот же день, в этом же городе бог повелевает всем этим видам вражды встретиться и обратиться в любовь. (*Гром аплодисментов.*) Бог уничтожил злое значение этой ужасной годовщины; туда, где было кровавое пятно, он направил луч света. (*Продолжительное движение в зале.*) На место идеи возмездия, фанатизма и войны он ставит идею примирения, терпимости и мира; и благодаря ему, по его воле, благодаря прогрессу, который он ниспосылает и которым он управляет, именно сейчас — перед лицом роковой даты 24 августа и, можно сказать, почти под сенью той же, поныне сохранившейся башни, колокол которой возвестил Варфоломеевскую ночь, — не только англичане и французы, итальянцы и немцы, европейцы и американцы, но и те, кого называли папистами, и те, кого называли гугенотами, заверяют, что все они — братья (*продолжительное движение в зале*), и в знак тесной, нерасторжимой дружбы обнимают друг друга. (*Взрыв возгласов «Браво!» и аплодисментов. Аббат Дегери и пастор Кокерель подходят к креслу председателя и обнимаются. Приветственные возгласы возобновляются с удвоенной силой как среди делегатов конгресса, так и на трибунах для публики. Виктор Гюго продолжает.*)

А теперь — посмейте отрицать прогресс! (*Снова аплодисменты.*) Но запомните раз навсегда: тот, кто отрицает прогресс, — богохульствует, тот, кто отрицает прогресс, — отрицает провидение, ибо провидение и прогресс едины и прогресс лишь одно из имен, данных человеком предвечному богу. (*Сильнейшее общее волнение. Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Братья, я принимаю эти приветствия и приношу их в дар будущим поколениям. (*Снова бурные аплодисменты.*) Да, пусть этот день станет памятным днем, пусть знаменует он конец кровопролитий, конец побоищ и войн, пусть явится началом эры согласия и мира во

всем мире, и пусть люди восклицают: 24 августа 1572 года бледнеет и исчезает перед 24 августа 1849 года! (*Продолжительная единодушная овация. Волнение достигает апогея; со всех сторон гремят возгласы: «Браво!» Англичане и американцы поднимаются со своих мест, машут шляпами и платками, поворачиваются в сторону оратора и, по знаку Кобдена, семь раз подряд дружно кричат «ура».*)

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ БАЛЬЗАКА

20 августа 1850 года

Господа!

Человек, которого только что опустили в эту могилу, был одним из тех, кого в последний печальный путь провожает весь народ. В наши времена мнимого величия не существует. Взоры теперь прикованы уже не к тем, кто царствует, а к тем, кто мыслит, и когда кто-нибудь из мыслителей уходит от нас, его смерть волнует всю страну. В наши дни об утрате талантливого человека скорбят широкие круги общества, об утрате гения скорбит вся нация.

Имя Бальзака ярким лучом вольется в ту полосу света, которую оставит после себя наша эпоха.

Господин де Бальзак принадлежит к могучему поколению писателей девятнадцатого века, которое появилось после Наполеона, так же как после Ришелье появилась блестящая плеяда семнадцатого века, — словно в развитии цивилизации действует закон, по которому на смену тем, кто властвует силою меча, приходят те, кто властвует силою духа.

Господин де Бальзак был одним из первых среди великих, одним из лучших среди избранных. Здесь не место говорить обо всем том, чем был этот могучий, блистательный ум. Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом. Изумительная книга, которую ее автор назвал

комедией и мог бы назвать историей, книга, в которой сочетаются все формы и все стили, которая затмевает Тацита и достигает силы Светония, перекликается с Бомарше и может сравниться с Рабле; книга, созданная и наблюдением и фантазией, где щедро и правдиво показано все самое сокровенное, мещанское, пошлое, низменное и где порою внезапно, из-под грубо разорванной оболочки реальных событий, выступают самые мрачные, самые трагические идеи.

Неведомо для себя самого, хотел он того или нет, согласен он с этим или нет, автор этого грандиозного и причудливого творения принадлежит к могучей породе писателей-революционеров. Бальзак идет прямо к цели, он вступает в рукопашную с современным обществом. У каждого он вырывает что-нибудь — у этого иллюзии, у того надежды, одного заставляет исторгать вопль, с другого срывает маску. Он изучает порок, анатомирует страсть. Он роется в человеке, он исследует душу, сердце, мозг, бездну, которую каждый носит в себе. Но благодаря своей свободной, сильной натуре и благодаря тому, что современные умы, воочию видевшие революцию, яснее сознают призвание человека и лучше понимают провидение, Бальзак может хранить спокойную, ясную улыбку после этих страшных исследований, которые повергали Моляера в меланхолию, а Руссо — в мизантропию.

Вот что он совершил, живя среди нас. Вот то творение, которое он нам оставил, — возвышенное и долговечное, мощное нагромождение гранитных глыб, основа памятника, — творение, с вершины которого отныне будет сиять его слава! Великие люди сами сооружают себе пьедестал; статую воздвигнет будущее.

Его смерть как громом поразила Париж. Несколько месяцев назад он вернулся во Францию. Чувствуя приближение конца, он захотел еще раз увидеть родину; так накануне далекого путешествия приходят проститься с матерью.

Жизнь его была коротка, но насыщена; в ней было больше трудов, чем дней. Увы! Этот неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений жил среди нас той жизнью, полной бурь, распрей, борьбы и битв, которою во все времена живут великие люди. Те-

перь он обрел покой. Он ушел от раздоров и ненависти. В один и тот же день для него раскрылась могила и засияла слава. Отныне его имя будет блистать поверх туч, нависших над нами, блистать среди звезд нашей родины!

Вы все, собравшиеся здесь, разве не ощущаете вы зависти к нему?

Господа, как бы ни была глубока наша скорбь перед лицом такой утраты, примиримся с этими катастрофами. Примем покорно все то, что в них есть горестного и сурового. Быть может, полезно, быть может, необходимо в такую эпоху, как наша, чтобы время от времени смерть великого человека вызывала религиозное потрясение в умах, пожираемых сомнением и скептицизмом.

Провидение знает, что делает, когда таким образом ставит людей лицом к лицу с высшей тайной и заставляет их размышлять о смерти, которая всех уравнивает и всем несет великое освобождение.

Провидение знает, что делает, ибо это — самое возвышенное из всех поучений. Одни лишь суровые и серьезные мысли рождаются во всех сердцах, когда высокий ум величаво переходит в иной мир, когда одно из тех существ, которые долго парили над толпой на зримых крыльях гения, внезапно расправляет иные, незримые крылья и устремляется в неведомое.

Нет, это нельзя назвать неведомым! Нет — я уже это говорил по другому прискорбному поводу и неустанно буду повторять, — нет, это не мрак, а свет! Это не конец, а начало! Это не небытие, а вечность! Скажите, вы все, кто слушает меня здесь, разве это не правда? Подобные могилы свидетельствуют о бессмертии; у гроба таких прославленных людей яснее сознаешь божественную судьбу разумного существа, которое проходит по земле, страдая и очищаясь страданием, и которое называется человеком, и говоришь себе: немыслимо, чтобы те, кто были гениями при жизни, после смерти не стали бессмертными душами!

Господа присяжные заседатели, в начале выступления господина товарища прокурора мне на какой-то момент показалось, что он откажется от обвинения. Однако эта иллюзия длилась недолго. После тщетных попыток ограничить обсуждение и преуменьшить его значение представитель прокуратуры, в силу самой природы рассматриваемого вопроса, был вынужден пуститься в такие подробности, которые раскрыли все стороны вопроса, так что он, вопреки воле оратора, предстал во всей своей значимости. Я об этом не жалею.

Перехожу сразу к сущности обвинения. Но прежде всего уточним одно понятие. Правильные формулировки обеспечивают успех обсуждения. Так вот, каково значение слов *«должное уважение к законам»*, которые служат основанием обвинения? Что они означают? В чем состоит их истинный смысл? Очевидно (и сама прокуратура, по-видимому, не будет утверждать обратное), эта формула не может под предлогом уважения к законам запрещать критику законов. Эта формула подразумевает просто-напросто уважение к исполнению законов и ничего более. Она допускает критику, допускает порицание, даже суровое — подобные примеры мы наблюдаем ежедневно — и даже в адрес конституции, которая выше законов. Эта формула допускает обращение к законодательной власти с предложением отменить опасный закон, она допускает, наконец, даже моральное сопротивление закону, но не допускает реального, материального сопротивления. Не

препятствуйте исполнению закона, даже плохого, даже несправедливого, даже варварского, осуждайте его перед общественным мнением, осуждайте его перед законодателем, но не препятствуйте его исполнению. Говорите, что закон плохой, говорите, что он несправедливый, говорите, что он варварский, но не препятствуйте его исполнению. Критика — да, восстание — нет. Вот истинный и единственный смысл формулы «уважение к законам».

Да и может ли быть иначе? Господа, учтите следующее: если бы в сложном деле составления законов, предусматривающем две функции — функцию прессы, которая критикует, советует, разъясняет, и функцию законодателя, который решает, — если бы в этом сложном деле, говорю я, первая функция, критика, была бы парализована, то, как следствие, была бы парализована и вторая. Законы никогда не подвергались бы критике, и в результате не было бы оснований для их улучшения, для их преобразования, а следовательно, Национальное законодательное собрание было бы совершенно бесполезным. Оставалось бы только закрыть его. Я полагаю, что это не имеется в виду. *(Смех.)*

Теперь, когда этот пункт разъяснен и всякие сомнения по поводу истинного смысла понятия «должное уважение к законам» устранены, я перехожу к существу вопроса.

Господа присяжные, в том, что можно назвать старым европейским кодексом, есть закон, который все философы, все мыслители, все истинные государственные деятели уже больше столетия стремятся исключить из почтенной книги всемирного законодательства; закон, который Беккариа назвал нечестивым, а Франклин чудовищным, причем ни Беккариа, ни Франклин не были привлечены к суду; закон, угрожающий прежде всего той части населения, которая все еще пребывает под гнетом невежества и нищеты, но ненавистный и демократам и просвещенным консерваторам; закон, о котором король Луи-Филипп, чье имя я всегда буду произносить с уважением, коим мы обязаны старости, несчастьям и смерти в изгнании, закон, о котором король Луи-Филипп говорил: «Я ненавижу его на протяжении всей моей жизни»; закон, против которого писал де Бройль, против которого писал Гизо; закон, отмены которого единогласно потребовала двадцать лет тому назад, в октябре 1830 года,

палата депутатов и который в то же время полудиккий парламент Таити вычеркнул из своих кодексов; закон, который три года тому назад отменило Франкфуртское собрание и который Учредительное собрание Римской республики, по предложению депутата Шарля Бонапарта, два года тому назад, почти в тот же день, объявило упраздненным *навек*; закон, который наше Учредительное собрание в 1848 году сохранило лишь после долгих колебаний, с чувством острого отвращения; закон, поставленный сейчас, когда я говорю, под удар двумя предложениями об его отмене, внесенными в Законодательное собрание; закон, которого не хочет более Тоскана, которого не хочет более Россия и который настала пора отменить и во Франции. Этот закон, от которого человеческая совесть отшатывается с тревогой, нарастающей день ото дня, — смертная казнь.

Так вот, господа, этот-то закон и ведет сегодняшний процесс; именно он — наш враг. Я огорчен за господина товарища прокурора, но именно этот закон я вижу за его спиной. (*Длительное движение в зале.*)

Должен признаться, что в течение двух десятков лет я думал (и написал об этом немало страниц, которые я мог бы прочитать вам сейчас), я думал так же, как и Леон Фоше, который в 1836 году писал в сборнике «Ревю де Пари» следующее (я цитирую):

«Эшафот появляется теперь на наших городских площадях очень редко, как зрелище, которое правосудие стыдится показывать». (*Движение в зале.*)

Я думал, говорю я, что гильотина, ибо надо называть вещи их подлинными именами, начинает отдавать себе отчет в своем положении, что она почувствовала себя отвергнутой и делает из этого выводы. Она уже покинула Гревскую площадь, стала избегать солнца и людских сборищ, не объявляет о себе громогласно на улицах, не сзывает к себе народ, как на спектакль. Она стала действовать как можно более скрытно, на рассвете, за заставой Сен-Жак — в пустынном месте, без свидетелей. Мне казалось, что она начинает прятаться, и я поздравлял ее с подобной стыдливостью. (*Снова движение в зале.*)

Так вот, господа, я заблуждался, и Леон Фоше заблуждался. (*Смех в зале.*) Она отделалась от этого ложного стыда. Гильотина чувствует себя социальным явлением,

как теперь говорят. И кто знает, быть может и она тоже мечтает о своей реставрации? (*Смех в зале.*)

Застава Сен-Жак — это падение. Быть может, в один из ближайших дней мы вновь увидим ее на Гревской площади, при свете дня, при стечении народа, со свитой палачей, жандармов и глашатаев, прямо под окнами Городской ратуши, то есть там, где однажды, 24 февраля, имели дерзость ее заклеить и изувечить.

А пока она выпрямляется. Она чувствует, что обществу, поколебленное в своих устоях, стремится, как принято говорить, вернуться к старинным традициям, дабы укрепиться, а ведь она — старинная традиция. Она протестует против всех этих декламаторов-демагогов, которые называются Беккариа, Вико, Филанжиери, Монтескье, Тюрго, Франклин, которые называются Луи-Филипп, которые называются Бройль и Гизо (*смех в зале*) и которые осмеливаются думать и говорить, что машина, отрезающая головы, неуместна в обществе, исповедующем евангелие! (*Сильное волнение в зале.*)

Она негодует против этих мечтателей-анархистов. (*Смех в зале.*) Она хочет, чтобы на следующий день после ее самых мрачных и кровавых подвигов все восхищались ею. Она требует, чтобы ее чтили! В противном случае она объявит себя оскорбленной, предъявит гражданский иск и потребует возмещения убытков! (*Продолжительный общий смех.*)

Председатель. Всякие выражения одобрения или неодобрения воспрещаются. Смех при обсуждении подобного вопроса неуместен.

Виктор Гюго (*продолжает*). Гильотина напилась крови, но этого ей недостаточно, она недовольна, она требует теперь еще и штрафов и тюрьмы.

Господа присяжные, в тот день, когда ко мне в дом принесли гербовую бумагу для моего сына — вызов в суд на этот беспримерный процесс, признаюсь, несмотря на то, что в нынешние времена мы видели много странного, и, казалось бы, следовало ко всему привыкнуть, я был потрясен и сказал себе: «Боже! До чего же мы докатились!»

Возможно ли! При помощи насилия над здравым смыслом, разумом, свободой мысли, над естественными правами людей нас хотят довести до того, чтобы мы

проявляли к закону не только материальное уважение, против чего никто не возражает, ибо мы обязаны его проявлять и проявляем, но чтобы мы проявляли моральное уважение к карательным мерам, которые не умещаются в сознании и заставляют бледнеть каждого человека, полагающего, что религия гнушается кровью, *abhorret a sanguine*; к тем карательным мерам, которые осмеливаются быть непоправимыми, сознавая при этом, что они могут оказаться слепыми; к тем карательным мерам, которые окунают палец в человеческую кровь, чтобы начертать заповедь: «Не убий!»; к тем карательным мерам, которые заставляют сомневаться в человечестве, когда они обрушиваются на виновного, и заставляют сомневаться в боге, когда они обрушиваются на невинного! Нет! Нет! Нет! Мы еще не дошли до этого! Нет! *(Сильнейшее волнение в зале.)*

К тому же, господа присяжные, необходимо сказать вам, ибо обстоятельства заставляют меня это сделать, и вы поймете, как глубоко я должен быть взволнован: ведь истинным виновником этого дела, если вообще здесь есть виновный, является не мой сын, а я. *(Длительное движение в зале.)*

Истинный виновник — я настаиваю на этом — именно я, в течение двадцати пяти лет боровшийся против всех видов непоправимых наказаний! Именно я, на протяжении двадцати пяти лет, при всяком удобном случае отстаивавший неприкосновенность человеческой жизни!

Это преступление — отстаивать неприкосновенность человеческой жизни — я совершал задолго до моего сына и в гораздо большей степени, чем мой сын. Я доношу на себя, господин товарищ прокурора! Я совершал это преступление при отягчающих вину обстоятельствах. Я — рецидивист, действовавший с упорством и заранее обдуманном намерением. *(Снова движение в зале.)*

Да, я заявляю, что всю жизнь боролся против этого пережитка дикарских карательных мер, против этого древнего и неумного закона возмездия, закона, требующего крови за кровь, — заметьте, господа присяжные, всю свою жизнь! И пока дыхание останется в моей груди, я буду бороться против него всеми моими силами как писатель, всеми действиями и голосованием как законодатель, — клянусь в этом! *(Виктор Гюго протягивает руку)*

и показывает на распятие, находящееся в конце зала над головами судей.) Клянусь перед лицом этой жертвы смертной казни, которая присутствует здесь, смотрит на нас, слышит нас! Клянусь перед этим крестом, на котором две тысячи лет тому назад, в назидание всем грядущим поколениям, человеческий закон распял закон божественный! (*Глубокое, невыразимое волнение в зале.*)

То, что написал мой сын, повторяю, он написал только потому, что я внушал ему подобные идеи с детства; потому, что он мой сын не только по крови, но и по духу; потому, что он стремится продолжать традиции своего отца. Продолжать традиции своего отца — вот странное преступление, и я поражен, что за это можно преследовать! И как раз самые рьяные защитники семьи демонстрируют нам это новшество! (*Смех в зале.*)

Господа, признаюсь вам, что выдвигаемое здесь обвинение меня смущает.

Вдумайтесь! Существует пагубный закон, приучающий толпу к безнравственным, опасным, унижительным, зверским зрелищам, прививающий народу жестокость; наступают дни, когда ужасные последствия этого закона становятся очевидными, — и вот, представьте себе, никто не смеет указывать на ужасающие последствия, к которым ведет этот закон, никто не смеет сигнализировать опасность! А если кто осмелится — его обвинят в проявлении неуважения к закону и привлекут к судебной ответственности! И за это будут присуждать к штрафам и тюремному заключению! Ну, тогда что ж! Давайте закроем палату, закроем школы, прогресс станет невозможным, назовем себя Монголией или Тибетом, мы уже не цивилизованная нация! Скажите прямо, что мы в Азии, что когда-то существовала страна, именовавшаяся Францией, но она теперь уже не существует и что вы заменили ее чем-то, что не является монархией, я согласен, но, несомненно, не является и республикой. (*Снова смех в зале.*)

Председатель. Я повторяю свое замечание. Прошу присутствующих соблюдать тишину, или я буду принужден очистить зал.

Виктор Гюго. Теперь попробуем применить к фактам, приблизить к действительности формулировки обвинения.

Господа присяжные! В Испании инквизиция была законом. И что ж! Нужно прямо сказать, что к инквизиции относились без уважения. Во Франции пытка была законом. И что ж! Нужно прямо сказать, что и к пытке относились без уважения. Отсечение руки было законом, и к нему относились... я относился без уважения к топору! Клеймение раскаленным железом было законом. К раскаленному железу относились без уважения! Гильотина — закон. Что ж! Это правда, я согласен, что к гильотине относятся без уважения! (*Движение в зале.*)

А знаете ли вы почему, господин товарищ прокурора? Я вам скажу. Потому, что гильотину хотят сбросить в ту помойную яму, куда уже полетели, под рукоплескания всего человечества, клеймение раскаленным железом, отсечение рук, пытки и инквизиция! И еще потому, что из августейшего лучезарного святилища — правосудия — хотят изгнать ту зловещую фигуру, присутствия которой достаточно для того, чтобы погрузить правосудие в ужасный мрак, — фигуру палача! (*Глубокое волнение в зале.*)

И вот, только потому, что мы этого хотим, мы расшатываем основы общества! О да, это правда! Мы — крайне опасные люди, мы жаждем упразднить гильотину! Это чудовищно!

Господа присяжные, вы суверенные граждане свободной нации, и, не искажая характера судебных прений, к вам можно и должно обращаться как к политическим деятелям. Так вот, подумайте над тем, что я вам скажу, и поскольку мы переживаем эпоху революций, сделайте из этого соответствующие выводы. Если бы Людовик XVI отменил смертную казнь, как он отменил пытки, он не сложил бы голову на плахе. Девяносто третий год был бы лишен своего главного оружия — ножа. В нашей истории было бы одной кровавой страницей меньше, не было бы зловещей даты 21 января. Кто, спрашиваю я вас, осмелился бы перед лицом общественной совести, перед лицом Франции, перед лицом цивилизованного мира, кто, спрашиваю я, осмелился бы водрузить эшафот для короля, для человека, о котором можно было бы сказать: «Это он его опрокинул!» (*Длительное движение в зале.*)

Редактора «Эвенман» обвиняют в том, что он проявил неуважение к закону, неуважение к смертной казни! Господа, попробуем стать выше спорного текста обвинения,

попытаемся подняться в ту высь, которая составляет самую сущность всякого законодательства, попробуем проникнуть в человеческую совесть. Когда Серван — между прочим он был товарищем прокурора, — когда Серван заклеил современные ему уголовные законы незабываемыми словами: *«Наши уголовные законы открывают все пути для обвинения и закрывают почти все для обвиняемого»*; когда Вольтер так квалифицировал судей Каласа: *«Ах! Не говорите мне об этих судьях — полуобсзьянах, полутиграх»* (смех в зале); когда Шатобриан в «Консерваторе» назвал закон о двойном вотуме законом *«глупым и преступным»*; когда Руайе-Коллар в палате депутатов, не помню уже, по поводу какого закона, касавшегося цензуры, прокричал знаменитые слова: *«Если вы примете этот закон, я клянусь ему не повиноваться!»*; когда все эти законодатели, судьи, философы, эти великие умы, эти люди, одни знаменитые, другие уважаемые, высказывались подобным образом, что они делали? Проявляли ли они неуважение к закону, закону местному и преходящему? Возможно, господин товарищ прокурора, не знаю; но я знаю твердо, что они были возвышенным отголоском закона законов — человеческой совести! Оскорбляли ли они правосудие, правосудие своего времени, правосудие преходящее и подверженное ошибкам? Этого я не знаю; но я твердо знаю, что они провозглашали вечную справедливость. *(Всеобщее одобрение.)*

Правда, теперь нам любезно заявляют, даже в самом Национальном собрании, что следовало бы предать суду атеиста Вольтера, безнравственного Мольера, непристойного Лафонтена, демагога Жан-Жака Руссо! *(Смех в зале.)* Вот что думают, вот в чем признаются, вот до чего доходят! Вы оцените это по достоинству, господа присяжные!

Господа присяжные, своим вердиктом вы признаете право критиковать закон, критиковать его строго, и в частности и в особенности уголовный закон, который так легко может внедрить варварство в нравы; вы признаете право критиковать, стоящее рядом с обязанностью улучшать, как светильник стоит рядом с работой, над которой трудится человек, признаете это право писателя, не менее священное, чем право законодателя, это необходимое, неотъемлемое право, и вы оправдаете обвиняемых.

Но прокуратура считает, и это ее второй аргумент, что критика «Эвенман» зашла слишком далеко, была слишком невосдержной. Однако так ли это, господа присяжные? Вдумайтесь глубже, присмотритесь повнимательнее к чудовищному факту, вызвавшему мнимое преступление, которое имеют смелость инкриминировать редактору «Эвенман».

Как было дело? Однажды утром на одну из городских площадей привозят человека, осужденного, несчастного человека, там его уже ждет эшафот. Осужденный не хочет подчиниться, он отбивается, он отказывается умирать: ведь он еще молод, ему едва минуло двадцать девять лет... Боже мой! Я отлично знаю, что мне возразят: «Так ведь это же — убийца!» Однако слушайте дальше!.. Его хватают два помощника палача, руки и ноги его связаны, однако он отталкивает их, завязывается ужасающая борьба. Осужденный цепляется связанными ногами за лестницу, приставленную к эшафоту, он пользуется эшафотом для борьбы против эшафота. Схватка продолжается, трепет пробегает по толпе. Помощники палача, потные, пристыженные, бледные, запыхавшиеся, перепуганные, измученные, в каком-то невыразимом ужасающем отчаянии, подавленные негодованием толпы, которое должно было бы обрушиться на смертную казнь как таковую, а вместо этого обрушивается на ее слепое орудие — палача (*движение в зале*), — помощники палача надрываются в чудовищных усилиях. Сила должна быть на стороне закона — это для них непреложно. Человек цепляется за эшафот и молит о пощаде; его одежда изодрана, оголенные плечи окровавлены, и все же он сопротивляется. Наконец, через три четверти часа — три четверти часа! (*движение в зале; товарищ прокурора делает протестующие знаки; Виктор Гюго продолжает*) — к нам придираются по поводу минут: ну, если уж вы так хотите, проходит тридцать пять минут! Тридцать пять минут длятся эти чудовищные усилия, это не имеющее названия зрелище, эта агония, агония для всех присутствующих — вы слышите меня? — агония для присутствующих там людей в такой же мере, как и для осужденного; после этой вечности отчаяния, господа присяжные, несчастного возвращают в тюрьму. Народ облегченно вздыхает, ведь народ заражен предрассуд-

ками извечной гуманности, он милосерден, потому что чувствует себя всевластным; народ считает, что человек спасен. Ничуть не бывало. Гильотина побеждена, но она стоит на своем месте; она стоит, как стояла, весь день, и ее окружает оцепеневший народ. Вечером палачи получают подкрепление, человека скручивают по рукам и по ногам так, что почти обращают в неодоушевленный предмет, и к ночи приволакивают его обратно на площадь; он плачет, рычит, он весь в крови, умоляет даровать ему жизнь, призывает бога, призывает отца и мать, ибо перед лицом смерти этот человек превратился в ребенка. (*Сильнейшее волнение в зале.*) Его втаскивают на эшафот, голова его падает! И тут содрогание охватывает всех; никогда еще легализованное убийство не представляло в столь циничном и гнусном виде; каждый присутствующий чувствует себя соучастником этого мрачного акта, совершившегося на его глазах; каждый чувствует в глубине души то, что почувствовал бы, если бы увидел, как перед лицом всей Франции среди бела дня варварство втоптало в грязь цивилизацию. И в этот-то момент из груди молодого человека вырвался отчаянный крик, крик, исходящий из глубин его существа, из его сердца, из его души; крик жалости, крик тоски, крик ужаса, крик гуманности; и вот за этот крик вы его накажете! И несмотря на те ужасающие факты, которые я только что обрисовал перед вами, вы скажете гильотине: «Ты права!» А жалости, святой жалости вы скажете: «Ты виновна!»

Это немыслимо, господа присяжные заседатели. (*Трепет волнения пробегает по аудитории.*)

Обращаясь к вам, господин товарищ прокурора, я скажу вам без всякой горечи, что вы защищаете неправоное дело. Как бы вы ни ухищрялись, вы вступили в неравный бой с самым духом цивилизации, со смягченными ею нравами, с прогрессом. Вы восстанавливаете против себя самые сокровенные струны человеческого сердца; вы восстанавливаете против себя все те принципы, под сенью которых вот уже шестьдесят лет Франция идет вперед и ведет за собой весь мир: неприкосновенность человеческой жизни, братское отношение к необразованным классам, принцип исправления, заменяющий принцип мщения! Против вас все, что освещает разум, все, что заставляет трепетать души; против вас как философия, так

и религия, с одной стороны Вольтер, с другой — Иисус Христос! Что бы вы ни делали, общество в ужасе отвергает те чудовищные услуги, которые эшафот претендует ему оказывать, оно не хочет этих услуг! Сколько бы вы ни старались, сколько бы ни старались приверженцы смертной казни — вы видите, что мы не смешиваем общество с ними, — сколько бы ни старались приверженцы смертной казни, они не смогут обелить древний обычай возмездия — око за око, зуб за зуб! Они не смогут отмыть омерзительный текст этих законов, по которому столько веков струилась кровь из отрубленных голов! *(Длительное движение в зале.)*

Господа, я кончил.

Сын мой, сегодня ты удостоился высокой чести, тебя признали достойным сражаться, а возможно, и пострадать за святое дело истины. С сегодняшнего дня ты вступаешь в настоящую жизнь, подобающую мужчине в нашу эпоху, то есть в борьбу за истину и справедливость. Гордись же тем, что ты, всего лишь простой солдат идей человечности и демократии, сидишь на скамье, где сидел Беранже, где сидел Ламенне! *(Сильнейшее волнение в зале.)*

Будь же непоколебим в своих убеждениях, и — пусть это будет моим последним словом — если тебе потребуется поддержка, чтобы укрепиться в своей вере в прогресс, в своей вере в будущее, в своем преклонении перед гуманностью, в своем омерзении к эшафоту, в своем ужасе перед безвозвратными и непоправимыми наказаниями, — вспомни, что ты сидишь на той скамье, где сидел Лезюрк! *(Глубочайшее волнение в зале. Судебное заседание прерывается из-за движения в аудитории.)*

К НАРОДУ

Луи-Наполеон — изменник.

Он нарушил конституцию.

Он поставил себя вне закона.

Депутаты-республиканцы напоминают народу и армии статью 68-ю, а также статью 110-ю конституции, которая гласит: «Учредительное собрание поручает защиту настоящей конституции и освященных ею прав патриотизму всех французов».

Народ владеет всеобщим избирательным правом на вечные времена, он не нуждается ни в каком монархе для восстановления этого права и сумеет покарать мятежника.

Пусть же народ исполняет свой долг.

Депутаты-республиканцы пойдут впереди.

К оружию! Да здравствует республика!

К АРМИИ

Солдаты!

Человек, имя которого вам известно, нарушил конституцию. Он изменил присяге, которую дал народу, преступил закон, топчет право, заливают Париж кровью, душит Францию, предает республику!

Солдаты, этот человек вовлекает вас в свое преступление.

Есть две святыни: знамя, представляющее воинскую честь, и закон, представляющий права народа. Солдаты,

поднять знамя против закона — тяжчайшее из преступлений! Не следуйте за безумцем, ведущим вас по ложному пути. Французские солдаты должны быть не участниками подобного преступления, а мстителями за него.

Этот человек говорит, что имя его — Бонапарт. Он лжет, ибо имя Бонапарт означает славу. Этот человек говорит, что имя его Наполеон. Он лжет, потому что имя Наполеон означает гений. Он же безвестен и ничтожен. Выдайте закону этого негодяя. Солдаты, это Лженаполеон. Настоящий Наполеон заставил бы вас повторить победу при Маренго; он же заставляет вас повторить бойню на улице Транснонен!

Не забывайте истинного призвания французской армии: защищать родину, распространять революцию, освобождают народы, поддерживать нации, избавить от гнета весь континент, повсюду разбивать цепи, повсюду защищать право — вот ваша миссия среди европейских армий. Вы достойны великого поля битвы.

Солдаты! Французская армия — авангард человечества.

Придите в себя, одумайтесь, опомнитесь, поднимитесь! Вспомните о ваших арестованных генералах, которых схватили за шиворот тюремщики и с кандалами на руках бросили в камеры для воров. Бандит, сидящий в Елисейском дворце, принимает французскую армию за шайку наемников империи времен упадка; он надеется, что если ей заплатить, если ее напоить, то она будет повиноваться! Он заставляет вас делать подлое дело; в девятнадцатом веке, в самом Париже, он заставляет вас душить свободу, прогресс, цивилизацию. Вас, детей Франции, он заставляет разрушать все то, что Франция так доблестно и с таким трудом построила за три века просвещения и шестьдесят лет революции! Солдаты, если вы великая армия, уважайте великую нацию.

Мы, граждане, мы, депутаты народа и ваши депутаты, мы, ваши друзья, ваши братья, мы, представители закона и права, идем вам навстречу с распростертыми объятиями, а вы безрассудно поражаете нас вашим оружием! Знайте, мы в отчаянии не оттого, что льется наша кровь, но оттого, что гибнет ваша честь!

Солдаты! Еще один шаг по пути преступления, еще один день с Луи Бонапартом — и вы навсегда осуждены

мировой совестью. Люди, командующие вами, — вне закона. Это не генералы, а преступники. Их ждет балахон каторжника, он уже и сейчас у них на плечах. Солдаты, еще не поздно, остановитесь! Вернитесь к родине! Вернитесь к республике! Знаете ли вы, что скажет о вас история, если вы будете упорствовать? Она скажет: «Они растоптали копытами коней, они раздавили колесами пушек все законы своей страны; они, французские солдаты, обесчестили годовщину Аустерлица, и по их вине, из-за их преступления, имя Наполеона теперь покрывает Францию позором столь же великим, сколь велика была слава, которою это имя озаряло ее прежде!»

Французские солдаты! Перестаньте помогать преступлению!

За депутатов народа, оставшихся на свободе, депутат, член Комитета сопротивления

Виктор Гюго.

ИЗ КНИГИ

«ВО ВРЕМЯ ИЗГНАНИЯ»

I

Воплощенное право — это гражданин, коронованное право — законодатель. Древние республики представляли себе право восседающим в курульном кресле, держащим в руке скипетр — эмблему закона, и одетым в пурпурную тогу — эмблему власти. Это изображение было правдивым, идеал не изменился и в наши дни. Любое правильно организованное общество должно быть увенчано священным и вооруженным правом — правом, освященным правосудием и вооруженным свободой.

Сказав это, мы не произнесли слова «сила». Тем не менее сила существует; но она существует не вне права, а в самом праве..

Кто говорит — право, говорит — сила.

Что же существует вне права?

Насилие.

В мире есть лишь одна необходимость — истина; вот почему есть лишь одна сила — право. Успех вне истины и права — не более чем видимость. Близорукие тираны обманываются: удавшаяся ловушка кажется им победой, но эта победа полна пепла; преступник полагает, что преступление — его сообщник, но это ошибка: преступление становится для него наказанием; убийца всегда наносит себе рану собственным ножом; предательство всегда выдает предателя; злодеи и не подозревают, что их держит за ворот незримый призрак — совершенное ими злодеяние; дурной поступок никогда не оставляет человека в покое;

не зная снисхождения к виновным, заранее предопределенными путями, завершающимися морями крови для покрытых славой и безднами грязи для покрытых позором, Восемнадцатые брюмера приводят великих к Ватерлоо, а Вторые декабря волокут ничтожных к Седану.

Обкрадывая и развенчивая право, приверженцы насилия и государственные изменники не знают, что творят.

II

Изгнание — это право, с которого сорваны одежды; нет ничего более страшного. Для кого? Для того, кто испытывает изгнание? Нет, для того, кто на него осуждает. Пытка обращается против палача и терзает его.

Мечтатель, совершающий одинокие прогулки по берегу моря; уединение, окружающее мыслителя; поседевшая, спокойная голова, над которой выются изумленные птицы — предвестники бури; философ, привыкший к невозмутимому утреннему рассвету, вызывающий порою к богу среди окрестных скал и деревьев, подобный тростнику, не только мыслящему, но и размышляющему; волосы, когда-то черные, а затем постепенно седеющие и становящиеся в одиночестве белыми; человек, чувствующий, как с каждым днем он все больше и больше уподобляется тени; отсутствующий, над которым прошли долгие годы, но который не умер; суровость этого обездоленного, тоска по родине этого неповинного — нет зрелища более устрашающего для коронованных злодеев.

Что бы ни совершали всемогущие баловни минуты, вечная сущность им не подвластна. Уверенность их чисто внешняя, внутренний мир принадлежит мыслителям. Вы изгнали человека. Пусть так. А затем? Вы можете лишить дерево его корней, но вы не сможете лишить небо света: завтра все равно взойдет заря.

Следует, однако, отдать должное тем, кто обрекает на изгнание: это люди последовательные, цельные и отвратительные. Они делают все возможное для того, чтобы уничтожить изгнанника.

Достигают ли они своей цели? Удастся ли им это? Несомненно.

Человек, настолько разоренный, что у него осталась только честь, настолько ограбленный, что у него осталась только совесть, настолько одинокий, что с ним осталась только справедливость, настолько покинутый, что с ним осталась только правда, настолько брошенный во тьму, что ему остается только солнце, — вот что такое изгнанник.

III

Изгнание — категория не материальная, это категория моральная. Все уголки на земле равноценны. *Angulus ridet*¹. Любое место пригодно для мечтаний, лишь бы этот уголок был затерянным, а горизонт — бескрайним.

В частности, архипелаг Ламанша весьма привлекателен; ему ничего не стоит походить на родину, ибо он — часть Франции. Джерси и Гернсей — это кусочки Галлии, оторванные от нее морем в восьмом столетии. Джерси был более кокетлив, чем Гернсей, и выиграл тем, что стал более миловидным и менее прекрасным. На Джерси лес стал садом; на Гернсее скалы остались колоссами. В одном — больше прелести, в другом — больше величия. На Джерси чувствуешь себя в Нормандии, на Гернсее — в Бретани. Цветник величиною с Лондон — это Джерси. Там все благоухает, сияет, улыбается; но, несмотря на это, бывают и бури. Пишущий эти строки назвал как-то Джерси «идиллией в открытом море». В языческие времена Джерси был более романским, Гернсей — более кельтским: на Джерси незримо присутствует Юпитер, на Гернсее — Тевт. На Гернсее свирепость нравов исчезла, но дикость осталась; остров, бывший когда-то во власти друидов, теперь стал убежищем гугенотов; здесь царит уже не Молох, а Кальвин; церкви присущ холод, в пейзаже заметна чопорная стыдливость, в религиозных обычаях — мрачное настроение. Словом, эти два острова очаровательны: один — своей приветливостью, другой — своей суровостью.

Однажды английская королева и — что еще важнее — нормандская герцогиня, почитаемая и обожаемая шесть дней в неделю из семи, посетила Гернсей в сопровождении гущечных залпов, суеты, шума и надлежащих церемоний.

¹ Уголок смеется (лат.).

Это было воскресенье, единственный день, который ей не принадлежал. Королева, ставшая вдруг простой женщиной, нарушила отдых дня господня. Она вышла на набережную перед безмолвной толпой. Никто не обнажил головы. Единственным человеком, который приветствовал ее, был говорящий с вами изгнанник.

Он приветствовал не королеву, а женщину.

Набожный остров проявил угрюмость. В этом пуританстве есть свое величие.

Гернсей создан для того, чтобы оставить у изгнанника только хорошие воспоминания; но изгнание существует и за пределами места ссылки. С точки зрения изгнанника можно сказать, что прекрасного изгнания не бывает.

Изгнание — это суровый край; там все разбито, необитаемо, уничтожено и повержено во прах, кроме долга, стоящего во весь рост, подобно церковной колокольне в разрушенном городе, которая одна возвышается среди развалин.

Изгнание — это место наказания.

Для кого?

Для тирана.

Но тиран пытается защищаться.

IV

Изгнанник, будьте готовы ко всему. Вас гонят далеко, но не оставляют в покое. Изгнавший вас любопытен, и взгляд его устремлен на вас со всех сторон. Он наносит вам многочисленные и разнообразные визиты. У вашего камина усаживается почтенный протестантский пастор, но его протестантизм субсидируется из кассы Тронсена-Дюмерсана; появляется иностранный принц, говорящий на ломаном языке: это вас посетил Видок; он — настоящий принц? Да, это отпрыск королевской крови и вместе с тем агент полиции; к вам в доверие втирается некий профессор с важной и педантичной физиономией, а вы застаете его за чтением ваших бумаг. Все позволено против вас, ибо вы вне закона, то есть за пределами того мира, где существуют понятия равенства, разума, уважения, правдоподобия; принято считать возможным, якобы с вашего разрешения, опубликовывать то, что вы кому-то сказали,

добиваясь при этом, чтобы ваши слова звучали как можно глупее; вам будут приписывать слова, которых вы никогда не произносили, письма, которых вы не писали, поступки, которых вы не совершали. К вам приближаются, чтобы лучше выбрать место для нанесения удара ножом; изгнание как бы обнесено редким забором: в него можно заглянуть, как в ров с дикими зверями; вы отрезаны от всего, и вас стерегут.

Не пишите вашим друзьям во Францию, ибо разрешено вскрывать ваши письма, — на это дал согласие **кассационный суд**; находясь в изгнании, бойтесь общаться с людьми, ибо это приводит подчас к загадочным последствиям; человек, улыбавшийся вам на Джерси, готов растерзать вас в Париже; тот, кто приветствует вас, подписываясь собственным именем, оскорбляет вас, скрывшись под псевдонимом; этот, на самом Джерси, пишет направленные против изгнанников статьи, которые следовало бы скорее направить против деятелей Империи; впрочем, автор сам отдает им должное, посвящая свои творения банкирам Перейра. Все это очень просто, поймите. Вы — в лазарете, и горе тому честному человеку, кто навестит вас: на границе его поджидают, и сам император тут как тут в одежде жандарма. Из-за вас будут раздевать догола женщин, чтобы найти у них какую-нибудь вашу книгу, а если те будут противиться и негодовать, то им скажут: «Это не для того, чтоб вами любоваться!»

Ваш квартирохозяин, тоже предатель, окружает вас подобранными им людьми; изгнавшему известны качества изгнанника, он сообщает их своим агентам; берегитесь: для вас нет ничего надежного; остерегайтесь самого себя; вы обращаетесь к человеку, но вас слушает маска; в месте вашего изгнания водится призрак — шпион.

Какой-то таинственный незнакомец нашептывает вам, что, если угодно, он берется убить императора: это Бонапарт, предлагающий зарезать Бонапарта. Когда вы обедаете с друзьями, из угла вдруг раздаются возгласы: «Да здравствует Марат!», «Да здравствует Эбер!», «Да здравствует гильотина!» Прислушавшись, вы узнаете голос Карлье. Иногда шпион попрошайничает: это император просит у вас милостыни через своего Пьетри; вы подаете, а он смеется смехом палача. Вы вносите трактир-

ный долг за какого-нибудь изгнанника, а он — агент; вы оплачиваете дорогу беженцу, а он оказывается сбором. Проходя по улице, вы слышите: «Вот истинный тиран!» Это говорят о вас; вы оборачиваетесь: «Кто этот человек?» Вам отвечают: «Это изгнанник». Нет, это полицейский чиновник; он жесток и подкуплен: это республиканец, подписывающийся «Мопа»; Коко, переодетый Сцеволой.

Что же касается измышлений, клеветы, гнусных нападок, принимайте их как должное: это снаряды, которые посылает в вас Империя.

Главное — не протестуйте, ибо это вызовет смех. За протестом снова последует оскорбление, причем такое же: его даже не потрудятся изменить. Зачем брызгать новой слюной? Хороша и вчерашняя.

Поношения будут продолжаться непрерывно, каждый день, с неутомимым спокойствием и сознанием полной удовлетворенности, подобно вращающемуся колесу и льющейся из продажных уст лжи. О возмездии нечего и думать: оскорбитель прикрывается своей же низостью; насекомое спасается благодаря своей ничтожности; нельзя раздавить пустое место. И клеветник, уверенный в своей безнаказанности, отдается клевете с радостным сердцем; он опускается до таких бессмысленных мерзостей, что унижение, которому подвергаешься, опровергая эту клевету, превосходит отвращение, которое испытываешь, когда ее сносишь молча.

Оскорбителям внимают дураки, им все это очень смешно.

Некоторые доходят до того, что удивляются — как это вы не считаете естественным быть предметом клеветы и насмешек? Разве вы не для этого существуете? О, наивный человек, вы превратились в мишень. Вот господин, принятый в члены Академии за нанесенное вам оскорбление; вот другой, получивший крест за тот же доблестный поступок: император наградил его за деятельность на почетном поприще клеветы; а вот еще один, отличившийся особо блистательной и унижительной ложью по вашему адресу, — он назначен префектом. Оскорблять вас весьма прибыльно. Надо же, чтоб люди на что-нибудь жили. Чорт возьми! Ведь почему-то вас изгнали?

Будьте благоразумны, вы сами во всем виноваты. Кто вас заставил считать дурным государственный переворот?

Что за дикая мысль пришла вам в голову — стать на защиту права? Что за вздор — выступать на стороне закона? Разве можно брать на себя защиту права и закона, когда их больше никто не защищает? Вот демагогия! Упрямитесь, упорствовать, настаивать — все это бессмыслица. Некто закалывает право и убивает закон. Вероятно, у него есть на то свои основания. Будьте заодно с этим человеком. Успех служит ему оправданием. Будьте на стороне успеха, ибо успех становится правом. Все вам будут за это признательны. Мы будем всячески расхваливать вас за это. Вместо того чтобы быть изгнанником, вы станете сенатором и не будете казаться идиотом.

Неужели вы осмелитесь усомниться в законном праве этого человека? Но вы же видите, что он преуспел! Вы же видите, что обвинявшие его судьи приносят ему присягу! Вы же видите, что священники, солдаты, епископы, генералы идут за ним! Вы считаете себя более добродетельным, чем все они! Вы собираетесь им всем сопротивляться! Полноте! На одной стороне — все, что почитается и вызывает почтение, все, что уважается и вызывает уважение; на другой стороне — вы! Это глупо, — мы смеемся над вами, и мы правы. Лгать на скотину разрешается. Все порядочные люди — против вас, а мы, клеветники, мы заодно с порядочными людьми. Послушайте: одумайтесь, придите в себя! Нужно же было спасти общество. От кого? От вас. Чем только вы нам не угрожали! Прекращением войн, уничтожением эшафота, отменой смертной казни, бесплатным и обязательным обучением, ликвидацией неграмотности! Это было ужасно. И сколько отвратительных утопий: женщина из бесправной превратится в полноправную, эта половина рода человеческого будет допущена к участию в выборах; брак станет свободным — будет разрешен развод; бедные дети будут учиться, как и богатые, равенство возникнет из образования, налоги будут сперва уменьшены, а потом отменены совсем благодаря уничтожению паразитизма, отдаче в наем общественных зданий, превращению нечистот в удобрения, распределению общинной собственности, вспашке ранее необработанных земель, правильному использованию общественных доходов; жизнь станет дешевой в результате обильного разведения рыб в реках; не будет ни классов, ни границ, ни перегородок; будет создана Европей-

ская республика с единой монетной системой для всего континента, денежное обращение ускорится в десятки раз, а это повлечет за собой десятикратный рост богатства! Какое безумие! Надо же было обезопасить себя от всего этого! Как! Между людьми установился бы мир, не было бы больше армий, не было бы больше военной службы? Как! Французская земля была бы возделана так, что смогла бы прокормить двести пятьдесят миллионов человек; налога не стало бы, и наша страна жила бы на свои доходы? Как! Женщина голосовала бы, отец признавал бы права детей, мать семейства перестала бы быть рабой и служанкой, и муж больше не имел бы права убить жену? Как! Священник не был бы больше учителем? Как! Не было бы больше ни сражений, ни солдат, ни палачей, ни виселиц, ни гильотин? Но ведь это ужасно! Надо было нас спасти. Президент это и сделал, — да здравствует император! Вы ему сопротивляетесь. За это мы вас терзаем, мы пишем про вас невероятные вещи. Мы прекрасно знаем, что это неправда, но мы оберегаем общество, а клевета, оберегающая общество, общественно полезна. Раз судьи на стороне государственного переворота, правосудие тоже стоит за него; раз духовенство на стороне государственного переворота, религия тоже стоит за него; религия и правосудие — понятия незапятнанные и священные; клевета, идущая им на пользу, представляет собой часть почестей, которыми мы им обязаны; это публичная девка, пусть, но она служит девицам. Уважайте ее!

Так рассуждают оскорбители.

Изгнаннику же лучше всего думать о другом.

V

Раз он на берегу моря, пусть воспользуется этим. Пусть это вечное движение бесконечности придаст ему мудрости. Пусть он поразмыслит о вечном мятеже волн против берега и о наглых выпадах против истины. Диатрибы тщетно корчатся и извиваются. Пусть он посмотрит, как волна оплевывает берег, и задумается над тем, что выигрывает ее слюна и что теряет гранит.

Нет, не нужно бунтовать в ответ на оскорбление, не нужно расточать своего волнения, думая о возмездии, —

храните суровое спокойствие. Утес весь мокр от брызг, но он не сдвигается с места; иногда он даже блестит от этих брызг. Клевета оставляет за собой глянцевитый след. По серебристой полоске на розе узнают, что прошла гусеница.

Плевков в лицо Христу — что может быть прекраснее!

Один священник, некто Сегюр, назвал Гарибальди трусливым и, в приливе метафорического вдохновения, добавил: «Как луна!» Гарибальди труслив, как луна! Это способно возбудить игру мысли; отсюда можно прийти к некоторым выводам: Ахилл — трус, стало быть Терсит — храбрец; Вольтер глуп, стало быть Сегюр мудр.

Пусть же изгнанник выполняет свой долг, и пусть он не мешает клевете делать свое грязное дело.

Загнанный, преданный, освищенный, облаянный, искушенный — пусть изгнанник молчит.

Молчание — великая вещь.

Ведь желая ответить на оскорбление, распаляешь его. Все, что бросаешь в ответ на клевету, служит для нее горючим. Даже собственный позор она заставляет служить своему ремеслу. Опровергать ее — значит ее удовлетворять. В сущности клевета глубоко уважает свою жертву. Клевета — страдающая сторона: она умирает от презрения. Она мечтает о чести быть опровергнутой. Не доставляйте ей этой чести. Если бы она получила пощечину, это означало бы для нее, что она замечена. Она показала бы свою пылающую щеку и сказала: «Стало быть, я существую».

VI

Да и потом, к чему и на что изгнанникам жаловаться? Обратитесь к истории. Великих людей поносили еще больше, чем их.

Оскорбление — старая привычка людей: бросаться камнями доставляет особое удовольствие бездельникам; горе тому, кто возвышается над общим уровнем; удел тех, кто стоит на вершине, — ждать молнии с неба и града камней с земли. Это почти их вина: к чему было взбираться на вершину? Они привлекают к себе внимание и оскорбление. Этот прохожий-завистник всегда находится на улице; его миссия — ненависть; его постоянно

встречаешь, тщедушного и обозленного, в тени высоких зданий.

Специалистам стоило бы заняться выяснением причин бессонницы великих людей. Гомер спит — *bonus dormitat*¹, но во сне его жалит Зоил. Эсхил чувствует на коже зуд от укусов Эвпола и Кратина. Эти мелкие насекомые кишат роєм: Вергилия покалывает Мевий, Горация — Лицилий, Ювенала — Кодр; к Данте пристал Чекки, к Шекспиру — Грин, к Ротру — Скюдери, а к Корнелию — Академия; у Мольера есть Донно де Визе, у Монтескье — Дефонтен, у Бюффона — Лабомелль, у Жан-Жака — Палиссо, у Дидро — Нонотт, у Вольтера — Фрерон. Слава — это золотое ложе, в котором водятся клопы.

Изгнание не слава, но у них есть нечто общее — паразиты. Того, кто испытал превратности судьбы, нельзя оставить в покое. Видеть праведный сон изгнанника не по вкусу тем, кто подбирает крохи со столов Нерона или Тиберия. Как! Он спит? Он, стало быть, счастлив? Ужалим его!

Если человек сражен, распростерт на земле, выметен из дому (очень просто: когда Вителлий становится кумиром, Ювенал превращается в мусор), если он изгнан, обездолен, побежден — этому завидуют. Как это ни странно, но у изгнанников есть завистники. Было бы понятно, если бы носители высоких добродетелей стали завидовать тем, кому выпали на долю великие несчастья: Катон завидовал бы Регулу, Тразей — Бруту, Рабб — Барбесу. Но это вовсе не так: великим завидуют подлые. Пошлое ничтожество встревожено мужественным протестом побежденного: Гюстав Планш завидует судьбе Луи Блана, Бакюлар — судьбе Мильтона, Жокрисс — судьбе Эсхила.

Оскорбитель, живший в древности, лишь следовал за колесницей победителя; современный оскорбитель следит за изгородью побежденного. Побежденный истекает кровью. К этой крови поносители примешивают свою грязь. Пусть. Доставим им эту радость.

Эта радость тем более ощутима, что она вовсе не ненавистна хозяину и за нее хорошо платят. То, что таится внутри, прорывается наружу и становится общественным оскорблением. Деспоты, ведя войну против изгнанников,

¹ Честный человек спит (лат.).

опираются на двух союзников: во-первых, на зависть, во-вторых, на развращенность.

Когда говоришь о том, что такое изгнание, приходится останавливаться на деталях. Указание на некоторых насекомых-паразитов составляет часть вопроса, поэтому мы были вынуждены углубиться в эту энтомологию.

VII

Таковы мелочные стороны изгнания, а вот и великие: мечтать, думать, страдать.

Быть наедине с самим собою и чувствовать, что ты — со всеми; ненавидеть успех зла, но сожалеть о счастье злодея; самоутверждаться как гражданин и очищаться как философ; быть бедным и улучшать свое положение собственным трудом; размышлять и предугадывать: размышлять о хорошем и предугадывать лучшее; гневаться лишь общественным гневом; забыть о личной ненависти; дышать живительным воздухом огромных и безлюдных пространств, погружаясь в великие мечтания об абсолютном; смотреть на то, что наверху, не теряя из виду того, что внизу; никогда не предаваться созерцанию идеала до такой степени, чтобы забыть о существовании тирана; замечать, как в тебе возникает смешанное чувство — растущего возмущения и усиливающегося умиротворения; носить в себе две души: свою душу и родину.

Одно отраднo: предчувствовать собственное милосердие; быть готовым помиловать виновного, когда тот будет побежден и будет стоять на коленях; знать, что ты никогда его безжалостно не оттолкнешь. Испытываешь священную радость, заранее обещая предоставить убежище будущим побежденным и беглецам, кто бы они ни были. Перед поверженным врагом гнев складывает оружие. Пишущий эти строки приучил своих спутников по изгнанию к словам, которые он постоянно повторял: «Если когда-нибудь, на следующий день после революции, спасающийся бегством Бонапарт постучит ко мне в дверь и попросит у меня приюта, ни один волос не упадет с его головы».

Эти размышления, усложненные обрушившимися на изгнанника превратностями судьбы, отрадны для него. Они не мешают ему выполнить свой долг. Напротив, они

его к этому побуждают. Будь тем более суров сегодня, чем более снисходительным ты станешь завтра; рази всемогущего до тех пор, пока ты не окажешь помощь умоляющему. Впоследствии, прежде чем простить, ты выставишь лишь одно условие — раскаяние. Сейчас ты имеешь дело с удавшимся преступлением — клейми его.

Рыть могилу для врага-победителя и готовить приют врагу побежденному, сражаться в надежде на то, что ты сможешь простить, — вот в чем заключаются великие усилия и великие помыслы изгнанника. Добавьте к этому бескорыстное сострадание к общечеловеческим горестям. Изгнанник находит благородное удовлетворение в том, что он не бесполезен. Сам будучи ранен, истекая кровью, он забывает о себе и врачует раны человечества. Можно подумать, что он только мечтает. Нет, он ищет реальную действительность. Скажем больше — он ее находит. Он блуждает по пустыне и думает о шумных городах-муравейниках, о нищете, обо всех, кто трудится и мыслит, о плуге, об иголке в покрасневших пальцах работницы, сидящей в холоде на мансарде, о зле, вращенном там, где не посеяно добро, о безработных отцах и невежественных сыновьях, о плевелах, растущих в мозгу необразованных людей, о вечерних улицах, о бледных фонарях, о соблазнах, которые предстают глазам голодных прохожих, о социальных контрастах, о бедной девушке, которая становится проституткой — о мужчины! — по нашей вине. Это размышления и мучительные и полезные. Исследуйте проблему — и разрешение последует. Изгнанник без усталости предается мечтам. Его шаги вдоль берега моря не затеряются. Он находится в дружеском общении с великой силой — бездной. Он всматривается в бесконечность, он прислушивается к неведомому. Глубокий сумрачный голос говорит с ним. Вся природа целиком отверзается перед этим отшельником. Суровые аналогии поучают его и служат ему советчиками. Обреченный, преследуемый, задумчивый, он видит перед собой тучи, ветер, орлов; он убеждается в том, что судьба его грозна и мрачна, как тучи, что его преследователи бессильны в своей ярости, как ветер, и что душа его свободна, как орлы.

Изгнанник радушен. Ему приятны розы, птичьи гнезда, мелькание бабочек. Летом он приобщается к нежной радости живых существ и растворяется в ней; он непоколе-

бимо верит в таинственную и бесконечную доброту, простирая свою детскую наивность до веры в бога; он делает из весны свое жилище; очаровательные зеленые гроты из сплетения ветвей составляют обители для его ума; он живет в апреле, переселяясь мысленно во флореаль; он наблюдает за расцветом садов и лугов, их расцвет вызывает в нем глубокое волнение; он подслушивает тайны пучка травы; он изучает муравьиные и пчелиные республики; он сравнивает между собой различные мелодии, звучащие наперебой для слуха незримого Вергилия в георгиках лесов; красота природы трогает его порою до слез; его привлекают к себе дикие заросли кустарников, и он выходит оттуда смятенный и слегка испуганный; его занимают причудливые очертания утесов; грезя наяву, он видит, как маленькие трехлетние девочки бегут вдоль берега моря и плещут босыми ножками по воде, задрав обеими руками свои юбочки и являя свою невинную наготу перед лицом необъятного плодородия вселенной; зимой он прикармливает птиц, рассыпая им крошки хлеба на снегу. Время от времени ему пишут: «Отменено такое-то уголовное наказание; знайте, голова такого-то будет спасена от топора». И он вздымает руки к небу.

VIII

В борьбе против этого опасного человека правительства оказывают друг другу помощь. Они договариваются между собой о взаимном преследовании изгнанников, о высылке, об интернировании, а иногда — и о выдаче их. Неужели о выдаче?! Да, о выдаче. Так было на Джерси в 1855 году. 18 октября изгнанники увидели корабль императорского военного флота «Ариэль», пришвартовавшийся к набережной Сент-Элье. Он пришел за ними. Виктория приносила изгнанников в дар Наполеону; троны обмениваются порой такого рода любезностями.

Подарок не состоялся. Английская роялистская пресса приветствовала это решение, но народ Лондона воспринял его плохо: он начал ворчать. Так уж создан этот народ: его правительство может быть пуделем, но сам он — дог. Дог — это лев среди собак. Величие и честность — вот что такое английский народ.

Этот добрый и гордый народ оскалил зубы. Пальмерстон и Бонапарт должны были довольствоваться высылкой. Изгнанники были этим мало взволнованы. Они с улыбкой выслушали официальное уведомление, переданное им на слегка ломаном языке. «Ладно! — сказали изгнанники. — *Экспьюлишен!*» Это произношение их вполне удовлетворило.

Если в ту пору правительства были заодно с тем, кто изгоняет, то изгнанники ощущали великолепную солидарность с народами. Эта солидарность, таящая в себе ростки будущего, проявлялась в самых различных формах, и примеры тому найдутся на каждой странице этой книги. Она вспыхивала при встрече со случайным прохожим, одиноким человеком, путешественником. Все эти факты малозаметны и как будто маловажны, но знаменательны. Об одном из них стоит, пожалуй, даже вспомнить.

IX

Летом 1867 года Луи Бонапарт достиг предела славы, на который может рассчитывать преступление. Он был на вершине своей горы, вознесенный на нее крайней степенью позора. Ничто ему уже не препятствовало; он был бесчестен и обладал верховной властью. Не могло быть более полной победы — казалось, что он победил совесть людей. Величества и высочества были у его ног или в его объятиях; Виндзор, Кремль, Шенбрунн и Потсдам назначали друг другу свидания в Тюильри. У него было все: политическая слава — г-н Руэр, военная слава — г-н Базен, литературная слава — г-н Низар; он был признан такими выдающимися людьми, как г-да Вьейяр и Мериме. Второе декабря длилось для него пятнадцать тацитовских лет — *grande mortalis aevi spatium*¹; Империя была в зените славы и расцвета, выставляя себя напоказ. В театрах глумились над Гомером, а в Академии — над Шекспиром. Профессора истории утверждали, что Леонид и Вильгельм Телль никогда не существовали. Все звучало в унисон, ничто не детонировало; налицо было полнейшее соответствие между убожеством идей и покорностью их творцов; ни-

¹ Огромный промежуток времени для смертного (лат.).

зость взглядов равнялась заносчивости их носителей; уничижение было законом. Существовало нечто вроде Англо-Франции, образованной из сочетания Бонапарта и Виктории — свободы в духе Пальмерстона и империи в духе Тролона; это был более чем союз — почти что поцелуй. Верховный судья Англии выносил приговоры в угоду французскому императору; британское правительство объявляло себя слугой императорского правительства и, как мы видели, стремилось доказать ему свою покорную преданность высылками, процессами, угрозами применения закона о чужестранцах (*alien-bill*) и мелкими преследованиями английского образца. Эта Англо-Франция осуждала на изгнание Францию и унижала Англию, но она царствовала: Франция была рабой, Англия — служанкой; такова была политическая обстановка. Правда, будущее было скрыто под маской, но зато позорное настоящее не прятало своего лица и, по общему признанию, было восхитительно. В Париже блистала Всемирная выставка, ослеплявшая великолепием Европу: там были чудеса, и среди них, на возвышении, пушка Круппа; по этому поводу французский император поздравлял прусского короля.

Это была пора наивысшего процветания.

Никогда еще на изгнанников не смотрели так косо. В некоторых английских газетах их называли «мятежниками».

В это лето, в один из июльских дней, некий пассажир совершал переезд с Гернсея в Саутгемптон. Это был один из тех «мятежников», о которых мы только что говорили. Он был депутатом в 1851 году и был изгнан 2 декабря. Этот пассажир, чье имя не стоит здесь называть, ибо его присутствие послужило лишь поводом к случаю, о котором мы расскажем, сел в это утро, в порту Сен-Пьер, на почтовый пароход «Нормандия». Путь с Гернсея в Саутгемптон занимает семь-восемь часов.

Было как раз то время, когда египетский хедив, отдав приветственный визит Наполеону, прибыл приветствовать Викторию, и в этот самый день английская королева показывала вице-королю Египта английский флот на Ширнеском рейде, по соседству с Саутгемптоном.

Упомянутый нами пассажир был молчаливым седовласым человеком; стоя подле рулевого, он внимательно смотрел на море.

«Нормандия» покинула Гернсей в десять часов утра. Было уже около трех часов дня, и пароход приближался к Иглам, окаймляющим южную оконечность острова Уайт; вдали можно было различить это высокое и первобытное архитектурное сооружение, созданное морем и выступающее из океана гигантскими меловыми острями, подобно колокольням огромного затонувшего собора. Готовились войти в устье реки Саутгемптон, и рулевой начал поворачивать влево.

Пассажир смотрел на приближающиеся Иглы, как вдруг он услышал, что кто-то назвал его по имени; он оглянулся и увидел перед собой капитана корабля.

Этот капитан был приблизительно одного с ним возраста; его звали Харви; он был широкоплеч, с густыми седыми бакенбардами, загорелым и гордым лицом, веселыми глазами.

— Правда ли, сударь, — сказал он, — что вам хотелось бы взглянуть на английский флот?

Пассажир до сих пор не выражал этого желания, но слышал, как его оживленно высказывали стоявшие неподалеку женщины.

Он ограничился тем, что ответил:

— Но ведь это не ваш курс, капитан.

На это капитан возразил:

— Это будет моим курсом, если вам угодно.

У пассажира вырвался возглас удивления:

— Вы готовы изменить курс?

— Да.

— Чтобы доставить мне удовольствие?

— Да.

— Французский корабль не сделал бы этого для меня.

— То, чего не сделал бы для вас французский корабль, — ответил капитан, — сделает английский.

И он добавил:

— Прошу вас только, ради облегчения моей ответственности перед начальством, записать в журнал ваше пожелание.

И он подал пассажиру судовой журнал, в котором тот под его диктовку написал: «Мне хочется увидеть английский флот» — и расписался.

Через минуту пароход повернул направо, оставив с левого борта Иглы и реку Саутгемптон, и вошел на Ширнесский рейд.

Зрелище было поистине прекрасным. Дым и гром всех береговых батарей смешивался воедино; массивные силуэты броненосных кораблей, стоявших уступами друг за другом, виднелись в красноватой дымке, образуя густой лес мачт, то появлявшихся, то исчезающих. «Нормандия» проходила среди этих мрачных великанов, приветствуемая криками «ура!» Прохождение сквозь строй английского флота длилось около двух часов.

Когда, часов в семь вечера, «Нормандия» прибыла в Саутгемптон, на ней были подняты флаги расцветивания.

Один из друзей капитана Харви, г-н Расколь, директор «Курье де л'Эроп», ждал его в порту. Он удивился праздничному виду корабля.

— В честь кого это вы подняли флаги, капитан? В честь хедива?

Капитан ответил:

— В честь изгнанника.

«В честь изгнанника» означало: в честь Франции.

Мы не рассказали бы об этом факте, если бы он не был созвучен с тем величием, которое проявил капитан Харви в последние минуты своей жизни.

Эти последние минуты таковы.

Через три года после парада на Ширнесском рейде, вскоре после того, как он вручил своему июльскому пассажиру 1867 года приветственный адрес от моряков Ламанша, в ночь на 17 марта 1870 года капитан Харви совершал свой обычный рейс из Саутгемптона на Гернсей. Море окутывала мгла. Капитан стоял на мостике и маневрировал с большой осторожностью, ибо шел ночью и в тумане. Пассажиры спали.

«Нормандия» была большим судном, должно быть самым лучшим из почтовых пароходов, курсировавших по Ламаншу: шестьсот тонн водоизмещения, двести пятьдесят английских футов в длину и двадцать пять в ширину; она была «молодой», как говорят моряки: ей не было и семи лет. Она была построена в 1863 году.

Туман сгушался; пароход вышел из устья реки Саутгемптон и находился в открытом море, оставив Иглы

примерно в пятнадцать милях за собой. Он двигался медленно. Было четыре часа утра.

Темнота была абсолютной; низкая пелена нависла над судном и окутывала его; с трудом можно было различить верхушки мачт.

Нет ничего более страшного, чем слепые корабли, идущие ночью.

Внезапно из пелены тумана вынырнула темная масса, подобная огромному призраку, пенящему волны, — гигантский утес, прорезавший ночной мрак. Это была «Мэри», большой винтовой пароход, шедший из Одессы в Гримсби с грузом в пятьсот тонн зерна; развив огромную скорость, всей своей тяжестью «Мэри» шла прямо на «Нормандию».

Нет никакой возможности избежать столкновения: настолько мгновенно появляются эти корабли — призраки в тумане. Это встречи без предварительного сближения. Прежде чем ты различишь опасность, ты уже мертв.

«Мэри», шедшая на всех парах, врезалась в борт «Нормандии» и пробила его.

Поврежденная сама от удара, она остановилась.

На «Нормандии» было двадцать восемь человек экипажа, женщина-стюардесса и тридцать один пассажир, из которых двенадцать женщин.

Толчок был ужасен. В одну минуту все выскочили на палубу — мужчины, женщины, дети — и, полуодетые, бегали, кричали и плакали. Волна яростно била внутрь судна. Котел машины, залитый водой, задышался.

На корабле не было водонепроницаемых переборок; спасательных кругов не хватало.

Капитан Харви, стоя на командирском мостике, крикнул:

— Молчать! Внимание! Шлюпки на воду! Сперва женщины, затем пассажиры-мужчины, потом экипаж. Надо спасти шестьдесят человек.

Всего было шестьдесят один, но о себе он забывал.

Спустили шлюпки. Все бросились к ним. От поспешности и давки шлюпки могли опрокинуться. Помощник капитана Оклфорд и три боцмана — Гудвин, Беннетт и Уэст — сдерживали толпу, обезумевшую от страха. Спать — и вдруг, сразу умереть — это ужасно.

Тем временем, покрывая все крики и шум, раздавался низкий голос капитана, и во тьме шел обмен короткими фразами:

— Механик Локс!

— Есть, капитан!

— Как котел?

— Залит.

— Огонь?

— Затушен.

— Машина?

— Заглохла.

Капитан позвал:

— Лейтенант Оклфорд!

Тот отозвался:

— Есть, капитан!

Капитан спросил:

— Сколько минут нам осталось?

— Двадцать.

— Этого достаточно, — сказал капитан. — Пусть каждый спускается на шлюпку в свой черед. Лейтенант Оклфорд, пистолеты при вас?

— Да, капитан.

— Пулю в лоб любому из мужчин, который попытается пройти раньше женщины.

Все замолчали. Никто не протестовал. Толпа чувствовала над собой власть этого человека огромной души.

«Мэри», со своей стороны, тоже спустила шлюпки на воду и пришла на помощь пострадавшим от катастрофы, вызванной ею.

Спасание проходило в полном порядке и почти без всякой борьбы. Как всегда, кое-кто проявил жалкий эгоизм; зато были и примеры героического самопожертвования.

Харви, стоя на капитанском мостике, бесстрастно и властно командовал, руководил, занимался всем и всеми, внося уверенное спокойствие в общую растерянность, и, казалось, отдавал приказания самой стихии; можно было подумать, что она ему повиновалась.

Внезапно он крикнул:

— Спасите Клемана!

Клеман был юнга, еще ребенок.

Корабль постепенно погружался в воду.

Шлюпки между «Нормандией» и «Мэри» сновали взад и вперед с предельной быстротой.

— Торопитесь! — кричал капитан.

На двадцатой минуте пароход затонул.

Сначала зарылся в воду нос, потом корма.

Капитан Харви, будучи все время на мостике, не сдвинулся с места, не проронил ни слова и, как черная статуя, ушел в пучину. Сквозь зловещий туман было видно, как его поглотили волны.

Таков был конец капитана Харви.

Пусть же он примет прощальный привет изгнанника.

Ни один моряк Ламанша не мог с ним сравниться. Всю жизнь считая своим долгом быть человеком, он, умирая, воспользовался правом стать героем.

Х

Ненавидит ли изгнанник того, кто его изгнал? Нет. Он ведет с ним борьбу, вот и все. Беспощадную? Да. Но всегда как с врагом общества, а не с личным врагом. Гнев порядочного человека никогда не выходит за пределы того, что строго необходимо. Изгнанник питает отвращение к тирану и не желает ничего знать о его личных качествах. Если же он и знает их, то критикует лишь в той мере, в какой, этого требует долг.

При случае изгнанник даже воздаст должное тому, кто его изгнал: если, например, последний является в известной степени писателем и написал достаточное количество произведений, изгнанник охотно признает его дарование. Кстати сказать, Наполеон III, несомненно, оказался бы неплохим академиком: в эпоху империи Академия, повидимому из вежливости, понизила свой уровень до такой степени, что император мог стать ее членом; он был бы вправе считать себя равным своим коллегам по литературе, и его величие несколько не умалило бы блеска остальных сорока академиков.

В ту пору, когда была объявлена кандидатура императора на вакантное кресло, один из наших знакомых академиков, желая воздать должное одновременно и исследователю, занимавшемуся историей Цезаря, и человеку, совершившему переворот 2 декабря, заранее заполнил

свой избирательный бюллетень следующим образом: «Голосую за принятие г-на Луи Бонапарта в число академиков и в число каторжников».

Как видите, изгнанник готов пойти на все возможные уступки.

Он тверд лишь в вопросах принципиальных. Тут начинается его непреклонность. Тут он перестает быть тем, что на политическом жаргоне называется «практическим человеком». Отсюда его готовность перенести все: насилия, оскорбления, разорение, ссылку. Чего вы хотите? Устами его глаголет истина, которая в случае необходимости заявила бы о себе и помимо него.

Говорить от ее лица и ради нее — вот в чем его радость и гордость.

У правды два имени: философы называют ее идеалом, государственные деятели называют ее химерой.

Правы ли государственные мужи? Мы этого не ду-маем.

Если послушать их, все советы, которые способен дать изгнанник, «химеричны».

Допустим, говорят они, что за этими советами кроется истина; действительность против них.

Исследуем этот вопрос.

Изгнанник — это человек, верящий химерам. Пусть так. Это — ясновидящий слепец; ясновидящий, когда речь идет об абсолютном, слепец, когда речь идет об относительном. Он неплохой философ и скверный политик. Если бы его слушали, пришли бы к катастрофе. Его советы и благородны и пагубны в одно и то же время. Его принципы служат ему оправданием, но факты его опровергают.

Обратимся к фактам.

Джон Браун побежден при Харперс-Ферри. Государственные деятели говорят: «Повесьте его!» Изгнанник говорит: «Почитайте его!» Джона Брауна вешают; Союз штатов распадается, и вспыхивает война с Югом. Поощадив Джона Брауна, поощадили бы и Америку.

С точки зрения факта, кто оказался прав: люди практического ума или человек, верящий химерам?

Второй факт. Максимилиан захвачен в Керетаро. Практические люди говорят: «Расстреляйте его!» Приверженец химерических взглядов говорит: «Помилуйте

его!» Максимилиана расстреливают. Этого оказывается достаточно, чтобы свести на нет дело огромной важности. Героическая борьба Мексики лишается своего высшего ореола — гордой милости. Если бы Максимилиан был помилован, это означало бы целостность мексиканской территории; Мексика была бы той страной, которая утвердила свою независимость войной и которая пожелала утвердить свою суверенность актом цивилизации; чело этого народа, после воинского шлема, было бы увенчано короной.

И на этот раз человек, верящий в химеры, ясно предвидел будущее.

Третий факт. Изабелла свергнута с престола. Чем будет Испания: республикой или монархией? «Будь монархией!» — говорят государственные мужи. «Будь республикой!» — говорит изгнанник. Того, кто верит в химеры, не слушают; люди практического ума берут верх; Испания становится монархией. Она мечется от Изабеллы к Амедю, от Амедя к Альфонсу, ожидая прихода к власти Карлоса. Все это касается только Испании. Но вот уже нечто, касающееся всего мира: монархия в поисках монарха дает повод к вмешательству Гогенцоллернов; отсюда — западня, устроенная Пруссией, отсюда — избиение Франции, отсюда — Седан, позор и мрак.

Представим себе Испанию республикой: не было бы повода к ловушке, к возможному воцарению Гогенцоллерна, не было бы катастрофы.

Следовательно, совет изгнанника был мудрым.

О, если бы случайно в один прекрасный день люди уверовали в странную истину, что правда не глупа, что дух гуманности и сострадания приносит добро, что сила человека в его прямоте и что правым оказывается разум!

Сейчас, среди народных бедствий, после войны внешней и войны гражданской, перед лицом ответственности, которую навлекли на себя обе стороны, бывший изгнанник думает о сегодняшних изгнанниках и чутко относится к их горестям; в свое время он хотел спасти Джона Брауна, спасти Максимилиана, спасти Францию; это прошлое освещает ему будущее: он хочет залечить раны отчизны, и он требует амнистии.

Кто он: слепец или ясновидящий?

Когда в декабре 1851 года пишущий эти строки очутился за границей, жизнь его по началу оказалась довольно суровой: *res angusta domi*¹ острее всего ощущается в изгнании.

Этот обобщающий очерк на тему «Что такое изгнание» не был бы полным, если бы мы не указали мимоходом, с подобающей сдержанностью, на материальную сторону жизни изгнанника.

Из всего того, чем обладал изгнанник, ему оставалось семь тысяч пятьсот франков годового дохода. Его пьесы, приносившие ему шестьдесят тысяч франков в год, были запрещены. Поспешная продажа имущества с торгов дала ему около тринадцати тысяч франков. Ему надо было прокормить девять человек.

Ему надо было думать о том, чтобы обеспечить переезды, вынужденные путешествия, устройство на новом месте, передвижения группы людей, для которых он был опорой, приходилось быть готовым ко всем неожиданностям, связанным с существованием человека, оторванного от земли и подвластного любому ветру; изгнанник — это человек, лишенный корней. Надо было сохранить достойный образ жизни и сделать так, чтобы вокруг него, никто не страдал.

Отсюда — срочная необходимость работать.

Следует сказать, что первый дом, в котором поселился изгнанник — Марин-Террас, — был снят за весьма умеренную плату: тысяча пятьсот франков в год.

Французский рынок был закрыт для издания его сочинений.

Его первые бельгийские издатели опубликовали все его книги, в том числе оба тома «Публицистических произведений», без его согласия. Исключение составил только памфлет «Наполеон Малый». Что касается сборника «Возмездия», то он обошелся автору в две тысячи пятьсот франков. Эта сумма, внесенная издателю Самюэлю, никогда не была возвращена. Общий доход со всех изданий «Возмездий» конфисковался в течение восемнадцати лет иностранными издательствами.

¹ Стесненное положение семьи (лат.).

Английские роялистские газеты громко трубили об английском гостеприимстве, чередовавшемся, как читатель помнит, с ночными налетами и высылками, точно так же, впрочем, как и бельгийское гостеприимство. Но что в английском гостеприимстве было несравненным, это — трогательное внимание к книгам, написанным изгнанниками. Их перепечатывали, издавали и продавали с самым дружеским усердием как можно выгоднее для английских издателей. Гостеприимство, оказываемое книгам, доходило до того, что забывали об авторе. Английский закон, являющийся частью британского гостеприимства, допускает такого рода забвение. Долг книги заключается в том, чтобы дать автору умереть от голода (пример — Чаттертон) и обогатить издателя. «Возмездия», в частности, продавались и все еще продаются в Англии, принося доход только издателю Джеффсу. Английский театр был не менее гостеприимен по отношению к французским пьесам, чем английские издательства по отношению к французским книгам. За «Рюи Блаза», шедшего в Англии более двухсот раз, ни разу не был выплачен авторский гонорар.

Как вы видите, роялистско-бонапартистская лондонская пресса не без основания упрекала изгнанников в том, что они злоупотребляют английским гостеприимством.

Эта пресса часто называла автора этих строк скуппом.

Она называла его также отъявленным пьяницей — *abandoned drinker*.

Все эти подробности — тоже часть изгнания.

XII

Этот изгнанник ни на что не жалуется. Он работал и заново построил жизнь для себя и своих близких. Все хорошо.

Есть ли заслуга в том, что вы изгнанник? Нет. Это все равно что спросить: «Есть ли заслуга в том, что вы порядочный человек?» Изгнанник — это порядочный человек, упорствующий в своей порядочности, вот и все.

Бывают времена, когда такое упорство становится редким, это верно. Однако это обстоятельство, отнимая кое-что от эпохи, ничего не прибавляет к облику порядочного человека.

Порядочность, как и девственность, существует независимо от похвалы. Вы чисты, потому что вы чисты. Белизна горносталя — вовсе не его заслуга.

Депутат, подвергшийся изгнанию за служение народу, совершает честный поступок. Он дал обещание и выполняет его. Он выполняет его даже за пределами обещанного, как и должен поступать всякий щепетильный человек. Вот почему императивный мандат бесполезен: всякое предписание, начертанное на мандате, нехорошо уже тем, что оно звучит как оскорбительное слово на благородном документе, означающем лишь принятие на себя долга; кроме того, при этом опускается самое существенное — готовность принести себя в жертву; жертва бывает необходимой, но ее невозможно навязать. Обмен рукопожатием между избранным и избирателем — это обмен взаимными обязательствами: вручающий мандат и обладатель мандата дают друг другу слово, один — защищать порученные ему интересы, другой — поддерживать своего избранника; это — два права и два долга, слитых вместе. Такова истина. Раз это так, то депутат должен выполнять свой долг, а народ — свой. Это — обоюдное долговое обязательство, продиктованное совестью, оплачиваемое и с той и с другой стороны. Но неужели надо идти на любое самопожертвование, вплоть до того, что навлечь на себя изгнание? Несомненно. Но в таком случае — это прекрасно. Нет, в этом нет ничего особенного. Об изгнанном представителе народа можно лишь сказать, что он не нарушил сущности своего обещания. Мандат — это деловое соглашение. Нет никакой заслуги в том, чтобы не обвешивать покупателя при продаже.

Честный представитель народа выполняет соглашение. В вопросах чести и совести он должен идти и идет до конца. На пути его — пропасть. Пусть. Он падает в нее. Верно. Умирает ли он от этого? Нет, он остается в живых.

ХІІІ

Подведем некоторые итоги.

Такой род существования, как изгнание, имеет, как вы видели, разнообразные стороны.

Именно этой жизнью — бурной, если говорить о судьбе, спокойной, если говорить о душевном состоянии, — и жил

человек, отсутствовавший с 1851 по 1870 год, со 2 декабря по 4 сентября, и ныне, изданием этой книги, выступающий с отчетом о своем отсутствии перед родной страной. Это отсутствие длилось девятнадцать лет и девять месяцев. Что он делал в течение этих долгих лет? Он пытался не быть бесполезным. Единственно хорошим в его отсутствии является то, что его, отверженного, посещали такие же отверженные, и жертвы стихии просили заступничества у него, тоже бывшего жертвой. И не только отдельные лица, но и народы; не только народы, но и человеческая совесть; не только совесть, но и истина. Ему, стоящему на одиноком утесе, было дано протянуть руку помощи идеалу, ввергнутому в пучину; ему казалось иногда, что само будущее, терпевшее бедствие, старалось пристать к его скале. Что же он представлял собою? Нечто весьма незначительное: живое усилие. Перед лицом всех темных сил, объединенных и торжествующих, что такое единичная воля? Ничто, если она выражает эгоизм; все, если она выражает право.

Самую прочную позицию занимает тот, кто испытал самое сильное крушение; достаточно того, чтобы этот человек был справедливым. Мы настаиваем на том, что — если этот человек прав — пусть он будет подавлен, разорен, обворован, изгнан, осмеян, оскорблен, отвергнут, оклеветан, пусть воплощает в себе все признаки поражения и слабости, — все равно он всемогущ. Он неукротим, ибо олицетворяет прямоту, он непобедим, ибо за него реальная действительность. Быть ничем — это огромная сила! Не иметь ничего за собой, ничего на себе — лучшее условие для битвы. Отсутствие брони служит доказательством неуязвимости. Нет ничего выше, чем пасть за справедливость. Перед императором стоит во весь рост изгнанник. Император карает, изгнанник осуждает. Один располагает кодексами и судьями, другой — истинами. Да, пасть полезно. Падение того, кто благоденствовал, составляет силу этого человека: ваша власть и ваше богатство часто служат для вас препятствием; когда вы их лишаетесь, ничто больше вас не связывает, вы чувствуете себя свободным и полным хозяином; отныне вас ничто не стесняет; отняв у вас все, вам все дали; все позволено тому, кому все запрещается; вам не нужно больше быть академиком или парламентарием; на вашей стороне гроз-

ная непринужденность правды, прекрасной в своем первобытном обликии. Могущество изгнанника состоит из двух элементов: несправедливости его судьбы и справедливости его дела. Эти две противоречивые силы опираются друг на друга; грозная позиция, которая может быть выражена в нескольких словах:

Вне закона — в праве.

Тиран, нападающий на вас, имеет своим первым противником свою собственную несправедливость, то есть себя самого, а вторым противником — вашу совесть, то есть бога.

Это, разумеется, неравная схватка. Поражение тирана неизбежно. Вы, имеющий право судить, идите своим путем.

Таковы те истины, которые мы попытались выразить на первых страницах этого введения следующими словами:

Изгнание — это право, с которого сорваны одежды.

XIV

Вот почему автор этих строк был в течение девятнадцати лет доволен и опечален: доволен собой и опечален другими; доволен тем, что был честным в собственных глазах, и опечален тем, что беспредельно разросшееся преступление, переходя от одного к другому, отравило общественное сознание и в конце концов стало называться удовлетворением всех интересов. Он был возмущен и удручен национальным бедствием, именовавшимся процветанием империи. Ликование, проявляющееся в оргиях, — это признак ничтожности. Процветание, служащее позолотой злодеянию, обманчиво и порождает катастрофу. Плод Второго декабря — Седан.

Вот в чем заключались горести изгнанника, горести, влекущие за собой обязанности. Он предчувствовал будущее и различал в оглушительном шуме праздников приближение трагической развязки. Он слышал поступь событий, к которой глухи счастливцы. Катастрофа наступила, обладая двойной силой натиска — и со стороны Бисмарка и со стороны Бонапарта; одна западня карала

другую. В результате — империя пала, и Франция воспрянет вновь. Десять миллиардов и две провинции — наш выкуп. Это дорого, и мы имеем право на возмещение. А пока — будем спокойны: империей меньше — чести больше. Современное положение — неплохое. Лучше видеть Францию пострадавшей от насилия, чем униженной от испытанного ею бесчестия. В этом отличие раны от вируса: рану излечивают, от чумы умирают. Империя привела бы Францию к агонии: испив позор до дна, она умерла бы. Теперь позор извергнут, и Франция будет жить. Выплюнув Восемнадцатое брюмера и Второе декабря, народ стал здоров и могуч.

Размышляя в одиночестве о будущем, изгнанник предавался суровым, но возвышенным заботам. Его скорбь смешивалась с надеждой. Как мы уже говорили, он разделял с народом его грусть и вместе с тем испытывал гордую радость при мысли, что он — изгнанник. Изгнание было для него радостью потому, что оно придавало ему огромную силу. Одна из папских булл говорит об отлученном от церкви, но непобежденном Лютере: «Stat coram pontifice sicut Satanas coram Iehovah»¹. Сравнение верно, и говорящий с вами изгнанник это признает. Возвышаясь над всеобщей безгласностью, царившей во Франции, над растоптанной трибуной, над зажатой в тиски прессой, изгнанник — свободный, как Сатана, поборник истины, перед лицом Иеговы, поборника лжи, — мог брать слово и брал его. Он защищал всеобщее избирательное право от плебисцита, народ от толпы, славу от наемника, правосудие от судьбы, светильник от костра, бога от священника. Отсюда тот несмолкающий вопль, который наполняет эту книгу.

Со всех сторон, как уже упоминалось и как будет видно в этой книге, настигнутые бедствием взывали к нему, зная, что он никогда не уклонится от исполнения долга. Угнетенные видели в нем общественного обличителя всемирного преступления. Для того чтобы взять на себя эту миссию, достаточно обладать душой, а для того чтобы ее выполнить, — обладать голосом. Ими он и обладал: честной душой и свободным голосом. Он слышал призывы со всех концов света, и из глубины своего одиночества он

¹ Стоит перед папой, как Сатана перед Иеговой (лат.).

отвечал на них. Вот о чем здесь будет идти речь. Он подвергался самым яростным преследованиям со стороны властителей, и вокруг его имени сгущалась, да и поныне сгущается, невероятная ненависть; но что ему до этого? Тем не менее ему выпало на долю завидное счастье пробыть в изгнании двадцать лет и устоять — ему одному против множества, ему, безоружному, против несметных легионов, ему, мечтателю, против всех убийц, ему, ссыльному, против всех деспотов, ему, пылинке, против всех колоссов — только потому, что у него была единственная сила — луч света.

Этим светом, как мы говорили, было право, вечное право.

Он благодарит бога. В течение всего того времени, которое требуется для превращения сорокалетнего человека в шестидесятилетнего старца, он жил этой высокой жизнью. Его высылали, преследовали, гнали. Он был покинут всеми, но не покинул никого. Он постиг превосходное свойство пустыни: именно там живет эхо. Там слышишь голоса народов. В то время как угнетатели, с которых он не спускал глаз, творили зло, он пытался творить добро. Он предоставлял тиранам право обрушивать на его голову громы и молнии, будучи озабочен лишь одним — народными бедствиями. Он жил на утесе, грезил, размышлял, мечтал, оставаясь спокойным среди лавины гнева и угроз. И он удовлетворен; ибо можно ли жаловаться, когда в течение двадцати лет подле тебя и с тобой были справедливость, разум, совесть, истина, право и море с его бесконечным гулом?

И, окутанный мраком, он был любим. Он чувствовал к себе не только ненависть; тайная любовь проникала к нему, согревая своими лучами его одиночество; он ощутил всю глубину теплоты кроткого и грустного народа; ему открылись сердца, и он благодарит необъятную человеческую душу. Он был любим издалека и вблизи. Подле него были неустрашимые товарищи по несчастью, упорствовавшие в своем долге, упрямо отстаивавшие право и истину, негодовавшие и улыбавшиеся бойцы: прославленный Вакери, превосходный Поль Мерис, стоический Шельшер, Рибейроль, Дюлак, Кеслер — все эти отважные люди, и ты, мой Шарль, и ты, мой Виктор... Я умолкаю. Оставьте мне эти воспоминания.

Автор все же не окончит этих страниц, не сказав о том, что в течение своего долгого и мрачного изгнания он ни на минуту не забывал о Париже.

Он утверждает, — а прожив так долго во тьме, он имеет на это право, — что, несмотря на тень, нависшую над Европой, несмотря на тучи, покрывшие Францию, Париж затмить нельзя. И это потому, что Париж — это рубеж, за которым скрыто грядущее.

Это — осязаемая грань, за которой идет неведомое. Будущее во всем том объеме, который можно предугадать в настоящем, — вот что такое Париж.

Все ищущие Прогресс останавливают свой взор на Париже.

Есть мрачные города; Париж — это город света.

Философ отчетливо различает этот свет в глубине своих снов.

XVI

Наблюдать за жизнью этого города, присутствовать при этом величии — волнующее зрелище для ума. Нет среды более обширной, нет перспективы более беспокойной и более великолепной. Те, кому пришлось в силу тех или иных жизненных случайностей перенестись от Парижа к океану, не увидели, испытав эту перемену, безграничного контраста. Впрочем, переход от необъятного множества людей к необъятному множеству воды не может изгладить того, что врезалось в память. И оставшееся позади видение, к которому память то и дело возвращается, становится расплывчатым, как облако, но все чаще и чаще навещает вас. Пространство бессильно его устранить. Ветер, дующий день и ночь, бесконечно чередующиеся ураганы со всех четырех стран света, вихри, шквалы и бури не способны унести с собой силуэт двух башен-близнецов и развеять контуры триумфальной арки, готической сторожевой вышки с ее набатными колоколами и высокой колоннады, опоясавшей грандиозный собор; и за последней, далекой гранью бездны, над пенными водоворотами и тонущими в них кораблями, сквозь яркие лучи, темные тучи и дыхание ветров вырисовывается из тумана

огромная тень безмолвного города. Изгнанник видит его величественный призрак. Так как Париж это не только город, а целое понятие, он вездесущ. Париж принадлежит парижанам и всему миру. Даже при желании из него нельзя выйти. Парижем можно дышать. Каждый живущий, даже не зная его, носит его в себе, а тем более те, кто с ним знаком. Суровое впечатление, оставляемое необузданным океаном, при этом воспоминании приобретает новую силу, подобно грозовой вспышке. Какая бы буря ни проносилась над морем, Париж испытал Девяносто третий год. Картина возникает сама собой, крыши встают как бы из волн, и весь город выходит из моря, сообщаящего ему свою трепетную бескрайность. В беспорядочном столкновении валов слышится шум людского муравейника на улицах. В этом есть дикая прелесть. Смотришь на море — и видишь Париж. Великая невозмутимость, свойственная большим просторам, не нарушает этого сна. Глубокое забвение, окружающее вас, не затрагивает его. Мысль постепенно успокаивается, но этому спокойствию не чужда взволнованность: сквозь плотную пелену мрака пробивается луч света, льющегося из-за горизонта и олицетворяющего собою Париж. О нем думаешь — стало быть, им обладаешь. Он неощутимо примешивается к вашим молчаливым размышлениям. Возвышенная тишина звездного неба не может растворить в душе стройного облика великого города. Его памятники, его история, его трудолюбивый народ, его женщины-богини, его дети-герои, его революции, начинающиеся с гневной вспышки и увенчивающиеся совершенством, святое всемогущество его умов, проносящихся в вихревом потоке, его мятежные примеры, его жизнь, его молодость — все это стоит перед взором изгнанника, и Париж остается незабываемым, неизгладимым и ненарушимым даже для человека, погруженного во мрак, — для того, кто проводит ночи в созерцании предвечного спокойствия и в чьей душе отражается глубокое оцепенение звезд.

Ноябрь 1875

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕРИИ

Джерси, 31 октября 1852

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ

Граждане!

Империя будет установлена в ближайшее время. Следует ли голосовать? Следует ли попрежнему воздерживаться от голосования? Вот вопрос, который нам задают.

В департаменте Сены многие республиканцы из числа тех, которые до сих пор воздерживались, как им и надлежало, от какого бы то ни было участия в действиях правительства господина Бонапарта, в настоящее время, по видимому, недалеко от мысли, что по случаю предстоящего установления империи было бы целесообразно использовать избирательное право для внушительной манифестации протеста жителей Парижа и что, пожалуй, гришло время участвовать в выборах. Они прибавляют, что голосование, каков бы ни был его исход, дало бы возможность определить силы республиканской партии: благодаря голосованию можно было бы подсчитать свои силы.

Они спрашивают у нас совета.

Наш ответ будет прост. И то, что мы скажем по поводу Парижа, в равной степени относится ко всем департаментам.

Мы не будем распространяться о том, что господин Бонапарт никогда не дерзнул бы объявить себя императором, не решив предварительно вкупе со своими сообщниками, на какую цифру ему угодно превысить те семь

с половиной миллионов голосов, которые он получил в памятный ему день 20 декабря. В настоящий момент эта цифра, будь то восемь, или девять, или десять миллионов, уже определена. Голосование здесь ничего не изменит. Не стоит напоминать вам, что такое «всеобщее избирательное право» господина Бонапарта, что такое выборы по способу господина Бонапарта. Манифестация протеста жителей Парижа или Лиона, подсчет сил республиканской партии — разве это возможно? Где гарантии тайны голосования? Где возможности проверки? Где счетчики голосов? Где свобода? Подумайте, ведь все это звучит насмешкой! Что даст избирательная урна? Волю господина Бонапарта — ничего другого. Господин Бонапарт крепко держит в своих руках ключи от всех избирательных урн, держит в своих руках все *за* и все *против*, держит в своих руках выборы. Когда работа префектов и мэров закончена, этот правитель с большой дороги запирается с глазу на глаз с ворохом избирательных бюллетеней и принимается их обрабатывать. Что для него прибавить или убавить столько-то голосов, исказить протокол, подмахнуть фальшивый итог, вставить вымышленные цифры? Ложь, иначе говоря, — сущий пустяк; подлог, иначе говоря, — ровно ничего.

Граждане, сохраним верность принципам. И вот что мы должны сказать вам: господин Бонапарт считает, что пришло время называться «его величеством». Он восставил папу римского не для того, чтобы дать ему лентяйничать. Бонапарт требует помазания и коронования. Со Второго декабря он обладает главным — деспотической властью. Теперь ему нужно еще и пышное слово — империя. Ну и пусть!

А мы, республиканцы, как мы должны поступить? Какой линии поведения держаться?

Граждане, Луи Бонапарт — вне закона; Луи Бонапарт — вне человечества. Все десять месяцев, что этот преступник у власти, право на восстание остается в силе и полностью определяет положение. Сейчас в сознании всех и каждого неумолчно звучит призыв к вооруженной борьбе. И мы можем быть спокойны: когда сердца исполнены негодования, руки быстро берутся за оружие.

Друзья и братья! Перед лицом этого гнусного правительства, воплощающего собой отрицание нравственности,

препятствующего всякому социальному прогрессу, перед лицом этого правительства — убийцы народа, убийцы республики и нарушителя законов, перед лицом этого правительства, порожденного грубою силой и обреченного погибнуть от грубой силы, правительства, которое было создано преступлением и должно быть свергнуто справедливостью, — француз, достойный имени гражданина, не знает и не хочет знать, происходят ли где-нибудь лжевыборы, разыгрывается ли где-нибудь комедия всеобщего голосования, пародируются ли призывы к нации; не осведомляется о том, существуют ли люди, которые голосуют, и люди, которые принуждают других людей голосовать, существует ли стадо, именуемое сенатом и заседающее, и другое стадо, именуемое народом и повинующееся; не спрашивает, совершит ли папа римский у главного алтаря Собора Парижской богородицы помазание человека, которого — не сомневайтесь, это неминуемо случится — палач рано или поздно пригвоздит к позорному столбу; перед лицом господина Бонапарта и его правительства гражданин, достойный этого имени, может и должен сделать лишь одно — зарядить ружье и ждать решающего часа.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА ПОЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Джерси, 29 ноября 1853 года

Изгнанники, братья!

Все движется, все идет вперед, все приближается, и — я говорю вам это с чувством огромной радости — уже становятся различимыми предвестники великого пришествия. Да, радуйтесь, изгнанники всех наций, или, точнее говоря, изгнанники единой великой нации, той нации, которая объединит весь человеческий род и будет называться Всемирной Республикой. Радуйтесь! В прошлом году мы могли высказывать лишь слабую надежду, в этом году мы уже можем говорить о ней почти как о действительности. В прошлом году, в это же время, в этот же день, мы ограничивались словами: «Идея возродится». В этом году мы можем сказать: «Идея возрождается». Но как она возрождается? Каким образом? Кто ее возрождает? Именно это и достойно восхищения.

Граждане! Есть в Европе человек, чей гнет тяготеет над всей Европой. Он одновременно и духовный князь и светский государь, деспот и самодержец, ему повинуются в казармах, его обожают в монастырях. Он стоит на страже запретов и догматов. Чтобы задавить свободу на континенте, он приводит в движение целую империю с шестидесятимиллионным населением. Подвластные ему шестьдесят миллионов он зажал в кулак, словно это не люди, а скоты, словно это не мыслящие существа, а орудия. Силою своей двойной власти, духовной и военной, он надел мундиры не только на их тела, но и на души.

Он приказывает: «Наступайте!» — и надо наступать. Он приказывает: «Верьте!» — и надо верить. В политике этот человек олицетворяет Самодержавие, в религии — Православие; он — наивысшее выражение человеческого всемогущества; по собственной прихоти он подвергает страшным мучениям целые народы; достаточно ему сделать знак (и он его делает), чтобы Польша была изгнана в Сибирь; по своему усмотрению он скрещивает, спутывает и связывает нити огромного заговора монархов против народов; будучи в Риме, он, папа греческой церкви, как союзник расцеловался с папой латинской церкви; он царствует в Берлине, Мюнхене, Дрездене, Штутгарте и Вене так же, как и в Санкт-Петербурге; он — душа австрийского императора и воля прусского короля; старая Германия превратилась в баржу, тянущуюся за ним на буксире. Этот человек напоминает древнего царя царей. Он — Агамемнон новой троянской войны, которую люди прошлого ведут против людей будущего; он являет собой дикую угрозу мрака свету, полночи полдню. Сказанное мною об этом всемогущем чудовище можно резюмировать в нескольких словах: император, подобный Карлу V, папа, подобный Григорию VII, он держит в своих руках крест, переходящий в меч, и скипетр, переходящий в кнут.

Этот государь и самодержец, поскольку народы позволяют некоторым людям называться так, Николай российский, является в данное время олицетворением деспотизма. Он — глава деспотизма, Луи Бонапарт — лишь одна из его масок. С неотвратимостью, присущей повелениям судьбы, встают две возможности: Европа республиканская или Европа казацкая. Николай российский воплощает Европу казацкую. Николай российский противостоит Революции.

Граждане, именно над этим следует поразмыслить. Историческая неизбежность всегда найдет свое выражение. Но каким путем? Вот что примечательно, и к этому я хочу привлечь ваше внимание.

Казалось, что торжество на стороне Николая. На Европу снова стал давить деспотизм, старое подштукатуренное здание, выглядевшее более прочным, чем когда бы то ни было, на фундаменте из десяти замученных наций, увенчанное преступлением Луи Бонапарта. А Франция,

та Франция, которую Шекспир, великий английский поэт, называл «солдатом господа бога», лежала поверженная, обезоруженная, связанная по рукам и ногам, побежденная. Казалось, ничто не помешает Николаю насладиться победой. Но со времен Петра царей обуревают два стремления: абсолютизм и завоевания. Первое было удовлетворено, Николай стал мечтать об осуществлении второго. В тени его трона — я чуть было не сказал: у его ног, — был униженный монарх, дряхлеющая империя и обессиленный из-за слабой связи с европейской цивилизацией народ. Николай сказал себе: «Удобный момент настал» — и протянул руку к Константинополю, стремясь вонзить когти в эту желанную добычу. Забыв о чувстве достоинства, стыда, уважения к себе и другим, этот человек грубо выставил напоказ перед всей Европой самую циничную наготу своего честолюбия. Он, колосс, злобно напал на развалины, набросился на того, кто падал, и радостно говорил себе: «Захватим Константинополь, это и легко, и несправедливо, и выгодно». Но что же произошло, граждане? Султан поднялся.

За свое вероломство и жестокость Николай получил в противники отчаяние — великую силу. Революция, эта усыпленная молния, пробудилась. И вот — послушайте, ибо это величественно: случилось так, что оскорбленный, униженный, удрученный, доведенный до отчаяния турок, этот хилый и тщедушный государь, это умирающее существо, которого Николай, казалось, мог уничтожить одним своим дуновением, этот султанишка, получивший пощечину от Меншикова и удар хлыста от Горчакова, бросился на эту молнию и завладел ею. Теперь он держит ее, потрясает ею над головой, — и роли переменялись. Теперь уже трепещет Николай, троны охвачены смятением, австрийский и прусский послы покидают Константинополь, формируются польские, венгерские, итальянские легионы, приходят в движение Румыния, Трансильвания и Венгрия, поднимается Черкесия, содрогается Польша, ибо все — и народы и короли — поняли, что за ослепительное пламя сияет на востоке, и они хорошо знают, что в руке отчаявшейся Турции сверкает не старая зазубренная сабля Оттоманов, а великолепная молния революции!

Да, граждане! Это революция перешла через Дунай. От поступи ее содрогнулись Рейн, Тибр, Висла и Сена.

Изгнанники, участники всех битв, мученики, не знающие отдыха, рукоплещите началу этого необъятного шествия, — его теперь ничто не в силах остановить. Все нации, которые казались мертвыми, поднимают голову. Пробуждение народов подобно пробуждению львов.

Война разразилась из-за ключей гробницы, которыми хотели обладать все. О какой гробнице, о каких ключах идет речь? Этого-то короли и не знают. Граждане, эта гробница — гигантская могила, куда заточена Республика, уже поднявшаяся во мраке и готовая выйти. В чьи же руки попадут ключи от этой гробницы? Друзья, их оспаривают друг у друга короли, но получит их народ.

Все уже предрешено, я настаиваю на этом. Отныне никакие переговоры, ноты, международные соглашения, ультиматумы и ложные перемирия ничего не смогут изменить. То, что должно было свершиться, — свершилось, то, что началось, — будет завершено.

В отчаянии султан ухватился за революцию, и революция его держит. Теперь он уже не в силах освободиться от грозного помощника, которого призвал. Даже если бы он этого захотел, он не смог бы. Когда смертный берет себе в помощники архангела, тот уносит его на своих крыльях.

Поразительный факт! Быть может, султану выпал жребий смести все троны. (*Возглас: «Включая и свой».*) И все эти действия, на которые толкают султана, оказывается, вызваны царем. Не кто иной, как царь, сам того не желая, вызовет падение тронов, из обломков которых возникнет Союз Объединенных Народов. Европа казацкая породит Европу республиканскую. В данный момент, граждане, величайший революционер Европы — это Николай российский. И разве я был не прав, говоря вам, что путь, каким провидение проявляет свою волю, достоин восхищения? Да! Провидение несет нас сквозь мрак в будущее. Смотрите, слушайте, — разве вы не видите, каким грозным становится это всеобъемлющее движение? Мрачный шабаш абсолютизма рассеивается, словно ночной призрак. На горизонте зашатались ряды виселиц, кладбища то вырисовываются смутно перед нами, то исчезают, мученики поднимаются из своих могил, все кружится в вихре мрака. Слышится чей-то таинственный возглас: «Ура! Ура! Королям приходит конец!»

Изгнанники, будем ждать своего часа. Он скоро пробьет, готовьтесь. Он пробьет для всех наций, он пробьет и для нас. Тогда не дрогнет ни одно сердце. Тогда и мы выйдем из могилы, которая зовется изгнанием. Мы оживим все кровавые и священные воспоминания; из самых далеких глубин массы поднимутся против деспота. Право, справедливость и прогресс победят, потому что самое величественное и самое грозное из всех знамен — это саван, в котором короли пытались заживо похоронить свободу!

Граждане! Из глубины изгнания, в котором мы еще пребываем, пошлем радостный клич будущему, через все потрясения и войны обратимся с приветствием к благословенной заре Соединенных Штатов Европы! Вот когда настанет великолепное претворение мечты! Нет больше границ, таможен, войн, армий, пролетариата, невежества, нищеты. Конец преступному угнетению, узурпаторской власти. Богатства умножены. Проблема народного благосостояния решена наукой. Труд, право, долг, согласие между всеми народами, любовь между всеми людьми, наказания заменены воспитанием. Меч и сабля сломаны. Права провозглашены и не доступны ничьим посягательствам. Право мужчины на верховную власть, право женщины на равенство, право ребенка на образование. Единственный двигатель — мысль, единственный раб — материя. Управление на основе гармонии общественных законов с законами природы, то есть никакой другой власти, кроме прав человека. Вот, граждане, чем станет, быть может даже завтра, Европа; картина эта, при виде которой сердца ваши трепещут от радости, — только быстрый и неполный набросок. Изгнанники! Благословим же наших отцов в их могилах, благословим славные даты, которые блистают на этих стенах, благословим священное шествие идей. Прошлое принадлежит королям, оно зовется Варварством. Будущее принадлежит народам, оно зовется Человечностью.

ПИСЬМО ЛОРДУ ПАЛЬМЕРСТОНУ

Милостивый государь!

Я хочу довести до вашего сведения ряд фактов, которые совершились за последние годы на острове Джерси.

Пятнадцать лет тому назад Калио, убийца, был приговорен к смерти и помилован. Восемь лет тому назад Тома Николь, убийца, был приговорен к смерти и помилован. Три года тому назад, в 1851 году, Жак Фуке, убийца, был приговорен к смерти и помилован. Для всех этих преступников смертная казнь была заменена ссылкой. Чтобы добиться помилования, во всех этих случаях достаточно было петиции жителей острова.

Добавлю к этому, что в 1851 году Эдуард Карлтон, который убил свою жену при ужасающих обстоятельствах, тоже был приговорен только к ссылке.

Вот что произошло за последние пятнадцать лет на острове, с которого я вам пишу.

Следствием этих знаменательных фактов было уничтожение основания виселицы на старом лобном месте в Сент-Элье; сейчас на Джерси нет палача.

Теперь оставим Джерси и обратимся к Гернсею.

Тэпнер, убийца, поджигатель и вор, был приговорен к смертной казни. В настоящее время, милостивый государь, — в случае надобности только что приведенных мною фактов будет достаточно, чтобы доказать это, — каждый честный и здравомыслящий человек сознает, что смертная казнь должна быть отменена: когда осудили Тэпнера, поднялось возмущение, посыпались петиции; под одной из них, настойчиво ссылающейся на принцип

неприкосновенности человеческой жизни, стоят подписи шестисот наиболее просвещенных жителей острова. Заметим, кстати, что только трое из священников многочисленных христианских сект, на которые распадается сорокатысячное население Гернсея, поставили свою подпись под этими петициями. Все остальные отказались подписаться. Эти люди, вероятно, не знают, что крест — не что иное, как виселица. Народ кричал: «Помиловать преступника!», священник крикнул: «Смерть ему!» Пожалеем этого священника и будем продолжать. Петиции переданы вам, милостивый государь. Вы предоставляете отсрочку. В подобных случаях отсрочка означает замену смертной казни ссылкой. Весь остров вздыхает с облегчением: виселица возведена не будет. Ничуть не бывало. Виселица возведена. Тэпнер повешен.

И это после того, как исполнение приговора было отложено.

Почему?

Почему Гернсею отказывают в том, что столько раз даровалось Джерси? Почему просьбу одних удовлетворяют, а просьбу других оставляют без внимания? Почему там помилование, а здесь палач? Почему такое различие там, где всегда было полное равенство? Какой смысл в этой отсрочке, которая сделала кару еще более тяжелой? Неужели здесь скрывается тайна? Зачем же нужно было откладывать исполнение приговора?

Милостивый государь, ходят такие слухи, которым я отказываюсь верить. Нет, невозможно, чтобы то, о чем говорят, было правдой. Как! Неужели в глухом уголке Европы даже самый безвестный голос, если это голос изгнанника, не может попросить помилования приговоренного к смерти человека так, чтобы господин Бонапарт не услышал этот голос, так, чтобы господин Бонапарт не вмешался, так, чтобы господин Бонапарт не наложил свою лапу?! Как! Господину Бонапарту мало того, что у него есть гильотина в Белле, гильотина в Драгиньяне и гильотина в Монпелье, ему хочется еще иметь виселицу на Гернсее! Как! Неужели в этом случае вы, милостивый государь, побоялись, став на сторону изгнанника, навлечь на себя неудовольствие тирана? Неужели повешение человека было услугой, а виселица — любезностью, неужели вы сделали это, чтобы «поддержать дружеские отноше-

ния»? Нет, нет, нет! Я не верю этому, не могу поверить, я не допускаю даже этой мысли, хотя она и вызывает во мне содрогание!

Ваша королева имеет право помилования; так неужели же господин Бонапарт перед лицом великой и благородной английской нации имеет право вето? Неужели, кроме всемогущего на небе, есть всемогущий и на земле? Нет!

Однако французским газетам было запрещено писать о деле Тэпнера. Я констатирую этот факт, хотя и не делаю из него никаких выводов.

Как бы то ни было, вы приказали — так гласит ваша депеша, — чтобы «правосудие свершилось»; как бы то ни было, все кончено; как бы то ни было, Тэпнер после трех отсрочек — три раза исполнение приговора откладывалось¹ — повешен вчера, 10 февраля; и на тот случай, если слухи, которым я не хочу верить, на чем-нибудь основаны, я посылаю вам, милостивый государь, отчет о событиях этого дня. Если понадобится, вы сможете отправить его в Тюильри. Эти подробности не вызовут отвращения у империи Второго декабря; император с радостью воспарит от подобной победы. Ведь это такой орел, который любит летать вокруг виселиц.

Уже несколько дней осужденный был в состоянии душевного смятения. В понедельник 6 февраля произошел следующий разговор между ним и одним посетителем: «Как вы себя чувствуете?» — «Я боюсь смерти больше чем когда-либо». — «Вы боитесь казни?» — «Нет, не этого... Но оставить детей!» И он заплакал. Затем он добавил: «Почему мне не дают времени раскаяться?»

В последнюю ночь он несколько раз прочитал пятьдесят первый псалом. Потом, полежав немного на койке, бросился на колени. Священник подошел к нему и спросил: «Сознаете ли вы, что нуждаетесь в прощении?» Он ответил: «Да». Тот же священник спросил опять: «За кого вы молитесь?» Осужденный сказал: «За моих детей». Затем он поднял голову, лицо его было залито слезами, он остался стоять на коленях. Услышав, как пробило четыре часа утра, он обернулся и сказал тюремщикам: «Мне осталось жить еще четыре часа, но что станет с моей

¹ С 27 декабря до 3 февраля, с 3 февраля до 6 февраля, с 6 февраля до 10 февраля. (Прим. авт.)

несчастной душой?» Начались приготовления; его обрядили как полагается. Палач на Гернсее работает мало; осужденный тихо спросил у помощника шерифа: «А сумеет ли он как следует сделать свое дело?» — «Будьте спокойны», — ответил помощник шерифа. Вошел королевский прокурор; осужденный протянул к нему руку; занималась заря; он посмотрел на посветлевшее окно камеры и прошептал: «Мои дети!» И принялся читать книгу под названием: «Веруйте и живите».

С самого рассвета около тюрьмы собралась огромная толпа. К тюрьме примыкает сад. Там построили эшафот. В стене сделали пролом, чтобы провести через него осужденного. В восемь часов утра, когда толпа наводнила соседние улицы и двести «привилегированных» зрителей собрались в саду, осужденный показался в проломе стены. Он шел твердыми шагами, высоко подняв голову; он был бледен, красные круги от бессонных ночей окаймляли его глаза. За последний месяц он постарел на двадцать лет. Этот тридцатилетний человек казался пятидесятилетним. «На голове его был белый колпак из бумажной ткани, приподнятый на лбу, — говорит очевидец, — он был одет в тот же коричневый сюртук, в котором был на суде, и обут в старые туфли». Он обошел часть сада по дорожке, специально для этого случая посыпанной песком. Его окружали конвойные, шериф, помощник шерифа, королевский прокурор, писарь и судебный пристав. Руки его были связаны, плохо связаны, как вы увидите дальше, хотя, по английскому обычаю, не только кисти рук удерживались на груди веревкой, но и локти были стянуты за спиной. Он шел, не спуская глаз с виселицы. На ходу он громко повторял: «О, мои бедные дети!» Рядом с ним шел капеллан Бувери, отказавшийся подписать просьбу о помиловании, и плакал. Посыпанная песком дорожка вела к лестнице. С перекладины свисала петля. Тэпнер поднялся по лестнице. Палач дрожал, — ведь палачи низшего разряда иногда бывают взволнованы. Тэпнер сам встал под петлю и просунул в нее шею, и так как руки его были связаны слабо, он, видя, что растерявшийся палач плохо справляется со своим делом, сам помог ему. Потом, «как будто предчувствуя, что должно произойти», говорит тот же очевидец, он сказал: «Свяжите же мне руки покрепче». — «Это ни к чему», — ответил

палач. Пока Тэпнер стоял так, с ногами на крышке люка, с петлей на шее, палач надвинул ему на лицо колпак, оставив открытыми только бледные губы, шептавшие молитвы. Люк, готовый раскрыться под ним, был размером около двух квадратных футов. Через несколько секунд, приблизительно столько, сколько нужно было, чтобы повернуться, палач нажал пружину. Под осужденным открылась дыра, он сразу провалился туда, веревка натянулась, тело начало вращаться, всем показалось, что человек уже мертв. «Полагали, — говорит очевидец, — что смерть наступила мгновенно от разрыва спинного мозга». Он ведь упал с высоты четырех футов, а это был человек высокого роста. И тот же очевидец добавляет: «Зрители вздохнули с облегчением, однако не более, чем на две минуты». Вдруг человек — еще не труп, но уже призрак — зашевелился; ноги его поднялись и опустились одна за другой, словно пытаясь подняться по несуществующим ступеням, та часть лица, которая не была закрыта колпаком, стала страшной, руки, почти свободные, расходились и расходились, «как будто моля о помощи», говорит очевидец. Ремень, стягивавший локти, лопнул во время падения. От его судорожных движений веревка начала колебаться, локти несчастного задела край люка, он уцепился руками за этот край, оперся на него правым коленом, тело приподнялось, и повешенный наклонился над толпой. Потом он снова упал, и все началось сначала. «Это повторилось два раза», — говорит очевидец. Во второй раз он приподнялся на целый фут; веревка на мгновение ослабла. Затем он сдвинул колпак, и толпа увидела его лицо. Очевидно, это продолжалось слишком долго. Нужно было кончать. Палач, который спустился с эшафота, снова взошел на него и — я все еще цитирую очевидца — заставил несчастного «выпустить край люка». Веревка сдвинулась, она очутилась под подбородком, палач перевел ее за ухо и навалился на плечи осужденного. Несколько секунд палач и призрак боролись друг с другом. Палач одержал верх. Потом этот несчастный, тоже осужденный, бросился в люк, где висел Тэпнер, охватил его колени и повис на его ногах. Веревка с минуту качалась под тяжестью осужденного и палача, преступления и закона. Наконец палач выпустил свою жертву. Все было кончено. Человек был мертв.

Как видите, милостивый государь, все обошлось прекрасно. Лучшего нельзя было и ожидать. Если этой казнью хотели вызвать крик ужаса, то цель достигнута.

Так как город построен амфитеатром, сцену казни можно было видеть из всех окон. Все взоры были устремлены в сад.

Толпа кричала: «Shame! Shame!»¹ Многие женщины потеряли сознание.

В это время Фуке, тот, кого помиловали в 1851 году, раскаивается. Палач превратил Тэпнера в труп, милосердие снова превратило Фуке в человека.

Последняя подробность.

С того момента, когда Тэпнер упал в отверстие люка, и до того, как палач, когда прекратились судорожные движения осужденного, выпустил его ноги, прошло двенадцать минут. Двенадцать минут! Представить себе, сколько это составляет времени, мог бы только тот, кто знает, на каких часах отмеряются минуты агонии!

Вот, милостивый государь, как был казнен Тэпнер. Его казнь обошлась в пятьдесят тысяч франков. Не слишком ли это роскошно?²

Некоторые сторонники смертной казни говорят, что можно было устроить это удушение за «двадцать пять фунтов стерлингов». Зачем же так скупиться? Пятьдесят тысяч франков! Если подумать, то это не так уж дорого; дело-то ведь сложное.

Зимой в некоторых кварталах Лондона живые существа группами жмутся по углам улиц, у дверей и проводят так дни и ночи, мокрые, голодные, замерзшие, без крова, без одежды и обуви, под снегом и дождем. Эти существа — старики, дети и женщины, почти все ирландцы, как и вы, милостивый государь. Зимней стуже они могут противопоставить только жизнь на улице, снегу — свою наготу, голоду — соседнюю кучу отбросов. Вот с этих-то бедняков государство и взимает пятьдесят тысяч франков,

¹ Позор! Позор! (англ.)

² «Палач Рукс уже стоил казне около двух тысяч фунтов стерлингов» («Гернсейская газета» от 11 февраля). Руксу еще не приходилось никого вешать, Тэпнер был первой его жертвой. В последний раз жители Гернсея видели виселицу двадцать четыре года тому назад. Она была поставлена для убийцы по имени Беасс, казненного 3 ноября 1830 года. (Прим. авт.)

уплаченных палачу Руксу. На эти пятьдесят тысяч франков можно было бы в течение целого года содержать сотню таких семейств. Но ведь лучше убить человека!

Те, кто думает, что палач Рукс допустил какую-нибудь неловкость, повидимому ошибаются. В том, как был казнен Тэпнер, нет ничего необычного. Так все и должно было произойти. Некто Тауэл недавно был повешен лондонским палачом, который в отчете, лежащем сейчас у меня перед глазами, охарактеризован следующим образом: «Мастер среди палачей, знаменитость, у которого нет соперников в его малозавидной профессии». И что же, то, что произошло с Тэпнером, произошло и с Тауэлом¹.

Несправедливо было бы утверждать, что в случае с Тэпнером не все было предусмотрено. В четверг 9 февраля несколько приверженцев смертной казни осматривали в саду уже совсем готовую виселицу. Будучи знаатоками в таких делах, они заметили, что «веревка была толщиной с большой палец руки, а узел петли величиной с кулак». Об этом сообщили королевскому прокурору, и тот велел заменить толстую веревку более тонкой. На что же можно жаловаться?

Тэпнер целый час оставался на виселице. По истечении часа его сняли и в восемь часов вечера похоронили на так называемом кладбище для иностранцев, около казненного в 1830 году Беасса.

Но осуждено еще одно существо. Это жена Тэпнера. Прощаясь с ним, она два раза теряла сознание; второй раз обморок продолжался полчаса; думали, что она умерла.

Вот как — повторяю, милостивый государь — умер Тэпнер.

И еще факт, которого я не могу от вас утаить, — все местные газеты единодушно заявляют: «В нашей стране больше не будет смертной казни, мы больше не потерпим у себя эшафота».

¹ «Лестница упала, и у несчастного прежде всего начались ужасные конвульсии. Все его тело задергалось. Мышцы рук и ног сократились, потом ослабли, сократились еще раз, опять ослабли, снова сократились, и только после этого третьего усилия повешенный превратился в труп» («Казнь Тауэла». Издание Торна, Чарлз-стрит).

«Хроника Джерси» от 11 февраля добавляет: «Казнь была ужаснее преступления».

Боюсь, что, сами того не желая, вы отменили смертную казнь на Гернсее.

Я предлагаю вам, кроме того, подумать над следующим местом из письма, которое мне написал один из самых уважаемых жителей острова: «Возмущение достигло пределов, и если бы всем было видно, что делается под виселицей, то произошло бы «нечто серьезное» — зрители попытались бы спасти того, кого подвергали такой пытке».

Сообщаю вам эти возмущенные отклики.

Но вернемся к Тэпнеру.

«Теория устрашения примером» удовлетворена. Опечален только тот, кто мыслит; он спрашивает себя — это ли называется «свершением правосудия»?

Нужно думать, что мыслитель неправ. Казнь была страшна, но и преступление было гнусно. Должно же общество защищаться, не правда ли? До чего бы мы дошли, если бы и т. д. и т. д.? Дерзость злоумышленников не знала бы предела. Убийства и грабежи стали бы обычным явлением. Репрессии необходимы. Словом, это ваше мнение, милостивый государь, — Тэпнеров надо вешать, если только они не императоры.

Да свершится воля сильных мира сего!

Идеологи, мечтатели, странные фантазеры, различающие добро и зло, не могут без волнения исследовать некоторые стороны проблемы человеческих судеб.

Почему Тэпнер, вместо того чтобы убить одну женщину, не убил их триста и не добавил к этой груде тел еще несколько сотен стариков и детей? Почему, вместо того чтобы взломать дверь, он не нарушил присягу? Почему, вместо того чтобы стащить несколько шиллингов, он не украл двадцать пять миллионов? Почему, вместо того чтобы поджечь дом г-жи Сожон, он не обстрелял картечью Париж? Он имел бы тогда посла в Англии.

Хорошо было бы все же несколько уточнить, с какого момента Тэпнер перестает быть бандитом, а Шиндерхан-нес становится политическим деятелем.

Послушайте, милостивый государь, ведь это ужасно. Мы с вами занимаем бесконечно малое место в пространстве. Я — только изгнанник, вы — только министр.

Я — пепел, вы — пыль. Песчинки могут беседовать друг с другом, ничтожные могут говорить друг другу правду. Так знайте же: какой бы блистательный успех ни имела теперь ваша политика, как бы почетен для вас ни был союз с господином Бонапартом, какой бы честью для себя вы ни считали идти с ним нога в ногу, каким бы шумным и великолепным ни было ваше общее торжество в турецком вопросе, — милостивый государь, эта веревка, которую затягивают на шею человека, этот люк, открывающийся под его ногами, эта надежда, что он, падая, сломает себе позвоночник, это лицо, синеющее под зловещей тенью виселицы, эти налитые кровью глаза, которые внезапно выскакивают из орбит, этот язык, высушенный из гортани, этот предсмертный рев, подавляемый петлей, эта обезумевшая душа, которая бьется о кости черепа, не в силах вырваться, эти дергающиеся в судорогах колени, ищущие точки опоры, эти связанные немые руки, сложенные в мольбе о помощи, и другой человек, исчадие мрака, тот, кто бросается на эти предсмертные судороги, цепляется за ноги несчастного и вешается на повешенного, — милостивый государь, это страшно. И если бы, против ожидания, слухи, которым я не хочу верить, оправдались, если бы человек, вцепившийся в ноги Тэпнера, оказался господином Бонапартом — это было бы чудовищно. Но, повторяю, я этому не верю. Вы не поддались никакому влиянию; вы сказали: «Пусть свершится правосудие», вы отдали этот приказ, как отдали бы всякий другой; разговоры о смертной казни мало вас трогают. Повесить человека — все равно что выпить стакан воды. Вы не сознаете всего значения этого факта. Это несерьезность государственного деятеля, больше ничего. Милостивый государь, оставьте ваше легкомыслие для земных вещей, пусть оно не касается вечности. Поверьте, не нужно играть с такими глубинами; не бросайте в них ничего от себя. Это неосторожно. К этим глубинам я ближе вас, я их вижу. Берегитесь. *Exsul sicut mortuus*¹. Я говорю с вами из загробного мира.

Вот еще! Подумаешь! Повесили человека, — ну и что же? Мы свернем веревку, разберем виселицу, зароем

¹ Изгнанник подобен мертвецу (лат.).

труп, — велика важность! Мы постреляем из пушек, на востоке появится легкий дымок, и всякие разговоры прекратятся. Гернсей, Тэпнер, — чтобы разглядеть все это, нужен микроскоп. Господа, эта веревка, эта перекладина, этот труп, эта еле различимая ничтожная виселица, все эти мелочи — ведь это бесконечность. Это социальный вопрос, который важнее вопросов политических. Более того — это уже не относится к земле. Ваши пушки, ваша политика, ваш дым — ничто перед этим. Убийца, который за один день превращается в убитого, — вот что страшно; душа, которая между двумя вашими зваными обедами улетает, держась за конец веревки виселицы, — вот грозное событие. Сильные мира сего, вы, между делом подписывая бумаги и улыбаясь, небрежно нажимаете большим пальцем руки в белой перчатке пружину виселицы, и лестница ускользает из-под ног повешенного. Этот люк — знаете ли вы, что это такое? Это бесконечность, которая открывается перед вами, это непроницаемое и неизведанное, это великий мрак, неожиданно и грозно отверзающийся перед вашим ничтожеством.

Продолжайте. Хорошо. Посмотрим, как действуют представители старого мира. Раз прошлое упорно не хочет уходить, полюбуемся на него. Посмотрим подряд на все его воплощения: в Тунисе — это кол; у царя — это кнут; у папы — это гаррота; во Франции — это гильотина, в Англии — это виселица, в Азии и Америке — это торговля рабами. Но все это исчезнет! Мы, анархисты, демагоги, кровопийцы, мы объявляем это вам, хранителям старого, вам, его спасителям: свобода человека свята, ум человека велик, жизнь человека священна, душа человека божественна. Вешайте же теперь!

Берегитесь. Будущее приближается. Вы считаете живым то, что умерло, и считаете умершим то, что живо. Старый мир еще стоит на ногах, но, говорю вам, он мертв. Вы обманулись. Вы поймали призрак во мраке и обручились с ним. Вы поворачиваетесь спиной к жизни, — она сейчас поднимается позади вас. Когда мы произносим эти слова — прогресс, революция, свобода, человечество, — вы улыбаетесь, несчастные, и указываете нам на мрак, который нас окружает и в который погружены и вы. Но в самом деле, знаете ли вы, что такое этот мрак? Так знайте же: скоро он породит великие и сияющие идеи. Вчера

демократией была Франция, завтра ею будет вся Европа. Минует затмение, и чудесное светило засияет еще ярче.

Примите, милостивый государь, уверения в моем совершенном почтении.

Виктор Гюго.

Марин-Террас, 11 февраля 1854

ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА 24 ФЕВРАЛЯ 1848 ГОДА

24 февраля 1854 года

Граждане!

Знаменательная дата — это идея, превратившаяся в цифру. Это победа, выраженная и запечатленная в лучезарном числе, которое вовек будет сиять в памяти людей.

Вы только что славили 24 февраля 1848 года. Вы восхваляли знаменательную дату прошлого; позвольте мне обратиться к знаменательной дате будущего!

Позвольте мне обратиться к этой еще неведомой сестре 24 февраля, к этой дате, которая даст свое имя грядущей революции и с нею отождествится.

Позвольте мне всеми силами своего духа устремиться к этой грядущей дате.

Да будет она овеяна таким же величием, как памятная дата прошлого, но да будет она счастливее!

Да будут те, для кого она воссияет, стойки и честны, добры и великодушны, справедливы, полезны обществу и победоносны, и да получают они иную награду, нежели изгнание!

Да будет их участь счастливее нашей!

Граждане! Пусть эта грядущая дата явится днем окончательного торжества! Пусть продолжит дело, начатое памятной датой прошлого, но пусть завершит его.

Пусть, подобно 24 февраля 1848 года, она несет с собой радость и братство, но вместе с тем пусть она станет символом отваги и достижения цели! Пусть она смотрит на Европу так же, как некогда смотрел на Европу Дантон!

Подобно февральской дате, пусть уничтожит она монархию во Франции, но пусть уничтожит ее и на

континенте! Пусть не обманет надежд! Пусть установит повсюду вместо божественного права право человека! Пусть бросит народам клич: «Воспряньте!» Воспрянь, Италия! Воспрянь, Польша! Воспрянь, Венгрия! Воспрянь, Германия! Воспряньте, народы, во имя освобождения! Пусть грядущая дата звуком своих сигнальных рожков возвестит утреннюю зорю! Пусть объявит миру, что день занялся! Пусть трубным сигналом пробудит народы, скованные тяжелым сном, и поднимет их с долгого ночного привала!

О, час близок! Я уже говорил вам, граждане, и твердо стою на этом: когда произойдут решающие столкновения, когда Франция встретится с Россией и Австрией лицом к лицу и вступит с ними в рукопашный бой, когда начнется великая война, тогда, граждане, вы увидите — светоч революции зажжется! Революции, и только ей, дано будет поразить монархов старого континента. Империя — это ножны, республика — это меч.

Итак, приветствуем знаменательную дату будущего! Приветствуем революцию, уже близкую, приветствуем таинственного друга, имя которому — грядущее!

Да будет эта дата славной! Да будет революция, уже близкая, непобедимой! Да создаст она Соединенные Штаты Европы!

Подобно февралю, пусть распахнет она врата будущего, но пусть замкнет навек страшные врата прошлого! Пусть выкует для них замок из всех тех цепей, в которых томились народы, замок столь же тяжелый, как тяжела была тирания!

Подобно февралю, пусть подымет она из праха и водрузит на алтарь священный треножник Свобода — Равенство — Братство, но пусть зажжет на этом треножнике, озаряя им весь мир, светоч, имя которому — Человечество, дабы сиянием своим он вдохновлял мыслителей и ослеплял тиранов! Подобно февралю, пусть снесет она политическую гильотину, восстановленную декабрьским Бонапартом, но заодно пусть снесет и социальную гильотину! Не забывают, граждане, — нож социальной гильотины занесен над головой пролетария! Нет хлеба для семьи — и нет света для ума; отсюда заблуждение, отсюда преступление.

Однажды вечером, когда мгла уже сгущалась, я пошел к гильотине, только что кончившей свою работу на Гревской площади. Два столба поддерживали еще дымившийся нож. Я спросил у первого столба: «Как твое имя?» Он ответил: «Нужда». Я спросил у второго: «Как твое имя?» Он ответил: «Невежество».

Пусть грядущая революция, пусть грядущая великая дата вырвет эти столбы и снесет этот эшафот!

Подобно февралю, пусть подтвердит она права человека, но пусть провозгласит также права женщины и установит права ребенка, иными словами — равенство для одной, право на образование для другого.

Подобно февралю, пусть отвергнет она конфискацию и насилие, пусть, не обездоливая никого, щедро наделит всех! Пусть не будет направлена против богатых, но пусть послужит ко благу бедных! Путем широчайшей экономической реформы, путем более совершенного понимания права на труд, путем широчайшего развития учетных и кредитных учреждений, путем уничтожения безработицы, путем отмены внешних и внутренних таможен, путем расширения денежного обращения, путем упразднения постоянных армий, которые, не считая огромных сумм, поглощаемых войнами, стоят Европе четыре миллиарда в год; путем полного использования богатств почвы, путем лучшего уравнивания производства и распределения — этих двух потоков, пульсирующих в артериях общества, путем усиления обмена, этого неиссякаемого источника жизни, путем коренного преобразования всей денежной системы — мощного рычага, способного устранить всякую нужду, и, наконец, путем производства в грандиозных размерах неведомых ранее богатств, создание которых наука уже и сейчас постигает и объявляет возможным, — пусть водворит она во всем мире благоденствие материальное, духовное и моральное!

Сокрушить, разгромить, бесследно уничтожить, стереть с лица земли все древние, обесчестившие себя учреждения — вот политическая миссия грядущей даты; но пусть осуществит она одновременно свою социальную миссию — дать хлеб труженикам! Пусть сохранит юные души от просвещения — я обмолвился: от развращения — их иезуитами и церковниками, но пусть создаст на широчайшей

основе обучение бесплатное и обязательное для всех! Знаете ли вы, граждане, что нужно цивилизации, чтобы стать гармоничной? Мастерские, несметное множество мастерских! Школы, несметное множество школ! Мастерская и школа — вот та, выполняющая двойную задачу, лаборатория, которая двояким образом служит человеку, питая и его телесную жизнь и духовную! Пусть не будет больше голодных ртов! Пусть не будет больше темных умов! Пусть исчезнут из речи человеческой эти два позорные, обиходные, почти что вошедшие в поговорку выражения, которые каждый из нас неоднократно произносил в своей жизни: *этому человеку нечего есть, этот человек не умеет читать*, — выражения, подобные двум тусклым отблескам застарелой, неизбывной нищеты.

И, наконец, пусть, подобно 24 февраля, эта великая дата грядущего, эта предстоящая революция будет во всех смыслах движением вперед, но пусть не ступит она ни шагу назад! Пусть не скрестит руки, пока не доведет дело до конца! Пусть ее последним словом будет: всеобщее избирательное право, благоденствие для всех, мир для всех, свет для всех!

Когда нас спрашивают: «Что вы разумеете под всемирной республикой?» — мы отвечаем: «Все эти блага!» Кто за это? (*Дружные возгласы: «Все!»*)

А теперь, друзья, эта дата, которую я призываю, дата, которая вкупе с великим днем 24 февраля 1848 года и с грандиозным днем 22 сентября 1792 года составит огненный треугольник революции, — когда же наступит она, эта третья дата, величайшая из всех? Какой год, какой месяц, какой день она обессмертит? Из каких цифр составит она в сокрытом туманном ряду чисел? Далеко ли они от нас или близко, эти цифры, которые еще окутаны мглой, но в будущем засияют ярчайшим светом? Граждане, уже теперь, уже сейчас, в ту минуту, когда я говорю, они начертаны на одной из страниц книги будущего, но перст господень еще не раскрыл книгу на этой странице. Мы ничего не знаем, мы размышляем, мы ждем; все, что мы можем сказать и повторять, сводится к одному: нам мнится, великая дата освобождения приближается. Еще не различить цифр, но они уже излучают сияние.

Изгнанники! Подыдем головы, чтобы эти лучи озарили наши лица; подыдем головы, чтобы, когда народы спросят: «Что за ясный свет сияет на челе этих людей?» — мы могли ответить:

«Это свет грядущей революции!»

Подыдем головы, изгнанники; и, как мы столь часто это делали, воодушевляясь нашей глубокой верой, будем приветствовать будущее!

Будущее носит различные имена. У слабых имя ему — *невозможное*, у робких — *немыслимое*, у мудрецов и у смелых — *идеал*.

Невозможное!

Немыслимое!

Как! Навсегда покончить с нищетой мужчин, притеснением женщин, невежеством детей — это объявляют невозможным?

Как! Создать Соединенные Штаты Европы, союз свободных и суверенных государств, связанных между собой центральным Собранием, которое через океан сноситя с Соединенными Штатами Америки, — это объявляют немыслимым?

Как! То, к чему стремился Иисус Христос, якобы невозможно?

То, что создал Вашингтон, якобы немыслимо?

Нам возражают — а период ломки, а родовые муки? А буря при переходе от старого мира к новому? Весь континент преображается! Весь континент рождается вновь! Вы представляете себе эту грозную картину? Отчаянное сопротивление королевских тронов, бешенство могущественных каст, ярость армий! Король защищает свой цивильный лист, священник — доходы от треб, судья — свое жалованье, ростовщик — свои долговые расписки, эксплуататор — свои привилегии. Какие коалиции! Какая борьба! Какие ураганы! Какие сражения! Какие препятствия! Готовьтесь к тому, что из ваших глаз польются слезы! Готовьтесь к тому, что из ваших вен заструится кровь! Остановитесь! Отступите!

Молчите, слабые и робкие! Невозможное — это расклеванная докрасна полоса железа; мы перегрызем ее. Немыслимое — это густой мрак; мы прорвемся сквозь него. И мы завоюем тебя, идеал!

Да здравствует грядущая революция!

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ ФЕЛИКСА БОНИ

27 сентября 1854 года

Граждане!

Погиб еще один из тех, для кого изгнание было равносильно смертному приговору.

Еще один изгнанник умер совсем молодым, как Элен, как Буске, как Луиза Жюльен, как Гафне, как Издебский, как Кове! Феликсу Бони, покоящемуся в гробу перед нами, было двадцать девять лет.

О, горе! Гибнут и дети. Прежде чем дойти до этой могилы, мы остановились у другой, тоже только что вырытой, и похоронили там сына нашего товарища по изгнанию Эжена Бове; несчастного младенца убили страдания, которые перенесла его мать, и он умер, едва вступив в жизнь.

Так, на тяжком пути, которым мы идем среди мрака, человек во цвете лет и младенец падают наземь, нам под ноги.

Феликс Бони был солдатом; ему пришлось подчиниться чудовищному, кровавому закону, называемому воинской повинностью, — закону, во имя которого человека отрывают от плуга и отдают мечу.

Он был рабочим. Болезни, безработица, труд за ничтожную плату, эксплуатация, торг из-за каждого гроша, паразитическое прозябание, нищета — он прошел все семь кругов ада, уготованного пролетарию. Как видите, этот человек, совсем еще молодой, претерпел все бедствия, и никакие несчастья не могли его сломить.

После Второго декабря он был изгнан.

Почему? За какое преступление?

Он совершил то же преступление, что и я, говорящий здесь с вами, что и вы, слушающие меня. В республике он был республиканцем; он верил, что тот, кто дал клятву, должен ее сдерживать, что ни один человек, даже если он принц или считает себя таковым, не освобождается от обязанности быть порядочным человеком, что солдаты должны повиноваться конституции, что судьи должны уважать законы. Он исповедовал эти странные идеи — и восстал, чтобы отстоять их. Как и все мы, он взял в руки оружие, чтобы защищать законность. Свою грудь он сделал щитом конституции. Словом, он исполнил свой долг. Вот за что его покарали; вот за что его

изгнали, вот за что ему «вынесли обвинительный приговор», как выражаются недостойные судьи, вершащие суд от имени обвиняемого Луи Бонапарта.

Он умер; умер от тоски по родине, как те, другие, которые до него легли здесь в могилу; умер, задохнувшись на чужбине; умер вдали от родного города, вдали от старушки матери, вдали от своего ребенка. Его смертная мука — ибо смертная мука начинается со дня изгнания — длилась три года; он ни разу не дрогнул. Вы все его знали, все его помните! Ах! У него было мужественное, стойкое сердце!

Да уснет он навеки в этом суровом покое! И да обретет, хотя бы в могиле, то благо, которое при жизни было для него светлым идеалом. Смерть дарует всеобщее братство.

Изгнанники, теперь, когда наш друг умер, теперь, когда еще один из наших соратников покоится в гробу, пересчитаем уцелевших; перед лицом смерти сомкнем наши ряды, словно солдаты перед картечью; сейчас на глазах у нас слезы, но на устах — улыбка; настал час высшего единения. Закалим нашу республиканскую совесть! На пороге мрака, куда, быть может, мы все сойдем один за другим, не увидев вновь милую нам родную землю, укрепим нашу веру в бога и прогресс; во имя доблести, верности и самопожертвования — объединимся на этой тайной вечере с дорогими нам усопшими! Да просветлится наш дух мыслью о смерти!

Да, воздух изгнания убивает. Здесь гибнут многие, очень многие. Изгнанник борется со смертью, сопротивляется ей, пытается ее одолеть. Изнемогая, падает у моря, обращает взор в сторону Франции — и погибает. После него те, что остались в живых, продолжают борьбу; но брешь, именуемая изгнанием, постепенно заполняется трупами.

Все — благо. И вот этим (*оратор указывает на могилу*) искупается вот это (*оратор простирает руку в сторону Франции*). В то время как столько людей, у которых при желании нашлись бы силы для борьбы, принимают рабство и с ярмом на шее покоряются торжеству вероломства — гнусная и жалкая покорность! — в то время как несметные толпы идут стезей позора, — изгнанники идут стезей смерти! Все — благо!

О друзья мои, какая щемящая боль!

Так пусть же по крайней мере, пока не пришел еще день, когда они восстанут, пока не пришел еще день, когда в них заговорит совесть, пока не пришел еще день, когда в них вспыхнет омерзение, — пусть народы, ныне поверженные наземь, одни крепко связанные, другие, что еще хуже, одурманенные, третьи, и это самое худшее, распростертые ниц, — пусть все они глядят, как во мгле, подъяв чело ввысь, молча уходит в пустыню изгнания гордая колонна людей, исторгнутых из Франции, колонна, в предшестве гробов держащая путь к будущему!

Будущее! Это слово невольно вырвалось у меня. Знаете ли вы, почему? Потому, что оно выражает мысль, которая неизбежно приходит в том овеянном тайною месте, где мы сейчас находимся; ведь у края отверзтой могилы хорошо видно будущее. С этой насыпи взору открываются и глубины божественных замыслов и бескрайние просторы устремлений человеческих. В наши дни, когда у Свободы, Истины и Справедливости руки скручены за спиной, когда их всенародно истязают на площадях — Свободу секут и хлещут плетью солдаты, Истину — священники, Справедливость — судьи; в наши дни, когда мысль, возвещенная самим богом, подвергается пыткам, — бог нисходит к людям: он — на площади, где его подвергают бичеванию, и, можно сказать, да, поистине можно сказать, он вместе с нами страдает и исходит кровью. Вот почему мы вправе здесь, в месте вечного успокоения, исследовать раны человеческие. К тому же отнюдь не предосудительно на могиле, особенно на могиле мученика, говорить о надежде. Так вот, я говорю вам, потому что особенно ясно это видишь с края отверзтой могилы, — надейтесь! Повсюду во мраке мерцает свет — и в Испании, и в Италии, и всего заметнее на Востоке. Пожар — вопят близорукие политики, заря — восклицаю я!

Этот свет на Востоке, еще неяркий, для нас неведом и полон тайны. Изгнанники, смотрите на него неотрывно! Там брезжит заря будущего.

Позвольте мне со всей серьезностью, уместной в присутствии оплакиваемого нами друга, который слышит нас (*оратор указывает на гроб*), позвольте мне поговорить с вами о тех событиях, которые ныне происходят,

и о тех, которые подготавливаются, поговорить свободно, с полной откровенностью, как подобает тем, кто, будучи уверен в своей правоте, уверен в будущем. Нам иногда говорят: «Берегитесь! Ваши слова чересчур смелы! Вам не хватает осторожности». Но разве сейчас дело в осторожности? Сейчас дело в мужестве. В часы борьбы не на жизнь, а на смерть — слава тем, у кого речь без предосторожностей и сабля без ножен.

К тому же монархами уже завладел рок. Не сомневайтесь в этом.

Положение вещей в настоящее время определяют два факта: союз двух держав и война. Что означают для нас эти два факта?

Согласен, сейчас нам не внушает особого восторга эта кажущаяся дружба Фонтенуа с Ватерлоо — дружба, из которой, повидимому, возникла какая-то Англо-Франция. Бесстрастные, безмолвные свидетели, мы равнодушно взираем, как хор льстецов, следующий за всеми пышными шествиями и теснящийся у двери всех тех, кому повезло, как этот хор по обе стороны Ламанша, подхватывая в Лондоне строфу, только что пропетую в Париже, славит великолепный союз, благодаря которому нынче венсенский стрелок прогуливается на солнышке в обнимку с английским гвардейцем, французский матрос — в обнимку с английским матросом, голубая шинель — в обнимку с красным мундиром, и, несомненно, в могильном склепе Наполеон раскрывает объятия Гудсону Лоу!

Это зрелище нас не волнует. Но пусть не заблуждаются насчет того, что мы думаем. Мы, люди Франции, мы любим людей Англии; желтые и зеленые линии, уродующие карту обоих полушарий, для нас не существуют. Мы, республиканцы-демократы-социалисты, одинаково отвергаем и те перегородки, которыми разобщены касты, и те порожденные былой слепотой человечества предрассудки, которыми разобщены народы. Мы особенно ценим благородный, свободный английский народ, которому принадлежит такая прекрасная доля в общей работе, выполняемой человечеством во имя цивилизации; мы знаем, как высоко стоит этот великий народ, у которого были Шекспир, Кромвель и Ньютон; мы запросто уселись у его очага — и при этом не считаем себя его должниками,

ибо наше пребывание служит к его чести; в вопросе установления общего согласия, важнейшем из всех, мы идем несравненно дальше того, о чем мечтали дипломаты: мы хотим не только союза Франции с Англией — мы хотим союза, объединяющего всю Европу, и союза Европы с Америкой, и союза, объемлющего весь мир! Мы — противники войны; мы — страстотерпцы всеобщего братства; мы несем людям свет и жизнь; мы боремся и со смертью, сооружающей эшафоты, и с мрачной косностью, порождающей границы между народами; в наших глазах народы уже ныне слились в единый народ, как в будущем люди сольются в единое человечество; наша цель — всемирная гармония в лучах света, озаряющего вселенную; и все мы, здесь присутствующие, все с радостью отдали бы свою кровь ради того, чтобы хоть немного приблизить час, когда великий мир между всеми нациями будет скреплен священным поцелуем.

Итак, пусть приверженцы англо-французского союза не истолковывают мои слова превратно. Я подчеркиваю — мы, республиканцы, более чем кто-либо хотим создания таких союзов; ибо, повторяю, единение народов, и в еще большей мере единение всего человечества, — вот символ наших чаяний. Но мы хотим, чтобы в этих союзах была внутренняя чистота, подлинная близость, глубокое взаимопонимание; хотим, чтобы они были плодотворны, согласны с законами нравственности — иначе они не будут действительны, и честны — иначе они будут непрочны; хотим, разумеется, чтобы в основе их лежали реальные интересы, но прежде всего — братство во всех его видах, созданных прогрессом и свободой; хотим, чтобы они были как бы итогом великого движения к свету; хотим, чтобы там не было ни унижения одних, ни самоотречения других; чтобы никто из их участников не таил своих мыслей о будущем и не страшился призраков прошлого, мы считаем, что презрение правительств друг к другу, пусть даже затаенное, плохо скрепляет взаимное уважение народов; словом, мы хотим, чтобы на лучезарных фронтонах зданий этих союзов высились мраморные статуи, а не идолы, слепленные из грязи.

Мы хотим договоров за подписью Джорджа Вашингтона, а не наспех сфабрикованных фальшивок за подписью Бонапарта.

Союзы, подобные тому, который мы видим сейчас, мы считаем гибельными для обоих участников, для тех двух народов, которыми мы восхищаемся и которые нам дороги, даже для обоих правительств, хотя о них-то, правда, мы беспокоимся меньше всего. Так ли уж хорошо известно, чего хотят здесь, так ли уж хорошо известно, что предпримут там? На наш взгляд, каждая из сторон в сущности не очень-то доверяет другой, и резонно; одной из них мы скажем, что у купца всегда на уме выгодная торговая сделка, а другой — что у предателя всегда на уме предательство.

Все ли понятно теперь?

Насколько нас не трогает наспех состряпанный союз, настолько нас волнует происходящая ныне война. Да, мы в неизъяснимом волнении, с надеждой и одновременно с тревогой следим за этой последней авантюрой монархии, за этой безрассудной распрей из-за какого-то ключа, которая уже поглотила не один миллион золота и тысячи человеческих жизней. Война, в которой интриги важнее битв, в которой турки выказывают все большую храбрость, Второе декабря — все большую подлость, Австрия — все большую робость перед Россией; война, убивающая без орудийных залпов, — ведь наши храбрые солдаты, пришедшие из мастерских и хижин, гибнут — увы! — бесславно, и трупы этих страдальцев даже не окружены печальным ореолом смерти на поле брани; война, где до сих пор, кроме чумы, не побеждал никто, где бюллетени издавал только тиф и лишь холера может похвастать Аустерлицем; война темная, запутанная, мятущаяся, полная попятных движений, роковая; война столь таинственная, что ее не понимают даже те, кто ее ведет, — так сильно в ней вмешательство провидения; грозная загадка, которую в своем ослеплении задали монархи и разгадать которую может только революция!

Сегодня, в этот час, в ту самую минуту, когда я говорю, разворачиваются последние перипетии трагической борьбы; позор, постигший нас на Черном море, — очевидно, отзвук полного разгрома на Балтийском море; а поскольку, что ни говорите, такие народы, как Англия и Франция, не могут бесконечно и безнаказанно подвергать себя унижениям, развязку пытаются ускорить, идут на рискованный шаг. Граждане! Эта война не выдала свою

тайну под Кронштадтом, раскроет ли она ее под Севастополем? Кто падет? Кто отслужит благодарственный молебен? Этого никто еще не знает. Но помните, изгнанники: что бы ни произошло, как бы ни обернулись события, деспотизм рушится и, рушась, раздавит либо Николая, либо Бонапарта. Это — я повторяю слова, которые сказал год назад, — это конец смертных мук Европы. Удар, наносимый в эту минуту, неизбежно вызовет спустя недолгое время падение одного из императоров — либо сибирского, либо кайенского, то есть обоих, ибо, валясь наземь, одна из двух подпор виселицы народов не может не увлечь за собой другую.

А что же тем временем делают оба деспота? Они улыбаются в бездумном спокойствии, упиваясь жалким всемогуществом человеческим. Они улыбаются грозному будущему! Они дремлют, убаюканные чудовищной, уродливой беспредельностью своего самодовольного полновластия; им даже не приходит фантазия приобрести ту незавидную личную славу, которая так легко достается монархам; их даже не заботят мучения исстрадавшихся масс, которые они именуют своими армиями. В то время как в угоду им и по их вине тысячи людей умирают на смрадных подстилках в холерных бараках; в то время как пылает Варна, дымится подожженная снарядами Одесса, горит на севере Кола, на юге Сулина, на Силистрию градом сыплются ядра и бомбы; в то время как в ответ на жестокости, учиненные в Синопе, совершаются зверства в Бомарзунде; в то время как взрываются пороховые башни, корабли, объятые огнем, гибнут в пучине, а покойницкие русских госпиталей завалены трупами; в то время как войска идут форсированным маршем по Добрудже, в то время как в Костенджи на них обрушиваются неслыханные бедствия, а на смертоносной стоянке в Карвалыке целые полки тают и гибнут, — что делают оба царя? Один наслаждается прохладой в летнем своем дворце, другой наслаждается морскими купаньями в Биаррице.

Нарушим этот сладостный покой.

О народы! Над сложными комбинациями, над интригами и сговорами, над происками дипломатов, над войнами, над всеми животрепещущими вопросами — турецким, греческим, русским, над всем тем, что делают или

мечтают сделать монархи, — над всем этим кружат преступления.

Не дадим заглушить клич протеста, призывающий к возмездию; не дадим отвлечь нас от нашей великой цели. Все еще нужно твердить: Нерон здесь! Говорят, поколения быстро забывают. Так слушайте же! Жертвы произвола требуют от нас, мученики из глубины могил взывают к нам: во имя святости права, во имя чистоты совести человеческой — воскресим горестные воспоминания и будем без усталости беречь эти раны в памяти всех и каждого!

О народы! Наш долг — неумолчно повторять грозный, мрачный обвинительный акт! В настоящее время самодержцы и тираны торжествуют на всем европейском континенте. Они засыпали картечью Палермо, засыпали картечью Брешию, Берлин, Вену, Париж; они учиняли расстрелы в Анконе, расстрелы в Болонье, расстрелы в Риме, расстрелы в Араде, расстрелы в Венсенне, расстрелы на Марсовом поле; они поставили виселицу в Пеште, эшафот в Милане, гильотину в Беле; они оборудовали пловучие тюрьмы, заполнили одиночные камеры, битком набили узниками казематы, снова использовали давно уже пустовавшие «каменные мешки»; они превратили пустыню в каторжную тюрьму; они призвали к себе на помощь снега Тобольска, лихорадку Ламбессы, тиф, свирепствующий на островке Мэр; они конфисковали, разоряли, секвестрировали, отбирали; они изгоняли, высылали, ссылали, под стражей отправляли людей на чужбину, разлучали их с родиной; и когда всё это было сделано, когда они наступили пятой на грудь человечества и услышали его предсмертный хрип, они радостно воскликнули: «Кончено!»

А сейчас они веселятся на банкете в огромном зале. Вот они — победители, упоенные удачей, всемогущие; у каждого на голове корона, лавровый венок вокруг чела; это роскошный свадебный пир. Здесь сочетаются браком монархия и бандитизм, королевская власть и убийство из-за угла, божественное право и лживая присяга, все то, что они именуют августейшим, со всем тем, что мы называем гнусным; отвратительный и пышный союз; у подножья их тронов гремят фанфары; все измены и все подлости поют свадебную песнь. Да, деспоты

торжествуют; да, деспоты ликуют; да, они и их приспешники, они и их сообщники, они и их придворные угодники, они и их придворные угодницы — все они горды, счастливы, довольны, сыты, раскормлены, все кичатся своей мишурной славой, — но что все это перед лицом извечной справедливости? Угнетенные народы, час возмездия близок! Присмотритесь к этому празднеству поближе: горят все лампы и все люстры, неумолчно гремит оркестр, везде блестит золото, сверкают брильянты, колышутся плюмажи; холуи в парадных мундирах, холуи в сутанах, холуи в судейских мантиях простираются ниц; монархи, облаченные в пурпур, хохочут и поздравляют друг друга; но говорю вам — час пробьет; уже в глубине зала сгущается мрак, и — вы видите? — из этого грозного мрака позади пиршественных столов встает Революция, вся израненная, но живая, с печатью на устах, но страшная, и неотрывно глядит на вас, народы! Она простирает вперед свои окровавленные руки и грозно колышет над головами пирующих священные лоскуты — обрывки саванов погибших борцов!

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА

29 ноября 1854 года

Изгнанники!

Славная годовщина, которую мы празднуем сегодня, воскрешает в наших сердцах память о Польше; положение в Европе заставляет нас думать о ней в связи с современными событиями.

В каком смысле? Попытаюсь сказать вам об этом.

Но сперва рассмотрим это положение.

При той остроте, которую оно приобрело сейчас, и перед лицом предстоящих решающих событий необходимо точно установить факты.

Прежде всего покончим с неким заблуждением, почти всеобщим.

Благодаря темной пелене, которую французское правительство коварно набросило на возникновение этого дела, а английское правительство услужливо сгустило, сейчас в Англии, как и во Франции, зачинщиком Восточ-

ной войны, великого бедствия, постигшего весь континент, обычно объявляют императора Николая. Это ошибка. Восточная война — преступление, но в этом преступлении повинен отнюдь не Николай; у него их и без того хватает. Восстановим истину.

Выводы сделаем потом.

Граждане! Второго декабря 1851 года — ведь нужно всегда обращаться к этой дате, и покуда господин Бонапарт у власти, все события неизменно будут возникать из этого ужасного источника и все события, каковы бы они ни были, будут пропитаны его ядом и, следовательно, пагубны, отравлены, тлетворны, — итак, второго декабря господин Бонапарт сделал то, что всем вам известно. Он совершил преступление, воздвиг на нем трон и уселся на этот трон. Шиндерханнес объявил себя Кесарем; но Кесарю нужен Петр. Когда становишься императором, согласие народа не много значит; важно другое — согласие папы. Быть клятвопреступником, изменником, убийцей — еще не все: нужно вдобавок быть помазанным на царство. Бонапарт Великий был коронован папой. Бонапарт Малый захотел того же.

Весь вопрос был в том, согласится ли папа.

Императорского адъютанта, некоего де Котта, человека, вхожего в церковные круги, послали к Антонелли, этому Консальви нашего времени. Адъютант не достиг большого успеха. Пий VII освятил миропомазанием Маренго; Пий IX не решался освятить им бульвар Монмартр. Смешать с этой кровью и грязью древнее римское миро — дело серьезное. Папа соорил брезгливую мину; Бонапарт в затруднении. Что делать? К чему прибегнуть, чтобы уломать Пия IX? Как улещают девку? Как улещают папу? Подносят подарок. Вот как делается история.

Изгнанник Бьянки. Вот каковы нравы церкви!

Виктор Гюго (*прерывая свою речь*). Вы правы. Давно уже Иеремия крикнул Иерусалиму, давно уже Лкстер крикнул Риму: «Блудница!» (*Продолжает свою речь.*) Итак, господин Бонапарт решил сделать подарок господину Мастаи.

Какой подарок?

В этом — разгадка всей авантюры.

Граждане, в настоящее время мы имеем двух пап — папу католического и папу православного. Православный

папа, именуемый также царем, давит на султана мощью всей Российской империи. Но властвуя над Иудеей, султан тем самым владеет гробом господним. Обратите внимание на это обстоятельство. На протяжении столетий обе церкви, православная и католическая, стремятся получить свободный доступ к этому гробу, чтобы совершать там богослужение, но не рядом, в братском согласии, а на основе вытеснения одного вероисповедания другим: либо православных — латинянами, либо латинян — православными. Перед лицом этих противоположных домогательств — какую позицию занимал ислам? Он поддерживал равновесие между враждующими сторонами, то есть держал врата закрытыми и не давал доступа к гробу господню ни православному кресту, ни католическому, ни Москве, ни Риму. Великое огорчение, особенно для римского папы, притязающего на главенство. Следовательно, рассматривая вопрос в принципе и независимо от личности господина Бонапарта, какой подарок нужно сделать папе римскому, чтобы убедить его помазать на царство и короновать первого попавшегося бандита? Задайте этот вопрос Макьявелли, он ответит: «Нет ничего проще. Склонить иерусалимские весы в сторону Рима, положить конец унижительному равенству православного и католического креста у гроба господня, дать западной церкви попруть восточную, открыть святые врата для одной и закрыть их для другой, унижить православного папу, словом — дать ключ от гроба господня папе римскому».

Вот что ответил бы Макьявелли. Вот что сообразил господин Бонапарт. Вот что он сделал. Вы помните — это называлось спором о святых местах.

Завязали интригу. Сначала втайне. Константинопольский агент господина Бонапарта, де Лавалетт, явился к султану и от имени своего повелителя потребовал, чтобы ключ от гроба господня был вручен папе римскому. Слабовольный султан, смущенный этим требованием, терзаемый опасением, что гибель ислама близка, метался из стороны в сторону, страхась Николая, страхась Бонапарта, не зная, какого императора слушаться; в конце концов он не устоял и отдал ключ. Бонапарт поблагодарил, Николай рассердился. Православный папа послал в сераль своего полномочного легата Меншикова, который

явился туда с хлыстом в руке. В возмещение за ключ, отданный господину Бонапарту для папы римского, он потребовал нечто более существенное — уступки султаном едва ли не всей оставшейся ему суверенной власти. Султан ответил отказом. Франция и Англия поддерживали его. Остальное вы знаете. Вспыхнула Восточная война,

Вот факты.

Воздадим кесарю кесарево, и пусть не достанется Николаю то, что принадлежит Второму декабря. Все произошло из-за того, что Бонапарт непременно хотел быть помазанным на царство. Отсюда все дальнейшее — и тяжба о святых местах и спор о ключе.

Результаты этого спора налицо.

Сейчас в Малой Азии, на Аландских островах, на Дунае, на Черной речке, на Белом и Черном морях, на севере и на юге города, еще несколько месяцев назад процветавшие, обращаются в пепел и прах.

Сейчас сожжен Синоп, сожжен Бомарзунд, сожжена Силистрия, сожжена Варна, сожжена Кола, пылает Севастополь. Сейчас французы, англичане, турки, русские — тысячами, а скоро их будут сотни тысяч — убивают друг друга на востоке, среди дымящихся развалин. Араб приходит с Нила затем, чтобы его убил татарин, пришедший с Волги; казак приходит из степей затем, чтобы его убил шотландец, пришедший с гор. Батареи одних громят батареи других, пороховые погреба взлетают на воздух, рушатся бастионы, обваливаются редуты, пушечные ядра пробивают суда; в траншеях — солдаты под градом бомб, на бивуаках — под ливнями. Вместе с картечью тиф, чума и холера косят осаждающих и осажденных, поражают лагеря, флоты, гарнизоны, город, где терпит смертную муку гражданское население — старики, женщины, дети. Снаряды сыплются на госпитали. В одном из госпиталей вспыхивает пожар, и бюллетень сообщает, что две тысячи раненых «сгорели заживо». Бури тоже делают свое дело, благо сейчас их время. Турецкий фрегат «Багира» гибнет в пути, двухпалубный египетский корабль «Абад-и-Джихад» с экипажем в семьсот человек тонет неподалеку от Энияды, порывы ветра сносят мачты кораблей, неприятель пускает ко дну винтовой пароход «Принц», фрегат «Нимфа морей» и еще четыре военных корабля. «Сан-Паррейль», «Самсон», «Агамемнон» во время шторма разби-

ваются о подводные камни. «Ретрибюшен» спасается тем, что пушки сбрасывают в море; вооруженный ста орудиями «Генрих IV» гибнет вблизи Евпатории; вестовое судно «Плутон» теряет оснастку, тридцать два битком набитых людьми транспорта выбрасываются бурей на берег и бесследно исчезают. На суше бои день ото дня становятся более ожесточенными; русские прикладами добивают раненых; к концу дня груды мертвых и умирающих мешают пехоте маневрировать. Вечером вид поля битвы приводит полководцев в содрогание. Трупы англичан и французов так тесно сплетены с трупами русских, словно они зубами впились друг в друга. *«Я никогда не видел ничего подобного!»* — воскликнул старый лорд Раглан, — а он видел Ватерлоо! И ведь это еще не предел; сообщают, что против злосчастного города будут применены «новые средства», которые держатся про запас и одна мысль о которых вызывает ужас. Истребление — вот боевой клич этой войны. В одной только пресловутой траншее гибнет по сто человек в день. Рекой льется кровь человеческая; река крови при Альме, река крови под Балаклавой, река — под Инкерманом. 20 сентября убито пять тысяч человек, 25 октября — шесть тысяч, 5 ноября — пятнадцать тысяч. И это еще только начало! Посылают армии, они тают. Ну что ж! Шлите другие! Луи Бонапарт повторяет бывшему генералу Канроберу бессмысленные, нелепые слова, сказанные Филиппом IV Спиноле: *«Маркиз, возьми Бреду!»* Вчера Севастополь был раной, сегодня он — гнойная язва, завтра станет раковой опухолью, и эта опухоль пожрет Францию, Англию, Турцию и Россию. Вот она, Европа королей! О будущее! Когда же ты дашь нам Европу народов?

Я продолжаю.

После каждого сражения на судах перевозят раненых; от этих перевозок нас бросает в дрожь. Я приведу только те цифры, которые мне известны, а я не знаю и десятой доли всех данных: четыреста раненых на «Панаме», четыреста сорок девять на «Коломбо», тащившем за собой на буксире два судна, тоже груженных ранеными, о численности которых у меня нет сведений; далее — четыреста семьдесят человек на «Вулкане», полторы тысячи на «Кенгуру». Людей, раненных в Крыму, перевязывают в Константинополе. Двести морских миль — неделя от

ранения до перевязки. В пути, на море, запущенные раны становятся ужасными. Изувеченные люди, которых на корабле оставляют без врачебной помощи, без всякого ухода, лежат вповалку и видят своими глазами, как черви, зловещие обитатели могил, выползают из их разорванных ног, из вдавленных ребер, из расколотых черепов, из развороченных внутренностей; и среди этой жуткой кишашей нечисти раненые гниют заживо, прежде чем испустить дух в смрадных трюмах госпитальных судов, в этих огромных общих могилах, битком набитых умирающими, которых пожирают черви.

Я ничуть не преувеличиваю. Вот английские газеты — газеты, поддерживающие министерство. Прочтите сами. (*Оратор потрясает связкой газет.*) Да, повторяю, в пути — никакой помощи. Четыре хирурга на «Вулкане», четыре на «Коломбо» — это на девятьсот девятнадцать умирающих.

Что до турок, им вообще не делают перевязок. Пусть обходятся как могут!

Да, я знаю — я отъявленный демагог, жаждущий крови, но я предпочел бы, чтобы в Булонском лагере было меньше ящиков с освященными образками, а в крымских лагерях больше врачей.

Я продолжаю.

В Европе, в Англии, во Франции — война ужасающим образом даст себя знать. Банкротства следуют за банкротствами, вся деловая жизнь замерла, торговля при последнем издыхании, промышленность гибнет. Безумства войны становятся явными, трофеи предъявляют счет. Если вычислить стоимость одних только операций на Балтийском море, то окажется, что каждый из двух тысяч русских пленных, вывезенных из Бомарзунда, обошелся Франции и Англии в триста тридцать шесть тысяч франков. Во Франции — нищета. Чтобы уплатить налоги, крестьянин продает свою корову; чтобы питать войну, он отдает в солдаты своего сына, плоть от плоти своей! Как этот солдат называется, вы знаете, — имя ему дал дядя Луи Бонапарта. Каждый режим видит человека под своим углом зрения. Республика говорит: плоть от плоти народа. Империя говорит: пушечное мясо.

Голод довершает нищету. Воюют с Россией, поэтому привоз зерна из Одессы прекратился и нехватает хлеба.

В народе под пеплом тлеет мятежный дух Бюзансе; искры его вспыхивают то здесь, то там. В Булони — голодный бунт, подавленный жандармами; в Сен-Брие женщины, дойдя до отчаяния, рвут на себе волосы, ножницами вспарывают кули с зерном. Один рекрутский набор следует за другим, один заем — за другим. В нынешнем году взяли в солдаты сто сорок тысяч человек, и это лишь начало! Вслед за полками в бездонной пропасти гибнут миллионы франков. Кредит тонет вместе с кораблями. Вот каково положение вещей.

Все это идет от Второго декабря.

Мы, изгнанники, чьи сердца обливаются кровью при мысли о всех ранах нашей родины и о всех страданиях человечества, мы с возрастающей тревогой взираем на это страшное положение. Так будем же твердить, повторять, вопить, пусть весь мир знает и отныне уже не забудет; я сейчас доказал это с фактами в руках, это непреложная истина, история подтвердит ее, и никто, решительно никто, кто бы он ни был, не сможет это опровергнуть — все идет от Второго декабря.

Отбросьте интригу, именуемую спором о святых местах, отбросьте ключ, отбросьте блажь миропомазания, отбросьте подарок папе, отбросьте Второе декабря, отбросьте господина Бонапарта — и нет более Восточной войны!

Да, два флота, самые мощные, какие только есть во всем мире, унижены, разгромлены; да, храбрая английская кавалерия истреблена; да, эти горные львы, шотландцы в серых мундирах, да, наши зуавы, наши спаги, наши венсенские стрелки, наши несравненные, невозместимые африканские полки изрублены, искрошены, уничтожены; да, эти ни в чем не повинные народы — наши братья, ибо нет для нас чужеземцев — перебиты; да, среди множества других принесены в жертву старый генерал Кэткарт и молодой капитан Нолэн, гордость английского офицерства; да, клочья мозга и внутренностей, вырванные шрапнелью и раскиданные во все стороны, висят в кустарнике вблизи Балаклавы, прилипают к стенам Севастополя; да, ночью поля сражений, усеянные умирающими, воют, как дикие звери; да, после побоища луна освещает страшную инкерманскую бойню, где среди мертвецов блуждают, с фонарем в руках,

женщины, разыскивая своих мужей и братьев, совсем как те, другие женщины, которые три года назад, в ночь с 4 на 5 декабря, осматривали один за другим трупы, лежавшие на бульваре Монмартр; да, эти бедствия захлестнули Европу; да, эта кровь, вся эта кровь льется в Крыму; да, эти вдовы плачут, да, эти матери ломают руки, потому что господину Бонапарту, убийце Парижа, угодно, чтобы миропомазание над ним совершил и на царство его благословил господин Матаи, душитель Рима!

А теперь — призадумаемся минуту-другую, благо есть над чем.

Бесспорно, если среди отважных французских полков, которые плечом к плечу с храбрыми английскими войсками сражаются под Севастополем со всей русской армией, если среди этих отважных воинов есть кое-кто из малодушных солдат, которые в декабре 1851 года, обманутые бесчестными генералами, повиновались злодейским приказам тех, кто устроил западню, — то при одной мысли об этом глаза наши туманятся слезами, наши честные французские сердца обливаются кровью, ведь это — сыновья крестьян, сыновья рабочих; мы молим о милосердии к ним, мы говорим: их опоили, они были слепы, были невежественны, они не знали, что делают; и, воздевая руки к небу, мы умоляем его сжалиться над этими несчастными. Солдат подобен ребенку: энтузиазм делает его героем, пассивное повиновение может сделать его бандитом; когда он герой — славу у него воруют другие; так пусть же, когда он бандит, его вина тоже падет на других!

Да, перед лицом таинственного возмездия, ныне начавшегося, мы взываем: боже, пощади солдат, — а с начальниками поступи по своей воле!

Да, изгнанники, предоставим отмщение судье. Смотрите! Восточная война — я сейчас напомнил вам об этом — не что иное, как все то же Второе декабря, шаг за шагом, от превращения к превращению дошедшее до своего логического конца — европейского пожара. Головокружительные глубины искупления! Второе декабря обратилось против самого себя, и теперь, после того как оно убивало наших соратников, расправляется со своими собственными приверженцами. Три года назад Второе де-

кабря называлось государственным переворотом и убило Бодена; сегодня оно называется Восточной войной и умерщвляет Сент-Арно. Пуля, в ночь на 5 декабря, по приказу Лурмеля, сразившая перед Монторгейльской баррикадой Дюссу, — эта пуля, повинаясь неведомому грозному закону, делает во мраке рикошет и настигает Лурмеля в Крыму. Все это совершается помимо нас. Это зловещий блеск молнии, это удар, разящий из мрака, это десница божья.

Справедливость — теорема; возмездие непоколебимо, как постулаты Эвклида. Преступление имеет свои углы падения и свои углы отражения, и нас, людей, пронизывает трепет, когда во мраке судеб человеческих мы смутно различаем линии и фигуры той грандиозной геометрии, которую толпа именует случаем, а мыслители — провидением.

Отмечу мимоходом, в виде курьеза, что ключ оказался бесполезным. Видя, что Австрия колеблется, и к тому же, вероятно, чуя близкое падение, папа продолжает пятиться от господина Бонапарта. Тот не хочет скатиться от господина Мастаи к господину Сибуру, — отсюда следует, что корона еще не возложена папой на его голову и возложена не будет, ибо сквозь все это слышится грозный смех провидения.

Граждане! Я обрисовал вам положение. Теперь — этим я хочу закончить, и это снова приводит меня к основному предмету нашего торжественного собрания: какой найти выход из этого положения, столь трудного для обеих великих наций, столь грозного для них, ибо для Англии на карте стоят ее торговля и ее владения на Востоке, а для Франции — ее честь и ее жизнь? У Франции есть выход: освободить себя, рассеять кошмар, сбросить империю, навалившуюся ей на грудь, и своим освобождением снова достичь победы, могущества, главенства. У Англии есть другой путь — кончить тем, с чего ей следовало начать: отныне наносить царю удары не в каблук его сапога, как она делает сейчас, а в самое сердце, то есть поднять Польшу. Здесь, на этом же месте, ровно год назад я, как вы помните, дал Англии этот совет. По этому поводу газеты, поддерживающие английский кабинет, называли меня «оратором, увлекающимся химерами»; а теперь события подтверждают то,

что я говорил. Война в Крыму вызывает у царя улыбку, война в Польше привела бы его в трепет. Но война в Польше — уж не революция ли это? Без сомнения. Но какое это имеет значение для Англии, для великой древней Англии? Там царит свобода — значит, нечего бояться революций. Да, но так как господин Бонапарт олицетворяет собой деспотизм, он-то боится революций, и он на это не пойдет! Следовательно, не кому иному, как господину Бонапарту и его личному страху перед революциями приносит Англия в жертву свои армии, свой флот, свои финансы, свое будущее, Индию, Восток, все свои интересы. Разве не был я прав, когда два месяца назад сказал, что для Англии союз с господином Бонапартом означает не только моральный ущерб, но и катастрофу?

Вот уже год, как союз с господином Бонапартом заставляет Англию идти в Восточной войне по ложному пути, против ее собственных интересов. Не будь союза с господином Бонапартом — Англия имела бы сегодня успехи в Польше вместо неудач, а быть может и разгрома, в Крыму.

Но это не имеет значения. То, что заложено в самой сущности вещей, не может не сказаться вовне. Любая ситуация имеет свою логику, которая в конце концов всегда побеждает. Война в Польше, то есть, применяя прозрачное выражение, принятое английским кабинетом, система *чисто континентальной агрессии*, отныне неизбежна. Это — дело ближайшего будущего. В ту минуту, когда я это говорю здесь, лорд Пальмерстон беседует об этом в Тюильри с господином Бонапартом. И вот, граждане, мое заключительное слово: война в Польше — это революция в Европе!

О! Пусть свершится судьба!

О! Пусть обрушится рок на этих людей, этих палачей, этих деспотов, которые у стольких народов, у стольких благородных народов отняли верховную власть. Я говорю власть, а не жизнь, ибо знайте, изгнанники, — и это нужно повторять без конца, чтобы побороть малодушные и пробудить мужество: мнимая смерть народов, сколь мертвенно бледны они ни были бы, сколь окоченелыми ни представлялись, эта мнимая смерть — лишь некое первое превращение, таящее в себе новое бытие. Польша в погребальном склепе, но в руке у нее рожок горниста,

Венгрия окутана савансом, но крепко сжимает саблю; Италия в могиле, но сердце ее пылает огнем; Франция в гробу, но на челе ее блистает звезда, и все знамения возвещают нам: будущей весной, потому что весна — пора освобождения, так же как утро — пора пробуждения, будущей весной, друзья, весь мир вздрогнет от неожиданности и счастья, когда эти великие мертвецы, воскреснув, раскроют свои исполинские крылья!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛУИ БОНАПАРТУ

Я заявляю господину Бонапарту, что прекрасно отдаю себе отчет в том, какие рычаги он приводит в действие: они ему под стать. Я заявляю ему, что с интересом прочел все, что было сказано обо мне совсем недавно в английском парламенте. Господин Бонапарт изгнал меня из Франции за то, что по праву гражданина и по долгу депутата я восстал с оружием в руках против его преступления; он изгнал меня из Бельгии за «Наполеона Малого»; возможно, он изгонит меня из Англии за те протесты, которые я там выражал, выражаю и буду выражать в дальнейшем. Это больше касается Англии, чем меня. Изгнание, трижды повторенное, — ничто. Что касается меня, Америка мне вполне по вкусу, и если она была подходящим местом для господина Бонапарта, то она и мне подходит. Я только предупреждаю господина Бонапарта, что меня, ничтожную песчинку, он так же не одолеет, как не одолеет истину и справедливость, исходящие от самого бога.

Я заявляю Второму декабря в лице господина Бонапарта, что возмездие придет и что где бы я ни был — во Франции, в Бельгии, в Англии, в Америке, в могиле, — если только, как я верю и утверждаю, душа человеческая нетленна, я ускорю этот час. Господин Бонапарт не ошибся: между мной и ним действительно «личный спор» — старый личный спор судьи, занимающего присвоенное ему место, с подсудимым, сидящим на своей скамье.

Виктор Гюго.

Джерси, 22 декабря 1854

СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА 24 ФЕВРАЛЯ 1848 ГОДА**24 февраля 1855 года**

Изгнанники!

Если бы революция, провозглашенная ровно семь лет тому назад в парижской ратуше, пошла своим естественным путем и не была, можно сказать, на другой же день после ее начала отвращена от своей цели; если бы сначала реакция, затем Луи Бонапарт не уничтожили республику: реакция — коварством и медленным отравлением, Луи Бонапарт — ночным налетом со взломом, засадами и убийствами; если бы республика сразу же, в великие февральские дни, водрузила свое знамя на Альпах и на Рейне и от имени Франции бросила Европе клич: «Свобода!», клич, в ту пору, вы все это помните, способный вызвать на старом континенте восстание всех его народов и довершить гибель всех тронов; если бы Франция, опираясь на славный меч Девяносто второго года, поспешила, как она обязана была это сделать, на помощь Италии, Венгрии, Польше, Пруссии, Германии; словом, если бы на смену Европе королей в 1848 году пришла Европа народов, — вот каким было бы сейчас, после семи лет свободы и света, положение на нашем континенте.

Нашим взорам предстала бы такая картина:

Население всего европейского континента стало бы единым народом. Нации жили бы общей жизнью, сохраняя в то же время свою собственную жизнь: Италия принадлежала бы Италии, Польша — Польше, Венгрия — Венгрии, Франция — Европе, Европа — всему человечеству.

Рейн уже не был бы немецкой рекой; моря Балтийское и Черное уже не были бы русскими озерами, а Средиземное море — французским озером; Атлантический океан перестал бы быть английским морем; исчезли бы пушки в Зунде и Гибралтаре, исчезли бы форты в Дарданеллах. Реки, проливы, океаны стали бы свободными.

После слияния всех европейских наций в единый народ Германия была бы для Франции, а Франция для Италии тем же, чем в настоящее время Нормандия является для Пикардии, а Пикардия для Лотарингии; исчезли бы войны, а следовательно, исчезли бы и армии. В отношении одних только финансов Европа ежегодно сберегала бы на этом четыре миллиарда франков¹. Исчезли бы границы, внешние и внутренние таможи; установился бы свободный обмен; обращение денег и товаров приняло бы грандиозные размеры, вследствие чего промышленность и торговля возросли бы в двадцать раз, а это означало бы для народного богатства континента ежегодный прирост по меньшей мере миллиардов на десять. Прибавьте сюда четыре миллиарда экономии от упразднения армий и самое меньшее два миллиарда, выгадываемые на всем континенте от упразднения паразитических должностей, в том числе и должности короля, и вы увидите, что в год это составит шестнадцать миллиардов — мощный рычаг для разрешения экономических трудностей. На эти средства был бы создан своего рода «цивильный лист труда» — фонд в шестнадцать миллиардов ежегодно, предназначенный для уничтожения нищеты, фонд, благодаря которому исчезла бы безработица и улучшилось положение наиболее низко оплачиваемых категорий рабочих. Прикиньте, насколько повысилось бы общее благосостояние.

Я продолжаю. Единая монета для всего континента, с двойным — металлическим и бумажным — стандартом, обеспеченная капиталом всей Европы и свободным трудом двухсот миллионов человек, монета, которая заме-

¹ Во Франции были бы упразднены: цивильный лист, оплачиваемое духовенство, бессменные судьи, централизованная администрация, постоянная армия, что дало бы восемьсот миллионов франков экономии ежегодно, то есть два миллиона франков в день, (Прим. авт.)

нила бы собою современное нелепое многообразие монет самой разнообразной чеканки с изображением жалких ничтожеств — государей, многообразие, которое приносит народам огромные убытки, ибо чем больше разновидностей монет, тем больше их выходит из употребления, когда они стираются, а это нарушает нормальное денежное обращение. В монетной системе, как и во всем, необходимо единство.

Братство породило бы солидарность; доверие ко всем стало бы свойством каждого человека, а труд каждого был бы гарантией всеобщего благополучия.

Свобода передвижения, свобода союзов, свобода распоряжения имуществом, свобода преподавания, свобода слова, свобода печати, свобода мысли, свобода любви, свобода вероисповеданий — все эти свободы окружили бы гражданина, охраняли бы его и обеспечили ему неприкосновенность.

Никакого применения силы, даже ради торжества добра. Зачем? Благодаря тому, что засияет яркий дневной свет, что полуденное солнце рассеет мрак монархии и церкви, сама собой создастся атмосфера, гибельная для насильника, для обманщика, лжеца, хищника, эксплуататора, тунеядца, головореза, ростовщика, мракобеса — для всех тех, кто, шурша крыльями, подобно летучей мыши, кружит во мраке ночи.

Отжившая карательная система была бы упразднена наравне с другим. С исчезновением войны эшафот, порожденный теми же причинами, что и она, также захирел бы и исчез сам собой. Канули бы в прошлое все виды умерщвления. Дивились бы тому, как это когда-либо, даже в далеком прошлом, человеческое существо решалось, осмеливалось лишать жизни другое человеческое существо. В этнографической галлерее Лувра за стеклом были бы выставлены гаубица Пексана, пушка Ланкастера, гильотина, виселица, и люди из любопытства приходили бы туда смотреть этих диких зверей, созданных человеком, как теперь ходят в зверинец смотреть диких зверей, созданных богом, и говорили бы: «Вот она какая, виселица!» — как теперь говорят: «Вот он какой, тигр!»

Всюду и во всем видны были бы мозг, рождающий мысль, рука, производящая блага, косная материя, повинующаяся человеку, машины, служащие ему; социаль-

ные эксперименты широчайшего размаха; все изумительные чудеса прогресса, порожденные прогрессом же; наука, побеждающая природу; открытые для всех мастерские, куда бедняку стоило бы лишь войти, чтобы получить работу; открытые для всех школы, куда неграмотному стоило бы лишь войти, чтобы получить знания; бесплатные и обязательные для всех гимназии, где объем преподавания определялся бы лишь способностями учащихся и где дети бедняков получали бы такое же образование, как и дети богачей; выборы, на которых женщина голосовала бы так же, как мужчина. Ибо старый мир прошлого признает женщину способной отвечать за свои поступки перед гражданским, уголовным и коммерческим судом, способной за нарушение закона отбывать наказание в тюрьме, в Клиши, на каторге, в одиночной камере, способной идти на эшафот, — мы же признаем женщину достойной уважения и свободы; старый мир прошлого считает уделом женщины рабство и прозябание, — мы же утверждаем, что ее уделом должна быть жизнь; старый мир прошлого признает женщину юридическим лицом лишь в отношении страданий и наказаний, — мы же признаем ее юридическим лицом в отношении всех прав. Мы не говорим: «Мужчина — существо высшего порядка, женщина — существо низшего порядка». Мы заявляем, что женщина — равня мужчине во всем, и вдобавок она заслуживает особого почтения. О женщина, мать, подруга, сестра, вечно несовершеннолетняя, вечная рабыня, вечная страдальца, вечная мученица, мы возвысим тебя! Я знаю, старый мир высмеивает нас за все это, и более всего веселит его то, что мы провозгласили права женщины. Однажды в Национальном собрании, когда я говорил, кто-то крикнул мне с места: «Нам становится особенно смешно, когда вы начинаете говорить о женщинах». Я ответил: «А нам становится особенно грустно, когда вы о них говорите».

Я продолжаю. Вот каким мне представляется будущее:

В центре этого всемирного благоденствия блистают Англия и Франция, ибо им принадлежит старшинство во всемирной цивилизации; в девятнадцатом веке эти нации — матери всех остальных; они освещают человечеству оба пути, по которым оно движется вперед, — путь реального и путь возможного; они несут два светоча: одна —

светоч разума фактов, другая — светоч великих идей. Обе они будут соперничать между собой, не вредя и не мешая друг другу. В сущности, рассматривая вопрос философски — разрешите мне это отступление, — неприязнь между ними всегда порождалась одной и той же причиной: тем желанием неустанно идти вперед, тем нетерпеливым устремлением вдаль, той логикой движения по пути прогресса, той жаждой широких горизонтов, той страстью к непрерывному совершенствованию, которые столь характерны для Франции и нередко досаждали ее соседке — Англии, ибо она охотно довольствуется достигнутым и спокойно принимает совершившиеся факты. Франция — противник Англии в той мере, в какой лучшее — враг хорошего.

Я продолжаю.

В древнем городе, видевшем Десятое августа и Двадцать второе сентября, городе, отныне именующемся всеевропейским, *Urbs*, — огромное Собрание, ассамблея Соединенных Штатов Европы, арбитр цивилизации, Собрание, избранное всеобщим голосованием всех народов континента, обсуждало и решало бы, перед лицом этого могущественного доверителя, верховного судьи во всех делах, и при содействии свободной прессы всего мира, все вопросы, волнующие человечество, и превратило бы Париж в вулкан света, находящийся в центре вселенной.

Граждане, замечу вскользь: я не верю в вечность того, что ныне называется парламентом; но парламенты, порождающие свободу и вместе с тем единство, будут необходимы до того, еще далекого, пока что зримого только в идеале, дня, когда облегчение труда приведет к отмиранию политических разногласий. Тогда формула *«управлять как можно меньше»* станет применяться все полнее и полнее, и поскольку все искусственно установленные законы исчезнут, а останутся лишь естественные законы человеческих взаимоотношений, уже не будет иного Верховного собрания, кроме обширного собрания творцов и изобретателей, которые будут открывать и провозглашать законы подлинные, а не мнимые; то будет собрание великих умов, деятелей искусства и науки — былой Институт, но преобразованный, блистательный, плод совершенно иной избирательной системы, собрание, заседающее пуб-

лично. Не может быть сомнения, что Институт — единственно мыслимый прообраз Верховного собрания будущего. Отмечу, опять-таки вскользь, поразительный факт: Институт был учрежден Конвентом. Прежде чем испустить дух, этот мрачный орел Революции доверил плодотворной земле Франции драгоценный зародыш, таящий в себе крылья будущего.

Итак, попытаемся резюмировать в немногих словах те перспективы, на которые я указал; многие подробности, возможно, ускользнули от меня; я излагаю свои мысли бегло, отрывочно и даю лишь самый общий обзор того, что произошло бы, если бы революция 1848 года продлилась и принесла свои плоды, если бы республика продолжала существовать, если бы, как того требовала логика, из французской она стала всеевропейской, — а это, несомненно, произошло бы меньше чем за год и притом почти без потрясений и катастроф, под дуновением великого февральского ветра. Граждане, если бы события пошли этим путем, чем была бы сегодня Европа? Единой семьей. Все нации стали бы сестрами. Человек стал бы братом человеку. Не было бы больше французов, пруссаков, испанцев, были бы европейцы. Всюду спокойствие, мирный труд, процветание, кипучая жизнь. Не было бы, от края до края нашего континента, иной борьбы, как борьба добра, красоты, величия, справедливости, истины, пользы со всем тем, что препятствует достижению идеала. Всюду — великая победа, имя которой — труд, озаренная сиянием, имя которому — нерушимый мир.

Вот, граждане, в самых кратких, самых общих чертах картина той Европы, которою, если бы революция восторжествовала, управляли бы теперь сами народы.

Но ничто из всего этого не осуществилось. «К счастью», порядок восстановлен. Что же мы видим сейчас вместо этих великих начинаний?

В настоящее время перед нами Европа, управляемая не народами, а королями. Что же делает Европа, управляемая королями?

Она могущественна; она в силах осуществить все, что только захочет; короли свободны, потому что они задушили свободу. Европа, подвластная королям, богата; у нее миллионы, у нее миллиарды; ей достаточно вскрыть народам вены, чтобы из этих вен заструились кровь и за-

лото. Чем же она занята? Расчисткой устьев рек? Сокращением пути в Индию? Соединением Тихого океана с Атлантическим? Прорытием канала на Суэцком перешейке? Или водного пути на Панамском? Прокладкой в глубинах океана чудесного электрического кабеля, который, претворяя мысль в молнию, соединит континенты и — гигантский нерв жизни всего мира! — превратит весь земной шар в единое огромное сердце, где пульсирует человеческий разум? Так чем же занята Европа королей? Повелевая всем миром, трудится ли она, во имя прогресса, цивилизации, блага человечества, над осуществлением какой-нибудь великой, священной задачи? На что расходует она находящиеся в ее распоряжении гигантские силы всего континента? Что она делает?

Граждане, она ведет войну.

Войну — в чьих интересах?

В ваших интересах, народы?

Нет, в интересах королей.

Какую войну?

Войну по самому ничтожному поводу: из-за пресловутого ключа; войну, начало которой грозно: Балаклава, а конец ужасен: разверстая бездна.

Войну, причина которой смешна, а последствия будут чудовищны.

Изгнанники, мы уже не раз говорили об этой войне, и мы обречены еще долго говорить о ней. Увы, скажу о себе: как только я вспоминаю о ней, у меня сжимается сердце!

О вы, французы, стоящие вокруг меня, у Франции была великолепная, несравненная армия, первая в мире, двадцатью годами боев в Африке подготовленная к большим войнам, передовая колонна человечества, живая «Марсельеза», строфы которой превратились в лес штыков... Эта армия, если бы в ней ожил дух революции, одним звуком своих походных труб мгновенно обратила бы в прах на нашем континенте все ветхие скипетры и все древние цепи. Где же она, эта армия? Что случилось с ней? Граждане, ею завладел господин Бонапарт. Что же он сделал с ней? Прежде всего он облек ее в саван, сотканный из его преступлений, а затем стал подыскивать ей могилу. Он нашел для нее могилу: Крым.

Ибо этого человека подстрекает и ослепляет нечто роковое, в нем заложенное, и тот присущий старому миру

инстинкт разрушения, который, неведомо для него самого, заменяет ему душу.

Изгнанники, отведите на минуту глаза от другого огромного кладбища — Кайенны — и поглядите туда, на восток. Там находятся ваши братья.

Там стоят английская и французская армии.

Что за траншею роют перед этим татарским городом? Траншею, в двух шагах от которой протекает красный от крови Инкерманский ручей; траншею, где солдаты выстаивают ночи напролет и не могут прилечь ни на минуту, потому что вода доходит им до колен; где другие лежат, но на слое грязи толщиной в полметра и, чтобы не захлебнуться ею, кладут под голову камень; иные спят там на снегу или под снегом и утром просыпаются с отмороженными ногами; а те, что уснули не на сугробах, а на льду, те уже не проснутся; траншею, где солдаты в десятиградусный мороз ходят босиком, потому что, сняв сапоги, они уже не в силах надеть их снова; где валяются раненые, которых некому перевязать; где все — без пристанища, без огня, почти без пищи, потому что не хватает обозов; где все солдаты одеты в обледенелые лохмотья; где тиф и дизентерия косят людей, потому что земля, на которой они спят, убивает их, а вода, которую они пьют, их отравляет; непрерывные вылазки русских доводят солдат до изнеможения, на них градом сыплются бомбы, их предсмертную агонию тревожит свист пуль, и воевать они перестают лишь тогда, когда умирают; траншею, где Англия уже погубила тридцать тысяч своих солдат, где Франция до 17 декабря — более поздних сведений у меня нет — уложила сорок шесть тысяч семьсот французов; траншею, менее чем за три месяца поглотившую восемьдесят тысяч человеческих жизней; севастопольскую траншею — общую могилу двух армий. Рытье этой могилы еще не закончено, но уже обошлось в три миллиарда.

Война — могильщик большого размаха, заставляющий дорого оплачивать свои услуги.

Да, на рытье могилы двух армий, французской и английской, Франция и Англия, если подсчитать все потери, включая ценность пошедших ко дну судов, включая убытки от застоя в промышленности, торговле и кредитных операциях, уже потратили три миллиарда. Три мил-

лиарда! На эти деньги можно было расширить сеть железных дорог во Франции и Англии и соорудить туннель под Ламаншем — несравненно лучшее средство сближения двух народов, нежели пресловутое рукопожатие, которым обменялись лорд Пальмерстон и господин Бонапарт, рукопожатие, изображенное над нашими головами на транспарантах с надписью: «*Да здравствует взаимное доверие!*» На эти три миллиарда можно было осушить все болота Франции и Англии, обеспечить хорошей питьевой водой все города и деревни, оросить все поля, оздоровить почву и человека, засадить деревьями все голые склоны и тем самым предотвратить бедствия от наводнений и разлива рек, развести рыбу во всех прудах, чтобы бедняки могли покупать лососину по одному су за фунт, увеличить число мастерских и школ, разведать повсюду месторождения полезных ископаемых и наладить их добычу, снабдить все сельские общины паровыми лопатами, засеять миллионы гектаров невозделанных земель, превратить сточные канавы в хранилища удобрений, навсегда покончить с неурожаями, накормить все голодные рты, удешевить производство и потребление товаров, обращение товаров и денег, во сто крат увеличить народное богатство!

Но ведь куда лучше взять — простите, я обмолвился — *не* взять Севастополь! Куда лучше издержать свои миллиарды на то, чтобы погубить свои армии! Куда лучше истратить их на самоубийство!

Итак, перед лицом трепещущего континента — две армии в предсмертной агонии. Что же тем временем делает «император Наполеон III»? Беру газету, выходящую в его империи (*оратор разворачивает газету*), и читаю: «Карнавальные увеселения в полном разгаре. Балы и празднества непрерывно следуют друг за другом Траур, объявленный при дворе по случаю смерти королевы Сардинии, прерван на одни сутки, чтобы бал в Тюильри мог состояться».

Да, наш слух улавливает звуки бальной музыки — то гремит оркестр в павильоне Часов. Да, «Монитор» подробно описывает кадрили, в которой «приняли участие их величества». Да, император танцует, да, сей Наполеон танцует, меж тем как мы напряженно вглядываемся во мрак, меж тем как весь цивилизованный мир, содрогаясь

от ужаса, вместе с нами неотрывно смотрит на Севастополь, этот глубокий, как пропасть, колодец, эту бездонную бочку, куда Франция и Англия, две Данаиды с налитыми кровью глазами, мертвенно бледные, истерзанные, без усталости кидают свои богатства и своих сынов!

Однако нам сообщают, что в ближайшее время император «отбудет» в Крым. Возможно ли это? Неужели в нем заговорил стыд и его смутила краска негодования на всех лицах? Уже нам изображают его грозящим Севастополю саблею Лоди, обутым в семимильные ваграмские сапоги, одетым в серый походный сюртук, за фалды которого растерянно цепляются Тролон и Барош. Что означает это «герой в поход собрался»? Граждане, я вам напомню нечто из прошлого. В день государственного переворота, ранним утром, господин Бонапарт, узнав, что схватка началась, воскликнул: «Я хочу разделить опасность с моими храбрыми солдатами!» Тут, повидимому, кто-то из Барошей или Тролонов всполошился. Ничто, однако, не могло его удержать, — он отбыл. Между двумя тройными шеренгами штыков он проехал по Елисейским полям и саду Тюильри. Оттуда он свернул на улицу Эшель; там некогда стоял позорный столб. На улице Эшель он увидел толпу, заметил угрожающие жесты. Какой-то рабочий крикнул ему: «Долой изменника!» Он побледнел, повернул назад и возвратился в Елисейский дворец. Так не будем же волноваться из-за его отбытия. Если он отбудет, дверь Тюильри, как в тот день дверь Елисейского дворца, останется приоткрытой; если он отбудет, то не в траншеи, где люди корчатся в предсмертных судорогах, не на редут, где они гибнут. В первом же орудийном залпе он услышит слова: «Долой изменника!» и повернет назад. Нам нечего беспокоиться. Никогда — ни в Париже, ни в Крыму, ни в истории — Луи Бонапарт не шагнет дальше улицы «позорного столба».

Впрочем, если он уедет, взор истории все равно будет устремлен на Париж. Подождем.

Граждане, я набросал вам картину нынешнего состояния Европы. Теперь я уточню контуры.

Я уже сказал вам, чем была бы Европа республиканская; что такое Европа монархов — вы видите сами. В этой общей картине положение Франции можно определить следующим образом: финансы, приведенные

в полное расстройство; будущее, обремененное займами; векселя с подписями: «Второе декабря» и «Луи Бонапарт», которые, несомненно, будут предъявлены ко взысканию; Австрия и Пруссия — враги под маской союзников; тайная, но довольно прозрачная коалиция королей; вновь воскресшие надежды на расчленение Франции; миллион солдат, готовых по первому знаку царя двинуться к Рейну; армия, созданная в Африке, уничтожена. А единственная опора — что? Англия! Это — кораблекрушение.

Таков этот страшный горизонт, по краям которого нам видятся два призрака: призрак армии в Крыму и призрак республики в изгнании.

Увы! У одного из этих призраков кровоточит рана, нанесенная другим, — и он прощает ему.

Да, я подчеркиваю: положение так мрачно, что объятый ужасом парламент назначил расследование; и тем, кто не верит в будущее народов, кажется: Франция погибнет, Англия не устоит.

Подведем итоги.

Всюду — глубокая ночь. Во Франции нет больше ни парламентской трибуны, ни печати, ни свободного слова. Россия душит Польшу, Австрия душит Венгрию, Милан и Венецию, Фердинанд душит Неаполь, папа — Рим, Бонапарт — Париж. В этом застенке под покровом темноты творятся гнуснейшие преступления: всюду — незаконные поборы, грабежи, разбои, высылки, расстрелы, виселицы; в Крыму — страшная война; на умерщвленных народах — трупы армий; Европа — притон, где режут людей.

Настоящее бросает трагический отблеск на будущее. Осады, пылающие города, бомбардировки, голод, чума, разорение. «Спасайся, кто может!» — вопят люди эгоистичные и своекорыстные. Вспышки возмущения среди солдат, предшествующие пробуждению граждан. Повторяю — положение ужасающее. Ищите выход из него! Взять Севастополь — значит продлить войну до бесконечности; не взять его — значит претерпеть непоправимое унижение. До сих пор губили себя во имя славы; теперь губят себя во имя позора.

А во что превратятся под пятой взбешенных своим поражением тиранов те, кто выживет? Они прольют все свои слезы — до последней, отдадут все свое состояние —

до последнего гроша, принесут в жертву всех своих сыновей — до последнего. Мы находимся в Англии, — кто нас окружает? Всюду женщины в трауре — матери, сестры, сироты, вдовы. Верните же им тех, кого они оплакивают! Вся Англия окутана черным флером. Франция, та в двойном трауре — по своим погибшим сынам и, что еще ужаснее, по своей погибшей чести; гекатомба в Балаклаве — и бал в Тюильри.

Изгнанники, у этого положения есть имя — все то же: «Общество спасено». Не забудем того, о чем нам напоминает это имя, и обратимся к первопричине. Да, это положение целиком вытекает из «великого акта», совершенного в декабре. Оно — плод клятвoprеступления, содеянного второго числа, и резни, учиненной четвертого. Уж о нем никак нельзя сказать, что оно без роду, без племени. У него есть мать — измена, и отец — разгром. Вспомните эти два события, которые сейчас соприкасаются, как два перста на длани божественного правосудия: западную 1851 года и бедствие 1855 года, парижскую катастрофу и катастрофу европейскую. Господин Бонапарт начал с первой — и докатился до второй.

Я знаю — мне это твердят, я знаю — господин Бонапарт заявляет мне это и сам и через свои газеты: «Вы только и говорите, что о Втором декабря. Вы всё еще повторяете одно и то же». На это я отвечаю: «Вы всё еще здесь!»

Я — ваша тень.

Моя ли вина, что тень преступления становится грозным призраком?

Нет! Нет! Нет! Нет! Мы не умолкнем, не ослабеем, не остановимся! Мы тоже всё еще здесь, ибо мы — право, справедливость, сама действительность! Сейчас над головой Бонапарта нависли два савана: саван народа и саван армии. Так будем же неустанно потрясать ими! Пусть издали, ничем не заглушаемые, непрерывно доносятся наши голоса! Пусть звучат они с грозным однообразием ревущего океана, зимней вьюги, бури, урагана — всех великих проявлений негодующей природы!

Итак, граждане, кровопролитнейшая война, полное истощение всех живых сил, неопиcуемая катастрофа — вот до чего дошло злосчастное общество прошлого, вообразившее себя спасенным только потому, что в одно

прекрасное утро некий проходимец, поработивший его, поручил полицейскому охранять законы, а иезуиту — отуплять умы!

И общество решило: «Власть в хороших руках».

Что оно думает об этом теперь?

О народы! Существуют люди, над которыми тяготеет проклятие. Они обещают мир — и приносят войну; обещают спасение — и приносят гибель; обещают процветание — и приносят бедствия; обещают славу — и приносят бесчестье; берут корону Карла Великого — и венчают ею череп Эдзелино; перечеканивают медаль с изображением Цезаря — и придают ему черты Мандрена; воскрешают империю — и начинают ее с 1812 года; избирают эмблемой орла — оказывается, это коршун; всенародно принимают пышное имя — это чужое имя; дают народу клятву — это лживая клятва; возвещают второй Аустерлиц — это Лжеаустерлиц; лобзают народ — это Иудино лобзание; предлагают ему мост, чтобы перейти с одного берега на другой, — это мост через Березину.

О, среди нас, изгнанников, нет ни одного, кто бы не испытывал глубокого страдания; ибо всюду — бедствия, всюду — запустение, всюду — позор; ибо усиление царя означает наступление сумерек; ибо меня, обращающегося к вам, глубоко оскорбляет, как человека, упадок великой, гордой, отважной и свободной Англии; ибо — о предельная скорбь! — мы сейчас явственно слышим, как с глухим шумом, словно гроб опускают в могилу, рушится Франция!

Вы страдаете, но вы исполнены мужества и веры. Это прекрасно, друзья мои. Мужество необходимо нам более чем когда-либо! Я уже говорил вам, и с каждым днем это становится очевиднее: теперь Франции и Англии остается только один путь к спасению, и путь этот — освобождение народов, общее восстание всех наций, революция. Величественная крайность! Как прекрасно, что спасение означает вместе с тем воцарение справедливости! В этом сказывается воля providения. Итак, будем мужественны более чем когда-либо! В час величайшей опасности Дантон восклицал: «Смелость, смелость и еще раз смелость!» В час испытания мы восклицаем: «Надейтесь, надейтесь и еще раз надейтесь!» Друзья, великая респуб-

лика, демократическая, социальная и свободная, воссияет в недалеком будущем, ибо назначение империи — вновь привести к ней, как назначение ночи — вновь привести к светлому дню.

Носители тирании и бедствий исчезнут. Срок их жизни исчисляется теперь минутами. Они уже на краю бездны, и мы со дна этой бездны видим: еще миг — и они соскользнут в нее.

Изгнанники, я призываю в свидетели чашу с цикутой, выпитую Сократом, Голгофу, на которую взошел Христос, стены Иерихона, разрушенные Иисусом Навином; я призываю в свидетели кровь, струившуюся из вен Тразеи Пета, пылающие угли, проглоченные женою Брута Порцией, костер, с которого Ян Гус крикнул: «Родится лебедь», призываю в свидетели окружающие нас моря, которые переплыл Христофор Колумб, призываю сияющие над нами звезды, которые вопрошал Галилей, — изгнанники, свобода бессмертна! Изгнанники, истина бессмертна!

Путь прогресса — путь господень.

Пусть же плачущие утешатся, а трепещущие — среди нас таких нет — воспрянут духом. Человечество не знает самоубийства, и провидение не отрекается от своих целей. Нет, народы не останутся навек во мраке, не ведая, какой великий час пробил для науки, для философии, для искусства, для разума человеческого, не замрут в тупом созерцании деспотизма, этого мрачного, зловещего циферблата, обе стрелки которого, скипетр и меч, навсегда остановившиеся, вечно показывают полночь!

ПИСЬМО ЛУИ БОНАПАРТУ

8 апреля 1855

Зачем вы явились сюда? С кем намерены сосчитаться? Кого хотите оскорбить? Англию в лице ее народа или Францию в лице ее изгнанников? Только на Джерси мы уже похоронили девятых. Это ли вас интересует? Последнего из них звали Феликсом Бони, ему было двадцать девять лет; этого вам достаточно? Или, быть может, вы хотите взглянуть на его могилу? Зачем вы явились сюда, спрашиваю я вас! Вы не нужны англичанам,

не знающим ярма, не нужны французам, отторгнутым от Франции, не нужны английскому народу, свободно располагающему своей судьбой, не нужны многострадальным, стойким изгнанникам. Оставьте в покое свободу. Оставьте тех, кто вами изгнан.

Вам здесь нечего делать.

Каким миражем вы намерены обмануть прославленный и великодушный английский народ? Какой коварный подвох задумали против английской свободы? Не прибыли ли вы сюда со щедрыми посулами, как во Францию в 1848 году? Или, быть может, вы собираетесь разыграть новую комедию? Будете ли вы, прижимая руку к сердцу, распинаться за союз с Англией, как тогда распинались за сохранение Республики? Сохраните ли вы свою старую маску? Наглухо застегнутый сюртук, на сюртуке — орден, на ордене покоится рука, дрожь в голосе, слезы на глазах. Какими священнейшими из всех словами вы намерены клясться? Какие уверения в вечной преданности, какие нерушимые обязательства, какие, скрепленные вашей печатью, заявления, какую, вашей собственной чеканки, присягу вы решили пустить здесь в оборот — вы, фальшивомонетчик чести?

Что вы можете дать этой стране? Это — страна Томаса Мора, Гемпдена, Брэдшоу, Шекспира, Мильтона, Ньютона, Уатта, Байрона; ей не нужен образчик грязи с бульвара Монмартр. Вы приехали затем, чтобы вам пожаловали подвязку? Верно — ведь вы в крови по самые колена!

Я вас предупреждаю — вам незачем являться сюда. Вы здесь будете не на месте. Вы сами видите — этот народ свободен! Вы видите — эти люди ходят, ездят, читают, пишут, задают вопросы, думают, кричат, молчат, дышат как им хочется. Это не похоже ни на что из того, что вам знакомо. Как бы пристально вы ни разглядывали воротники пальто — вы не найдете там той вмятины, которую оставляет пятерня жандарма. Нет, в самом деле, вам здесь будет неуютно. Вы не сможете дышать воздухом здешних мест. Вы сами видите — здесь нет янычар: ни янычар-священников, ни янычар-военных; вы сами видите — здесь нет шпионов; вы сами видите — здесь нет иезуитов; вы сами видите — здесь судьи судят по справедливости!

Здесь полным голосом говорит трибуна, говорят газеты, говорит совесть всего общества; в этой стране светит солнце. Вы, лжеорел, сами видите — здесь разлит яркий дневной свет! Зачем вы явились сюда?

Если вы хотите знать, что о вас думает, независимо от вопроса о союзе, английский народ, — читайте газеты, которые выражают его подлинное мнение, читайте газеты двухлетней давности.

Вы намерены, в пышном наряде императора-полководца, посетить Лондон? Другие, тоже императоры и тоже полководцы, побывали там до вас; им устраивали триумфальные встречи, но триумф этот был весьма своеобразным; то же произойдет и с вами. Вы намерены побывать на Трафальгарской площади, на площади Ватерлоо, на мосту Ватерлоо, у колонны Ватерлоо? Николая там встречали олдермены. Вы намерены посетить знаменитую фабрику Перкинса? Рабочие устроили там встречу Гайнау.

Вы явились, чтобы поговорить с Англией о Крыме? Этим вы только разбередите глубокую рану. Катастрофа под Севастополем обескровила Англию гораздо больше, нежели Францию. Французская армия в агонии, английская — мертва; если верить тем, кто восторгается вашими случайными удачами, один из ваших историографов сказал по этому поводу: «Помимо нашей воли, мы берем реванш за Ватерлоо». За год союза между обеими странами Наполеон III сделал Англии больше зла, чем Наполеон I за пятнадцать лет непрерывных войн. (К слову сказать, ваши друзья уже не говорят «Великий». Почему бы это?)

Да, у вас, император милостью случая, таких льстецов немало. И впрямь, прекурьезная это штука — авантюра, которую называют вашей судьбой. Не находишь нужных слов, цепенеешь от изумления, спрашивая себя: уж не вообразили ли вы на самом деле, что вы незаурядная личность, уж не принимаете ли вы вашу омерзительную трагедию всерьез, уж не думаете ли вы, что издали произведете на Европу потрясающее впечатление в тот день, когда покажетесь английскому народу со всеми сопровождающими вас теперь сценическими эффектами, когда, безмолвный, зловещий, сверх меры довольный, вы встанете во весь рост среди сонма ваших преступлений,

кичась тем позором, которому его неслыханность придает некое таинственное величие, и неся на челе печать тех мрачных злодеяний, которые караются громом небесным...

И вердиктом присяжных, сударь!

А! Вы слышите все эти грозные истины? Зачем вы явились сюда?

Ну что ж! Возьмите среди деятелей этого правитель-ства, которые, из самых различных побуждений, оказы-вают вам такой радушный прием, — возьмите самого во-сторженного, самого упоенного, самого подобоостраст-ного из всех, возьмите англичанина, будь то олдермен, министр или лорд, который усерднее всех кричит: «Да здравствует император!» — и задайте ему следующий про-стой вопрос: «Если бы в этой стране человек, которому по его должности, например должности министра (вы, сударь, были министром), присвоена огромная власть, если бы этот человек, ссылаясь на то, что он перед богом и людьми поклялся охранять конституцию, вдруг, глубо-кой ночью, схватил Англию за горло, разогнал парламент, опрокинул трибуну, бросил пользующихся неприкосновен-ностью членов обеих палат в одиночные камеры Милбенка и Ньюгейта, сравнял Вестминстер с землей, превратил традиционный мешок, набитый шерстью, в подушку для своих гвардейцев, пинком сапога прогнал судей, скрутил правосудию руки за спиной, зажал рот печати, разгро-мил типографии, удушил газеты, наводнил Лондон пуш-ками и штыками, перекачал богатства Государственного банка в карманы своих солдат; если бы он брал жилые дома приступом, убивал мужчин, женщин, стариков и детей, превратил Гайд-Парк в огромную общую могилу жертв ночных расстрелов; если бы он обстрелял Сити, Стрэнд, Риджент-стрит, Чэринг-Кросс, разгромил два-дцать кварталов Лондона и двадцать графств Англии, за-валил все улицы трупами случайных прохожих, битком набил все морги и все кладбища, установил повсюду царство непроглядного мрака, безмолвия, смерти; сло-вом — если бы этот человек одним ударом упразднил за-кон, свободу, право, нацию, дыхание жизни, самую жизнь, — что сделал бы с этим человеком английский на-род? Прежде чем эта длинная фраза была бы закончена,

на ваших глазах из-под земли появилась бы и встала перед вами лестница, ведущая на эшафот!

Да, на эшафот! И как ни чудовищны все те преступления, которые я только что перечислил, у меня — не скрою! — сжимается сердце, когда я произношу это слово: ибо высшее требование прогресса, которое свято для нас, демократов-социалистов, по сию пору не принято в Англии, и великий народ британских островов, в середине девятнадцатого века остановившийся в своем движении к вершине цивилизации, еще не считает жизнь человеческую неприкосновенной

Только находясь, как мы, на высокой скале изгнания и тяжких испытаний, можно объять взором истину во всем ее величии и понять: жизнь человека, кто бы он ни был, даже ваша жизнь, сударь, неприкосновенна!

Впрочем, ваши друзья в этой стране разрешают относящиеся к вам вопросы не с этой точки зрения, не на основании высшего принципа. Для них куда проще заявить, что никакого государственного переворота не было, что это чистейший вымысел, что вы никогда не приносили никакой присяги, что Второе декабря не имело места, что не было пролито ни капли крови, что Сент-Арно, Эспинас и Мопя — мифические личности, что массовых изгнаний не было, что Ламбесса находится на луне и что мы все это придумали.

Люди посмышленее говорят, что, пожалуй, кое-что и было, но мы, дескать, сгущаем краски: не у всех убитых мужчин были седые волосы, не все убитые женщины были беременны, а ребенку, убитому на улице Тиктонн, было не семь, а восемь лет.

Я продолжаю

Вам незачем являться в эту страну.

Помимо всего прочего, подумайте, как это неосторожно какому огромному риску вы подвергаете правительство, готовое оказать вам радушный прием! Париж — вулкан, его извержения внезапны. Он доказал это в 1789, 1830 и 1848 годах. Какие у английского народа, который с полным к тому основанием высоко ценит дружбу Франции, какие у правительства Великобритании гарантии, что, как только вы отлучитесь из Франции, там не грянет революция, что вся обстановка не изменится вмиг, что старый смутьян, Сент-Антуанское предместье,

страхнув с себя оцепенение, не свалит здоровенным пинком вашу империю и что вдруг, после минутного дрожания телеграфных проводов, ему, английскому правительству, не станет известно, что его гость, пребывающий в Сент-Джеймском дворце, чествуемый на придворных банкетах — не его величество император французов, а бледный и дрожащий подсудимый Франции и Республики, не Наполеон, высящийся на колонне, а Наполеон, пригвожденный к позорному столбу?

Но все ваши тайные полиции успокаивают вас: перевороту служит наметанный глаз самого Видока, видящий все насквозь. Этот глаз заменяет перевороту совесть. Полиция отвечает вам за народ, так же как священник отвечает вам за бога. Господин Пьетри, с одной стороны, монсиньор Сибур — с другой, изошряются в лстивых уверениях. «Сброд, именуемый народом, перестал существовать», — утверждает Пьетри. «Ручаюсь, что господь бог пальцем не шевельнет», — бормочет Сибур. Вы спокойны, вы говорите самому себе: «Чего там! Демагоги фантазируют! Они хотели бы запугать меня какими-то призраками. Революции больше нет, Вейо ее прикончил. Тот, кто совершил переворот, может спать безмятежным сном: его охраняет Барош. Париж, чернь предместий — все у меня под сапогом. Какое все это имеет значение?»

Да, правильно. Какое значение имеет история? Какое значение имеет потомство? Что в наши дни Аустерлицу соответствует Второе декабря, а Севастополь уравнивает Маренго, что есть Наполеон Великий и есть другой Наполеон, который остается ничтожеством даже под микроскопом, что ваш дядя был — или не был — вашим дядей, что он жив или умер, что по воле Англии Веллингтон ступил пятой ему на голову, а Гудсон Лоу на грудь, — какое все это имеет значение? Мы далеко ушли вперед. Все это либо давно миновало, либо представляет собой клевету памфлетиста. Если мы ничтожны — до этого никому нет дела. Нами восхищаются, не правда ли, Тролон? Так точно, ваше величество. Сейчас значение имеет только один вопрос — существование нашей империи. Важно только одно — доказать, что мы приняты в лучшем обществе; заставить древний королевский Брауншвейгский дом считаться с «высочкой», празднествами в Англии отвлечь умы от катастрофы в Крыму; ликовать по-

среди траурного флера, трескотней фейерверка заглушить грохот картечи, выставить наш генеральский мундир на показ там, где нас видели с дубинкой полисмена в руках; повеселиться; раз-другой потанцевать в Букингэмском дворце. Когда это будет сделано, ничего уже не останется делать.

Итак, надо съездить в Лондон. К тому же, это куда приятнее, нежели поездка в Крым. В Лондоне в вашу честь будут стрелять холостыми зарядами. Две недели пышных празднеств. Восторженный прием. Вы посетите королевские резиденции: Карлтон-Хауз, Осборн на острове Уайт, Виндзор, где вы найдете кровать Луи-Филиппа, который вам сохранил жизнь и которого вы обобрали, где Ланкастерская башня расскажет вам о Генрихе Безумном, а Йоркская — о Ричарде-убийце. А затем большие и малые утренние приемы, балы, букеты, оркестры, *«Правь, Британия»* вперемежку с *«Как в Сирию собрался»*, зажженные люстры, сияющие огнями дворцы, приветственные речи, клики «ура!» В газетах — подробнейшие сообщения о ваших остроумных речах, о вашей обворожительной любезности. Прекрасно. Позвольте мне заранее присовокупить к этим сообщениям другие, полученные из другого места, где вы тоже восторжествовали, — из Кайенны. Ссылные — люди, единственное преступление которых в том, что они боролись против вашего преступления, то есть исполнили свой долг, как подобает честным, стойким гражданам, — ссылные содержатся там вместе с каторжниками; они работают восемь часов в день под палочными ударами надсмотрщиков; их, как некогда рабов, кормят маниоком и кукурузными лепешками; у всех головы обриты наголо, вместо одежды — лохмотья с клеймом «Т. Ф.». Те, кто не хочет носить башмаки, на которых крупными буквами значится *«каторжник»*, вынуждены ходить босиком. Деньги, которые им посылают, у них отбираются. Если они забывают снять шапку перед кем-нибудь из тех преступников, ваших агентов, которые их караулят, их постигает суровая кара: кандалы, карцер, голод; а бывает и так, что провинившегося на четыре часа в день, две недели подряд, привязывают толстыми веревками за шею, грудь, руки и ноги к столбу. Декрет, изданный 29 августа неким Боннаром, который именует себя губернатором Гвианы, разрешает надзирате-

лям убивать ссыльных на месте в случае так называемого «неповиновения приказу». Ужасный климат, тропическое небо, зловонная вода, лихорадка, тиф, неизбывная тоска по родине; ссыльные гибнут — тридцать пять человек из двухсот умерло на одном только острове святого Иосифа; трупы швыряют в море. Вот, сударь.

Я знаю, частое повторение все тех же похоронных разговоров вызывает у вас улыбку; но в то время как вы улыбаетесь, другие плачут. Согласен, ваши жертвы — дети, осиротевшие из-за вас, женщины, овдовевшие по вашей вине, могилы, вырытые для ваших жертв, все это уже достаточно избито. Все эти саваны уже истрепаны. Я не могу вам предложить ничего поновее, — что поделаешь! Вы убиваете, люди умирают. Что ж, каждому своя участь; нам приходится мириться с фактами произвола, вам — с воплями негодования; нам — с преступлениями, вам — с призраками.

Впрочем, нам здесь предлагают замолчать и прибавляют, что в случае, если мы, изгнанники, сейчас возвысим голос, этим не замедлят воспользоваться, чтобы выгнать нас. И хорошо сделают! Покинуть Англию в ту минуту, когда вы там появитесь, — это было бы правильно.

Для выгнанных в этом было бы нечто похожее на славу.

А кроме того, с точки зрения политики это было бы вполне логично. Преследовать гонимых — наилучший способ воздать почести гонителю. Это можно прочесть и у Макьявелли и в ваших глазах.

Нежнейшая ласка предателю — оскорбить тех, кого он предал. Плюнуть в лицо Иисусу Христу — значит подарить улыбкой Иуду.

Итак, пусть делают что хотят.

Пусть подвергают нас гонениям.

Каковы бы ни были эти гонения, во что бы они ни вылились, знайте: мы примем их гордо и радостно и будем приветствовать их, покуда не кончат приветствовать вас. Это не ново: всякий раз, когда кричат: «Ave, Caesar!»¹ — голос человечества, словно эхо, отвечает: «Ave, dolor!»²

¹ Привет тебе, Цезарь! (лат.).

² Привет тебе, горе! (лат.)

Никакими гонениями невозможно скрыть ни от наших глаз, ни от глаз истории тех страшных преступлений, которые вы совершили. Никакие гонения не заставят нас хоть на миг потерять из виду тот образ правления, который вы установили на следующий день после переворота: непрекращающийся банкет католиков и солдафонов, разгульное празднество митр и киверов, единение духовной семинарии и казармы в шумных оргиях, мешанину растегнутых мундиров и залитых вином сутан, пирушку епископов и капралов, где никто уже ничего не соображает: Сибур сыплет проклятиями, а Маньян молится, священник режет освященный хлеб саблей, а солдат пьет из дароносицы; никакие гонения не заставят нас хоть на миг потерять из виду неизменный фон, на котором разворачивается ваша судьба: великую хиреющую нацию, гибель света, озарявшего весь мир, запустение, безысходную скорбь, чудовищное вероломство, Монмартр — эту гору, высящуюся на вашем зловещем горизонте, недвижимое облако дыма от расстрелов на Марсовом поле; там — черные треугольники гильотин 1852 года, а здесь, у наших ног, во мгле — океан, и пенящиеся волны уносят вдаль трупы тех, кого вы сгубили в Кайенне.

О! Проклятия, которые произнесут грядущие поколения, тоже подобны морю, и память о вас, словно омерзительный труп, навеки сгинет в пучине.

О несчастный! Есть ли у вас хоть смутное представление о том, что души людей отвечают за злодеяния, совершенные ими при жизни? Что ждет вас завтра? Что ждет вас на земле? Что ждет вас в могиле? Что вам предстоит? Верите ли вы в бога? Кто вы такой?

Иногда, ночью, мучась бессонницей — ведь когда родина спит, изгнаннику не заснуть, — я гляжу на Францию, черной громадой вырисовывающуюся вдали, я гляжу на извечный небосклон, олицетворяющий извечную справедливость, я вопрошаю мглу о вас, я вопрошаю мрак господень о том мраке, который водворили вы, и, внимая великому безмолвию вселенной, я проникаюсь жалостью к вам, сударь.

Виктор Гюго.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ПОВОДУ ВЫСЫЛКИ С ОСТРОВА ДЖЕРСИ

Три изгнанника — неустрашимый и красноречивый писатель Рибейроль, благородный депутат римского народа Пьянчиани, мужественный узник Мон Сен-Мишеля Тома — только что высланы с острова Джерси.

Это серьезное дело. Кто виден на поверхности? Английское правительство. Кто скрывается в глубине? Французская полиция. Рука Фуше может надеть перчатку Кэслри; свидетельство тому — это событие.

Государственный переворот начал свое наступление на английские свободы. Англия дошла до того, что изгоняет изгнанников. Еще один шаг — и Англия станет придатком французской империи, а Джерси — кантоном округа Кутанс.

В этот час наши друзья уже уехали; высылка совершилась.

Потомство оценит этот факт; мы лишь констатируем его, мы принимаем его к сведению. Если оставить в стороне оскорбленное право, насилия, объектом которых мы являемся, вызывают у нас улыбку.

Французская революция продолжается; французская республика воплощает право; будущее неотвратимо. Какое же значение может иметь все остальное? К тому же, что означает эта высылка? Еще одно украшение в уборе изгнания, еще одно отверстие в знамени.

Не должно быть, однако, никаких неясностей.

Вот что мы, изгнанники Франции, говорим вам, английскому правительству:

г-н Бонапарт, ваш «могущественный и сердечный союзник», по закону не имеет права ни на какое иное положение, кроме положения человека, которому предъявлено обвинение в государственной измене;

г-н Бонапарт уже четыре года находится под действием приказа о предании суду, который подписали председатель Верховного Суда Ардуэн, судьи Делапальм, Патайль, Моро (от департамента Сены), Коши и который скрепил генеральный прокурор Ренуар;

г-н Бонапарт, будучи должностным лицом, принес присягу республике и нарушил ее;

г-н Бонапарт поклялся в верности конституции и разорвал конституцию в клочья;

г-н Бонапарт, обязанный блюсти все законы, преступил все законы;

г-н Бонапарт бросил в тюрьмы неприкосновенных народных представителей — депутатов — и разогнал судей;

г-н Бонапарт, спасаясь от суда, делал то, что делает преступник, спасаясь от жандармов, — он убивал;

г-н Бонапарт рубил саблями, обстреливал картечью, уничтожал, избивал днем, расстреливал по ночам;

г-н Бонапарт гильотинировал Кюизинье, Сираса, Шарле, виновных в том, что они оказали содействие исполнению приказа о предании его суду;

г-н Бонапарт подкупал солдат, подкупал чиновников, подкупал судей;

г-н Бонапарт украл имущество Луи-Филиппа, которому он был обязан жизнью;

г-н Бонапарт сажал в тюрьмы, грабил, конфисковывал, терроризировал совесть людей, разрушал семьи;

г-н Бонапарт ссылал, прогонял, изгонял, высылал; он отправил в Африку, в Кайенну, в изгнание сорок тысяч граждан, к числу которых относятся и подписавшие эту декларацию.

Государственная измена, лживая присяга, клятвop-преступление, подкуп чиновников, аресты граждан, грабеж, воровство, убийство — все это преступления, предусмотренные кодексами всех народов и наказуемые в Англии эшафотом, а во Франции, где республика отменила смертную казнь, — каторгой.

Суд присяжных ожидает г-на Бонапарта.

Отныне история говорит ему: «Обвиняемый, встаньте!»

Палачом французского народа и союзником английского правительства является император-преступник.

Вот что мы говорим.

Это же мы говорили вчера, и большая часть английской прессы говорила это вместе с нами; это же мы будем говорить завтра, и потомство единодушно скажет это вместе с нами.

Вот что мы будем говорить всегда, мы, имеющие лишь одну душу — истину и одно слово — справедливость.

А теперь — высылайте нас!

Виктор Гюго

и еще 35 подписей французских, австрийских, немецких, польских, итальянских изгнанников.

Джерси, 17 октября 1855

К АНГЛИЧАНАМ

*Гернсей, Отвиль-Хауз,
25 ноября*

Дорогие соотечественники по великой европейской родине!

Я получил из рук нашего мужественного единомышленника Гарни сообщение, которое вы сооблаговолили мне передать от имени вашего комитета и от имени митинга в Ньюкасле. Приношу вам и вашим друзьям благодарность от себя и от моих товарищей по борьбе, изгнанию и высылке.

Не могло случиться, чтобы высылка с острова Джерси, это изгнание изгнанных, не вызвала общественного негодования в Англии. Англия — великая и благородная нация, в которой пульсируют все животворные силы прогресса, она понимает, что свобода — это свет. А ведь на Джерси только что попытались водворить тьму; то было нашествие мрака, нападение деспотизма на старинную свободную конституцию Великобритании; то был государственный переворот, нагло заброшенный империей на английскую землю. Высылка совершилась 2 ноября, это анахронизм; она должна была совершиться 2 декабря.

Передайте, пожалуйста, моим друзьям — членам комитета и вашим друзьям — участникам митинга, насколько мы были тронуты их благородной и энергичной демонстрацией. Подобные действия могут послужить предостережением и остановить тех ваших правителей, которые в этот час, быть может, намереваются применением позорного закона об иностранцах нанести последний удар старинной английской чести.

Демонстрации, подобные вашей, подобные той, которая только что состоялась в Лондоне, подобные тем, которые готовятся в Глазго, освящают, укрепляют и цементируют не бесплодный, лживый, пагубный, полный пепла союз нынешнего английского кабинета с бонапартистской империей, а подлинный, необходимый, вечный союз свободного народа Англии и свободного народа Франции.

Примите, вместе с глубокой благодарностью, выражения моих сердечных братских чувств.

Виктор Гюго.

ИТАЛИИ

Итальянцы, к вам обращается безвестный, но преданный брат. Остерегайтесь того, что готовят сейчас для вас конгрессы, кабинеты министров и дипломаты. Италия в волнении, по всем признакам она пробуждается; она беспокоит и занимает монархов; им кажется необходимым как можно скорее усыпить ее вновь. Берегитесь: они хотят не умиротворения вашей страны — умиротворение наступит только тогда, когда восторжествует право, — они хотят погрузить вас в летаргический сон, хотят вашей смерти. Вам готовят ловушку. Остерегайтесь. Какова бы ни была видимость, не забывайте о реальности. Дипломатия — это мрак. То, что делается будто бы для вашей пользы, на самом деле направлено против вас.

Как! Реформы, улучшение управления, амнистия, прощение вашего героизма, немного секуляризации, немного либерализма, кодекс Наполеона, бонапартистская демократия, старое письмо Эдгару Нею, которое убившая Рим рука переписала красными от крови Парижа буквами, — вот что вам предлагают монархи! И вы будете слушать их? И вы скажете: «Удовлетворимся этим»? И вы примете это, и вы разоружитесь? И вы отложите ту скрытую, грозную и великую революцию, которая разгорается в вашем сердце, которая пылает в ваших глазах? Возможно ли это?

Так, значит, у вас совсем нет веры в будущее? Разве вы не чувствуете, что империя завтра рухнет, что вслед за падением империи Франция воспрянет, а когда воспрянет Франция, будет освобождена Европа? Вы,

итальянцы, цвет человечества, нация, которая была матерью для всех других, один из самых прославленных народов, когда-либо существовавших на земле, вы, выше которых нет ничего, — неужели вы не чувствуете, что мы — ваши братья, ваши братья по духу, ваши братья по испытаниям, что мрак, окутывающий нас теперь, внезапно рассеется для всех сразу, что если будущее принадлежит нам, то оно принадлежит и вам, и что в день возрождения Франции возродится и Италия?

Да, как только поднимется один из этих двух народов, он поднимет и другой. Скажу больше: мы — один и тот же народ, мы — одно и то же человечество. Вы — римская республика, мы — республика французская, мы проникнуты одним и тем же живым духом; мы, французы, так же озарены сиянием Италии, как вы, итальянцы, озарены сиянием Франции. Нас с вами соединяет та глубокая человеческая солидарность, которая породит единство в борьбе и гармонию после победы. Итальянцы! Федерация континентальных наций, этих царственных сестер, свобода каждой из них, увенчанная свободой всех, братство наших отечеств, слитых в священном республиканском единстве, Соединенные Народы Европы — вот будущее.

Не отводите ни на минуту глаз от этого чудесного будущего. Скоро решится судьба всех, не допускайте, чтобы вашу судьбу решали отдельно.

Не соглашайтесь на предложения двигаться вперед потихоньку на поводу у монархов. Настало время семимильных шагов, которые именуются революциями. Народы теряют века, но могут наверстать их в один час. Свобода, подобно Нилу, должна широко разлиться, чтобы оплодотворить все вокруг.

Будем верить. Никаких отсрочек, никаких компромиссов, никаких полумер, никаких полупобед. Как! Итти на уступки, когда на вашей стороне право, принимать поддержку монархов, когда на вашей стороне поддержка народов! Прогресс такого рода требует самоотречения. Нет. Будем метить выше, предвидеть истину, итти прямо вперед. Приблизительное, неполное нас больше не удовлетворяет. Свершится все — свершится сразу, в один день, подобно блеску молнии, раскату грома. Будем верить.

Когда пробьет час гибели старого мира, революция сразу, внезапно, пользуясь своим божественным правом, без подготовки, без перехода, без сумерек, изольет на Европу чудесный поток свободы, воодушевления и света, и старому миру едва останется время рассыпаться в прах.

Не принимайте же ничего от старого мира. Это мертвец. Рука трупа холодна, она ничего не может дать.

Братья, помните, что вам, принадлежащим к древней италийской расе, которая дала миру прекраснейшие века истории; вам, в чьих жилах течет кровь самой цивилизации; вам, не выродившимся и не измельчавшим, сумевшим возродить в тот день, когда вы этого захотели, все величие прошлого; вам, создавшим достопамятное Учредительное собрание и триумvirат; вам, не далее как вчера — ибо 1849 год это вчера — доказавшим, что вы действительно римляне; вам, таким, как вы есть, сознающим свою силу и понимающим, что ваше освобождение должно стать делом ваших же рук, а ваша судьба зависит от вашей же воли, — вам подобает с презрением отвергнуть заигрывания и подачки монархов и ничего не принимать от тех, у кого вы вправе все отобрать силой.

Вспомните к тому же, сколько пятен грязи и капель крови на руках у папы и королей.

Вспомните казни, убийства, преступления, все виды мученичества, публичные палочные расправы, избиения в тюрьмах, военные и духовные трибуналы, римскую священную консулту, суды Неаполя, эшафоты Милана, Анконы, Луго, Синигальи, Имолы, Фаэнцы, Феррары, гильотину, гаротту, виселицу; вспомните сто семьдесят восемь расстрелов за три года, именем папы, в одном только городе, в Болонье; вспомните форт Урбана, замок святого Ангела, Искию; вспомните Поэрио, для которого единственным облегчением было передвигать по телу, с одного места на другое, сковывавшие его цепи; вспомните проскрипторов, потерявших счет изгнанным ими людям; вспомните каторжные остроги, одиночные камеры, подземные темницы, монастырские тюрьмы, могилы!

А затем вспомните вашу гордую и великую римскую программу. Будьте верны ей. В ней — свобода, в ней — спасение.

Никогда не забывайте гнусное изречение дипломатов: *«Италия не нация, а географическое понятие»*.

Стремитесь только к одному — жить на родной земле своей собственной жизнью. Быть Италией. И в душе беспрестанно повторяйте страшную истину: пока Италия не станет единой, итальянец не будет человеком.

Итальянцы, час близится, и я говорю это к вашей славе: вы сами приблизили его. Вы вызываете сейчас сильное беспокойство монархов континента. Больше всего дыма из европейского вулкана вырывается в настоящий момент именно там, где находится Италия.

Да, царству чудовищ и деспотов, как больших, так и малых, приходит конец — им осталось жить всего несколько мгновений. Не забывайте о том, что вы дети земли, предназначенной для добра и губительной для зла, земли, над которой простирается тень двух гигантов человеческой мысли, Микеланджело и Данте; Микеланджело олицетворяет правосудие, Данте — возмездие.

Сохраните же вашу высокую миссию незапятнанной до конца.

Не давайте ни ослабить, ни умалить себя.

Прочь сон, неподвижность, дурман! Никаких передышек! Действуйте, действуйте, действуйте! Долг всех до единого, ваш и наш, — активная деятельность сегодня, восстание завтра.

Ваша миссия одновременно и разрушительная и цивилизаторская. Она не может остаться невыполненной. Верьте, провидение позаботится о том, чтобы Италия вышла из всей этой тьмы великой, сильной, счастливой и свободной. Вы несете в себе революцию, которая поглотит прошлое, и возрождение, которое ляжет в основу будущего. На благородном челе Италии, виднеющемся во мраке, алеют и первые отсветы пожара и первые проблески зари.

Отвергните же с презрением то, что вам хотят предложить. Остерегайтесь и не теряйте веры. Не доверяйте монархам; доверьтесь богу.

Виктор Гюго.

Гернсей, 26 мая 1856

ПИСЬМО А. РИГОПУЛОСУ

Вы глубоко растрогали меня, прислав вашу превосходную газету. Благодарю вас от всей души. Я читаю ее с живейшим интересом.

Продолжайте святое дело, одним из отважных поборников которого вы являетесь; трудитесь во имя объединения народов. В наши дни дух единства должен реять над Европой и заменить в сердцах людей дух обособленности наций. Пример должны подать прославленнейшие из них — Греция, Италия, Франция. Но прежде всего, более всего нужно, чтобы эти нации снова стали самими собой, чтобы они принадлежали самим себе. Нужно, чтобы Греция окончательно освободилась от турецкого ярма, чтобы Италия свергла австрийский гнет, чтобы Франция сбросила с себя иго империи. Когда эти великие народы высвободятся из саванов, они бросят клич: «Единство Европы! Единство всего человечества!»

В этом — будущее. Голос Греции — один из тех, к которым будут прислушиваться внимательнее всего. Люди, подобные вам, достойны говорить от ее имени. Одним из первых, уже много лет назад, я боролся за освобождение Греции; благодарю вас за то, что вы помните об этом

Греция, Италия, Франция поочередно несли светоч; теперь, в великом девятнадцатом веке, они должны передать этот светоч Европе, но попрежнему будут излучать сияние.

Люди и народы, будем все менее и менее эгоистичны, будем все более и более человечны! Восклищайте: да здравствует Франция! Я же воскликну: да здравствует Греция!

Я приветствую вас, соотечественника Эсхила и Перикла, вас, борца за великие принципы человечества. Это прекрасно — быть сыном страны лучезарного света и во-друзить в ней знамя свободы!

Сердечно жму вашу руку.

Виктор Гюго.

Гернсей, 25 августа 1856

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОДУ АМНИСТИИ

Поскольку это касается меня, никто не дожидется, чтобы я обратил хотя бы малейшее внимание на то, что именуют амнистией.

При нынешнем положении Франции моим долгом является безусловный, непреклонный, вечный протест.

Верный обязательству, принятому мною перед своей совестью, я разделю до конца изгнание, в котором пребывает свобода. Когда вернется свобода, вернусь и я.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 18 августа 1859

ДЖОН БРАУН

к Соединенным Штатам Америки

Когда мы думаем о Соединенных Штатах Америки, перед нами встает величественный образ Вашингтона.

Однако вот что происходит сейчас на родине Вашингтона.

В южных штатах существует рабство, и эта чудовищная нелепость возмущает разум и чистую совесть жителей северных штатов. Некий белый человек, свободный человек, по имени Джон Браун, задумал освободить этих рабов, этих негров. Если какое-нибудь восстание можно признать священным долгом человека, то прежде всего таковым является восстание против рабства. Это благое дело Джон Браун решил начать с освобождения рабов в штате Виргиния. Пуританин, человек верующий, чело-

век строгой жизни, проникнутый духом евангелия, Christus nos liberavit¹, он бросил этим людям, своим братьям, клич свободы. Негры, измученные неволей, не откликнулись на его призыв. Рабство делает души глухими. Не найдя поддержки, Джон Браун все же начал борьбу; собрав горсточку храбрецов, он вступил в бой; его изрешетили пулями; двое юношей, его сыновья, — святые мученики! — пали рядом с ним; его самого схватили. Это и есть то, что называют делом при Харперс-Ферри.

Джон Браун и четыре его соратника — Стивенс, Копп, Грин и Коплендс — предстали перед судом.

Как велся процесс? Скажу об этом в двух словах.

Джон Браун лежит на складной койке; он ранен в плечо, в поясницу, дважды в грудь, дважды в голову, почти оглох; кровь, капающая из шести едва затянувшихся ран, просачивается сквозь тюфяк. Перед глазами Брауна тени его погибших сыновей; возле него, израненные, обессиленные, еще четверо обвиняемых, среди них — Стивенс, изувеченный четырьмя сабельными ударами; «правосудие» неимоверно спешит и не считается с законом; прокурор Хантер решил окончить процесс как можно скорее; судья Паркер всячески помогает ему в этом; прения сокращены до предела; ходатайства об их продлении отклоняются; документы, на которых основано обвинение, частью фальшивы, частью подчищены; свидетели защиты не допускаются; защитникам не дают говорить; во дворе суда — две пушки, заряженные картечью, и тюремщикам велено пристрелить обвиняемых, если будет сделана попытка освободить их; сорокаминутное совещание суда, три смертных приговора. Клянусь честью, это произошло не в Турции, а в Америке.

Нельзя безнаказанно совершать такие преступления перед лицом всего цивилизованного мира. У мировой совести зоркий глаз. Пусть чарлзтоунские судьи, пусть Хантер и Паркер, пусть рабовладельцы-присяжные, пусть все жители штата Виргиния помнят о том, что их видят. Некто бодрствует.

Взоры всей Европы сейчас устремлены на Америку.

Джон Браун, приговоренный к смерти, должен был быть повешен 2 декабря, то есть сегодня.

¹ Христос нас освободит (лат.).

Только что получено известие: ему дана отсрочка — он умрет 16-го.

Срок небольшой. Успеет ли донестись отсюда призыв к милосердию?

Все равно, наш долг — поднять голос!

Быть может, за первой отсрочкой последует вторая. Америка — благородная страна. Чувство гуманности быстро пробуждается у свободного народа. Мы надеемся, что Джон Браун будет спасен.

Если этого не случится, если Джон Браун 16 декабря умрет на эшафоте, — какой ужас!

Палачом Брауна — мы заявляем об этом во всеуслышание (ибо короли уходят, а народы остаются, и народы должны знать истину), — палачом Брауна будет не прокурор Хантер, не судья Паркер, не губернатор Уайз, не крошечный штат Виргиния; им будет — страшно подумать, страшно сказать! — вся огромная американская республика.

Пред лицом такой катастрофы сердце сжимается тем мучительнее, чем сильнее любишь эту республику, чем больше ее уважаешь, чем больше ею восхищаешься. Нельзя позволить одному штату бесчестить все остальные, и в данном случае вмешательство федеральных властей было бы вполне законным. Если же оно не произойдет, если, будучи в силах предотвратить злодеяние, федеральные власти не сделают этого, — единство станет сообщничеством. Как бы страстно ни возмущались великодушные северные штаты, позор, который южные штаты навлекут на себя этим убийством, падет и на них. Все мы, кто бы мы ни были, все мы, для кого демократия стала общим отечеством, чувствуем себя оскорбленными и в какой-то мере запятнанными. Если 16 декабря эшафот будет воздвигнут, то с этого дня в глазах нелицеприятной истории ко всем священным узам, объединяющим величественную федерацию Нового Света, прибавятся узы кровавой расправы, и тогда лучезарную гирлянду штатов этой могущественной республики будет скреплять петля с виселицы Джона Брауна.

Эта петля несет гибель.

Когда поразмыслишь над тем, что пытался сделать Джон Браун, этот освободитель, этот воин Христов, и вспомнишь, что он обречен на смерть и умрет, удушен-

ный американской республикой, — ее преступление становится в наших глазах таким же огромным, как огромная нация, которая его совершает; и когда подумаешь о том, что эта нация — одно из украшений рода человеческого, что, подобно Франции, Англии, Германии, она является одним из носителей цивилизации, что часто своими смелыми начинаниями она даже опережает Европу на пути прогресса, что она возглавляет целый континент, что на ее челе сияет светоч свободы, — тогда с уверенностью говоришь себе, что Джон Браун не умрет, ибо одна мысль, что столь великий народ может совершить столь великое злодеяние, заставляет нас содрогаться.

С точки зрения политической убийство Брауна было бы непоправимой ошибкой. Оно вызвало бы в союзе скрытую трещину, которая в конце концов привела бы к его распадению. Возможно, что казнь Брауна укрепит рабство в Виргинии, но она, несомненно, расшатает все устои американской демократии. Вы спасаете свой позор — и убиваете свою славу.

С точки зрения нравственной, светоч человечности померк бы, само понятие справедливого и несправедливого затемнилось бы в тот день, когда поборник Освобождения был бы умерщвлен сынами Свободы.

Я — лишь песчинка, но песчинка, в которой, как в каждом человеке, живет вся совесть человечества; я со слезами преклоняю колена перед великим, усеянным звездами знаменем Нового Света и с глубоким сыновним почтением умоляю прославленную американскую республику подумать о сохранении великого нравственного закона всего человечества, умоляю ее спасти Джона Брауна, разрушить зловещий эшафот, сооруженный к 16 декабря, не допустить, чтобы на ее глазах и — прибавлю с трепетом — почти по ее вине совершилось нечто более преступное, чем первое братоубийство.

Да, пусть знает Америка, пусть помнит: есть нечто более ужасное, чем Каин, убивающий Авеля; это Вашингтон, убивающий Спартака.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 2 декабря 1859

ГАРИБАЛЬДИ**18 июня 1860 года**

Господа!

Я пришел на ваш зов. Когда где-либо воздвигают трибуну для защиты дела свободы и обращаются ко мне — я являюсь немедленно, ибо так велит мне моя совесть, и говорю правду, ибо так велит мне мой долг. (*Возгласы: «Слушайте! Слушайте!»*)

Правда заключается в том, что в наше время никому не дозволено оставаться равнодушным к великим событиям, которые совершаются ныне; в том, что для торжества начавшегося в наши дни святого дела всеобщего освобождения требуются соединенные усилия всех, участие всех, сотрудничество всех; в том, что ничей слух не вправе оставаться замкнутым, ничье сердце не вправе молчать; в том, что призыв к свободе, который ныне на устах у всех народов, должен найти отголосок в сердцах всех людей; в том, что тот, у кого есть лишь одна мелкая монетка, должен отдать ее освободителям, а тот, у кого есть лишь камень, должен швырнуть его в тиранов. (*Аплодисменты.*)

Пусть одни действуют, другие говорят, но пусть трудятся все! Да, все за работу! Ветер подул! Пусть всеобщее восхищение героями радует души! Пусть народные массы, воодушевившись, раскаляются, подобно горнам! Пусть те, кто не сражается мечом, сражаются словом! Пусть ни одна душа не остается в стороне от схватки, ни один ум не пребывает бездеятельным! Пусть чувствуют те, кто борется, что на них смотрят, что ими восхищаются,

что их поддерживают! Пусть для этого храбреца, гордо стоящего во весь рост в далеком Палермо, пылают костры на всех горах Сицилии, пусть сияет для него свет на всех горных вершинах Европы! (*Возгласы: «Браво!»*)

Я сказал сейчас «тираны», — разве я преувеличиваю? Разве я клеветшу на неаполитанское правительство? Не надо слов. Вот факты

Слушайте внимательно. Это живая история; можно сказать, история, истекающая кровью. (*Возгласы: «Слушайте!»*)

Неаполитанское королевство, занимающее нас в настоящий момент, имеет лишь одно государственное установление — полицию. В каждом округе есть своя «комиссия палочных ударов». При нынешнем короле страной правят два сбира — Айосса и Манискалько. Айосса избивает палками жителей Неаполя, Манискалько — жителей Сицилии. Но палка — не более как турецкий способ управления; у неаполитанского правительства, кроме него, имеется излюбленное средство инквизиции — пытка. Да, пытка! Слушайте. Один из сборов, Бруно, привязывает голову обвиняемого к его коленям и держит несчастного в этом положении, пока тот не сознается. Другой, Понтилло, сажает свою жертву на раскаленную жаровню; это называется «огненное кресло». Третий, Луиджи Манискалько, родственник начальника, изобрел особый прибор; в него вставляют руку или ногу истязуемого, поворачивают рычаг — и кости дробятся; это орудие называется «ангельская машина». Четвертый из этих злодеев подвешивает человека за руки на двух кольцах к одной стене, а за ноги — к противоположной стене, а затем с размаху кидается на жертву, и она раздирается на части. Существуют тиски, сплющивающие пальцы рук; для сдавливания головы существует прибор в виде железного круга, снабженного винтом. его закручивают все ту же, глаза жертвы выпучиваются и едва не выскакивают из орбит. Изредка кому-нибудь удастся спастись; некий Казими́ро Арсимано бежал от палачей; тогда они схватили его жену, сыновей, дочерей и усадили вместо него на «огненное кресло». Мыс Дзафферана прилегает к пустынному побережью; туда сбираы приносят мешки, в которые брошены люди; мешок погружают в море и держат под водой, покуда человек, заключенный в нем,

не перестанет шевелиться; тогда его вытаскивают из воды и говорят задыхающейся жертве: «Сознайся!» Если несчастный отказывается, его снова погружают в воду. Так погиб Джованни Вьенна, уроженец Мессины. В Монреале одного старика и его дочь заподозрили в том, что они патриоты. Старик умер под плетью. Его беременную дочь раздели донага и избивали, пока она не испустила дух. Все это, господа, творит двадцатилетний юноша. Имя его — Франциск II. Это происходит в стране Тиберия. (*Возгласы с мест.*)

Возможно ли это? Все это — истинная правда. Время? 1860 год. Нынешний год. Прибавьте к этому совсем недавнее событие: город Палермо разгромлен орудийными снарядами, залит кровью, почти обезлюдел от казней; прибавьте чудовищную страсть уничтожать целые города — страсть, которая говорит о маниакальном неистовстве царствующей династии и приведет к тому, что в историю эта династия войдет под отвратительным прозвищем: не «Бурбоны», а «Бомбы». (*Возгласы: «Ура!»*)

Да, все эти ужасающие злодеяния совершает молодой человек, которому всего двадцать лет. Господа, я заявляю, этот ничтожный король-мальчишка вызывает у меня чувство глубокой жалости. Какой ужасный мрак! В годы, когда люди верят, любят, надеются, этот несчастный пытается и убивает. Вот что делает «божественное право» с мелкими душонками! Все благородные порывы юности и начала жизни оно подменяет дряблостью и страхами, свойственными ее концу; словно цепью, оно сковывает кровавой традицией и властителя и народ; только что вступившего на престол государя оно опутывает тайными семейными влияниями, — о, как они страшны! Если бы Агриппину отторгли от Нерона, а Екатерину Медичи разлучили с Карлом IX, возможно, что не было бы ни Нерона, ни Карла IX. В ту самую минуту, когда наследник престола, в силу «божественного права», берет в руки скипетр, рядом с ним вырастают два вампира — Айосса и Манискалько, хорошо известные в истории, хотя бы и под другими именами: иногда их зовут Нарцис и Паллас, иногда — Вильруа и Башелье. Эти изверги завладевают жалким венценосным юнцом: они внушают ему, что пытка — лучший способ государственного правления, что палочная расправа — это власть, что полиция ниспослана

провидением; ему напоминают о его происхождении, рассказывают о его прадеде Фердинанде I — том самом, который говорил, что миром правят три F: Festa, Farina, Forza¹, — о его деде Франциске I, прославившемся убийствами из-за угла, о его отце Фердинанде II, картечью расстреливавшем повстанцев. Неужели он отречется от своих предков? Ему доказывают, что он должен быть жестоким из сыновнего почтения; он слушается; опьянение неограниченной властью отупляет его. Так появляются юные чудовища; так — увы! — молодые короли неизбежно продолжают злодеяния древних тираний. (*Сильное возбуждение.*)

Нужно было освободить этот народ, — я даже готов сказать: освободить этого короля. Задачу эту взял на себя Гарибальди. (*Возгласы: «Браво!»*)

Гарибальди! Кто такой Гарибальди? Человек, не более, — но человек во всем великом значении этого слова. Человек, борющийся за свободу; человек, воплощающий в себе все человечество. «Vir»², — сказал бы его соотечественник Вергилий.

Есть у него армия? Нет. Всего лишь кучка добровольцев. Военное снаряжение? Почти никакого. Порох? Несколько бочонков. Пушки? Те, которые он отбил у неприятеля. Так в чем же его сила? Почему он побеждает? Что ему помогает? Душа народа. Он мчится, несется вихрем, его продвижение — огненный полет, торсточка его соратников приводит в оцепенение целые полки, его убогое оружие обладает чудодейственной силой, пули его карабинов сильнее пушечных ядер врага; с ним — Революция, и время от времени в хаосе битвы, в пороховом дыму, при вспышках огня, позади него, словно он герой Гомера, нам видится богиня. (*Восторженные клики.*)

Как ни упорно сопротивление, эта война поражает своей простотой. Человек штурмует королевскую власть; отовсюду к нему стекаются борцы; женщины бросают ему цветы, мужчины сражаются с песней на устах, королевская армия бежит; этот смелый поход эпичен — он весь сверкает, грозный и чарующий, словно пчелиный рой, несущийся на врага.

¹ Празднество, мука, виселица (*итал.*).

² Доблестный муж (*лат.*).

Полюбуйтесь на это блистательное шествие от города к городу! И я вам предсказываю: ни один из них не избежит неумолимой судьбы, предначертанной будущим. После Марсалы — Палермо, после Палермо — Мессина, после Мессины — Неаполь, после Неаполя — Рим, после Рима — Венеция, после Венеции — вся Италия! (*Восторженные аплодисменты.*)

Господа! Оно ниспослано богом, это возмущение, потрясающее Сицилию, над которой ныне реет знамя патриотизма, веры, свободы, доблести, героизма, Сицилию, которая охвачена революцией, затмившей собой извержение Этны!

Да, это должно было произойти, — и как чудесно, что пример всему миру подала страна постоянных извержений! (*Возгласы: «Браво!»*)

О, как велик народ, когда настает его час! Как прекрасно все это — и нарастающее возмущение, и его взрыв, и забвение всех мелких интересов и низменных страстей! Как прекрасны эти женщины, которые воодушевляют своих мужей и сражаются сами, эти матери, кричащие своим сыновьям: «Иди!», как прекрасна та радость, которую испытываешь, хватаясь за оружие, дыша полной грудью, ощущая в себе биение жизни, и тот возглас, который вырывается у всех, и то сияние, которое озаряет небосвод! Никто уже не думает о наживе, о золоте, о чревоугодии, о наслаждениях, о безумстве оргий; негодование и отвага воодушевляют всех; люди выпрямляются во весь рост; горделиво поднятые головы бросают вызов тиранам; бесчеловечные установления отменяются, деспотов низлагают, умы сбрасывают оковы, Парфенон стряхивает с себя полумесяц, и, озаренная солнцем, появляется суровая Минерва с копьем в руке. Разверзаются гробницы, и мертвецы окликают друг друга из могил. О, воскресните! Это больше, чем жизнь, это апофеоз. Сердца бьются в прекраснейшем порыве, и те, кто некогда потерпел поражение в героической борьбе, утешаются, и глаза мыслителей, некогда изгнанных из родной страны, наполняются слезами, когда то, что было принижено, негодует, а то, что было повержено, восстает вновь, когда пленительно и в то же время грозно воскресает бывшее величие, когда Стамбул снова становится

Византией, Сетиньях — Афинами, а Рим — снова Римом!
(*Взрыв аплодисментов.*)

Все мы, кто бы мы ни были, должны рукоплескать Италии. Восславим эту землю, даровавшую миру столько великих начинаний. *Alma parens*¹. У таких наций некоторые отвлеченные истины предстают нам ощутимо, наглядно. Эти нации, подобно девственницам, охраняют свою честь и, подобно матерям, рождают новое.

Вы все, слушающие меня, скажите: встает ли перед вашими глазами это изумительное видение — свободная Италия? Свободная от Тарентского залива до лагун святого Марка, ибо — клянусь в этом на твоей могиле, о Манин! — Венеция будет участницей этого торжества! Скажите, явилось ли вам это видение, которое завтра превратится в реальность? Свершилось: все, что было ложью, обманом, тленом, мраком, развеялось в прах. Италия существует! Италия вновь стала Италией! Где было географическое понятие, там теперь нация; где был труп, там живой дух; где реял призрак, теперь, расправив крылья, витает великая защитница народов — Свобода. Италия, эта великая покойница, воскресла; смотрите, она встала и улыбается всему человечеству. Она говорит Греции: «Я твоя дочь», она говорит Франции: «Я твоя мать». Она окружена толпой своих поэтов, своих ораторов, своих художников, своих философов; все это — великие наставники человечества, хранители мирового разума, члены сената всемирной истории; по правую и по левую руку ее — два великих человека потрясающей мощи: Данте и Микеланджело. Ах, говоря языком политики, любящей такие выражения, это будет самый великий из «совершившихся фактов»! Какое торжество! Какой взлет! Какое великое чудо — единство, внезапно, одной вспышкой молнии пронизывающее все эти столь различные в своем великолепии и все же связанные кровными узами города — Милан, Турин, Геную, Флоренцию, Болонью, Пизу, Сиену, Верону, Парму, Палермо, Мессину, Неаполь, Венецию, Рим! Италия воспрянула, Италия шествует, *patuit dea*²; она блистает; в поступательное движение всего человечества она вносит пылкую жизне-

¹ Благая родительница (*лат*)

² Открылась нам богиня (*лат*).

радостность, присущую ее духу, и это лучезарное сияние воспламенит всю Европу; новый свет, озаривший землю, зажжет взоры всех народов восторгом не менее бурным, бросит на каждое чело отблеск не менее прекрасный, вызовет не меньшее преклонение, не меньшую радость, не меньшее ликование, чем если бы в небе засияла новая звезда! (*Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Господа, если мы хотим понять не только то, что происходит, но и то, что готовится, мы не должны забывать, что Гарибальди — человек сегодняшнего дня, человек завтрашнего дня, вместе с тем и человек вчерашнего дня; прежде чем стать борцом за воссоединение Италии, он боролся за создание Римской республики. На наш взгляд, как и на взгляд всех, кто способен понять, что путь прогресса неизбежно извилист и что прежде чем осуществиться, идея не раз перевоплощается, 1860 год является продолжением 1849. (*Сильнейшее волнение.*)

Освободители народов — великие люди. Да будут народы признательны им, как бы ни складывалась судьба этих героев! Вчера им сопутствовали слезы, сегодня — клик: «Осанна!» Провидение иногда восстанавливает равновесие: Джон Браун гибнет в Америке, но Гарибальди торжествует в Европе. Человечество, отчаявшееся при виде позорной виселицы Чарлзтоуна, снова обретает надежду, взглянув на сверкающий клинок Каталафими. (*Возгласы: «Браво!»*)

Братья мои в человечестве, настал час ликования и радостных объятий! Отбросим все, что нас разделяет, всякие политические разногласия, — все это теперь не имеет значения; в великий час, ныне переживаемый нами, устремим взоры наши на одну лишь эту священную задачу, на эту высокую цель, на взошедшую ныне чудесную зарю — освобождение народов, и сольем наши души в едином мощном возгласе, достойном и человечества и неба: «Да здравствует Свобода!» Если Америка, увы, со зловещим упорством сохраняющая рабство, клонится к мраку ночи, да воссияет снова Европа! Да воссияет снова ярче, чем когда-либо прежде, и навеки неугасимо, первородная цивилизация Старого Света, благодаря Вольтеру уничтожившая суеверия, благодаря Уилберфорсу — рабство, благодаря Беккарии — эшафот, и да воздвигнет она вновь над миром древний свой маяк, где

сияют три светоча — Франция, Англия, Италия. (*Восторженные клики.*)

Господа, еще одно слово. Перед тем как распространиться с Сицилией, бросим на нее последний взгляд. Подведем итоги.

Какой вывод можно сделать из этой грандиозной эпопеи? Что вытекает из всего этого? Нравственный закон, священный закон. И он гласит:

Грубая сила — ничто.

Да, грубая сила — ничто. Существует только справедливость.

Существуют только основные принципы; существуют только истина и право. Существуют только народы; существуют только души человеческие — сила, борющаяся за идеал; существует только совесть на земле и провидение на небесах. (*Сильнейшее волнение.*)

Что такое грубая сила? Что такое меч? Кто из мыслящих людей страшится меча? Не мы, свободолюбивые люди Франции, не вы, свободолюбивые люди Англии. Кто сознает свою правоту, тот высоко поднимает голову. Сила и меч — ничто. Меч — лишь узкая блестящая полоска, которая зловеще пронизывает мрак и мгновенно исчезает, тогда как справедливость сияет в веках; справедливость — это истина, вечно живущая в душах людей, это живой бог, которого человек носит в себе. Поэтому победа неизменно остается за теми, кто сражается в защиту справедливости. Один человек, на стороне которого справедливость, подобен целому легиону; один клинок, на стороне которого справедливость, подобен молнии. Кто сказал «справедливость» — сказал «победа». Препятствия? Их нет. Поистине — их нет. Против воли будущего бессильно любое «вето». Взгляните, к чему свелось сопротивление в Европе: Австрией постепенно овладевает бессилие, Россия примиряется с неизбежным. Взгляните на Неаполь: борьба тщетна. Напрасны все усилия агонизирующего прошлого. Меч рассыпается в прах. Те, чье имя Ланца, Ланди, Аквила, обратились в призраки. Сейчас Франциску II, быть может, кажется, что он еще существует. Он ошибается; заявляю ему, он — тень. Пусть он даже решительно откажется от капитуляции, пусть удушит Мессину, как удушил Палермо, пусть цепляется за жестокость — с ним покончено. Он уже отцарствовал.

Мрачные кони изгнания бьют копытами о землю у дверей его дворца.

Господа, я заявляю вам: существует только право. Хотите сопоставить справедливость с грубой силой? Сравните цифры: 11 мая в Марсале причаливает к берегу восемьсот человек; двадцать семь дней спустя в Палермо восемнадцать тысяч человек, охваченные ужасом, отчаливают от берега. Эти восемьсот человек олицетворяют право; те восемнадцать тысяч — грубую силу.

Да возрадуются всюду те, кто страдает, и да уверуют в освобождение те, кто томится в оковах! Во всем том, что происходит сейчас, есть внутренняя закономерность.

Да воцарится во всем мире надежда! Да воодушевятся ею все — и русский мужик, и египетский феллах, и пролетарий, и пария, и проданный в рабство негр, и угнетенный белый, пусть все они надеются и верят! Все цепи составляют единую сеть, все переплетены между собой: стоит разорвать одно звено — и вся сеть распадется. Отсюда — солидарность деспотов; папа куда ближе к султану, чем он думает. Но, повторяю, с этим покончено. О, как прекрасна неодолимая сила вещей! В освобождении есть что-то сверхчеловеческое. Свобода — дивная бездна, влекущая к себе. В основе революций лежит их неотвратимость. Прогресс — не что иное, как одно из проявлений закона всемирного тяготения; кто может ему воспрепятствовать? Как только толчок дан, движение уже не обуздать. Так не пытайтесь же, о деспоты, остановить падающий камень, остановить бурный поток, остановить лавину, остановить Италию, остановить порыв Восемьдесят девятого года, остановить человечество, волею providения ринувшееся навстречу свету! (*Буря аплодисментов.*)

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДЖЕРСИ

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВИКТОРА ГЮГО НА ОСТРОВ ДЖЕРСИ

19 июня 1860 года

Господа!

Разрешите мне воспользоваться тем, что я уже стою, и сказать несколько слов. Я испытываю настоящую потребность тотчас же поблагодарить вдохновенного

и сердечного оратора, которого мы только что выслушали. Я буду краток. Глубокие чувства не терпят многословия; волнение растроганных сердец само по себе достаточно красноречиво. Так вот, я очень взволнован.

Лучший способ отблагодарить вас — это сказать, что я люблю Джерси. Я уже говорил вам об этом вчера, вы слышали это на митинге и читали в газетах, я повторяю то же самое сегодня — ведь я обращаюсь к ушам народа, к сердцу народа, а народы подобны женщинам, им никогда не надоедает слушать слова: «Я вас люблю». Я с сожалением покинул Джерси и возвращаюсь сюда с радостью. Освободителям присуща чудесная, пленительная черта — они освобождают подчас не только тех, ради кого ведут борьбу. Сам того не подозревая, Гарибальди убил двух зайцев сразу: заставил Бурбонов покинуть Сицилию и дал мне возможность вернуться на Джерси.

Сердечные аплодисменты и возгласы, раздающиеся здесь сейчас, глубоко волнуют меня; мне даже не хватает слов, чтобы рассказать вам об этом. Я не знаю, как ответить на всеобщие поздравления с благополучным прибытием, на ласковые улыбки, радостные восклицания и проявления симпатии, окружающие меня со всех сторон. Я мог бы, пожалуй, сказать вам: «Пощадите меня. Вы все против одного». Существует некое легендарное чудовище, которое мне сейчас кажется особенно щедро одаренным природой. Я завидую этому чудовищу. Его звали Бриарей. Я хотел бы, подобно ему, иметь сто рук, чтобы сразу обменяться с вами сотней рукопожатий.

Что я люблю на Джерси? Охотно скажу вам. Я люблю здесь все. Я люблю его климат с мягкой зимой и нежарким летом, его цветы, которые всегда выглядят как в апреле, его деревья, совсем нормандские, его утесы, совсем бретонские, его небо, напоминающее мне Францию, его море, напоминающее мне Париж. Я люблю его население, которое трудится и борется, всех этих честных людей, которых встречаешь на каждом шагу на ваших улицах и на ваших полях. В их облике английская непринужденность сочетается с французским обаянием, а это ведь тоже непринужденность.

Когда я приехал сюда восемь лет назад, после самых страшных политических битв нашего века, потерпев жестокое крушение и еще не оправившись от декабрьской

катастрофы, потрясенный этой бурей, взбудораженный этим ураганом, — знаете ли вы, что я нашел на Джерси? Священную, возвышенную, неожиданную вещь — мир. Да, в то время только что совершилось самое большое политическое преступление нашей эпохи — на родине просвещения, в центре Франции была задушена свобода. Увы, чудовищное покушение удалось. Я боролся против порабощения целого народа одним человеком; приехав сюда, я еще дрожал с головы до ног от этой неистовой борьбы; я был возмущен и растерян, я задыхался. И что же? Джерси успокоил меня. Повторяю, я обрел мир, отдых, суровое и глубокое умиротворение в безмятежной природе ваших селений, в сердечных приветствиях ваших хлебопашцев, в этих долинах, в этом уединении, в ночном небосводе, щедро усеянном звездами, в вечно волнующемся океане, который вздымается и опускается, словно от дыхания бога. И так случилось, что, сохраняя священный гнев против преступления, я ощутил, как бесконечность внесла в этот гнев свою спокойную ширь, и то, что во мне роптало, утихло. Да, я благодарен Джерси. Я благодарен вам. Под крышами домов в ваших городах я ощущал человеческую доброту, а на ваших полях и в вашем море я ощущал доброту божественную. О, я никогда не забуду того величественного умиротворения, которое принесла мне природа в первые дни изгнания!

Мы можем сказать сегодня, — гордость более не запрещает нам сделать это признание, и ни один из моих товарищей не опровергнет мои слова: все мы страдали, покидая Джерси. Мы уже пустили здесь корни. Всеми фибрами души мы сжились с вашей почвой и вросли в нее. Выкорчевывание было болезненным. Мы все полюбили Джерси. Одни полюбили его потому, что испытали здесь счастье, другие — потому, что испытали несчастье. Стрдание вызывает не менее глубокую привязанность, чем радость. Увы! Изгнанник может испытать на приютившей его земле такие страдания, что разлука с ней кажется ему невыносимой даже тогда, когда родина вновь становится досягаемой. Кстати, мне вспомнилось зрелище, которое я видел вчера. Наше собрание одновременно и торжественное и душевное, и то, что я вам сейчас расскажу, вполне соответствует его характеру. Послушайте же.

Вчера я с несколькими дорогими друзьями совершил поездку по острову, чтобы вновь повидать любимые места, повторить излюбленные когда-то прогулки и насладиться лучезарными пейзажами, которые, как видения, запечатлелись в нашей памяти. На обратном пути нам предстояло исполнить благочестивое намерение: мы хотели закончить нашу поездку там, где кончается все, — на кладбище.

Мы остановили свою коляску у поля Сен-Жан, где покоятся многие из наших. И знаете ли вы, что заставило нас содрогнуться, знаете ли вы, что мы увидели, прийдя на кладбище? Женщину, или, точнее, человеческую фигуру, окутанную черным саваном, коленопреклоненную, или, вернее, распростертую на земле, почти слившуюся с могилой. Мы стояли недвижимо, в молчании, приложив палец к губам, потрясенные этой величественной скорбью. Помолившись, женщина встала, сорвала цветок в покрывавшей могилу траве и спрятала его на груди. И тогда мы ее узнали. Мы узнали это бледное лицо, эти безутешные глаза и седые волосы. То была мать! Мать изгнанника, молодого и отважного Филиппа Фора, умершего четыре года тому назад на священной скале изгнания. И вот уже в течение четырех лет, каждый день, в любую погоду, эта мать приходит сюда; вот уже в течение четырех лет она ежедневно становится на колени у надгробного камня и целует его. Попробуйте оторвать ее от этой могилы! Покажите ей Францию, да, даже Францию! Что значит она для этой матери? Скажите ей: «Вы здесь не в своей стране» — она вам не поверит. Скажите ей: «Вы родились не здесь» — она ответит вам: «Здесь умер мой сын». И, услышав этот ответ, вы умолкнете, ибо родина матери там, где могила ее ребенка.

Вот, господа, как люди проникаются любовью к земле и любят ее всем своим существом, всей своей кровью, всей своей душой. Наша душа слилась с душой этой страны. Здесь у нас есть умершие друзья. Знайте, чужой земли не существует; повсюду земля — мать человека, его нежная, строгая и преданная мать. Во всех тех местах, где он любил, плакал, страдал, повсюду человек у себя дома.

Господа, я отвечаю на тост, посвященный мне, тостом, посвященным Джерси. Я пью за Джерси, за его

процветание, за его украшение, за его улучшение, за рост его промышленности и торговли, а главное, за рост его духовного и нравственного величия.

Существуют две черты, придающие народам величие и очарование. Эти две черты — свобода и гостеприимство; гостеприимство составляло славу древних народов, свобода составляет сияние народов современных. Джерси украшают обе эти короны, — пусть же он хранит их!

Пусть он хранит их всегда! Прежде всего следует сказать о свободе. Оберегайте, да, ревниво оберегайте вашу свободу. Не допускайте более, чтобы кто бы то ни было осмелился ее коснуться. Ваш остров — земля красоты, счастья и независимости. Вы живете здесь не только для того, чтобы наслаждаться всем этим, но и для того, чтобы исполнять свой долг. Бог позаботится о том, чтобы ваша земля оставалась прекрасной; женщины позаботятся о том, чтобы она оставалась счастливой; вы, мужчины, позаботьтесь о том, чтобы она оставалась свободной.

А что до вашего гостеприимства, храните и его так же свято. Гостеприимные народы выделяются среди всех каким-то величавым, вызывающим преклонение очарованием. Они дают пример; своим гостеприимством они вносят в многообразное и беспорядочное общение народов элементы воспитания; гостеприимство народов — это начало братства людей. А братство людей — великая цель. Будьте же всегда гостеприимны. Пусть эта священная черта — гостеприимство — вечно украшает ваш остров; позвольте мне отнести мое пожелание также и к Гернсею, брату вашего острова, и ко всему архипелагу Ламанша. Этот архипелаг — великая земля, убежище; великая не своими размерами, а числом беженцев всех партий и всех стран, которых она приютила и утешила за три столетия. О, нет на свете ничего прекраснее возможности служить убежищем! Так будьте же убежищем! Продолжайте и впредь принимать всех, кто к вам приходит. Будьте благословенным спасительным архипелагом. Бог поместил вас здесь, чтобы вы открывали свои гавани для всех парусов, истерзанных бурей, и свои сердца — для всех людей, истерзанных судьбой.

Не должно быть предела вашему святому гостеприимству; не вглядывайтесь в того, кто к вам приходит; принимайте его не расспрашивая. Благородная черта

гостеприимства в том и состоит, что его достоин каждый страждущий. Мы, находящиеся здесь изгнанники Франции, никому не причинили зла, мы защищали права и законы своей страны, мы выполняли свои обязанности и внимали голосу своей совести; мы страдаем за справедливость и за истину. Вы принимаете нас, и это прекрасно; но к вам могут обратиться и совсем иные жертвы кораблекрушения. Если бедствия обрушиваются на невинных, то и виновных подстерегают подводные камни; если люди творят злые дела, это не значит, что они всегда будут победителями. Послушайте меня: если когда-нибудь к вам придут побежденные, отстаивавшие несправедливое дело, примите и их так же, как вы принимаете нас. Несчастье — одно из священных проявлений права. Поймите меня до конца: говоря о возможных побежденных, я не исключаю никого. Быть может, наступит день — ибо события во власти божественной руки, а божественная рука не оскудевает, — наступит день, когда среди тех, кого выбросит на ваши берега сильная буря или сильный прилив будущего, окажется изгнавший нас человек, в свою очередь изгнанный и несчастный. Так вот! Будьте столь же снисходительны к нему, сколь справедливы вы к нам. Если он постучится в ваши двери, откройте и скажите «Те, кого вы изгнали, просили нас предоставить вам убежище; входите же».

НЕГРЫ И ДЖОН БРАУН

*Редактору негритянской газеты «Прогресс»
Эртелу*

Отвиль-Хауз, 31 марта 1860

Вы, сударь, благородный представитель негритянской расы, той части человечества, которую в течение столь долгих лет притесняли и не признавали.

Всюду, по всему земному шару, в людях пылает единый огонь; доказательство тому — такие негры, как вы. Было ли несколько Адамов? Пусть натуралисты спорят по этому вопросу; достоверно лишь то, что бог — один.

А поскольку у всех один отец, мы — братья.

За эту истину Джон Браун отдал свою жизнь; за эту истину борюсь и я. Вы благодарите меня за это; не могу выразить, как я тронут вашими прекрасными словами.

На земле нет ни белых, ни черных, есть только умы; вы — один из них. Перед богом все души белы.

Я люблю вашу страну, вашу расу, вашу свободу, вашу революцию, вашу республику. Ваш великолепный благодатный остров пленяет сейчас свободные души; он подал великий пример; он сломил деспотизм.

Он поможет нам сломить рабство.

Ибо рабство, в любых своих видах, исчезнет. Южные штаты убили не Джона Брауна, они убили рабство.

Отныне Американский союз надо считать распавшимся, что бы ни твердило нам позорное послание президента Бьюкенена. Я глубоко сожалею об этом, но теперь иначе быть не может; Юг и Север разделены виселицей Джона Брауна. Солидарность тут невозможна. Подобное преступление не совершают вдвоем.

Клеймите же дальше это преступление и крепите дальше вашу славную революцию. Продолжайте ваше дело, вы и ваши достойные сограждане. Ныне Гаити — источник света. Как прекрасно, когда один из факелов прогресса, освещающих путь человечества, держит рука негра!

Ваш брат

Виктор Гюго.

ВОЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В КИТАЙ

Капитану Батлеру

Отвиль-Хауз, 25 ноября 1861

Милостивый государь!

Вы хотите знать мое мнение о военной экспедиции в Китай. Находя ее доблестной и почетной, вы настолько добры, что придаете известное значение и моей оценке; вы считаете, что эта экспедиция, проведенная под соединенными флагами королевы Виктории и императора Наполеона, овеяна славой, которую поделили между собой Франция и Англия, и желали бы знать, отдаю ли я должное английской и французской победе.

Что ж, раз вам хочется услышать мое мнение, я выскажу его.

В одном уголке земного шара существовало чудо мира: оно звалось Летним дворцом. В искусстве заложено два начала — идея, порождающая европейское искусство, и фантазия, порождающая искусство восточное. В искусстве, основанном на фантазии, Летний дворец был тем же, чем является Парфенон в искусстве, основанном на идее. Все, что может создать воображение народа, почти легендарного, воплотилось в этом дворце. Парфенон был творением редкостным и неповторимым, но Летний дворец казался огромным слепком с фантазии, если только с фантазии можно сделать слепок. Представьте себе неопишное сооружение, нечто подобное волшебному лунному замку: это — Летний дворец. Создайте мечту из мрамора, нефрита, бронзы, фарфора, постройте ее

из кедрового дерева, украсьте драгоценностями, задрапируйте шелками, превратите в святилище, в гарем, в крепость, населите богами и чудовищами, покройте лаком, эмалью, позолотой, лепкой, прикажите архитекторам, наделенным воображением поэтов, воплотить тысячу и один сон «Тысячи и одной ночи», окружите садами, бассейнами, сверкающими фонтанами, лебедями, ибисами, павлинами, словом — представьте себе неисчерпаемое и ослепительное богатство человеческой фантазии, претворенной в храм и в дворец, — и перед вами предстанет это чудо. Чтобы создать его, нужен был долголетний труд двух поколений. Это здание, громадное, как город, строилось веками. Для кого? Для народов. Ибо то, что творит время, принадлежит человеку. Художники, поэты, философы знали Летний дворец; о нем упоминает Вольтер. Говорили: Парфенон в Греции, пирамиды в Египте, Колизей в Риме, Собор богородицы в Париже, Летний дворец на Востоке. Кто не видел его воочию, тот представлял его себе в мечтах. Это был потрясающий, несравненный шедевр, который рисовался вдалеке, в каких-то таинственных сумерках, словно силуэт азиатской цивилизации на горизонте цивилизации европейской.

Это чудо исчезло.

Однажды двое бандитов ворвались в Летний дворец. Один разграбил его, другой поджег. Победа, оказывается, может быть грабительницей. Победители расхитили все богатства Летнего дворца и поделили добычу. Во всем этом замешано имя Эльгина, роковым образом заставляющее вспомнить Парфенон. То, что сделали с Парфеноном, сделали и с Летним дворцом, но куда усерднее и обстоятельнее, не оставив после себя уже ничего. Все сокровища наших соборов, вместе взятые, не могли бы сравниться с этим огромным и великолепным музеем Востока. Там хранились не только замечательные произведения искусства, но и богатейшие собрания золотых и серебряных изделий. Громкий подвиг и славная пожизненная награда! Один из победителей набил карманы, другой, глядя на него, наполнил сундуки; и оба, взявшись за руки, довольные вернулись в Европу. Такова история двух бандитов.

Мы, европейцы, считаем себя людьми цивилизованными, и для нас китайцы — варвары. Но вот как цивилизация обошлась с варварством.

Перед судом истории один из бандитов будет называться Францией, другой — Англией. Но я протестую, и я вам благодарен за то, что вы дали мне возможность выразить мой протест. Преступления властителей нельзя вменять в вину тем, над кем они властвуют; правительства подчас бывают бандитами, народы же — никогда.

Французская империя захватила половину этих сокровищ и теперь с наивным бесстыдством собственника выставляет напоказ великолепные древности Летнего дворца. Я верю, что придет день, когда освобожденная и очищенная Франция вернет свою добычу разграбленному Китаю.

А пока что свидетельствую: двумя грабителями был совершен грабеж.

Как видите, сударь, я отдаю должное военной экспедиции в Китай.

Виктор Гюго.

ОСУЖДЕННЫЕ ИЗ ШАРЛЕРУА

Письмо в редакции нескольких бельгийских газет

Отвиль-Хауз, 21 января 1862

Милостивый государь!

Я живу уединенно, и спешная работа, особенно за последние два месяца, захватила меня настолько, что я не знаю ни о чем, что происходит за пределами моего дома.

Сегодня один из моих друзей принес мне несколько газет, в которых напечатаны очень хорошие стихи, представляющие собой просьбу о помиловании девяти приговоренных к смертной казни. Под этими стихами я прочел свое имя.

Стихи эти писал не я.

Но кто бы ни был их автор, я благодарен ему.

Когда дело идет о спасении жизней, я не вижу ничего плохого в том, что пользуются моим именем и даже им злоупотребляют.

К тому же, когда речь идет о таком деле, злоупотребление кажется мне почти невозможным. Именно в данном случае, безусловно, цель оправдывает средства.

Пусть автор позволит мне еще раз выразить восхищение его стихами. Они, повторяю, кажутся мне очень хорошими. И к первой благодарности присоединяю вторую — за то, что он помог мне узнать о печальном деле Шарлеруа. Я расцениваю эти стихи как призыв ко мне. Напоминая мне об усилиях, которые я предпринимал при других подобных же обстоятельствах, автор как бы приглашает меня поднять свой голос и сейчас. Я признателен автору за великодушный способ, избранный им для

того, чтобы потребовать от меня исполнения долга. Я откликаюсь на его призыв. Я присоединяюсь к его попытке сберечь Бельгии девять жизней, обреченных на эшафот. Он обращается к королю; я мало знаком с королями — я обращаюсь к народу. С точки зрения прогресса, дело в Эно является для Бельгии одним из тех испытаний, из которых народы выходят либо униженными, либо возвеличенными.

Я умоляю бельгийский народ быть великим. Совершенно очевидно, что от него зависит, будет ли позорная гильотина о девяти лезвиях действовать на городской площади. Ни одно правительство не устоит перед священным давлением общественного мнения, требующего милосердия. Долой эшафот — таково должно быть первое волеизъявление народа. Говорят: чего хочет народ, того хочет бог. Бельгийцы, вы можете сделать так, чтобы говорили: чего хочет бог, того хочет народ.

Мы переживаем сейчас тяжелый период девятнадцатого века. За последние десять лет цивилизация заметно отступила. Венеция в цепях, Венгрия связана по рукам и ногам, в пытках корчится Польша; повсюду смертная казнь. Монархии имеют своих Гайнау, республики — своих Таллаферро. Смертная казнь возведена в степень *ultima ratio*¹. Все расы, народы всех оттенков кожи, все партии широко применяют ее как ответный удар на удар. Белые используют ее против негров, негры готовятся применить ее против белых. Печальное возмездие. Испанское правительство расстреливает республиканцев, а итальянское правительство расстреливает роялистов. Рим казнит невиновного. Объявляется действительный убийца, но он напрасно протестует. Дело сделано. Палач не пересматривает своих действий. Европа верит в смертную казнь и упорно за нее держится. Америка борется за нее и во имя ее. Эшафот — друг рабства. Виселица простерла свою тень на братоубийственную войну Соединенных Штатов. Никогда не шли нога в ногу так дружно Америка и Европа, никогда еще они не были так едины. Они расходятся по всем вопросам, за исключением одного — убивать. Именно по вопросу о смертной казни оба мира

¹ Решающего аргумента (лат.).

пришли к согласию. Повсюду царствует смертная казнь. Некое божественное право топора исходит из евангелия для римских католиков и из библии для виргинских протестантов. Пенн мысленно воздвигал над двумя мирами, как символ союза, идеальную триумфальную арку; ныне на этой триумфальной арке следовало бы водрузить эшафот.

При этих обстоятельствах перед Бельгией открываются поразительные возможности. Народ, обладающий свободой, должен обладать и волей. Свободная трибуна, свободная пресса — такова законченная организация общественного мнения. Пусть же общественное мнение заговорит, наступил решительный момент. Отвергнув смертную казнь, Бельгия, маленький, почти уничтоженный народ, при сложившихся условиях может стать, если захочет, ведущей нацией.

Случай, я повторяю, поразительный. Ибо совершенно очевидно, что если не будет эшафота для преступников Эно, то его не будет отныне ни для кого, и гильотина не сможет больше пускать корни на свободной бельгийской земле. На ваших площадях не будет появляться ее зловеющий призрак. В силу неумолимой логики вещей смертная казнь, отмененная сегодня явочным порядком, завтра будет отменена законным порядком.

Было бы чудесно, если бы маленький народ дал урок большим народам и, свершив одно это, стал бы более великим, чем они. Было бы чудесно, если бы среди распространяющегося отвратительного мрака, среди усиливающегося варварства Бельгия, осуществляя во имя цивилизации миссию великой державы, внезапно осветила человечество блеском истинного света, провозгласив неприкосновенность человеческой жизни, — и это в условиях, когда наилучшим образом проявляется величие принципа, ибо речь идет не о каком-либо революционере или иноверце, не о каком-либо политическом противнике, а о девяти несчастных, недостойных иного сострадания, кроме сострадания философского, — и окончательно отбросила в небытие это чудовище, смертную казнь, прославившую себя только тем, что она воздвигла на земле два распятия: распятие Иисуса Христа над Старым Светом и распятие Джона Брауна — над Новым.

Пусть великодушная Бельгия подумает об этом. Ей, Бельгии, эшафот в Шарлеруа нанесет непоправимый ущерб. Когда философия и история бросают на чашу весов цивилизацию, отрубленные головы перетягивают.

Говоря об этом, я выполняю долг. Окажите же мне содействие, милостивый государь, предоставив место в вашей газете во имя этого горестного и великого дела.

Виктор Гюго.

АРМАНУ БАРБЕСУ

Отвиль-Хауз, 15 июля 1862

Брат мой по изгнанию!

Если человек был, подобно вам, бойцом и мучеником прогресса; если он принес в жертву святому делу демократии и гуманизма состояние, молодость, право на счастье, свободу; если он во имя служения идеалу пошел на все виды борьбы и перенес все виды испытаний — клевету, гонения, отступничество друзей, долгие годы тюрьмы, долгие годы изгнания; если самоотверженность довела его до ножа гильотины; если человек все это совершил, — все перед ним в долгу, а он никому ничего не должен. Тот, кто все отдал человечеству, рассчитался с любой отдельной личностью.

Вы не можете быть неблагодарны по отношению к кому бы то ни было. Если бы двадцать три года тому назад я не сделал того, за что вам угодно выразить свою признательность, я был бы — и теперь я это отчетливо вижу — неблагодарным по отношению к вам.

Все то, что вы сделали для народа, я рассматриваю как услугу, оказанную и лично мне.

В то время, о котором вы мне напоминаете, я лишь выполнил свою обязанность, прямую обязанность. Если на мою долю и выпало тогда счастье уплатить вам частицу всеобщего долга, все же этот миг ничто по сравнению со всей вашей жизнью, и все мы попрежнему остаемся вашими должниками.

Моей наградой, если допустить, что я заслужил какую-то награду, был сам поступок. И все же я, глубоко расстроганный вашей великодушной признательностью,

с волнением принимаю ваши благородные слова, обращенные ко мне.

Я отвечаю вам, еще находясь во власти чувств, вызванных вашим письмом. Как прекрасен луч, дошедший из вашего одинокого убежища в мое! До скорого свидания в этом мире или в ином. Приветствую вашу возвышенную душу.

Виктор Гюго,

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ В СВЕТ «ОТВЕРЖЕННЫХ»

Брюссель, 16 сентября 1862 года

Господа!

Не могу передать, как велико мое волнение; будьте же снисходительны, если мне нехватит слов.

Если бы я должен был отвечать только distinguished бургомистру Брюсселя, моя задача была бы проста. Для прославления должностного лица, чья популярность столь заслуженна, и города, чье гостеприимство столь благородно, я мог бы повторить то, о чем говорят все, — я мог бы стать отголоском, и только. Но как выразить мою признательность за остальные красноречивые и сердечные приветствия, обращенные ко мне? Рядом с авторитетными книгоиздателями, которым мы обязаны плодотворной идеей международного книжного обмена — своего рода подготовительного звена для установления связи между народами, — я вижу на этом собрании публицистов, философов, прославленных писателей — красу и гордость литературы, красу и гордость цивилизованного континента. Я взволнован и смущен тем, что являюсь центром этого праздника высоких умов, что все эти почести относятся ко мне, тогда как я — всего лишь совесть, покорная велениям долга, и сердце, готовое к жертвам.

Выразить признательность этому городу в лице его главного должностного лица было бы нетрудно, но, повторяю, как выразить признательность всем вам? Как поздравить одним рукопожатием все ваши руки? Впрочем, это тоже нетрудно. Что олицетворяете собой все вы, собравшиеся здесь, — писатели, журналисты, издатели, типо-

графы, публицисты, мыслители? Всю энергию ума, все формы гласности. Вы — передовой отряд человеческой мысли, новый орган нового общества, вы — Пресса! Итак, я провозглашаю тост за прессу!

За прессу всех народов! За прессу свободную! За прессу могучую, славную и плодотворную!

Господа, пресса — это светоч общества, а во всем, что несет в себе свет, есть частица провидения.

Мысль — это больше чем право, это само дыхание человека. Тот, кто надевает путы на мысль, посягает на самого человека. Говорить, писать, печатать, издавать — все эти понятия тождественны с точки зрения права; это — беспрестанно расширяющиеся круги разума в действии; это звучащие волны мысли.

И самый широкий из всех этих кругов, из всех этих источников сияния человеческого духа — пресса.

Диаметр прессы — это диаметр самой цивилизации.

Всякому умалению свободы прессы соответствует ослабление цивилизации. Где прегражден путь свободе прессы, там, можно сказать, отрезан источник питания человеческого рода. Господа, задача настоящего времени — преобразовать старые устои общества, создать истинный порядок и повсюду заменить вымысел правдой. В этом перемещении социальных основ, на которое направлен титанический труд нашего века, ничто не может устоять перед прессой, устремляющей все свои силы на то, чтобы сбросить гнет католицизма, милитаризма, абсолютизма, чтобы сдвинуть с места все эти наиболее неподатливые глыбы фактов и идей.

Пресса — это сила. Почему? Потому что она — разум.

Она — живой рог, она трубит утреннюю зорю народов, она громко возвещает пришествие права, она признает ночь лишь как предвестник утра, она предугадывает приход дня, она предостерегает мир. Но, странная вещь, иногда предостерегают ее. Так ворчит сова, услышав пение петуха.

Да, в некоторых странах пресса угнетена. Но раба ли она? Нет. Пресса — и раба?! Такое словосочетание немыслимо. Впрочем, есть два великих примера поведения рабов — пример Спартака и пример Эпиктета. Один разбивает свои оковы, другой и в оковах доказывает величие

своей души. Когда закованный в цепи писатель не может прибегнуть к первому способу, ему остается второй.

Нет, что бы ни делали деспоты — я заверяю в этом всех свободных людей, слушающих меня сейчас, — разум поработить нельзя. Вы, господин Пеллетан, только что в чудесных выражениях изложили ту же мысль. Более того — своим мужественным примером вы и многие другие доказали это.

Господа, в наш век без свободной прессы не может быть благоденствия. Повсюду заблуждения, крушения и катастрофы.

Сегодня перед нами встают проблемы, выдвинутые самим веком. Они стоят на нашем пути, и миновать их нельзя. Середины нет; надо либо разбиться о них, либо найти в них спасение. Общество неотвратимо движется в этом направлении. Эти-то проблемы и составляют содержание горестной книги, о которой здесь только что говорилось в столь лестных выражениях. Пауперизм, паразитизм, производство и распределение ценностей, деньги, кредит, труд, заработная плата, уничтожение пролетариата, последовательное смягчение системы наказаний, искоренение нищеты и проституции, борьба за права женщины, которая выведет из жалкого состояния половину человечества, за права ребенка, которому необходимо — повторяю, необходимо — бесплатное и обязательное обучение, борьба за права души, которые предполагают свободу религии, — таковы эти проблемы. При наличии свободной прессы они освещены сверху, они различимы, мы можем видеть как трудности, так и пути их преодоления, мы можем к ним подступиться и в них проникнуть. Подступиться к ним и проникнуть в них — значит их разрешить и тем самым спасти мир. При отсутствии прессы — глубокий мрак. При отсутствии прессы все эти проблемы сразу становятся опасными, мы не различаем ничего, кроме их крутых склонов, мы можем не найти подступов к ним, и общество может пойти ко дну. Погасите маяк, и гавань превратится в риф.

Господа! При наличии свободной прессы в движении человечества вперед не может быть ошибок, колебаний, робости. На темных перекрестках, в гуще социальных проблем, свободная пресса — это стрелка, указывающая дорогу. Отбросьте неуверенность. Идите к идеалу,

идите к справедливости и к истине. Ибо недостаточно итти, надо итти вперед. В каком направлении вы идете? Вот в чем весь вопрос. Делать вид, что движешься, еще не значит действительно двигаться по пути прогресса; бег на месте хорош для пассивного повиновения; бесконечное топтание по проторенной дороге — это механическое движение, недостойное человеческого рода. Мы должны иметь цель, должны знать, куда идем, соразмерять усилие с намеченным результатом. Пусть же в каждом нашем шаге содержится идея, пусть каждый наш шаг будет логически связан с другим, и пусть за идеей следует ее осуществление, а за правом следует победа. Ни шагу назад! Нерешительное движение изобличает ничтожество мысли. Хотеть и не хотеть — как это мелко! Кто колеблется, отступает и откладывает, тот не мыслит. Что до меня, то я так же не могу себе представить политику без головы, как Италию без Рима.

Поскольку я произнес это слово — Рим, — позвольте мне на секунду отвлечься и обратить свою мысль к тому храбрецу, который распростерт там на ложе страданий. Поистине, он имеет право улыбаться: слава и справедливость на его стороне. Меня смущает, меня удручает лишь то, что в Италии, в благородной и прославленной Италии, нашлись, могли найтись люди, способные поднять меч на эту олицетворенную доблесть. Неужели эти итальянцы не узнали Римлянина?

И такие люди называют себя сынами Италии! Они кричат, что она победила, и не замечают, что она обезглавлена. О, какая неблагоприятная авантюра! История в негодовании отпрянет от этой отвратительной победы, которая состоит в том, чтобы убить Гарибальди и таким способом избавиться от подлинного Рима.

Все возмущается во мне. Пройдем мимо.

Господа, кто является союзником патриота? Пресса. Кто является пугалом для труса и предателя? Пресса.

Я знаю, прессу ненавидят, — тем более необходимо любить ее.

Все несправедливое, суеверное, фанатичное чернит, оскорбляет и поносит ее как только может. Я вспоминаю одно знаменитое папское послание; несколько примечательных слов из него сохранились у меня в памяти. В этом послании папа Григорий XVI, наш современник, враг

своего века, — что является до некоторой степени общим несчастьем пап, — никогда не забывавший о древнем драконе и апокалиптическом звере, так определяет прессу на своей латыни монаха-камальдульца: *Gula ignea, caligo, impetus immanis cum strepitu horrendo*. Я не оспариваю ни одного слова этой характеристики, портрет похож: *огнедышащий рот, дым, страшная стремительность, грохот*. Да, это локомотив на полном ходу! Это пресса, это огромный и священный локомотив прогресса!

Куда он мчится? Куда уносит цивилизацию? Куда увлекает народы этот могучий буксир? Туннель длинен, темен и страшен. Ибо можно сказать, что человечество все еще находится под землей: таким тесным кольцом окружает и давит его материя, такой тяжелый свод суеверий, предрассудков и тирании висит еще над ним, так густ обступивший его мрак. Увы, с тех пор как существует человек, вся его история совершается под землей, нигде не виден божественный луч. Но в девятнадцатом веке, после французской революции, есть надежда, есть уверенность. Там, вдали, перед нами показалась светлая точка. Она растет, растет с каждым мгновением; это будущее, это осуществление наших чаяний, конец бедствий, заря радостей, это Ханаан — земля обетованная, где вокруг нас всегда будут только братья, а над нами — только небо. Смелее, священный локомотив! Смелее, мысль! Смелей, наука! Смелей, философия! Смелей, пресса! Смелей, все вы, мыслители!

Близится час, когда человечество выйдет, наконец, из черного туннеля, в котором оно пребывало шесть тысяч лет, и, оказавшись вдруг лицом к лицу с солнцем идеала, взволнованно и торжественно вступит в ослепительный день!

Господа, еще одно слово. Будьте снисходительны и позвольте мне сказать это слово о самом себе.

Быть среди вас — счастье. Я благодарю бога за то, что он подарил мне, в моей суровой жизни, этот чудесный миг. Завтра я снова вернусь в тень. Но я видел вас, говорил с вами, слышал ваши голоса, пожимал ваши руки, и я унесу все это в свое уединение.

Вы — мои французские друзья и все остальные друзья мои, присутствующие здесь, — сочтете, разумеется, вполне естественным, что я обращаю свое последнее слово

именно к вам. Ведь одиннадцать лет назад вы провожали почти совсем молодого человека; сейчас перед вами старик. Волосы изменились, сердце — нет. Я благодарю вас за то, что вы вспомнили об отсутствующем; я благодарю вас за то, что вы пришли. Примите же и вы, более молодые, чьи имена были дороги мне издавна и кого я увидел здесь впервые, — примите мое глубокое умиление. Мне кажется, что среди вас я дышу воздухом моей родины, мне кажется, что каждый из вас привез мне частицу Франции, мне кажется, что из ваших душ, витающих вокруг меня, излучается нечто чарующее и возвышенное, нечто похожее на свет и являющееся для меня улыбкой родины.

Я поднимаю бокал за прессу! За ее могущество, за ее славу, за ее действенность! За ее свободу в Бельгии, Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Англии, Америке! За ее освобождение в других странах!

ЖЕНЕВА И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Письма господину Босту, швейцарскому республиканцу

I

Отвиль-Хауз, 17 ноября 1862

Милостивый государь, вы поступаете хорошо. Вы нуждаетесь в помощи и обращаетесь ко мне, я благодарю вас за это. Вы зовете меня — я иду. Что случилось? Я с вами.

Женева находится накануне одного из тех закономерных кризисов, которые знаменуют для целых наций, так же как и для отдельных людей, возрастные переломы. Вы собираетесь пересмотреть вашу конституцию. Вы сами управляете своей страной, вы сами себе хозяева, вы — свободные люди, вы — республика. Вы собираетесь совершить значительное дело — пересмотреть ваш общественный договор, установить, чего вы достигли в отношении прогресса и цивилизации, вновь обсудить между собой вопросы, волнующие всех. Обсуждение начнется со

дня на день, и среди всех проблем самая важная — это проблема неприкосновенности человеческой жизни.

Речь идет о смертной казни. Увы, мрачная скала Сизифа! Когда же эта глыба ненависти, тирании, мракобесия, невежества и несправедливости, которую именуют карательной системой, перестанет обрушиваться и падать на человеческое общество? Когда слово «наказание» заменят словом «просвещение»? Когда же, наконец, поймут, что виновный невежда? Возмездие, око за око, зуб за зуб, зло за зло — вот что примерно представляет собой наш кодекс законов. Когда же месть откажется от своих старых попыток ввести нас в заблуждение, скрываясь под именем преследования преступления? Уж не думает ли она, что ей удастся обмануть нас? Не больше чем измене, когда та прикрывается государственной пользой, не больше чем братоубийству, когда оно надевает эпюлеты и называет себя войной.

Де Местр тщетно старается приукрасить Дракона. Кровавое красноречие старается впустую, ему не удастся замаскировать уродство того, что оно скрывает. Софисты — плохие костюмеры. Несправедливое остается несправедливым, чудовищное остается чудовищным. Есть словатмаски, но сквозь их щели проглядывает мрачный отблеск зла.

Когда же, наконец, закон придет в соответствие с правом? Когда людское правосудие будет равняться по правосудию божественному? Когда же те, кто читает Библию, поймут, наконец, почему была сохранена жизнь Каину? Когда же те, кто читает евангелие, постигнут, наконец, сущность распятия Христа? Когда же, наконец, прислушаются к великому голосу жизни, который, преодолевая окружающую нас тьму, раздастся из глубин неизвестного: «Не убий!» Когда же те, кто здесь, на земле, — судьи, священники, народы и короли — увидят, что есть некто над нами? Республики, основанные на рабстве, монархии, опирающиеся на солдатчину, общество, охраняемое палачами. Повсюду насилие, права и правды нет нигде. О, жалкие властители мира, с немощью гусениц, с надменностью удавов!

Сейчас представляется случай сделать еще один шаг по пути прогресса. Женева собирается обсудить вопрос о смертной казни. Об этом говорится в вашем письме,

сударь. Вы просите меня вмешаться, принять участие в дискуссии и сказать свое слово. Боюсь, что вы преувеличиваете значение слов слабого и одинокого человека, подобного мне. Кто я такой, и что я могу сделать? Прошло уже много лет — начиная с 1828 года, — как я слабыми силами одного человека борюсь против исполинского, противоречивого и чудовищного явления — смертной казни, сочетающей в себе достаточно несправедливости, чтобы привести в ужас мыслителя. Другие боролись успешнее и сделали больше, чем я. Но смертная казнь лишь немного отступила, вот и все. В Париже, среди всего его света, она почувствовала свою постыдность, гильотина потеряла свою самоуверенность, но не сдалась. Изгнанная с Гревской площади, она перебралась к заставе Сен-Жак, изгнанная от заставы Сен-Жак, она перекочевала на площадь Ла Рокетт. Она отступает, но не сдается.

Вы просите моего содействия, милостивый государь, и мой долг помочь вам. Но не переоценивайте значения моей помощи, если вы добьетесь успеха. Повторяю, в течение тридцати пяти лет я всеми силами стараюсь помешать убийствам на городских площадях. Я неустанно разоблачал это насилие земных законов над законом небесным. Я побуждал к возмущению совесть людей. Я бил по беззаконию логикой и состраданием — наивысшей логикой; я сражался со слепой, не знающей меры карательной системой, приговаривающей человека к смерти, как в целом, так и в отдельных ее проявлениях, то разбирая общие положения, стараясь настичь и уязвить ее в самой основе, стремясь опрокинуть раз навсегда не один какой-нибудь эшафот, а эшафоты вообще, то ограничиваясь отдельным случаем, имея целью просто-напросто спасти человеческую жизнь. Иной раз мне это удавалось, но чаще я терпел поражение. Много благородных умов посвятили себя той же задаче, — и всего десять месяцев тому назад великодушной бельгийской прессе, решительно поддержавшей мое выступление в защиту осужденных из Шарлеруа, удалось спасти семь жизней из девяти.

Писатели восемнадцатого века добились уничтожения пыток, писатели девятнадцатого века, я в этом не сомневаюсь, добьются уничтожения смертной казни. Они уже заставили отменить во Франции отсечение рук и клеймение раскаленным железом. Они заставили упразднить

гражданскую смерть и нашли замечательный, хотя и временный, выход — *смягчающие вину обстоятельства*. «Этим отвратительным нововведением — *смягчающими вину обстоятельствами*, — говорил депутат Сальвер, — мы обязаны таким гнусным книгам, как «Последний день осужденного». В самом деле, смягчающие вину обстоятельства — это начало полной отмены смертной казни. Смягчающие обстоятельства в законе — это клин в плахе. Возьмем же в руки божественный молот и будем без усталости бить по клину, бить мощными ударами правды, и плаха разлетится на куски.

Путь долгий, — я с этим согласен. Нужно время, — безусловно. Однако не будем терять мужества. Даже в мелочах усилия наши не всегда проходят бесследно. Я напомнил вам дело Шарлеруа, а вот и другое. Восемь лет тому назад, в 1854 году, на Гернсее был приговорен к повешению человек по имени Тэпнер. Я вмешался, просьбу о помиловании подписали шестьсот уважаемых жителей острова. Но его все же повесили. Теперь слушайте дальше: несколько европейских газет, поместивших мое письмо, чтобы помешать казни, попали в Америку в тот момент, когда это письмо могло быть с пользой перепечатано американскими газетами. В Квебеке собирались повесить некоего Жюльена. Народ Канады не без основания считал, что это письмо, написанное мной жителям Гернсее, в той же мере относится и к нему. И по воле providения, письмо это спасло не Тэпнера, которого оно имело в виду, а Жюльена, которого оно не имело в виду. Я привожу эти факты. Почему? Потому что они доказывают необходимость упорной борьбы. Увы, меч тоже упорствует.

Отвратительная статистика гильотины и виселицы свидетельствует о том, что цифра законных убийств не уменьшилась ни в одной стране. А за последнее десятилетие, из-за снижения нравственного чувства, казни вновь снискала благосклонное отношение, и вот наступил новый приступ. Вы, маленький народ, только в одном вашем городе — Женеве — видели за последние восемнадцать месяцев две гильотины. В самом деле, раз убили Вари, почему не убить Эльси? В Испании — гаррота, в России — смерть от шпицрутенгов. В Риме, где церковь испытывает отвращение к крови, осужденного убивают без

крови — ammazatto. В Англии, где царствует женщина, недавно повесили женщину.

Это не мешает старой карательной системе испускать громкие вопли, жаловаться, что на нее клеветают, и корчить невинность. О ней слишком много болтают, и это, видите ли, ужасно. Она-де всегда была кроткой и чувствительной. Она создает законы, суровые лишь по виду, но она не способна их применять. Она, да разве она послала бы Жана Вальжана на каторгу за кражу хлеба? Да что вы! Правда, в 1816 году она послала на вечную каторгу голодных повстанцев департамента Соммы. Правда, в 1846 году... Увы! Те, кто попрекает меня каторгой Жана Вальжана, забывают гильотину в Бюзансе. Закон всегда недружелюбно смотрел на голод. Я только что говорил об отмене пыток. Так вот, в 1849 году пытка еще существовала. Где? В Китае? Нет, в Швейцарии. В вашей стране, милостивый государь. В октябре 1849 года в Цуге судебный следователь, желая вынудить признание в краже сыра (кража съестного, — опять голод!) у девушки по имени Матильда Вильдемберг, зажал ей тисками пальцы и при помощи блока и веревки, привязанной к этим тискам, поднял ее под потолок. И в то время, как она висела так на защемленных пальцах, помощник палача избивал ее палкой. В 1862 году на Гернсее, где я живу, еще существует наказание кнутом. Прошлым летом по приговору суда был избит кнутом пятидесятилетний человек. Его звали Тород. Это тоже был голодающий, ставший вором.

Так будем же неутомимы. Поднимем восстание всех мыслителей во имя смягчения кодексов. Ограничим систему наказаний, расширим систему образования. По пройденному пути будем судить о том, который нам предстоит пройти. Как благотворны смягчающие вину обстоятельства! Они не дали бы свершиться тому, о чем я вам сейчас расскажу.

Однажды, летом 1818 или 1819 года, около полудня, я проходил по площади Дворца Правосудия в Париже. Вокруг столба теснилась толпа. Я подошел. К столбу была привязана молодая женщина или девушка. Ее шею стягивал ошейник, к голове была привязана табличка с надписью. Перед ней стояла жаровня, полная пылающих углей, в которых раскалился докрасна железный прут.

Толпа, казалось, испытывала удовольствие. Эта женщина была виновна в том, что юриспруденция называет домашней кражей, или, повторяя избитую метафору, была нечиста на руку. Вдруг, когда пробил полдень, за спиной женщины незаметно для нее на эшафот поднялся человек. Я заметил на ее сорочке из грубой шерстяной материи сзади разрез, перехваченный шнурком. Быстрым движением человек развязал шнурок и сдернул сорочку, обнажив до пояса спину женщины, затем схватил раскаленный в жаровне прут и приложил его, сильно нажимая, к обнаженному плечу. Железный прут и рука палача исчезли в облаке белого дыма. Прошло более сорока лет, но у меня до сих пор стоит в ушах и отдается в сердце страшный крик наказуемой. То была воровка, но в моих глазах она превратилась в мученицу. Я ушел с площади — мне было тогда шестнадцать лет — с твердым решением всю жизнь бороться против злодеяний закона.

Из этих злодеяний наихудшее — смертная казнь. И разве, и в нашем столетии, она не применяется даже низшими судебными инстанциями за обычные правонарушения? 20 апреля 1849 года служанка Сара Томас, девушка семнадцати лет, была казнена в Бристоле за то, что в порыве гнева убила поленом избивавшую ее хозяйку. Осужденная не хотела умирать. Чтобы втащить ее на эшафот, потребовалось семь человек. Ее повесили силой. Когда на нее набрасывали петлю, палач спросил ее, не хочет ли она передать что-либо своему отцу. Она на миг перестала хрипеть и ответила: «Да, да, скажите ему, что я его люблю». В начале этого века, в царствование Георга III, в Лондоне были приговорены к смертной казни за кражу трое детей из класса ragged (оборвышей). Как указывает «Ньюгейт Календер», старшему из них не было еще четырнадцати лет. Повесили всех троих детей.

Что за странное представление составили себе люди о смертной казни! Как! В обыкновенной одежде я не имею права убивать, а в судейской мантии — я имею это право? Значит, судейская мантия, подобно сутане Ришелье, покрывает все! Социальная защита? Ах, я вас прошу, избавьте меня от такой защиты! Это убийство, убийство — вот что это. Разве человекоубийство может быть дозволено когда бы то ни было, за исключением

случая законной самообороны, в самом узком смысле этого слова (ибо если нападающий, раненный вами, упал, вы уже обязаны оказать ему помощь)? И разве то, что запрещено отдельной личности, разрешается группе лиц? Палач — вот зловещая разновидность убийцы! Убийца официальный, убийца патентованный, находящийся на службе, получающий жалованье, призываемый в определенные часы, совершающий свое дело на виду у всех, убивающий при свете солнца, использующий в качестве орудия смерти «жезл правосудия», признанный всеми государственный убийца! Убийца-чиновник, убийца, укрывшийся под сенью закона, убийца от имени всех! Он получил полномочия на убийство от меня, он получил их от вас. Он душит и режет, а потом хлопает общество по плечу и говорит: «Я работаю на тебя, плати». Он убийца *cum privilegio legis*¹, убийца, убивающий на основании декрета законодателя, обсуждения присяжных, решения судьи, с благословения священника, под охраной солдат, в присутствии созерцающей толпы. Это убийца, которого подчас поддерживают сами осужденные на смерть. Так я, обращающийся к вам, как-то раз спорил с неким Марки, приговоренным к смерти, который теоретически был сторонником смертной казни, точно так же, как за два года перед одним нашумевшим процессом я дискутировал по этому поводу с чиновником судебного ведомства Тестом, который одобрял позорящие наказания. Пусть цивилизация знает: она отвечает за палача. Ну что же! Вы ненавидите убийство до такой степени, что убиваете убийцу, я же ненавижу убийство до такой степени, что препятствую вам стать убийцей. Всё против одного: социальное могущество, сосредоточенное в гильотине, общественная сила, растраченная на агонию, — что может быть отвратительнее? Убийство человека человеком приводит в ужас, убийство человека людьми подавляет.

И нужно ли вам повторять без конца, что этот человек, чтобы раскаяться и искупить свою вину, чтобы освободиться от тяжелой ответственности, угнетающей его душу, должен потратить весь остаток своей жизни? Вы же даете ему всего несколько минут! По какому праву? Как осмеливаетесь вы брать на себя страшную ответственность

¹ По закону (лат.).

за сокращение срока, оставшегося ему для различных проявлений раскаяния? Отдаете ли вы себе отчет в том, что, убив не раскаявшегося преступника, вы принимаете его вину на себя и она становится вашей виной? Вы свершаете больше чем убийство человека — вы убиваете совесть.

По какому праву вы раньше срока назначаете бога судьей? На каком основании вы распоряжаетесь его волей? Разве его суд — одна из инстанций вашего суда? Неужто вы считаете ваш суд равным божьему суду? Одно из двух: или вы верующие, или нет. Если вы верующие, то как осмеливаетесь вы бросать бессмертие в лицо вечности? Если же вы неверующие, как смеете обречать живое существо на небытие?

Есть один криминалист, который установил следующее различие: «Делают промах, говоря *«казнь»*; следует говорить *«возмещение»*. Общество не убивает, оно лишает жизни». Мы, простые смертные, не понимаем этих тонкостей.

Произносят слово «правосудие». Правосудие! О, эта священнейшая и почитаемая всеми идея, это высочайшее равенство, эта глубочайшая правдивость, эта таинственная добросовестность, заимствованная из идеала, эта верховная справедливость, трепещущая пред необъятной вечностью, зияющей перед нами, эта целомудренная чистота неуязвимого беспристрастия, это равновесие невесомого, это понятие, вобравшее в себя все, это наивысшая мудрость, сочетающаяся с состраданием, эта суровая доброта, эта лучезарная равнодействующая всеобщей совести, эта абстракция абсолютного, превращающаяся в земную реальность, это видение права, это сияние вечности, представшей взорам человека, — правосудие! Эта священная интуиция истинного, одним своим присутствием определяющая соотношение добра и зла и делающая человека, в тот момент, когда она в него проникает, богоравным, явление конечное, чьим законом является быть пропорциональным бесконечному, эта божественная сущность, которую язычество превращает в богиню, а христианство в архангела, этот исполин, упирающийся ногами в человеческое сердце и крыльями в звезды, эта Юнгфрау человеческих добродетелей, эта вершина человеческой души, эта дева... О, благий боже, боже вечный,

разве можно представить ее стоящей на гильотине? Разве можно представить ее затягивающей ремни на колодках несчастного? Разве можно представить ее развязывающей своими светозарными пальцами шнур ножа гильотины? Разве можно представить ее освящающей и одновременно позорящей этого страшного слугу преступления — палача? Разве можно представить ее выставленной напоказ у позорного столба, словно афишу, повешенную расклейщиком объявлений? Разве можно представить себе ее затиснутой в дорожный мешок палача Колкрафта, где с носками и сорочками валяется веревка, на которой он вешал вчера и будет вешать завтра!

Пока будет существовать смертная казнь, от суда присяжных будет веять холодом: там будет царить ночь.

В январе прошлого года в Бельгии, в период судебного разбирательства в Шарлеруа — судебного разбирательства, во время которого из разоблачений, сделанных мимоходом неким Рабе, можно было заключить, что два человека, гильотинированные в предшествующие годы, Гетхальс и Кекке, были, может быть, невинны (как вам нравится это «может быть»), в самый разгар дебатов один адвокат счел необходимым и возможным, учитывая, что большинство преступлений является результатом жестокости, порожденной невежеством, счел необходимым и возможным доказать важность бесплатного обязательного обучения. Генеральный прокурор прервал его речь и решил его высмеять. «Адвокат, — сказал он, — здесь не парламент». Да, господин генеральный прокурор, здесь могила.

У смертной казни есть два рода сторонников — те, кто ее объясняют, и те, кто ее применяют, иными словами — те, кто занимается ее теорией, и те, кто занимается ее практикой. Но между теорией и практикой согласия нет. И они довольно странно спорят друг с другом. Чтобы уничтожить смертную казнь, достаточно устроить между ними диспут. Послушайте же. Те, кто отстаивает смертную казнь, — почему они это делают? Быть может, потому, что казнь является поучительным примером? Да, говорит теория. Нет, говорит практика, и как можно дальше прячет эшафот, уничтожает Монфокон, упраздняет глашатаев, избегает базарных дней, устанавливает свои механизмы в полночь, а наносит удар на рассвете; в неко-

торых странах, в Америке и Пруссии, вешают и обезглавливают при закрытых дверях. Быть может, потому, что смертная казнь является выражением справедливости? Да, говорит теория, человек виновен, он наказан. Нет, говорит практика, ибо, что человек наказан — это хорошо, что он мертв — это неплохо, — но кто эта женщина? Вдова. Кто эти дети? Сироты. Вот что оставила за собой смерть. Вдова и сироты, то есть наказанные и в то же время невинные. Где же ваша справедливость? Но если смертная казнь несправедлива, быть может она полезна? Да, говорит теория, труп уже не будет нас беспокоить. Нет, говорит практика, ведь этот труп завещает вам семью, семью без отца, семью без хлеба: вот вдова, вынужденная продавать себя, чтобы прожить, и вот дети, вынужденные красть, чтобы есть. Дюмолар, пятилетний вор, был сыном казненного.

Несколько месяцев тому назад на меня набросились со всех сторон за то, что я осмелился сказать, что это следует считать смягчающим обстоятельством.

Как видите, смертная казнь не является ни поучительной, ни справедливой, ни полезной. Что же она такое? Смертная казнь. Это — Она. *Sum qui sum*¹. У нее есть свои основания оставаться самой собою. Но что же тогда? Гильотина ради гильотины? Искусство ради искусства?

Подведем итог.

Итак, вместе с вопросом о смертной казни поднимаются все проблемы, все без исключения: социальная проблема, проблема морали, проблема философская и проблема религиозная. Особенно эта, последняя, которая непознаваема. Отдаете ли вы себе в этом отчет? Да, да, я настаиваю! Вы, сторонники смертной казни, задумывались ли вы над этим? Размышляли ли вы об этом внезапном падении человеческой жизни в бесконечность, над этим падением, неожиданным для самих глубин, произошедшим вопреки предначертанию, над этой внезапностью, столь ужасной для таинственных сил. Вы посылаете священника, но он трепещет так же, как и осужденный. Он также ничего не ведает. И вы хотите мраком осветить непроглядную темноту!

¹ Я тот, кто есмь (лат.).

Вы ведь никогда сами не наклонялись над бездной неизвестности? Как же вы осмеливаетесь ввергать туда что бы то ни было? Как только на улицах наших городов появляется эшафот, из мрака, окружающего этот зловещий силуэт, исходит беспредельный трепет, который с вашей Гревской площади доходит до престола всевышнего. Вторжение эшафота потрясает даже ночь. Смертная казнь — это рука общества, держащая человека над бездной, вот она разжимается и выпускает его. Человек падает. Мыслитель, постигший некоторые стороны неизвестности, ощущает содрогание этой таинственной тьмы. О люди, что вы сделали? Кто поймет трепет тьмы? Куда отправилась эта душа? Что вы об этом знаете?

Около Парижа есть отвратительное поле — Кламар. Это место проклятых могил. Это место свидания всех казненных. Там ни у одного скелета нет черепа. И человеческое общество может спокойно спать по соседству с этим полем! Да, на земле есть кладбища, созданные богом. Они выше нашего суждения, богу известно, почему. Но разве можно думать без ужаса о кладбище, созданном человеком!

Нет, мы не устанем восклицать: «Долой эшафот! Смерть смерти!»

Мыслящего человека узнают по священному благоговению перед жизнью.

Я хорошо знаю, что философы — пустые мечтатели. Чего они хотят? Да, они стремятся уничтожить смертную казнь! Они заявляют, что смертная казнь — траур для человечества. Траур! Пришли бы они посмотреть, как смеется толпа, окружающая эшафот. Пусть вернутся они, наконец, к действительности! Там, где они видят траур, мы находим смех. Эти люди, право, витают в облаках. Они кричат о дикости и варварстве, потому что время от времени у нас вешают человека или отрубают ему голову. Вот мечтатели! Общество без казни? Вы так думаете? Можно ли вообразить что-либо более нелепое? Как! Долой эшафот, и в то же время долой войну? Не убивать больше никого, — я спрашиваю вас, есть ли в этом хотя бы капля здравого смысла? И кто, наконец, избавит нас от философов? Когда покончат со всякими этими системами, теориями, беспочвенными мечтами и бессмыслицами? Бессмыслица, — во имя чего, спрошу я вас?

Во имя прогресса? Пустое слово. Во имя идеала? Громкое слово. Без палачей, — что же станет с нами? Общество без узаконенной насильственной смерти — что за химера! Жизнь — что за утопия! Кто такие все эти проекторы-реформаторы? Поэты. Избави нас боже от поэтов! Не Гомер, а г-н Фюльширон необходим человеческому обществу.

Забавно было бы видеть во главе общества и цивилизации Эсхила, Софокла, Исаяю, Иова, Пифагора, Пиндара, Плавта, Лукреция, Вергилия, Ювенала, Данте, Сервантеса, Шекспира, Мильтона, Корнеля, Мольера и Вольтера. Было бы от чего надорваться от смеха!

Все степенные люди разразились бы смехом. Все здравомыслящие люди пожали бы плечами. Джон Буль так же, как и Прюдом. Больше того — это был бы хаос. Справьтесь об этом во всех присутствиях, у биржевых маклеров и королевских прокуроров.

Но как бы там ни было, сударь, вы снова собираетесь обсудить эту огромную проблему — проблему узаконенного убийства. Будьте мужественны. Не отдавайте завоеванного. Пусть люди, стремящиеся к добру, всеми силами добиваются успеха.

На свете нет малых народов. Я говорил это Бельгии по поводу осужденных из Шарлеруа. Да будет позволено мне повторить то же самое Швейцарии сегодня. Величие народа вовсе не измеряется его численностью, подобно тому как величие человека не измеряется его ростом. Ум и доблесть — единственное мерило. Велик тот, кто подает великий пример. Малые нации станут великими нациями, когда рядом с многочисленными, обладающими обширными территориями странами, которые упорствуют в фанатизме и предрассудках, в ненависти и войнах, в рабстве и убийствах, они будут кротко и гордо проводить идею братства, отвергнут меч, уничтожат эшафот, прославят прогресс и будут жить с ясной, как небо, улыбкой на устах. Слова пусты, если за ними не скрывается идея. Мало быть республикой, надо быть свободой. Мало быть демократией, надо быть гуманностью. Народ должен быть человеком, человек должен иметь душу. Было бы отрадно, если бы в момент, когда Европа движется вспять, Женева пошла вперед. Пусть Швейцария, и в особенности ваша маленькая благородная республика, подумает

о том, какое это будет великолепное зрелище: республика, уничтожающая смертную казнь перед лицом всех монархий. Было бы величественно возродить в новой форме старое поучительное соперничество Женевы и Рима и открыть для взоров и размышлений цивилизованного мира, с одной стороны, Рим, с его папством, которое осуждает и проклиняет, с другой стороны — Женеву, с ее евангелием, которое прощает.

Народ Женевы, ваш город стоит на райском озере, вы живете в благословенном краю, вас окружают все чудеса мироздания. Привычное созерцание прекрасного открывает истину и налагает обязанности. Цивилизация, как и природа, должна быть гармоничной. Прислушайтесь к тому, что вам говорят все эти полные милосердия чудеса, верьте вашему лучезарному нсбу, из его лазури нисходит благо, — так уничтожьте же эшафот. Не будьте неблагодарными. Пусть никто не скажет, что в этом чудесном уголке земли, где бог являет человеку священное великолепие Альп, Арву, Рону, голубой Леман и освещенный солнечным сиянием Монблан, человек в обмен и в благодарность являет богу гильотину!

Виктор Гюго.

II

Отвиль-Хауз, 29 ноября 1862

Милостивый государь!

Письмо, которое я имел честь послать вам 17 ноября, очевидно дошло до вас числа 19-го или 20-го. На следующий день после того, как я продиктовал это письмо, в суде департамента Соммы стало слушаться дело Дуаз-Гарден, которое сразу не только осветило некоторые ужасные случайности смертной казни, но и обнаружило крайнюю необходимость коренного пересмотра уголовного кодекса. Чудовищные факты по-своему доказывают необходимость реформ.

Сегодня я прочел в «Пресс» следующее сообщение из Берлина, датированное 24-м числом: «Вы напечатали письмо, адресованное Виктором Гюго г-ну Босту в Женеву, по поводу смертной казни. Опубликование этого письма несколько запоздало. Уже две недели тому назад женевское Учредительное собрание закончило свою

работу. Принятая им конституция не отвечает пожеланиям поэта, так как она сохранила смертную казнь, отменив ее лишь для политических преступлений».

Нет, еще не поздно.

Свое письмо я адресовал скорее народу, который решает, чем конституционному комитету, который лишь подготавливает решения.

Через несколько дней, 7 декабря, проект конституции будет поставлен на народное голосование. Значит, время еще есть.

Конституция девятнадцатого века, хоть в какой-то мере сохраняющая смертную казнь, недостойна республики. Кто произносит слово «республика», подразумевает слово «цивилизация». Отвергнув проект, который ему собираются предложить, народ Женевы — это его право и его долг — свершит одно из тех вдвойне великих деяний, которые отмечены печатью верховной власти и печатью правосудия.

Быть может, вы сочтете полезным опубликовать это письмо.

Еще раз приношу вам, милостивый государь, уверения в моем глубоком к вам уважении и моей искренней сердечности.

В. Г.

ДЕЛО ДУАЗ

Редактору газеты «Тан»

Милостивый государь!

Соблаговолите, пожалуйста, включить и мой взнос в подписку в пользу Дуаз. Однако не следует ограничиваться только сбором денег. Сейчас происходит нечто гораздо худшее, чем то, что происходило, быть может, даже в деле Лезюрка: пытка, восстановленная во Франции в девятнадцатом веке, признание, вырванное при помощи удушения, смирительная рубашка, надетая на беременную женщину; заключенная, доведенная до безумия; чудовищное детоубийство, совершенное законом, — убийство ребенка во чреве матери во время пыток; поведение судебного следователя, двух председателей суда и двух прокуроров, осуждение невиновной, а после призна-

ния ее невинности оскорбление, нанесенное ей во время судебного заседания со стороны правосудия, которое должно было бы пасть перед ней на колени, — все это далеко превосходит вопрос о деньгах.

Спора нет, подписка — хорошее, полезное и похвальное дело, но в данном случае требуется более высокое возмещение. Обществу причинен еще больший ущерб, чем Розали Дуаз. Цивилизации нанесено глубокое оскорбление. И больше всего страдает от этого оскорбления правосудие.

Подписка — пусть; но мне кажется, что бывшие министры юстиции и бывшие старейшины адвокатов должны предпринять что-то другое. Что касается меня, то у меня есть долг, и я его исполню.

Виктор Гюго,

Отвиль-Хауз, 2 декабря 1862

К РУССКОЙ АРМИИ

Русские солдаты, станьте вновь людьми!

В этот момент вам предоставляется возможность покрыть себя славой; воспользуйтесь же этой возможностью.

Пока еще не поздно, слушайте:

Если вы будете продолжать эту варварскую войну; если вы, офицеры, благородные сердца, вы, кого по малейшей прихоти могут разжаловать и бросить в Сибирь; если вы, солдаты, вчерашние крепостные, сегодняшние невольники, насильно отторгнутые от матерей, невест и семей, рабы кнута, с которыми дурно обращаются, которых плохо кормят и обрекают многие годы, неизвестно сколько лет, нести военную службу, а в России она более тягостна, чем каторга в других странах; если вы, сами жертвы, пойдете в бой против жертв; если в священный час, когда поднимается достойная благоговения Польша, в последний час, когда вам предоставлен выбор между Петербургом, где царствует тиран, и Варшавой, где царствует свобода, если в этой решающей схватке вы забудете о вашем долге, о вашем единственном долге — братстве; если вы выступите против поляков заодно с царем, их и вашим палачом; если вы, угнетенные, извлекли из вашего угнетения лишь один урок — поддерживать угнетателя; если свое несчастье вы превратите в свой позор; если вы, восруженные, отдадите свою слепую и одураченную силу на службу деспотизму, огромному, но слабому чудовищу, подавляющему без разбора всех — и русских и поляков; если, вместо того чтобы повернуться и выступить против палача народов, вы, пользуясь перевесом в оружии и числе, трусливо раздавите это отчаявшееся

героическое население, отстаивающее первейшее из прав — право на родину; если в середине девятнадцатого века вы совершите убийство Польши; если вы сделаете это, — знайте, русские солдаты, вы падете, что почти невозможно, еще ниже южноамериканских банд и вызовете омерзение всего цивилизованного мира! Преступления, совершенные путем насилия, есть и остаются преступлениями; отвращение общества — это уголовная кара.

Русские солдаты, берите за образец поляков, не сражайтесь с ними!

В Польше перед вами не враги, а люди, подающие вам пример.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 11 февраля 1863

ПИСЬМО ГАРИБАЛЬДИ

Отвиль-Хауз, Гернсей, 18 ноября 1863

Дорогой Гарибальди!

Я был в отъезде и потому с опозданием получил ваше письмо; по этой же причине и вы с опозданием получите ответ.

В этом конверте вы найдете мой подписной лист.

Вы безусловно можете рассчитывать на все то немногое, что я собой представляю и что я в состоянии сделать. Поскольку вы считаете это полезным, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы поднять голос за ваше дело.

Вам необходимы миллион рук, миллион сердец, миллион душ. Вам необходимо великое ополчение народов. Оно придет.

Ваш друг

Виктор Гюго.

ВОЙНА В МЕКСИКЕ

Защитники Пуэблы!

Разумеется, я за вас.

С вами воюет не Франция, а Империя. Да, я за вас. Мы противостоям Империи, вы — на своем посту, я — на своем, вы — у себя на родине, я — в изгнании.

Сражайтесь, боритесь, будьте непреклонны, и если вы считаете, что мое имя может вам пригодиться, — пользуйтесь им. Цельтесь в голову этого человека, и пусть вашим зарядом будет свобода!

Есть два трехцветных знамени: трехцветное знамя Республики и трехцветное знамя Империи. Против вас поднято не первое из них, а второе.

На первом начертано: «Свобода, Равенство, Братство».

На втором: «Тулон. 18 брюмера. — 2 декабря. Тулон».

Я слышу ваш призыв, обращенный ко мне, я хотел бы встать между нашими солдатами и вами, — но кто я? Увы, тень! Наши солдаты неповинны в этой войне. Они страдают от нее так же, как и вы, и обречены на страшную муку — вести эту войну, ненавидя ее. История неизменно выносит обвинительный приговор полководцам и оправдательный — армиям. Армии — это совокупность храбрецов, пораженных слепотой, это силы, у которых отняли сознание; угнетение народов, осуществляемое армией, начинается с ее собственного закрепощения; эти захватчики сами закованы в цепи, и первым рабом солдата становится он сам. После таких событий, как Восемнадцатое брюмера или Второе декабря, армия — уже не более как призрак нации.

Доблестные воины Мексики, держитесь стойко!

Республика за вас, она высоко подымает над вашими головами и сияющее цветами радуги знамя Франции и усеянное звездами знамя Америки.

Надейтесь! Ваше героическое сопротивление опирается на вашу правоту, и за ним стоит великая, неодолимая сила — справедливость.

Посягательство на Мексиканскую республику — продолжение посягательства на республику Французскую. Одна западня следует за другой. Я твердо надеюсь — позорная попытка, предпринятая Империей, не удастся, и вы победите. Но в любом случае, окажетесь ли вы победителями или побежденными, наша Франция останется вашей сестрой, сестрой и в славе и в несчастье. И раз вы обращаетесь ко мне, к моему имени, я повторяю: я с вами, и если вы победите — я принесу вам в дар братское чувство гражданина, а если будете побеждены — братское чувство изгнанника.

Виктор Гюго.

ТРЕХСОТЛЕТНИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШЕКСПИРА*Шекспировскому комитету**Отвиль-Хауз, 16 апреля 1864*

Господа!

Мне кажется, что я опять во Франции. Ощущать себя среди вас — это все равно что быть на родине. Вы зовете меня, и душа моя спешит к вам.

Прославляя Шекспира, вы, французы, подаете прекраснейший пример. Вы ставите его рядом с вашими национальными знаменитостями. Вы даете Шекспиру возможность побрататься с Мольером, связывая их друг с другом, и вновь приводите к нему Вольтера. В то самое время, когда Англия провозглашает Гарибальди гражданином Лондона, вы провозглашаете Шекспира гражданином французской литературной республики. Ибо Шекспир действительно принадлежит вам. Вы всё любите в этом человеке, и прежде всего то, что он человек; вы славите в нем актера, который страдал, философа, который боролся, поэта, который победил. Ваши приветствия прославляют волю в его жизни, мощь в его гении, совесть в его искусстве, гуманность в его драматургии.

И вы правы, ибо это справедливо. Цивилизация рукоплещет этому благородному празднеству.

Вы — поэты, прославляющие поэзию, вы — мыслители, прославляющие философию, вы — художники, прославляющие искусство, и вдобавок ко всему этому вы — Франция, приветствующая Англию. Это возвышенное объятие двух сестер — нации, породившей Венсана

де Поля, и нации, породившей Уилберфорса; объятие Парижа, олицетворяющего равенство, и Лондона, олицетворяющего свободу. Из этого объятия возникнет обмен. Одна нация поделится с другой тем, что она имеет.

Приветствовать Англию в лице ее великого сына от имени Франции — это прекрасно. Но вы делаете еще больше. Вы престоупаете географические границы; для вас нет французов, нет англичан; все вы — братья одного гения, и вы чувствуете его. Вы чувствуете ту планету, вы поздравляете ту землю, которая триста лет назад, в день, подобный сегодняшнему, видела рождение Шекспира. Вы подтверждаете высокий принцип вездесущности умов, из которого вытекает единство цивилизации. Вы изгоняете эгоизм из сердца наций. Корнель принадлежит не нам, а Мильтон — не им, все принадлежит всем. Вся земля есть родина разума, вы объявляете своими всех гениев и отдаете их всем народам. Уничтожая преграды между поэтами, вы уничтожаете их между всеми людьми, и это смешение славы — начало исчезновения всех границ. Священное взаимопроникновение! Да, поистине, это великий день.

Гомер, Данте, Шекспир, Мольер, Вольтер неделимы. Помочь человеческому роду завладеть наследием всех великих людей, сделать их великие творения общим достоянием — таков первый шаг. Остальное придет потом.

Вот в чем состоит ваше начинание, общечеловеческое, гуманное, взаимообязывающее, братское, лишенное национальной ограниченности, не признающее никаких перегородок. Великолепное приятие Европы Францией и всего мира — Европой. Из празднеств, подобных этому, берет начало цивилизация.

Чтобы возглавить это достопамятное собрание, вы имели возможность выбирать в кругу людей, пользующихся самой громкой славой. Среди вас множество знаменитых, широко известных имен; ваш список блистает ими. Почти все наиболее выдающиеся представители драмы, романа, истории, поэзии, философии, искусства собрались в этот торжественный день у пьедестала Шекспира. Но, повидимому, именно для того, чтобы еще более оттенить вненациональный характер этого празднества, чтобы эта манифестация оказалась вне всех и всяких географических границ, вам пришла мысль избрать председателем человека, поставленного в столь же

необычное положение, француза, живущего вне Франции, отсутствующего и в то же время присутствующего, француза, чья телесная оболочка сейчас в Англии, а душа в Париже, — своеобразное связующее звено, которое находится на таком расстоянии между двумя странами, что, пожалуй, оно могло бы соединить руки двух августейших наций. Волею судеб в таком именно положении оказался я, и этой-то ныне счастливой для меня случайности я обязан тем, что ваш почетный выбор пал на меня.

Приношу вам свою признательность и предлагаю следующий тост: «За Шекспира и за Англию! За окончательное торжество великих умов и за единение народов на пути к прогрессу и идеалу!»

Виктор Гюго.

УЛИЦЫ И ДОМА СТАРОГО БЛУА

Господину А. Керуа

Отвиль-Хауз, 17 апреля 1864

Спасибо вам. Вы только что заставили меня пережить прошлое. 17 апреля 1825 года, ровно тридцать девять лет тому назад (позвольте мне отметить это незначительное, но интересное для меня совпадение), я приехал в Блуа. Было утро. Приехал я из Парижа и ночь провел в почтовой карете, — а что в ней делать? Я написал «Балладу о двух стрелках». Затем, закончив последние стихи еще до наступления рассвета, я стал разглядывать при свете фонаря проходившие то и дело справа и слева воловьих стада, спускавшиеся из Орлеана в Париж, и незаметно заснул. Голос кучера разбудил меня. «Вот и Блуа!» — крикнул он. Я открыл глаза и увидел сразу тысячу окон, беспорядочное и неясное скопление домов, колокольни, замок, холм, увенчанный высокими деревьями, линию остроконечных фасадов с каменными коньками крыш на берегу реки, словом — целый старинный город, расположенный амфитеатром и капризно раскинувшийся на выступках покатого склона. Он напоминает мне Гернсей, где я живу теперь, с той лишь разницей, что океан пошире Луары и над ним нет моста, ведущего на другой берег. Над Блуа вставало солнце.

Через четверть часа я был уже на улице Фуа, у дома № 73, и постучал в небольшую дверь, ведущую в сад. Человек, работавший в саду, открыл мне. Это был мой отец.

Вечером отец повел меня на холм, возвышающийся над домом; там растет дерево Гастона. Я вновь увидел, но уже сверху, город, на который утром смотрел снизу; его общий вид, несмотря на некоторую строгость, был еще более очаровательным. Утром город, как мне казалось, хранил еще следы изящного беспорядка после внезапного пробуждения; вечером его очертания выглядели более спокойными. Хотя было еще светло, так как солнце только что село, появилась какая-то грусть; ретушь сумерек смягчала острые выступы крыш; ослепительный отблеск утренней зари на окнах сменился мерцанием редких свечей; контуры предметов таинственно преображались наступавшей темнотой; все резкое проигрывало, все округлое выигрывало; стало больше изгибов и меньше углов. Я смотрел с большим волнением, умиленный этим зрелищем. С неба веяло легким дыханием лета. Город предстал передо мной не таким, как утром, — веселым, восхитительным и беспорядочным, — а спокойным и гармоничным; он делился на пропорциональные участки, уравновешивавшие друг друга; перспективы отступали, ярусы высились один над другим стройно и строго. Собор, здание епископата, черная церковь святого Николая, замок — цитадель и дворец, овраги, слившиеся с городом, подъемы и спуски, где дома то карабкаются, то катятся вниз, мост с обелиском, извивающаяся лента красавицы Луары, прямоугольные полосы тополей, а далеко на горизонте, в неясной дымке, Шамбор со своими бесчисленными башенками, леса, куда уходит старинная дорога под названием «Римские мосты», отмечающая древнее русло Луары, — все это вместе поражало своим величием и мягкостью. К тому же мой отец любил этот город.

Сегодня вы мне его вернули.

Благодаря вам я снова в Блуа. Ваши двадцать офортов показывают этот город с интимной стороны — не город дворцов и церквей, а город домов¹. С вами выходишь на улицу,ходишь в старые домики, и эти обветшалые постройки, будь то деревянный дом с резьбой на улице

¹ «Улицы и дома старого Блуа», офорты А. Керуа. (Прим. авт.)

Сен-Любен, или отель Дени-Дюпон с фонарем над винтовой лестницей, уходящей вверх косыми пролетами, или дом на улице От, или аркада с низким сводом на улице Пьер-де-Блуа, — щедро показывают готическую фантазию или изящество Ренессанса, скрашенные поэзией ветхости. Ветхость дома не мешает ему быть сокровищем. Нет ничего очаровательнее, чем пожилая женщина с умом и сердцем. Многие изящные дома, зарисованные вами, напоминают мне таких пожилых женщин. Познакомиться с ними — большая удача. А когда являешься, как я, их старым другом, то вновь увидеть их — большая радость. Сколько вещей они могут вам рассказать, и какое это восхитительное перебирание в памяти всех мелочей прошлого! Взгляните, например, на этот легкий и изящный домик на улице Орфевр; кажется, что ведешь с ним интимную беседу.

Глядя на все это изящество, чувствуешь себя счастливым. Вы даете нам возможность все узнать, — настолько ваши офорты имеют портретное сходство. Это фотографическая точность в сочетании со свободой большого искусства. Ваша улица Шемонтон — просто шедевр. Я поднялся вместе с добрыми солонскими поселянами, зарисованными вами, по большим ступеням замка. Дом со статуэтками на улице Пьер-де-Блуа можно сравнить с чудесным Домом музыкантов в Веймуте. Я узнаю все. Вот Серебряная башня, вот дом с высоким мрачным щипцом на углу улиц Виолетт и Сен-Любен, вот отель Гизов, вот отель Шеверни, вот отель Сардини со сводами, напоминающими ручки корзинок, вот отель Аллюи с изящными арками времен Карла VIII, вот ступени эпохи Людовика Святого, ведущие в собор, вот улица Сермон, а в глубине — почти романский силуэт церкви святого Николая; вот грациозная многогранная башенка, называемая Модельней королевы Анны. Позади этой башенки находился сад, где подагрик Людовик XII совершал прогулки на маленьком муле. У Людовика XII, как и у Генриха IV, есть свои приятные стороны. Он наделал много глупостей, но это был король-добряк. Он швырял в Рону папки с судебными клязузами, затеянными против жителей Во. Он был достойным отцом своей дочери — отважной гугенотки и астролога Рене Бретонской, столь неустрашимой в Варфоломеевскую ночь и столь непреклонной в деле при

Монтаржи. В молодости он провел три года в башне Буржа и отведал железной клетки. Но то, что озлобило бы другого, сделало его добродушным. Он вступил победителем в Геную с роем золотых пчел на кольчуге и девизом: «*Non utitur aculeo*»¹. Придворному, сказавшему ему при Аньяделе: «*Вы подвергаете себя опасности, государь!*» — он отвечал: «*Держитесь за мной!*» Он же говаривал: «*Добрый король — скупой король. Я считаю, что лучше вызывать смех у придворных, чем обременять народ*». Он говорил: «*Самая дрянная тварь, которую видишь, это прокурор со своими мешками*». Он ненавидел судей, жаждущих осудить и пытающихся отягчить вину обвиняемого. «*Они, — говорил он, — подобны сапожникам, которые удлиняют кожу, натягивая ее зубами*». Он умер от чрезмерной любви к своей жене, как впоследствии Франциск II; оба они были сладостно умерщвлены женщинами по имени Мария. Супружество было кратким. 1 января 1515 года, через восемьдесят три дня, или, вернее, восемьдесят три ночи после свадьбы, Людовик XII скончался. Так как это был Новый год, он сказал жене: «*Милая, пусть моя смерть будет для вас новогодним подарком*». Она приняла этот дар, разделив его с герцогом де Брандоном.

Другая тень, витающая над Блуа, столь же отвратительна, сколь приятен Людовик XII. Это тот самый Гастон, Бурбон с примесью Медичи, флорентинец шестнадцатого века, подлый, вероломный и остроумный, который по поводу ареста Лонгвиля, Конти и Конде сказал: «*Удачная охота. За один раз поймать лису, обезьяну и льва!*» То был любознательный художник, коллекционер, влюбленный в медали, филигранные изделия и бонбоньерки, способный любоваться по утрам крышкой шкатулки из слоновой кости, в то время как рубили головы его друзьям, которых он предал.

Все эти образы — и Генриха III, и герцога Гиза, и других, включая сюда и Пьера де Блуа, прославившегося тем, что он первым произнес слово «*транссубстанциация*», — я вновь увидел сквозь пелену истории, перелистывая ваш драгоценный альбом. Ваш «Фонтан Людовика XII» надолго приковал мое внимание. Вы изобразили его таким, каким я его видел: и старым и юным

¹ Не пользуется жалом (лат.).

в одно и то же время, словом — очаровательным. Это один из ваших лучших рисунков. Мне кажется, что изображенная вами «Оптовая лавка руанских ситцев», напротив отеля Амбуаз, была уже там в мое время. У вас правдивый и тонкий талант, умение улавливать стиль, твердая, ловкая и сильная рука; в вашем резце много ума и вместе с тем много непосредственности, вы владеете редким даром передавать игру светотени. В ваших офортах меня поражает и восхищает яркий свет, веселье и улыбка — эта радость пробуждения, в которой заключена вся прелесть утра. Ваши рисунки словно купаются в лучах зари. Это — подлинный Блуа, мой Блуа, мой светозарный город, ибо во мне живо первое впечатление от него, сразу же по приезде. Блуа для меня всегда радужный, я вижу его лишь в час восхода солнца. Таковы ощущения, связанные с молодостью и родными местами.

Я увлекся долгой беседой с вами, потому что вы доставили мне удовольствие. Вы затронули мою слабую струну, вы приоткрыли завесу, таившую священные для меня воспоминания. Меня охватывает порою горькая грусть, вы же дали мне ощутить грусть сладостную. Сладостно грустить — это отрада, и я вам за это признателен. Я рад, что он так хорошо сохранился, так мало изменился и что он все еще похож на тот, каким я его видел сорок лет назад, этот город, с которым меня связывают незримые и неразрывные духовные нити, этот Блуа, который видел меня подростком, этот Блуа, чьи улицы меня знают и где есть дом, в котором я был любим; по этому городу я и совершил сейчас с вами прогулку, мысленно разыскивая моего седоголового отца, и при этом обнаружил, что сам стал седым.

Жму вашу руку.

Виктор Гюго.

К ШЕСТИСОТЛЕТНИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАНТЕ

Письмо во Флоренцию

Отвиль-Хауз, 1 мая 1865

Господин гонфалоньер Флоренции!

Ваше любезное письмо глубоко меня тронуло. Вы приглашаете меня на благородное празднество. Ваш национальный комитет выразил желание, чтобы мой голос прозвучал на этом торжестве, величайшем из всех торжеств. В настоящее время Италия дважды утверждает себя пред лицом всего мира — провозглашая свое единство и чествуя своего великого поэта. Жизнь народа — в его единстве; единая Италия — вот истинная Италия. Объединиться — значит обрести жизнь. Избрав эту славную годовщину для торжественного празднования своего объединения, Италия как бы решила приурочить день своего рождения ко дню рождения Данте. Итальянская нация хочет, чтобы ее памятная дата совпала с памятной датой этого человека. Что может быть прекраснее?

Действительно, Италия воплощена в Данте Алигьери. Подобно ему, она доблестна, вдумчива, горда, великодушна, отважно сражается, отважно мыслит. Подобно ему, она сочетает в глубоком единстве поэзию и философию. Подобно ему, она жаждет свободы. Подобно ей, он исполнен величия, которым пронизана его жизнь, и красоты, которой пронизаны его творения. Италия и Данте сливаются друг с другом и отождествляются в этом взаимопроникновении; они озаряют друг друга своими

лучами. Италия столь же велика, сколь Данте славен. У них — одно сердце, одна воля, одна судьба. Италия сходна с Данте той грозной внутренней силой, которую и она и он проявили в несчастье. Она — властительница, он — гений. Подобно ему, она была в изгнании; подобно ей, он увенчан лаврами.

Подобно ему, она прошла сквозь ад.

Хвала ее выходу к свету!

Она познала, увь, все семь кругов ада; она вынесла и превозмогла горестную раздробленность, она была тенью, была географическим понятием! Сейчас она — Италия. Она так же — Италия, как Франция — Франция, как Англия — Англия; она воскресла во всеоружии, ослепительно прекрасная; она оставила позади свое мрачное, трагическое прошлое, она начинает свое восхождение к будущему; и как хорошо, как чудесно, что в этот светлый час, час великого ликования, смело шествуя вперед, озаренная солнцем цивилизации и славы, она вспоминает о той долгой ночи, когда ее светочем был Данте!

Признательность великих народов великим людям — благой пример. Нет, не говорите, что народы неблагодарны. Бывали времена, когда один человек являлся совестью всей нации. Прославляя этого человека, нация доказывает всему миру, что в ней жива совесть. Она, можно сказать, призывает в свидетели свой собственный дух. Итальянцы, любите, сохраняйте, почитайте ваши великолепные древние города и благоговейте перед Данте. Эти города были вашей отчизной, Данте был вашей душой.

Одно за другим шесть столетий сооружали пьедестал памятника Данте. В каждом столетии цивилизация переплощается. В каждом столетии человечество словно рождается вновь, и можно сказать, что бессмертие Алигьери уже в шестой раз провозглашается человечеством, шесть раз преображенным. Грядущие поколения вновь и вновь будут славить его.

Данте Алигьери, человек-светоч, был для Италии источником жизни.

Долгая ночь тяготела над Италией — ночь, во время которой мир коченел от холода; но Италия жила. Скажу более — даже в этой мгле Италия блистала. Она лежала в гробу, но не была мертва. О том, что она жива, говорили ее литература, поэзия, наука, памятники зодчества,

живопись, великие открытия. Какое сияние искусства, от Данте до Микеланджело! Какое грандиозное, двойное раскрытие тайн земли и неба: тайн земли — Христофором Колумбом, тайны неба — Галилеем! И все эти чудеса творила мнимоумершая Италия! О, поистине она была жива! Она гневно заявляла об этом лучами, исходящими из ее склепа. Италия — могила, откуда воссияла заря.

Угнетенная, закованная в цепи, окровавленная, заживо погребенная, Италия просветила мир. С кляпом во рту, она сумела выразить свою душу. Она металась в своем саване, порываясь помочь цивилизации. Кто бы мы ни были, все мы, умеющие читать и писать, благогоуем пред тобой, о наша матерь! Мы — древние римляне с Ювеналом и флорентийцы — с Данте!

Италия изумительна тем, что она — страна предтеч. Во все периоды ее истории повсюду в Италии мы видим изумительные начинания. Вновь и вновь намечает она величественный путь прогресса. Благословим ее за этот священный почин! Она — апостол и вместе с тем творец прекрасного. Варварство внушает ей омерзение. Она первая пролила свет на непомерную жестокость наказаний, и земных и небесных. Это она дважды призывала к возмущению против пыток, сначала против тех, на которые обрекал сатана, затем против тех, которые измыслил Фариначчи. Есть глубокая связь между *«Божественной комедией»*, бичующей догму, и *«Трактатом о преступлениях и наказаниях»*, бичующим закон. Италия ненавидит зло. Она не осуждает на вечные муки и не присуждает к наказанию. Она борется с чудовищем в обоих его обликах — ада и эшафота. Против первого боролся Данте, против второго — Беккария.

Но и в других областях Данте — предтеча.

В тринадцатом веке у Данте зародилась мысль, осуществившаяся в девятнадцатом. Он знал, что все истинное и справедливое неизбежно должно претвориться в жизнь, что закон развития — божественный закон, и он хотел объединения Италии. В наши дни его утопия стала фактом. Мечты великих людей — зародыши будущих деяний. Мыслители предвидят ход истории.

Единство, которого Герард Гроот и Рейхлин требовали для Германии и которого Данте хотел для Италии, — не только жизненная необходимость для наций, оно — цель

всего человечества. Там, где стираются границы, зло перестает существовать. Рабство скоро исчезнет в Америке, почему? Потому что там возродится единство. Войны в Европе постепенно затухают, — почему? Потому что постепенно создается единство. Разителен параллелизм между исчезновением бичей рода людского и слиянием человечества в единое целое.

Предстоящее торжество — великолепный признак. Одна из наций славит память гения, и это — великий праздник для всех людей. Так Германия славил Шиллера, затем Англия — Шекспира, так ныне Италия славит Данте. И в этих торжествах участвует вся Европа. Высшая общность! Каждая нация отдает другим частицу рожденного ею великого человека. В братстве гениев намечается грядущее единство народов.

Прогресс все решительнее будет шествовать по этому пути — пути света. Так, шаг за шагом, без потрясений мы придем к великому итогу — осуществлению наших чаяний; так, дети распрей, мы достигнем единения; так, силою вещей и могуществом идей, все мы придем к полному согласию, миру, гармонии. Не будет больше чужестранцев. Все жители земного шара станут соотечественниками. Такова высшая правда; таково неминуемое завершение: единство всего человечества пред лицом единого бога!

Я с сыновним чувством присоединяюсь к празднеству всей Италии.

Виктор Гюго.

БРИТ

Из Афин до меня доносится вопль.

Из города Фидия и Эсхила ко мне обращаются с призывом, чьи-то голоса произносят мое имя.

Кто я, что заслужил такую честь? Никто. Побежденный.

А кто обращается ко мне? Победители.

Да, героические кандидаты, сегодня угнетенные, в будущем — вы победите. Держитесь стойко! Даже если вас разгромят, вы восторжествуете. Предсмертное возмущение — великая сила. Это апелляция к богу, а он отменяет... что? Приговоры монархов.

Эти всемогущие державы, действующие против вас, эти коалиции слепых сил и укоренившихся предрассудков, эти вооруженные древние деспотии обладают одним отличительным свойством: все они изумительно быстро идут ко дну. Древний монархический корабль, корма которого украшена тиарой, а нос — чалмой, дал течь. Сейчас он терпит крушение в Мексике, в Австрии, в Испании, в Ганновере, в Саксонии, в Риме и других местах. Держитесь стойко!

Победить вас невозможно!

Подавить восстание — не значит уничтожить дух свободы.

Совершившихся фактов не существует. Существует только право.

Факты никогда не совершаются до конца. Их постоянная незавершенность — брешь, в которую проникает право. Право никогда не тонет. Волны событий порой

захлестывают его — оно появляется вновь. Потопленная Польша снова выплывает на поверхность. Уже девяносто четыре года носится это мертвое тело по волнам европейской политики, и столько же лет народы видят, как над совершившимися фактами витает эта живая душа.

Критяне, вы тоже живая душа.

Греки Кандии, за вас право и за вас здравый смысл. Причины действий турецкого паши на Крите недоступны нашему разуму. То, что справедливо для Италии, справедливо для Греции. Италии нельзя вернуть Венецию, не возвратив Крит грекам. Один и тот же принцип не может быть истиной в одном случае и ложью в другом. То, что там — сияние зари, не может быть здесь мраком могилы.

Тем временем кровь льется потоками, а Европа не вмешивается. Она взяла невмешательство в привычку. Сегодня — очередь султана. Он истребляет целую нацию.

Существует ли некое турецкое божественное право, которое христиане почитают так же, как божественное право своих монархов? Сейчас убийства, разбой, насилие обрушились на Кандию, как полгода назад на Германию. То, что не было бы дозволено Шиндеханнесу, дозволено политике. Равнодушно, с саблей у пояса, взирать на резню — это называется быть государственным деятелем.

Нас уверяют, что в интересах религии нужно дать туркам беспрепятственно зверствовать на Кандии и что устои общества поколебались бы, если бы на всем протяжении от Скарпенто до Киферы не перебили всех младенцев до единого. Уничтожать урожай, предавать селения огню — якобы полезное дело. Доводы, которые выдвигают, чтобы объяснить эти зверства и заставить мириться с ними, превышают наше понимание. То, что произошло этим летом в Германии, тоже поражает нас. Одно из унижений, знакомых тем, кто, как я, отупел от долгого изгнания, заключается в неспособности понять великие побуждения современных убийц.

Все равно, отныне критский вопрос — в порядке дня. Он будет разрешен, и разрешен, как все вопросы нашего века, освобождением угнетенных.

Единая Греция, единая Италия, венец первой — Афины, венец второй — Рим. Вот что мы, люди Франции, обязаны дать двум нашим матерям.

Это — неоплаченный долг; Франция погасит его. Это — святая обязанность; Франция выполнит ее.

Когда?

Держитесь стойко!

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 2 декабря 1866

ОТВЕТ НАРОДУ КРИТА

Отвиль-Хауз, 17 февраля 1867

Я пишу эти строки, повинаясь приказу свыше — приказу людей, испытывающих смертную муку.

Из Греции до меня донесся второй призыв.

Передо мной письмо, отправленное из лагеря повстанцев, из Омалоса, селения Кидонийской епархии, обагренное кровью мучеников, писанное среди развалин, среди трупов, проникнутое духом чести и свободы. В нем есть нечто героически повелительное. Заголовок гласит: «Народ Крита — Виктору Гюго». В этом письме сказано: «Продолжи дело, которое ты начал».

Я продолжаю его. И, так как умирающая Кандия этого хочет, я снова поднимаю свой голос.

Это письмо подписал Зимбракакис.

Зимбракакис — герой этого восстания на Кандии, а Зирисдани — его предатель.

В часы великой борьбы целые народы воплощаются в воинах, которые в то же время являются светочами мысли; таков был Вашингтон, таков был Боцарис, таков Гарибальди.

Как Джон Браун встал на защиту негров, как Гарибальди встал на защиту Италии, так Зимбракакис встает на защиту Крита.

Если он останется верен себе до конца, — а это так будет, — то погибнет ли он, как Джон Браун, или восторжествует, как Гарибальди, — Зимбракакис будет великим.

Хотите знать, каково положение на Крите? Вот некоторые факты.

Восстание не умерло. Оно подавлено в долинах, но держится в горах. Оно живо, оно взывает, оно молит о помощи.

Почему Крит восстал? Потому, что господь создал его прекраснейшей страной мира, а турки превратили его в несчастнейшую страну; потому, что на Крите все есть в изобилии и нет торговли, есть города и нет дорог, есть села и нет даже тропинок, есть гавани и нет причалов, есть реки и нет мостов, есть дети и нет школ, есть права и нет закона, есть солнце и нет света. При турках там царит ночь.

Крит восстал потому, что Крит — это Греция, а не Турция, потому, что иго чужеземца непереносимо, потому, что угнетатель, если он того же племени, что и угнетаемый, — омерзителен, а если он пришелец — ужасен; потому, что победитель, ломаным языком провозглашающий варварство в стране Этиарха и Миноса, — невозможен; потому, что и ты, Франция, восстала бы!

Крит восстал — и это прекрасно.

Что дало восстание? Сейчас скажу. По 3 января — четыре битвы, из которых три победы: Апокорона, Вафе, Кастель-Селино, и одно поражение: Аркадион! Остров рассечен восстанием надвое: одна половина его — во власти турок, другая — во власти греков. Линия военных действий идет от Скифо и Роколи к Кисамосу, к Лазити и доходит до Иерапетры. Шесть недель тому назад турки, оттесненные вглубь острова, удерживали лишь немногие селения на побережье и западный склон Псилоритийских гор с Амбелирсой. Стоило Европе в тот момент шевельнуть пальцем — и Крит был бы спасен. Но Европе было не до того. Тогда происходила пышная свадьба, и Европа любовалась балом.

Название «Аркадион» знают все, но что там произошло — мало кто знает. Вот подробности, правдивые и почти никому не известные. Шестнадцать тысяч турок напали на основанный Гераклием на горе Ида монастырь Аркадион, где находилось сто девяносто семь мужчин, триста сорок три женщины и множество детей. У турок — двадцать шесть пушек и две гаубицы, у греков — двести сорок ружей. Двое суток длится битва. Тысяча двести

пушечных ядер изрешетили монастырь; одна из стен рушится, турки врываются в брешь; греки продолжают сражаться; сто пятьдесят ружей уже выбыли из строя, но еще шесть часов идет жаркий бой в кельях и на лестницах, и во дворе лежат две тысячи трупов. Наконец последнее сопротивление сломлено; победители-турки наводняют монастырь. Остался лишь один забаррикадированный зал, где хранятся запасы пороха; в этом зале, у алтаря, посреди кучки женщин и детей, молится восьмидесятилетний старец, игумен Гавриил. Всюду вокруг турки убивают мужей и отцов; но если эти женщины и дети, заранее предназначенные для двух гаремов, останутся в живых — их ждет страшная участь. Дверь трещит под ударами топоров, она вот-вот рухнет. Старец берет с алтаря зажженную свечу, обводит глазами детей и женщин, подносит свечу к пороху — и спасает их. Вмешательство грозной силы — взрыв — приносит побежденным избавление, агония становится торжеством, и героический монастырь, сражавшийся как крепость, умирает как вулкан.

Защита Псары — не более эпична, защита Мисолонги — не более величественна.

Таковы факты. Что же делают так называемые цивилизованные правительства? Чего они ждут? Они бормочут: «Терпение, мы ведем переговоры».

Вы ведете переговоры! А тем временем турки уничтожают оливковые и каштановые рощи, разрушают маслодавили, предают огню селения, на корню сжигают урожай, гонят толпы жителей в горы на верную смерть от холода и голода, обезглавливают мужей, вешают стариков, и турецкий солдат, увидев лежащего на земле ребенка, вставляет ему в ноздри зажженный фитиль, чтобы удостовериться в его смерти. Этим способом в Аркадионе вернули к жизни пятерых раненых, чтобы затем умертвить их.

«Терпение», — говорите вы. А тем временем турецкий отряд врывается в деревню Мурнию, где были только женщины и дети, и оставляет после себя груды развалин и груды трупов матерей и младенцев.

А общественное мнение? Что оно делает? Что говорит? Ничего. Оно занято другим. Чего вы хотите? К несчастью, эти катастрофы не в моде.

Увы!

Политика «терпения», проводимая великими державами, дала два результата: Греции отказано в справедливости, человечеству отказано в сострадании.

Монархи, одно слово могло бы спасти этот народ. Европе недолго сказать это слово. Скажите его! На что же вы годитесь, если вы не способны на это?

Нет! Они молчат — и хотят, чтобы все молчали. Выход из положения найден. О Крите запрещено говорить. Шесть-семь великих держав в заговоре против маленького народа. Каков этот заговор? Самый подлый из всех. Заговор молчания.

Но гром в этом заговоре не участвует.

Гром разит с небес, и на языке политики гром называется революцией.

Виктор Гюго.

ФЕНИИ

Письмо в Англию

Грусть и тоска царят в Дублине. Смертные приговоры следуют один за другим, обещанная амнистия не приходит. В письме, лежащем перед нашими глазами, говорится: «Будет сооружена виселица; сначала — генерал Бёрк; затем пойдут капитан Мак Афферти, капитан Мак Клюр, затем трое других — Келли, Джойс и Каллинен... Нельзя терять ни минуты... Женщины, молодые девушки умоляют вас... Во-время ли прибудет к вам наше письмо?...» Мы читаем это и не верим. Нам говорят: «Эшафот готов». Мы отвечаем: «Это невозможно». Колкрафту нет дела до политики. Скверно уже и то, что он вообще существует. Нет, политический эшафот невозможен в Англии. Ведь не для того, чтобы подражать венгерским виселицам, Англия приветствовала Кошута; ведь не для того, чтобы повторить у себя сицилийские эшафоты, Англия прославляла Гарибальди. Что означали бы в таком случае крики «ура!», раздававшиеся в Лондоне и Саутгемптоне? Если так, уничтожьте все ваши польские, греческие, итальянские комитеты. Будьте Испанией.

Нет, Англия в 1867 году не казнит Ирландию. Эта Елизавета не обезглавит эту Марию Стюарт.

Мы живем в девятнадцатом веке.

Повесить Бёрка! Это невозможно. Неужели вы пойдете по стопам Талаферро, убившего Джона Брауна, Чакона, убившего Лопеса, Жеффара, убившего юного Делорма, Фердинанда, убившего Пизакане?

Как! После английской революции? Как! После французской революции? Как! В великую и блестящую эпоху, которую мы переживаем? Значит, за последние сорок лет ничего не было сказано, ничего не было продумано, ничего не было провозглашено, ничего не было сделано!

Как! На наших глазах, на глазах людей, которые являются больше чем зрителями, которые являются свидетелями, будут происходить подобные вещи? Как! Старые дикарские наказания еще живут? Как! В этот час еще произносятся подобные приговоры: «Имярек, в такой-то день вы будете на позорной колеснице доставлены на место казни, затем ваше тело будет разрублено на четыре части и оставлено на усмотрение его величества, который распорядится, как ему будет угодно»? Как! В одно майское или июньское утро, сегодня, завтра, схватят человека только за то, что у него были какие-то политические или национальные взгляды, за то, что он боролся за эти взгляды, за то, что он был побежден, свяжут его веревками, нахлобучат на него черную маску, повесят и будут душить до тех пор, пока не последует смерть? Нет! Не для того вы именуетесь Англией!

В настоящее время вы имеете перед Францией то преимущество, что вы свободная нация. Франция, столь же великая, как и Англия, не госпожа над самой собой, и отсюда ее мрачное падение. Это дает вам повод для тщеславия. Пусть. Но будьте осторожны. Можно за один день шагнуть назад на целый век. Дойти до такого ретроградства, чтобы отправлять на виселицу за политические убеждения! Вы, Англия! В таком случае поставьте памятник Джеффрису. А мы в это время воздвигнем памятник Вольтеру.

Думаете ли вы, что делаете? Вы — родина Шеридана и Фокса, заложивших основы парламентского красноречия, родина Говарда, вдохнувшего свежий воздух в тюрьмы и смягчившего систему наказаний, родина Уилберфорса, уничтожившего рабство, родина Рауленда

Хилла, создавшего почту, родина Кобдена, создавшего свободный обмен, вы дали миру пример колонизации, положили первый трансатлантический кабель, вы переживаете период расцвета политической зрелости, вы великолепно осуществляете великое гражданское право во всех его формах, у вас есть свобода печати, свобода трибуны, свобода совести, свобода союзов, свобода промышленности, свобода домашнего очага, личная свобода, путем реформы вы идете ко всеобщему избирательному праву, вы — страна демократических выборов, страна митингов, могущественный народ, имеющий habeas corpus. Так вот! Прибавьте ко всему этому ослепительному блеску казнь Бёрка — и именно потому, что вы самый великий из свободных народов, вы сразу же превращаетесь в самый ничтожный из всех!

О, вы не знаете, какие ужасные последствия вызывает одна капля позора, попавшая в море славы. Из первой нации вы превратитесь в последнюю. Как понять это честолюбие в обратном смысле? Откуда эта жажда к падению? При виде виселиц, достойных безумного Георга III, континент уже не узнает величественную и прогрессивную Великобританию. Народы отвернутся от нее. Цивилизации был бы нанесен ужасный удар — и кем? Англией! Печальный сюрприз. Нет, не может быть более отвратительного зрелища, чем солнце, из которого внезапно вырывается тьма!

Нет, нет, нет! Повторяю, не для того вы именуетесь Англией!

Вы именуетесь Англией, чтобы показывать народам пример прогресса, труда, инициативы, истины, права, разума, величия свободы! Вы именуетесь Англией, чтобы являть зрелище жизни, а не зрелище смерти!

Европа призывает вас исполнять ваш долг.

Вступиться сейчас за этих осужденных — значит прийти на помощь Ирландии и в то же время прийти на помощь Англии.

У первой под угрозой находятся ее права, у второй — ее слава.

Виселицы не будут воздвигнуты!

Бёрк, Мак Клор, Мак Афферти, Келли, Джойс, Каллинен не умрут. Жены и дочери, писавшие изгнаннику,

не шейте себе траурных платьев. Можете уверенно смотреть на ваших детей, спящих в колыбели.

Англией управляет женщина в трауре. Мать не создаст сирот, вдова не создаст вдов.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 28 мая 1867

ПРЕЗИДЕНТУ МЕКСИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Хуарес, вы сравнивались с Джоном Брауном.

У современной Америки есть два героя: Джон Браун и вы. Благодаря Джону Брауну умерло рабство; благодаря вам ожила свобода.

Мексику спасли принцип и человек. Этот принцип — республика, этот человек — вы.

Впрочем, такова участь всех посягательств монархистов: они кончаются провалом. Всякая узурпация начинается Пуэблой и завершается Керетаро.

В 1863 году Европа набросилась на Америку. На вашу демократию напали две монархии; первая хотела навязать вам государя, вторая двинула против вас армию; с армией пришел и государь. Тогда мир увидел такое зрелище: с одной стороны — армия, самая закаленная из всех европейских армий, армия, опирающаяся на военный флот, столь же могущественный на море, как она сама на суше, субсидируемая всеми финансами Франции, беспрестанно пополняемая, хорошо управляемая, одержавшая победы в Африке, в Крыму, в Италии, в Китае, фанатически преданная своему знамени, в изобилии оснащенная лошадьми, артиллерией, продовольствием, великолепными боеприпасами; с другой стороны — Хуарес.

С одной стороны — две империи, с другой — человек. Человек с горсточкой товарищей. Человек, гонимый из города в город, из селения в селение, из леса в лес, взятый на мушку подлыми военными трибуналами, затравленный, скитающийся, валяющийся в пещерах, как дикий зверь, загнанный в пустыню; за его голову обещано вознаграждение. Вместо генералов — несколько отчаянных смельчаков, вместо солдат — несколько оборванцев. Без

денег, без хлеба, без пороха, без пушек. Вместо крепостей — кустарники. На той стороне узурпация, именуемая законностью, на этой — право, именуемое бандитизмом. Узурпация с каской на голове и императорским мечом в руке, приветствуемая епископами, гонит перед собой и тащит за собой целые легионы силы. Право обнажено и одиноко. Вы — право — приняли бой.

Война Одного против Всех длилась пять лет. Вам не доставало людей, вы призвали себе на помощь природу. Вам содействовал ужасный климат, вашим союзником было солнце. Вашими защитниками были непреодолимые озера, потоки, кишасшие кайманами, болота, насыщенные лихорадкой, ядовитые растения — vomito prieto жарких стран, солончаки, обширные пески без воды и без травы, где лошади падают от жажды и голода, огромное дикое плоскогорье Анагун, охраняемое, подобно Кастилии, своей наготой, равнины с пропастями, постоянно сотрясаемые извержениями вулканов от Колима до Невадо-де-Толука; вы призвали на помощь естественные препятствия, крутизну Кордильер, высокие базальтовые скалы, огромные порфировые утесы. С помощью гор вы вели войну гигантов.

И в один прекрасный день, после пяти лет дыма, пыли и ослепления, облако рассеялось, и люди увидели, что обе империи повержены на землю, нет более монархии, нет армии, от громадины-узурпации остались одни лишь развалины, и на этой куче обломков стоит человек, Хуарес, и рядом с этим человеком — свобода.

Это совершили вы, Хуарес; ваш подвиг велик. Но вам предстоит совершить еще более великие дела.

Послушайте же, гражданин президент Мексиканской республики!

Вы повергли монархии к ногам демократии. Вы показали им ее мощь, теперь покажите им ее красоту. После громового удара покажите им зарю. Цезаризму, сеющему смерть, противопоставьте республику, дарующую жизнь. Монархиям, узурпирующим власть и истребляющим людей, противопоставьте властвующий и сдерживающий себя народ. Варварству противопоставьте цивилизацию. Деспотизму противопоставьте принципы. На глазах у народов унижьте королей своим блеском. Доконайте их состраданием!

Принципы утверждаются прежде всего милосердием к нашим врагам. Величие принципов проявляется в неведении. Для принципов люди не имеют имен; нет людей, есть Человек. Принципы признают лишь себя. В своей святой глупости они знают только одно: *человеческая жизнь неприкосновенна*.

О, благоговейное беспристрастие истины! Право, действующее без разбора, озабоченное только тем, чтобы быть правом, — как это прекрасно!

Именно по отношению к тем, кто на законном основании заслуживает смерти, и следует отказаться от подобного насилия. Лучше всего опрокинуть эшафот на глазах у виновного.

Пусть нарушивший принцип найдет поддержку у принципа. Пусть он испытает и это счастье и этот стыд. Пусть тот, кто преследовал право, найдет убежище в праве. Срывая с него ложную неприкосновенность, неприкосновенность королевскую, вы обнажаете истинную, человеческую неприкосновенность. Пусть он будет потрясен, обнаружив, что священное в нем — это как раз то, что не относится к его императорскому достоинству. Пусть этот государь, не знавший, что он человек, узнает, что в нем есть нечто ничтожное — государь, и нечто величественное — человек.

Никогда еще не представлялось более блестящей возможности. Осмелятся ли казнить Березовского, если Максимилиан останется цел и невредим? Первый хотел убить одного монарха, второй хотел убить целую нацию.

Хуарес, дайте возможности цивилизации сделать этот гигантский шаг. Хуарес, уничтожьте смертную казнь на всей земле.

Пусть весь мир узрит это чудесное явление: республика держит в руках своего убийцу, императора; в момент, когда она готова его раздавить, она обнаруживает, что он — человек; тогда она отпускает его и говорит: «Ты, как и другие люди, сын народа. Ступай же!»

Это будет, Хуарес, ваша вторая победа. Первая — сломить узурпацию — великолепно; вторая — пощадить узурпатора — будет величественной.

Да, покажите этим королям, чьи тюрьмы переполнены, чьи эшафоты тонут в крови, этим королям виселиц, ссы-

лок, каторги, Сибири, угнетающим Польшу, Ирландию, Гавану, Крит, этим государям, которым повинуются судьи, этим палачам, которым повинуются смерть, этим императорам, с такой легкостью отрубаящим голову человеку, — покажите им, как щадят голову императора.

Раскройте над всеми монархическими кодексами, с которых стекают капли крови, свод светозарных законов, и пусть все увидят на середине самой священной страницы этой высочайшей книги перст республики, указующий на слова божественного приказа: «Не убий!»

В этих двух словах заключен долг. Вы исполните этот долг.

Узурпатор будет спасен, а освободителя, увы, спасти не удалось! Восемь лет тому назад, 2 декабря 1859 года, я выступил в защиту демократии и попросил Соединенные Штаты сохранить жизнь Джону Брауну. Я этого не добился. Сегодня я прошу Мексику сохранить жизнь Максимилиану. Добьюсь ли я этого?

Да. И, может быть, в этот час это уже сделано.

Максимилиан будет обязан жизнью Хуаресу.

«А наказание?» — спросят меня.

Наказание — вот оно: Максимилиан будет жить милостью Республики.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 20 июня 1867

ПАМЯТНИК ВОЛЬТЕРУ

Редактору газеты «Сьекль»

Принять участие в подписке на сооружение памятника Вольтеру — общественный долг.

Вольтер — предтеча.

Факелоносец восемнадцатого века, он предшествует французской революции и возвещает ее. Он — звезда этого великого утра.

Священники правы, называя его Люцифером.

Виктор Гюго.

МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ ДЖОНА БРАУНА

Полю Блану, издателю газеты «Кооперасьон»

Милостивый государь!

Благодарю вас.

Мое имя к услугам всякого, кто хочет им воспользоваться в защиту прогресса и правды.

Медаль в честь Линкольна влечет за собой медаль в честь Джона Брауна. Выплатим же этот долг и будем ждать, когда Америка выплатит свой. Америка должна воздвигнуть Джону Брауну статую такой же высоты, как статуя Вашингтона. Вашингтон основал республику, Джон Браун провозгласил свободу.

Жму вашу руку.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 3 июля 1867

ОТВЕТ МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Брюссель, 22 июля 1867

Дорогие поэты!

Литературная революция 1830 года, естественное следствие революции 1789 года, есть факт, неотъемлемый от нашего века. Я — лишь скромный солдат этого прогресса. Я сражаюсь за революцию во всех ее проявлениях — как в литературном, так и в социальном. Мой принцип — свобода, мой закон — прогресс, мой герой — идеал.

Я — ничто, зато революция — все. Фундамент поэзии девятнадцатого века заложен. 1830 год был прав, и 1867 год доказывает это. Ваша молодая слава является лишним тому подтверждением.

Нашей эпохе присуща глубокая логичность, незаметная для умов поверхностных, и все виды реакции против нее бессильны. Частью этого великого века является великое искусство. Оно — его душа.

Благодаря вам, молодые и прекрасные таланты, благородные умы, свет будет разгораться все ярче. Нам,

старикам, досталась борьба, вам, молодежи, достанется торжество победы.

Дух девятнадцатого века сочетает в себе демократические поиски Истинного с вечным законом Прекрасного. Неодолимый поток нашей эпохи направляет все к этой высочайшей цели — к Свободе умов, к Идеалу в искусстве. Оставляя в стороне все, касающееся лично меня, можно уже сегодня утверждать — и мы имели возможность убедиться в этом, — что объединение всех писателей, всех талантов, всех людей совести для достижения этого великолепного результата уже состоялось. Великодушная молодежь, какою являетесь вы, с внушающим уважение энтузиазмом требует революции во всем — как в поэзии, так и в государстве. Литература должна быть одновременно демократической и идеальной: демократической для цивилизации, идеальной для души.

Драматургия — это Народ, Поэзия — Человек. Таково направление, заданное 1830 годом, продолжаемое вами, понятое всей большой критикой наших дней. Никакое реакционное усилие — я настаиваю на этом — не смогло бы одержать верх над столь очевидными истинами. Высокая критика созвучна высокой поэзии.

Сознавая свою незначительность, я благодарю и поздравляю эту высокую критику, которая с таким авторитетом выступает и в прессе политической и в прессе литературной, которая так глубоко проникла в философию искусства и которая приветствует 1830 год так же единодушно, как и 1789-й.

Примите мою благодарность и вы, мои юные братья.

С той ступени жизненной лестницы, на которой я нахожусь, мне хорошо виден конец, другими словами — бесконечность. Когда он так близок, расставание с землей оставляет в нашей душе место лишь для суровых раздумий. И все же перед этим грустным уходом, к которому я готовлюсь в своем уединении, ваше красноречивое письмо является для меня драгоценным подарком; оно вселяет в меня мечты о возвращении к вам и дает мне иллюзию этого возвращения — сладостное сходство заката с восходом. Вы говорите мне «до свидания», тогда как я приготовился к прощанью навсегда.

Благодарю. Я далеко от вас, потому что так мне велит долг, и мое решение непоколебимо, но сердцем я с вами.

Я горжусь тем, что вижу свое имя окруженным вашими именами. Ваши имена — звездный венец.

Виктор Гюго.

МАНИН

Отвиль-Хауз, 16 марта 1868

Мне пишут из Венеции и спрашивают, хочу ли я сказать что-нибудь в этот знаменательный день 22 марта.

Да. И вот что я хочу сказать.

Венеция была отнята у Манина, как Рим был отнят у Гарибальди.

Манин, мертвый, снова вступает во владение Венецией. Гарибальди живым снова войдет в Рим.

Франция в такой же мере не имеет права навязывать свою волю Риму, в какой Австрия не имела права навязывать свою волю Венеции.

Та же узурпация, за которой последует та же развязка.

Эта развязка, которая расширит Италию, возвеличит Францию.

Ибо все справедливые деяния, совершаемые народом, — в то же время и великие деяния.

Свободная Франция протянет руку объединенной Италии.

И обе нации полюбят друг друга. Я говорю это с величайшей радостью, я, сын Франции и внук Италии.

Сегодняшний триумф Манина предвещает завтрашний триумф Гарибальди.

День 22 марта — это предтеча.

Такие гробницы исполнены обещаний. Манин был борцом за право и потому подвергся изгнанию. Он сражался за принципы. Он высоко держал свой сверкающий меч. Ему, так же как и Гарибальди, была свойственна героиче-

ская кротость. Свобода Италии, явственно видная, хотя и закрытая покрывалом, стоит за его гробом. Она сбросит это покрывало.

И тогда она превратится в мир, не переставая быть свободой.

Вот что предвещает возвращение Манина в Венецию.

Такой мертвец, как Манин, олицетворяет надежду.

Виктор Гюго.

ГЮСТАВ ФЛУРАНС

Перед лицом некоторых фактов невозможно удержать крик негодования.

Гюстав Флуранс — молодой талантливый писатель. Сын человека, посвятившего себя науке, он посвятил себя прогрессу. Когда вспыхнуло восстание на Крите, он отправился на Крит. Природа создала его мыслителем, свобода сделала его солдатом. Он отдал себя делу Крита, он боролся за воссоединение Крита и Греции. Он стал сыном героической Кандии. Он проливал кровь и страдал на ее несчастной земле; он терпел там жару и холод, голод и жажду; он сражался, этот парижанин, на белых горах Сфакии, он перенес там не одно знойное лето и не одну суровую зиму; он познал мрачные поля битв и не раз после боя крепко засыпал на снегу рядом с теми, кому уже не суждено было проснуться. Он отдавал свою кровь, он отдавал свои деньги. Трогательная деталь: ему случилось одолжить триста франков правительству Крита — правительству, презираемому, без сомнения, теми правительствами, чей долг равен тринадцати миллиардам¹. После ряда лет упорной преданности этот француз сделался критянином. Национальное собрание Кандии избрало г-на Гюстава Флуранса своим членом; оно послало его в Грецию для заключения договора о братской дружбе и поручило ему ввести в греческий парламент представителей Крита. В Афинах Гюстав Флуранс пожелал видеть

¹ Таков был долг Франции при Империи. В дальнейшем Седан и его последствия увеличили этот долг еще на десять миллиардов. Из-за этой заключительной авантюры Империи Франция задолжала на десять миллиардов больше. Правда, у нее стало на две провинции меньше. *(Прим. авт.)*

Георга Датского, который, кажется, является королем Греции. Гюстав Флуранс был арестован.

Как француз, он имел определенные права, как критянин, он исполнял определенные обязанности. Никто не посчитался ни с его обязанностями, ни с его правами. Греческое правительство и правительство французское — два сообщника — посадили его на случайный пакетбот и насильно привезли в Марсель. Здесь уже трудно было держать его под арестом — пришлось его отпустить. Но, оказавшись на свободе, Гюстав Флуранс тотчас же снова отправился в Грецию, и через неделю после того, как его изгнали из Афин, он снова оказался там. Таков был его долг. Гюстав Флуранс взял на себя священную миссию: он — посланец гибнущего народа, он должен передать его предсмертную волю, он — хранитель величайшего наследства — прав целой нации, и он хочет оказаться достойным этого наследства, он хочет с честью выполнить эту миссию. Отсюда его бесстрашное упорство. Однако в царствование иных государей тот, кто выполняет свой долг, считается преступником. Сейчас Гюстав Флуранс объявлен вне закона. Греческое правительство охотится за ним, французское правительство предает его, и вот что пишет мне этот стоический борец, скрывающийся где-то в Афинах: «Если я буду пойман, меня отравят в какой-нибудь темнице».

В другом письме, полученном нами из Греции, мы читаем: «Гюстав Флуранс брошен на произвол судьбы».

Нет, он не брошен на произвол судьбы. Пусть знают все правительства — те, которые считают себя сильными, как, например, Россия, и те, которые ощущают свою слабость, как, например, Греция, те, которые терзают Польшу, и те, которые предают Крит, — пусть они знают и пусть помнят: Франция — это огромная, неведомая сила. Франция — не только империя, Франция — не только армия, Франция — не только географическое понятие, Франция — это даже не только совокупность тридцати восьми миллионов человек, которые в большей или меньшей степени отстранились от борьбы за свои права, потому что они устали. Франция — это душа. Где она? Везде. Возможно даже, что сейчас она, пожалуй, где-то вне Франции. Бывают случаи, когда родину изгоняют. Такая страна, как Франция, — это принцип, и истинный ее

территорией является право. Она укрывается там, где господствует это право, и оставляет свою землю, превратившуюся в каторгу, во власти ярма, а свое достояние — во власти угнетателей. Нет, Крит, который хотят поставить вне наций, не брошен на произвол судьбы. Нет, ее посланец и ее солдат Гюстав Флуранс, которого объявили вне закона, не брошен на произвол судьбы. Истина, эта великая угроза, стоит рядом с ним и бодрствует. Правительства спят или делают вид, что спят, но есть глаза, которые открыты. Эти глаза видят и судят. Их пристальный взгляд страшен. Их зрачки, излучающие свет, неотступно преследуют все фальшивое, несправедливое, темное. Известно ли, почему сгнули цезари, султаны, старые короли, старые кодексы и старые догмы? Потому что этот свет был направлен на них. Известно ли, почему пал Наполеон? Потому что справедливость пристально смотрела на него из мрака.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 9 июля 1868

ДВА ПИСЬМА ИСПАНИИ

I

На протяжении тысячелетия, с шестого по шестнадцатый век, испанский народ был первым народом Европы; он создал эпос, равный греческому, искусство, равное итальянскому, философию, равную французской; этот народ имел своего Леонида по имени Пелайо и своего Ахилла по имени Сид; этот народ начал с Вириата и кончил Риго; у него было Лепанто, как у греков Саламин; без него Корнель не создал бы трагедии, а Христофор Колумб не открыл бы Америки; это неукротимый народ Фуэро-Хусго; торный рельеф защищает Испанию от внешнего мира почти так же, как Швейцарию, ибо высота Муласена относится к высоте Монблана как 18 к 24; испанцы имели свое народное собрание, современное римскому форуму, на которое народ собирался в лесу два раза в месяц, в новолуние и в полнолуние, чтобы решать все дела; этот народ учредил кортесы в Леоне за семьдесят семь лет до того, как англичане учредили парламент; у него была своя

клятва в Jeu-de-Raite, принесенная в Медина-дель-Кампо при до́не Санчо; с 1133 года, со времени кортесов в Борхе, третье сословие Испании стало преобладающим; в парламент этой страны только один город Сарагоса посылал пятнадцать депутатов; в 1307 году, при Альфонсе III, испанский народ провозгласил право на восстание и обязанность восставать против деспотизма; в Арагоне он ввел должность, которая именовалась «правосудие» и стояла выше должности, которая именовалась «король»; напротив трона он воздвиг грозное *síno* по¹; он отказался платить налоги Карлу V. Рождаясь, этот народ нанес поражение Карлу Великому, а умирая — Наполеону. Этот народ перенес немало болезней, его мучили тунейдцы, но в конечном счете монахи опозорили его не более, чем вши — льва. Этому народу недоставало лишь двух вещей — умения обходиться без папы и умения обходиться без короля. Мореходством, влечением к путешествиям, развитием промышленности и торговли, открытием новых земель, способностью прокладывать неизведанные пути, инициативой, широкой колонизацией Испания походила на Англию, отличаясь от нее меньшей изолированностью и большим количеством солнечного света. Испанский народ имел своих полководцев, врачей, поэтов, пророков, героев, мудрецов. У этого народа есть Альгамбра, так же как у афинян есть Парфенон; у него есть Сервантес, так же как у нас есть Вольтер. Необъятная душа этого народа пролила на мир столько света, что потребовался Торквемада, чтобы затушить его; папы накрыли этот факел гигантским гасильником — тиарой. Чтобы одолеть эту нацию, папизм и абсолютизм заключили между собою союз. А затем они вернули ей весь ее свет в виде пламени, и мир увидел, как связанную по рукам и ногам Испанию сжигают на костре. Бесконечный кемадеро покрыл весь мир, в течение трех столетий дым от него отвратительным облаком окутывал цивилизацию, а когда пытки кончились и сожжения прекратились, можно было с полным основанием сказать: этот пепел — испанский народ.

¹ Если нет, то нет (*исп*); в данном случае означает отказ повиноваться в случае невыполнения известных условий.

Ныне из этого пепла возрождается нация; легенда о фениксе становится истиной, когда речь идет о народе.

Этот народ возрождается. Каким он станет, возродившись? Ничтожным? Великим? Вот в чем вопрос.

Испания может вновь занять подобающее ей место. Она может вновь стать равной Франции и Англии. Провидение предоставляет ей огромные возможности. Это — неповторимый случай. Неужели Испания его упустит?

Еще одна монархия на континенте — для чего? Испания, подвластная королю, который в свою очередь подвластен иностранным державам, — какая жалкая участь! К тому же в наши дни устанавливать монархию — значит зря тратить силы. Декорацию придется скоро менять!

Установление республики в Испании означало бы прекращение распрей в Европе. А прекращение распрей между королями — это мир. Франция и Пруссия были бы нейтрализованы, революция сделала бы войну между монархиями невозможной, дух Садовы и Аустерлица был бы обуздан, перспектива бойни сменилась бы перспективой труда и процветания, Шаспо уступил бы место Жаккару; на континенте внезапно установилось бы равновесие благодаря замене лжи истиной; старая держава, Испания, возродилась бы усилиями вечно юного народа. С точки зрения развития флота и торговли установление республики возвратило бы жизнь обоим побережьям — и тому, которое играло господствующую роль на Средиземном море до возвышения Венеции, и тому, которое главенствовало на Атлантике до возвышения Англии; оно означало бы процветание промышленности там, где ныне царят застой и нищета; оно означало бы уравнивание Кадиса с Саутгемптоном, Барселоны с Ливерпулем, Мадрида с Парижем. В определенный момент Португалия, уступая огромной притягательной силе прогресса и процветания, вернулась бы в состав Испании: свобода подобна магниту. Установление республики в Испании означало бы ясное и недвусмысленное подтверждение верховной власти человека над самим собой, власти неоспоримой, власти, которая не нуждается в том, чтобы ее избирали голосованием. Производство было бы освобождено от обременительных налогов, потребление от таможенных сборов,

передвижение от препятствий, мастерские от пролетариата, богатство от паразитизма, сознание от предрассудков, слово от кляпа, закон от лжи, сила от армий, братство от Каина; республика означала бы работу для всех, образование для всех, справедливость для всех, а эшафот — ни для кого; идеальное стало бы ощутимым; подобно тому как существует ласточка-вожак, появилась бы нация-образец. Исчезли бы все опасности. Испания граждан — это сильная Испания; Испания-демократия — это Испания-крепость. Установление республики в Испании означало бы, что господствовать будет честность, править — истина, царить — свобода. Это была бы властная, непреоборимая действительность; свобода полна спокойствия, ибо она непобедима, и непобедима, ибо заразительна. Кто посягает на нее, тот ее обретает. Армия, направленная против нее, оборачивается против деспота. Вот почему ее оставляют в покое. Установление республики в Испании означало бы распространение истины, надежду для всех, угрозу только для сил зла; оно означало бы, что в Европе, за баррикадой, именуемой Пиренеями, поднялся во весь рост исполин, именуемый правом.

Если Испания, возродившись, станет монархией, она будет ничтожной.

Став республикой, она будет великой.

Пусть же она делает выбор.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 22 октября 1868

II

Из многих мест Испании — из Ла-Коруњи, через орган демократического комитета, из Овьедо, из Севильи, из Барселоны, из Сарагосы — города-патриота, из Кадиса — города-революционера, из Мадрида, через благородного Эмилио Кастелара, — ко мне вновь обращаются с призывом. Меня спрашивают, и я отвечаю.

О чем идет речь? О рабстве.

Неужели Испания, одним ударом сбросившая все позорные путы прошлого — фанатизм, абсолютизм, эшафот,

божественное право, — неужели она сохранит самое отвратительное из всего этого прошлого — рабство? Я говорю: нет!

Уничтожение, незамедлительное уничтожение рабства — вот в чем состоит долг.

Неужели есть еще место колебаниям? Неужели это возможно? Как! То, что Англия сделала в 1838 году, то, что Франция сделала в 1848 году, Испания не сделает в 1868-м? Как! Быть свободной нацией и иметь у ног связанных невольников? Какой абсурд! Быть у себя дома светочем, а за порогом дома — олицетворением мрака! Быть у себя дома воплощением справедливости, а вне его стен — символом бесправия? Здесь ты — гражданин, там — работорговец! Совершить революцию, одна сторона которой — слава, а другая — бесчестие! Как можно, прогнав короля, сохранить рабство? Возможно ли, чтобы подле вас находился человек, который был бы вашим, был бы вашей вещью? Как можно надеть на голову колпак — эмблему свободы, а на руку — цепь для своего раба? Что такое кнут плантатора? Это — королевский скипетр, жалкий и облезший. Когда сломан один, другой должен пасть.

Монархия с рабами — логична, республика с рабами — цинична. То, что возвышает монархию, бесчестит республику. Республика — это девственность.

Вы же отныне, не дожидаясь какого-либо голосования, стали республикой. Почему? Потому что вы — великая Испания. Вы стали республикой, и демократическая Европа завершила этот акт. О испанцы! Вы сможете оставаться гордыми лишь при том условии, что вы останетесь свободными. Вы не можете прийти в упадок. Всему в природе положено расти, а не умаляться.

Вы останетесь свободными, а свобода неделима. Она с ревностной суровостью хранит свое величие и свою чистоту. Никаких компромиссов, никаких уступок, никаких послаблений. Она исключает монархию наверху и рабство внизу.

Иметь рабов — значит заслужить собственное рабство. Раб под вами оправдывает тирана над вами.

В истории работорговли есть отвратительная дата — 1768 год. В этот год преступление достигло максимума: Европа украла у Африки сто четыре тысячи негров и про-

дала их в Америку. Сто четыре тысячи! Никогда еще не было такой огромной продажи человеческого мяса. С тех пор прошло ровно сто лет. Так отметьте же этот столетний юбилей отменой рабства! Пусть год бесчестия перекликается с годом величия: покажите, что между Испанией 1768 года и Испанией 1868 года лежит не только целый век, а целая пропасть, непреодолимая глубина, отделяющая ложь от правды, добро от зла, несправедливость от справедливости, позор от славы, монархию от республики, рабство от свободы. Позади прогресса вечно зияет пропасть; кто пятится, падает в нее.

Народ численно возрастает за счет освобожденных им людей. Будьте великой объединенной Испанией! Пусть у вас будет на Гибралтар больше и на Кубу меньше.

Еще одно напоследок. В глубинах зла деспотизм и рабство сходятся и дают в результате одно и то же. Поразительная аналогия! Иго рабства несет, пожалуй, больше хозяин, чем раб. Кто из них двух — владелец другого? Это еще вопрос. Ошибочно думать, что вы хозяин купленного или проданного вами человека: вы — его пленник. Он вас держит. Вы должны разделять с ним его грубость, его неотесанность, его невежество, его дикость, ибо в противном случае вы ужаснулись бы себя самого. Вам кажется, что этот черный человек принадлежит вам, но в действительности вы принадлежите ему. Вы отняли у него тело, он же похитил ваш ум и вашу честь. Между вами и ним устанавливается таинственный паритет. Раб карает вас за господство над ним. Таково печальное и справедливое возмездие, тем более страшное, что раб, ваш мрачный повелитель, делает это бессознательно. Его пороки — это ваши преступления, его несчастья станут катастрофой для вас. Раб в доме — это свирепое существо подле вас и внутри вас; оно пронизывает вас ужасом и наполняет мраком. Вот плоды зловещей отравы! Нельзя безнаказанно допускать это великое преступление — рабство! Забвение уз братства приводит к роковым последствиям. Если вы блестящий и знаменитый народ — рабство, возведенное в институт, сделает вас отвратительными. Венец на лбу тирана и колодка на шее раба — это та же петля, и душа вашего народа стиснута в ней. Все ваше великолепие запятнано невольничеством. Раб навязывает вам свою тем-

ноту: не вы приобщаете его к цивилизации, а он заражает вас варварством. Через рабов Европы прививает себе Африку.

О благородный испанский народ, пусть наступит для тебя второе освобождение! Ты избавился от деспота, избавься теперь от раба!

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 22 ноября 1868

РЕДАКТОРАМ-ОСНОВАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «РАППЕЛЬ»¹

Дорогие друзья!

Будучи наделен полномочиями, действие коих приостановлено, но срок которых не истек, я могу выступать как на трибуне, так и в политической печати лишь затем, чтобы вновь принять на себя эти полномочия в том виде, в каком они были насильственно прерваны, лишь затем, чтобы выполнить свой суровый долг, а для этого мне необходима свобода, подобная той, что существует в Америке. Вам известно мое заявление по данному поводу, и вы знаете, что до того, как наступит этот час, я не могу сотрудничать ни в какой газете, не могу принять никакой выборной должности. Следовательно, я должен оставаться в стороне от «Раппель».

Впрочем, уже по другим причинам, вытекающим из сложных условий навязанной мне двойной — политической и литературной — борьбы, я никогда не писал и для газеты «Эвенман». В 1851 году тираж «Эвенман» достигал шестидесяти четырех тысяч экземпляров.

Вы будете вновь выпускать эту неумирающую газету, под названием «Раппель».

Призыв. Я люблю все значения этого слова. Призыв к принципам с помощью совести; призыв к истине с помощью философии; призыв к долгу с помощью права; призыв к мертвым с помощью уважения к их памяти; призыв

¹ Призыв (франц.).

к возмездию с помощью справедливости; призыв к прошлому с помощью истории; призыв к будущему с помощью логики; призыв к признанию фактов с помощью мужества; призыв к идеалу в искусстве с помощью мысли; призыв к прогрессу в науке с помощью опыта и расчета; призыв к богу в религиях с помощью уничтожения идолопоклонства; призыв закона к порядку с помощью отмены смертной казни; призыв народа к верховной власти с помощью распространения всеобщего избирательного права; призыв к равенству с помощью бесплатного и обязательного обучения; призыв к свободе с помощью пробуждения Франции; призыв к свету с помощью возгласа: «Fiat jus!»¹

Вы говорите: «Такова наша задача»; я говорю: «Таково ваше дело».

Вы уже боролись за это дело то как журналисты, то как поэты; боролись за него в памфлетах — замечательный прием борьбы, — в книгах, пьесах — всюду, всегда; вы боролись за него в согласии и в содружестве со всеми великими умами нашего великого века. Сегодня, принимаясь за издание полной боевого духа газеты «Раппель», вы вновь беретесь за это дело. «Раппель» будет яркой и острой газетой: иногда — луч света, иногда — меч. Вы будете сражаться смеясь. А я, старый и печальный, рукоплещу вам.

Итак, смелее вперед! Какая могучая сила — смех! Вы займете место в сверкающем легионе парижских юмористических газет как помощники всех людей доброй воли.

Ваша прямота мне знакома, как моя собственная; я являюсь ее зеркалом; вот почему мне заранее известен ваш маршрут. Я не указывал его, я его отмечаю. Я не претендую на роль проводника; я довольствуюсь ролью свидетеля. Впрочем, не о чем распространяться, и если я произнес слово «долг», я сказал этим почти все, что хотел сказать.

Прежде всего вы будете в братских отношениях. Вы будете подавать пример единодушия. Никаких разногласий в наших рядах не должно быть по вашей вине. Вы всегда будете принимать на себя первый удар. Когда спра-

¹ Да восторжествует право (лат.).

шивают о том, что у меня на душе, я отвечаю двумя словами: *примирение* и *умиротворение*. Первое из этих слов предназначено для мыслей, второе — для людей.

Борьба за прогресс требует сосредоточения сил. Точно целиться и метко поражать. Ни один снаряд не должен бить мимо цели. В битве за принципы ни одна пуля не должна пропасть. Враг имеет право на все наши удары; лишить его хотя бы одного из них — значит быть к нему несправедливым. Он заслуживает, чтобы его обстреливали непрерывно и чтобы обстреливали только его. Для нас, которые жаждут лишь одного — справедливости, разума, правды, враг зовется Тьмой.

У боевого отряда демократии есть две задачи: это отряд политический и литературный. В политике он поднимает знамя 1789 и 1792 годов, в литературе — знамя 1830 года. Эти даты, источающие двойное сияние, озаряющие, с одной стороны, право, с другой — мысль, могут быть выражены одним словом: революция.

Мы, порождение революционных новшеств, дети катастроф, представляющих собою победы, мы предпочитаем упорядоченности трагедии запутанность драмы, чередующимся диалогам высочайших особ — вопль народа, Версалью — Париж. Искусство одновременно с обществом достигло цели, которая заключается в следующем: *omnia et omnis*¹. Другие столетия были венценосцами; воплощением каждого из них для истории является какая-то фигура, в которой собрано воедино все исключительное. Пятнадцатый век — это папа; шестнадцатый — император; семнадцатый — король; девятнадцатый — человек.

Человек, нестигаемый и свободный, вышедший из той величественной бездны, которая зовется восемнадцатым веком.

Будем почитать его, этот восемнадцатый век, век завершающий, который начинается со смерти Людовика XIV и кончается смертью монархии.

Вы примете его наследие. Это был веселый и грозный век.

Быть улыбающимися и неприятными — таково ваше намерение. Я его одобряю. Улыбаться — означает бо-

¹ Всё и всем (лат.).

роться. Улыбка, взирающая на всемогущество, обладает удивительной способностью парализовать. Лукиан приводил в замешательство Юпитера. Однако Юпитер, будучи богом неглупым, даже рассердившись, не прибегнул бы к помощи г-на ... (Тут я открываю скобки. Не стесняйтесь и заменяйте мой текст многоточиями всюду, где вам вздумается. Закрываю скобки.) Насмешки энциклопедистов победили молинизм и папизм. Великие и чарующие примеры. Эти доблестные философы открыли силу смеха. Сделать из гидры посмешище — кажется странным. Но это превосходно. Прежде всего многие гидры — это пузыри. На них булавка действует более эффективно, чем дубина. Что касается истинных гидр — и цезаризм одна из них, — их подавляет ирония, особенно когда ирония является призывом к свету. Вспомните о петухе, поющем на спине тигра. Петух — это ирония. Это также Франция.

Восемнадцатый век сделал очевидной власть иронии. Сопоставьте материальную силу с силой духовной; подсчитайте побежденные бедствия, подсчитайте спасенные жертвы; поставьте, с одной стороны, лернейскую гидру, немейского льва, эриманфского вепря, критского быка, дракона Гесперид, удушенного Антея, Цербера, посаженного на цепь, очищенные конюшни Авгия, Атласа, избавленного от ноши, спасенную Гесиону, освобожденную Алкесту, Прометея, получившего помощь; а с другой стороны — разоблаченное суеверие, лицемерие, с которого сорвали маску, умерщвленную инквизицию, судейское сословие, на которое надели намордник, пытки, которые заклеены позором, реабилитированного Каласа, отпущенного Лабарра, оправданного Сирвена, смягченные нравы, оздоровленные законы, выпущенный из заточения разум, человеческую совесть, освобожденную от хищной птицы, какой является фанатизм; вызовите священные теи великих человеческих побед и сравните с двенадцатью подвигами Геракла двенадцать подвигов Вольтера. Тут колосс силы, там колосс духа. Кто из них победит? Змеи, окружающие колыбель, — это предрасудки. Аруэ так же задушил своих змей, как Алкид — своих.

Вам предстоит бурная полемика. Есть одно право, чувствующее себя с вами спокойно и уверенно, знающее, что

его будут уважать, — это право на реплику. Я пользовался им на свой страх и риск и даже злоупотреблял им. Судите сами. Однажды — вы, вероятно, это помните, — в 1851 году, во времена республики, я находился на трибуне Собрания; выступая, я произнес: *«Президент Луи Бонапарт — заговорщик»*. Один почтенный республиканец той поры, умерший сенатором, г-н Вьейяр, крикнул мне, справедливо возмущенный: *«Вы бесчестный клеветник»*. На это я ответил безрассудными словами: *«Я разоблачаю заговор, который имеет целью восстановление империи»*. Тут г-н Дюпен пригрозил мне призывом к порядку, страшной и заслуженной карой. Я весь дрожал. Но, к счастью для меня, я слышу глупцом. Это меня спасло. *«Господин Виктор Гюго не понимает, что говорит!»* — воскликнул один из членов большинства, полный сострадания. Эти снисходительные слова свершили чудо, все утихло, г-н Дюпен оставил свою разящую молнию в кармане. (Именно туда он охотно засовывал свое знамя. Объемистый карман! При случае г-н Дюпен сам бы спрятался в нем, если б мог.) Но признайтесь, что я злоупотребил правом на реплику. Так будем же считаться с ним.

К тому же это было странное время. Мы жили при республике, а *«Да здравствует республика!»* было мятежным возгласом. А вы, все вы были в тюрьме, за исключением Рошфора, который был тогда в коллеже, а сейчас в Бельгии.

Вы будете поощрять молодую, лучезарную группу поэтов, восходящую сейчас с таким блеском и поддерживающую своими трудами и своими успехами все великие утверждения нашего века. Никакая щедрость не будет здесь чрезмерной. Вы передадите пароль надежды этой восхитительной молодежи настоящего, на челе которой честная искренность будущего. Вы объедините во всеобщей несокрушимой вере эти прилежные и гордые умы, полные трепетной радости расцвета, которые заполняют по утрам школы, а по вечерам театры — другие школы, которые утром ищут истины в науке, а вечером устраивают оциации великому в поэзии и прекрасному в искусстве. Я знаю этих благородных молодых людей нашего времени и люблю их. Я посвящен в их тайну и благодарю их за тот нежный шопот, который так часто доходит до моего слуха,

напоминая отдаленное жужжанье пчелиного роя. У них таинственная, твердая воля, и они сделают много хорошего, я ручаюсь. Эта молодежь — Франция в цвету. Революция, ставшая вновь зарей. Вы будете общаться с этой молодежью. Всеми магическими словами — долг, честь, разум, прогресс, родина, человечество, свобода — вы пробудите бесчисленное множество отголосков, живущих в них. То будет глубокий отзвук, способный на все великие ответы.

Друзья мои, и вы, мои сыновья, в путь! Начинайте вашу смелую битву. Ведите ее без меня и со мной. Без меня, потому что мое старое воинствующее перо не присоединится к вашим; со мной, потому что моя душа будет с вами. В путь, творите, живите, боритесь! Плывите неустрасливо к вашему неколебимому полюсу — свободе, но обходите подводные камни. Они встречаются. Отныне, в моем одиночестве, мне будет видеться вдали, освещая мои старческие сны, торжествующий призыв. Трубный звук призыва — это тоже может присниться.

Я не буду больше говорить со страниц газеты, которую люблю, и с завтрашнего дня останусь только вашим читателем. Читателем печальным и растроганным. Вы будете вести свою борьбу, я — свою. Да я уже и годен лишь на то, чтобы жить наедине с океаном; я — спокойный и встревоженный старик; спокойный потому, что нахожусь в глубине пропасти, и встревоженный потому, что моя страна может упасть в нее. У меня перед глазами драматическое зрелище: морская пена, нападающая на утес. Величие природы отвлекает меня от императорских и королевских величеств. Одним отшельником больше или меньше — не все ли равно! Народы идут навстречу своим судьбам. Нет разрешения от бремени, которому не предшествовало бы вынашивание плода. Годы ведут свою неотропливую работу, содействуя созреванию, и все этим подготавливается. Что касается меня, то, покуда церковь возлагает венец на папу по случаю их золотой свадьбы, я крошу хлеб для птичек на крыше своего дома, равнодушный ко всем венцам на свете, даже к куполам, увенчивающим здание.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 25 апреля 1869

І. Письмо друзьям мира

Брюссель, 4 сентября 1869

Сотраждане мои по Соединенным Штатам Европы!

Позвольте мне назвать вас этим именем, так как европейская федеративная Республика уже основана юридически, если еще не установлена фактически. Вы существуете — значит, она существует. Вы подтверждаете ее существование своей сплоченностью, в которой намечается грядущее единство. Вы — зачинатели великого будущего.

Вы избрали меня почетным председателем вашего конгресса. Я глубоко тронут этим.

Ваш конгресс — нечто большее, чем совещание мыслящих людей; это своего рода редакционный комитет, создающий законы для будущих времен. Собрание выдающихся умов правомочно только при условии, что оно представляет народ; вы вполне отвечаете этому требованию. Уже сейчас вы заявляете тем, кому это ведать надлежит, что война есть зло, что убийство омерзительно, даже если убийца прославлен, носит королевский титул и кичится своим преступлением, что кровь человеческая — великая драгоценность, что жизнь человеческая священна! Торжественное предупреждение!

Увы, еще одна война, последняя, необходима, и я отнюдь не принадлежу к числу тех, кто это отрицает. Какою будет эта война? Завоевательной. Что же нужно завоевать? Свободу.

Первая потребность человека, первое его право, первый его долг — свобода.

Цивилизация неуклонно движется к единству языка, единству мер, единству денежной системы и к высшему единству — слиянию наций в единое человечество. Сказать: доброе согласие — то же, что сказать: облегчение существования; сказать: изобилие и жизнь — то же, что сказать: свобода сношений. Границы — худший вид пора-

бощения. Кто говорит: граница, тот говорит: повязка, сдавливающая кровеносные сосуды. Разрежьте эту повязку, сотрите границы, уберите таможенника, уберите солдата, иначе говоря, установите свободу — вслед за этим установится мир.

Мир, отныне незыблемый. Мир, установленный раз навсегда. Мир нерушимый. нормальные условия труда, обмена, спроса и предложения, производства и потребления; нормальные условия всеобщей созидательной работы, взаимодействия всех отраслей промышленности, движения идей, прилива и отлива населения.

Кто заинтересован в существовании границ? Короли. «Разделяй, чтобы властвовать!» Граница подразумевает заставу, а застава — солдата. «Прохода нет» — вот общая формула всех привилегий, всех запретов, всех видов цензуры, всех видов тирании. Граница, застава, солдат — вот откуда идут все бедствия человечества.

Король — исключение среди людей: чтобы защитить себя, он нуждается в солдате, а солдату в свою очередь, чтобы жить, нужно убивать. Королям нужны армии, армиям нужна война — иначе теряется смысл их существования. Как это странно: человек соглашается убить другого человека, сам не зная за что. Искусство деспотов состоит в том, чтобы раскалывать нацию на армию и народ. Одна половина угнетает другую.

Войны ведутся под всевозможными предлогами, но истинная причина у них всегда одна — армия. Не будет армий — не будет войн. Но как упразднить армию? Путь к этому один: свержение деспотизма.

Как все тесно связано! Уничтожьте тунеядство во всех его видах — цивильные листы, оплачиваемое безделье, содержание духовенства за счет государства, вознаграждение судей правительством, синекуры аристократии, безвозмездное использование общественных зданий, постоянные армии; вычеркните все это — и вы подарите Европе десять миллиардов в год. Одним росчерком пера вы намного упростите проблему нищеты.

Этого упрощения троны не желают. Отсюда — лес штыков.

Короли согласны между собой только в одном — чтобы войны длились вечно. Люди воображают, будто короли враждуют между собой; отнюдь нет, они поддерживают

друг друга. Повторяю, им нужно, чтобы существование солдата было оправдано. Навсегда сохранить армию — значит навсегда сохранить деспотизм; логика безупречная, согласен, и свирепая. Своего больного — народы — короли истощают кровопусканиями. Существует злодейское братство мечей; оно и приводит к порабощению человека.

Так устремимся же к той цели, которую я однажды определил как *растворение солдата в гражданине*. В тот день, когда это совершится, в тот день, когда воин, этот брат-недруг, уже не будет стоять вне народа, народ снова будет единым, целостным, исполненным любви, и цивилизация, которая тогда станет гармонией, будет щедро оделять людей материальными благами и просвещением, ибо направлять ее будут великая созидательная сила — труд и великая душа — всеобщий мир

Виктор Гюго.

II. Речь при открытии конгресса

14 сентября 1869 года

Мне недостает слов, чтобы выразить, до какой степени я растроган оказанным мне здесь приемом. С глубоким волнением я приветствую конгресс, приветствую это собрание людей *отзывчивых и великодушных*.

Граждане, вы правильно сделали, избрав местом своей встречи эту благородную альпийскую страну. Во-первых, она свободна, во-вторых, она величественна. Да, именно здесь, перед лицом этой изумительно-прекрасной природы, подобает объявить великие решения, подсказанные гуманностью, в частности решение положить конец войнам.

На этом конгрессе один вопрос главенствует над всеми другими.

Позвольте же, раз вы оказали мне высокую честь, избрав меня председателем, позвольте мне изложить этот вопрос. Я сделаю это в немногих словах. Мы все, здесь присутствующие, к чему мы стремимся? К миру. Мы хотим мира, страстно хотим его. Хотим его непреклонно, безоговорочно, хотим мира между всеми людьми, между всеми народами, между всеми расами, между враждующими

братьями, между Каином и Авелем. Хотим великого умиротворения всех злых страстей.

Но какого именно мира мы хотим? Мира любой ценой? Мира без всяких условий? Нет! Мы не хотим мира, при котором, согбенные, не смели бы поднять чело; не хотим мира под ярмом деспотизма, не хотим мира под палкой, не хотим мира под скипетром!

Первое условие мира — это освобождение. Для освобождения, несомненно, потребуется революция, изумительнейшая из всех революций, и, быть может, — увь! — война, последняя из всех войн. Тогда все будет достигнуто. Мир, будучи нерушимым, станет вечным. Исчезнут армии, исчезнут короли. Прошлое сгинет бесследно. Вот чего мы хотим.

Мы хотим, чтобы народ свободно жил, возделывал землю, свободно покупал, продавал, трудился, говорил, любил и думал свободно; хотим, чтобы были школы, готовящие граждан, и чтобы не было больше королей, приказывающих изготавливать пушки. Мы хотим великой Республики всего континента, хотим Соединенных Штатов Европы. И я закончу словами:

Наша цель — свобода! Свобода обеспечит мир!

III. Речь при закрытии конгресса

17 сентября 1869 года

Граждане!

На мне лежит обязанность сказать при закрытии конгресса последнее слово. Я постараюсь, чтобы оно было задушевным. Помогите мне в этом.

Вы — участники конгресса мира, иначе говоря — конгресса забвения распрей. В связи с этим разрешите мне поделиться с вами одним воспоминанием.

Двадцать лет назад, в 1849 году, в Париже происходило то, что сейчас происходит в Лозанне: заседал конгресс мира. Было 24 августа — кровавая дата, годовщина Варфоломеевской ночи. В работах конгресса принимали участие два священника, представлявших два христианских исповедания: пастор Кокерель и аббат Дегерри. Председатель конгресса — тот, кто сейчас имеет честь говорить с вами, — напомнил присутствующим о ро-

ковых событиях 24 августа 1572 года и, обратясь к обоим священникам, сказал им: «Обнимитесь!»

Перед лицом этой страшной даты католицизм и протестантизм, под восторженные клики присутствующих, обнялись. (*Аплодисменты.*)

Сейчас всего несколько дней отделяют нас от другой даты, столь же славной, как та, первая, позорна: мы приближаемся к 21 сентября. В этот день была основана французская республика, и так же, как 24 августа 1572 года деспотизм и фанатизм сказали свое последнее слово: «Истребление!», так 21 сентября 1792 года демократия впервые бросила клич: «Свобода, Равенство, Братство!» (*Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Так вот, перед лицом этой великой даты я вспомнил эти два исповедания, вспомнил, как их представители, два священника, обнялись, — и ныне я призываю к другому братскому поцелую. Те, к кому я обращаюсь, охотно последуют этому призыву, потому что им нечего прощать друг другу. Я хочу, чтобы братски обнялись республика и социализм. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Наши враги говорят: «Социализм, в случае надобности, примирится с Империей». Это неправда. Наши враги говорят: «Республика не признает социализма». Это неправда.

В той возвышенной законченной формуле, которую я только что привел, полностью выражена республика и вместе с тем полностью выражен социализм. Рядом со свободой, включающей собственность, там значится равенство, включающее право на труд — изумительный девиз 1848 года (*аплодисменты*), — и братство, включающее солидарность!

Следовательно, республика и социализм — одно и то же. (*Шумные возгласы: «Браво!»*)

Я, обращающийся к вам, граждане, не принадлежу к числу тех, кого в свое время называли «совсем недавними республиканцами». Я — давний социалист. Мои социалистические убеждения восходят к 1828 году. Поэтому я вправе говорить о социализме.

Социализму свойственна не узость, а широта. Он исследует проблему человечества в целом. Он охватывает понятие общества во всем его объеме. Ставя столь важный вопрос о труде и заработной плате, социализм

в то же время провозглашает неприкосновенность человеческой жизни, запрет убийства во всех его видах, и разрешает великую проблему — упразднение карательной системы посредством распространения просвещения. (*Возгласы: «Превосходно!»*) Социализм провозглашает бесплатное обязательное обучение, права женщины, ее равенство с мужчиной (*возгласы: «Браво!»*), права ребенка и ответственность мужчины за них. (*Возгласы: «Превосходно!» Аплодисменты.*) И, наконец, социализм провозглашает главенство человеческой личности — принцип, тождественный со свободой. Что же это, все вместе взятое? Социализм. Да — но и республика. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Граждане! Социализм ставит во главу угла жизнь, республика ставит во главу угла право. Социализм возвышает индивида, делая его человеком, республика возвышает человека, делая его гражданином. Возможно ли согласие более полное?

Да, мы все согласны между собой. Мы не хотим Цезаря, и я встаю на защиту оклеветанного социализма!

В тот день, когда встал бы вопрос о выборе между рабством, соединенным с благосостоянием, раpet et circenses¹, с одной стороны, и свободой, сопряженной с бедностью, с другой, — ни у кого, ни в рядах республиканцев, ни в рядах социалистов, не возникло бы колебаний! И все как один — я это заявляю, я это утверждаю, я за это ручаюсь, — все предпочли бы белому хлебу рабства черный хлеб свободы! (*Продолжительные аплодисменты.*)

Итак, не дадим розни зародиться и развиться; сплотимся, братья мои социалисты, братья мои республиканцы, сплотимся как можно теснее вокруг истины и справедливости и сомкнутым строем встанем против врага. (*Возгласы: «Да, да! Браво!»*)

Кто же враг?

Враг — и больше чем человек и меньше чем человек. (*Движение в зале.*) Это совокупность омерзительных преступлений, душащих и гложащих весь мир; это чудовище с тысячью когтей, хотя голова у него одна. Враг воплощает в себе извечное злодейство военщины

¹ Хлеба и зрелищ (лат.).

и монархий; он связывает нас по рукам и ногам и грабит дочиста, одной рукой зажимает нам рот, а другую запускает в наш карман; он владеет миллионами, бюджетами, судьями, священниками, лакеями, дворцами, цивильными листами, всеми армиями — но не владеет ни одним народом!

Враг — это то, что властвует и правит; ныне этот враг при последнем издыхании. (*Сильное волнение в зале.*)

Так будем же, граждане, врагами врага и друзьями между собой! Будем единой душой, чтобы бороться с врагом, и единым сердцем, чтобы любить друг друга! Граждане! Да здравствует братство! (*Бурное всеобщее одобрение.*)

Еще одно слово — и я кончаю.

Устремим взор в будущее. Подумаем о том грядущем, неизбежном, быть может уже близком дне, когда во всей Европе установится тот же строй, что у благородного швейцарского народа, который так радушно принимает нас сейчас. У этого маленького народа есть свое величие. У него есть родина, именуемая Республикой, и гора, именуемая Девой.

Пусть же, как у этого народа, Республика будет нашей твердыней, а наша свобода, непорочная и ничем не оскверненная, будет, подобно Юнгфрау, девственной горной вершиной, залитой светом! (*Продолжительная овация.*)

Я приветствую грядущую Революцию!

ОТВЕТ ФЕЛИКСУ ПИА

Брюссель, 12 сентября 1869

Мой дорогой Феликс Пиа!

Я прочел ваше прекрасное и сердечное письмо.

Я не имею права, вы это поймете, говорить от имени наших товарищей по изгнанию. Я ограничиваю свой ответ тем, что касается лично меня.

В ближайшем будущем, я думаю, отпадет барьер чести, который я сам себе установил этой строкой:

И коль останется один, им буду я.

Тогда я вернусь на родину.

И, выполнив долг изгнания, я стану выполнять иной долг.

Я принадлежу своей совести и народу.

Виктор Гюго.

ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1869 ГОДА

Луи Журдану, редактору газеты «Сьекль»

Брюссель, 12 октября 1869

Мой дорогой старый друг!

Мне доставили «Сьекль». Я прочел вашу, лестную для меня, статью; она растрогала и поразила меня.

Поскольку вы ждете моего слова, я его скажу.

Я благодарю вас за предоставленную мне возможность положить конец недоговоренности.

Во-первых, я лишь рядовой читатель «Раппель». Мне казалось, что я сказал об этом достаточно ясно и мне не придется повторять это вновь.

Во-вторых, я не советовал и не советую устраивать какую-либо народную манифестацию 26 октября.

Я полностью поддержал «Раппель», обратившийся к левым депутатам с просьбой организовать выступление, к которому мог бы присоединиться Париж. Сугубо мирная демонстрация, без оружия, подобная тем демонстрациям, какие организуют в таких случаях жители Лондона, подобная демонстрации ста двадцати тысяч фениев в Дублине три дня тому назад, — вот чего просил «Раппель».

Однако раз левые воздержались от этого, народ тоже должен воздержаться.

У народа нет точки опоры.

Итак — никакой манифестации.

Право на стороне народа, насилие на стороне властей.

Не дадим же властям никакого повода для применения насилия против права.

26 октября никто не должен выходить на улицу.

Что, повидимому, действительно вытекает из создавшегося положения — это отказ от присяги.

Торжественная декларация левых депутатов, освобождающая их перед лицом нации от присяги, — вот правильный выход из кризиса. Выход нравственный и революционный. Я намеренно связываю эти два слова.

Пусть народ воздержится от выступления — и оружие будет бездействовать; пусть депутаты заговорят — и присяга будет упразднена.

Таковы два моих совета. Поскольку вы интересовались моим мнением — вот оно.

Еще одно, последнее, слово. В тот день, когда я призыву к восстанию, я буду с вами.

Но на этот раз я к нему не призываю.

Благодарю вас за ваше красноречивое послание. Поспешно отвечаю вам и жму вашу руку.

Виктор Гюго.

ШАРЛЮ ГЮГО

Отвиль-Хауз, 18 декабря 1869

Итак, мой сын, тебе вторично нанесли удар. В первый раз, девятнадцать лет назад, ты сражался против эшафота; тебя осудили. Во второй раз, теперь, ты сражался против войны, призывая солдат к братству, тебя снова осудили. Я завидую твоей двойной славе.

В 1851 году тебя защищали благородный и красноречивый Кремье и я. В 1869-м тебя защищали Гамбетта, этот великий продолжатель дела Бодена, и Жюль Фавр, великолепный мастер слова, в чьем бесстрашии я убедился 2 декабря.

Все хорошо. Будь доволен.

Ты совершаешь то же преступление, что и я, предпочитая обществу, которое убивает, общество, которое наставляет и просвещает, а народам, истребляющим друг друга, народы, помогающие друг другу. Ты сражаешься против мрачного пассивного повиновения — повиновения палача и повиновения солдата. Ты не хочешь, чтобы общественный порядок поддерживался двумя кариатидами: на одном конце — человек-гильотина, на другом — человек-ружье. Тебе больше по душе Вильям Пенн, чем Жозеф де Местр, и Иисус, чем Цезарь. Ты хочешь видеть топор

только в руках дровосека в лесу, а меч — только в руках гражданина, восставшего против тирании. Законодателю ты ставишь в пример Беккария, а солдату — Гарибальди. Как было не дать за все это четыре месяца тюрьмы и тысячу франков штрафа!

Следует добавить, что ты вызываешь подозрение еще и тем, что не одобряешь нарушения законов с помощью вооруженной силы и, возможно, способен побуждать людей ненавидеть тех, кто производит ночные аресты, презирать тех, кто приносит ложную присягу.

Повторяю, все хорошо.

Я был военным с самого детства. Когда я родился, отец внес меня в именной список Королевского корсиканского полка (да, корсиканского, это не моя вина). И раз уж я вступил на путь признаний, то должен сказать, что именно в этом — причина моей давней симпатии к армии. Где-то я писал:

Люблю людей меча — ведь я и сам солдат.

Но при одном условии: чтобы этот меч был незапятнан.

Меч, который мне по душе, это меч Вашингтона, меч Джона Брауна, меч Барбеса.

Надо прямо сказать нынешней армии, что она ошибается, если считает себя похожей на прежнюю. Я говорю о той великой армии, сложившейся шестьдесят лет назад, которая сначала называлась армией республики, потом — армией империи, и которая, в сущности говоря, прошла через всю Европу как армия революции. Мне известно все, в чем можно упрекнуть эту армию, но у нее были и огромные заслуги. Эта армия повсюду разрушала предрассудки и бастилии. В ее походном ранце лежала Энциклопедия. Она сеяла философию с чисто солдатской бесцеремонностью. Горожан она именovala «шпаками», зато священников называла попами. Она без стеснения расправлялась с суевериями, и Шампионне фамильярно похлопывал по плечу святого Януария.

Когда готовилось установление империи, кто особенно ревностно голосовал против нее? Армия. В рядах этой армии были Уде и филадельфийцы. Там были также Малле, Гидаль и мой крестный отец Виктор де Лагори, —

все трое расстреляны на равнине Гренель. К этой же армии принадлежал Поль-Луи Курье. То были старые товарищи Гоша, Марсо, Клебера и Дезе.

Эта армия, шествуя через столицы, опустошала на своем пути все тюрьмы, еще полные жертв: в Германии — застенки ландграфов, в Риме — подвалы замка святого Ангела, в Испании — подземелья инквизиции. С 1792 по 1800 год она своей саблей выпустила кишки старой развалины — европейскому деспотизму.

В дальнейшем она — увы! — сажала на трон королей или позволяла их сажать, но она же и свергала их. Она арестовала папу. До Ментаны было еще далеко. Кто боролся с ней в Испании и в Италии? Священники. *El pastor, el frayle, el cura*¹ — так именовались начальники этой банды. Отнимите Наполеона — и все же сколь великой остается эта армия! В основе своей она была философом и гражданином. В ней не угас еще древний республиканский пыл. Это был дух Франции — ее вооруженный дух.

Я был тогда ребенком, но у меня сохранились кое-какие воспоминания. Вот одно из них.

Я жил в Мадриде во времена Жозефа. То была эпоха, когда священники показывали испанским крестьянам на комете 1811 года святую деву, держащую за руку Фердинанда VII, и крестьяне отчетливо видели это зрелище. Мы учились — я и два моих брата — в дворянской семинарии при коллеже Сан-Исидро. У нас было два учителя-иезуита, один ласковый, другой суровый, дон Мануэль и дон Базилио. Однажды наши иезуиты — разумеется, повинувшись приказу, — вывели нас на балкон, чтобы показать нам четыре французских полка, вступавших в Мадрид. Эти полки участвовали в итальянской и германской кампаниях, а теперь возвращались из Португалии. Народ, стоявший вдоль тротуаров и наблюдавший за прохождением солдат, с тревогой смотрел на этих людей, которые несли сюда, в католический мрак, французский дух, которые заставили церковь испытать на себе, что такое подлинная революция, которые открыли монастыри, вышибли решетки, сорвали покрывала, проветрили ризницы и умертвили инквизицию. Когда они проходили

¹ Пастор, монах, священник (исп.).

перед нашим балконом, дон Мануэль наклонился к уху дона Базилио и сказал ему: «Это идет Вольтер».

Пусть задумается нынешняя армия: те солдаты не подчинились бы, если бы им приказали стрелять в женщин и детей. Из Арколе и Фридланда приходят не для того, чтобы отправиться в Рикамари.

Я повторяю, мне хорошо известно все, в чем можно упрекнуть эту великую умершую армию, но я благодарен ей за революционную брешь, которую она пробила в старой теократической Европе. Когда пороховой дым рассеялся, за этой армией остался длинный светлый след.

Ее несчастье, сочетающееся с ее славой, состоит в том, что она была на одном уровне с Первой империей. Да страшится нынешняя армия, как бы ей не оказаться на одном уровне со Второй!

Девятнадцатый век подхватывает свое достояние всюду, где встречает его; а его достояние — это прогресс. Он учитывает каждое отступление и каждое движение вперед, совершенное армией. Он приемлет солдата лишь при условии, если находит в нем гражданина. Солдату суждено исчезнуть, гражданину — остаться в веках.

Именно за то, что ты считал это справедливым, ты и был осужден французским судом, у которого, скажем мимоходом, иногда бывают неудачи и которому подчас не удастся найти лиц, виновных в государственной измене. Повидимому, трон умеет хорошо прятать.

Будем настойчивы. Будем все более и более верны духу нашего великого века. Будем беспристрастны настолько, чтобы любить свет, откуда бы он ни исходил. Не будем отворачиваться от него, в какой бы точке горизонта он ни появился. Я, говорящий это, одинокий человек, разобщенный со всем миром, — одинокий в силу уединенности места, где я живу, разобщенный отвесными скалами, нагроможденными вокруг моего сознания, — я совершенно чужд полемике, отголоски которой нередко доходят до меня лишь с большим опозданием. Я ничего не пишу о том, что волнует Париж, и никого не подстрекаю к этим волнениям, но они нравятся мне. Моя душа издалика приобщается к ним. Я принадлежу к числу тех, кто приветствует революционный дух повсюду, где встречает его; я рукоплещу любому человеку, в ком присутствует этот дух, независимо от того, как его имя — Жюль

Фавр или Луи Блан, Гамбетта или Барбес, Бансель или Феликс Пиа, — и я ощущаю могучее дыхание революции как в убедительном красноречии Пеллетана, так и в блестящем сарказме Рошфора.

Вот все, что я хотел сказать тебе, мой сын.

Начинается девятнадцатая зима моего изгнания. Я не жалуясь. На Гернсее зима — длительный шторм. Для души негодующей и спокойной этот океан, всегда безмятежный и вечно бушующий, — хорошее соседство, и ничто так не закаляет человека, как зрелище этого величавого гнева.

Виктор Гюго.

О КУБЕ

Г. К женщинам Кубы

Женщины Кубы, я слышу ваши жалобы. В отчаянии вы обращаетесь ко мне. Беглянки, мученицы, вдовы, сироты, вы ищете поддержки у побежденного. Изгнанницы, вы взываете к изгнаннику; вы, утратившие домашний очаг, зовете на помощь того, кто утратил родину. Разумеется, нам очень тяжело; ни у вас, ни у меня нет ничего, кроме голоса; ваш голос стонет, мой предостерегает. Вы можете только рыдать, я могу только подать совет — вот все, что нам осталось. И вы и я слабы, но в нашей слабости таится сила, потому что вы — это право, а я — это совесть.

Совесть — стержень души; пока совесть чиста, душа непреклонна. У меня есть только одна сила — совесть, но этого достаточно. И вы хорошо сделали, что обратились ко мне.

Я буду говорить в защиту Кубы, как говорил в защиту Крита. Ни одна нация не имеет права наложить руку на другую нацию; Испания не властна над Кубой, так же как Англия не властна над Гибралтаром. Ни один народ не может владеть другим народом, так же как ни один человек не может владеть другим человеком. Насилие над целой нацией еще отвратительнее, чем насилие над отдельной личностью, — только и всего. Расширить масштабы рабства — значит сделать его еще более гнусным. Один народ подавляет другой, одна раса высасывает жизнь у другой, подобно чудовищному спруту, — это потрясающее злодеяние является одним из ужасных

фактов девятнадцатого века: мы видим сегодня, как Россия душист Польшу, Англия душист Ирландию, Австрия — Венгрию, Турция — Герцеговину и Крит, Испания — Кубу. Повсюду льется кровь народов и вампиры присосались к трупам.

К трупам? Нет, я отвергаю это слово. Я уже говорил: народы истекают кровью, но не умирают. Куба полна жизни, а Польша сильна духом.

Испания — благородная, достойная восхищения нация, и я люблю ее, но я не могу любить ее больше, чем Францию. И все же, если бы Франция еще владела Гаити, я бы сказал ей: «Откажись от Гаити!» — так же как говорю Испании: «Откажись от Кубы!»

И, требуя этого от моей родины, я тем самым доказал бы ей свое глубокое уважение. Уважение проявляется в справедливых советах. Говорить правду — значит любить.

Женщины Кубы, так красноречиво рассказывающие мне о ваших муках и страданиях, я преклоняю перед вами колени и целую ваши израненные ноги. Не сомневайтесь: ваша героическая родина будет вознаграждена за свою скорбь, столько крови не будет пролито напрасно, — настанет день, когда прекрасная Куба, свободная и независимая, займет место среди своих благородных сестер, республик Америки. Что до меня, поскольку вы спрашиваете моего мнения, отвечаю вам — я в этом убежден. Сейчас, когда по всей Европе совершаются преступления, когда в окутывающем ее мраке можно различить на вершинах какие-то неведомые призраки — злодеяния, увенчанные коронами, когда нагромождаются страшные, вызывающие ужас события, я поднимаю голову, я жду. Моей религией всегда была надежда. Силой интуиции угадывать будущее — этого достаточно побежденному. Большое счастье видеть уже сегодня то, что мир увидит только завтра. Настанет час — и, как бы мрачно ни было настоящее, справедливость, истина и свобода восторжествуют и засияет их ослепительный восход. Я благодарю бога за то, что он уже сейчас даровал мне эту уверенность. Единственная радость, которая остается изгнаннику во мраке ночи, — это в глубине души предвидеть рассвет.

Те, кого называют кубинскими мятежниками, просят меня написать для них декларацию. Вот она:

В конфликте между Испанией и Кубой мятежник — Испания.

Так же как в декабрьской борьбе 1851 года мятежником был Бонапарт.

Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право.

Но, могут мне сказать, ведь это же метрополия! Разве она не имеет прав?

Давайте объяснимся.

Метрополия имеет право быть матерью, но она не имеет права быть палачом.

Но разве в цивилизованном мире народы не разделяются на старших и младших? Разве взрослые не должны опекать несовершеннолетних?

Давайте объяснимся до конца.

В цивилизованном мире старшинство не есть право, оно — обязанность. Правда, эта обязанность дает в то же время некоторые права, в том числе право на колонизацию. Как дети имеют право на образование, так дикие народы имеют право на цивилизацию, и приобщить их к ней — долг цивилизованных наций. Заплатить свой долг — это обязанность, но это также и право. Отсюда в древности — право Индии на Египет, Египта — на Грецию, Греции — на Италию, Италии — на Галлию. Отсюда в наше время — право Англии на Азию, Франции — на Африку, при условии, однако, чтобы тиграм не поручали цивилизовать волков, при условии, чтобы у Англии не было Клайва, а у Франции — Пелисье.

Открыть остров — не значит получить право истязать его народ; такова история Кубы; не стоило начинать ее с Христофора Колумба, чтобы закончить Чаканом.

Допустим, что цивилизация сопряжена с колонизацией, что колонизация сопряжена с опекой; но колонизация не должна быть эксплуатацией, а опека не должна быть рабством.

Опека прекращается по закону после совершеннолетия опекаемого, безразлично, является ли опекаемый

ребенком или целым народом. Всякая опека, которая продолжается после совершеннолетия, превращается в узурпацию; узурпация, которую народ терпит по привычке или из малодушия, — это злоупотребление; узурпация, которую навязывают силой, — это преступление, преступление, которое я обличаю, где бы я его ни увидел.

Куба достигла совершеннолетия.

Куба принадлежит только Кубе.

Сейчас Куба подвергается ужасной, неопишуемой пытке. Кубу травят и избивают в ее лесах, в ее долинах, в ее горах. Она терпит все те муки, которые являются уделом беглого раба.

Загнанная, окровавленная, но гордая Куба борется против свирепого гнета. Победит ли она? Несомненно. Но сейчас она страдает и обливается кровью. Кажется, что пытки всегда должны сопровождаться насмешкой, ибо жестокая судьба словно смеется над Кубой: сколько бы там ни было разных губернаторов, они всегда оказываются палачами; даже имена их почти не меняются — после Чакона туда посылают Кончу, словно один и тот же клоун выворачивает одежду наизнанку.

Кровь льется от Порто-Принсипе до Сант-Яго, кровь льется в Медных горах, в горах Каркакуны, в горах Гуахавы, кровью окрашены воды всех рек, и Канто, и Ай-ла-Чика; Куба вызывает о помощи.

Об этих страданиях Кубы я заявляю Испании, потому что Испания великодушна. Винават не испанский народ, а правительство. Испанский народ благороден и добр. Если убрать из его истории священников и королей, станет очевидно, что испанский народ творил только добро. Он колонизовал, оплодотворяя, словно Нил, который, разливаясь, оплодотворяет землю.

В тот день, когда народ станет властелином, он вернет себе Гибралтар и отдаст Кубу.

Освобождать рабов — значит умножать свою силу. Освобождение Кубы усилит Испанию, ибо возрастет ее слава. Испанский народ сможет гордиться тем, что он будет свободен на родине и велик за ее пределами.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 1870

На другой день после преступления 1851 года, 3 декабря, на рассвете, в предместье Сент-Антуан была воздвигнута баррикада, памятная тем, что на ней пал депутат народа. Солдаты считали, что они разбили эту баррикаду, а государственный переворот полагал, что он ее уничтожил; но и он и солдаты ошибались. Разрушенная в Париже, она вновь возникла в изгнании.

Баррикада Бодена немедленно появилась снова, но уже не во Франции, а за ее пределами. Она появилась, отстроенная на этот раз не из булыжников мостовой, а из принципов; из материальной она стала идеальной, тем самым — более грозной; ее, эту гордую баррикаду, построили изгнанники из обломков справедливости и свободы. На постройку ее ушло все, что осталось от растоптанного права, и от этого она стала великолепной и священной. С этих пор она возвышается перед Империей, преграждая ей путь в будущее и закрывая от нее горизонт. Она высока, как правда, и тверда, как честь; ее обстреливают, как разум, и на ней продолжают умирать. После Бодена — ибо это все та же баррикада — на ней умерла Полина Ролан, на ней умер Рибейроль, умер Шаррас, умер Ксавье Дюрье и только что умер Кеслер.

Кеслер был связующим звеном между обеими баррикадами — баррикадой Сент-Антуанского предместья и той, что построена в изгнании, ибо, подобно многим изгнанникам, он сражался и на той и на другой.

Позвольте же мне воздать почести этому талантливому писателю и бесстрашному человеку. Он обладал всеми видами мужества: от пылкой доблести в бою до длительной стойкости в испытаниях, от храбрости, не знающей страха перед картечью, до героизма, способного перенести тоску по родине. Это был боец и страдалец.

Подобно многим представителям нашего века, включая сюда и меня самого, он был в свое время роялистом и католиком. Никто не несет ответственность за то, с чего он начал. Заблуждение в начале пути делает более почетным конечный приход к истине.

Кеслер тоже был жертвой отвратительного воспитания, напоминающего западню, в которую заманивают детские умы, искажая историю, подтасовывая факты и извращая их духовный мир; результатом такого воспитания являются целые поколения ослепленных. И когда появляется деспот, он может выманить у обманутых народов все, вплоть до их согласия на тиранию; ему удастся фальсифицировать даже всеобщее голосование. И тогда можно увидеть, как добиваются управления целой страной путем вымогательства подписи, называемого плебисцитом.

Кеслер, как и многие из нас, сумел перевоспитать себя; он отбросил предрассудки, впитанные с молоком матери, отказался от привычек детства, вышел из круга ложных представлений и приобщился к истинным идеям, созрел, возмужал и, умудренный действительностью, руководимый логическим мышлением, превратился из роялиста в республиканца. Как только он познал истину, он стал ее самоотверженным поборником, и я не знаю примера более глубокого и стойкого самопожертвования. Хотя его снедала тоска по родине, он отверг амнистию. Он подтвердил верность своим взглядам своей смертью.

Он пожелал протестовать до конца. Он остался изгнанником потому, что боготворил отчизну. Унижение Франции было ему тягостно. Он неотступно наблюдал за тем обманом, который зовется Империей, и, негодуя, содрогаясь от стыда, жестоко страдал. Его изгнание и его гнев длились девятнадцать лет, и вот, наконец, он уснул.

Уснул... Нет, это не то слово. Смерть — это не сон, это жизнь. Смерть — это чудесное перевоплощение, и ее прикосновение оказывает на человека двоякое действие: сначала он застывает, а затем воскресает; его дыхание угасает, но сам он возгорается вновь. Мы видим лишь глаза, которые смерть смежила, и не видим тех, которые она отверзла.

Прощай, старый товарищ! Отныне ты будешь жить истинной жизнью! Ты обрешь справедливость, правду, братство, гармонию и любовь в бесконечной невозмутимости вселенной. Ты отлетел к свету. Теперь ты познаешь глубокую тайну этих цветов и трав, сгибаемых ветром,

этих волн, шум которых слышен вдалеке, этой великой природы, принимающей тело во мрак могилы и озаряющей душу бессмертным сиянием. Ты будешь жить священной и неугасимой жизнью звезд. Ты уйдешь туда, где пребывают лучшие умы, которые когда-то жили и светили нам, где обитают мыслители, мученики, апостолы, пророки, предтечи, избавители. Ты увидишь эти великие пылающие сердца во всем ослепительном блеске, который им придала смерть. Послушай, ты скажешь Жан-Жаку, что человеческий разум секут розгами; ты скажешь Беккария, что закон дошел до такой степени бесчестия, что, совершая убийство, он прячется; ты скажешь Мирабо, что Восемьдесят девятый год пригвожден к позорному столбу; ты скажешь Дантону, что в страну вторглась орда, худшая, чем иноземные солдаты; ты скажешь Сен-Жюсту, что народ не имеет права говорить; ты скажешь Марсо, что армия не имеет права думать; ты скажешь Робеспьеру, что Республике нанесен удар кинжалом; ты скажешь Камиллу Демулену, что правосудие умерло; и ты скажешь им всем, что тем не менее все не так уж плохо и что когорта смелых сражается во Франции с небывалым дотоле мужеством, а за пределами Франции — мы, добровольные мученики, горсточка оставшихся в живых изгнанников, все еще держимся и решили ни за что не сдаваться, стоя на великой баррикаде, имеваемой изгнанием, вдохновленные нашими убеждениями и овеванные тенями наших великих предков!

МОРЯКАМ ЛАМАНША

Я получил через уважаемого капитана Гарвея ваше коллективное письмо. Вы благодарите меня за то, что я посвятил, за то, что я отдал в дар Ламаншу свою книгу¹. О доблестные люди, вы отдаете ему нечто большее — вы отдаете ему свою жизнь.

Вы отдаете ему свои дни и ночи, свой труд, свое мужество, вы жертвуете ради него часами сна, вы отдаете ему свои силы и свои сердца, слезы ваших жен, которые дрожат за вас, пока вы боретесь с волнами, прощальные.

¹ «Труженики моря».

приветствия ваших детей, невест, стариков родителей, вы отдаете ему дым ваших очагов, уносимый ветром вдаль. Море — это великая опасность, великий труд, великая необходимость. Вы отдаете ему все, а от него получаете мучительную тревогу — исчезновение берегов: ведь всякий раз, когда отплываешь, перед тобой встает печальный вопрос: «Увижу ли я вновь тех, кого люблю?» Берег уходит, как театральная декорация, уносимая чьей-то рукой. «Земля исчезла» — как ужасны эти слова! Человеку кажется, что он вне всего живого. Но вы, бесстрашные люди, добровольно обрекаете себя на это. Среди ваших подписей я вижу имена тех, кто недавно так героически спасал утопавших в Данджинессе¹. Вы неутомимы. Вы возвращаетесь в гавань и сейчас же снова выходите в море.

Ваша жизнь — это непрерывный вызов рифам, случайностям, временам года, водяным безднам и западням ветра. Спокойные, вы уходите в грозную даль моря. Ваши волосы разметаны вихрем. Вы упрямы и готовы вечно начинать все сначала; вы — прилежные пахари взбудораженной водной нивы, у которой нет границ и где на каждом шагу вас ждет приключение. Вы смело уходите в бесконечность, навстречу неведомому; эта волнующаяся и грохочущая пустыня не пугает вас. Окруженные зловещей линией горизонта, вы обладаете великолепным умением жить наедине с океаном. Океан неисчерпаем, а вы смертны, но это не страшит вас. Вам не суждено увидеть его последний ураган, а ему суждено увидеть ваше последнее дыхание. Отсюда ваша гордость, и я ее понимаю. Привычка к отваге появилась у вас еще в детстве, когда вы голыми бегали по прибрежным дюнам. Накупавшись в широких волнах прилива, посмуглев от солнечного зноя, повзрослев среди шквалов и состарившись среди бурь, вы не боитесь океана, вы завоевали право на его свирепую дружбу, потому что еще детьми играли с его громадой.

Вы мало знаете меня. Я для вас лишь силуэт, возникший из бездны и стоящий на скале вдали. Порою вы различаете в тумане эту тень и проходите мимо. Однако сквозь шум волн и порывов ветра до вас дошел неясный

¹ Олдридж и Уиндхэм.

гул, который может иногда вызвать книга. И вот, в промежутке между двумя штормами, вы обернулись в мою сторону и прислали мне свою благодарность.

Я шлю вам свой привет.

Сейчас я скажу вам, кто я. Я один из вас. Я матрос, я воин морской пучины. Надо мной неистовствуют ледяные ветры. Я весь покрыт брызгами волн и дрожу от холода, но я улыбаюсь и порой, подобно вам, я пою. Горькая песнь. Я — потерпевший крушение лоцман, который не сделал ошибки в курсе и все-таки пошел ко дну; компас убеждает меня в том, что я прав, а ураган уверяет в противном, но я полон твердой уверенности, порожденной пережитой катастрофой, и теперь имею право говорить с другими лоцманами авторитетным тоном человека, испытавшего кораблекрушение. Вокруг меня ночь, но я без тревоги жду того подобия дня, который придет, хотя и не слишком рассчитываю на это, ибо если я спокоен за *послезавтра*, то не смогу сказать того же о *завтра*. Осуществление чаяний редко приходит сразу, и я, так же как вы, не раз с недоверием встречал мрачный рассвет. А пока что вокруг меня, как и вокруг вас, шквалы, тучи, раскаты грома; горизонт беспрестанно колеблется предо мною, и я присутствую при непрерывном приливе и отливе той волны, которая зовется действительностью. Находясь во власти событий, как вы — во власти ветров, я убеждаюсь в их кажущейся бессмыслице и в их глубокой внутренней логике. Я чувствую, что буря есть воля, а мое сознание — другая воля и что в сущности они созвучны друг другу. И я упорствую, я сопротивляюсь, я даю отпор деспотам, как вы даете отпор циклонам. Пусть же воют вокруг меня все гнусные собачьи своры, все псы мрака, я исполняю свой долг, так же не замечая их ненависти, как вы не замечаете морской пены.

Я не вижу звезды, но знаю, что она смотрит на меня, и этого мне довольно.

Вот все, что я мог рассказать вам о себе. Подарите же мне свою любовь.

Итак, будем продолжать. Будем делать наше дело, вы — *свое*, я — *свое*; вы — среди волн, я — среди людей. Будем спасать. Да, выполним наше назначение — будем охранять. Будем зорко следить, будем бодрствовать, по-

стараемся не пропустить ни одного сигнала бедствия, протянем руку всем тем, кто гибнет в пучине, взберемся на мачту и будем часовыми в этом мраке, не допустим, чтобы то, что должно исчезнуть, возвратилось, будем наблюдать: вы — как исчезает во тьме корабль-призрак, я — как исчезает прошлое. Докажем, что и в волнах хаоса может пройти судно. Поверхности разнообразны, движение вод беспредельно, но на дне одно — бог. Я, говорящий с вами, касаюсь этого дна. Его имя — истина и справедливость. Тот, кто падает, борясь за право, погружается в истину. Уверуем в это. Вы руководствуетесь компасом, я — совестью. О бесстрашные борцы, мои братья, доверимся, вы — волне, я — провидению. Откуда же почерпнуть уверенность, как не из этой вечно волнующейся нивы, уровень которой всегда неизменен? Ваш долг равнозначен моему. Будем же бороться, будем постоянно начинать все сначала, будем упорно продолжать наше дело, помня, что открытое море простирается и за пределы доступного человеческому взору, что даже вне жизни бесконечно идут корабли и что когда-нибудь мы обнаружим сходство между океаном, где обитают волны, и могилой, где обитают души. Волна, которая мыслит, — это и есть душа человека.

Виктор Гюго.

ТРУД В АМЕРИКЕ

Отвиль-Хауз, 22 апреля 1870

Вы сообщаете мне, генерал, приятное известие: в Америке создана трудовая коалиция рабочих; славный ответ на коалицию королей во Франции!

Рабочие — это армия; армии нужны вожди. Вы как раз один из тех, кто призван стать во главе масс, ибо у вас есть двойное чутье: вы понимаете, что такое революция и что такое цивилизация.

Вы — один из тех, кто может подать народу любой совет в духе истины и справедливости.

Свобода — вы это прекрасно понимаете — не только цель, но и средство. Вот почему американские рабочие избрали вас своим представителем. Я поздравляю с этим и вас и их.

Труд в наше время — это великое право и великая обязанность.

Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда.

В сущности оба они составляют одно целое, ибо мыслить — значит трудиться.

Я принадлежу к тем, для кого положение страждущих классов является основным предметом забот всей их жизни. Судьба рабочего повсюду — будь то в Америке или в Европе — приковывает к себе мое самое пристальное внимание, глубоко волнует и трогает меня. Нужно, чтобы эти страждущие стали счастливыми и чтобы труд человека, бывший до сих пор тоскливым и мрачным, стал отныне радостным и светлым.

Я люблю Америку, как отчизну. Великая республика Вашингтона и Джона Брауна — это гордость цивилизации. Пусть же она не колеблясь примет державное участие в управлении миром. По линии социальной — пусть она дарует свободу рабочим, по линии политической — пусть дарует свободу Кубе.

Европа пристально смотрит на Америку. То, что делает Америка, будет сделано хорошо. Америка счастлива вдвойне: она свободна, как Англия, и логична, как Франция.

Мы будем восторженно, как патриоты, приветствовать все ее передовые начинания. Мы чувствуем себя согражданами любой великой страны.

Генерал, помогите рабочим в организации их могучего и святого союза.

Жму вашу руку

Виктор Гюго.

ПЛЕБИСЦИТ

«Нет!»

Этим словом из трех букв сказано все.

Его содержание могло бы заполнить целый том.

Скоро девятнадцать лет, как этот ответ возвышается над империей.

Этот мрачный сфинкс чувствует, что именно в слове «нет!» и заключена разгадка его тайны.

На все, что представляет собой империя, чего она хочет, о чем мечтает, во что верит, на все, что она может сделать и что делает, довольно ответить одним словом: «нет!»

Что вы думаете об империи? Я отвергаю ее.

«Нет!» — таков приговор.

Один из декабрьских изгнанников в книге, опубликованной вне Франции в 1853 году, назвал себя «устаами, говорящими «нет!»

«Нет!» — было ответом на так называемую амнистию.

«Нет!» — будет ответом на так называемый плебисцит.

Плебисцит пытается сотворить чудо: заставить человеческую совесть принять империю.

Сделать мышьяк съедобным. Такова его задача.

Империя начала со слова «proscription»¹. Ей хотелось бы кончить словом «prescription»². Разница всего в одной букве, но изменить ее невероятно трудно.

Вообразить себя Цезарем; превратить клятву в Рубикон и перейти его; за одну ночь поймать в западню весь человеческий прогресс; грубо зажать в кулак народ, объединенный в великую Республику, и бросить его в Мазас; загнать льва в мышеловку; обманным способом аннулировать мандат депутатов и сломать меч генералов; предать изгнанию истину и сослать честь; заключить под стражу закон; издать декрет об аресте революции; отправить на каторгу Восемьдесят девятый и Девяносто второй годы; выгнать Францию из Франции; пожертвовать семьями тысячами человек, чтобы снести жалкий редут под Севастополем; вступить в союз с Англией, чтобы угостить Китай зрелищем варварской Европы; поразить нашим вандализмом самих вандалов; уничтожить Летний дворец, сообщая с сыном лорда Эльгина, изуродовавшего Парфенон; возвеличить Германию и унижить Францию с помощью Садовой; взять и упустить Люксембург; обещать какому-то эрцгерцогу Мехико и дать ему Керетаро; принести Италии освобождение и свести его к вселенскому собору; заставить стрелять в Гарибальди из итальянских ружей при Аспромонте и из французских — при Ментане; отяготить бюджет долгом в восемь миллиардов;

¹ Изгнание (франц.).

² Уничтожение (франц.).

способствовать поражению республиканской Испании; иметь верховный суд, затыкающий уши при звуке пистолетного выстрела; убить почтение к судьям почтением к знати; гонять войска то туда, то обратно; подавлять демократии, вырывать пропасти, сдвигать с места горы, — все это легко. А вот заменить одну букву в слове «proscription» и превратить его в «prescription» — невозможно.

Может ли право быть изгнано? Да. И оно изгнано. Может ли оно быть уничтожено? Нет.

Успех, подобный успеху Второго декабря, похож на мертвеца — он так же быстро разлагается; но он и отличается от него — его нельзя забыть. Протест против подобных актов по праву живет вечно.

Никаких преград — ни юридических, ни нравственных. Честь, справедливость, истину уничтожить нельзя, против них бессильно и время. Преступник, долго остающийся безнаказанным, лишь усугубляет свое первоначальное преступление.

Как для истории, так и для человеческой совести злодеяния Тиберия никогда не смогут перейти в разряд «совершившихся фактов».

Ньютон вычислил, что комете, чтобы остыть, нужно сто тысяч лет. Чтобы забыть некоторые чудовищные преступления, требуется еще больше времени.

Насилие, господствующее ныне, обречено на неудачу — плебисциты тут бессильны. Оно считает, что имеет право на господство; оно не имеет этого права.

Странная вещь — плебисцит. Это государственный переворот, обратившийся в листок бумаги. После карточки — голосование. На смену упраздненной пушке — надтреснутая урна. Народ, подтверди голосованием, что ты не существуешь. И народ голосует, а хозяин подсчитывает голоса. Он получил все, чего хотел. И вот он кладет народ себе в карман. Но при этом он не заметил одного: то, что показалось ему пойманным, неуловимо. Нация не может отречься от самой себя. Почему? Да потому, что она постоянно обновляется. Голосование всегда можно начать сначала. Заставить народ отказаться от верховной власти, извлечь из минутного результата наследственные права, придать всеобщему голосованию, способному отразить только настоящее, значение, действительное и для будущего, — напрасные потуги. Ведь

это все равно что приказать Завтра, чтобы оно называлось Сегодня.

И все-таки голосование состоялось. И хозяин принимает это за согласие. Народа больше нет. У англичан такие приемы вызывают лишь смех. Претерпеть государственный переворот! Претерпеть плебисцит! Как может нация выносить подобные унижения? В этот момент Англия счастлива, что имеет возможность хоть немного презирать Францию. Если так, презирайте океан. Ксеркс его высек.

Нам предлагают голосовать за усовершенствование преступления — только и всего.

Поупражнявшись девятнадцать лет, империя считает себя способной соблазнить нас. Она преподносит нам свои достижения. Она преподносит нам государственный переворот в приспособленном к демократии виде; ночь 2 декабря, сочетающуюся с парламентской неприкосновенностью; свободную трибуну, сколоченную в Кайенне; Мазас, преобразованный в учреждение, дарующее свободу; поругание всех прав под видом либерального правительства.

Так вот, мы говорим: «Нет».

Мы неблагодарны.

Мы, граждане растоптанной республики, мы, мыслящие друзья правосудия, следим за ослаблением власти, естественным в период, когда предательство уже одряхлело, с твердым намерением воспользоваться этим ослаблением. Мы ждем.

И, глядя на механизм так называемого плебисцита, мы пожимаем плечами.

Европе без разоружения, Франции без влияния, Пруссии без противовеса, России без узды, Испании без точки опоры, Греции без Крита, Италии без Рима, Риму без римлян, демократии без народа — всем им мы говорим: «Нет».

Свободе, проштемпелеванной деспотизмом; благоденствию, проистекающему из катастрофы; правосудию, совершаемому именем преступника; суду с клеймом «Л.Н.Б.»; Восемьдесят девятому году, допущенному империей; Четырнадцатому июля, дополненному Вторым декабря; верности, подтвержденной ложной присягой; прогрессу, предписанному регрессом; прочности, обещанной

разрушением; свету, дарованному тьмой; пище, скрывающейся в лохмотьях нищего; лицу, скрывающемуся под маской; призраку, скрывающемуся за улыбкой, — всему этому мы говорим: «Нет».

Впрочем, если виновнику государственного переворота непременно хочется обратиться к нам, к народу, с вопросом, то мы признаем за ним право задать нам только один вопрос:

«Должен ли я сменить Тюильри на Консьержери и отдать себя в распоряжение правосудия?

Наполеон».

Да.

Виктор Гюго.

Отвиль-Хауз, 27 апреля 1870

ИЗ КНИГИ

«ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ»

I

Эта трилогия — «До изгнания», «Во время изгнания», «После изгнания» — принадлежит не мне, а императору Наполеону III. Это он разделил мою жизнь таким образом; пусть же и слава достанется ему. Следует воздать Кесарю то, что принадлежит Бонапарту.

Трилогия хорошо построена, можно было бы сказать — по всем правилам искусства. В каждом из этих томов есть изгнание: в первом — изгнание из Франции, во втором — изгнание с Джерси, в третьем — изгнание из Бельгии.

Впрочем, здесь требуется поправка. Слово «изгнание» неприменимо к Джерси и Бельгии; правильнее было бы употребить слово «высылка». Изгнать человека можно только из его отечества.

Целая жизнь заключена в этих трех томах. Здесь отражено все самое важное. Десять лет — в первом томе; девятнадцать лет — во втором; шесть лет — в третьем. Взятые вместе, они охватывают время с 1841 по 1876 год. По этим страницам можно день за днем изучать движение ума к истине; и за все время пути — ни шагу назад; человек, о котором идет речь в настоящей книге, уже говорил об этом и вновь это повторяет.

Книга эта напоминает тень, которая ложится на землю позади идущего человека.

Книга эта воспроизводит истинный облик ее автора.

Читатели, быть может, заметят, что эта книга начинается (книга I, Академия, июнь 1841) призывом к сопротивлению и заканчивается (книга III, сенат, май 1876) призывом к милосердию. Сопротивление тиранам, милосердие к побежденным. Именно в этом и заключается главное веление совести. Тридцать пять лет отделяют в этой книге первый призыв от второго; но двойной долг, который они возлагают на человека, подчеркивается и осуществляется на каждой странице этих трех томов.

Автору осталось только одно — продолжить и умереть.

Он покинул свое отечество 11 декабря 1851 года; он возвратился на родину 5 сентября 1870 года.

Вернувшись, он обнаружил, что его страна переживает самый мрачный час своей истории, когда от человека требуется прежде всего выполнять свой долг.

II

Любовь к отечеству — чувство настолько острое, что покидать родину мучительно, но возвращаться порою еще мучительнее. Какой римский изгнанник не предпочел бы умереть подобно Бруту, вместо того чтобы увидеть вторжение Аттилы? Какой французский изгнанник не предпочел бы навеки покинуть родину, вместо того чтобы сделаться свидетелем разграбления Франции Пруссией и отторжения Меца и Страсбурга?

Вернуться к родному очагу в день катастрофы; быть обязанным своим возвращением событиям, которые вызывают в тебе негодование; долгие годы стремиться на родину, изнывая от глубокой тоски по ней, и почувствовать себя оскорбленным снисходительностью судьбы, которая, вняв твоей мольбе, при этом тебя унижает; бороться с искушением проклясть рок, смешавший воедино грабеж и возмещение; обнаружить свою страну, *dulces Argos*¹, под пятой двух империй: одной — торжествующей победу, другой — терпящей поражение; пересечь священную для тебя границу в час, когда ее преступает враг; суметь лишь одно — плача, поцеловать землю; с трудом найти в себе силы крикнуть: «Франция!», задыхаясь от рыда-

¹ Милый Аргос (лат.).

ний; наблюдать гибель смелых; видеть, как на горизонте поднимается к небу отвратительный дым — слава врага, порожденная позором твоей родины; проезжать местами, где только что окончилась резня; пересекать зловещие поля, на которых в будущем году трава будет особенно густой; продвигаясь вперед, видеть, что вокруг тебя повсюду — по лугам, лесам, долинам, холмам — продолжается то, что так ненавистно Франции: бегство; встречать мрачно бредущие толпы побежденных солдат; наконец приехать в огромный героический город, которому предстоит выдержать чудовищную пятимесячную осаду; вновь обрести Францию, но поверженную наземь и истекающую кровью, вновь увидеть Париж, но терпящий голод и подвергающийся артиллерийскому обстрелу, — все это поистине невыразимо горестно.

Это — наступление варваров; мало того, налицо и другое нашествие, не менее пагубное, — наступление мрака.

Если есть что-либо более скорбное, чем попрание нашей земли тяжелой пятой ландвера, то это — вторжение средних веков в девятнадцатый век. Нарастающее унижение; вслед за императором — папа; вслед за Берлином — Рим.

Наблюдать после торжества меча торжество ночи!

Свет цивилизации можно потушить двумя способами; для нее опасны два вида нашествия: нашествие солдат и нашествие священников.

Одно угрожает нашей матери — Родине; другое угрожает нашему ребенку — будущему.

III

Две неприкосновенные свободы составляют самое драгоценное благо цивилизованного народа: неприкосновенность территории и неприкосновенность совести.

Солдат нарушает одну, священник — другую.

Надо быть справедливым ко всему, даже к злу; солдат считает, что поступает хорошо; он повинуется приказу; священник считает, что поступает хорошо: он повинуется догмату веры; ответственность несут лишь начальники. Есть только два виновных: Кесарь и Петр; Кесарь, который убивает; Петр, который лжет.

Священник может быть искренним, он верит в то, что ему открыта особая истина, отличная от истины всеобщей. Каждая религия проповедует свои истины, не похожие на истины другой религий. Религиозная истина не вытекает из природы, которая в глазах церковников запятнана пантеизмом; ее заимствуют из книги. Книга эта не одна и та же. Истина, вытекающая из талмуда, враждебна истине, вытекающей из корана. Раввин верует иначе, чем мурабит, факир созерцает рай, неведомый греческому монаху, и бог, видимый капуцину, остается невидимым для дервиша. Мне возразят, что дервиш лицемерит другого бога; я с этим согласен, но прибавлю, что это — все тот же бог. Юпитер — это Йовис, Йовис — это Иова, а он, в свою очередь, Иегова, что не мешает Юпитеру метать молнии в Иегову, а Иегове — проклинать Юпитера; Будда клянет Браму, а Брама предаёт анафеме Аллаха; все боги испытывают отвращение один к другому; каждая религия отрицает другую; церковники плавают в волнах этой взаимной ненависти, и каждый из них считает себя правым; они достойны жалости, им следует пожелать проникнуться чувством братской любви. Их потасовки простительны. Каждый верует в то, во что хочет. В этом заключается оправдание для всех церковников; но то, что их извиняет, в то же время ограничивает их. Пусть они живут, но пусть не присваивают не принадлежащих им прав. Право быть фанатиком существует лишь при условии, что оно не выходит за пределы личности самого изувера; но как только фанатизм распространяется вовне, как только он становится верой, пятикнижием или «Силлабусом», он требует присмотра за собой. Всякое творение открыто для изучения его человеком; священник ненавидит такое изучение и не доверяет творению; скрытая истина, которой владеет священник, находится в противоречии с явной истиной, которую предлагает людям мироздание. Отсюда — столкновение между верой и рассудком. Отсюда, если церковники одерживают верх, — порабощение разума фанатизмом. Захватить в свои руки народное образование, завладеть душой ребенка, формировать по-своему его сознание, начинать его голову своими идеями — таков способ, применяемый для достижения этой цели; и он ужасен. У всех религий одна задача — силой завладеть душой человека.

Именно такая попытка насилия угрожает сегодня Франции.

Попытка животворить таким образом может лишь осквернить. Уготовлять Франции двоедушное потомство! Что может быть страшнее?

Сознание народа в опасности — таково современное положение.

Обучение, которым руководит мечеть, синагога или церковь, одинаково; его тождественность определяется верой в призрачное; оно подменяет догмой, то есть шарлатанством, знание, то есть провозвестника истины. Оно искажает врожденную, богом данную способность к познанию; юношески непорочная душа беззащитна, а оно отравляет эту непорочную душу ложью и, если с этим не борются, воспитывает в ребенке страшную своим чистосердечием веру в заблуждения.

Мы повторяем: священник может быть и бывает человеком убежденным и искренним. Следует ли его осуждать? Нет. Следует ли с ним бороться? Да.

Рассмотрим, что происходит.

Необходимо воспитывать детей, воспитывать их в духе цивилизации, — так по крайней мере полагают церковники; и они требуют, чтобы это поручили им. Церковники хотят, чтобы им доверили воспитание французского народа. Этот вопрос заслуживает внимательного изучения.

Священник выступает в роли школьного учителя во многих странах. Какое воспитание он дает? Каких результатов достигает? Каких людей выращивает? В этом все дело.

В памяти пишущего эти строки живут два воспоминания; да разрешат ему их сопоставить; быть может, это прольет некоторый свет на проблему. Во всех случаях бесполезно обращаться к истории.

IV

В 1848 году, в трагические дни июня, одна из парижских площадей была внезапно захвачена восставшими.

Эту старинную, окруженную монументальными зданиями площадь, своего рода четырехугольную крепость, стенами которой служили высокие кирпичные и каменные

дома, оборонял батальон солдат под командой храброго офицера по фамилии Томбер. Грозные повстанцы июня завладели ею с той неодолимой стремительностью, которая отличает сражающуюся толпу.

Здесь следует очень кратко, но с предельной ясностью сказать о праве на восстание.

Можно ли утверждать, что право было на стороне июньского восстания?

Придется ответить: и да и нет.

Да — если рассматривать его с точки зрения цели, которая сводилась к осуществлению лозунгов республики; нет — если рассматривать его с точки зрения средств, которые вели к умерщвлению этой республики.

Июньское восстание несло смерть тому, что оно стремилось спасти. Роковое недоразумение.

Это удивляет своей бессмысленностью, но удивление проходит, если принять во внимание, что к искреннему и грозному гневу народа примешались и происки бонапартистов и происки легитимистов. Сегодня история это уже установила, и двойные происки подтверждаются двумя доказательствами: письмом Бонапарта Рапателю и белым знаменем на улице Сен-Клод.

Июньское восстание шло по ложному пути.

Во времена монархии восстание — шаг вперед, во времена республики — шаг назад.

Право на стороне восстания лишь при условии, что это восстание направлено против подлинного насилия — монархии. Народ защищается против одного человека, и это справедливо.

Король — это излишнее бремя; всё на одной стороне, ничего — на другой; создать противовес этому чрезмерно разросшемуся человеку необходимо; восстание — всего лишь средство восстановить равновесие.

Справедливый гнев правомочен; разрушение Бастилии — деяние насильственное и в то же время святое.

Узурпация порождает сопротивление; республика, другими словами — верховная власть человека над самим собой, и только над собой, — наиболее совершенный принцип общественного устройства; всякая монархия — это узурпация, даже если она провозглашена законным путем; ибо есть примеры — мы о них уже говорили, — когда закон предаёт право. Такой бунт законов должен

быть обуздан, и добиться этого можно лишь в результате народного возмущения. Руайе-Коллар говорил: «Если вы примете этот закон, я клянусь ему не подчиняться».

Монархия предоставляет право на восстание.

Республика не дает такого права.

Во времена республики всякое восстание преступно.

Это — битва слепых.

Это — убийство народа, совершаемое им самим.

Во времена монархии восстание — законная самозащита; во времена республики восстание — самоубийство.

Республика обязана защищаться даже от народа, ибо народ — это республика сегодняшнего дня, а республика — это народ сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего дня.

Таковы основные принципы.

Следовательно, восстание июня 1848 года было ошибкой.

Увы! Оно было грозным потому, что заслуживало всяческого уважения. В основе этого огромного заблуждения лежали страдания народа. То был мятеж отчаявшихся. Первой обязанностью республики было подавить это восстание; второй ее обязанностью было простить его участников. Национальное собрание выполнило первую из этих обязанностей и не выполнило второй. Ошибка, за которую оно ответит перед историей.

Мы считали необходимым мимоходом высказать эти соображения, потому что они истинны, а истину нужно говорить до конца, и еще потому, что в смутные времена особенно необходимы ясные идеи; теперь же вернемся к прерванному рассказу.

Восставшие проникли на площадь, о которой мы упомянули, через дом № 6; ворота его, расположенные в глубине двора, выходили в глухой переулок, примыкавший к одной из больших парижских улиц. Привратник, по фамилии Демазьер, открыл эти ворота восставшим, и они ринулись во двор, а затем и на площадь. Ими командовал бывший школьный учитель, отрешенный от должности г-ном Гизо. Его звали Гобер, позднее он умер в изгнании, в Лондоне. Эти люди ворвались во двор разъяренные, угрожающие; они были одеты в лохмотья, некоторые босые, и вооружены чем попало: пиками, топорами, молотками, старыми саблями, дрянными ружьями; их

беспокойные движения были полны гнева и ожесточения борьбы; их мрачный облик свидетельствовал о том, что эти победители чувствовали себя побежденными. Вбежав во двор, один из них закричал: «Это дом пэра Франции!» И тогда среди обитателей домов, выходящих на площадь, пополз тревожный слух: «Они намерены разграбить дом № 6!»

Один из жильцов дома № 6 в самом деле был некогда пэром Франции, а в описываемое время — депутатом Учредительного собрания. Дома не было ни его самого, ни членов его семьи. Его довольно просторная квартира занимала весь третий этаж; она имела два выхода: один — на парадную лестницу, другой — на черную. Этот бывший пэр Франции принадлежал к числу шестидесяти депутатов, которых Учредительное собрание направило в этот момент на подавление восстания, поручив им руководить колоннами войск и поддерживать авторитет Собрания в глазах генералов. В день, когда происходили эти события, он боролся с повстанцами на одной из соседних улиц; его сопровождал коллега и друг, великий скульптор, республиканец Давид д'Анже.

— Пойдем в его квартиру! — кричали повстанцы.

Ужас, охвативший весь дом, достиг крайнего предела.

Повстанцы поднялись на третий этаж. Они заполнили парадную лестницу и весь двор. Старушка, которая в отсутствие хозяев стерегла квартиру, открыла им, не помня себя от страха. Они вошли беспорядочной толпой во главе со своим начальником. Вся обстановка квартиры говорила о том, что это обитель труда и вдохновения.

Переступая через порог, Гобер, предводитель восставших, снял фуражку и проговорил:

— Шапки долой!

Все обнажили головы.

Послышался чей-то голос:

— Нам нужно оружие.

Другой прибавил:

— Если оно здесь есть, мы заберем его.

— Без сомнения, — сказал предводитель.

Передняя, большая строгая комната, была меблирована в старинном испанском стиле: вдоль ее стен стояли деревянные сундуки; свет проникал сюда сквозь узкое и длинное окно в углу.

Они вошли в переднюю.

— Построиться! — скомандовал предводитель.

В некотором смущении, переговариваясь друг с другом, они выстроились по трое в ряд.

— Сохраняйте тишину, — приказал предводитель. Все смолкли.

— Если здесь есть оружие, мы возьмем его.

Старушка, дрожа, указывала им дорогу.

Из передней они перешли в столовую.

— Вот оно! — вскричал один из них.

— Что? — спросил предводитель.

— Оружие.

И в самом деле, в столовой на стене были развешаны доспехи.

Тот, кто первым заметил оружие, продолжал:

— Вот ружье.

И он указал пальцем на старинный, редкой формы мушкет с кремневым запалом.

— Это произведение искусства, -- заметил предводитель.

Тут подал голос другой повстанец, человек с седыми волосами:

— В тысяча восемьсот тридцатом мы брали такие ружья в музее артиллерии.

Предводитель возразил:

— Музей артиллерии принадлежал народу.

И они оставили ружье на месте.

Рядом с мушкетом висел длинный турецкий ятаган с клинком дамасской стали; его рукоятка и ножны из цельного серебра были украшены причудливой резьбой.

— Ага! — воскликнул один из повстанцев. — Вот, кстати, отличное оружие. Я беру его. Это сабля.

— Она серебряная! — крикнули в толпе.

Этого было достаточно. Никто не прикоснулся к ятагану.

Среди этой толпы было немало тряпичников из Сент-Антуанского предместья, бедняков, живших в крайней нищете.

Из столовой они перешли в гостиную.

Стол был накрыт вышитой скатертью; на ее углах можно было различить инициалы хозяина дома.

— Ах, вот что! — воскликнул один из повстанцев. — Но ведь он сражается против нас!

— Он выполняет свой долг, — ответил предводитель. Повстанец возразил:

— В таком случае что же делаем мы?

Предводитель ответил:

— Мы также выполняем свой долг.

И он добавил:

— Мы защищаем свои семьи; он защищает государство.

До сих пор еще живы люди, которые своими ушами слышали эти спокойные и возвышенные слова.

Вторжение продолжалось, если только можно назвать вторжением это медленное шествие молчаливой толпы. Они прошли одну за другой все комнаты. Ни одна вещь не была сдвинута с места, если не считать колыбели. Хозяйка дома, суеверная, как многие матери, оставила возле своего ложа колыбель последнего ребенка. Один из самых свирепых оборванцев подошел и легонько подтолкнул колыбель; несколько секунд она покачивалась, словно убаюкивая спящего ребенка.

И толпа, остановившись, с улыбкой смотрела на колыбель.

В глубине квартиры находился кабинет хозяина дома, его дверь выходила на черную лестницу. Пройдя через все комнаты, они достигли кабинета.

Предводитель велел открыть черный ход, ибо по пятам тех, кто вошел первым, следовали другие, и в конце концов повстанцы, овладевшие площадью, наводнили всю квартиру, так что выйти из нее через парадный ход было немыслимо.

Весь облик кабинета говорил о том, что это комната углубленных занятий, лишь ненадолго покинутая. Все было разбросано в том безмятежном беспорядке, который сопутствует незавершенной работе. Никто, за исключением хозяина дома, не входил в этот кабинет, поэтому хозяин мог ни о чем не беспокоиться. Оба стола были загромождены орудиями писательского труда. Здесь все было перемешано: бумаги и книги, распечатанные письма, стихи, проза, отдельные листки, начатые рукописи. На одном из столов стояло несколько ценных предметов, в их числе компас Христофора Колумба, с выгравированной на нем датой «1489» и надписью «Ла Пинта».

Предводитель повстанцев Гобер подошел к столу, взял в руки компас, с любопытством осмотрел его и вновь положил на стол, заметив:

— Это уникальная вещь. С помощью этого компаса была открыта Америка.

Рядом с компасом лежало много дорогих безделушек, в том числе изящные печати: одна — из горного хрусталя, две — серебряные и одна — золотая, искусной чеканки чудесного художника Фроман-Мериса.

Второй стол был высоким, ибо хозяин дома привык работать стоя.

На этом столе лежали недавно написанные страницы прерванного им произведения¹, а поверх этих страниц — развернутый лист большого формата с многочисленными подписями. То была петиция моряков Гавра, которые просили пересмотреть действующие меры наказания и объясняли неповиновение экипажей жестокостью и несправедливостью морского кодекса. На полях петиции рукой бывшего пэра Франции, ставшего депутатом Учредительного собрания, были написаны слова: «Поддержать настоящую петицию. Если бы приходили на помощь страдальцам, если бы шли навстречу законным требованиям, если бы народу предоставляли то, на что он имеет право, словом — если бы поступали справедливо, то мы были бы избавлены от горестной обязанности подавлять восстания».

Около часа двигались люди через квартиру. Они шли молча, являя взору все виды нищеты и всю силу гнева. Они входили в одну дверь и выходили в другую. А издали доносились пушечные выстрелы.

Выходя из квартиры, они шли в бой.

Когда они удалились, когда комнаты опустели, стало ясно, что босые ноги этих людей ничего не осквернили, их руки, почерневшие от пороха, ни к чему не притронулись. Ни один драгоценный предмет не пропал, ни одна бумага не была сдвинута с места. Исчез лишь один документ — петиция моряков Гавра².

¹ «Отверженные».

² Позднее исчезновение этого документа объяснилось. Предводитель восставших Гобер унес с собою эту петицию с пометками хозяина дома, чтобы показать повстанцам, до какой степени человек, выступивший против восстания в силу своих депутатских обязанностей, был истинным другом народа. (Прим авт)

Вот что происходило двадцать лет спустя, 27 мая 1871 года, на другой большой площади; это было уже не в Париже, а в Брюсселе и не днем, а ночью.

В доме № 4, расположенном на этой площади, называвшейся площадью Баррикад, жил человек; он был уже дедушкой, вместе с ним жили два его маленьких внука и их молодая мать; это был тот же человек, что жил некогда в доме № 6 на Королевской площади в Париже, только его теперь именовали не «бывший пэр Франции», а «бывший изгнанник»: повышение, которым он был обязан исполненному долгу.

Этот человек был в трауре. Он недавно потерял сына. В Брюсселе многие знали его, ибо видели, как он проходил по улицам города, всегда один, низко опустив голову, — черный призрак с белыми волосами.

Он жил, как мы только что сказали, в доме № 4 на площади Баррикад.

Вместе со своей семьей и тремя служанками он занимал весь дом.

Его спальня, которая одновременно служила ему рабочим кабинетом, помещалась во втором этаже. Одно окно спальни выходило на площадь; под спальней, в первом этаже, помещалась гостиная; здесь также одно окно выходило на площадь; остальную часть дома составляли комнаты, где жили женщины и дети. Потолки в доме были очень высокие; в первом этаже, рядом с входной дверью, находилось большое окно. Через эту дверь по узкому коридору можно было попасть в небольшой садик, окруженный высокими стенами; за ним помещался второй флигель, в то время не заселенный вследствие опустошений, которые смерть произвела в семье.

Войти в дом и выйти из него можно было только через одну дверь, выходившую на площадь.

В третьем этаже, над спальней старика, была расположена комната молодой женщины, окно здесь также выходило на площадь. Возле кровати матери стояли две колыбели малышей.

Человек этот принадлежал к числу тех, в душе которых обычно царит покой. В тот день, 27 мая, ощущение душевного покоя еще более укрепилось в нем: этому способствовало сознание, что не далее как утром он совершил истинно братский поступок. Как известно,

1871 год был одним из самых роковых в истории; то было скорбное время. Париж дважды подвергся насилию: сначала — нападение чужеземцев на наше отечество, затем — братоубийственная война французов против французов. К тому времени борьба уже прекратилась; одна из враждовавших партий подавила другую; ожесточенные схватки закончились, но раны продолжали кровоточить, и битва уступила место тому ужасному, мертвому покою, который воцаряется там, где лежат распростертые трупы и где застыли лужи сгустившейся крови.

Люди разделились на победителей и побежденных; иначе говоря, с одной стороны — никакого милосердия, с другой — никакой надежды.

Единодушный вопль «*vae victis*»¹ раздавался по всей Европе. То, что тогда происходило, можно выразить немногими словами: полное отсутствие жалости. Жестокие убивали, неистовые аплодировали, мертвецы и трусы безмолвствовали. Правительства иностранных государств выступали как сообщники победителей; это делалось двояким образом: правительства-предатели усмехались, правительства-подлецы закрывали свои границы перед побежденными. Католическое правительство Бельгии было в числе последних. Начиная с 26 мая, оно приняло меры предосторожности против всякого доброго деяния; оно покрыло себя позором, торжественно провозгласив в обеих палатах, что беглецы из Парижа — изгои наций и что оно, правительство Бельгии, отказывает им в убежище.

Видя это, одинокий обитатель дома на площади Баррикад решил, что он, изгнанник, предоставит побежденным убежище, в котором им отказывают правительства.

В письме, преданном гласности 27 мая, он объявил, что коль скоро перед беглецами закрыты все двери, дверь его дома будет для них открыта, что они могут смело прийти к нему и будут встречены как желанные гости, что им будет обеспечена неприкосновенность в той мере, в какой это от него зависит, что в его доме никто не посмеет их тронуть, разве что применив насилие к нему самому, словом — либо они будут в полной безопасности,

¹ Горе побежденным (лат.).

как и он, либо он подвергнет себя той же опасности, что и они.

Опубликовав это заявление, он провел свой день как обычно: в задумчивости и труде; с наступлением вечера, после одинокой прогулки, он возвратился к себе. В доме все уже легли. Он поднялся на третий этаж и, подойдя к двери, прислушался к ровному дыханию спящих детей. Затем он спустился во второй этаж, в свою комнату; здесь он простоял несколько мгновений, облокотившись о подоконник, размышляя о побежденных, о поверженных, об отчаявшихся, о возносящих мольбы, о жестокостях, которые совершают люди, и созерцая божественное спокойствие ночи.

Затем он закрыл окно, набросал несколько слов, несколько стихотворных строк, еще раз с сожалением подумал и о победителях и о побежденных; не переставая размышлять, он разделся и мирно заснул.

Внезапно он пробудился. Первый глубокий сон был прерван звонком; он встрепнулся. После нескольких секунд ожидания он решил, что, видимо, кто-то ошибся дверью; быть может, ему просто почудился звон дверного колокольчика: так часто бывает во сне; и он снова опустил голову на подушку.

Комнату освещал ночник.

В ту минуту, когда старик снова готов был заснуть, вторично раздался звонок, очень настойчивый и продолжительный. На этот раз сомневаться не приходилось; он поднялся, натянул брюки, сунул ноги в домашние туфли и накинул халат; затем подошел к окну и распахнул его.

Площадь была погружена в темноту. Его взгляд был еще затуманен сном, он видел только чью-то неясную тень; высунувшись из окна, он спросил:

— Кто здесь?

Чей-то тихий, но ясно различимый голос ответил:

— Домбровский.

Домбровский принадлежал к числу тех, кто боролся и был побежден в Париже. Некоторые газеты сообщали, что он расстрелян, другие — что он спасся бегством.

Человек, разбуженный звонком, подумал, что этот беглец прочел его письмо, опубликованное сегодня утром, и пришел сюда просить у него убежища. Высунувшись еще больше из окна, хозяин дома и в самом деле увидел

сквозь ночной туман внизу, возле входа, широкоплечего человека небольшого роста; человек снял шляпу и приветствовал его. Тогда, не колеблясь, он сказал себе: «Я спущусь и открою ему».

Он выпрямился и собирался закрыть окно, когда большой камень, брошенный сильной рукой, ударился в стену над его головою. Пораженный, он выглянул в окно. Множество неясных силуэтов, которых он раньше не заметил, виднелось в глубине площади. Тогда он понял. Он вспомнил, что накануне ему говорили: «Не публикуйте этого письма». Другой камень, более ловко пущенный, разбил оконное стекло над его головой; осколки осыпали его, но ни один не поранил. Это было вторичное предупреждение о враждебных намерениях толпы. Он склонился над площадью; тени приблизились и сгрудились под его окном; он громко крикнул в толпу:

— Вы негодяи!

И захлопнул окно.

Тогда раздались бешеные вопли:

— Смерть ему!

— На виселицу!

— На фонарь!

— Смерть бандиту!

Он понял, что «бандитом» называли его.

Подумав о том, что, быть может, приближаются последние минуты его жизни, он взглянул на часы. Было половина первого ночи.

Будем кратки. Начался свирепый приступ. Подробности о нем будут приведены в этой книге. Пусть представят себе мирно уснувший дом и его тревожное пробуждение. Женщины в испуге вскочили с постели, дети заплакали от страха. Камни сыпались градом, стоял ужасающий треск разбиваемых окон и зеркал. Слышался вопль:

— Смерть ему! Смерть!

Приступ трижды возобновлялся и длился час и три четверти — с половины первого до четверти третьего ночи. Более пятисот камней было брошено в комнаты; град булыжников обрушился на постель, которую нападающие избрали своей мишенью. Все стекла большого окна были выбиты, решетка отдушины над входом погнута; что касается комнаты, то ее стены, потолок, пол, мебель, хрусталь, фарфор, портьеры — все было изуродовано

камнями; казалось, что комнату обстреляли картечью. Толпа трижды пыталась ворваться в дом, можно было различить крики: «Лестницу!» Пытались сломать ставни в нижнем этаже, но не сумели справиться с железными болтами. Старались открыть отмычкой дверной замок, но крепкий засов выдержал. Внучка старика, крошечная девочка, была больна; она плакала, дедушка взял ее на руки; камень, брошенный в него, пронесся возле головы ребенка. Женщины молились; мужественная молодая мать взобралась на стеклянную крышу оранжереи и звала на помощь; но вокруг дома, подвергшегося нападению, царило глухое безмолвие — безмолвие, порожденное страхом или, быть может, сообщничеством. В конце концов женщины уложили в колыбельки обоих испуганных детей, и старик, усевшись рядом, сжимал их ручонки в своих руках; старший, маленький мальчик, помнивший осаду Парижа, говорил вполголоса, прислушиваясь к свирепому гулу толпы:

— Это пруссаки!

В продолжение двух часов угрозы смерти раздавались все громче, разнузданная толпа бесновалась на площади. Под конец все слилось в единый вопль:

— Взломаем дверь!

Вскоре после того, как раздался этот крик, на одной из соседних улиц, примыкавших к площади Баррикад, появились два человека, смутно различимые в ночном сумраке, напоминавшем сумрак Шварцвальда. Они тащили большое бревно, словно предназначенное для того, чтобы выбивать двери осаждаемых домов.

Но когда появилось бревно, уже взошло солнце; занимался день. Днем слишком много света для некоторых деяний. Банда рассеялась. Бегство ночных птиц свидетельствует о наступлении зари.

V

Какова цель рассказа об этих двух событиях? Вот она: сопоставить два различных образа действий, вытекающие из двух различных систем воспитания.

Вот две толпы: одна вторгается в дом № 6 на Королевской площади в Париже, другая осаждает дом № 4 на

площади Баррикад в Брюсселе. Какую из них следует назвать чернью? Какая из них вызывает презрение?

Присмотримся к ним.

Одна — в лохмотьях; она — в грязи, в пыли, изнуренная, дикая; она вышла бог весть из каких трущоб, напоминающих логовища и берлоги диких зверей; это зыбь человеческих бурь; это смутный и неясный отлив, обнажающий народное дно; это трагическое зрелище мертвенно-бледных лиц; это проявление неведомого. Эти люди живут в холоде и голоде. Когда они работают, они еще кое-как перебиваются; когда они остаются без работы, они почти умирают; когда их лишают возможности трудиться, они, согнувшись, сидят в забвении в своих трущобах вместе с теми, кого Жозеф де Местр именует их самками и детенышами, они слышат, как слабые и нежные голоса просят: «Папа, хлеба!»; они живут во тьме, мало отличающейся от тьмы тюремной камеры; когда же в роковые часы, подобные июню 1848 года, толпы этих людей выходят из тьмы, то молния, мрачная молния социальной несправедливости освещает их сборище; нуждаясь во всем, они имеют право требовать почти всего; испытывая все виды страданий, они имеют право почти на любые проявления гнева. Голые руки, босые ноги. Это толпа отверженных.

Другая толпа, если присмотреться к ней поближе, выглядит щегольски и богато; она собирается в полночь, в час забав; эти люди пришли из гостиных, где поют, из кафе, где ужинают, из театров, где смеются; они, повидимому, из обеспеченных семей и нарядно одеты; некоторые привели с собою очаровательных женщин, которым хотелось полюбоваться их подвигами. Они вырядились как на праздник; они обеспечены всем необходимым, другими словами — пользуются всеми радостями жизни и разрешают себе все излишества, другими словами — всячески тешат свое тщеславие; летом они охотятся, зимой — танцуют; они еще молоды и благодаря этой счастливой поре жизни еще не почувствовали приближения скуки, которой завершаются удовольствия. Все их нежит, все их ласкает, все им улыбается; у них всего вдоволь. Это кучка счастливых.

Что же сближает в час, когда мы их наблюдаем, обе эти толпы — толпу отверженных и толпу счастливых? То, что и та и другая полны гнева.

Отверженные несут в себе глухую социальную вражду; страдальцы в конце концов приходят в негодование; одни испытывают все лишения, другие предаются утехам. Различные тунеядцы, словно пиявки, высасывают кровь из страдальцев, доводя их до последней степени изнеможения. Нищета подобна лихорадке; отсюда — и слепые приступы ярости, которая в своей ненависти к преходящему закону ранит и вечное право. Наступает час, когда те, чья правота бесспорна, оказываются неправыми. Эти голодные, одетые в лохмотья, обездоленные люди внезапно становятся мятежниками. Они кричат: «Война!» и вооружаются чем попало — ружьями, топорами, пиками; они обрушиваются на всякого, стоящего перед ними, на любое препятствие; и если это республика — что ж, тем хуже! — они вне себя; они требуют предоставить им их право на труд, они хотят жить и готовы умереть. Они негодуют, они в отчаянии, они исполнены грозной решимости сражаться. Перед ними дом, они вторгаются в него; это дом человека, которого грозный язык минуты называет «аристократом», дом человека, который в это самое мгновение противостоит им и борется с ними; они — хозяева положения; что они сделают? Разграбят дом? Чей-то голос кричит им: «Этот человек выполняет свой долг!» Они останавливаются в молчании, обнажают головы и проходят.

А вот после возмущения бедняков — возмущение богатей. Эти тоже полны ярости. Против врага? Нет. Против борца? Нет. Их привел в ярость добрый поступок; поступок, безусловно, обычный, но честный и справедливый. Поступок этот настолько обычен, что если бы не их гнев, о нем не стоило бы и говорить. Это справедливое дело было совершено утром того же дня. Человек отважился вести себя в духе братства; в момент, который заставляет думать об аутодафе и драгоннадах, он подумал об евангельских действиях доброго самаритянина; в минуту, когда, кажется, вспоминают лишь о Торквемаде, он посмел вспомнить об Иисусе Христе; он поднял голос, чтобы напомнить о милосердии и человечности; он приоткрыл дверь, ведущую в убежище, рядом с широко распахнутой

дверью, ведущей в гробницу, приоткрыл светлую дверь надежды рядом с мрачной дверью смерти; он не пожелал, чтобы могли сказать, будто не нашлось ни одного сердца, милосердного к тем, кто истекал кровью, ни одного очага, готового предложить гостеприимство поверженным; в час, когда приканчивают умирающих, он посмел подбирать раненых; то, что произошло в 1848 году, и то, что произошло в 1871 году, — произошло с одним и тем же человеком, и этот человек считает, что следует бороться против восстания, пока оно идет, и прощать его участников, когда оно потерпело поражение; вот почему он и совершил это преступление — отворил двери своего дома побежденным, предложил убежище беглецам. Отсюда — и негодование победителей. Тот, кто защищает несчастных, возмущает счастливых. Подобное злодеяние необходимо карать. И вот скромный одинокий дом, в котором стоят две колыбели, подвергается нападению: толпа ринулась к нему, угрожая смертью его обитателям; в сердцах нападавших царил ненависть, в умах — невежество, а их руки в белых перчатках сжимали камни и колья грязи.

Приступ не удался отнюдь не по вине осаждающих. Дверь не была сорвана с петель только потому, что бревно притащили слишком поздно; ребенок не был убит только потому, что камень не попал ему в голову; хозяин дома не был искалечен только потому, что взошло солнце.

Солнце послужило помехой.

Подведем итог.

Какую же толпу следует назвать чернью? Одну составляет обездоленный люд Парижа, другую — преуспевающие жители Брюсселя; какая из них оказалась сборищем негодяев?

Толпа преуспевающих счастливицев.

И человек с площади Баррикад был вправе бросить им в лицо перед началом нападения презрительное слово «негодяи».

А теперь посмотрим, какая разница существует между этими двумя группами людей — парижской и брюссельской.

Разница эта сводится к одному.

К воспитанию.

В колыбели все дети одинаковы. В отношении умственных способностей между ними могут существовать

различия, но это те отклонения, которые лишь подтверждают правило. В остальном один ребенок стоит другого. Что же превращает позднее этих одинаковых детей в не похожих друг на друга взрослых? Пища. Есть два рода пищи; первая — благотворная — это молоко матери; вторая — подчас вредоносная — это воспитание, которое дает учитель.

Отсюда и возникает необходимость наблюдать за системой воспитания.

VI

Можно было бы сказать, что в наш век существуют две школы. Эти две школы вобрали в себя и словно подытожили два различных течения, которые увлекают цивилизацию в противоположных направлениях: одно — к будущему, другое — к прошлому; имя первой школы — Париж, имя другой — Рим. Каждая из этих школ придерживается своей книги; книга Парижа — это Декларация прав человека; книга Рима — «Силлабус». Обе книги высказывают свое отношение к прогрессу. Первая говорит ему «да», вторая — «нет».

Прогресс — это поступь бога.

Революции, хотя они напоминают порою ураган, угодны небу.

Всякий ветер — это дуновение божественных уст.

Париж — это Монтень, Рабле, Паскаль, Корнель, Мольер, Монтескье, Дидро, Руссо, Вольтер, Мирабо, Дантон.

Рим — это Иннокентий III, Пий V, Александр VI, Урбан VIII, Арбуэс, Сиснерос, Лайнес, Гриландус, Игнатий.

Мы называли школы. А теперь обратимся к ученикам. Сравним их.

Взгляните на этих людей; это те — я на этом настаиваю, — у кого нет ничего; они несут на своих плечах бремя человеческого общества; в один прекрасный день они теряют терпение, — мрачный бунт кариатид; сгибаясь под тяжестью бремени, они восстают, они вступают в бой. Внезапно, в диком опьянении битвы, перед ними вырастает опасность поступить несправедливо; они сразу останавливаются. В них живет великий порыв — революция,

в них сияет яркий свет — истина; они неспособны испытывать гнев в большей мере, чем этого требует справедливость; они являют цивилизованному миру зрелище того, как, будучи угнетенными, можно сохранять умеренность, а будучи несчастными — доброту.

А теперь взгляните на других людей. Это — те, у кого есть все. Если первые находятся внизу, то эти — наверху. И вот им представляется случай проявить подлость и жестокость; они хватаются за эту возможность. Один из их вожakov — сын министра; другой их вожак — сын сенатора; среди них есть и принц. Они идут на преступление и заходят настолько далеко, насколько им позволяет короткая летняя ночь. И не их вина, что им пришлось остаться всего лишь бандитами, в то время как они мечтали стать убийцами.

Кто породил первую толпу? Париж.

Кто породил вторую толпу? Рим.

А ведь до того, как их воспитали, эти люди, повторяю, были равны. Дети богачей и дети бедняков на заре своей жизни были одинаково прелестными розовощекими младенцами с белокурыми волосами; им была свойственна одна и та же нежная улыбка; их называли одним и тем же священным словом — «дети»; слабость делала их почти равными мотыльку, чистота — почти равными богу.

И вот теперь, став взрослыми, они переменялись: одни остались добрыми, другие сделались варварами. Почему? Потому что их душа, их ум испытывали различные влияния, раскрывались в различной среде; одни дышали воздухом Парижа, другие — воздухом Рима.

Воздух, которым дышат, определяет все. От этого зависит облик человека. Дитя Парижа, даже необразованное, даже невежественное — ибо до тех пор, пока не будет осуществлено обязательное обучение, они, по воле правительств, будут обречены на невежество, — так вот, дитя Парижа, не подозревая об этом и не замечая этого, дышит воздухом, который делает его честным и справедливым. В этой атмосфере — вся наша история: памятные даты, великие деяния и великие творения, герои, поэты, ораторы, «Сид», «Тартюф», Философический словарь, Энциклопедия, терпимость, братство, здравый смысл, литературные идеалы, общественные идеалы, великая душа

Франции. Атмосфера Рима проникнута инквизицией, указателем запрещенных книг, цензурой, пытками, верой в непогрешимость одного человека, заменившей веру в божественную справедливость, отрицанием науки, утверждением вечного ада, дымом каминов и пеплом костров. Париж порождает народ, Рим порождает чернь. Если бы фанатизму удалось принудить цивилизацию дышать атмосферой Рима, все было бы потеряно: в тот день человечество погрузилось бы во мрак.

В Брюсселе царит атмосфера Рима. Люди, которые бесчинствовали на площади Баррикад, — ученики Квиринала; они до такой степени католики, что перестали быть христианами. Они сильны; они отлично научились пресмыкаться и извиваться; им знакомы оба пути — путь Мандрена и путь Эскобара; они изучили все ночные приемы, навыки бандитизма и догматы папских посланий; они бы собственноручно сжигали на кострах, если бы не были иезуитами; они со знанием дела нападают на мирно спящий дом и используют свой талант во славу религии; они защищают общество на манер грабителей с большой дороги; они сочетают усердную молитву с нападением и взломом; они скатываются от ханжества к бандитизму; словом, своим поведением они показывают, как легко ученикам Лойолы стать подражателями Шиндерханнеса.

Возникает один вопрос.

Злодеи ли эти люди?

Нет.

Кто же они в таком случае?

Глупцы.

Быть жестоким нетрудно; для этого достаточно быть глупцом.

Но родились ли они глупцами?

Вовсе нет.

Их сделали глупцами; мы только что об этом сказали.

Одурманивать людей — это искусство.

Священнослужители различных культов именуют это искусство «свободой обучения».

Они не вкладывают в это понятие никакого злого умысла: их собственный разум был искалечен; испытав это на самих себе, они хотят проделать то же самое с другими.

Кастрат, создающий евнухов, — вот что такое «свободное обучение».

Подобной операции будут подвергнуты наши дети, если будет дан ход закону, впрочем маложизненному, который был принят ныне покойным Собранием.

Рассказ о двух событиях, который вы только что прочли, — всего лишь заметка на полях этого закона.

VII

Кто говорит «воспитание» — говорит «управление»; обучать — значит царить: мозг человека — точно податливый воск; на нем отпечатывается добро или зло, в зависимости от того, воздействует ли на него идеал или в него впиивается когтистая лапа.

Воспитание, осуществляемое духовенством, означает осуществляемое духовенством правление. Правление этого рода осуждено. Это оно воздвигло на величественной вершине прославленной Испании ужасный алтарь Молоха — кемадеро Севильи. Это оно создало после античного Рима папский Рим — чудовищное удушение Катона рукою Борджа.

Диалектика подчиняется двойному закону: обозревать сверху и пристально изучать вблизи. Правители-священники оказываются несостоятельными с обеих точек зрения: вблизи видишь их пороки, сверху видишь их преступления.

Они держат взрослых в тисках, они накладывают свою лапу и на детей. Историю, которую творил Торквемада, излагает Лорике.

Вершина — деспотизм, основание — невежество.

VIII

У Рима много рук. Он подобен античному сторукому великану — гекатонхейру. Это чудище считали сказочным до появления спрута в океане и папской власти в средневековой Европе. Папская власть сначала называлась Григорий VII, и она превратила королей в рабов; затем она называлась Пий V, и она превратила народы в узников.

Французская революция заставила ее выпустить добычу; грозный меч республики обрубил щупальцы, обвинявшие человеческую душу, и освободил мир от этих зловредных пут, которые Лукреций называл *arctis nodis religionum*¹; но щупальцы отросли, и вот ныне сто рук Рима вновь высовываются из пучины и протягиваются к дрожащим от напряжения снастям движущегося корабля — страшная опасность, которая грозит потопить цивилизацию.

В нынешний час Рим подчинил себе Бельгию; но тот, кто не владеет Францией, не владеет ничем. Рим хотел бы подчинить себе Францию. Мы присутствуем при этой зловещей попытке.

Париж и Рим вступили в единоборство.

Рим зарится на нас.

Мрак собирает вокруг нас все свои силы.

Это — ужасное вожделение бездны.

IX

Вокруг нас вздыблены все многочисленные силы прошлого: дух монархии, дух суеверий, дух казармы и монастыря, ловкость лжецов и смятение тех, кто не разбирается в происходящем. Против нас — дерзость, наглость, нахальство, молодечество и страх.

За нас — один только свет.

Именно поэтому мы победим.

Как бы странно ни выглядело то, что сегодня происходит, каким бы безнадежным ни казалось положение, ни один серьезный человек не должен впадать в отчаянье. Да, на первый взгляд дело обстоит плохо, но судьба подчиняется некоему нравственному закону, существуют подводные течения. В то время, когда на поверхности бушуют волны, эти течения делают свое дело. Их работа происходит незримо, но в конечном счете она всегда выступает из мрака; незаметное приводит к непредвиденному. Научимся же постигать неожиданное в истории. В тот миг, когда зло рассчитывает восторжествовать, оно терпит крах; уже само нагромождение зла таит в себе причину его гибели.

¹ Тесные пути верований (лат.).

Все недавние события (и в главном и в частности) полны такого рода неожиданностей. Если нужен пример, вот он.

Если это отступление от темы, пусть нам простят его, ибо оно ведет к цели.

Х

В каждом Собрании есть деталь обстановки, именуемая трибуной. Когда парламенты станут тем, чем им надлежит быть, трибуны в них будут из белого мрамора, как и подобает треножнику мысли и алтарю совести; и тогда появятся новые Фидии и Микеланджело, способные их создать. В ожидании того времени, когда трибуна будет из мрамора, ее делают из дерева, а в ожидании того времени, когда она станет треножником и алтарем, она, как мы только что сказали, пока является деталью обстановки. Это менее обременительно при государственных переворотах: коль скоро это мебель, ничто не мешает отправить ее на чердак. Случается, что ее приносят обратно. Именно это произошло с трибуной нынешнего сената.

Трибуна сделана из дерева, и даже не из дуба, а из красного дерева, с пилястрами и позолоченными медными полосками. Она выдержана в духе Директории, и творцом ее был не Микеланджело или Фидий, а скульптор Раврио. Ей уже немало лет, хотя она выглядит новой. Она не девственница, она служила трибуной в Совете старейшин и была свидетельницей возмутительного вторжения гренадеров Бонапарта. Затем она служила трибуной в сенате империи. Она была ею даже дважды: сначала после Восемнадцатого брюмера, потом после Второго декабря. Через нее прошла вереница ораторов обеих империй; на нее всходили люди с возвышенной и непреклонной душой — сначала неприступный Камбасерес, затем негибачей Тролон; она видела, как на смену стыдливому Фуше пришел целомудренный Барош; невольно напрашивается сравнение выступавших с этой трибуны гордых сенаторов, таких, как Сьейес и Фонтан, с другими, не менее высокомерными, выступавшими пятьдесят лет спустя, такими, как Мериме и Сент-Бев. На этой трибуне блистали Сюэн, Фульд, Делангль, Эспинас, Низар.

Перед ней находилась скамья епископов, на которой мог бы восседать Талейран, и скамья для генералов, на которой сидел Базен. Она видела, как Первая империя началась с мечты — Аустерлица, а Вторая империя закончилась печальным пробуждением — расчленением страны. Она видела Фьялена, Вьейяра, Пелисье, Сент-Арно, Дюпена. Ни одна знаменитость не миновала ее. Она присутствовала при неслыханных чествованиях: при праздновании Пуэблы, при осанне по поводу Садовой, при апофеозе Ментаны. Она слышала, как люди сведущие утверждали, что, расстреливая гуляющих на бульварах, спасают общество, семью и религию. С этой трибуны выступал и человек, которого нет больше в числе кавалеров ордена Почетного легиона. Если говорить о Второй империи, то эта трибуна в продолжение девятнадцати лет отсвечивала всеми красками позора; она слышала своего рода нескончаемый гимн, который благочестивые безбожники тянули столь же заунывно, как благочестивые католики, — гимн в честь вероломства, злодеяния и предательства; нет такой низости, которую бы с нее не провозглашали; нет такой подлости, которая бы ее миновала; эта трибуна пользовалась официальной неприкосновенностью; ее величие так раздували, что это в конце концов привело ее к последней степени низости; она слышала, как кто-то предложил вверить шпагу Франции авантюристу, чтобы он довел страну до того, чему нет имени, — до Седана; эта трибуна перед лицом надвигающейся катастрофы трепетала в предчувствии славы и радости, этот кусок красного дерева находился в близком родстве с императорским тронном, который, кстати, как известно со слов Наполеона, был сделан из ели; другие трибуны были предназначены для речей, этой же было предназначено оставаться безмолвной, — ибо разве не значит безмолвствовать, когда не говорят народу о долге, праве, чести и справедливости? И что же! Наступил день, когда эта трибуна внезапно заговорила, — о чем? О том, что происходит в действительности.

Однажды — и в этом заключается одна из тех неожиданностей, которые порождает глубоко скрытая логика событий, — увидели, что эта трибуна, которую последовательно занимали все продажные люди, восторгавшиеся беззаконием, и все заговорщики, поддерживавшие пре-

ступление, оказывается была предназначена для того, чтобы на нее взошла справедливость; наступил час, и 22 мая 1876 года какой-то прохожий, первый встречный, не важно кто, — но ведь устами таких людей и говорит история, — поднялся на эту трибуну, которая дотоле служила лишь империи, и заговорил языком фактов; он превратил эту вершину императорской славы в позорный столб для Кесаря; с той самой трибуны, где служили молебны преступлению, он ниспроверг этот молебен от имени человеческой совести; подчеркнем же: неожиданное в истории проявилось в том, что с высоты пьедестала лжи заговорила истина.

Однако обе империи просуществовали довольно долго. Что касается Второй империи, то она даже провозгласила себя ниспосланной богом, то есть чуть ли не вечной.

Пусть все это заставит задуматься нынешних заговорщиков, сторонников деспотизма. Когда Кесарь умирает, Петр чувствует себя больным.

XI

Париж восторжествует над Римом.

Ныне судьбы человечества заключены в этих четырех словах.

Рим пойдет под уклон, Париж устремится ввысь.

Мы имеем в виду не два города, которые оба одинаково величественны, а два принципа; Рим символизирует веру, Париж — разум.

Дух древнего Рима сегодня живет в Париже. Капитолий ныне находится в Париже; в Риме остается лишь Ватикан.

О Париже можно сказать, что ему присуща рыцарская доблесть; это город без страха и упрека. «Без страха» — он это доказывает перед лицом врага; «без упрека» — он это доказывает перед лицом истории. Подчас он испытывал гнев, — разве в небе не бывает ветра? Подобно сильным ветрам, гнев Парижа — гнев очистительный. После Четырнадцатого июля нет Бастилии; после Десятого августа нет королевской власти. Небо после таких гроз становится еще более синим.

Не всегда острые вспышки гнева являются делом Парижа. Так, например, история засвидетельствует, что то, в чем упрекают Восемнадцатое марта, не следует приписывать народу Парижа; печальную ответственность за эти события несут несколько человек, и истории еще предстоит решить, с чьей стороны имело место подстрекательство и какой характер носили репрессии. Дождемся же приговора истории.

А пока на всех нас, кто бы мы ни были, лежат серьезные обязательства; не будем же забывать о них.

Человек носит в своей душе образ божий, я говорю о его совести; католицизм лишает человека совести, бога в его душе он заменяет священником, — в этом и состоит таинство исповеди; религиозные догмы, мы уже говорили об этом, подменяют разум; отсюда и рождается глубочайшее порабощение: вера в нелепость — *credo quia absurdum*¹.

Католическая религия делает человека рабом, философия делает его свободным.

И это налагает величайшие обязанности.

Религиозные догмы служат либо помочами, либо костылями. Католицизм смотрит на человека то как на ребенка, то как на старика. Для философии человек всегда человек. Просвещать — значит освобождать. Освобождать человека от фальши — значит укреплять его в истине.

Выскажем эти суровые истины.

XII

Все, что увеличивает свободу, увеличивает и ответственность. Быть свободным не так просто; свобода — не легкая привилегия: освобождая тело от пут, она налагает бремя на совесть; в душе свободного человека право преобразуется в долг. Нужно отдавать себе отчет в своих деяниях: мы живем в ответственное время. Мы отвечаем одновременно за то, что было, и за то, что будет. Позади нас — то, что свершили наши отцы, перед нами — то, что свершат наши дети. Перед отцами мы должны отчитаться в том, насколько свято мы храним их традиции,

¹ Верую, потому что нелепо (лат.).

перед детьми — в том, верно ли мы намечаем их путь. Мы обязаны быть смелыми последователями одних и благоразумными наставниками других. Было бы ребячеством закрывать глаза на то, что в обществе идет скрытая работа, что происходит пересмотр человеческих установлений, что готовятся социальные преобразования. Постараемся же, чтобы эти преобразования прошли спокойно и были приняты теми слоями населения, которые имеются (с моей точки зрения, несправедливо) верхами и низами общества, с братским чувством, в духе взаимопонимания. Пусть потрясения сменяются уступками. Именно так происходит развитие цивилизации. Прогресс — не что иное, как полюбовно совершенная революция.

Итак, законодатели и граждане, удвоим благоразумие, другими словами — доброжелательность. Исцелим раны, прекратим вражду; уничтожая ненависть, мы уничтожаем войну; пусть ни одна буря не возникает по нашей вине. Восемьдесят девятый год был благодетельным гневом. Девяносто третий год был необходимой яростью; но отныне в насилии нет больше ни пользы, ни необходимости; всякое ускорение движения выглядело бы сегодня как смута; лишим ярость и гнев права на существование. Воспрепятствуем тому, чтобы где-либо тлела грозная искра. Достаточно мы уже вторгались в область неведомого! Я принадлежу к числу тех, кто надеется на это неведомое, но при условии, что мы уже сейчас внесем в него как можно больше умиротворения. Будем действовать с мужественной добротой сильных. Задумаемся над тем, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Постараемся избрать отлогий путь к тому, к чему мы должны прийти; успокоим народы установлением мира, людей — установлением братства, примирим интересы установлением равновесия. Никогда не будем забывать, что мы ответственны за вторую половину девятнадцатого столетия и что мы стоим между великим прошлым — революцией во Франции, и великим будущим — революцией в Европе.

Париж, июль 1876

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

5 сентября 1870 года

Нехватает слов, чтобы выразить, до какой степени меня волнует непередаваемый прием, оказанный мне великодушным народом Парижа.

Граждане, некогда я сказал: «Я вернусь в тот день, когда вернется республика». И вот я здесь.

Два величайших обстоятельства призывают меня. Первое — республика, второе — опасность.

Я возвращаюсь сюда, чтобы исполнить свой долг.

В чем состоит мой долг?

В том же, в чем состоит ваш долг, в чем состоит наш общий долг.

Защищать Париж, оберегать Париж.

Спасти Париж — значит больше, чем спасти Францию; это значит — спасти весь мир.

Париж — это центр человечества. Париж — священный город.

Кто нападает на Париж, угрожает всему человеческому роду.

Париж — столица цивилизации, а цивилизация — не королевство и не империя, цивилизация — это весь род человеческий, его прошлое и его будущее. Знаете ли вы, почему Париж — город цивилизации? Потому что он — город революции.

Возможно ли, чтобы эта столица, этот источник света, эта обитель умов, сердец и дум, это средоточие всемирной мысли, этот великий город был осквернен, разбит, взят приступом, и как — в результате варварского наше-

ствия? Нет, это невозможно, этого не будет. Никогда, никогда, никогда!

Граждане, Париж восторжествует потому, что он выражает человеческую идею, и потому, что он воплощает дух народа.

Дух народа всегда находится в согласии с идеалами цивилизации.

Париж восторжествует, но при одном условии: если вы, я, все мы, здесь присутствующие, ощутим в себе единую душу, если все мы почувствуем себя солдатами и гражданами; гражданами — чтобы любить Париж, солдатами — чтобы его защитить. При этом условии — с одной стороны, единая республика, с другой стороны, единодушный народ — Париж восторжествует.

Что до меня, то я благодарю вас за приветствия, но целиком отношу их за счет великой тревоги, переполняющей все сердца, тревоги за отечество, находящееся под угрозой.

Я прошу вас лишь об одном — единении!

В единении — путь к победе.

Забудьте всякую вражду, откажитесь от всякого злопамятства, будьте едины — и вы будете непобедимыми.

Перед лицом вторжения сплотимся все, как братья, вокруг республики. Мы победим.

Лишь с помощью братства можно спасти свободу.

ВОЗЗВАНИЕ К НЕМЦАМ

Немцы, к вам обращается друг.

Три года назад, во время Всемирной выставки 1867 года, из глубины изгнания я говорил вам: «Добро пожаловать в ваш город!»

В какой город?

В Париж.

Ибо Париж не принадлежит нам одним. Париж в такой же степени ваш, как и наш. Берлин, Вена, Дрезден, Мюнхен, Штутгарт — ваши главные города; Париж — ваш центр. В Париже ощущаешь биение сердца Европы. Париж — это город городов. Париж — это город всех людей. Существовали Афины, существовал Рим, существует Париж.

Париж — не что иное, как воплощение бесконечного гостеприимства.

Сегодня вы вновь приходите сюда.

В качестве кого?

Как братья, словно три года назад?

Нет, как враги.

Почему?

Откуда это зловещее недоразумение?

Два народа создали Европу. Эти два народа — Франция и Германия. Германия явилась для Запада тем, чем Индия была для Востока, своего рода прабабушкой. Мы ее чтим. Но что же все-таки происходит? И что все это означает? Сегодня Германия хочет разрушить ту самую Европу, которую она создавала своим продвижением, а Франция — своим блеском.

Возможно ли это?

Калеча Францию, Германия разрушит Европу.

Уничтожая Париж, Германия разрушит Европу.

Задумайтесь.

Для чего это вторжение? Для чего это варварское наступление на братский народ?

Что мы вам сделали?

Разве мы причина этой войны? Ее хотела империя, она ее затеяла. Теперь империя мертва. Это хорошо.

У нас нет ничего общего с этим трупом.

Империя — это прошлое, мы — будущее.

Империя — это воплощение вражды, мы — воплощение дружбы.

Империя — это воплощение измены, мы — воплощение верности.

Империя — это Капуя и Гоморра, мы — Франция.

Мы являемся французской республикой; наш девиз: «Свобода, Равенство, Братство»; мы пишем на своем знамени: «Соединенные Штаты Европы». Мы — такой же народ, как вы. У нас был Верцингеторикс, как у вас был Арминий. Одно и то же братское сияние, величественный признак единства соединяют немецкое сердце и французскую душу.

Это до такой степени верно, что мы заявляем вам:

Если, к несчастью, роковое заблуждение толкнет вас на акты крайнего насилия, если вы нападете на нас в этом священном городе, который до известной степени

вверен Франции Европой, если вы отважитесь на штурм Парижа, мы будем обороняться до последней возможности. Мы будем сражаться против вас изо всех сил, но мы заявляем вам, что попрежнему будем считать себя вашими братьями. Знаете ли вы, где мы разместим ваших раненых? Во дворце нации. Мы заранее предназначаем Тюильри под госпиталь для раненых пруссаков. Там будет размещен лазарет для ваших храбрых солдат, попавших в плен. Там наши женщины будут ухаживать за ними и оказывать им помощь. Ваши раненые будут нашими гостями. Мы будем обращаться с ними по-царски, и Париж примет их в свой Лувр.

С этим братским чувством в душе мы примем вашу войну.

Но в чем смысл этой войны, немцы? С ней должно быть покончено, поскольку покончено с империей. Вы поразили вашего врага, который был и нашим врагом. Чего вы еще хотите?

Вы стремитесь силой овладеть Парижем! Но мы ведь всегда с любовью предоставляли его вам. Не заставляйте же народ, который во все времена протягивал вам руку, закрывать перед вами дверь. Не заблуждайтесь по поводу Парижа. Париж любит вас, но Париж будет с вами сражаться. Париж будет сражаться с вами, осененный грозным величием своей славы и своего траура. Перед угрозой грубого насилия Париж может стать страшным.

Жюль Фавр красноречиво сказал вам об этом, и все мы повторяем вам: вас ждет сопротивление, порожденное негодованием.

Овладев внешними укреплениями, вы найдете за ними внутренние укрепления; овладев этими укреплениями, вы найдете за ними баррикады; овладев баррикадами, вы, быть может (кто знает, что в минуту крайней опасности может подсказать людям патриотизм?), обнаружите заминированную сточную трубу, которая заставит взлететь на воздух целые кварталы. Вы готовите себе ужасную участь: овладевать Парижем камень за камнем, умерщвлять Европу на его площадях, шаг за шагом, на каждой улице, в каждом доме убивать Францию; погасить этот великий светоч можно, лишь погасив его в душе каждого парижанина. Остановитесь же!

Немцы, страшитесь Парижа! Остановитесь в раздумье у его стен. Он способен на любое преобразование. Его изнеженность может внезапно обернуться силой; он казался спящим, он пробуждается; как шпагу, извлекает он из ножен идею, и этот город, который вчера был Сибарисом, может завтра стать Сарагосой.

Говорим ли мы все это для того, чтобы вас устроить? Конечно, нет! Вас нельзя устроить, немцы. Ваш Галгак противостоял Риму, а Кернер — Наполеону. Мы — народ «Марсельезы», а вы — народ «Закованных в броню сонетов» и «Клича шпаги». Вы — народ мыслителей, который при необходимости превращается в легион героев. Ваши солдаты достойны наших; наши солдаты — воплощение неколебимой храбрости, ваши — воплощение спокойной отваги.

Однако слушайте.

Ваши генералы хитры и искусны, наши начальники были бездарны; вы вели войну скорее с ловкостью, нежели со славой. Ваши генералы предпочитали величию выгоду, то было их право; вы захватили нас врасплох; вас было десять против одного; наши солдаты стоически встречали смерть от вашей руки, вы же предусмотрительно обеспечили себе все шансы на победу; таким образом, до сих пор в этой страшной войне Пруссия одерживала победы, но Франция стяжала себе славу.

Теперь (задумайтесь над этим!) вы рассчитываете нанести последний удар и, воспользовавшись тем, что почти вся наша великолепная армия, обманутая и проданная, ныне полегла на поле битвы, ринуться на Париж; вы, семьсот тысяч солдат, со всеми своими орудиями войны — митральезами, стальными пушками, ядрами Круппа, ружьями Дрейза, вашей бесчисленной кавалерией, вашей грозной артиллерией, — готовитесь обрушиться на триста тысяч граждан, стоящих на крепостных валах, на отцов, защищающих свои очаги, на город, полный дрожащих семей, где есть жены, сестры, матери и где в этот час я, обращающийся к вам, живу с двумя внуками, один из которых еще не отнят от материнской груди. И на этот город, неповинный в возникновении настоящей войны, на этот город, который не сделал вам ничего дурного, а, наоборот, дал вам частицу своего света, на Париж, одинокий, гордый и доведенный до отчаяния, вы обрушиваетесь, словно

гигантская волна убийств и сражений! Вот какова будет ваша роль, доблестные люди, храбрые солдаты, прославленная армия благородной Германии! Подумайте же хорошенько!

Неужели девятнадцатый век станет свидетелем чудовищного явления — возвращения просвещенного народа к состоянию варварства? Неужели немцы уничтожат город наций, Германия погасит Париж, страна германцев поднимет топор на страну галлов? Неужели вы, потомки тевтонских рыцарей, будете вести бесчестную войну, неужели вы уничтожите средоточие людей и мыслей, в которых нуждается мир, принесете гибель вечному городу, возродите времена Аттилы и Алариха, повторите, вслед за Омаром, пожар библиотеки человечества, сотрете с лица земли Ратушу, подобно тому как гунны стерли с лица земли Капитолий, будете обстреливать Собор Парижской богородицы, подобно тому как турки обстреливали Парфенон; неужели вы явите миру подобное зрелище, немцы, вновь ставшие вандалами; неужели вас прельщает роль варваров, обезглавливающих цивилизацию?!

Нет, нет и нет!

Знаете ли вы, что принесет вам такая победа? Она принесет вам бесчестие.

Конечно же, никому не приходит мысль запугать вас, немцы, мужественные люди, великодушные воины; но вас можно образумить. Ведь никто не заподозрит вас в том, что вы ищете бесчестия; а между тем вы стоите на грани бесчестия; и я, европеец, другими словами — друг Парижа, и я, парижанин, другими словами — друг народов, предупреждаю вас об опасности, угрожающей вам, мои немецкие братья, ибо я вами восхищаюсь, ибо я вас уважаю и хорошо знаю, что если что-либо может заставить вас отступить, то не страх, а стыд.

Благородные воины, с каким чувством вернетесь вы к своим очагам? Вы возвратитесь победителями с опущенной головой. И что сказали бы вам ваши жены?

Смерть Парижа — какое горе!

Уничтожение Парижа — какое преступление!

Мир погрузится в траур, на вас падет преступление.

Не берите на себя такой ужасной ответственности. Остановитесь.

И, наконец, последнее. Париж, доведенный до крайности, Париж, поддержанный всей Францией, поднявшейся на врага, способен победить и победит; и окажется, что вы напрасно вступили на путь насилия, которым уже возмущается мир. Во всяком случае вычеркните из этих поспешно написанных строк слова — *разрушение, уничтожение, смерть*. Нет, Париж нельзя уничтожить. Можно еще ценою огромных усилий превратить его в развалины, но его духовное величие от этого лишь возрастет. Обращая Париж в руины, вы сделаете его священным. Разрушение его зданий приведет к распространению его идей. Развейте прах Парижа по ветру — вы добьетесь лишь того, что мельчайшие частицы пепла превратятся в ростки будущего. Превращенный в кладбище, Париж попрежнему будет возглашать: «Свобода, Равенство, Братство!» Париж — город, но в нем живет бессмертная душа. Сожгите его строения — это всего лишь скелет города; дым пожаров приобретет форму, станет огромным и живым, поднимется ввысь, и на горизонте народов, возвышаясь над нами, над вами, над всем и над всеми, свидетельствуя о нашей славе, свидетельствуя о вашем позоре, вечно будет стоять это великое видение, сотканное из света и тени, — Париж.

Я сказал все. Если вы и теперь станете упорствовать, немцы, — что ж, вы предупреждены. Действуйте. Идите, штурмуйте стены Парижа. Под градом ваших ядер и картечи он будет защищаться. А я, старик, останусь в нем безоружным. Я предпочитаю быть с народами, которые умирают, и мне жаль вас, идущих с королями, которые убивают.

Париж, 9 сентября 1870

ВОЗЗВАНИЕ К ФРАНЦУЗАМ

Мы по-братски предупредили Германию.

Германия продолжает свое движение на Париж.

Она стоит у ворот.

Империя напала на Германию так же, как в свое время напала на республику: врасплох, вероломно; сего-

дня Германия мстит республике за войну, которую вела против немцев империя.

Пусть. История рассудит.

То, как поступит сейчас Германия, — ее дело; но у нас, французов, есть свои обязательства перед народами и перед родом человеческим. Выполним же их.

Первая наша обязанность — служить примером.

Время, в которое мы живем, — это великий час испытания для народов.

Каждый покажет, чего он стоит.

Франция обладает той же привилегией, которой некогда обладал Рим, которой некогда обладала Греция: упрощающая ей опасность свидетельствует о падении цивилизации.

К чему идет человечество? Мы это сейчас увидим.

Если бы случилось невозможное и Франция пала, то по количеству воды, обрушившейся на нее во время этого потопа, можно было бы судить о степени падения человеческого рода.

Но Франция не падет.

По очень простой причине, и мы только что на нее указали. Потому что она выполнит свой долг.

Долг Франции перед всеми народами, перед всеми людьми — спасти Париж не ради самого Парижа, а в интересах всего мира.

Этот долг Франция выполнит.

Пусть поднимутся все общины! Пусть все деревни запыхают гневом! Пусть все леса наполнятся громовым раскатом голосов! Пусть зазвучит набат! Пусть каждый дом выставит солдата; пусть каждое предместье станет полком; пусть каждый город делается армией. Пруссак — восемьсот тысяч, вас — сорок миллионов. Поднимитесь же и развейте их по ветру! Лилль, Нант, Тур, Бурж, Орлеан, Дижон, Тулуза, Байонна, подпоясывайтесь! Вперед! Бери свое ружье, Лион; бери свой карабин, Бордо; обнажи свою шпагу, Руан; а ты, Марсель, явись грозный, со своей песнью на устах. Города, города, города! Взметните леса пик, примкните штыки, выкатите пушки, а ты, деревня, возмись за вилы. Нет пороха, нет боевых припасов, нет артиллерии? Неправда, есть. Ведь и у швейцарских крестьян были только топоры, у польских крестьян — только косы, у бретонских крестьян — только палки. И они

сметали все на своем пути! Все приходит на помощь тому, кто защищает правое дело. Мы — у себя. Хорошая погода будет за нас, ненастье будет за нас, ливень будет за нас. Война или Позор! Кто хочет, тот все может. Самое дрянное ружье становится превосходным, когда в груди бьется смелое сердце; обломок старой сабли неодолим, когда его сжимает доблестная рука. Крестьяне Испании первыми разбили Наполеона. Тотчас же, немедленно, не теряя ни одного дня, не теряя ни одного часа, пусть каждый — богач, бедняк, рабочий, буржуа, земледелец — найдет у себя дома или подберет с земли все, что походит на оружие или метательный снаряд. Обрушивайте скалы, берите в руки булыжники мостовой, превращайте лемехи в топоры, превращайте борозды в траншеи, сражайтесь с помощью всего, что попадет вам под руку, хватайте камни нашей священной земли, бейте захватчиков костями нашей матери — Франции. Да, граждане, любой придорожный булыжник, который вы швырнете им в лицо, — это частица родины.

Пусть каждый мужчина будет таким, как Камилл Демулен, пусть каждая женщина будет такой, как Теруань, пусть каждый подросток будет таким, как Барра! Поступайте так, как поступил охотник на пантер Бонбоннель, который с отрядом в пятнадцать человек уничтожил двадцать пруссаков и тридцать захватил в плен. Пусть улицы городов поглощают врагов, пусть в ярости распахиваются окна, пусть из каждой квартиры в захватчиков швыряют мебель, пусть каждая крыша обрушивает на них черепицы, пусть взывают к отмщению седины негодующих матерей. Пусть вопиют могилы, пусть за каждой стеной чувствуется присутствие народа и бога, пусть повсюду из-под земли извергается пламя, пусть каждый куст станет неопалимой купиной! Нападайте здесь, поражайте там, захватывайте обозы, перерезайте построики, снесите мосты, разрушайте дороги, ройте подкопы, и пусть земля Франции превратится в бездну для Пруссии.

Народ! Тебя загнали в подсемье. Выпрямись же внезапно во весь свой рост. Яви миру грозное чудо своего пробуждения. Пусть лев Девяносто второго года встанет и ощетинится, и пусть все увидят, как устремится в бегство огромная черная стая двуглавых коршунов, едва он взмахнет своей гривой!

Будем сражаться днем и ночью, будем сражаться в горах, в долинах, в лесах. Вставайте! Вставайте! Ни передышки, ни отдыха, ни сна. Деспотизм атакует свободу, Германия покушается на Францию. Пусть мрачный пламень нашей земли растопит эту огромную армию, как снег. Пусть ни одна пядь земли не уклоняется от своего долга. Поднимемся на грозный бой за родину. Вперед, вольные стрелки! Пробирайтесь сквозь чащи, преодолевайте потоки, продвигайтесь под покровом тьмы и сумерек, ползите по оврагам, скользите, карабкайтесь, цельтесь, стреляйте, истребляйте захватчиков. Защищайте Францию героически, с отчаянием, с нежностью. Вселяйте ужас, патриоты! И останавливайтесь только у хижины, попавшейся вам на пути, чтобы поцеловать в лоб спящего ребенка.

Ибо ребенок — это грядущее. Ибо грядущее — это республика.

Свершим же это, французы.

Что касается Европы, то что нам за дело до нее! Если у нее есть глаза, пусть смотрит. Нам помогают, если сами того хотят. Мы не ищем союзников. Если Европа боится, пусть себе боится. Мы оказываем ей услугу, вот и все. Пусть она сидит себе дома, если ей угодно. Для грозной развязки, на которую Франция пойдет, если Германия ее к тому принудит, Франции хватит самой Франции, а Парижу — Парижа. Париж всегда давал больше, чем получал. Если он приглашает народы помочь ему, то делает это скорее в их интересах, чем в своих собственных. Пусть они поступают как хотят, Париж никого не просит. Такой великий проситель, как он, удивил бы историю. Будь великой или ничтожной — это твое дело, Европа. Жгите Париж, немцы, как вы сожгли Страсбург. Вы разожжете больше гнева, чем подожжете домов.

У Парижа есть укрепления, крепостные валы, рвы, пушки, укрытия, баррикады, сточные трубы, которые станут подземными ходами; у него есть порох, керосин и нитроглицерин; в нем триста тысяч вооруженных граждан; его вдохновляют честь, справедливость, право, возмущенная цивилизация; алое пламя республики вырывается из его кратера; по его склонам уже струятся и текут потоки лавы, и он полон, этот могучий Париж, бурными проявлениями высоких человеческих чувств. Спокойный и грозный, ожи-

дает он вторжения и ощущает, как нарастает в нем гнев. Вулкан не нуждается в помощи.

Вы будете сражаться, французы. Вы посвятите себя служению всемирному делу, ибо для того, чтобы земной шар был свободен, нужно, чтобы Франция была великой; ибо нельзя допустить, чтобы столько крови было пролито и столько костей осталось белеть на полях, если эти жертвы не приведут к торжеству свободы; ибо тени всех великих людей — Леонида, Брута, Арминия, Данте, Риенци, Вашингтона, Дантона, Риго, Манина — окружают вас, улыбаясь и гордясь вами; ибо пришло время показать миру, что добродетель существует, что долг существует, что отечество существует; и вы не ослабеете, и вы пойдете до конца, и мир узнает благодаря вам, что если дипломаты трусливы, то гражданин — храбр; что если существуют короли, то существуют также народы; что если монархический континент погружается во мрак, то республика излучает свет, и что если сейчас нет больше Европы, то Франция существует вечно.

Париж, 17 сентября 1870

ВОЗЗВАНИЕ К ПАРИЖАНАМ

Пруссак, повидимому, решили, что Франция станет Германией, а Германия станет Пруссией; что я, говорящий с вами, лотарингец по рождению, — немец; что яркий полдень — не полдень, а ночь; что Эврот, Нил, Тибр и Сена — притоки Шпрее; что город, который вот уже четыре века освещает земной шар, не имеет больше права на существование; что достаточно одного Берлина; что Монтень, Рабле, Д'Обинье, Паскаль, Корнель, Мольер, Монтескье, Дидро, Жан-Жак, Мирабо, Дантон и французская революция никогда не существовали; что больше не нуждаются в Вольтере, раз существует г-н фон Бисмарк; что вселенная принадлежит тем, кто был побежден Наполеоном Великим и победил Наполеона Малого; что отныне мысль, совесть, поэзия, искусство, прогресс, ум будут начинаться в Потсдаме и заканчиваться в Шпандау; что больше не будет цивилизации, что больше не

будет Европы, что больше не будет Парижа; что необходимость солнца еще не доказана; что, помимо всего прочего, мы подаем дурной пример; что мы — Гоморра, а они, пруссаки, — небесный огонь; что настало время с нами покончить и что отныне род человеческий будет величиной второстепенной.

Это решение направлено против вас, парижане. Уничтожая Париж, калечат мир. Нападение направлено против *urbi et orbi*¹. Если Париж угаснет, а обязанность светить будет возложена на одну лишь Пруссию, Европа окажется в потемках.

Возможно ли такое будущее?

Не станем трудиться произносить «нет».

Ответим просто улыбкой.

Два противника стоят сейчас друг против друга. С одной стороны — Пруссия, вся Пруссия с девятьюстами тысячами солдат; с другой стороны — Париж с четырьмястами тысячами граждан. С одной стороны — сила, с другой — воля. С одной стороны — армия, с другой — народ. С одной стороны — мрак, с другой — свет.

Возобновляется древний поединок между архангелом и драконом.

Он и сегодня кончится тем же, чем кончился в прошлом.

Пруссия будет повержена.

Эта война, какой бы страшной она ни казалась, до сих пор была еще малой войной. Она превратится в великую.

Мне очень жаль вас, пруссаки, но вам вскоре придется изменить ваш способ ведения войны. Вести войну скоро станет куда менее удобно. Вас попрежнему будет двое или трое против одного, я это знаю; но надо будет атаковать Париж в лоб. Не будет больше ни лесов, ни кустарников, ни оврагов, невозможно будет прибегать к нечестной тактике, нельзя будет подкрадываться в темноте. Кошачья стратегия мало что может дать, когда имеешь дело со львом. Не будет больше внезапностей. Теперь ваше приближение заметят. Напрасно вы будете стараться двигаться бесшумно, смерть вас услышит. У нее — этого грозного часового — тонкий слух. Вы

¹ Города и мира (лат.).

шпионите, но мы тоже внимательно следим за вами. Париж, с молнией в руке, с пальцем на спусковом крючке, бодрствует и пристально смотрит вдаль. Что ж, нападите. Выходите из мрака. Покажитесь-ка. С легкими успехами покончено. Начинается рукопашная схватка. Давайте померяемся силами. Принимайте же решение. Теперь для достижения победы потребуется пойти на некоторое безрассудство. Придется отказаться от войны невидимок, от войны на расстоянии, от войны в прятки, когда вы нас убивали, даже не устаивая чести узреть вас.

Наконец-то мы увидим настоящее сражение. С односторонней бойней покончено. Нами больше не командуют слабоумные. Вам придется иметь дело с великим воином, который звался Галлией в то время, когда вы были баруссами, и который зовется Францией теперь, когда вы стали вандалами; Франция — *miles magnus*¹, говорил Цезарь; *божий ратник*, говорил Шекспир.

Итак, война, война открытая, война явная, война ожесточенная. Мы ее от вас требуем, и мы ее вам обещаем. Мы будем судить ваших генералов. Увенчанная славой Франция охотно возвеличивает своих врагов. Но вполне возможно, что то, что именовали ловкостью Мольтке, было не чем иным, как бездарностью Лебефа. Поживем — увидим.

Вы колеблетесь, это понятно. Не так-то просто схватить Париж за горло. Наш ошейник снабжен шипами.

В вашем распоряжении два средства, и оба они, наверное, не приведут Европу в восторг:

Пытаться задушить Париж голодом.

Обстреливать Париж из орудий.

Начинайте же. Мы готовы встретить ваши ядра. И знайте, король Пруссии, что если один из ваших снарядов обрушится на мой дом, это докажет, что я — не Пиндар, но что и вы не Александр Македонский.

Вам предлагают, пруссаки, и другой проект: окружить Париж, не атакуя его, и обрушить всю вашу храбрость против наших беззащитных городов, против небольших селений, против наших деревушек. Вы будете доблестно врываться в открытые двери, с удобством располагаться в захваченных жилищах и с аркебузой в руке станете

¹ Всликий воин (лат.).

требовать выкупа от своих пленников. Это уже видели в средние века. Это еще можно видеть в пещерах дикарей. Ошеломленная цивилизация столкнулась бы с проявлением чудовищного бандитизма. Люди увидели бы, как один народ грабит другой народ. Отныне нам пришлось бы иметь дело не с Арминием, а с Жаном Живодером. Нет! Мы в это не верим. Пруссия нападет на Париж, но Германия не станет грабить селения. Убийство — куда ни шло, но кража — нет. Мы верим в честь народов.

Атакуйте Париж, пруссаки. Осаждайте, окружайте, подвергайте его артиллерийскому обстрелу.

Попробуйте.

За это время придет зима.

И Франция.

Зима — это значит снег, дождь, мороз, гололедица, изморозь, холод. Франция — это значит пламя.

Париж будет защищаться, не сомневайтесь в этом.

Париж будет защищаться победоносно.

Все в бой, граждане! Отныне существует лишь Франция здесь и Пруссия там. Нет ничего важнее этой битвы. Что от нас требуется сегодня? Сражаться. Что от нас потребуются завтра? Победить. Что от нас может потребоваться в любой день? Готовность умереть. Пусть вас ничто не отвлекает. Понимание необходимости выполнить свой долг требует забвения собственных интересов. Единение и единство. Взаимные обиды, злопамятство, недоброжелательство, вражда — отбросим все это. Пусть это порождение мрака рассеется в пороховом дыму. Будем любить друг друга, чтобы сражаться вместе. У всех нас — одинаковые заслуги. Разве кто-нибудь был в ссылке? Мне об этом ничего не известно. Разве кто-нибудь жил в изгнании? Я этого не знаю. Нет больше отдельных лиц, не может быть места личному самолюбию, память должна сохранить лишь два слова: общественное спасение. Все мы вместе отныне — один француз, один парижанин, одно сердце; существует только один гражданин — вы, я, все мы. Собственными телами мы готовы прикрыть любую брешь. Соппротивление сегодня, освобождение завтра; в этом — все! Мы больше не из плоти, отныне мы из камня. Я больше не помню своего имени, отныне меня зовут Родина. Будем готовы встретить врага! Отныне все мы зовемся: Франция, Париж, стена!

Как он будет прекрасен, наш город! Пусть Европа приготовится к невероятному зрелищу, пусть она приготовится увидеть, как возвеличится Париж; пусть она приготовится увидеть, каким светом засверкает этот необычайный город. Париж повергнет в трепет весь мир. В этом городе-чародее таится герой. В этом городе остроумия скрывается гений. Когда Париж поворачивается спиной к Табарену, он становится достойным Гомера. Париж покажет, как он умеет умирать. Освященный лучами заходящего солнца Собор Парижской богородицы перед смертью испытывает возвышенную радость. Пантеон вопрошает себя, как он сумеет вместить под сводами всех тех, кто получит право покоем в нем. Гарнизонные войска отличаются доблестью, мобильные войска — неустрашимостью; у них лица молодых людей и выправка старых солдат. Шествуя вместе с батальонами, поют дети. И каждый раз во время атаки пруссаков, когда визжит картечь, на улицах наблюдаешь одно и то же: улыбающихся женщин. Париж, ты украсил цветами статую, символизирующую Страсбург; история украсит тебя звездами!

Париж, 2 октября 1870

БОРДО
(ФЕВРАЛЬ-МАРТ 1871)

ПРИБЫТИЕ В БОРДО

14 февраля 1871 года

В этот час я должен обращаться к народу только через Национальное собрание. Вы спрашиваете меня, что я думаю по поводу войны и мира. Я не могу обсуждать здесь этот вопрос. Осторожность — неотъемлемая часть преданности. В настоящее время ждет своего решения вопрос о самом существовании Европы. Судьбы Европы неотделимы от судеб Франции. Мы стоим перед грозным выбором: безнадежная война или еще более безнадежный мир. Этот великий выбор — безнадежность, сопровождаемая славой, или безнадежность, сопровождаемая отчаянием, — этот ужасный выбор может быть сделан лишь с высоты парламентской трибуны. Я его сделаю. Можете не сомневаться, что я не изменю своему долгу. Но не настаивайте, чтобы я высказался здесь. Одно лишнее слово, произнесенное в общественном месте, может привести к серьезным последствиям. Разрешите мне хранить молчание. Я люблю народ, и он это знает. Я безмолвствую, и он меня поймет.

Да здравствует Республика! Да здравствует Франция!

ЗА ВОЙНУ В НАСТОЯЩЕМ И ЗА МИР В БУДУЩЕМ

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

1 марта 1871 года

Председатель. Слово предоставляется господину Виктору Гюго. *(Напряженное внимание.)*

Виктор Гюго. Империя дважды совершила отцеубийство: убийство республики в 1851 году и убийство

Франции в 1871-м. На протяжении девятнадцати лет мы терпели — не без протеста — официальные и публичные восхваления отвратительного режима, ныне уже павшего; но поразительнее всего то, что здесь, в этом Собрании, во время столь мучительной и горькой дискуссии, перед лицом поверженной и агонизирующей Франции, нам довелось услышать жалкий лепет в защиту империи. (*Движение в зале.*)

Я не собираюсь задерживать ваше внимание на этом инциденте, который уже исчерпан, и ограничусь констатацией единодушия, проявленного Собранием.

Несколько голосов. Кроме пяти депутатов!

Виктор Гюго. Господа, в настоящую минуту на Париж направлены жерла прусских орудий; еще ничего не кончено, Париж ожидает; и мы, его представители, на протяжении пяти месяцев жившие той же жизнью, что и он, мы обязаны поведать вам его мысли.

На протяжении пяти месяцев сражающийся Париж вызывает изумление всего мира; за пять месяцев республики Париж стяжал себе больше славы, чем потерял за девятнадцать лет империи. (*Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Эти пять месяцев республики были пятью месяцами героизма. Париж противостоял всей Германии; один город остановил целое нашествие; Париж преградил путь десяти объединившимся против него народам, этому потоку северян, который уже не раз затоплял цивилизацию. Триста тысяч отцов семейств внезапно стали солдатами. Великий народ Парижа создавал батальоны, отливал орудия, возводил баррикады, рыл подкопы, умножал свои укрепления, охранял свои валы; он терпел голод и холод; подвергаясь невиданным страданиям, он проявлял чудеса храбрости. Перечислить эти страдания бесполезно, ибо нас слышит история.

Не было уже ни дров, ни угля, ни газа, ни огня, ни хлеба. Ужасная зима, Сена, покрытая льдом, пятнадцать градусов мороза, голод, тиф, различные эпидемии, опустошение, картечь, орудийный обстрел. В этот час Париж пригвожден к кресту и истекает кровью. И вот, этот город, с которым не может сравниться ни один город в истории, этот город, величавый, как Рим, и стойкий, как Спарта, город, который пруссаки могут осквернить, но которым они не сумели овладеть (*возгласы: «Превосходно!»*)

Превосходно!»), — этот священный город, Париж, дал нам наказ, усиливающий грозящую ему опасность, но умножающий его славу, наказ — голосовать против расчленения родины (*возгласы «Браво!» на скамьях левой*); Париж готов принять на себя любой удар, но он не хочет, чтобы калечили Францию.

Париж готов скорее пойти на смерть, чем допустить бесчестие Франции. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*) Достоинно внимания и то обстоятельство, что Париж дал нам наказ поднять свой голос не только в защиту Франции, но одновременно и в защиту Европы. Париж выполняет свою роль столицы континента.

Нам, а следовательно, и вам, предстоит решить две задачи:

Возродить Францию и предупредить Европу. Да, в этот час интересы Европы совпадают с интересами Франции. Речь идет о том, предстоит ли Европе вновь стать феодальной; речь идет о том, должны ли мы, едва избежав одной опасности — теократического режима, подвергнуться другой опасности — режиму военщины.

Ибо в этот роковой год Собора и резни... (*Возгласы: «Ого!»*)

Голос слева. Да! Да! Превосходно!

Виктор Гюго. ...я не допускал, что можно отрицать стремление папы провозгласить себя непогрешимым, и не допускаю мысли, что можно оспаривать факт появления средневекового императора рядом с пытающимся воскреснуть средневековым папой. (*Шум справа. Одобрительные возгласы на левых скамьях.*)

Один из правых депутатов. Вы говорите не по существу!

Другой правый депутат. Во имя нашей несчастной родины оставим все это в стороне. (*Ораторы прерывают.*)

Председатель. Я не давал вам слова. Продолжайте, господин Виктор Гюго.

Виктор Гюго. Если насилие, которое сейчас именуют мирным договором, свершится, если этот безжалостный мир будет заключен, то Европа лишится покоя; мир будет ввергнут в состояние непрерывной тревоги. (*Одобрение на левых скамьях.*)

В Европе отныне будут существовать две грозных нации: одна — в силу того, что она окажется победительницей, другая — в силу того, что она окажется побежденной. *(Сильное волнение в зале.)*

Глава правительства. Это справедливо!

Дюфор, министр юстиции. Это глубоко справедливо!

Виктор Гюго. Одна из этих двух наций, победоносная Германия, принесет с собой империю, порабощение, иго военщины, казарменное оглупление, жестокую дисциплину, распространяющуюся даже на умы, парламент, укрощаемый тюремным заключением для ораторов... *(Движение в зале.)*

У этой нации-победительницы будет император, управляющий как милостью божьей, так и, в особенности, волей военщины: то будет одновременно византийский кесарь и германский кайзер; для этой нации непреложным законом будет приказ, а скипетром — сабля; на свободное слово наденут намордник, мысль задушат, совесть поставят на колени; не будет никакой трибуны, никакой печати! Царство мрака!

Другая, побежденная нация, будет источником света. Она сохранит свободу, сохранит республику; она будет подчиняться не божественному, а человеческому праву; она сохранит свободную трибуну, свободу печати, свободу слова, свободу совести, возвышенную душу! Эта нация и впредь сохранит свою роль поборника прогресса, проводника новых идей и защитника угнетенных рас! *(Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»)* И в то время как победившая Германия, порабощенная собственной военщиной, склонит голову под тяжестью одетой на нее каски, вокруг чела побежденной, но сохранившей свое величие Франции будет сиять ореол народовластия. *(Движение в зале.)* И цивилизация, столкнувшись лицом к лицу с варварством, должна будет определить свой путь и свое отношение к этим двум нациям, из которых одна была светочем Европы, а другая ввергнет ее во мрак.

Какой из этих двух народов больше достоин сожаления? Вышедший победителем, но порабощенный, или потерпевший поражение, но оставшийся независимым? Оба. *(Снова движение в зале.)*

Вольно Германии считать себя счастливой и гордой, приобретя две провинции и утратив свободу, но нам —

нам жаль ее; нам кажется жалким расширение границ, купленное ценою унижения, нам жаль ее, ибо она была народом, а отныне стала всего лишь империей. (*Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Я только что сказал: в Германии будет двумя провинциями больше. Но это еще не произошло, и я прибавлю: это никогда не произойдет. Никогда, никогда! Захватить — не значит владеть. Владеть страной можно лишь с ее согласия. Разве Турция владела Афинами? Разве Австрия владела Венецией? Разве Россия владеет Варшавой? (*Движение в зале.*) Разве Испания владеет Кубой? Разве Англия владеет Гибралтаром? (*Шум с разных сторон.*) Фактически — да; с точки зрения права — нет! (*Шум.*)

Голос справа. Вы говорите не по существу!

Виктор Гюго. Как не по существу?

Голоса слева. Говорите, говорите!

Председатель. Соболаговолите продолжать, господа подин Виктор Гюго.

Виктор Гюго. Завоевание — это грабеж, и ничего больше. Оно стало фактом, пусть; но право не выводят из фактов. Эльзас и Лотарингия — надеюсь, теперь я говорю по существу? — хотят остаться Францией; они останутся Францией вопреки всему, ибо Франция олицетворяет республику и цивилизацию; и Франция, со своей стороны, никогда не поступится своим долгом в отношении Эльзаса и Лотарингии, в отношении самой себя, в отношении мира.

Господа, в Страсбурге, в прославленном Страсбурге, разрушенном прусскими снарядами, высятся два памятника — Гутенбергу и Клеберу. И вот, повинувшись внутреннему голосу, мы клянемся Гутенбергу не позволить задушить цивилизацию, мы клянемся Клеберу не позволить задушить республику. (*Возгласы: «Браво! Браво!» Аплодисменты.*)

Мне отлично известно, что нам говорят: «Подчинитесь последствиям событий, вызванных вами самими». И еще нам говорят: «Покоритесь, Пруссия отнимает у вас Эльзас и часть Лотарингии, но это — ваша вина и ее право: зачем вы на нее напали? Она вас не трогала; Франция виновна в этой войне, Пруссия в ней неповинна».

Неповинная Пруссия!.. Вот уже целое столетие, как мы являемся свидетелями преступных деяний Пруссии, той самой Пруссии, которую сегодня объявляют невиновной. Она захватила... (*Шум в различных местах зала.*)

Председатель. Господа, соблаговолите сохранять молчание. Шум прерывает оратора и затягивает дискуссию.

Виктор Гюго. Чрезвычайно трудно выступать в Собрании, если оно не желает позволить оратору закончить свою мысль.

Со всех сторон. Говорите! Говорите! Продолжайте!

Председатель. Господин Виктор Гюго, реплики не носят того характера, который вы им приписываете.

Виктор Гюго. Я сказал, что право не на стороне Пруссии. Пруссакки оказались победителями, пусть; но станут ли они господами Франции? Нет! В настоящем — может быть; в будущем — никогда! (*Возгласы: «Превосходно! Браво!»*)

Англичане завоевали Францию, но не смогли ее удержать; пруссакки заповольняют Францию, но не владеют ею. Рука любого чужеземца, который осмелится схватить Францию, тут же выронит это раскаленное железо. Объясняется это тем, что Франция — больше чем народ. Пруссия напрасно тужится; ее свирепые усилия окажутся тщетными.

Можно ли представить себе что-либо подобное: прошлое уничтожает будущее? Так вот, уничтожение Франции Пруссией — такая же несбыточная мечта. Нет! Франция не погибнет! Нет, она не погибнет, как бы далеко ни зашла трусость Европы! Нет! Несмотря на ее изнеможение, несмотря на все грабежи, несмотря на все раны, несмотря на разруху, несмотря на бремя этой злодейской войны, несмотря на бремя этого ужасного мира, моя страна не покорится! Нет!

Тьер, глава правительства. Нет!

Возгласы со всех сторон. Нет! Нет!

Виктор Гюго. Я не стану голосовать за этот мир, ибо прежде всего следует спасти честь родины; я не стану голосовать за него, ибо бесчестный мир — это ужасный мир. И все же в моих глазах он, пожалуй, имеет одно достоинство: такой мир означал бы прекраще-

ние войны, пусть, но вместе с тем он породил бы ненависть. (*Движение в зале.*) Ненависть к кому? К народам? Нет! К королям! Пусть короли пожинают то, что они посеяли. Что ж, государи, действуйте! Кромсайте, режьте, рубите, грабьте, захватывайте, расчлняйте! Вы порождаете глубокую ненависть; вы возмущаете мировую совесть. Мщение зреет; чем больше угнетение, тем сильнее будет взрыв; Все, что потеряет Франция, выиграет Революция. (*Одобрительные возгласы на левых скамьях.*)

И час пробьет. Оно уже близится, это ужасное отмщение. Уже сегодня мы слышим грозную поступь истории — это шагает наше победоносное будущее. Да, уже завтра все начнется, уже завтра Франция будет проникнута только одной мыслью: прийти в себя, обрести душевное равновесие, стряхнуть кошмар отчаяния, собраться с силами; возвращать семена священного гнева в душах детей, которым предстоит стать взрослыми; отливать пушки и воспитывать граждан; создать армию, неотделимую от народа; призвать науку на помощь войне; изучить тактику пруссаков, подобно тому как Рим изучал тактику карфагенян; укрепиться, стать тверже, возродиться, снова сделаться великой Францией, Францией Девяносто второго года, Францией, вооруженной идеей, и Францией, вооруженной мечом. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

А затем, в один прекрасный день, она внезапно распрямится! Да! Это будет грозное зрелище; все увидят, как одним рывком она вернет себе Лотарингию, вернет Эльзас!

И это все? Нет! Нет! Она займет — вы слышите? — займет Трир, Майнц, Кельн, Кобленц...

Возгласы на разных скамьях. Нет! Нет!

Виктор Гюго. Послушайте, господа! По какому праву французское Собрание останавливает порыв патриотических чувств?

Различные депутаты. Говорите, выражайте свою мысль до конца.

Виктор Гюго. Все увидят, как Франция распрямится, как она вернет себе Лотарингию, вернет Эльзас. (*Возгласы: «Да! Да! Превосходно!»*) И что же, это все? Нет... Она займет Трир, Майнц, Кельн, Кобленц, весь левый берег Рейна... И тогда все услышат громкий голос Франции: «Наступил мой черед! И вот я здесь, Германия!

Но разве я твой враг? Нет! Я твоя сестра. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*) Я все у тебя отвоевала и все тебе возвращаю, но при одном условии — мы станем отныне единым народом, единой семьей, единой республикой. (*Движение в зале.*) Я разрушу свои крепости, ты разрушишь свои. Мое отмщение — это братство! (*Возгласы слева: «Браво! Браво!»*) Пусть больше не будет границ! Пусть Рейн принадлежит всем! Станем единой республикой, станем Соединенными Штатами Европы, создадим общеевропейский союз, укрепим свободу Европы, утвердим мир во всем мире! А теперь обменяемся рукопожатиями, ибо мы оказали друг другу услуги: ты меня избавила от моего императора, я тебя избавляю от твоего». (*Возгласы: «Браво! Браво!» Аплодисменты.*)

ОТСТАВКА ДЕПУТАТОВ ЭЛЬЗАСА И ЛОТАРИНГИИ
РЕЧЬ НА СОБРАНИИ ЛЕВОРАДИКАЛЬНОЙ ГРУППЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
3 марта 1871 года

Граждане, депутаты Эльзаса и Лотарингии, в порыве благородного горя, подали в отставку. Мы не должны ее принимать. Мы не только не должны ее принимать, но нам следовало бы продлить их полномочия. Даже когда мы уйдем, они должны остаться. Почему? Потому что их нельзя заменить.

Сейчас, в силу проявленного ими героизма, в силу переживаемого ими несчастья, в силу — увы! — нашего плачевного отступничества, оставляющего их в руках врага в качестве выкупа, сейчас, повторяю, Эльзас и Лотарингия в большей степени представляют собой Францию, нежели сама Франция.

Граждане, я подавлен скорбью; меня заставляет говорить только высший долг; дорогие и благородные коллеги, слушающие меня, если я буду говорить несколько сбивчиво, простите и поймите мои чувства. Я никогда не мог бы поверить в возможность заключения подобного договора. Моя семья родом из Лотарингии, я сын человека, защищавшего Тионвиль. То было почти шестьдесят лет назад. Он предпочел бы расстаться с жизнью, чем отдать ключи от города. Этот город, который под его защитой

устоял против всех вражеских усилий и остался французским, ныне стал прусским. О, я в отчаянии! Позавчера в Собрании я боролся за каждую пядь земли; я защищал Лотарингию и Эльзас; я пытался словом добиться того, чего мой отец добивался шпагой. Он победил, я — побежден. Увы! Мы все побеждены. Рану, нанесенную родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца. Мужественный мэр Страсбурга только что умер от нее. А мы попытаемся жить. Попытаемся жить, чтобы увидеть будущее, больше того — чтобы его создать. А пока — подготовим его.

Подготовим его. Каким образом?

Сопротивлением, которое начнется сегодня же.

Будем выполнять этот ужасный договор только буквально.

Не допустим ничего, кроме того, что им обусловлено.

Так вот: в нем не обусловлено, что Собрание должно вычеркнуть из своего состава депутатов Эльзаса и Лотарингии; сохраним же их.

Допустить их уход — это значит подписать договор дважды. Это значит добавить к вынужденной уступке уступку добровольную.

Сохраним их.

Договор никак этому не препятствует. Если бы мы пошли дальше того, что от нас требует победитель, это было бы непоправимым самоунижением. Это означало бы, что мы сами, без понуждения к тому, преклоняем и второе колено.

Наоборот, подыдем Францию.

Отказ принять отставку эльзасских и лотарингских депутатов подымет ее.

Утверждение мирного договора было унижительным делом; этот отказ будет делом великим. Одним мы загладим другое.

Моя мысль, которую я хочу развить, такова: пока Лотарингия и Эльзас разлучены с Францией, надо сохранять их депутатов не только в этом Собрании, но и во всех последующих его созывах.

Мы, депутаты остальной части Франции, мы все временные; они одни не временные.

Франция может обойтись без нас, но не без них. Нам она может дать преемников, им — нет.

В Эльзасе и Лотарингии у нее отнят голос.

Ненадолго, я в этом уверен; но пока сохраним эльзасских и лотарингских депутатов.

Лотарингия и Эльзас — военнопленные. Оставим у себя их представителей. Оставим их на неопределенное время, до дня освобождения обеих провинций, до дня воскрешения Франции. Создадим привилегию героическому несчастью. Пусть этих депутатов сделают, в виде исключения, постоянными, поскольку их доблестные земли стали, в виде исключения, поработченными.

Первоначально я намеревался собрать все, что я вам сейчас сказал, в проекте следующего декрета:

ДЕКРЕТ

ЕДИНСТВЕННАЯ СТАТЬЯ

Нынешние депутаты Эльзаса и Лотарингии сохраняют свои места в Собрании и будут заседать в Национальном собрании Франции последующих созывов до того дня, когда они смогут вернуть избирателям свои мандаты при тех же условиях, при которых они их получили.

Этот декрет выразил бы подлинную сущность создавшегося положения. Он представляет собой отрицание мирного договора, отрицание, таящееся во всех сердцах, даже в сердцах тех, кто голосовал за него. Декрет заставил бы выйти наружу это отрицание и воспользовался бы пробелом в договоре, чтобы лишить договор силы, так что при этом нельзя было бы обвинить нас в его нарушении. Мне кажется, что декрет удовлетворит совесть каждого. Мирный договор для нас не существует. Он навязан нам силой; вот и все. Мы отвергаем его. Прямой долг сторонников республики — принимать факт, только сопоставив его с правом. Когда факт имеет своей основой принцип, мы признаем его. Иначе мы отказываемся его признавать. Прусский же договор попирает все принципы. Вот почему мы голосовали против и будем действовать против. Пруссия отдает нам должное, она не сомневается в этом.

Но примет ли Собрание тот проект декрета, который я вам прочел и который собирался отстаивать с трибуны? Очевидно, нет. Оно убоится его. К тому же на совести этого Собрания, рожденного взаимным непонима-

нием между Францией и Парижем, вся фальшь существующего положения. Достаточно бросить взгляд на это Собрание, чтобы понять: оно ни за что не примет полной правды. У Франции есть будущее — республика, а у большинства в Собрании одна цель — монархия. Отсюда усилия, направленные в противоположные стороны, и я боюсь, что они приведут к катастрофам. Но не будем заглядывать вперед. Я ограничусь тем, что скажу: большинство всегда будет вести себя уклончиво, ему не хватает той убежденности, которая во всех случаях, будь что будет, предпочитает принципы уловкам. Никогда справедливость не войдет в это Собрание иначе, чем окольным путем, если она вообще войдет в него.

Собрание такого состава не станет голосовать за проект декрета, который я вам сейчас прочел. Следовательно, было бы ошибкой представлять его. Я воздерживаюсь от этого. Разумеется, было бы хорошо, если бы проект приняли, но было бы досадно, если бы его отклонили. Отклонение лишь подкрепит мирный договор и увеличит позор.

Но значит ли это, что при рассмотрении прошения об отставке депутатов Эльзаса и Лотарингии следует молчать и полностью устраниваться?

Нет.

Что же делать?

По-моему, вот что:

Предложить депутатам Эльзаса и Лотарингии сохранить свои места. Предложить им это торжественно, в мотивированной декларации, которую подпишем мы все, мы, голосовавшие против мирного договора и не признающие права сильного. Один из нас — если хотите, я — прочтет декларацию с трибуны. После этого наша совесть будет спокойна, а будущее обеспечено.

Граждане, сохраним их, наших сотоварищей. Сохраним их, наших соотечественников.

Пусть они остаются с нами.

Пусть они находятся среди нас, эти мужественные люди, олицетворяя протест и предупреждение; протест против Пруссии, предупреждение Европе. Пусть они будут всегда высоко поднятым знаменем Эльзаса и Лотарингии. Пусть их присутствие ободряет и утешает, пусть их речи подают совет, пусть даже их молчание говорит.

Видеть их здесь — это значит видеть будущее. Пусть они препятствуют забвению. Среди общих идей, которые охватывают интересы всей цивилизации и которые необходимы французскому Собранию, всегда в какой-то степени охраняющему права других народов, пусть они воплощают частную, высокую и грозную идею воссоединения, идею долга по отношению к матери. В то время как мы будем представлять человечество, пусть они представляют родину. Пусть они будут в нашей стране у себя дома. Пусть они будут углями священного костра, которому никогда не дадут угаснуть. Пусть благодаря им обе провинции, задыхающиеся под властью Пруссии, продолжают дышать воздухом Франции; пусть они прокладывают путь для всего французского к сердцу Эльзаса и Лотарингии и для всего эльзасско-лотарингского — к сердцу Франции; пусть благодаря их постоянному присутствию Франция, у которой отсекли ее часть фактически, остается неделимой по праву и будет представлена в Собрании во всей своей целостности; пусть тот, кто взглянул в сторону Германии и увидел Эльзас и Лотарингию мертвыми, посмотрев сюда, увидит их живыми!

ДЕКЛАРАЦИЯ

В связи с прошением эльзасских и лотарингских депутатов об отставке, которое не было поставлено на голосование Собрания,

нижеподписавшиеся депутаты заявляют, что в их глазах Эльзас и Лотарингия не перестали и никогда не перестанут быть частью Франции.

Эти провинции по существу глубоко французские. Душа Франции остается в них.

Национальное собрание не будет больше Национальным собранием Франции, если эти две провинции не будут в нем представлены.

Пусть отныне, и до лучших дней, на карте Франции зияет пустое место, — это результат насилия, совершаемого над нами мирным договором. Но почему должно пустовать место в нашем Собрании?

Разве договор требует, чтобы эльзасские и лотарингские депутаты удалились из французского Собрания?

Нет.

Тогда зачем же итти дальше, чем этого требует договор? Зачем давать ему то, чего он не просит?

Пусть Пруссия забирает земли. Пусть Франция сохранит депутатов.

Пусть их присутствие в Национальном собрании Франции будет живым и постоянным протестом справедливости против несправедливости, несчастья против насилия, подлинного права отечества против ложного права победы.

Пусть эльзасцы и лотарингцы, избранные своими департаментами, остаются во французском Собрании, и пусть они там воплощают собой не прошлое, а будущее.

Мандат — это вверенное имущество. Доверенное лицо обязано возвращать свой мандат только своему доверителю. Ныне, при созданном в Эльзасе и Лотарингии положении, доверитель в плену, но доверенное лицо свободно. Долг доверенного лица — сохранять одновременно и свою свободу и свой мандат.

И это до того дня, когда депутаты, участвуя вместе с нами в деле освобождения, смогут вернуть тем, кто их избрал, мандаты, которыми он им обязан, и отечество, которым мы им обязаны.

Эльзасские и лотарингские депутаты от уступленных Пруссии департаментов находятся сегодня в исключительном положении, которое следует особо отметить. Все депутаты остальной части Франции могут быть переизбраны или заменены; только с ними этого не может произойти. Их избиратели лишены своих прав.

В настоящее время — и мирный договор не может этому помешать — Эльзас и Лотарингия представлены в Национальном собрании Франции. От Национального собрания зависит продлить полномочия этих представителей. Мы должны провозгласить это продление полномочий. Оно свершается по праву. Оно является нашим долгом.

Нельзя допустить, чтобы депутатские места от Эльзаса и Лотарингии, ныне занятые, опустели и оставались пустыми по нашей воле. Для всего населения Франции право быть представленным — абсолютное право; для Лотарингии и Эльзаса — это священное право.

Поскольку Лотарингия и Эльзас не могут отныне назначать других депутатов, нынешние депутаты должны

быть сохранены. Они должны быть сохранены на неопределенное время, во всех последующих созывах Национального собрания, вплоть до того дня — мы надеемся, что он не за горами, — когда Франция будет снова владеть Лотарингией и Эльзасом и когда нам вернут эту половину нашего сердца.

Резюмируем:

Если мы допустим, чтобы наши уважаемые эльзасские и лотарингские коллеги ушли в отставку, мы увеличим бремя мирного договора.

Франция заходит в уступках дальше, чем Пруссия в вымогательстве. Мы предлагаем то, чего от нас не требуют. Необходимо, чтобы в вынужденном выполнении договорных обязательств с нашей стороны ничто не походило на согласие. Терпеть, не принимая, — вот в чем достоинство побежденного.

По изложенным выше причинам, не предвосхищая решений, которые может им в дальнейшем подсказать их совесть,

считая необходимым вернуться впоследствии к указанным вопросам,

нижеподписавшиеся депутаты приглашают своих коллег от Эльзаса и Лотарингии вновь занять свои места в Собрании и сохранить их за собой.

ВОПРОС О ПАРИЖЕ

РЕЧЬ В 11-й КОМИССИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

6 марта 1871 года

Здесь присутствует группа лиц, находившихся в окруженном Париже и переживших все стадии этой осады, самой необычайной из всех, какие знает история. Народ Парижа вел себя великолепно. Я уже об этом говорил и скажу снова. Каждый день приносил все новые страдания и все новые проявления героизма. Нет ничего более волнующего, чем преобразование Парижа: столица роскоши превратилась в город нищеты; город неги превратился в арену битвы; город веселья превратился в средоточие ужаса и смерти. По ночам улицы погружались во мрак, и все же не было ни одного преступления. Я, вы-

ступающий перед вами, каждую ночь проходил один чуть ли не через весь неосвещенный и пустынный город; в Париже было немало страдальцев и немало голодных, не было ничего — ни огня, ни хлеба, и при этом царила полная безопасность. Парижане проявляли храбрость в борьбе с внешним врагом и доблестно переносили трудности внутри города. Два миллиона человек показывали миру этот незабываемый пример. Это была новая, неожиданная сторона величия Парижа. Те, кто это видел, никогда этого не забудут. Женщины так же бесстрашно переносили голод, как мужчины шли в бой. Никто никогда не вступал в такое возвышенное единоборство со всеми бедствиями сразу. Да, парижане страдали, — но знаете ли вы, как? Они страдали с радостным чувством, ибо каждый говорил себе: «Мы страдаем во имя родины».

И затем, каждый говорил себе: «После того, как кончится война, после того, как пруссаки уйдут или будут изгнаны (я предпочитаю сказать «будут изгнаны»), какой прекрасной покажется нам награда!» Так говорили и ждали возвышенного зрелища, когда Париж и Франция сольются в одном объятии.

Все ждали, что мать, не помня себя от радости, бросится в объятия сына, что великий народ принесет благодарность великому городу.

Говорили: «Мы отрезаны от Франции; Пруссия воздвигла стену между Францией и нами; но пруссаки уйдут, и стена рухнет».

И что ж, господа? Нет! Париж и после снятия осады остался одинок. Пруссии там уже нет, а стена остается.

Между Парижем и Францией высилось препятствие — Пруссия; теперь между ними стоит другое препятствие — Собрание.

Задумайтесь над этим, господа.

Париж рассчитывал на вашу признательность и столкнулся с вашей подозрительностью!

Но что он собственно вам сделал?

Сейчас я скажу, что он вам сделал.

В обстановке всеобщего упадка он не опустил голову; когда Париж увидел, что у Франции не осталось больше солдат, он преобразился в армию; он продолжал

надеясь, когда все впали в отчаянье; Париж устоял после того, как пал Фальцбург, после того, как пал Туль, после того, как пал Страсбург, после того, как пал Мец. Его не устрасил даже миллион вандалов. Париж пожертвовал собою ради всех нас; он явил великолепное зрелище города, принесшего себя в жертву. Вот что он вам сделал! Он спас Франции больше чем жизнь — он спас её честь.

И вы остерегаетесь Парижа! И вы относитесь к нему с подозрением!

Вы берете под сомнение мужество, самоотверженность, любовь к родине, великий пример сопротивления в обстановке всеобщего отчаяния, неукротимую волю вырвать из рук врага Францию, всю Францию! Вы остерегаетесь города, который создал всемирную философию, который своим сиянием завоевывает для вас мир, покоряет его своими ораторами, своими писателями, своими мыслителями; вы остерегаетесь города, который явил столько примеров отваги и столько примеров мудрости; остерегаетесь Парижа, который преобразует вселенную по своему образу и подобию, города, где цивилизация поднялась на новую ступень! Вы боитесь Парижа, Парижа, воплощающего братство, свободу, авторитет, могущество, самоё жизнь! Вы ставите под сомнение прогресс! Вы пытаетесь учредить надзор за источником света!

Подумайте же над этим!

Этот город протягивает вам руки; вы ему отвечаете: «Можешь закрыть свои ворота». Этот город стремится к вам, а вы отступаете при его приближении. Он предлагает вам свое неограниченное гостеприимство, под сенью которого может укрыться вся Франция, гостеприимство, которое явится залогом всеобщего согласия и мира, а вы колеблетесь, отказываетесь, страшитесь этой гавани, словно западни!

Да, я утверждаю: для вас, для всех нас Париж — это гавань.

Господа, если вы хотите быть мудрыми, проникнитесь доверием к Парижу. Если вы хотите быть политическими деятелями, исполнитесь братскими чувствами. Вернитесь в Париж, вернитесь туда немедленно.

Париж будет вам признателен и успокоится, а когда успокаивается Париж — успокаивается все.

Отсутствие Национального собрания в Париже вызовет всеобщее беспокойство и ввергнет страну в длительную лихорадку.

Вам предстоит уплатить пять миллиардов; для этого вам необходим кредит; для кредита же необходимо спокойствие, необходим Париж. Необходим Париж, возвращенный Франции, и Франция, возвращенная Парижу.

Другими словами, центр нации должен служить местом пребывания Национального собрания.

Общественное благо здесь неразрывно связано с общественным долгом.

Если пребывание Собрания в провинции, представляющее собою случайность, превратится в систему, попирающую высшее право Парижа, я заявляю, что не стану принимать участия в заседаниях, происходящих вне Парижа. Но мое личное решение не имеет значения. Я поступаю так, как подсказывает мне долг. Это касается только меня, и не в этом дело.

Другое дело — вы. Ваше решение — вещь серьезная. Взвесьте же его.

Вам говорят: «Не возвращайтесь в Париж; там пруссаки». Что нам за дело до пруссаков! Я презираю их. Вскоре они испытают на себе власть Парижа, которому они угрожают пушками и который просвещает их идеями.

Даже одно созерцание Парижа оказывает могучее воздействие. Пребывание пруссаков во Франции отныне опасно прежде всего для короля Пруссии.

Господа, вернувшись в Париж, вы поступите как политики, и как хорошие политики.

Вы — явление преходящее. Париж — вечная твердыня. Послушайте меня, соедините вместе Париж и Собрание; вы слабы — обопритесь же на эту силу, вы хрупки — используйте же этот незыблемый фундамент.

Часть настоящего Собрания, сильная своей многочисленностью и слабая во всем остальном, претендует на право рассматривать вопрос о Париже, обсуждать, что Франции надлежит сделать с Парижем, одним словом — поставить судьбу Парижа на голосование. Это выглядит странно.

Можно ли сомневаться в Париже?

Париж вызывает к себе почтение.

Главенствующая роль Парижа — это истина, которую, кажется, пытаются оспаривать во Франции, но которую признает весь остальной мир.

Благодаря тому, что Париж всегда впереди, что ему близки интересы всего мира, благодаря его беспристрастности и доброй воле, благодаря его искусствам и литературе, благодаря его языку, благодаря его промышленности, благодаря живущему в нем духу изобретательства, благодаря чувству справедливости и свободы, благодаря его многовековой борьбе, благодаря его вчерашнему и всегдашнему героизму, благодаря его революциям Париж является блестящим и чудодейственным двигателем всемирного прогресса.

Попробуйте отрицать это, и вы встретите улыбку на устах людей. Можно еще оспаривать влияние Франции на мир, но мировое значение Парижа неоспоримо.

От нас требуют согласия обсуждать вопрос о Париже. Никогда! Нападать на него — ребячество, не меньшее ребячество — его защищать.

Господа, не будем посягать на Париж.

Не следует идти дальше Пруссии.

Пруссакки расчленили Францию. Не будем же ее обезглавливать.

А потом, задумайтесь и над этим:

Вне Парижа может существовать лишь провинциальное Собрание; Национальное собрание может существовать только в Париже.

Для независимых законодателей, чей долг — довершить французскую революцию, находиться вне Парижа — значит находиться за пределами Франции. (*Шум в зале.*)

Меня прерывают. Тем не менее я настаиваю.

Изолировать Париж, по примеру врага подвергнуть его своеобразной блокаде, пытаться превратить его в захолустье, пойти на то, чтобы Версаль, являвшийся местопребыванием короля Франции, стал местопребыванием республиканского Собрания, чтобы там, где обосновался король Пруссии, обосновалось французское Собрание, создать рядом с Парижем неизвестно зачем выдуманный политический центр страны, — полагаете ли вы, что у вас есть на это право? И вы собираетесь все это сделать в качестве представителей Франции? Внесем ясность.

Кто имеет право представлять Францию? Тот, кто является подлинным носителем света. Помимо вас, помимо меня, помимо всех нас, у кого сегодня есть депутатский мандат, а завтра его может не быть, у Франции есть великий представитель, представитель ее величия, ее могущества, ее воли, ее истории, ее грядущего, представитель постоянный и несменяемый; этот представитель — герой, этот обладатель депутатского мандата — гигант; знакомо ли вам его имя? Его зовут Париж.

И вам ли, временным представителям, пытаться отстранить этого вечного представителя!

Не предавайтесь же несбыточным мечтам, не совершайте этой ошибки.

ОТКАЗ ОТ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

8 марта 1871 года

Председатель. Слово имеет господин Виктор Гюго. (*Движение в зале.*)

Виктор Гюго. Я скажу всего несколько слов.

Франция только что прошла через грозное испытание, из которого она вышла окровавленной и побежденной. Можно быть побежденной, но остаться великой; Франция это доказывает. Поверженная на глазах других народов, Франция столкнулась с трусостью Европы. (*Движение в зале.*)

Ни одна из европейских держав не поднялась на защиту Франции, которая столько раз своей грудью отстаивала интересы Европы... (*возгласы «Браво!» слева*), ни один монарх, ни одно государство — никто! За исключением одного человека... (*Иронические смехи справа. Возгласы «Превосходно!» слева.*)

Так вот: державы, как говорят, воздерживались от вмешательства, а один человек вмешался, и человек этот стоит целой державы. (*Различные возгласы на многих правых скамьях.*)

Господа, чем обладал этот человек? Своей шпагой.

Виконт де Лоржериль. И господином Бордоном! (*Смех.*)

Виктор Гюго. Своей шпагой. Эта шпага уже освободила один народ (*возгласы в зале*), и эта же шпага могла спасти другой. (*Снова различные возгласы.*)

Он об этом подумал; он пришел; он сражался.

Голос справа. Нет! Нет!

Виконт де Лоржериль. Ему создавали рекламу; он вовсе не сражался.

Виктор Гюго. Сколько бы меня ни прерывали, это не помешает мне закончить мою мысль.

Он сражался... (*Новые попытки прервать оратора.*)

Многочисленные возгласы справа. Нет! Нет!

Слева. Да! Да!

Виконт де Лоржериль. Он только делал вид!

Один из правых депутатов. Во всяком случае он не одержал победы!

Виктор Гюго. Мне не хочется задевать кого бы то ни было в этом Собрании, однако я скажу, что из всех генералов, сражавшихся на стороне Франции, он — единственный, кто не был побежден. (*Шумные протесты справа. Аплодисменты слева.*)

Несколько правых депутатов. К порядку! К порядку!

Де Жувансель. Я прошу господина председателя предложить оратору взять свои слова обратно, ибо они — антифранцузские.

Виконт де Лоржериль. Гарибальди — статист из мелодрамы. (*Бурные протесты слева.*) Он не был побежден потому, что не сражался.

Председатель. Господин де Лоржериль, соблаговолите хранить молчание; вы получите слово позднее. Уважайте свободу слова оратора. (*Возгласы: «Превосходно!»*)

Генерал Дюкро. Я прошу слова. (*Движение в зале.*)

Председатель. Генерал, вы получите слово после господина Виктора Гюго.

(*Несколько депутатов встают и громко обращаются к г-ну Виктору Гюго.*)

Председатель (*обращаясь к депутатам, прерывающим Гюго*). Слово имеет один лишь Виктор Гюго.

Ришье. Француз не может выслушивать слова, подобные тем, какие только что были произнесены. (*Общее волнение.*)

Виконт де Лоржериль. Собрание отказывается слушать господина Виктора Гюго, ибо он говорит не по-французски. (*Возгласы: «Ого! Ого!» Неясный шум.*)

Председатель. Я не давал вам слова, господин де Лоржериль... Вы его получите, когда до вас дойдет очередь.

Виконт де Лоржериль. Я хотел сказать, что Собрание не желает слушать, ибо оно не понимает такой французской речи. (*Шум.*)

Один из депутатов. Эта речь оскорбляет страну!

Генерал Дюкро. Я настоятельно прошу представить мне слово.

Председатель. Вы получите слово, если господин Виктор Гюго согласится.

Виктор Гюго. Я прошу дать мне закончить.

Несколько депутатов (*Виктору Гюго*). Объяснитесь! (*Возгласы: «Довольно, довольно!»*)

Председатель. Вы просите господина Виктора Гюго объясниться; он это сейчас сделает. Соблаговолите выслушать его и сохраняйте молчание... (*Возгласы: «Нет! Нет! К порядку!»*)

Генерал Дюкро. После этого здесь невозможно оставаться.

Виктор Гюго. И все же вы останетесь, генерал.

Председатель. Вы получите слово, когда кончит оратор.

Генерал Дюкро. Я протестую против слов, которые звучат как оскорбление... (*Возгласы: «Слушайте оратора, слушайте оратора!»*)

Виктор Гюго. Невозможно... (*Возгласы «К порядку!» продолжают.*)

Один из правых депутатов. Возьмите свои слова обратно. Вам их не простят.

(*Другой правый депутат встает и обращается к оратору со словами, которые теряются в шуме.*)

Председатель. Соблаговолите сесты!

Тот же депутат. К порядку! Призовите оратора к порядку!

Председатель. Я вас самого призову к порядку, если вы будете продолжать перебивать оратора. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*) Я призову к порядку тех, кто будет мешать председателю исполнять его обязанности. Мне дано право судить о том, кого следует призвать к порядку.

На нескольких правых скамьях. Мы и требуем призвать к порядку!

Председатель. Вашего требования еще недостаточно. (*Возгласы: «Превосходно!» Различные неразборчивые выкрики.*)

Шабо-Латур. Париж не был побежден, его задушили голодом. (*Возгласы: «Это верно, это верно!» Всеобщее одобрение.*)

Председатель. Я предоставляю слово господину Виктору Гюго, чтобы он мог объясниться, и те, кто станет его прерывать, будут призваны к порядку. (*Возгласы: «Превосходно!»*)

Виктор Гюго. Я удовлетворю вас, господа, и пойду еще дальше, чем вы ожидаете. (*Гробовое молчание.*)

Три недели назад вы отказались выслушать Гарибальди...

Один из депутатов. Он подал в отставку!

Виктор Гюго. Сегодня вы отказываетесь выслушать меня. Этого с меня достаточно. Я подаю в отставку. (*Продолжительный шум. Возгласы: «Нет! Нет!» Аплодисменты слева.*)

Один из депутатов. Собрание не принимает вашей отставки!

Виктор Гюго. Я заявил о ней, и я подтверждаю свое заявление.

(*Сойдя с трибуны, В. Гюго подходит к столу стенографов, расположенному слева, у прохода, берет перо у одного из стенографов Национального собрания и стоя пишет на краю стола письмо на имя председателя Собрания.*)

Генерал Дюкро. Господа, прежде чем судить о поведении генерала Гарибальди, я настаиваю, чтобы было проведено серьезное расследование событий, которые привели к разгрому восточной армии. (*Возгласы: «Превосходно! Превосходно!»*)

Когда такое расследование будет проведено, мы вам предъявим телеграммы, исходящие от господина Гамбетты и подтверждающие, что он ставил в упрек генералу Гарибальди его бездействие в момент, когда такое бездействие вело к несчастью, о котором вы знаете. Тогда можно будет решить, прибыл ли генерал Гарибальди, чтобы заплатить Франции долг признательности, или же он прибыл скорее для того, чтобы защищать свою всемирную республику. *(Продолжительные аплодисменты на многих скамьях.)*

Локруа. Я прошу слова.

Председатель. Присутствует ли в зале господин Виктор Гюго?

Различные голоса. Да! Нет! Он удалился!

Председатель. Прежде чем прочитать Собранию письмо, которое мне только передал господин Виктор Гюго, я хотел бы предложить ему собраться с мыслями и спросить самого себя, настаивает ли он на этом письме.

Виктор Гюго *(стоя у подножия трибуны)*. Я на нем настаиваю.

Председатель. Вот письмо господина Виктора Гюго; однако господин Виктор Гюго... *(Различные возгласы.)*

Виктор Гюго. Я настаиваю на своем письме. Я заявляю, что не появлюсь больше в этом зале.

Председатель. Господин Виктор Гюго написал это письмо в состоянии живейшего волнения, вызванного сегодняшними дебатами; вот почему я считал должным просить его по крайней мере собраться с мыслями и полагаю, что выразил общее мнение Собрания. *(Возгласы: «Да, да! Превосходно!»)*

Виктор Гюго. Благодарю вас, господин председатель, но я вновь заявляю, что отказываюсь дольше оставаться в этом Собрании! *(Возгласы: «Нет! Нет!»)*

Со всех сторон. До завтра! До завтра!

Виктор Гюго. Нет! Нет! Я настаиваю. Я больше не вернусь в это Собрание!

(Виктор Гюго покидает зал.)

Председатель. Если Собрание сообразовалит мне это разрешить, я ознакомлю его с этим письмом лишь на завтрашнем заседании. *(Возгласы: «Да! Да!» Всеобщее согласие.)*

Считаю инцидент исчерпанным и сожалею, что выборы в Алжире дали повод...

Один из левых депутатов. Его вызвало неистовство правых депутатов.

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

9 марта 1871 года

Председатель. Господа, я глубоко сожалею, что наш прославленный коллега, господин Виктор Гюго, не счел возможным уступить настоятельным просьбам большого числа депутатов и — полагаю, что могу это заявить, — общему мнению всего Собрания. (*Возгласы: «Да, да! Превосходно!»*) Он упорствует в своем желании подать в отставку, заявление о которой он мне вручил вчера вечером, так что мне, к величайшему огорчению, не остается ничего другого, как ознакомить Собрание с этим заявлением.

Вот оно:

«Три недели назад Собрание отказалось выслушать Гарibaldi; сегодня оно отказывается выслушать меня. Этого с меня достаточно. Я заявляю о своей отставке.

Виктор Гюго»

8 марта 1871

Это заявление об отставке будет передано министру внутренних дел.

Луи Блан. Я прошу слова.

Председатель. Слово имеет господин Луи Блан.

Луи Блан. Господа, я буду краток.

Тем из нас, кого особенно сближает с Виктором Гюго общность чувств и взглядов, надлежит во всеуслышание заявить о том, какую душевную боль мы испытали...

Голоса слева. Да! Да! Это верно!

Луи Блан. ...видя, что великий гражданин, гениальный человек, которым гордится Франция, был вынужден подать в отставку — заявить о своем выходе из состава французского Национального собрания...

Голос справа. Он сам этого захотел.

Герцог де Мармье. По своей воле!

Луи Блан. К множеству несчастий прибавилось еще одно... (*Движение в зале.*) Я считаю несчастьем, что

этот мощный голос был заглушен... (*Протестующие возгласы на многих скамьях.*)

Де Тийанкур. Голос господина Виктора Гюго всегда старались заглушить!

Несколько депутатов. Это верно! Это верно!

Луи Блан. ...в ту минуту, когда он провозглашал благодарность от имени родины за оказанные ей важные услуги.

Я ограничусь этими несколькими словами. Они выражают чувства, которые — я в этом уверен — разделят все, кто ценит и чтит гения, борющегося за свободу. (*Бурное одобрение на многих левых скамьях.*)

Шельшер. Луи Блан, вы достойно выразили наши общие чувства.

Голоса слева. Да! Да! Превосходно!

БРЮССЕЛЬ
(АПРЕЛЬ-ИЮЛЬ 1871)

ПИСЬМО ПОЛЮ МЕРИСУ И ОГИУСТУ ВАКЕРИ

Брюссель, 28 апреля 1871

Дорогие друзья!

Мы переживаем кризис.

Вы спрашиваете, что я по этому поводу думаю; я мог бы ограничиться несколькими словами: то же, что и вы.

Меня поражает, до какой степени мы единодушны. Публика приписывает мне такую роль в газете «Раппель», какой я в действительности не играю, и считает меня если не ее редактором, то по меньшей мере вдохновителем; вы лучше, чем кто-либо, знаете, до какой степени я был искренен, когда писал на столбцах вашей газеты, что я — лишь простой читатель «Раппель», не более. И все же это заблуждение публики имеет свои основания. В сущности говоря, между вашими мыслями и моими, между вашими оценками и моими, между вашей совестью и моей существует почти полное тождество. Разрешите мне отметить это и порадоваться этому. В переживаемый нами решительный час, который, если он плохо кончится, может принести непоправимые беды, вашей главной мыслью, излагаемой каждое утро в «Раппель», является мысль о необходимости примирения. Так вот, именно то, что вы пишете в Париже, я думаю в Брюсселе. Конец кризису положил бы простой и мудрый порыв — взаимные уступки. В этом случае развязка была бы мирной. В противном случае война будет вестись до последней крайности. Нельзя покончить с проблемой, отбросив единственное ее решение.

В апреле 1869 года я назвал те два слова, которые могли бы разрешить все затруднения апреля 1871 года. Эти два слова, вы помните, — «примирение» и «умиротворение». Первое относится к идеям, второе — к людям.

В этом спасение.

Как и вы, я — за коммуну в принципе и против Коммуны в ее конкретном проявлении.

Бесспорно, права Парижа очевидны. Париж — это коммуна, это самостоятельная община, притом самая необходимая и самая славная из всех. Париж-коммуна — это необходимое следствие Франции-республики. Как! Лондон — община, а Париж не будет ею! Лондон, при олигархическом правлении, представляет собою самостоятельную общину, а Париж, при демократическом правлении, не будет ею! Город Лондон обладает такими правами, что может остановить перед своими воротами самого короля Англии. У Темпл-Бара кончается власть короля и начинается власть народа. Ворота закрываются, и король может войти в них лишь после уплаты пошлины. Монархия уважает права Лондона, а республика нарушит права Парижа! Достаточно напомнить эти факты; нет надобности их разъяснять. Париж — коммуна по праву, так же как Франция по праву республика, так же как я по праву гражданин. Подлинное определение сущности республики таково: я властелин над самим собой. Вот почему она не зависит от результатов какого-либо голосования. Она проистекает из естественного права, а естественное право не ставится на голосование. Город, так же как и отдельная личность, имеет свое я. А Париж из всех городов имеет наивысшее я. Именно это наивысшее я и проявляется в коммуне. Национальное собрание так же не имеет права лишить Париж Коммуны, как Коммуна не имеет права лишить Францию Национального собрания.

Таким образом, поскольку ни одно из этих понятий не может исключить другое, из создавшегося положения вытекает одна неоспоримая, безусловная логическая необходимость: договориться.

Национальное я принимает форму республики; местное я принимает форму общины, коммуны; личное я принимает форму свободы.

Мое личное я выражено полностью, и я являюсь гра-

жданином лишь при соблюдении трех условий: свобода моей личности, община там, где я живу, республика в моей стране.

Ясно ли это?

Право Парижа провозгласить себя коммуной неоспоримо.

Но наряду с вопросом о праве существует вопрос о своевременности.

В этом-то и состоит существо проблемы.

Вызвать конфликт в такой час! Развязать гражданскую войну вслед за войной с внешним врагом! Не дожидаться даже момента, когда уйдет враг! Развлечь победившую нацию самоубийством нации побежденной! Дать возможность Пруссии, этой империи, этому императору, любоваться зрелищем цирка зверей, пожирающих друг друга, и этот цирк — Франция!

Вне зависимости от той или иной политической оценки, не предрешая вопроса о том, кто прав и кто виноват, преступление Восемнадцатого марта заключается именно в этом.

Избранный им момент ужасен.

Но был ли этот момент избран?

И если был избран, то кем?

Кто вызвал Восемнадцатое марта?

Разберемся.

Быть может, Коммуна?

Нет. Она не существовала.

Быть может, Центральный Комитет?

Нет. Он лишь воспользовался обстановкой, но не он ее создал.

Кто же в таком случае вызвал Восемнадцатое марта?

Национальное собрание, или, точнее говоря, его большинство.

Но есть смягчающее вину обстоятельство: оно совершило это непредумышленно.

Большинство Национального собрания и его правительство попросту хотели забрать пушки, стоявшие на Монмартре. Недостаточное основание для столь серьезного риска.

Пусть так. Забрать пушки с Монмартра.

Такова была идея. Как же принялись за ее осуществление?

Очень ловко.

Монмартр спит. Ночью отправляют солдат захватить пушки. Пушки захвачены, но тут выясняется, что их нужно увезти. Для этого необходимы лошади. Сколько? Тысяча. Тысяча лошадей! Где их взять? Об этом не подумали. Что делать? Отправляют людей за лошадьми, время идет, наступает утро, Монмартр просыпается. Народ сбегается и требует свои пушки; он уже начинал забывать о них, но поскольку их у него забирают, он требует их возврата; солдаты уступают, пушки отобраны, вспыхивает восстание, начинается революция.

Кто же ее вызвал?

Правительство, само того не желая и не ведая.

Этот невинный, впрочем, очень виновен.

Если бы Национальное собрание оставило Монмартр в покое, Монмартр не поднял бы Парижа. Не было бы Восемнадцатого марта.

Добавим и это: генералы Клеман Тома и Леконт остались бы в живых.

Я просто восстанавливаю факты с невозмутимостью историка.

Что же касается Коммуны, то, поскольку она воплощает некий принцип, она неминуемо образовалась бы, но позднее, в свою пору, после ухода пруссаков. Вместо того чтобы прийти не во-время, она пришла бы в свой час.

Вместо того чтобы быть катастрофой, она была бы благодеянием.

Кто же виновен во всем этом? Правительство большинства.

Виновный должен был бы быть снисходительным.

Но этого не случилось.

Если бы Национальное собрание Бордо вняло тем, кто советовал ему вернуться в Париж, и в частности возвышенным и благородным доводам Луи Блана, все то, что мы сейчас видим, не произошло бы, не было бы Восемнадцатого марта.

Впрочем, я не хочу отягчать вину роялистского большинства.

Можно было бы, пожалуй, сказать: это и ошибка его и не ошибка.

Что представляет собою современная обстановка? Ужасающее недоразумение.

Договориться почти невозможно.

Эта невозможность (по-моему, правильное было бы сказать: трудность) проистекает из следующего:

Война, окружив Париж, изолировала Францию. Франция без Парижа перестает быть Францией. Отсюда — Национальное собрание и отсюда же — Коммуна. Два призрака. Коммуна представляет Париж не в большей степени, чем Национальное собрание — Францию. Оба они, хотя это не их вина, возникли из насилия и представляют это насилие. Я настаиваю на этом: Национальное собрание было назначено Францией, оторванной от Парижа, Коммуна была назначена Парижем, оторванным от Франции. В обоих случаях выборы были порочны в своей основе. Для того чтобы провести подлинные выборы, Франции необходимо посоветоваться с Парижем; для того чтобы избранники Парижа действительно олицетворяли столицу, необходимо, чтобы те, кто представляет Париж, представляли также Францию. Между тем совершенно очевидно, что нынешнее Собрание не представляет Париж, из которого оно бежало, не потому, что оно его ненавидит, а потому, что оно его не знает. Не знать Парижа — это странно, не так ли? Но ведь не знаем же мы, что такое солнце. Мы знаем лишь, что на солнце есть пятна. Вот все, что Национальное собрание знает о Париже. Я продолжаю. Национальное собрание вовсе не отражает Парижа, а Коммуна, со своей стороны состоящая почти целиком из неизвестных лиц, не отражает Франции. Только взаимопроникновение обоих этих представительств сделало бы возможным примирение; нужно, чтобы оба организма, Собрание и Коммуна, имели одну душу — Францию — и одно сердце — Париж. Этого нет. Отсюда и отказ договориться.

Мы являем собой то же зрелище, что и Китай: с одной стороны — татары, с другой — китайцы.

Между тем Коммуна воплощает принцип — принцип муниципальной жизни, а Национальное собрание воплощает другой принцип — принцип национальной жизни. Однако как в Собрании, так и в Коммуне можно опереться лишь на принцип, а не на людей. В этом вся беда. Выбор оказался злосчастным. Люди губят принцип. Обе стороны правы, и обе стороны неправы. Не может быть ситуации более безвыходной.

Эта ситуация порождает неистовство.

Бельгийские газеты сообщают, что Коммуна собирается запретить «Раппель». Это возможно. Во всяком случае не тревожьтесь: запрет вас не минует. Если вас не запретит Коммуна, вас запретит Национальное собрание. Судьба тех, кто отстаивает правое дело, — подвергаться преследованиям со стороны крайних.

Впрочем, каков бы ни был наш долг, и вы и я его исполним.

Эта уверенность успокаивает нас. Совесть подобна морю. Как бы ни бушевала буря на поверхности, на дне всегда спокойно.

Мы исполним свой долг, борясь как против Коммуны, так и против Национального собрания, как за Национальное собрание, так и за Коммуну. Важно не это; важны судьбы народа. Одни пользуются им, другие его предают. И вся эта ситуация окутана каким-то непонятным туманом: наверху — тупость, внизу — оцепенение.

С 18 марта Парижем руководят люди неизвестные — что нехорошо, и невежественные, что еще хуже. За исключением нескольких лидеров, которые скорее сами следуют за кем-то, нежели руководят, Коммуна — это невежество. Мне не нужно иных доказательств, кроме объяснений, приведенных Коммуной в оправдание разрушения Вандомской колонны; разрушение колонны оправдывают воспоминаниями, которые она вызывает. Если нужно разрушать памятник из-за воспоминаний, которые он вызывает, давайте разрушим Парфенон, напоминающий о суевериях язычников, разрушим Альгамбру, напоминающую о суевериях магометан, разрушим Колизей, напоминающий о диких празднествах, во время которых звери пожирали людей, разрушим пирамиды, напоминающие и увековечивающие жестоких королей — фараонов, чьими гробницами они являются, разрушим все храмы, начиная с храма Рамзеса, все мечети, начиная со святой Софии, все соборы, начиная с Собора Парижской богородицы, словом, разрушим все, ибо до сегодняшнего дня все памятники сооружались королями и при королях, а народ еще не начал создавать свои. Стало быть, хотят разрушить все? Очевидно, нет. Следовательно, делают то, чего не хотят делать. Делать зло преднамеренно — злодейство; делать зло непреднамеренно — невежество.

У Коммуны есть то же извиняющее ее обстоятельство, что и у Национального собрания, — невежество.

Невежество — страшнейшее общественное бедствие. Оно объясняет те нелепости, которые сейчас происходят.

Невежество порождает неосознанные поступки. А какая это опасность!

Тьма может привести к пропасти, а невежество — к преступлениям.

Подобные действия начинаются с глупости и кончаются жестокостью.

И вот вам пример, пример чудовищный: я имею в виду декрет о заложниках.

Каждый день, возмущенные, как и я, вы обличаете перед совестью народа этот отвратительный декрет, позорный источник катастроф. Этот декрет рикошетом ударит по Республике. Меня охватывает дрожь при мысли о всем том, к чему он может привести. Коммуна, в которой, что бы ни говорили, есть прямые и честные сердца, скорее стерпела этот декрет, чем проголосовала за него. Это — дело четырех или пяти деспотов, но это гнусно. Заключить в тюрьму невинных и возложить на них ответственность за преступления других — значит придать разбою государственный характер. Эта политика преступна. Как было бы печально и позорно, если бы в какой-то ужасный момент негодяи, издавшие этот декрет, нашли бандитов, готовых его осуществить! Какое противодействие это вызвало бы! Вот тогда бы вы увидели репрессии! Я не хочу ничего предсказывать, но я представляю себе белый террор в ответ на красный террор.

То, что представляет собою Коммуна, необъятно. Она могла бы совершить великие дела, но пока совершает лишь малые. А когда малые дела еще и гнусны, то это жалкое зрелище.

Пойдем друг друга. Я — революционер. Я был им, даже не сознавая этого. Еще с отроческих лет, с той поры, когда, подчиняясь одновременно и своему воспитанию, удерживавшему меня в прошлом, и своему инстинкту, увлекавшему меня к будущему, я был роялистом в политике и революционером в литературе; следовательно, я принимаю великую неизбежность во всех ее видах, но при одном условии: она должна подтверждать принципы, а не расшатывать их.

Все мои мысли колеблются между двумя полюсами: Цивилизация, Революция. Когда свободе угрожает опасность, я говорю: Цивилизация, но и Революция; когда же опасность угрожает порядку, я говорю: Революция, но и Цивилизация.

То, что именуют преувеличением, подчас бывает полезным, а в известные моменты может даже казаться необходимым. Иногда, чтобы продвинуть отстающую сторону идеи, следует подтолкнуть вперед, и даже сверх меры, другую сторону. Машинист прибавляет пару; но при этом возможен взрыв, есть опасность, что котел разорвется и поезд сойдет с рельс. Государственный деятель — тоже машинист. Умение устранить все преграды на пути к великой цели, умение добиваться успеха на основе принципов, смело рискуя и преодолевая препятствия, — это и есть политика.

Однако в действиях Коммуны мы сталкиваемся не с преувеличением принципов, а с их отрицанием.

А подчас — даже с насмешкой над ними.

Вот чем объясняется сопротивление этим действиям со стороны всех выдающихся людей.

Нет, невежество не может руководить городом науки; нет, месть не может управлять городом гуманности; нет, слепота не может вести город света; нет, Париж, город ясности, не может блуждать в потемках; нет, нет и еще раз нет!

Коммуна — хорошее дело, которое делается плохо.

Все допущенные ею ошибки объясняются двумя злосчастными обстоятельствами: плохой выбор момента, плохой выбор людей.

Никогда не следует впадать в подобное безумие. Можно ли представить себе Париж говорящим о тех, кто им управляет: «Я их не знаю!» Не следует усугублять мрак мраком; не будем добавлять к проблеме, заключенной в событиях, загадку, заключенную в людях. Как! Мало того, что мы имеем дело с неизвестными явлениями, нам приходится иметь дело еще и с неизвестными людьми!

Грандиозность первых пугает; ничтожность вторых пугает еще больше.

Гиганту следовало бы противопоставить титана, а ему противопоставляют пигмея!

Неясные социальные проблемы возникают и высются на горизонте, сгущаясь с каждым часом. Чтобы рассеять эту мглу, нужен весь свет вселенной.

Я быстро набрасываю эти строки, стараясь оставаться в рамках исторической правды.

Я заканчиваю тем, с чего начал. Подведем итог.

По мере возможности следует примирить идеи и умиротворить людей.

Обе стороны должны почувствовать необходимость договориться, то есть оправдаться.

Англия допускает привилегии, Франция допускает только права; в этом-то и состоит существенное различие между монархией и республикой. Вот почему, памятуя о привилегиях города Лондона, мы требуем предоставить Парижу лишь то, что принадлежит ему по праву. В соответствии с этими правами Париж хочет, может и должен явить Франции, Европе, всему миру образцовую систему общинного управления, должен стать городом-примером.

Париж — мерило прогресса.

Предположим, что мы живем в нормальное время: в законодательном органе нет роялистского большинства, противостоящего носителю верховной власти — народу, настроенному республикански; нет финансовых затруднений, нет врага на нашей территории, нет ран, зияющих на теле родины, нет Пруссии; Коммуна создает парижские законы, которые предвосхищают общепарижские законы, издаваемые Национальным собранием. Парижу, как я уже говорил много раз, предназначена всеевропейская роль. Париж — это двигатель. Париж — зачинатель всего. Он движется и доказывает необходимость движения. Не выходя за рамки своих прав, равнозначных его долгу, он может, в своих пределах, отменить смертную казнь, провозгласить права женщины и ребенка, предоставить женщине избирательное право, издать закон о бесплатном обязательном обучении, поощрить светское преподавание, прекратить судебное преследование газет, ввести неограниченную свободу печати, рекламы, торговли, ассоциаций и собраний, отменить юрисдикцию императорских судебных чиновников, ввести выборный суд, принять коммерческий суд и институт экспертов за образец и основу для судебной реформы, распространить суд присяжных на гражданские дела, передать церкви при-

хожанам, не объявлять господствующим, не субсидировать и не преследовать ни один из культов, провозгласить свободу банков, провозгласить право на труд, сделать его основой общинную мастерскую и общинный магазин, связанные между собой особыми денежными знаками, уничтожить акцизы, установить единый налог — подоходный; одним словом, упразднить невежество, упразднить нищету и, создав подлинно свободный город — объединение граждан, тем самым создать гражданина.

Но, скажут мне, это значило бы учредить государство в государстве. Нет, это значило бы снабдить корабль лоцманом.

Представим себе Париж, преображенный Париж, за работой. Какая изумительная деятельность! Какое величие в нововведениях! Реформы следуют одна за другой. Париж — великий испытатель. Цивилизованный мир внимательно смотрит, изучает, перенимает. Франция видит, как у нее на глазах во всем осуществляется прогресс; и каждый раз, когда Париж делает удачный шаг, Франция следует за ним, а за Францией следует Европа. Политический опыт, накапливаясь, приводит к созданию политической науки. Ничто уже не предоставляется воле случая. Не нужно больше опасаться потрясений, движения ощупью, отступлений, реакции; не будет ни предательских переворотов со стороны властей, ни проявлений народного гнева. То, что говорит Париж, он говорит для всего мира; то, что Париж делает, он делает для всего мира. Ни один другой город, ни одна другая группа людей не имеет этой привилегии. В Англии успешно применен *income-tax*¹; пусть Париж тоже введет его, и это послужит примером для всех. Система, дающая банкам право выпускать бумажные деньги, широко применяется на островах Ламанша; пусть ее применит Париж, и прогресс совершится. Когда Париж в движении, жизнь всего мира оживляется. Не должно быть больше бездействующих или напрасно растрчиваемых сил. Двигатель работает, зубчатая передача повинует, необъятная машина человечества движется отныне мирно, без остановок, без встрясок, без скачков, без поломок. Французская революция кончилась, начинается революция европейская.

¹ Подоходный налог (англ.).

Мы лишились наших прежних границ; война, конечно, вернет их нам, но мир возвратил бы их нам с еще большим успехом. Я подразумеваю мир правильно понятый, правильно примененный, правильно использованный. Этот мир дал бы нам не только восстановление Франции, он превратил бы Францию в Европу. Благодаря эволюции Европы, двигателем которой является Париж, мы изменим обстановку, и Германия внезапно пробудится, освобожденная и включенная в Соединенные Штаты Европы.

Что же думать о наших правителях? Обладать таким чудесным орудием цивилизации и верховной власти, как Париж, и не воспользоваться им!

Так или иначе то, что заложено в Париже, реализуется. Рано или поздно Париж станет коммуной. И люди удивятся, обнаружив, что это слово, коммуна, преобразилось и превратилось из грозного в мирное. Коммуна будет уверенной и спокойной. Процесс цивилизации, о котором я только что бегло сказал, не допускает ни насилия, ни штурма. У цивилизации, как и у природы, есть лишь два средства — проникновение вглубь и сияние. Первое дает сок, второе — свет; первое вызывает рост, второе дает возможность видеть; а люди, как и явления, имеют только эти две потребности — потребность в росте и потребность в свете.

Мужественные и дорогие друзья, я жму ваши руки.

Еще несколько слов. Каковы бы ни были дела, удерживающие меня в Брюсселе, само собой разумеется, что если вы по какой-либо причине сочтете полезным мое присутствие в Париже, вам достаточно подать мне знак, и я буду там.

В. Г.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ИНЦИДЕНТ

I

Редактору газеты «Эндепанданс бельж»

Брюссель, 26 мая 1871

Милостивый государь!

Я протестую против заявления бельгийского правительства, касающегося побежденных парижан.

Что бы ни говорили и что бы ни делали, эти побежденные являются политическими деятелями.

Я не был с ними.

Однако я приемлю принципы Коммуны, хотя и не одобряю ее руководителей.

Я решительно высказался против их действий: закона о заложниках, репрессий, произвольных арестов, нарушений свободы, запрещения газет, грабежей, конфискаций, разрушений, уничтожения Вандомской колонны, посягательств на право и нападок на народ.

Их насилия возмущали меня; в равной мере меня возмутили бы сейчас неистовства противоположной партии.

Уничтожение колонны является преступлением против народа. Разгром Лувра был бы преступлением против цивилизации.

Но дикие поступки, совершаемые бессознательно, не могут рассматриваться как злодеяния. Безумие — это болезнь, а не преступление.

Разрушение колонны было для Франции печальным событием; разрушение Лувра повергло бы в вечный траур все народы.

Но колонна будет восстановлена, а Лувр спасен.

Сегодня Париж вновь взят. Национальное собрание победило Коммуну. Кто вызвал события 18 марта? Национальное собрание или Коммуна? Кто из них подлинный виновник? Об этом скажет история.

Пожар Парижа — чудовищное преступление; но не было ли здесь двух поджигателей? Подождем судить об этом.

Я никогда не мог понять Бильорея, а Риго не только удивлял, но и возмущал меня; но расстрелять Бильорея — преступление; но расстрелять Риго — преступление.

Коммунар Жоаннар и его солдаты, приказавшие расстрелять пятнадцатилетнего мальчика, — преступники; но преступниками являются и депутаты Национального собрания, которые приказывают расстрелять Жюля Валлеса, Боске, Паризеля, Амуру, Лефрансе, Брюне и Домбровского.

Не будем возмущаться действиями только одной стороны. Слишком очевидны преступные действия как агентов Национального собрания, так и сторонников Коммуны.

Во-первых, смертная казнь отвратительна для всех цивилизованных людей; во-вторых, казнь без суда — бес-

честна. Первая уже не входит в арсенал права, вторая никогда в него не входила.

Сначала разберитесь в деле, потом выносите приговор, а затем уж приводите его в исполнение. Тогда я мог бы порицать, но не клеймить, — вы действовали по закону.

Но если вы умерщвляете без суда, вы — убийцы.

Возвращаюсь к бельгийскому правительству.

Бельгийское правительство напрасно отказало коммунарам в убежище.

Закон допускает такой отказ, но право запрещает его.

Я, пишуший эти строки, руководствуюсь принципом: право выше буквы закона — *pro jure contra legem*.

Право убежища — древнее право. Это священное право несчастных.

В средние века церковь предоставляла убежище даже отцеубийцам.

Что касается меня, то я заявляю нижеследующее:

Я предлагаю побежденным убежище, в котором им отказывает бельгийское правительство.

Где? В Бельгии.

Я оказываю Бельгии эту честь.

Я предлагаю убежище в Брюсселе.

Предлагаю убежище в доме № 4 на площади Баррикад.

Пусть побежденный, бежавший из Парижа, пусть любой из участников объединения, именуемого Коммуной, в избрании которого Париж принял очень незначительное участие и которого я лично никогда не одобрял, пусть любой из этих людей, будь то даже мой личный враг — тем более, если это мой личный враг, — постучится ко мне в дверь; я ему открою. В моем доме он будет неприкосновенен.

А что, если я окажусь вдруг на положении иностранца в Бельгии? Нет, я не верю этому. Я чувствую себя братом всех людей и гостем всех народов.

Как бы то ни было, изгнанник-коммунар будет принят в моем доме, побежденный найдет приют у изгнанника — сегодняшний побежденный у вчерашнего изгнанника.

Я не колеблясь скажу: оба они заслуживают уважения.

Слабый оказывает покровительство слабому.

Пусть человек, объявленный вне закона, войдет в мой дом. Пусть кто-нибудь попробует изгнать его оттуда.

Я говорю сейчас о политических деятелях.

Если ко мне в дом явятся, чтобы арестовать бежавшего коммунара, пусть арестуют меня. Если его выдадут французским властям, я последую за ним. Я сяду вместе с ним на скамью подсудимых, и среди поборников права, рядом с коммунаром, побежденным Национальным собранием Версаля, увидят республиканца, изгнанного Бонапартом.

Я выполняю свой долг. Принцип прежде всего.

И еще несколько слов.

Можно с уверенностью сказать, что Англия не выдаст бежавших коммунаров.

Зачем же ставить Бельгию ниже Англии?

Слава Бельгии в том, что она является убежищем. Не отнимайте у нее этой славы.

Защищая Францию, я защищаю Бельгию.

Правительство Бельгии будет против меня, но бельгийский народ будет на моей стороне.

Что бы ни случилось, совесть моя будет чиста.

Примите, милостивый государь, уверения в моих лучших чувствах.

Виктор Гюго.

II

Редактору газеты «Эндепанданс бельж»

Брюссель, 1 июня 1871 года

Сударь!

Я только что прочел отчет о заседании палаты. Я благодарю красноречивых людей, которые защищали — не меня, так как я ничто, а правду, которая превыше всего. Что же до распоряжения правительства, касающегося меня, то я предпочел бы обойти его молчанием. Высланный должен быть снисходительным. Я должен, однако, ответить на два замечания — замечание министра и замечание бургомистра. Министр, г-н д'Анетан, согласно отчету, находящемуся перед моими глазами, огласил запись какой-то беседы, *«подписанной мною»*. Подобная запись мне не предъявлялась, и я ничего не подписывал. Бургомистр, г-н Анспах, сказал относительно рассказа о событиях, написанного моим сыном: *«Это сказки»*. Между тем рассказ этот является чистейшей правдой, в нем

ничего не преувеличено, а скорее даже смягчено. Г-н Анспах не мог этого не знать. Вот в каких выражениях я сообщил об этих событиях полицейским чиновникам, явившимся ко мне: «Этой ночью один дом, а именно мой дом, в котором живут четыре женщины и двое маленьких детей, подвергся неистовому нападению какой-то банды. Бандиты угрожали смертью, камнями разбивали окна, пытались вскарабкаться по стене и выломать дверь. Налет начался в половине первого ночи и закончился в четверть третьего, на рассвете. Такие вещи можно было увидеть лет шестьдесят тому назад в Шварцвальде; сегодня они происходят в Брюсселе».

Этот налет — циничнейшее преступление. Королевскому прокурору следовало прийти в мой дом в шесть часов утра; следовало немедленно в юридическом порядке установить на месте картину преступления; следовало тут же начать судебное расследование; следовало немедленно получить показания пяти свидетелей: трех служанок, вдовы г-на Шарля Гюго и мои. Все это не было сделано. Не пришел ни один представитель следственной власти, не была произведена предписываемая законом проверка повреждений, не был составлен протокол. Завтра почти все следы нападения исчезнут, а свидетели разъедутся; намерение закрыть на все глаза в данном случае очевидно. Оглушая полиция, ослепшее правосудие. Не пожелали получить в юридическом порядке ни одного свидетельского показания, а главного свидетеля, которого прежде всего надо было бы позвать и выслушать, высылают.

Сказав все это, я уезжаю.

Виктор Гюго.

III

*Господам Кувреру, Дефюиссо, Демеру, Гильери,
Жотрану — представителям бельгийского народа*

Люксембург, 2 июня 1871

Господа!

Я считаю своим долгом поблагодарить вас: не от своего имени, ибо в столь важных вопросах роль моя ничтожна, а во имя права, которое вы хотели отстоять,

и во имя правды, которую вы хотели выяснить. Вы поступили как справедливые люди.

Я глубоко тронут предложением предоставить мне убежище, которое сделал в благородных и прекрасных словах красноречивый инициатор запроса г-н Дефюиссо. Я им не воспользовался. Чего доброго, каменный дождь двинулся бы вслед за мной, а я вовсе не желал бы, чтобы он обрушился на дом г-на Дефюиссо.

Я покинул Бельгию. Все хорошо

Что же касается самого факта, то он очень прост.

Осудив преступления Коммуны, я счел своим долгом осудить и преступления реакции. Мое одинаковое отношение к обеим сторонам не понравилось.

Нет ничего более неясного, чем политические вопросы, осложненные вопросами социальными. Эта неясность, требующая исследования и иногда смущающая историю, служит защитой побежденным всех партий, каковы бы они ни были; она их оберегает — в том смысле, что она требует изучения. Во всяком случае поражения надо разобраться. Так я думал. Расследуем, прежде чем судить, и особенно прежде чем осуждать, и особенно прежде чем казнить. Я считал этот принцип бесспорным. Но оказывается, куда лучше сразу же убивать.

Я думал, что бельгийское правительство, учитывая положение, в котором находится Франция, оставит свою границу открытой, сохранит за собой право проверки, нераздельно связанное с правом убежища, и не станет выдавать всех беженцев без разбора французской реакции, которая всех их без разбора расстреливает.

И к наставлению я присоединил пример, заявив, что я лично желаю сохранить за собой право предоставлять убежище в своем доме и что, если даже об убежище будет молить мой враг, я открою ему свою дверь. За это на меня сначала произвели ночное нападение 27 мая, а затем выслали из страны. Эти два факта находятся во взаимной связи. Один дополняет другой; второе действие оправдывает первое. Будущее рассудит.

Не в этом горе, я без особого труда перенесу высылку. Быть может, это хорошо, что в течение всей моей жизни мне приходилось всегда быть немного гонимым.

Впрочем, я попрежнему не намерен смешивать бельгийский народ с бельгийским правительством, и, считая для себя честью длительное гостеприимство, оказанное мне Бельгией, я прощаю правительство и благодарю народ.

Виктор Гюго.

IV

Редактору газеты «Эндепанданс бельж»

Люксембург, 6 июня 1871

Милостивый государь!

Разрешите мне восстановить факты.

25 мая г-н Анетан от имени бельгийского правительства заявил:

«Я могу заверить палату, что правительство Бельгии сумеет выполнить свой долг с величайшей твердостью и величайшей бдительностью; оно использует полномочия, находящиеся в его распоряжении, чтобы *не допустить вторжения на бельгийскую землю* людей, которые едва ли заслуживают такого наименования и должны быть *изгнаны из пределов* всех цивилизованных государств. (Горячее одобрение на всех скамьях.)

Это не политические эмигранты; мы не можем считать их таковыми».

Это означает, что граница закрыта. Это — отказ от проверки.

Вот против чего я протестовал, заявляя, что надо было *подождать, прежде чем осуждать*, и что, если правительство упразднит право убежища в Бельгии, я лично сохраню его в моем доме.

Я написал свой протест 26-го, он был опубликован 27-го, а 27-го ночью на мой дом было совершено нападение; 30-го я был выслан.

31 мая г-н д'Анетан сказал:

«Каждый случай будет рассматриваться особо, и если чьи-либо поступки не подпадут под действие закона, то закон не будет применен. Правительство хочет только выполнения закона».

Но ведь это означает открытую границу. Это означает, что принимается принцип проверки, а это именно то, о чем я просил.

Кто же заговорил иным языком? Разве я? Нет, это сделал бельгийский министр.

25-го он закрывает границу, 27-го я протестую, а 31-го он снова открывает границу.

Он меня выслал, но послушался меня.

Убежище, на которое имеют право побежденные политические деятели, я потерял для себя, но выиграл для них.

Это меня удовлетворяет.

Примите, сударь, уверения в моих лучших чувствах.

Виктор Гюго.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из этого сборника фактов и документов, которые я не задумываясь довожу до всеобщего сведения, вытекает следующее:

После девятнадцатилетнего (без трех месяцев) отсутствия я вернулся в Париж 5 сентября 1870 года; на протяжении пяти месяцев, пока длилась осада, я прилагал все усилия, чтобы содействовать обороне и поддерживать единство перед лицом врага; я оставался в Париже до 13 февраля; 13 февраля я уехал в Бордо; 15-го я занял место в Национальном собрании; 1 марта я выступил против мирного договора, который стоил нам двух провинций и пяти миллиардов; 2-го я голосовал против этого договора; на собрании леворадикальной группы, 3 марта, я внес проект резолюции, принятый единогласно; если бы этот проект в надлежащий момент мог быть представлен в Национальное собрание и принят им, он установил бы постоянное представительство Эльзаса и Лотарингии в Собрании до того дня, когда эти провинции вновь станут французскими де-факто, как они остаются французскими по праву и по духу; в одиннадцатой комиссии, 6 марта, я рекомендовал Национальному собранию заседать в Париже и указал на опасность его отказа вернуться в столицу; 8 марта я выступил в защиту непризнанного и оскорбленного Гарибальди, а когда Собрание оказало мне честь обойтись со мною так же, как с ним, я, как и он, подал в отставку; 18 марта я

привез в Париж прах моего сына, внезапно умершего 13 числа, и принес благодарность народу, который, находясь в то время в состоянии наивысшего революционного возбуждения, пожелал, однако, принять участие в похоронной процессии; 21 марта я выехал в Брюссель, чтобы выполнить свои обязанности опекуна двух сирот и произвести раздел имущества; находясь в Брюсселе, я выступил против Коммуны по поводу ее отвратительного закона о заложниках и провозгласил: «Никаких репрессий!»; я напомнил Коммуне о принципах и защищал свободу, право, разум, неприкосновенность человеческой жизни; я защищал Вандомскую колонну от Коммуны и Триумфальную арку от Национального собрания; я призывал к миру и прекращению распри, я с возмущением осуждал гражданскую войну; 26 мая, когда определилась победа Национального собрания, а бельгийское правительство объявило вне закона побежденных, тех самых людей, против которых я боролся, я потребовал для них права убежища и, подкрепляя свой совет личным примером, предложил им убежище в своем доме; 27 мая я подвергся ночному нападению у себя дома со стороны банды, в которую входил сын одного из членов бельгийского правительства; 29 мая я был выслан бельгийским правительством; итак, я исполнил свой долг, только свой долг, весь свой долг до конца; а кто выполняет свой долг, обычно оказывается в одиночестве; вот почему я был удивлен, узнав, что после того как в феврале, на выборах в Париже, я получил двести четырнадцать тысяч голосов, на выборах в июле за меня все же проголосовало пятьдесят семь тысяч человек.

Я глубоко этим растроган.

Я был счастлив, получив двести четырнадцать тысяч голосов. Я горжусь пятьюдесятью семью тысячами.

Виктор Гюго.

Вианден (Люксембург), июль 1871

ПАРИЖ
(ОКТАБРЬ—ДЕКАБРЬ 1871)

РЕДАКТОРАМ ГАЗЕТЫ «РАППЕЛЬ»

Париж, 31 октября 1871

Друзья мои!

«Раппель» снова будет издаваться. Вы просите меня, прежде чем я вернусь к своему уединению и безмолвию, написать несколько слов для этой газеты. Отважные борцы, готовые вновь взяться за свое повседневное нелегкое дело — распространение истины, вы с полным основанием ожидаете от меня напутственного слова, с которым писатель-ветеран, отстранившийся от политических споров и непричастный к газетной борьбе, обязан обратиться к вечному воину, именуемому журналистом. Итак, я еще раз поднимаюсь на вашу трибуну, чтобы затем тотчас же сойти с нее и смешаться с толпой. Сегодня я еще говорю, в дальнейшем я буду только слушать.

Никогда еще обязанности писателя не были так серьезны, как в этот час.

В переживаемый нами момент необходимо сделать одно, только одно. Что именно?

Возродить Францию.

Возродить Францию. Ради кого? Ради самой Франции? Нет. Ради всего человечества. Угасший светильник никто не зажигает вновь ради самого светильника.

Его зажигают для тех, кто во мраке; для тех, кто в темном подземелье протягивает руки и ощупью пробирается вдоль непреодолимой стены, загораживающей выход; для тех, кому необходим проводник, луч света, тепло, мужество, уверенность в правильности избранного

пути, лицемерие цели; для тех, кому мрак застилает горизонт, мешает работать, преграждает дорогу, затемняет сознание; для тех, кто хочет ясно видеть и свои неудачи и свои победы. Светильник зажигают и для того, кто его погасил и при этом ослепил себя; и ради Германии нужно возродить Францию.

Да, ради Германии. Ибо Германия — раб, и Франция вернет ей свободу.

Свет несет освобождение.

Но чтобы возжечь светильник, чтобы возродить Францию, что нужно сделать? Как за это взяться?

Это и трудно и просто.

Нужно высечь искру.

Откуда?

Из души народа.

Эта душа никогда не умирает. Как все небесные светила, она подвергается затмениям, а затем, излучая ослепительное сияние, внезапно появляется вновь.

Величие Франции складывалось из двух элементов — величия материального и величия морального. Пострадало только ее материальное могущество, ее духовное могущество осталось непоколебленным. Можно отнять территорию, но не ореол; луч света нельзя обратить вспять. Цивилизация мало знакома с Берлином, она по-прежнему тяготеет к Парижу. После пережитых бедствий взглянем на результат. Франция сохранила одно — поддержку всех народов. Франция потеряла две провинции, но она удержала весь мир.

Это то же чудо, какое являли миру Афины и Рим. И объясняется оно одним драгоценным даром — Искусством. Быть страной высоких идеалов значит быть страной права; быть народом — носителем прекрасного значит быть народом — носителем истины.

Быть великаном — ничто, если не обладаешь великим духом. Турция была великаном, Россия — великан, Германская империя будет им; гиганты, сотканые из мрака; пресмыкающиеся исполины. Исполин с крыльями — это архангел. Франция выше всех потому, что она крылата и светозарна. Благодаря тому, что она — великая культурная нация, она стала великой революционной нацией. «Марсельеза», ее гимн, в то же время и ее шпага. Тысяча семьсот восемьдесят девятый год был бы немыслим

без его предтечи — Энциклопедии. Вольтер подготовил появление Мирабо. Уберите Дидро — не будет и Дантона. Если бы в начале восемнадцатого века не дали развиваться ростку, чье имя Руссо, в конце века как следствие не смог бы развиваться другой росток, чье имя Робеспьер. Непостижимые связи, таинственные влияния, сочетания абстрактного и конкретного — все это может исследовать философ, военным трибуналам это неподсудно.

Итак, газета, как и писатель, имеет две функции — функцию политическую и функцию литературную. В сущности обе эти функции сливаются в одну, ибо без литературы нет и политики. Невозможно совершать революции, обладая дурным стилем. Ювенал оздоровил Рим, а Данте оплодотворил Флоренцию только потому, что они были великими писателями.

Поскольку вы позволяете мне изложить мои мысли на страницах вашей газеты, давайте же определим ее современные задачи так, как я их понимаю.

Девятнадцатый век, логический продолжатель дела французской революции, завязал с прошлым две битвы: одну — политическую, другую — литературную. Из этих двух битв исход первой, подверженной различным приливам и отливам, еще неясен; вторая битва — литературная — выиграна. Вот почему необходимо продолжать борьбу в политике и прекратить ее в литературе. Тот, кто завоевал победу, обязан умиротворять. Долг победителя — обеспечить мир.

Так установим же во имя торжества идей и прогресса мир в литературе. Мир в литературе положит начало миру в духовной сфере. Я считаю необходимым оказывать помощь всем дарованиям, поддерживать все проявления доброй воли, содействовать всем начинаниям, поощрять мужество одобрением, приветствовать молодые таланты, воздавать почести старикам, озаренным славой. Действуя таким образом, мы возвышаем Францию. Возвышать Францию — значит возрождать ее. Как я уже сказал, это великий долг.

Сказанное мною относится не к одной газете и не к какой-либо группе писателей; я отношу это ко всей литературе в целом. Настало время отказаться от распрей и решительно покончить с раздорами. Содружество! Братство! Согласие! Военная мощь Франции сломлена, но ее

литературная мощь осталась незыблемой. Будем же уважать эту прекрасную часть нашей славы, которой завидует Европа.

Наше самоуничижение отвратительно. Им пользуется чужеземец. Наши усобицы и наши распри дают ему право нагло насмехаться над нами. Как! В то время как он нас увечит, мы царапаем друг друга! Он заставляет нас рыдать, а мы вызываем у него смех. Покончим с этим самообманом. Ни немцы, ни англичане не допускают подобных ошибок. Посмотрите, как они превозносят малейшие свои успехи. Даже будучи нищими, они объявляют себя богачами. Нам же, поскольку мы действительно богаты, не к чему прибедняться. Там, где мы — победители, не будем скромничать, словно побежденные. Не будем играть на руку врагу. Слепим его всем нашим светом. Не будем ни в чем умялять этот век великой литературы, который Франция с гордостью присоединяет к трем предыдущим. Он начался с блеском и продолжается со славой. Так скажем же об этом во весь голос. Отметим, к чести нашей родины, каждый успех, как нынешний, так и прежний. Быть добрыми друзьями — значит быть патриотами.

Когда я говорю это вам, столь благородным умам, я опережаю ваши собственные мысли. Заметьте, что, давая этот совет писателям, я остаюсь верным принципам всей своей жизни. В молодости я писал в оде, обращенной к Ламартину:

Хвалебный гимн всегда я пел другим поэтам,
И лавровым венкам, на главы их надетым,
Я не завидовал вовек

Итак, мир в литературе! Но война в политике.

Разоружимся там, где мы можем разоружиться, чтобы лучше бороться там, где борьба необходима.

В настоящий момент республику атакуют в ее собственной стране, во Франции, три или четыре монархии. Все силы прошлого — королевское прошлое, теократическое прошлое, военное прошлое — вступили в рукопашную схватку с Революцией. Рано или поздно Революция победит. Будем добиваться, чтобы это случилось как можно раньше. Будем бороться. Приблизить час победы — немалое дело.

Возродим же Францию и в политическом отношении. Понятие «Франция» равнозначно понятию «свобода». Победоносная Революция создаст победоносную Францию.

Более всего угрожает Революции некое явление, искусственно вызванное, но серьезное, с которым нужно бороться в первую очередь, грозная опасность, реальная опасность, я сказал бы: почти единственная опасность — торжество закона над правом. Из-за этого пагубного явления Революция может оказаться в зависимости от произвола Собраний. В наши дни почти повсеместно можно видеть, как законодательство, распространяясь, извращает истину и справедливость. Закон подавляет право. Он подавляет право в вопросе о наказаниях, внося в него непоправимость; в вопросе о браке, внося в него нерасторжимость; в вопросе об отцовстве, уродуя, а подчас искажая его догмами римского права; в вопросе об образовании, не допуская, чтобы оно было бесплатным и, следовательно, равно доступным для всех; в вопросе об обучении, объявляя его добровольным, тогда как оно должно быть обязательным, ибо в данном случае право ребенка стоит выше прав отца; в вопросе о труде, извращая его суть крючкотворством; в вопросе о печати, закрывая доступ к ней беднякам; в вопросе о всеобщем избирательном праве, исключая из него женщину. Все это — серьезные нарушения порядка, преувеличение роли закона. Любое излишество в законе наносит ущерб праву.

Все правители, будь то суверенные Собраний или монархи, склонны к иллюзиям и легко им поддаются. Вспомним хотя бы иллюзии Собрания Бордо, которое затем стало Собранием Версаля, что еще не означает Собрания Парижа. Это Собрание, к которому я имею честь больше не принадлежать, памятуя о плебисците 8 мая, считало, что всеобщим голосованием можно добиться чего угодно. Оно ошибалось. В последнее время наблюдается стремление злоупотреблять плебисцитами. Непосредственное самоуправление народа, несомненно, является целью, к которой следует стремиться, но нужно остерегаться плебисцитов; прежде чем прибегать к ним, необходимо установить, что они собою представляют. Политика требует математического расчета, и нельзя пускать в ход какую-либо силу, не определив предварительно ее действия. Длина рычага зависит от массы тела, которое нужно сдвинуть,

Так вот, плебисцит не может ни приподнять, ни переменить, ни перевернуть право. Право первично. Оно существовало и будет существовать вечно. Право появилось раньше народа, так же как нравственность появилась раньше нравов. Право порождает всеобщее голосование, всеобщее голосование порождает закон. Обратите внимание, какое огромное расстояние отделяет закон от права и сколь незначительно человеческое по сравнению с вечным. Все люди вместе не смогли бы создать ни одного права, а я, обращающийся сейчас к вам, участвовал за свою жизнь в составлении нескольких сот законов. Закон, прибегающий к всеобщему голосованию для того, чтобы уничтожить право, — то же, что сын, прибегающий к помощи отца для того, чтобы убить деда. Можно ли придумать нечто более чудовищное? А ведь именно об этом мечтают люди, воображающие, что можно поставить на голосование само существование республики, что можно придать результату сегодняшнего голосования гораздо большее значение, чем результату завтрашнего голосования, что можно в угоду минутному капризу отдельной личности отменить непререкаемое право человека.

В этот час обнажаются противоречия между законом и правом. Мятеж низменного против возвышенного в разгаре.

Что может быть более тягостным и тревожным для сознания, чем эти противоположные устремления права и закона! Право обращено в будущее, закон — в прошлое. Право выдвигает общественные проблемы, закон выдвигает политические уловки. Первые отесняются, вторые поощряются, и каждую минуту происходят столкновения! Общественные проблемы, окутанные мглой, наталкиваются на политические уловки — этот сплошной мрак. И никакого решения! Что может быть страшнее?

К проблемам постоянным добавляются проблемы текущие; и первые и вторые неотложны. Роспуск Собранин; расследование мартовских событий, а также событий майских и июньских; амнистия. Сколько дела для писателя, и какая ответственность! Наряду с вопросами, полными угроз, вопросы, полные мольбы. Застенки, пловучие тюрьмы, женщины и дети, взывающие о помощи. Здесь мать, тут сыновья и дочери, там отец! Разбитые семьи,

часть семьи ютится на чердаке, другая часть семьи томится в камере. О друзья мои! Необходима амнистия! Амнистия! Зима наступает! Необходима амнистия!

Будем же просить, молить, требовать амнистии. И это в интересах всех. Исцеление отдельного недуга влечет за собой исцеление всего организма; заживление раны на ноге устраняет лихорадку.

Следовательно, нужна немедленная амнистия! Амнистия прежде всего! В первую очередь необходимо наложить жгут на артерию. Объясним властям, что в этих вопросах быстрота действий служит показателем их умения управлять. И так уже слишком долго продолжаются колебания, а запоздалое милосердие вызывает чувство раздражения. Не дожидайтесь, пока давление всемогущего общественного мнения заставит вас дать амнистию! Даруйте амнистию добровольно, а не под нажимом силы, не теряйте времени. Если вы провозгласите амнистию сегодня, она возвеличит вас; если вы провозгласите ее завтра, она обернется против вас.

Посмотрите на мостовую — и она ратует за амнистию. Амнистии представляют собой очищение. Они всем приносят пользу.

Амнистия столь же благотворна для тех, кто ее дарует, сколь и для тех, на кого она распространяется. Тем она и замечательна, что несет благо для обеих сторон.

Друзья, пловучие тюрьмы пожирают людей. После стольких жертв я не могу взирать на новые жертвы.

Мы присутствуем сейчас при ужасном явлении — торжестве смерти. Считалось, что смерть побеждена. Считалось, что она побеждена в законодательстве, что она побеждена в дипломатии. Уже виднелся конец смертной казни и наемных армий. В 1793-м один год господства гильотины был грозным ответом на двенадцать столетий монархического правления, при котором свирепствовали виселица, колесование и четвертование; после революции можно было надеяться, что эшафот себя исчерпал. Затем наступила пятнадцатилетняя полоса сражений, и после Наполеона можно было надеяться, что с войнами покончено. Смертная казнь, давно отмененная в совести каждого человека, начала исчезать также из уголовных кодексов; двадцать семь правительств Старого и Нового

Света упразднили ее; в законодательстве устанавливался мир, между нациями рождался дух согласия; судьи уже не осмеливались приговаривать людей к смерти на эшафоте, а короли не осмеливались обрекать народы на смерть в сражениях. Эти замечательные результаты были достигнуты усилиями поэтов, философов, писателей. Тайберны и Монфоконы низвергались в пропасть своего собственного позора, а Росбахи и Аустерлицы — в пропасть своей собственной славы. Прекратились убийства как посредством судебных приговоров, так и посредством войны; получил признание принцип неприкосновенности человеческой личности. Впервые за шесть тысяч лет люди стали дышать свободно. Гора, именуемая смертью, была сброшена с груди титана. Занималась эра подлинной цивилизации. И вдруг поднялся 1870 год со шпагой в правой и топором в левой руке. Вновь появилась смерть, этот страшный призрак, двуликий Янус, один лик которого — война, а другой — казнь. Раздался ужасный крик: «Мщение!» Иностранное нашествие и гражданская война вызвали к жизни бессмысленную жажду мести. Око за око, зуб за зуб, провинция за провинцию. Убийство в своих двух обликах, сражении и резне, обрушилось сначала на Францию, а затем на народ; европейцы разработали проект — уничтожить Францию, а французы замыслили преступление — уничтожить Париж. Вот к чему мы пришли.

Так вместо утверждения, которого требует наш век, пришло отрицание. Эшафот, ставший смутным видением, превратился в реальность; война, являвшая собою призрак, стала необходимостью. Ее исчезновению препятствует угроза ее возрождения, в наши дни матери вскармливают своих детей для могилы; счета между Францией и Германией не закончены — предстоит реванш; смерть питается смертью, в будущем будут убивать потому, что убивали в прошлом. Наблюдается роковое явление: в то время как вне страны распространяется идея реванша, внутри нее распространяется идея мщения. И исходит она, если хотите знать, от властей. Правда, в этом деле произошел прогресс: вместо того чтобы класть осужденных на доску эшафота, их ставят к стенке, гильотина заменена расстрелом. И вот все то, что казалось окончательно завоеванным, потеряно, чудовище, считавшееся побежден-

ным, торжествует, меч властвует в обоих своих видах — топора в руках палача и шпаги в руках солдата; таким образом, в этот зловещий момент, когда торговля хиреет, когда промышленность приходит в упадок, когда труд замирает, когда свет гаснет, когда жизнь угасает, в этот момент только одна смерть полна жизни.

Так утвердим же жизнь! Утвердим прогресс, справедливость, свободу, высокие идеалы, добро, прощение, вечную истину! Сегодня человеческое сознание погружено во мрак — и виною этому упадок Франции. Когда я в Брюсселе призвал к милосердию, в меня бросали камни.

Так утвердим же Францию! Возродим ее. Зажжем ее вновь. Вернем людям ее свет. Франция необходима всей вселенной. Все мы, французы, склонны быть в большей степени людьми, чем гражданами, в большей степени космополитами, чем националистами, в большей степени братьями всех, чем сыновьями своей расы. Сохраним эту склонность, она благотворна; но отдадим себе отчет, что Франция — не такая родина, как все другие, что она — двигатель прогресса, душа цивилизации, оплот всего человечества и что, когда она колеблется, все кругом рушится. Отметим гигантский нравственный регресс всех наций, соответствующий движению Франции вспять; отметим, что войны появились вновь, что эшафот возродился, что убийства возобновились, что вновь настала ночь. Обратим внимание на ужас, написанный на лицах народов; придем им на помощь, возрождая Францию; укрепим соединяющие нас национальные узы и признаем, что бывают такие времена, когда наилучшим выражением любви к родине является любовь к семье, а наилучшим выражением любви к человечеству — любовь к родине.

Виктор Гюго.

ЛЕОНУ БИГО, ЗАЩИТНИКУ МАРТО

Париж, 5 ноября 1871

Милостивый государь!

Я прочел вашу записку; она превосходна, я рукоплещу вашим великодушным усилиям. Вы просите моей поддержки — я целиком на вашей стороне. Я иду даже дальше вас.

Вопрос, который вы рассматриваете как юрист, я рассматриваю как философ. Проблема, которую вы так блестяще, красноречиво и логично анализируете с точки зрения писаного права, освещена для меня еще более возвышенным и ярким светом естественного права. А на известной глубине естественное право сливается с правом общественным.

Вы защищаете Марото, молодого человека, который, став в семнадцать лет поэтом, а в двадцать лет солдатом-патриотом, перенес зловещею весною 1871 года приступ лихорадки, изложил на бумаге кошмар, явившийся ему во время этого приступа, и сейчас за эту роковую страницу, если не будут приняты меры, должен быть расстрелян и умереть двадцати двух лет от роду, почти не начав жить. Человек приговорен к смертной казни за газетную статью — такого еще не бывало.

Вы просите сохранить жизнь этому осужденному. Я прошу сохранить ее всем осужденным. Я прошу сохранить жизнь Марото; я прошу сохранить жизнь Росселю, Ферре, Люлье, Кремье; я прошу сохранить жизнь трем несчастным женщинам — Марше, Сюэтан и Папавуан, хотя моему слабому уму ясно и то, что они действительно носили красные повязки, и то, что Папавуан — ужасное имя, и то, что их действительно видели на баррикадах — сражающимися, по утверждению обвинителей, подбирающими раненых, по их собственным словам. Мне ясно и еще одно обстоятельство, заключающееся в том, что одна из них — мать и что, услышав свой смертный приговор, она сказала: *«Что ж, ладно; но кто будет кормить моего ребенка?»*

Я прошу сохранить жизнь этому ребенку.

Позвольте мне на мгновение задержаться на этом.

«Кто будет кормить моего ребенка?» В этих словах заключена вся суть социальных бедствий. Я знаю, что казался смешным на прошлой неделе, когда, перед лицом переживаемых Францией несчастий, призывал к единению французов, знаю также, что буду казаться смешным и на этой неделе, призывая сохранить жизнь осужденным. Что ж, я мирюсь со своей участью. Итак, перед нами мать, которая умрет, и младенец, который, следовательно, тоже умрет. Нашему правосудию свойственны подобные

удачи. Виновна ли мать? Можно ответить и утвердительно и отрицательно. Виновен ли ребенок? Попробуйте ответить утвердительно.

Я прямо заявляю, что меня потрясает мысль об этом невинном существе, которое будет наказано по нашей вине; единственное оправдание непоправимых наказаний — их безошибочность; нет ничего более чудовищного, чем закон, бьющий мимо цели. Человеческое правосудие, внезапно иссушающее источник жизни, питающий ребенка, противоречит правосудию божественному; это нарушение порядка именем порядка имеет странный вид; нехорошо, что наши жалкие, преходящие установления и наши близорукие приговоры здесь, на земле, вызывают негодование вечных законов там, на небесах; никто не имеет права наносить удар матери, если при этом наносится удар и ребенку. Мне кажется, что я слышу, как неведомый голос говорит людям: «Что это вы там делаете?» И я ощущаю тревогу, когда вижу, как природа в изумлении устремляет угрюмый взгляд на общество.

Я оставляю этого маленького осужденного и возвращаюсь к остальным.

В глазах тех, кто довольствуется видимостью порядка, смертные приговоры имеют одно преимущество — они заставляют молчать. Но так бывает не всегда. Устанавливать мнимое спокойствие при помощи насилия опасно. Политические казни приводят к продлению гражданской войны в скрытом виде.

Мне говорят: «Жалкие существа, чья казнь вас так тревожит, не имеют ничего общего с политикой; в этом согласны все. Они — заурядные правонарушители, виновные в обычных преступлениях, предусмотренных уголовными кодексами всех времен».

Рассмотрим этот вопрос.

Что все считают вынесенные приговоры обоснованными — меня мало интересует. Когда дело идет о суде над противником, следует остерегаться яростного одобрения толпы и рукоплесканий наших собственных приверженцев; следует разобраться в царящей вокруг атмосфере бешенства, равнозначного безумству; нельзя позволить толкнуть нас даже на те суровые меры, которых мы сами хотим; следует опасаться угодливости общественного

гнева. Следует избегать некоторых слов, как то: «*обычные преступления*», «*обыкновенные правонарушения*» — слов уклончивых, которыми легко можно оправдать чрезмерно жестокие приговоры; такие слова имеют тот недостаток, что они удобны, а в политике удобное опасно. Не будем же прибегать к услугам порочных формулировок; эластичность слов соответствует подлости людей — и те и другие слишком послушны.

Сравнение Марата с Ласенером соблазнительно — оно ведет далеко.

Не может быть сомнения, что если бы «бесподобная» палата (я имею в виду палату 1815 года) появилась двадцатью годами раньше и волею случая восторжествовала над Конвентом, она нашла бы отличные предлоги, чтобы объявить республику преступной; 1815 год объявил бы 1793 год подсудным обычному уложению; сентябрьские убийства, казни епископов и священников, разрушение общественных памятников, посягательства на частную собственность — все это было бы обязательно включено в обвинительный акт; белый террор был бы в законном порядке применен против красного террора; роялистская палата объявила бы депутатов Конвента заподозренными и уличенными в обычных преступлениях, предусмотренных и наказуемых уголовным кодексом; она подвергла бы их повешению и колесованию, восстановленным вместе с монархией; в Дантоне она увидела бы бандита, в Камилле Демулене — подстрекателя к убийству, в Сен-Жюсте — убийцу, в Робеспьере — самого типичного и заурядного преступника; она крикнула бы им всем: «Вы не политические деятели!» И общественное мнение говорило бы «Правильно!» до тех пор, пока человеческая совесть не сказала бы: «Ложь!»

Недостаточно того, что Собрание или трибунал, даже если его члены носят саблю у пояса, сказало: «Это так!», чтобы это было действительно так. Невозможно управлять человеческим сознанием при помощи декретов. Как только проходит первое ошеломляющее впечатление, сознание сосредоточивается и анализирует. Запутанные явления не могут оцениваться как явления простые; слова «*нарушения общественного порядка*» не лишены смысла; бывают такие сложные события, в которых к известной

доле злого умысла примешивается известная доля права. А когда потрясения проходят, когда колебания прекращаются, является история со своим инструментом для определения истины — разумом — и отвечает первоначальным судьям следующим образом: Девяносто третий год спас страну, террор предотвратил предательство, Робеспьер нанес поражение Вандее, а Дантон — Европе, цареубийство покончило с монархией, казнь Людовика XVI сделала невозможной в будущем казнь Дамьена, конфискация поместий эмигрантов вернула пашню крестьянину и землю народу, разрушенные города, Лион и Тулон, скрепили национальное единство. Двадцать преступлений, а в результате благодеяние — французская революция.

Я обладаю чувством меры и приравниваю сегодняшних осужденных к титаническим борцам прошлого только в одном отношении: они тоже борцы-революционеры; им тоже можно вменить в вину только действия политического характера; история отметет от них эти оценки: *обычные преступления, обыкновенные правонарушения*. Что же совершают, приговаривая их к смертной казни? Восстанавливают политический эшафот.

И это страшно. Это — шаг назад, поражение прогресса. Вновь появляются Бабеф, Арена, Сераччи, Топино-Лебрен, Жорж Кадудаль, Мале, Лагори, Гидаль, Ней, Лабедуайер, Дидье, братья Фоше, Пленье, Карбонно, Толлерон, четыре сержанта из Ларошели, Алибо, Сирас, Шарле, Кюизинье, Орсини. Возвращение призраков.

Вновь обратиться к мраку, повернуть вспять могучее движение человечества — ничего более безумного нельзя и придумать. Цивилизация отступает только к пропасти.

Слов нет, судьба Росселя, Марото, Гастона Кремье и других, всех этих людей, находящихся под угрозой, волнует меня; но еще более волнует меня опасность, нависшая над цивилизацией.

Но, отвечают мне, мы отступаем именно для того, чтобы избежать падения в пропасть. Вам она мерещится позади, а мы видим ее впереди. Мы, как и вы, заботимся о спасении общества. Вы видите его в милосердии, мы — в возмездии.

Пусть так. Я готов обсудить вопрос в такой плоскости. Это ведь старый спор между справедливостью и пользой. Справедливость на нашей стороне; посмотрим же, на вашей ли стороне польза.

Вот приговоренные к смерти. Что с ними сделают? Их казнят?

Дело идет о спасении общества, говорите вы. Станем на эту точку зрения. Одно из двух: либо эта казнь необходима, либо нет.

Если она не необходима, то как ее назвать? Смерть ради смерти, эшафот ради эшафота, удобный случай для упражнения рук, искусство ради искусства — это гнусность.

Если она необходима, это значит, что она спасает общество.

Рассмотрим суть дела.

В данный момент настоятельно требуют разрешения четыре проблемы — проблема финансовая, проблема политическая, проблема национальная, проблема социальная; это означает, что четыре важнейшие основы, на которых покоится вся наша жизнь, поколеблены: устойчивость в вопросах финансовых поколеблена инфляцией, устойчивость в вопросах законности — политическими преследованиями, устойчивость в вопросах внешней политики — национальным унижением, устойчивость в вопросах внутреннего положения — социальной несправедливостью. У цивилизации есть свои четыре ветра, — и вот все они разбушевались одновременно. Происходит грандиозное сотрясение. Слышится грохот рушащихся зданий, фундаменты трещат, колонны гнутся, столбы шатаются, весь остов колеблется; царит небывалая тревога. Проблема политическая и проблема национальная смешались; потерянные нами границы требуют уничтожения всяких границ; только объединение народов может привести к этому мирным путем; решение вопроса состоит в провозглашении Соединенных Штатов Европы; Франция вернет себе верховенство только путем превращения французской республики в республику всего континента; это — великая цель, головокружительный подъем, вершина цивилизации; как же ее достигнуть? Одновременно финансовая проблема усложняет проблему социальную;

со всех сторон открываются мрачные перспективы: с одной стороны, колонизация дальних земель, поиски золотых россыпей — Австралия, Калифорния, — переселения и перемещения народов; с другой стороны, обесценение денег, падение курса банковых билегов, демократизация собственности, попытки примирения труда с капиталом посредством выпуска акций; бесчисленные трудности, которые когда-нибудь разрешатся воцарением благосостояния и света, а пока приводят к нищете и страданиям. Таково положение. И вот вам лекарство от всех бед: убить Марото, убить Люлье, убить Ферре, убить Росселя, убить Кремье, убить трех несчастных женщин — Сюэтан, Марше и Папавуан; от счастливого будущего нас отделяет только несколько трупов, необходимых для процветания общества; все потрясения прекратятся, доверие укрепитя, уверенность возродится, беспокойство исчезнет, порядок будет установлен и Франция обретет безопасность, как только мы услышим голос ребенка, во мраке зовущего свою убитую мать.

Итак, в этот столь необыкновенный час, какого не переживал никогда ни один народ, нашей единственной надеждой являются семь или восемь могил. И когда государственный деятель, склонившись к столу и обхватив голову руками, складывает ужасные цифры, рассматривает разорванную карту, ищет причины поражений, катастроф, неудач, капитуляций, предательств, бесчестия, позорных мирных договоров; когда он обдумывает положение Франции, лишенной золота потому, что у нее вырвали пять миллиардов, и обескровленной потому, что у нее вырвали две провинции; когда он ощущает под Парижем страшное сотрясение земли и видит перед собой обвалы, крушения, бедствия, висящие обломки зданий, невежество, нищету, угрозу гибели; когда он думает о страшном будущем; когда, размышляя обо всех этих ужасных несчастиях, он просит помощи у неведомого; когда он молит о пришествии Тюрго, необходимого для наших финансов, Мирабо, необходимого для наших Собраний, Аристида, необходимого для нашего суда, Ганнибала, необходимого для нашей армии, Христа, необходимого для нашего общества; когда он склоняется к тени и умоляет ее ниспослать ему истину, мудрость, свет, науку, совет, талант; когда он мысленно призывает *Deus ex machina* —

этого искуснейшего кормчего при угрозе кораблекрушений, целителя народных бедствий, архангела отчаявшихся народов, всеобщего спасителя, — перед ним появляется — кто же? — могильщик с заступом на плече.

Виктор Гюго.

**РОБЕРУ ГИЙЕННУ,
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ДЕМОКРАСИ
ДЮ МИДИ»¹**

Париж, 2 декабря 1871

Мой доблестный собрат, воспоминания, которые вы воскрешаете во мне, навсегда запечатлены в моем сердце; я с давних пор знаю и уважаю вас. Прежде вы были другом изгнанников; сегодня вы — борец за правду и свободу. Ваш талант и ваше мужество служат для вашей газеты «Демокраси дю Миди» двойным залогом успеха.

Мы переживаем роковой кризис. После нашествия иноземцев — террор реакционеров. 1871 год равнозначен 1815 году, он даже страшнее. После кровавой резни — воскрешение эшафота для политических противников. Какие мрачные привидения появляются перед нами! В июне — Трестальон, в ноябре — Беллар. На отвратительное убийство Клемана Тома и Леконта, на омерзительное истребление заложников — какой кровавый ответ! Какое усугубление ужасов новыми ужасами! Какое бедствие для Франции этот поединок между Коммуной и Собранием!

Цивилизация в опасности; мы чувствуем, что скользим по роковому склону.

Я писал:

Нет злых людей, а сколько зла творится!

Обратимся же с предостережением ко всем этим несчастным помутившимся душам. Если правительство близоруко, постараемся добиться, чтобы оно не было глухим. Крикнем: «Амнистия! Амнистия! Довольно крови!

¹ «Демократия Юга» (франц.).

Довольно жертв!» Пусть пощадят, наконец, Францию! Это она истекает кровью!

Газету «Раппель» лишили возможности говорить; все вы, еще имеющие эту возможность, повторяйте ее благородный клич: «Сострадание! Прощение! Братство!» Давайте без усталы, вновь и вновь требовать мира и бить тревогу. Ударим в набат милосердия!

Я вспомнил вдруг, что сегодня 2 декабря. Двадцать лет тому назад, в подобный же час, я, гонимый, предупрежденный о том, что, если попадусь, буду расстрелян, боролся против преступления. Все обошлось; так будем же бороться!

Дорогой собрат, я жму вашу руку.

Виктор Гюго.

К НАРОДУ ПАРИЖА

Париж не может потерпеть поражение. За мнимыми поражениями скрываются решительные победы. Люди приходят и уходят, народ остается. Город, который не смогла победить Германия, не будет побежден реакцией.

Бывают такие странные периоды, когда общество, охваченное страхом, ищет поддержки у безжалостных людей. Дорога открыта только насилию, неумолимые производят впечатление спасителей; кровожадность именуется здравым смыслом. *Vae victis*¹ превращается в государственную мудрость; сострадание кажется предательством и объявляется причиной катастроф. Безумца, вызывающего к милосердию, рассматривают как врага общества. Беккариа вселяет ужас, а Лас Касаса уподобляют Марату.

Такие кризисы, когда страх порождает террор, продолжаются недолго. Свойственная им безрассудная поспешность сама приближает их конец. Через короткий срок показной порядок, установленный саблей, уступает место истинному порядку, созданному свободой. Чтобы добиться этой победы, не нужно ожесточенной борьбы. Поступательное движение человечества мирным путем подтачивает то, что должно пасть. Сама поступь прогресса, чеканная и размеренная, вызывает крушение всего ложного.

То, чего жаждет Париж, свершится. Проблемы поставлены; они будут решены, решены в духе братства. Париж жаждет умиротворения, согласия, устранения об-

¹ Горе побежденным (лат.).

шественных бедствий. Париж жаждет прекращения гражданских войн. Покончить с войнами можно только покончив с ненавистью. А как положить конец ненависти? Посредством амнистии.

Ныне амнистия представляет собою главное условие установления порядка.

Великий народ Парижа, непризнанный и оклеветанный именно потому, что он велик, преодолеет все препятствия. Спокойствие и непоколебимая воля обеспечат ему победу. Всеобщее избирательное право, при всех его недостатках, является единственным способом управления; всеобщее избирательное право — это могущество; оно неизмеримо выше грубой силы. Отныне голосованием достигается все, оружием — ничто. Истина и справедливость сияют величественным светом. Прошлое не может устоять перед будущим. Версаль, воплощающий идею монархии, не в состоянии долго выдерживать пристальный взгляд Парижа, олицетворяющего идею республики.

Виктор Гюго.

Париж, 8 января 1872

АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ

Письмо Александру Дюма-сыну

Париж, 15 апреля 1872

Мой дорогой брат!

Я узнал из газет, что завтра, 16 апреля, в Виллер-Коттере должно состояться погребение Александра Дюма.

Я прикован к постели больного ребенка и, к моему глубокому сожалению, не смогу поехать в Виллер-Коттере. Но мне хочется хотя бы сердцем быть рядом с вами и вместе с вами. Не знаю, был бы ли я в состоянии говорить во время этой горестной церемонии, — острое волнение охватывает мою душу и слишком много могил открывается передо мной одна за другой; и все же я, пожалуй, попытался бы сказать несколько слов. Разрешите же написать вам то, что я хотел бы сказать.

В наш век никто не пользовался такой популярностью, как Александр Дюма; его успех — больше чем успех, это — триумф. Его слава гремит подобно трубным звукам фанфар. Александр Дюма — имя не только французское, но и европейское; более того — это имя мировое. Его

пьесы идут во всем мире, его романы переведены на все языки.

Александр Дюма — один из тех людей, которых можно было бы назвать сеятелями цивилизации. Он оздоравливает и облагораживает умы каким-то радостным и бодрящим светом; он оплодотворяет душу, мозг, рассудок; он вызывает жажду чтения; он исследует человеческое сердце и засеивает его. И сеет он французскую идею. Французская идея настолько гуманна, что повсюду, куда она проникает, она порождает прогресс. Вот чем объясняется огромная популярность таких людей, как Александр Дюма.

Александр Дюма пленяет, чарует, увлекает, забавляет, учит. Из всех его произведений, столь многочисленных и разнообразных, столь живых, пленительных и могучих, исходит присущий Франции свет.

В изумительном здании, сооруженном этим искусным и многогранным зодчим, мы находим самые возвышенные эмоции драмы, полную глубины иронию комедии, величайшую проникновенность романа, тончайшую интуицию истории.

В этом здании нет ни мрака, ни тайн, ни подземелий, ни головокружительных загадок; ничего от Данте, все от Вольтера и Мольера. Повсюду сияние, повсюду яркий полдень, все пронизано солнцем. Его достоинства многообразны и неисчислимы. На протяжении сорока лет этот ум тратил себя с чудесной расточительностью.

Он испытал все — и борьбу, составляющую долг человека, и победу, составляющую его счастье.

Этот ум был способен на любое чудо — даже передаваться по наследству, даже сохраниться после смерти. Уходя, он нашел способ остаться. Мы не потеряли этот ум. Он — в вас.

Ваш отец живет в вас, ваша известность продолжает его славу.

Александр Дюма и я — мы были молоды в одно и то же время. Я любил его, он любил меня. Александр Дюма был не менее велик сердцем, чем умом. То была благородная и добрая душа.

Я не видел его с 1857 года; он приехал тогда на Гернсей посидеть у очага изгнанника, и мы назначили друг другу свидание в будущем, на родине.

В сентябре 1870 года настал момент, когда мой долг стал иным, и я должен был вернуться во Францию.

Увы! Один и тот же порыв ветра вызывает различные последствия.

Когда я возвратился в Париж, Александр Дюма его покинул. Мне не довелось в последний раз пожать его руку.

Сегодня я не могу проводить его в последний путь. Но его душа видит мою душу. Пройдет немного дней — я надеюсь, что вскоре получу эту возможность, — и я сделаю то, чего не могу сделать сейчас: отправлюсь один на кладбище, где он покойся, и верну ему, у его могилы, тот визит, который он нанес мне в изгнании.

Дорогой собрат, сын моего друга, я обнимаю вас.

Виктор Гюго.

РЕДАКТОРАМ ГАЗЕТЫ «РЕНЕССАНС»

Париж, 1 мая 1872

Мои молодые собратья!

С радостью шлю вам рукопожатие, которое вы у меня просите. Мужайтесь! Вас ждет удача. Вы обладаете не только талантами, но и высоким сознанием; вы — не только светлые, обаятельные умы, вы также и твердые сердца. А в нынешний час необходимо именно это. Будущий результат вашего коллективного труда я определяю в немногих словах: исполненный долг, обеспеченный успех.

Мы присутствовали только что при поражении армий; теперь настал момент, когда должен выступить легион умов. Необходимо, чтобы неукротимая французская мысль пробудилась и бросилась в бой во всех его видах. Дух Франции владеет могучим оружием — французским языком, иначе говоря — языком всеобщим. Аудитория Франции — весь цивилизованный мир. Те, у кого есть слух, постигнут ее душу. Франция победит. Можно сломать шпагу, нельзя истребить идею. Мужайтесь же, бойцы разума!

На мгновение миру могло показаться, что наступила его агония. Самая высшая форма цивилизации — республика — была повергнута наземь самой мрачной формой

варварства — Германской империей. Но это было лишь минутное затмение. Несоразмерность этой победы превращает ее в бессмыслицу. Когда средневековые вцепляются когтями в революцию, когда прошлое заменяет собою будущее, к успеху примешивается невероятность и к ошеломлению победой добавляется тупость победителя. Отмщение неизбежно. К нему ведет сама логика событий. Великий девятнадцатый век, прерванный на мгновение, должен продолжить и продолжит свое дело; а его дело — осуществление прогресса через развитие идей. Грандиозная задача. Орудие — искусство, работники — умы.

Выполняйте же вашу работу, составляющую часть работы всеобщей.

Я люблю вашу группу новых талантов. Сегодня мы видим в литературе прекрасное явление, напоминающее блестящий период шестнадцатого века. На арену выходит целое поколение поэтов. Это «плеяда» появляется вновь на закате девятнадцатого столетия. Новые поэты верны своему веку — отсюда их сила; в них заключен великий свет 1830 года — отсюда их сияние. Я, приближающийся к концу жизненного пути, счастлив приветствовать это созвездие талантов, восходящее на горизонте.

Да, мои молодые братья, да, вы будете верны своему веку и своей Франции. Вы создадите газету живую, могучую, превосходную. Вы из тех, кто борется при помощи смеха, и ваш смех разит. Ничто не отвлечет вас от долга. Даже тогда, когда будет казаться, что вы очень далеки от вашей великой цели, вы никогда не выпустите ее из виду. Эта цель — мстить за Францию установлением братства народов, разрушать империи, создавать Европу. Вы никогда не будете говорить о слабости и упадке. Поэты не имеют права изъясняться словами уставших людей.

Я буду пристально следить за вашими усилиями, за вашей борьбой, за вашими успехами. Цивилизация распространяется через несметные газетные листки, разлетающиеся подобно рою пчел. Так и вы разойдетесь по свету в поисках меда, полные любви к цветам, но вооруженные. Такая газета, как ваша, — это дух Франции, разливающийся по миру, это бичующий и лучезарный гнев, проникающий повсюду; и если эта газета повстречается на пути тяжелой громаде немцев-победителей,

она, безусловно, придется им не по вкусу; чем легче полет, тем большее укус; кто ловок, тот грозен; и неповоротливая немецкая солдатчина, атакованная в ее Шварцвальде жалами всех парижских шмелей, получит возможность ощутить то чувство раскаяния, которое вызывают у медведя взбудораженные пчелы.

Еще раз: мужайтесь, друзья!

Виктор Гюго.

ОТВЕТ РИМЛЯНАМ

Граждане Рима и всего мира!

С высоты Яникула вы только что совершили великое дело.

Через все пропасти, разделяющие сегодня страны, вы, римский народ, протянули руку французскому народу. Это значит, что перед лицом трех империй-чудовищ: одной с мечом в руке, олицетворяющей войну, другой с кнутом в руке, олицетворяющей варварство, и третьей с тиарой на голове, олицетворяющей ночь, — перед лицом этих трех призраков средневековья, вновь появившихся на горизонте, цивилизация заявила о своем существовании. Мать Италия обняла дочь Францию, Капитолий воздал хвалу Ратуше; Авентинский холм побратался с Монмартром и пожелал ему умиротворения; Катон сделал шаг к Барбесу; Риенци взял за руку Дантона; римский мир склонился перед Соединенными Штатами Европы, и славная республика прошлого приветствовала величественную республику будущего.

В зловещие периоды, когда распространяется мрак, когда воцаряется безмолвие, когда человеку кажется, что против него объединились все силы тьмы, — в такие периоды особенно благотворно пробуждение и перекличка могучих отзвуков истории; это хорошо, когда могилы доказывают, что в них таится заря будущего; хорошо, когда луч, исходящий из гробниц, присоединяется к лучу, исходящему из колыбелей; хорошо, когда все виды света сливаются и дополняют друг друга. А у вас, итальянцев, живы все источники света, и когда надо отстоять божественную идею и человеческую свободу, когда надо изгнать предрассудки или тиранов, когда надо одновре-

менно выказать ум, свойственный человеку, и справедливость, свойственную народу, кому же в таких случаях будет принадлежать слово, как не этой alma parens¹, давшей миру Данте, гением равного Гомеру, и Гарибальди, героизмом равного Тразибулу?

Да, цивилизация приносит вам благодарность. Римский народ хорошо делает, пожимая руку народу французскому; это братство исполинов прекрасно. Подобная инициатива, исходящая от подобных наций, не оставляет места унынию. Это стремление к согласию предвещает нерушимый мир будущего. Такие признаки порождают в сердцах спокойную уверенность.

Да, эра прогресса наступит; засияет дневной свет; придет освобождение; да, свобода совести восторжествует над клерикалами, как над теми, кто опирается на законы, так и над теми, кто опирается на догмы; да, мнимые праведники, священники и судьи, непогрешимые и неменяемые, будут вынуждены признать человеческую слабость перед лицом вечной истины и вечной справедливости; исчезнут навсегда нерасторжимое, непоправимое, непознаваемое; отомрут эшафот и война, живым не будет грозить каторга, а умирающим — ад. Мужайтесь! Надейтесь! Это поистине великолепно, что перед лицом вредоносных союзов королей две столицы народов сносятся друг с другом; и все человечество, успокоенное и ободренное, трепещет от радости, когда великий голос Рима обращается к великой душе Парижа.

Париж, 20 мая 1872

Виктор Гюго.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РЕБЕНОК. ЖЕНЩИНА

РЕБЕНОК

Г-ну Требуа, председателю Общества светских школ

Париж, 2 июня 1872

Милостивый государь!

Вы не ошиблись, полагая, что я безоговорочно присоединюсь к тому, что столь красноречиво и убедительно

¹ Благая родительница (лат.).

высказал Луи Блан в адресованном вам письме. К этому письму мне нечего добавить, кроме своей подписи. Луи Блан совершенно прав, он излагает истинные принципы светского образования как для женщин, так и для мужчин.

Что касается меня, то я отчетливо вижу разницу между двумя вещами — воспитанием и образованием. Воспитание дает семья; образование обязано дать государство. Ребенок хочет, чтобы его воспитала семья и обучила родина. Отец передает ребенку свою веру или свою философию; государство дает ребенку положительные знания.

Отсюда с очевидностью вытекает, что воспитание может быть религиозным, а образование должно быть светским. Воспитание — дело совести; образование — дело науки. Позднее, в уже сложившемся человеке, оба эти вида познания дополняют друг друга.

Ваши учебные заведения, дающие светское образование девушкам, — разумное и полезное дело, и я аплодирую вам.

Виктор Гюго.

Ж Е Н Щ И Н А

I

*Леону Рише, главному редактору журнала
«Авенир де фам»*

Париж, 8 июня 1872

Милостивый государь!

От глубины души поддерживаю ваше полезное выступление. Вот уже сорок лет я отстаиваю то великое социальное дело, которому вы с таким благородством себя посвятили.

Прискорбно это говорить, но в современном цивилизованном обществе есть раба. Закону свойственны эффемизмы: ту, кого я называю рабой, он называет неравноправной. Эта неравноправная, согласно закону, эта раба, согласно реальной действительности, — женщина. Мужчина неравномерно распределил груз между двумя чашами весов, равновесие которых столь важно для человеческой совести. Мужчина возложил все права на свою сторону и все обязанности — на сторону женщины. Отсюда — глубокий конфликт. Отсюда — рабство

женщины. По нашему законодательству, в его нынешнем виде, женщина не может владеть имуществом, не может возбудить судебное преследование, она не имеет права голоса, не идет в счет, не существует. Есть граждане, нет гражданок. Это состояние противостоит природе. Необходимо, чтобы оно прекратилось.

Я знаю, что философы продвигаются вперед быстро, а правители — медленно; объясняется это тем, что философы пребывают в сфере абсолютного, а правители — в сфере относительного; между тем необходимо, чтобы правители в конце концов догнали философов. В тех случаях, когда их соединение совершается своевременно, удается достигнуть прогресса и избежать революций. Когда же соединение запаздывает, возникает опасность.

В данный момент правители отстали во многих вопросах. Обратите внимание на колебания Собрания по поводу смертной казни. А пока — эшафот свирепствует.

Настало время, когда правителям необходимо серьезно задуматься над многими вопросами: над вопросом о воспитании и вопросом о репрессиях; над вопросом о той нерасторжимости, от которой нужно избавить брак, и о той непоправимости, от которой нужно избавить систему наказаний; над вопросом об обязательном, бесплатном, светском обучении; над вопросом о правах женщины и о правах ребенка. Необходимо, чтобы законодатели прислушались к голосу мыслителей, чтобы государственные мужи, слишком часто люди поверхностные, ознакомились с глубокими творениями писателей и чтобы те, кто создает законы, повиновались тем, кто создает нравы. От этого зависит социальный мир.

Мы, философы, размышляющие об идеальном обществе, не должны поддаваться усталости. Продолжим наше дело. Изучим всесторонне, с возрастающей доброй волей, волнующую проблему прав женщины, решение которой поможет разрешить почти все социальные проблемы. Внеся в изучение этой проблемы нечто большее, чем справедливость; подойдем к этому вопросу с благоговением и состраданием. Как! Есть на свете существо, существо святое, создавшее нас в своем теле, вдохнувшее в нас жизнь своей кровью, вскормившее нас своим молоком, вложившее в нас свое сердце, озарившее нас своей душой, и это существо страдает, и это существо истекает кровью, ры-

дает, томится, трепещет! Так посвятим же себя этому существу, будем служить ему, помогать ему, защищать его, охранять его. Припадем к ногам нашей матери!

В скором будущем, несомненно, справедливость возторжествует. Мужчина сам по себе — это еще не человек; мужчина плюс женщина и плюс ребенок, семья, — это творение, одновременно единое и тройственное, составляющее подлинное человеческое единство. Любая общественная организация должна основываться на семье. Обеспечить права человека в этой тройственной форме — такова должна быть цель того земного провидения, которое мы именуем законом.

Удвоим же нашу настойчивость и наши усилия. Будем надеяться, что люди дойдут до понимания того, что общество устроено плохо, когда ребенок остается без образования, когда женщина лишена инициативы, когда под именем опеки скрывается рабство, когда ноша тем тяжелее, чем слабее плечи; и люди поймут, что, даже рассуждая с эгоистических позиций, трудно составить счастье мужчины, обрекая на страдание женщину.

Виктор Гюго.

II

Учредительницам Общества борьбы за улучшение участи женщин

Париж, 31 марта 1873

Сударыни!

Я получил ваше письмо. Оно делает мне честь. Мне известны ваши благородные и законные притязания. В нашем обществе, в его нынешнем виде, женщины подвергаются испытаниям и страдают; они правы, требуя лучшей участи. Я — лишь человек, руководствующийся велением совести, но я понимаю их правоту и, исходя из этого, определяю свой долг. Усилия всей моей жизни направлены на их благо. Вы правы, рассматривая меня как своего союзника, полного доброй воли.

Вопрос о правах мужчины составлял важнейшую проблему восемнадцатого века; вопрос о правах женщины составляет важнейшую проблему девятнадцатого века. А тот, кто отстаивает права женщины, тот отстаивает права ребенка, иначе говоря — отстаивает будущее.

Вопрос, поставленный таким образом, предстает во всей своей глубине. Разрешение этого вопроса принесет с собой окончательное умиротворение общества. Странное и противоестественное явление! По сути мужчины зависят от вас, сердце мужчины принадлежит женщине. Перед законом она неравноправна, несостоятельна, лишена прав гражданских и прав политических, она ничто; в семье же она все, ибо она — мать. Домашний очаг создан ею; дома она ответственна и за добро и за зло. Власть, совмещающаяся с угнетением. Женщина может сделать все что угодно для мужчины и ничего для себя.

Законы поступают неосмотрительно, делая ее столь слабой, тогда как она столь могущественна. Признаем эту слабость и будем ее охранять; признаем это могущество и будем его поддерживать. В этом состоит обязанность мужчины; это и в его интересах.

Я не устану повторять: проблема поставлена, нужно ее решать. Тому, кто несет часть груза, должна принадлежать и часть прав; принцип равенства не распространяется на одну половину рода человеческого, необходимо включить ее в эту сферу. Это составит славу нашего века: создать противовес правам мужчины в виде прав женщины, иначе говоря — привести законы в равновесие с нравами.

Примите, сударыни, уверения в моем глубоком уважении.

Виктор Гюго.

ГОДОВЩИНА РЕСПУБЛИКИ

Дорогие сограждане!

Вам угодно было пожелать моего присутствия на вашем банкете. Мое присутствие — это мои мысли. Позвольте же сказать вам несколько слов.

Друзья, не будем терять веры. Мы не настолько побеждены, как полагают.

Противопоставим трем императорам три даты: 14 июля, 10 августа, 21 сентября. 14 июля разрушило Бастилию и стало символом Свободы; 10 августа лишило Тюильри короля и стало символом Равенства;

21 сентября провозгласило республику и стало символом Братства. Эти три идеи способны одержать победу над тремя армиями. Они в состоянии задушить любое чудовище; они сводятся к одному слову — Революция. Революция — великий усмиритель, и если у монархии есть львы и тигры, то у нас, у нас есть для них укротитель.

Поскольку наши противники занимаются подсчетом своих сил, подсчитаем и мы свои. На одной стороне — три человека, на другой — все народы. Правда, эти три человека всемогущи. Они обладают всем тем, что составляет и отличает божественное право; в их распоряжении меч, скипетр, писанные законы; каждый из них имеет своего бога и своих священников; в их распоряжении судьи, палачи, пытки, искусство поддерживать рабство силами самих рабов. Читали ли вы ужасающий прусский военный кодекс? Итак, эти всемогущие — Боги; на нашей стороне только то, что мы — Люди. Что можем мы противопоставить древней монархии — этому живому прошлому, живущему ужасной жизнью мертвых, этим королям-призракам, этому древнему деспотизму, способному одним жестом извлечь из ножен четыре миллиона сабель, объявляющему силу выше права, возрождающему древнее преступление, именуемое завоеванием, убивающему, избивающему, грабящему, истребляющему, толкающему бесчисленные массы на бойню, не отказывающемуся ни от какой подлости, лишь бы она была ему выгодна, похищающему провинцию у ее отчизны и часы в каждом доме, — что можем мы противопоставить этой страшной коалиции сил тьмы, этой сумрачной, густой, непомерной власти? Луч зари. И кто же победит? Свет.

Друзья, не сомневайтесь в этом. Да, Франция победит. Троица императоров может быть троицей, как все другие, но она не составляет единства. А то, что не составляет единства, — распадается. Первая надежда заключается в том, что они сами поглотят друг друга; кроме того, есть и вторая — что начнется землетрясение. Чтобы вызвать сотрясение земли под королями, достаточно нескольких звучных голосов. Эти голоса с нами. Их имена Вольтер, Руссо, Мирабо. Нет, великий континент, поочередно освещавшийся Грецией, Италией и Францией, не погрузится вновь во мрак; нет, новое наступление вандалов на цивилизацию невозможно.

Чтобы защитить мир, достаточно одного города; этот город с нами. Кровавые пастыри народов, слепые поводыри глухой толпы, для которых средством служит варварство, а целью — дикость; вторжения, нашествия, армии, наводняющие страны, — все это прошлое, отнюдь не будущее; попытка возродить Камбиза и Немрода — нелепа, попытка воскресить призраки — нереальна, попытка подчинить вселенную мечу — бессмысленна; мы — девятнадцатый век, порожденный восемнадцатым веком, и, как идеей, так и шпагой, Париж Дантона победит Европу Аттилы.

Я утверждаю это, а вы, конечно, ничуть не сомневаетесь в этом.

А теперь я предлагаю тост.

Пусть наши кратковременные правители не забывают, что монархия проявляет себя Сибирью, Шпильбергом, Шпандау, Ламбессой и Кайенной. Республика проявляет себя амнистией.

Я провозглашаю тост за амнистию, которая превратит в братьев всех французов, и за республику, которая превратит в братьев все народы.

Сентябрь 1872

БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ

Участникам конгресса мира в Лугано

Отвиль-Хауз, 20 сентября 1872

Мои европейские соотечественники!

Ваше дружеское приглашение растрогало меня. Я не могу присутствовать на вашем конгрессе и сожалею об этом. Позвольте же мне написать вам то, что я сказал бы, если бы мог приехать.

В переживаемый нами час война завершила свое злое дело, которое вновь ставит цивилизацию под угрозу. Безграничная ненависть заполняет будущее. Кажется странным в такой момент говорить о мире. И все же никогда слово «мир» не могло быть произнесено с большей пользой, чем сегодня. Мир — это неотвратимая цель. Человеческий род движется к миру беспрестанно, даже через войну. Что касается меня, то уже сейчас, сквозь царящую

повсюду непримиримую вражду, я отчетливо различаю всеобщее братство. Мрак, окутывающий мир в роковые часы, неплотен; он не может помешать божественному лучу пробиться через него.

За последние два года совершились важные перемены. Франция пережила серьезные события: одно счастливое — освобождение, другое ужасное — расчленение. Бог даровал ей одновременно и радость и горе. Это — действенный, но тяжелый способ оздоровления. Утрата империи — победа; утрата Эльзаса и Лотарингии — катастрофа. В этом есть какое-то непонятное смешение подъема и упадка. Испытываешь гордость, чувствуя себя свободным, и унижение, чувствуя себя ущемленным. Нынешнее положение Франции требует, чтобы она, оставаясь свободной, вновь стала великой. Наша судьба отразится на всей цивилизации, ибо то, что происходит с Францией, происходит и с человечеством. Отсюда — всеобщая тревога, отсюда — напряженное ожидание, отсюда же — неизвестность, обволакивающая будущее всех народов.

Люди страшатся этой неизвестности. Так вот: я утверждаю, что они страшатся напрасно.

Не нужно опасаться, нужно надеяться.

На что?

Вот на что.

Как я только что сказал, Франция была освобождена и расчленена. Ее расчленение нарушило равновесие в Европе, ее освобождение привело к основанию республики. Произошел устрашающий раскол Европы, но вместе с расколом появилось и средство для его устранения.

Я поясню свою мысль.

Нарушенное равновесие на континенте может быть восстановлено только посредством преобразования. Это преобразование может быть шагом вперед или шагом назад, оно может знаменовать зло или добро, возвращение тьмы или наступление зари. Поставлена величайшая дилемма. Отныне будущее Европы возможно лишь в двух видах: либо она станет Германией, либо Францией. Я хочу сказать, что она может быть либо империей, либо республикой.

Это и есть то, что пятьдесят два года тому назад с потрясающей точностью предсказал роковой отшельник

с острова святой Елены, даже не предполагая, что он сам окажется косвенным орудием этого преобразования, что придет Второе декабря, которое отягчит Восемнадцатое брюмера, Седан, который превзойдет Ватерлоо, и Наполеон Малый, который зачеркнет Наполеона Великого. Только, если бы мрачная сторона его пророчества осуществилась, вместо Европы, покоренной казаками, которую он предвидел, мы получили бы Европу, покоренную вандалами.

Европа-империя или Европа-республика — один из этих вариантов будущего есть прошлое.

Но можно ли оживить прошлое?

Совершенно очевидно, нельзя.

Итак, мы будем иметь Европу-республику.

Каким же путем мы этого добьемся?

Путем войны или путем революции.

Путем войны, если Германия принудит к этому Францию. Путем революции, если короли принудят к этому народы. Несомненно, однако, что это грандиозное здание, Европейскую республику, мы создадим.

Мы добьемся создания великих Соединенных Штатов Европы, которые увенчают Старый Свет так же, как Соединенные Штаты Америки венчают Новый Свет. Мы добьемся того, что дух завоеваний преобразуется в дух открытий; мы добьемся того, что на смену свирепому братству императоров придет великодушное братство народов; мы добьемся родины без границ, бюджета без паразитизма, торговли без таможен, передвижения без преград, образования без дурмана, юности без казармы, храбрости без сражений, справедливости без эшафота, жизни без убийств, лесов без тигров, плуга без меча, слова без кляпа, совести без ярма, истины без догм, бога без священника, неба без ада, любви без ненависти. С цивилизации будут сорваны отвратительные путы; страшный перешеек, разделяющий два моря — Человечество и Счастье, будет перерезан. На мир польются потоки света. А что такое весь этот свет? Свобода. А что такое вся эта свобода? Мир.

Виктор Гюго.

ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕРНУТЬСЯ В СОБРАНИЕ

Отвиль-Хауз, 30 марта 1873

Уважаемые и дорогие сограждане!

Я высоко ценю честь представлять прославленный город Лион, столь полезный для дела цивилизации и столь великий своим демократизмом.

Я писал: «Париж — столица Европы, Лион — столица Франции».

Коллективное письмо, которое вы мне прислали, делает мне честь; я с волнением приношу вам свою благодарность. Быть избранником народа Лиона было бы для меня гордостью.

Однако своевременно ли мое возвращение в Собрание в нынешний час?

Не думаю.

Если мое имя символизирует что-либо в роковые годы, которые мы переживаем, то оно символизирует идею *амнистии*. Я мог бы вновь появиться в Собрании для того, чтобы потребовать амнистии, полной и неограниченной, ибо амнистия с оговорками похожа на амнистию не более, чем изуродованное избирательное право похоже на всеобщее избирательное право.

Можно ли ожидать такой амнистии от данного Собрания? Бесспорно, нет. Умиравший не способен дать жизнь.

Враждебное амнистии голосование предредило бы вопрос; так был бы создан огорчительный прецедент, и реакционеры впоследствии ссылались бы на него. Идея амнистии была бы опорочена.

Для того чтобы идея амнистии оказалась победоносной, необходимо, чтобы этот вопрос был поставлен вновь перед новым Собранием.

При этом условии идея амнистии овладела бы этим Собранием. Амнистия, которая породит успокоение и вызовет примирение, представляет собой сейчас великое благо для республики.

Поскольку мое присутствие на трибуне не может дать сегодня того результата, которого от него ожидали бы, полезнее будет, чтобы я в этот час оставался вне Собрания.

Любые второстепенные соображения должны отступить перед интересами республики.

Именно для того, чтобы лучше служить ей, я и считаю своим долгом устранившись в этот момент.

Вы одобрите мое решение, я в этом не сомневаюсь; я глубоко растроган вашим братским предложением; отныне, что бы ни случилось, я буду считать себя облеченным если не правами, то по крайней мере обязанностями представителя Лиона. Я приношу вам, граждане, равно как и великодушному лионскому народу, мою сердечную благодарность.

Виктор Гюго.

АНРИ РОШФОР

Письмо герцогу де Бройль

Отель, вилла Монморанси, 8 августа 1873

Господин герцог и глубокоуважаемый брат!

Я обращаюсь к вам, как к члену Французской Академии. С минуты на минуту может совершиться событие исключительной важности. Один из самых знаменитых писателей нашего времени, г-н Анри Рошфор, осужденный по политическому делу, будет, как говорят, сослан на Новую Каледонию. Все знающие г-на Анри Рошфора могут подтвердить, что его слабый организм не выдержит этой ссылки: его либо сломит длительный, ужасный переезд, либо погубит климат, либо убьет тоска по родине. Анри Рошфор — отец семейства, он оставляет троих детей, в том числе семнадцатилетнюю дочь.

Приговор, вынесенный г-ну Анри Рошфору, посягает только на его свободу, а способ осуществления этого приговора означает посягательство на его жизнь. Почему нужно отправлять его в Нумеа? С него вполне хватило бы островов святой Маргариты. Приговор вовсе не требует ссылки в Нумеа. Содержание на островах святой Маргариты было бы исполнением приговора без его отягощения. Ссылка же на Новую Каледонию — это превышение наказания, к которому он приговорен, это замена наказания смертной казнью. Я обращаю ваше внимание на этот новый способ пересматривать приговоры.

День, когда Франция узнает, что этот блестящий и смелый ум поглощен могилой, будет для нее днем траура.

Речь идет о писателе, писателе своеобразном и редком. Вы — министр, и вы — академик, в данном случае обе ваши должности согласуются, одна дополняет другую. Вам пришлось бы принять на себя долю ответственности за катастрофу, которую можно предвидеть и о которой вы предупреждены; поэтому вы можете и должны вмешаться; эта великодушная инициатива сделала бы вам честь. Вне зависимости от взглядов и всякого рода политических страстей, во имя литературы, которой мы оба служим, я прошу вас, г-н герцог и дорогой собрат, выступить в этот решающий момент на защиту г-на Анри Рошфора и воспрепятствовать его отправке, которая означала бы его смерть.

Примите, г-н министр и дорогой собрат, уверения в моем глубоком уважении.

Виктор Гюго.

ГРАЖДАНАМ ТРИЕСТА

Париж, 17 августа 1873

Господин мэр города Триеста!

Возвратившись в Париж после долгого отсутствия, я нашел поздравительный адрес ваших уважаемых сограждан. Этот адрес, направленный первоначально на Гернсей, а затем в Париж, попал ко мне только сегодня. Этот адрес, снабженный более чем тремястами подписей, датирован июнем 1871 года. Я польщен оказанной мне честью и смущен задержкой ответа. Впрочем, никогда

не поздно выразить признательность. К адресу не приложено никакого сопроводительного письма. Вот почему я прибегаю к вашему посредству, г-н мэр, чтобы выразить вашим согражданам, подписавшим адрес, мою благодарность и мое волнение.

Поводом для этой демонстрации солидарности со стороны великодушных граждан Триеста послужила моя высылка из Бельгии. Вся моя заслуга заключалась в том, что я предоставил убежище побежденным; я сделал лишь самую простую вещь; ваши уважаемые граждане щедро вознаградил меня за это. Я приношу им благодарность.

Отныне я всегда буду помнить об этой красноречивой демонстрации. Я легко забываю проявления ненависти, но никогда не забываю проявлений симпатии. Впрочем, она достойна вашего прославленного города, освещенного солнцем Греции и Италии. Ваша страна, полная такого света, не может не быть страной свободы.

Я приветствую в вашем лице, г-н мэр, благородный город Триест.

Виктор Гюго.

ПЯТИСОТЛЕТНИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ПЕТРАРКИ

*Г-ну Сен-Мартену, генеральному советнику
департамента Воклюз*

Париж, 18 июля 1874

Уважаемый соотечественник!

Благородное и почетное приглашение, которое вы со-
благоволили мне прислать, глубоко растрогало меня. Я
огорчен, что не могу им воспользоваться, так как в дан-
ный момент нахожусь при своем внуке, выздоравливаю-
щем после тяжелой болезни.

Я счастлив, что меня все еще помнит мужественная
демократия Юга, составляющая как бы авангард всемир-
ной демократии, демократия Юга, о которой человече-
ство думает всякий раз, когда оно слышит звуки «Мар-
сельезы». «Марсельеза» — голос Юга и вместе с тем го-
лос будущего.

Я сожалею, что не могу быть с вами. Я счел бы за
честь от имени всех вас поздравить с благополучным при-
бытием наших братьев, великодушных итальянцев, кото-
рые приезжают в страну Вольтера, чтобы чествовать Пет-
рарку. Но издали я с глубоким волнением буду присут-
ствовать на ваших торжествах. Они привлекут внимание
цивилизованного мира. Петрарка, представлявший собою
светоч мрачного века, нимало не теряет своего сияния в
полдень прогресса, именуемый девятнадцатым веком.

Я поздравляю Авиньон. На протяжении этих трех
памятных дней Авиньон будет являть собой славное зре-
лище. Можно сказать, что Рим и Париж встретятся друг
с другом. Рим, возвысивший Петрарку, и Париж, низверг-

нувший Бастилию; Рим, венчающий поэтов, и Париж, свергающий королей; Рим, прославляющий человеческую мысль, и Париж, освобождающий ее.

Это объятие двух городов-матерей великолепно. Это объятие двух идей. Не может быть ничего более волнующего и более ободряющего. Рим и Париж, братающиеся в священном демократическом единении, — это превосходно. Ваши торжества подчеркнут все значение этой встречи. Авиньон, город пап и город народа, — звено, связующее обе столицы в прошлом и настоящем.

Все мы считаем, что вы, граждане Воклюза, отлично представляете нас на этом национальном празднике двух наций. Вы достойны приветствовать Италию от имени Франции.

Так вырисовываются контуры величественной Федеративной республики континента. Этими чудесными слияниями народов начинается создание Соединенных Штатов Европы.

Петрарка был для своего времени источником света, а свет, порождаемый любовью, — прекрасен. Петрарка воспел женщину и очаровал весь мир. Он — своего рода Платон поэзии; он обладает тем, что можно назвать утонченностью сердца и вместе с тем глубиной ума; этот влюбленный — мыслитель, этот поэт — философ. В целом Петрарка — сверкающая душа.

Петрарка являет собой один из редких примеров счастливого поэта. Он был понят при жизни — преимущество, которого не имели ни Гомер, ни Эсхил, ни Шекспир. На него не клеветали, его не освистывали, в него не бросали камни. Петрарке на этой земле воздавались все почести: уважение пап, восхищение народов, дождь цветов на улицах, по которым он проходил, золотые лавры на челе, подобно императору, место в Капитолии, подобно богу. Скажем мужественно всю правду — ему не доставало скорби. Я предпочитаю этой пурпурной мантии посох странствующего Алигьери. Петрарке недостает того трагического, что возносит величие поэтов на некую темную вершину, всегда обозначавшую высшее проявление гения. Ему недостает оскорблений, траура, поношений, преследований. Слава Данте превосходит славу Петрарки, так же как изгнание превосходит триумф.

Виктор Гюго.

Париж, 4 сентября 1874

Дорогие сограждане по Европейской республике!

Вам было угодно пожелать моего присутствия на вашем конгрессе в Женеве. К сожалению, я не могу воспользоваться столь почетным для меня приглашением. Если бы в этот час, находясь с вами, я мог произнести несколько слов, то к оговоркам, высказанным мною пять лет тому назад на конгрессе в Лозанне по поводу великой проблемы всеобщего мира, я добавил бы и, полагаю, не встретил бы возражений с вашей стороны, некоторые новые оговорки.

То, что тогда было злом, сегодня стало бедствием; произошло опасное обострение; вопрос о мире осложнен огромной загадкой войны.

Правильность поговорки «quidquid delirant reges...¹» подтвердилась вновь.

Отброшены все мысли о братстве; надежда сменилась угрозой; перед нами ряд катастроф, порождающих друг друга, и нельзя не изучить их досконально; надо дойти до самого конца цепи.

Эту цепь ковали два человека: Луи Бонапарт и Вильгельм, оба — подставные лица, ибо за спиной Вильгельма — Бисмарк, а за спиной Луи Бонапарта — Макьявелли. Логику жестоких фактов опровергнуть невозможно: деспотизм стал иным, он обрел новое качество. Он переместился и укрепился; военная империя привела к империи готической и из Франции перекочевала в Германию. Именно в ней сейчас корень зла. Все, что было создано, должно быть разрушено. Это страшно, но необходимо. Между будущим и нами — роковая преграда. Теперь нельзя достигнуть мира иначе, как ценой потрясений и неумолимой борьбы. Мир, увы, это попрежнему — будущее, но это уже не настоящее. Вся суть нынешнего положения — мрачная и глухая ненависть.

Ненависть за полученную пощечину.

¹ Начало известного выражения: «Всякий раз, когда короли творят глупости, расплачиваться за это приходится ахейцам» (лат.).

Кто же получил пощечину? Весь мир! Ударили Францию, но краска стыда залила лицо всех народов. Это оскорбление, нанесенное матери. Отсюда ненависть.

Ненависть побежденных к победителям; стародавняя и вечная ненависть; ненависть народов к королям, ибо короли — это победители, одержавшие победу над народами: ненависть эта взаимна, и нет иного выхода, кроме поединка.

Поединок между двумя народами? Нет: Франция и Германия — сестры; то будет поединок двух принципов — Республики и Империи.

Вопрос поставлен так: с одной стороны германская монархия, с другой — Соединенные Штаты Европы; столкновение обоих принципов неизбежно; и уже теперь можно различить в далеком будущем оба фронта этой битвы: с одной стороны — все королевства, с другой — все отечества.

Пусть этот ужасный поединок не состоится возможно дольше! Пусть будет найдено иное решение! Если начнется великая битва, то с обеих сторон будут, увы, люди. Горестный конфликт! Какое испытание для рода человеческого! Франция не может напасть на какой-нибудь народ, не став братоубийцей; ни один народ не может напасть на Францию, не став отцеубийцей. Сердце сжимается от невыразимой боли!

Мы, зачинатели будущих событий, хотели бы иного исхода; но обстоятельства нам не подвластны; они ведут к той же цели, к которой стремимся и мы, но иными средствами. Там, где мы применили бы мирные средства, они применяют войну. По неведомым причинам они предпочитают жестокую борьбу. То, что мы решили бы полюбовно, они решают насильем. Даже провидению свойственна грубость.

Но философ не может не быть глубоко опечален всем этим.

Он с горечью отмечает сцепление фактов, их неотвратимость, их роковую неизбежность. Отрицать их он не может. И у катастроф есть свои алгебраические законы.

Изложим эти факты в нескольких словах.

Францию умалили. В этот час она ранена вдвойне: изувечена ее территория, уязвлена ее честь. Она не

может примириться с этим. К Седану нельзя привыкнуть. С этим нельзя примириться, так же как нельзя примириться с отторжением Меца и Страсбурга.

Война 1870 года началась с западни и завершилась насилием. Те, кто наносил удар, не предвидели контр-удара. В этом ошибка государственных деятелей. Победа вскружила им головы. Слепленные силой не видят права. А Франция имеет право и на Эльзас и на Лотарингию. Почему? Да потому, что Эльзас и Лотарингия имеют право на Францию. Потому, что народы имеют право на свет, а не на мрак. Теперь все исходит от Германии. Нужно восстановить нарушенное равновесие. Встревоженные народы чувствуют это. Отсюда всеобщее неблагополучие. Как я уже говорил в Бордо, после Парижского договора человечество перестало спокойно спать.

Мир не может согласиться с умалением Франции. Солидарность народов, которая могла бы обеспечить мир, приведет к войне. Франция в известном смысле принадлежит человечеству. Она принадлежит всем, как некогда Рим, как некогда Афины. Надо неустанно твердить об этом. Посмотрите, как ярко проявилась солидарность с нами! В день, когда Франция должна была уплатить пять миллиардов, мир предложил ей сорок пять. Это больше чем признак доверия — это признак цивилизации. Мы уплатили пять миллиардов, а Берлин не стал богаче, да и Париж не обеднел. Почему? Потому что Париж необходим, а Берлин — нет. Лишь тот богат, кто полезен.

Говоря это, я не чувствую себя французом, я чувствую себя человеком.

Будем же видеть вещи такими, как они есть, без гнева и без иллюзий. Когда-то говорили: «*Delenda Carthago*»¹; теперь надо сказать: «*Servanda Gallia*»².

Когда рана нанесена Франции, кровоточит вся цивилизация. Умалена Франция — и свет померк. Против Франции было совершено преступление. Короли заставили ее испытать всю меру страданий, какую только

¹ Карфаген должен быть разрушен (лат.).

² Надо служить Галлии (лат.).

можно причинить народу. Короли должны искупить свои злодеяния — вот что вызовет войну, а народы должны найти выход из этой войны — вот что породит братство. Этот выход — объединение народов. Все завершится Соединенными Штатами Европы. В конечном счете победу одержит народ, а следовательно, Свобода, и бог, а следовательно, Мир.

Будем же надеяться!

Дорогие сограждане всемирной родины, примите мой сердечный привет.

Виктор Гюго.

В ЗАЩИТУ СОЛДАТА

26 февраля 1873 года

Очень желательно, чтобы факт, о котором вы прочтете, не прошел незамеченным.

Солдат по имени Блан, фузилер 112-го линейного полка, дислоцирующегося в Эксе, только что приговорен к смертной казни «за тяжкое оскорбление, нанесенное старшему в чине».

Объявлено, что в ближайшем будущем этот солдат будет казнен.

Эта казнь кажется мне невозможной.

Почему? Вот почему:

10 декабря 1873 года руководители армии, заседаая в Трианоне в качестве верховного военного трибунала, приняли важное решение.

Они отменили смертную казнь в армии.

Перед ними стоял человек; то был солдат, самый ответственный из всех, — маршал Франции. Этот солдат в самый решительный час, когда совершалась катастрофа, дезертировал со своего поста; он бросил Францию наземь перед Пруссией; он перешел на сторону врага при самых чудовищных обстоятельствах: имея возможность победить, он позволил себя разбить; в его руках находилась крепость, самая неприступная крепость Европы, — он ее сдал; в его руках находились знамена, самые гордые знамена в истории, — он их отдал; он командовал армией, последней из армий, отстаивавшей честь нации, — он связал ее по рукам и ногам и предоставил немцам возможность изувечить ее фухтелями; славу Франции,

связав ей руки за спиной, он отправил, как военнопленную, в казематы Шпандау и Магдебурга; имея возможность спасти свою родину, он ее погубил: отдав нетронутым город Мец, он отдал и героический город Париж. Этот человек умертвил отечество.

Высший военный совет счел, что он заслуживает смерти, и объявил, что он должен остаться в живых.

Что же совершил военный совет, поступив таким образом? Повторяю, он отменил смертную казнь в армии.

Он установил, что отныне ни измена, ни переход на сторону врага, ни убийство родителей (ибо убить свое отечество — то же самое, что убить свою мать) не будут наказываться смертью.

Военный совет поступил хорошо; и мы во всеуслышание поздравляем его.

Бесспорно, многие соображения могли подсказать этим мудрым и храбрым офицерам необходимость сохранения смертной казни для военных. В будущем предстоит война; для этой войны нужна армия; армии нужна дисциплина; наивысшая форма дисциплины — честность; самая нерушимая форма субординации — верность знамени, самое чудовищное преступление — измена. Кому нанести удар, как не предателю? Какого солдата наказывать, как не генерала? Кого должен поразить закон, как не начальника? Кто может служить примером, как не вышестоящий? Судьи сказали себе все это; но они подумали, и мы хвалим их за это, что виновного можно примерно наказать иным способом, что настала пора заменить в военном уставе устрашение более достойным солдата чувством, восстановить военный идеал и на место вопроса жизни поставить вопрос чести.

Это серьезный прогресс, и его результатом будет, для нужд близкого будущего, новый военный устав, более действенный, чем прежний.

Моральная казнь, заменяющая казнь физическую, более ужасна. Доказательство: Базен.

Да, достаточно разжалования. Там, где действует позор, кровопролитие бесполезно. Наказание, к которому примешано это презрительное милосердие, более грозно. Оставьте этого человека в его бездне. Это все та же мрачная и великая история Каина. Базен казненный

оставляет за собой легенду; Базен, оставшийся в живых, влачит за собой тьму.

Итак, военный совет поступил хорошо.

Что теперь к этому добавить?

С маршалом покончено; перед нами солдат.

Перед нашими глазами теперь уже не высший сановник, не офицер Большого креста Почетного Легиона, не сенатор империи, не командующий армией, а крестьянин; не старый военачальник, обремененный испытаниями и годами, а молодой человек; не опытность, а неведение.

Пощадив первого, неужели вы нанесете удар второму?

Возможен ли столь противоположный подход? Имеет ли смысл предлагать такие загадки человеческому рассудку? Не опасно ли такое сопоставление? Хорошо ли наталкивать глубоко честный народ на такого рода сравнения: тому, кто предал свое знамя, сдал свою армию, изменил своей родине, — жизнь; тому, кто дал пощечину своему капралу, — смерть!

Общество — не пустыня; кругом есть люди; есть министры, есть правительство, есть Собрание, и над министрами, над правительством, над Собранием, над всем — есть общественная справедливость; к ней-то я и обращаюсь.

Ничем не ограниченный налог, взимаемый кровью, — таков был закон прежних режимов; он не может быть законом новой цивилизации. Когда-то хижина была беззащитна, со слезами матерей и невест не считались, общество оставалось глухим к рыданиям вдов, гнет наказаний был невыразимо тяжел; эти нравы нам уже несвойственны. Ныне существует жалость. Обществу, продвигающемуся только вперед, противно давить тех, кто пребывает в тени; теперь лучше понимают великий братский долг; люди ощущают потребность не в том, чтобы истреблять, а в том, чтобы просвещать. К тому же, скажем прямо, ошибочно предполагать, что результатом революции является уменьшение энергии общества; напротив, говоря «свободное общество», подразумевают общество сильное. Суд может преобразиться, но только в одном направлении — стать более авторитетным и справедливым; армия может измениться — еще сильнее проникнуться чувством чести. Могущество общества — необходимость, армия и суд — важные элементы защиты этого

могущества. Но кого же следует защищать в первую очередь? Тех, кто сам не в состоянии себя защитить; тех, кто внизу, тех, на кого давит все, тех, кто пребывает в неведении, тех, кто страдает. Да, кодексы, суды, трибуналы — вся эта система полезна; да, эта система хороша и превосходна, но при условии, что вся эта сила будет считать своим нравственным законом высокое уважение к слабым.

В прошлом замечали только больших людей, теперь нужно видеть и маленьких.

Я подвожу итог.

Маршала Франции не расстреляли. Так неужели расстреляют солдата?

Я повторяю: это невозможно.

Я вступился бы за Базена, я вступаюсь за Блана.

Я просил бы сохранить жизнь подлецу, я прошу сохранить жизнь несчастному.

Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю: по великому праву первого встречного. Первый встречный — это человеческая совесть.

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ ЭДГАРА КИНЕ

29 марта 1875 года

Я пришел, чтобы у этой открытой могилы склониться перед великой душой.

Мы живем в эпоху, богатую прославленными писателями и философами. Человеческая мысль представлена в наше время высочайшими вершинами, и среди этих вершин Эдгар Кине — самая высокая. Чело этого мыслителя озарено спокойным светом истины. Вот почему я склоняюсь перед ним.

Я склоняюсь перед ним потому, что он был гражданином, патриотом, человеком; тройная доблесть. Мыслитель должен распространять дух братства — от семьи к родине, от родины к человечеству; расширяя таким образом горизонты, философ превращается в апостола. Я склоняюсь перед Эдгаром Кине потому, что он был великодушным и полезным обществу, мужественным и милосердным,

убежденным и настойчивым, принципиальным и мягким, нежным и гордым; гордым по отношению к тем, кто царствует, нежным по отношению к тем, кто страдает. (*Апеллодисменты. Возгласы: «Да здравствует республика!»*)

Творчество Эдгара Кине блистательно и обширно. Оно имеет две стороны, можно сказать две плоскости — политическую и литературную, и, следовательно, оно приносит двойную пользу, давно необходимую нашему веку; с одной стороны — право, с другой — искусство; с одной стороны — безусловное, с другой — идеальное.

С точки зрения чисто литературной его творчество пленяет и в то же время наставляет; оно волнует и в то же время указывает путь. Стилль Эдгара Кине тяжеловесен и строг, что не мешает ему быть проникновенным. Какая-то особая сердечность привлекает к нему читателей. Глубина, сочетающаяся с душевной добротой, создает авторитет этому писателю. Его любят. Кине — один из тех философов, которые умеют заставить понять себя настолько, что им повинуются. Он мудр, потому что справедлив.

Историк в нем совмещался с поэтом. Истинных мыслителей отличает соединение загадочного с ясным. Кине в полной мере обладал глубоким даром предвидения. Мы ощущаем, как его мысль, если можно так выразиться, выходит за пределы мысли. (*Движение.*) Таковы писатели великого поколения.

Кине олицетворял собою разум, то есть одну из тех форм бытия, для которых старости не существует и которые с течением лет растут и крепнут. Так, позднейшие его произведения — самые прекрасные. Двум последним сочинениям Кине — «Творению» и «Новому духу» — в наивысшей степени присущ тот двойной, сугубо современный и вместе с тем пророческий, дух, который служит отличительным признаком великих произведений. И в том и в другом произведении присутствует Революция, дарующая книгам жизнь, и поэзия, дарующая книгам бессмертие. (*Возгласы: «Браво!»*) Так писатель живет одновременно и для настоящего и для будущего.

Недостаточно создать произведение, необходимо практически доказать правильность его идей. Произведение создает писатель, доказательство дает человек. А чтобы доказать правильность идей своего произведения, приходится добровольно идти на страдания.

На долю Кине выпала честь подвергнуться изгнанию, и у него хватило величия полюбить изгнание. Это горе было для него желанным. Гордым душам нравится причинять беспокойство тиранам. (*Сильное волнение.*) Изгнание — это отбор. Изгнанник — тот, кого преступление отобрало для того, чтобы олицетворять право. (*Возгласы одобрения. Крики: «Да здравствует республика! Да здравствует Виктор Гюго!»*) Глядя на добродетель, преступление познает себя. Ссылный — это избраннык негодяя. Кажется, будто негодяй говорит ему: «Будь моей противоположностью». Отсюда особая миссия изгнанника.

Эту миссию Кине выполнил великолепно. Он достойно прожил в том трагическом мраке изгнания, где блистал Луи Блан, где умер Барбес. (*Глубокое волнение.*)

Не жалейте этих людей: они исполнили долг. Быть Францией за пределами Франции; будучи побежденным, оставаться победителем; страдать за тех, кто считает себя преуспевающим; творить в оскорбительном, но здоровом одиночестве изгнанника; обратить тоску по родине ей же на пользу; иметь рану, которую ты можешь принести в жертву отечеству; обожать свою побежденную и ограбленную страну, гордиться ею тем больше, чем большее презрение стремится проявить к ней чужеземец (*аплодисменты*); олицетворять, стоя во весь рост, все то, что низвержено, — честь, справедливость, право, закон; да, это прекрасно и сладостно, это великий долг, — и что значат для того, кто его исполняет, страдания, одиночество, заброшенность! С какой радостью люди готовы, ради такого сурового служения родине, на протяжении десяти лет, на протяжении двадцати лет, всю жизнь пребывать лицом к лицу с угрюмой бесконечностью гор или зловещей бесконечностью моря! (*Сильнейшее волнение.*)

Прощай, Кине! Ты был велик, ты приносил пользу. Это прекрасно. Твоя жизнь была прекрасна. Пусть твоя достойная благоговения тень сохранится в памяти всех. Будь любим народом, столь любимым тобою.

Прощай.

Еще несколько слов.

Могила жестока. Она отнимает у нас то, что мы любим, она отнимает у нас то, чем мы восхищаемся. Пусть же она послужит нам, чтобы перед ней сказать о самом

важном. Где еще слова могут звучать так возвышенно и так искренне, как перед лицом смерти? Воспользуемся нашей скорбью для того, чтобы пролить свет в души. Люди, подобные Эдгару Кине, служат примером. Своими испытаниями и своими трудами они способствовали победному шествию идей, прогресса, демократии, братства. Освобождение народов — священное дело. Прославим же его перед этой могилой. Пусть небесные силы помогут нам по достоинству оценить силы земные. Перед лицом избавления, именуемого смертью, прославим иное избавление, именуемое Революцией. (*Аплодисменты. Возгласы: «Да здравствует республика!»*) Кине много сделал для нее. Так скажем же здесь мягко, но непреклонно, скажем тем, кто не признает настоящего, скажем тем, кто отрицает будущее, скажем многим неблагодарным, освобожденным вопреки их воле (*движение*), ибо прошлое было побеждено в интересах всех, скажем им, что такие великодушные борцы, как Кине, оказали немалые услуги человечеству. Провозгласим перед этой могилой высокие законы морали. Стоя рядом с прахом этого отважного человека, скажем, что долг прекрасен, что честность священна, что жертвенность величественна, что бывают моменты, когда мыслитель становится героем, что революции совершаются умами, руководимыми богом, и что справедливые люди приносят освобождение народам. (*Возгласы: «Браво!»*) Скажем, что истина — это свобода. Могила, именно потому, что она мрачна, именно вследствие царящей в ней тьмы, таит в себе величие, способствующее провозглашению высоких принципов человеческой совести, и чтобы обратить на пользу эту тьму, нужно извлечь из нее этот свет. (*Единодушное одобрение. Возгласы: «Да здравствует Виктор Гюго! Да здравствует республика!»*)

КОНГРЕССУ МИРА

Конгрессу мира угодно было вспомнить обо мне и призвать меня. Я глубоко растроган.

Я могу лишь повторить моим европейским согражданам то, что я уже неоднократно говорил им с 1871 года, столь рокового года для всего человечества. Мои на-

дежды не поколеблены, их осуществление только отсрочено.

Современная цивилизация раздирается двумя противоположными силами: одна из них — за цивилизацию, другая — против; одна из них — сила Франции, другая — сила Германии. Каждая из них стремится переделывать мир по-своему. То, что хочет создать Германия, — это Германия; то, что хочет создать Франция, — это Европа.

Создать Германию — значит создать империю, то есть тьму; создать Европу — значит породить демократию, то есть свет.

Не сомневайтесь в том, что будущее уже сделало выбор между двумя мирами: одним — мрачным, другим — лучезарным, одним — ложным, другим — истинным.

Будущее произведет раздел между Германией и Францией; одной вернет ее часть Дуная, другой — ее часть Рейна и обеим сделает великолепный подарок — Европу, то есть великую федеративную республику континента.

Короли объединяются для того, чтобы бороться друг с другом, и заключают между собой мирные договоры, которые приводят к войнам; отсюда все эти чудовищные союзы монархических сил против всякого социального прогресса, против французской революции, против свободы народов. Отсюда Веллингтон и Блюхер, Питт и Кобург; отсюда преступление, именуемое Священным союзом; сказать «союз королей» — значит сказать «союз ястребов». Этому братоубийственному братству придет конец, и на смену Европе Королей-Союзников придет Европа Соединенных Народов.

Сегодня? Нет. Завтра? Да.

Итак, будем верить и ждать будущего.

А до этих пор мира быть не может. Я говорю это со скорбью, но непреклонно.

Расчлененная Франция — несчастье для человечества. Франция принадлежит не Франции, она принадлежит всему миру; для того чтобы человечество могло нормально развиваться, необходима целостность Франции; провинция, отнятая у Франции, — это сила, отнятая у прогресса, это часть тела, отнятая у человечества; вот почему

Франция не может ничего отдать. Увечить ее — значит увечить цивилизацию.

Впрочем, жертвы насилия можно видеть повсюду, и в этот момент вы слышите крики одной из них — Герцеговины. Увы! Невозможно спать, когда кровоточат такие раны, как Польша, Крит, Мец и Страсбург; невозможно спать после такого бесчестия, как восстановление Германской империи в разгар девятнадцатого века; невозможно спать после того, как Париж был осквернен Берлином, то есть город Вольтера был оскорблен городом Фридриха II; невозможно спать после такого бесчестия, как провозглашение святости грубой силы и справедливости насилия, после пощечины, нанесенной прогрессу в лице Франции. Все это невозможно заглушить провозглашением мира. Чтобы умиротворить, нужно успокоить; чтобы успокоить, нужно удовлетворить. Братство — не поверхностное явление. Мир — не верхний слой.

Мир — это итог. Нельзя декретом установить мир, так же как нельзя декретом ввести зарю. Когда человеческая совесть чувствует, что она находится в состоянии равновесия с социальной действительностью; когда раздробленность народов уступает место единству континентов; когда исчезают захваты, именуемые завоеваниями, и узурпации, именуемые королевской властью; когда никто не наносит увечий соседу, будь то отдельный человек или целая нация; когда бедняк сознает необходимость труда, а богач сознает величие труда; когда материальное начало в человеке подчиняется духовному началу; когда желания поддаются обузданию со стороны рассудка; когда на смену старому закону — брать — приходит новый закон — понимать; когда братство душ опирается на гармонию между мужчиной и женщиной; когда ребенок уважает отца, а отец чтит ребенка; когда нет иной власти, кроме власти творца; когда ни один человек не может сказать другому человеку: «Ты — моя скотина!»; когда пастух уступает место врачу, а овчарня (сказать «овчарня» — значит сказать «бойня») — школе; когда существует тождество между честностью политической и честностью социальной; когда Бонапарт в верхах так же невозможен, как Тропман в низах; когда священник чувствует себя судьей, а судья чувствует себя священником, то есть когда религия правдива, а правосудие неподкупно;

когда границы между нациями стираются, а границы между добром и злом восстанавливаются; когда каждый человек создает в себе из своей честности некое внутреннее отечество, — тогда, так же как воцаряется день, воцаряется мир. День воцаряется благодаря восходу солнца, мир — благодаря восходу права.

Таково будущее. Я приветствую его.

Виктор Гюго.

Париж, 9 сентября 1875

ДЕЛЕГАТ ПАРИЖА — ДЕЛЕГАТАМ ТРИДЦАТИ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ОБЩИН ФРАНЦИИ

16 января 1876

Избиратели общин Франции!

Вот чего ждет от вас Париж:

Он много выстрадал, этот благородный город. И все же он исполнил свой долг. В декабре 1851 года Империя силой захватила его и, сделав все, чтобы победить его, приложила все усилия к тому, чтобы его разложить; разложение — вот истинная победа деспотов; растлить совесть, устроить сердца, принизить души — вот хорошие условия для царствования. Преступление становится пороком, оно проникает в кровь народов; в свое время цезаризм кончился тем, что превратил великий Рим в город, вызывавший негодование Тацита; насилие, выродившееся в развращенность, — нет ига злосчастнее! Двадцать лет Париж влачил на себе это иго; этого времени достаточно для того, чтобы яд успел подействовать. Пять лет назад, полагая, что час настал, рассчитывая, что процесс распада, начавшийся 2 декабря, должен уже завершиться, враги надругались над Францией, попавшей в западню, и, разбившись с Империей, которая рассыпалась от первого же дуновения, ринулись на Париж. Они думали, что увидят Содом. Их встретила Спарта. И какая Спарта! Спарта с двумя миллионами жителей. Чудо! Такого история еще не видала; Вавилон, героический, как Сарагоса! Яростная осада, орудийный обстрел, все жестокости вандализма —

Париж, говорящий с вами в эту минуту, общины Франции, вынес все! Эти два миллиона людей показали, до какой степени единоплеменна родина, ибо у всех у них билось одно сердце. Пять месяцев полярная зима, которую, казалось, принесли с собой эти северные народы, обрушивалась на осажденных, но не сломила их. Было холодно и голодно, но люди были счастливы, чувствуя, что они спасают честь Франции и что Париж 1871 года продолжает традиции Парижа 1792 года; и в день, когда жалкие военачальники заставили Париж капитулировать, всякий другой город издал бы крик радости; Париж испустил крик боли.

Как же отблагодарили этот город? Всяческими оскорблениями. Нет таких мучений, от которых был бы избавлен прекрасный город. Он испытал и пытки и поношения. Отныне только этот город имел право на Триумфальную арку. Именно через Триумфальную арку Франция, представленная своим Национальным собранием, хотела бы войти в Париж с обнаженной головой. Чествуя Париж, Франция хотела воздать честь самой себе. Но было сделано прямо противоположное. Я не осуждаю, а только констатирую. Будущее произнесет свой приговор.

Как бы то ни было, не вдаваясь в подробности, надо сказать, что заслуги Парижа не получили признания. Как ни печально, у Парижа оказались враги не только за границей. Потоки клеветы обрушились на несравненный город, грудью встретивший удар, город, остановивший немцев и вызвавший замешательство в их рядах, город, который при мужественной и сильной поддержке турецкого правительства мог бы, продлись сопротивление еще месяц, превратить вторжение врага в беспорядочное бегство. И такой Париж, заслуживший все возможные почести, подвергся всяческим нападкам. Оскорблений было столько же, сколько должно было быть почтения. Впрочем, не все ли равно? Сорвав с Парижа венец столицы Франции, враги обнажили его мозг, мозг столицы мира. Это высокое чело Парижа, теперь ясно видимое всем, сияет еще ярче. Отныне все народы единоплеменно признают Париж столицей рода человеческого.

Избиратели общин! Сегодня бьет великий час, слово предоставлено народу, и после стольких битв, стольких страданий, стольких несправедливостей, стольких пыток

героический город, все еще подвергнутый остракизму, взывает к вам. Чего просит он у вас? Ничего для себя, все для родины.

Он просит вас рассеять сомнения относительно будущего. Он просит вас заложить основы политической справедливости, основы социальной справедливости, основы демократии, основы Франции. Он просит вас о том, чтобы результатом вашего торжественного голосования было удовлетворение материальных и духовных запросов, нерушимая республика, почетный и раскрепощенный труд, общее снижение налогов и их пропорциональное распределение, отстранение тунеядцев от народного дохода, полное и всеобщее избирательное право, исправление уголовного кодекса, всеобщее обучение, права для всех. Избиратели общин! Ваше голосование равносильно закону, и Париж, эта высшая из общин, просит вас установить, избрав достойных, что торжество справедливости должно покончить со злоупотреблениями, федерация народов — с монархией, переговоры — с внешними войнами, амнистия — с войной гражданской, образование — с нищетой. Париж просит вас исцелить раны. В этот час, когда нам угрожает еще так много несломленных враждебных сил, он просит вас уверовать в прогресс, поставить право выше силы, Францию выше пруссачества, поставить Париж над Римом и свет над тьмой.

Вы это сделаете.

Еще несколько слов.

Рассеем иллюзии. Рассеем их без гнева, со спокойствием уверенности. Те, кто мечтает когда-нибудь упразднить Республику законным путем, надеются напрасно. Республика завещана издревле. Она зиждется на естественном праве. Никто не ставит на голосование вопрос о том, нужен ли воздух, которым мы дышим. Никто не ставит на голосование необходимость продолжения человеческого рода.

Монархия, как и всякая опека, может иметь смысл, пока народ еще во младенчестве. Но как только он достиг определенного возраста, он чувствует себя уже в силах идти самостоятельно, и он идет. Республика — это народ, провозгласивший свое совершеннолетие. Французская революция — это освобожденная цивилизация. Все это простые истины.

Рост — это освобождение. Оно не зависит ни от кого, даже от вас. Можно ли ставить на голосование вопрос о том, в котором часу вам должен исполниться двадцать один год? Французский народ достиг совершеннолетия. Можно изменить его конституцию, изменить его возраст нельзя. Отбросить его к монархии — значит отдать его под опеку. Он слишком велик для этого.

Так откажемся же от химер!

Признаем свою зрелость! Зрелость — это республика. Признаем ее для себя и пожелаем ее другим. Пожелаем другим народам самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Предложим им непоколебимую основу мира — федерацию. Франция глубоко любит другие народы. Она чувствует себя их старшей сестрой. Ей наносят удары, с ней обращаются как с наковальней; но ненависть только высекает из нее искры; она просвещает тех, кто хочет нанести ей рану; вот как она отвечает ударом на удар! Превратить весь наш континент в единую семью, раскрепостить торговлю, которой препятствуют границы, промышленность, парализованную запретами, труд, эксплуатируемый паразитами, собственность, угнетенную налогами, мысль, на которую деспоты надевают намордник, совесть, скованную догмами. Такова цель Франции. Достигнет ли она ее? Да. Франция закладывает сейчас основу свободы народов, закладывает ее мирным путем; она подает пример. Действия эти имеют не национальное, а общекоонтинентальное значение; свободная Европа будет необъятной; у нее не будет иной заботы, кроме собственного процветания, а благодаря миру, рожденному братством, она достигнет того высшего уровня, до которого только может подняться цивилизация.

Нас обвиняют в подготовке реванша; это верно, мы и вправду замысливаем реванш, да еще какой! Пять лет назад казалось, что Европой владеет одна только мысль — как бы умалить Францию; сегодня Франция отвечает ей, и ею тоже владеет только одна мысль — возвеличить Европу.

Республика — это не что иное, как великое разоружение; для такого разоружения необходимо лишь одно условие — уважение взаимных прав. Чтобы выразить то, чего хочет Франция, достаточно одного слова — высокого слова «мир». Мир породит дружественное разрешение

конфликтов, а оно в свою очередь повлечет за собой необходимое и законное возмещение. Мы не сомневаемся в этом. Франция хочет мира во всем: в человеческом сознании, в сфере материальных интересов, мира между народами. В человеческом сознании мир может быть установлен торжеством справедливости, в сфере материальных интересов — торжеством прогресса, между народами — торжеством братства.

Воля Франции — ваша воля, избиратели общин! Завершите создание основ Республики! Изберите такой французский сенат, который мог бы утвердить мир во всем мире! Побеждать — это кое-что, утвердить мир — это все! Перед лицом цивилизации, взирающей на вас, создайте желанную республику, республику без осадного положения, без намордников, без ссылок, без политической каторги, без военного ига, без церковного ига, республику правды и свободы! Обратите ваши взоры на людей просвещенных! Пошлите их в сенат; они знают, что нужно Франции. Порядок зиждется на просвещении. Мир — это свет. Времена насилия прошли. Мыслители полезнее солдат; штыками можно наказывать, идеями — цивилизовать. Сократ более велик, чем Фемистокл, Вергилий более велик, чем Цезарь, Вольтер более велик, чем Наполеон!

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ ФРЕДЕРИК-ЛЕМЕТРА

20 января 1876 года

Меня просят сказать несколько слов. Я не ожидал такой чести, не думал, что меня захотят услышать; сильное волнение мешает мне говорить; и все же я попытаюсь.

У этой могилы я склоняюсь перед душой самого великого актера нашего века, а может быть, и самого чудесного артиста всех времен.

Существует как бы целая династия могучих и своеобразных умов, сменяющих друг друга и обладающих особым даром — средствами театра оживлять, приводить в движение и доносить до народа великие творения поэтов. Эта великолепная плеяда начинается с Фесписа, проходит через Росция и приближается к нам в лице Тальма; Фредерик-Леметр был в наш век их блестящим продол-

жателем. Он — последний из этих великих актеров по времени, первый — по славе. Ни один артист не достиг его славы, ибо никто не мог с ним сравниться. Другие актеры, его предшественники, изображали королей, князей церкви, полководцев — тех, кого называют героями, тех, кого называют богами; он же благодаря своей эпохе был воплощением народа (*движение*). Не может быть ничего более плодотворного и более возвышенного. Будучи воплощением народа, он воплощал и драму; он обладал всеми способностями, всеми силами и всеми достоинствами народа; он был неукротим, могуч, страстен, порывист, пленителен. Как и в народе, в нем сочеталось трагическое и комическое. В этом причина его всемогущества, ибо и страх и сострадание становятся еще более трагическими, когда к ним примешивается язвительная человеческая ирония. Аристофан дополняет Эсхила; более всего волнует толпу ужас, усугубленный смехом. Фредерик-Леметр обладал этим двойным даром; вот почему он был самым великим из всех драматических артистов своей эпохи.

Он был несравненным актером. Он пользовался таким успехом, какой только могло принести его искусство и его время; он испытал также и оскорбления — другой вид успеха.

Он умер. Склонимся же перед этой могилой. Что остается от него сегодня? Здесь, на земле, — его гений. Там, на небе, — его душа.

Гений актера подобен отблеску — он исчезает, оставляя лишь воспоминание. Бессмертие, присущее Мольеру-поэту, не присуще Мольеру-артисту. Но память, которая переживет Фредерик-Леметра; будет прекрасна, — ему суждено оставить неизгладимый след на самой вершине своего искусства.

Я склоняюсь перед Фредерик-Леметром и благодарю его. Я склоняюсь перед чудесным актером, я благодарю верного и превосходного союзника на протяжении всей моей долгой боевой жизни. Прощай, Фредерик-Леметр!

И в то же время я приветствую всех тех, кто меня окружает и слушает; глубокое волнение всех присутствующих охватывает и переполняет меня самого. В вашем лице я приветствую великий Париж. Какие бы усилия ни прилагались для того, чтобы умалить его, Париж остается

несравненным городом. Он обладает двойным достоинством — быть городом революции и городом цивилизации, и он умеряет одну при помощи другой. Париж подобен необъятной душе, способной вместить в себя все. Ничто не поглощает его полностью, и он являет народам самые разнообразные зрелища. Вчера он был охвачен лихорадочной политической потрясен; сегодня он уже весь отдался литературным переживаниям. В самый решительный, в самый серьезный час, среди самых суровых забот он отвлекается от своего возвышенного и тяжкого раздумья, чтобы растрогаться по поводу смерти великого артиста. Скажем же во весь голос: от такого города можно ожидать всего, и его ни в чем не следует опасаться; в нем всегда будет жить мера цивилизации, ибо ему присущи все таланты и все виды могущества. Париж — единственный город в мире, обладающий даром преображения; перед лицом врага, которого нужно отбросить, он умеет стать Спартой, перед лицом мира, которым нужно управлять, он умеет стать Римом, перед лицом идеала и искусства, которое нужно почитать, он умеет стать Афинами. *(Глубокое волнение.)*

ОСУЖДЕННЫЙ СИМБОЗЕЛЬ

Маршалу Мак-Магону, президенту республики

Париж, 7 февраля 1876

Господин президент республики!

Жена человека, который приговорен к ссылке по политическому делу, но пока еще находится во Франции, оказала мне честь, написав мне письмо. Я вам его пересылаю.

Поскольку у нас нет комиссии по помилованию, я считаю, что мне надлежит обратиться к вам.

Этот осужденный включен в партию ссыльных, которая должна быть отправлена на Новую Каледонию 1 марта.

Спустя неделю, 8 марта, приступят к своим обязанностям обе палаты вновь избранного парламента. Я принадлежу к числу тех, кто полагает, что они пожелают ознаменовать начало своей деятельности амнистией. Этого великого акта умиротворения ожидает от них Франция.

Учитывая подобную возможность, а также и все другие доводы, вместе взятые, вы, господин маршал, несомненно, сочтете, что было бы благоразумно отложить назначенную на 1 марта отправку осужденных до решения палат.

Вашего распоряжения было бы достаточно для того, чтобы отсрочить эту отправку. Я жду от вас этого гуманного приказа и буду с радостью аплодировать ему.

Примите, господин президент, уверения в моем высоком уважении.

Виктор Гюго,

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ ЖОРЖ САНД

10 июня 1876 года

Я оплакиваю умершую и приветствую бессмертную. Я любил ее, восхищался ею, благоговел перед ней; сегодня я смотрю на нее, погруженную в священное спокойствие смерти.

Я славлю ее за то, что она была великой, и благодарю ее за то, что она несла людям добро. Я вспоминаю, что однажды я написал ей: «Благодарю вас за вашу благородную душу».

Неужели мы ее потеряли?

Нет.

Такие возвышенные натуры уходят из поля нашего зрения, но не исчезают. Напротив, можно было бы, пожалуй, сказать, что после смерти они проявляются еще полнее. Теряя свой прежний облик, они предстают перед нами в другом. Величественное преображение.

Человеческий облик — это маска. За ней скрывается истинный, божественный лик — идея. Жорж Санд была идеей; теперь она покинула плоть и стала свободной; она умерла и стала живой. *Patuit dea*¹.

В наше время Жорж Санд принадлежит особое место. Все другие великие люди — мужчины; она — великая женщина.

¹ Открылась нам богиня (лат.).

Девятнадцатому веку, чьей миссией было завершить французскую революцию и начать революцию всечеловеческую, была необходима великая женщина, ибо равенство полов — необходимая часть равенства людей. Нужно было, чтобы женщина доказала, что она может обладать всеми высокими качествами мужчины, нисколько не теряя при этом своих ангельских черт, что она может быть сильной, не переставая быть женственной. Жорж Санд доказала это.

Когда столько людей бесчестят Францию, особенно пужны люди, возвеличивающие ее. Жорж Санд останется гордостью нашего века и нашей страны. Эта прославленная женщина обладала всеми добродетелями. У нее было отзывчивое сердце, как у Барбеса, могучий ум, как у Бальзака, великая душа, как у Ламартина. В ней жила лира. В эпоху, когда Гарибальди творил чудеса, она создавала шедевры.

Нет смысла перечислять эти шедевры. Они известны всем, их названия живут в памяти народа. Сила воздействия ее произведений объясняется тем, что они проникнуты стремлением к добру. Жорж Санд была добра; поэтому-то ее и ненавидели. У восхищения есть оборотная сторона — ненависть, у восторга есть изнанка — оскорбление. Но, пытаясь унижить, ненависть и оскорбления повышают. Потомство считает улюлюканье и свист атрибутами славы. Увенчанного славой забрасывают камнями. Таков закон, и низость брани соразмерна успеху.

Люди, подобные Жорж Санд, оказывают благотворное влияние на общество. Стоит им уйти, как на их месте, на миг опустевшем, тотчас возникает новое проявление прогресса.

Каждый раз, когда умирает одно из таких могучих человеческих существ, мы слышим какой-то таинственный шелест расправляемых крыльев: что-то уходит, что-то появляется.

На земле, как и на небе, происходят затмения; но и здесь, внизу, так же как и там, наверху, за исчезновением следует вторичное появление. Факел, заключенный в образе мужчины или женщины, гаснет и сразу же загорается вновь в виде идеи. И тогда люди убеждаются: то, что они считали погасшим, неугасимо. Факел светит ярче, чем когда-либо; отныне он становится неотъемлемой

частью цивилизации; он вступает в широкую полосу света, исходящую от человечества, и сливается с ней; благостный ветер революций колеблет его пламя, но оно разгорается еще ярче, ибо таинственные дуновения, которые гасят сияния ложные, поддерживают истинный свет.

Творец ушел; но его творение завершено.

Эдгар Кине умер, но всеильная философия поднимается над его могилой и наставляет людей. Мишле умер, но за ним стоит история, указывающая путь будущему. Жорж Санд умерла, но она завещала нам борьбу за права женщины, справедливость которой доказана гением женщины. Так завершается революция. Оплакивая умерших, отметим то, что ими завоевано; благодаря усилиям этих гордых умов-провозвестников надвигаются решительные события. Истина и справедливость приближаются; от них-то и исходит доносящийся до нас шелест расправляемых крыльев.

Воспримем же то, что даруют, покидая нас, эти прославленные люди. И, обратившись к будущему, спокойные и сосредоточенные, будем приветствовать великие приобретения, возвещаемые этими великими утратами.

РЕЧЬ ОБ АМНИСТИИ В СЕНАТЕ

22 мая 1876 года

Господа!

Мои политические друзья и я сочли, что в таком значительном и сложном вопросе, из уважения к самому вопросу и из уважения к этому Собранию, никоим образом не следует полагаться на случайные слова. Вот почему я написал то, что намерен изложить перед вами. К тому же людям моего возраста надлежит произносить только продуманные и взвешенные слова. Надеюсь, что сенат одобрит такую осторожность.

Впрочем, само собой разумеется, что за свои слова отвечаю я один.

Господа! После всех этих пагубных недоразумений, называемых социальными кризисами, после распрей и борьбы, после гражданских войн, влекущих за собой все

эти кары, правые часто признают себя виноватыми; человеческое общество, вынесшее жестокие потрясения, вновь цепляется за абсолютные истины, испытывая двойную потребность — потребность в надежде и потребность в забвении.

Я утверждаю, что когда кончается затяжная гроза, во время которой все в большей или меньшей степени стремились к добру, а творили зло, когда начинается некоторое просветление, открывающее подступы к сложным проблемам, подлежащим разрешению, когда вновь настаает время приняться за труд, — со всех сторон слышатся требования, просьбы и мольбы об умиротворении; а умиротворение, господа, может быть только забвением.

На политическом языке, господа, забвение называется амнистией.

Я требую амнистии.

Я требую, чтобы она была полной и всесторонней. Без оговорок. Без ограничений. Амнистия есть амнистия.

Забыть — значит простить.

Амнистию нельзя дозировать. Спрашивать: «В каком объеме нужна амнистия?» — все равно что спросить: «В каком объеме нужно исцеление?» Мы отвечаем: «Во всей своей полноте!»

Рану нужно исцелить полностью.

Ненависть нужно погасить до конца.

Я заявляю, что все сказанное здесь за последние пять дней, все, что было утверждено голосованием, ни в чем не поколебало моих убеждений.

Вопрос встает перед вами во весь свой рост, и вы вправе рассмотреть его со всей полнотой вашей независимости и вашего авторитета.

Какие роковые обстоятельства привели к тому, что вопрос, который, казалось, должен был более всего сблизить нас, в действительности в большей степени, чем любой другой, нас разъединяет?

Позвольте мне, господа, устранить из этой дискуссии все произвольное. Позвольте мне стремиться к одной только истине. У каждой стороны свои взгляды, которые еще отнюдь не доказательства; обе стороны вполне лояльны, но ведь недостаточно противопоставлять одни

утверждения другим. Когда одни говорят: «Амнистия приведет к успокоению», другие отвечают: «Амнистия вызовет беспокойство»; тем, кто говорит, что амнистия — общепарижский вопрос, отвечают, что это вопрос, касающийся только Парижа; тем, кто говорит, что амнистии требует город, возражают, что ее отвергает деревня. Что же все это значит? Все это только утверждения. И я заявляю своим противникам: наши утверждения стоят ваших! Наши утверждения так же бездоказательны перед вашими опровержениями, как и эти опровержения — перед нашими утверждениями. Так оставим же слова и обратимся к действительности. Перейдем к фактам. Справедлива ли амнистия? Да или нет?

Если она справедлива, значит она политически верна.

В этом весь вопрос.

Рассмотрим его.

Господа! В эпоху распрей все партии ссылаются на справедливость. Но она вне партий. Она знает лишь себя самое. Она божественно слепа к человеческим страстям. Охраняя всех, она не прислуживает никому. Справедливость не принимает участия в гражданских войнах, но она знает о них, вмешивается в них.

Но знаете ли вы, в какой момент она выступает на сцену?

После окончания войны.

Справедливость позволяет учреждать чрезвычайные трибуналы, а когда они завершают свое дело, начинает действовать сама.

Но тогда она меняет имя и зовется милосердием.

Милосердие — не что иное, как справедливость, но оно больше справедливости. Справедливость видит только вину, милосердие видит виновного. В глазах справедливости вина выступает безнадежно изолированной, а в глазах милосердия виновный предстает в окружении невинных; у него есть отец, мать, жена, дети, — и все они осуждены вместе с ним, все несут его наказание. Ему — каторга или ссылка, им — нищета. Заслужили ли они эту кару? Нет. А приходится ли им подвергаться ей? Да. И вот тогда милосердие видит, что справедливость несправедлива. Оно вмешивается и милует.

Помилование — это та величественная поправка, какую высшая справедливость вносит в дела справедливости низшей. (*Движение в зале.*)

Господа! Правота на стороне милосердия. Правота на его стороне в делах гражданских и общественных, и тем более в делах политических. Перед лицом такого бедствия, как война между гражданами, милосердие не только полезно, оно необходимо; ощущая присутствие встревоженной совести всего общества, милосердие выходит за пределы прощения и, как я уже сказал, доходит до забвения. Господа! В гражданской войне повинны все. Кто ее начал? Все и никто. Вот почему необходима амнистия. Это слово таит в себе глубокое значение. Оно говорит одновременно и о всеобщем несовершенстве и о всеобщем великодушии. Амнистия чудесна и плодотворна, так как она воскрешает солидарность людей. Она — более чем акт суверенитета, она — акт братства. Она кладет конец распрям. Амнистия — это полное уничтожение злобы, она кладет конец гражданским войнам. Почему? Потому, что в ней заключено некое взаимопрощение.

Я требую амнистии!

Я требую ее ради примирения.

Тут я сталкиваюсь с возражениями; эти возражения — почти обвинения. Мне говорят: «Ваша амнистия аморальна и бесчеловечна! Вы подрываете общественный порядок! Вы становитесь защитником поджигателей и убийц! Вы ратуете за преступников! Вы спешите на помощь злоумышленникам!»

Я останавливаюсь, чтобы задать вопрос.

Господа! В течение пяти лет я в меру моих сил выполняю горестную обязанность, которую, впрочем, другие — те, кто лучше меня, — выполняют лучше, чем я. Время от времени, так часто, как только могу, я наношу почтительные визиты тем, кто живет в нищете. Да, за пять лет я много раз поднимался по убогим лестницам. Я входил в жилища, где летом нет воздуха, а зимой нет огня, где ни зимой, ни летом нет хлеба. В 1872 году я видел мать, чей ребенок — двухлетнее дитя — умер от сужения кишечника из-за отсутствия пищи. Я видел комнаты, полные горя и болезней; я видел умоляюще сложенные

ладони, видел, как люди в отчаянии ломали руки; я слышал предсмертные хрипы и стоны стариков, женщин, детей; я видел неопишуемые страдания, отчаяние и нужду, нищенские лохмотья, бледные от голода лица, и когда я спрашивал, чем вызван весь этот ужас, мне отвечали: «В доме нет мужчины!» Мужчина — это точка опоры, работник, средоточие всего живого и сильного, глава семьи. Нет мужчины в доме — и в дом пришла нищета. Тогда я говорил: «Следовало бы вернуть его домой!» И только потому, что я так говорил, в ответ мне сыпались проклятия и, что еще хуже, иронические замечания. Это меня удивляет, я в этом сознаюсь. Я спрашиваю себя: что же сделали эти угнетенные существа — эти старики, дети, женщины, эти вдовы живых мужей, сироты живых отцов? Я спрашиваю себя: справедливо ли наказывать всех этих несчастных за преступления, которых они не совершали? Я требую, чтобы им вернули отцов! Я поражен тем, что навлек на себя такой гнев только потому, что испытываю сострадание ко всем этим несчастным, потому, что мне не по душе глядеть на больных, дрожащих от холода и голода, потому, что я преклоняю колена перед старыми безутешными матерями, и потому, что я хотел бы согреть босые ножки маленьких детей! Я никак не могу объяснить себе, почему, выступая в защиту семей, я тем самым потрясаю основы общества, и как это получается, что, поддерживая невинных, я оказываюсь защитником преступления!

Как! Только потому, что, увидев неслыханные и незаслуженные несчастья, жалкую бедность, рыдающих матерей и жен, стариков, у которых нет даже койки, младенцев, у которых нет даже колыбели, я сказал: «Вот я перед вами! Что я могу сделать для вас? Чем могу быть вам полезен?» И потому, что матери сказали мне: «Верните нам наших сыновей!» И потому, что жены сказали мне: «Верните нам наших мужей!» И потому, что дети сказали мне: «Верните нам наших отцов!» И потому, что я ответил им: «Я попытаюсь», — поэтому я поступил дурно? Я совершил ошибку?

Нет! Вы этого не думаете, надо отдать вам справедливость. Ни один из вас не думает так!

Так вот, в этот момент я пытаюсь выполнить данное им обещание.

Господа! Выслушайте меня терпеливо, как слушают адвоката; я осуществляю перед вами священное право защиты; и если, думая о стольких несчастных и умирающих, убежденных в моем сочувствии и доверивших мне свои интересы, я невольно выйду за пределы, которые хотел бы себе поставить, вспомните, что сейчас я — представитель милосердия и что если милосердие — это неосторожность, то неосторожность прекрасная, единственно допустимая в моем возрасте; вспомните, что избыток жалости — если вообще может быть избыток жалости — простителен тому, кто прожил на свете много лет, что тот, кто страдал, вправе ратовать за страждущих, что перед вами старик, просящий за женщин и детей, что перед вами изгнанник, заступающийся за побежденных. *(Сильное волнение на всех скамьях.)*

Господа! В гражданских войнах всегда много неясного. Я призываю в свидетели — кого? Официальный отчет. В нем, на странице второй, признается, что «неясность движения» (движения Восемнадцатого марта) «позволяла каждому» (я цитирую) «предвидеть возможность осуществления некоторых идей, быть может и справедливых», — иначе говоря, то, о чем мы всегда твердили. Господа! Репрессиям не было предела, так пусть же и амнистия будет безграничной! Только амнистия, всеобщая амнистия, может загладить судебный процесс над целой массой людей, процесс, начавшийся арестом тридцати восьми тысяч человек, среди которых восемьсот пятьдесят женщин и шестьсот пятьдесят один ребенок пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет.

Найдется ли среди вас, господа, хоть один, кто мог бы без содрогания в сердце пройти сейчас по некоторым кварталам Парижа? Например, мимо этого зловещего возвышения на мостовой, все еще заметного на углу улицы Рошешуар и бульвара? Что там, под этими камнями? Из-под них слышатся глухие вопли жертв, которые могут дойти и до будущих поколений; я останавливаюсь, ибо решил быть сдержанным и не хочу переходить границы; но от вас зависит, чтобы эти роковые вопли смолкли. Господа! Вот уже пять лет, как глаза истории устремлены на эти трагические недра Парижа, и она до тех пор будет слышать раздающиеся оттуда страшные голоса, пока вы не сомкнете уста мертвым, провозгласив забвение,

Вслед за справедливостью, вслед за жалостью подумайте об интересах государства. Подумайте, что в этот час ссыльные и изгнанники исчисляются тысячами и что, кроме них, есть еще бесчисленное множество невинных перепуганных беженцев — огромное неизвестное число! Этот огромный отлив населения наносит ущерб производительности нации. Верните рабочих в мастерские. Вам об этом убедительно заявили в другой палате: верните нашим парижским предприятиям рабочих, мастеров своего дела; пусть вернутся те, кого нам нехватает; простите и утешьте их; муниципальный совет считает, что их не менее ста тысяч. Суровые меры, обрушивающиеся на население, сказываются на всеобщем благосостоянии. Изгнание мавров положило начало разорению Испании, а изгнание евреев довершило его. Отмена Нантского эдикта обогатила Англию и Пруссию за счет Франции. Не повторяйте этих непоправимых политических ошибок.

По любым соображениям — социальным, моральным, политическим — голосуйте за амнистию! Проявите мужество! Возвысьтесь над ложными опасениями. Посмотрите, как просто оказалось отменить осадное положение. Провозгласить амнистию будет ничуть не сложнее. (*Возгласы «Превосходно» на скамьях крайней левой.*) Проявите милосердие!

Я хочу учесть все. Здесь обнаруживается еще одна важная сторона вопроса — исполнительная власть вмешивается и говорит нам: «Помилование — это мое дело!»

Давайте разберемся в этом.

Господа! Есть два способа помилования: малый и великий. Старая монархия знала два вида милосердия: указы о частном помиловании, отменявшие наказание, и указы об общей амнистии, аннулирувавшие само правонарушение. Право частного помилования осуществлялось в интересах отдельных лиц, право всеобщей амнистии — в интересах всего общества. В наши дни из этих двух прерогатив королевской власти первая — право частного помилования, то есть прерогатива ограниченная, — предоставлена исполнительной власти; вторая же — право всеобщего помилования, то есть прерогатива неограниченная, — принадлежит вам. Поистине, именно вы — носители верховной власти, и высшее право принадлежит вам.

Право всеобщего помилования — это право амнистии. И вот в этих условиях исполнительная власть вызывается подменить вас! Малое милосердие вместо великого, — старая история! Иными словами, исполнительная власть делает вам предложение, суть которого сводится именно к тому, о чем одна из двух парламентских комиссий предельно ясно сказала вам: «Отрекитесь!»

Значит, предстоит совершить великое дело, а вы его не совершите! Значит, первое, на что вы употребите вашу верховную власть, будет отречение от долга. Вы пришли к власти, вы вышли из народа, в вас воплощено его величие, вы получили от него священный наказ — покончить с ненавистью, исцелить раны, успокоить сердца, основать республику, покоящуюся на справедливости, основать мир, покоящийся на милосердии; и вы откажетесь выполнять этот наказ и спуститесь с тех высот, на которые вознесло вас общественное доверие, и первой вашей заботой будет подчинить высшую власть низшей? В этом больном вопросе, решение которого требует огромных общенациональных усилий, вы, действуя от имени нации, нанесете удар ее всемогуществу? Как! В момент, когда от вас ждут всего, вы проявите бессилие? Как! Вы не используете высочайшее право, право помилования, для того, чтобы покончить с гражданской войной? Возможно ли? 1830 год был ознаменован амнистией, Конвент провозгласил амнистию, Учредительное собрание 1789 года провозгласило амнистию, и так же как Генрих IV амнистировал Лигу, Гош амнистировал Вандею. А вы отступитесь от этих славных традиций? Вы запятнаете величественные страницы нашей истории малодушием и трусостью? Возможно ли? Сохранив все мучительные воспоминания, злопамятство, горечь, вы примените средство, лишенное политической действительности: медленное и сомнительное помилование отдельных лиц — милосердие, приправленное фаворитизмом; вы будете принимать лицемерие за раскаяние, займетесь туманным пересмотром дел, пагубным для авторитетности судебных решений, вы предпримете ряд более или менее незначительных добрых начинаний в духе монархии, — и все это вместо огромного и великолепного акта, когда родина раскрывает объятия навстречу своим сынам и говорит: «Вернитесь! Я все забыла!»

Нет, нет и еще раз нет! Не отрекайтесь. (*Движение в зале.*)

Господа! Уверуйте в самих себя! Нет для людей зрелища прекраснее, чем смелость в милосердии! Ведь в данном случае милосердие не есть неосторожность; милосердие — мудрость; милосердие — это конец гнева и ненависти; милосердие — это разоружение. Спокойное будущее — вот что вы должны дать Франции, господа, вот чего Франция ждет от вас!

Сострадание и мягкость — хорошие средства управления. Поставить нравственные законы выше законов политических — вот единственное средство заставить революцию подчиниться цивилизации. Сказать людям: «Будьте добрыми!» — значит сказать им: «Будьте справедливыми!» За великими испытаниями должны последовать великие примеры. Рост бедствий искупается и возмещается ростом справедливости и мудрости. Воспользуемся же страданиями общества, чтобы извлечь для человеческого разума еще одну истину, а какая истина может быть выше этой: прощать — значит исцелять!

Голосуйте за амнистию!

Наконец, подумайте о следующем:

Амнистию не обойти. Если вы проголосуете за амнистию, вопрос будет исчерпан; если же вы отвергнете амнистию, вопрос возникнет вновь.

Я хотел бы остановиться на этом, но возражения делаются все упорнее. Я уже слышу их. «Как! Амнистировать всех?» — «Да!» — «Как! Не только политических, но и обычных преступников?» Я говорю: «Да!» А мне возражают: «Никогда!»

Господа! Мой ответ будет кратким, и это будут мои последние слова.

Я просто открою перед вами страницу истории. Вывод вы сделаете сами. (*Движение в зале. Воцаряется полная тишина.*)

Двадцать пять лет тому назад нашелся человек, вставший против целой нации. В один декабрьский день, или, вернее говоря, в одну декабрьскую ночь, этот человек, которому было поручено защищать и охранять Республику, схватил ее за горло, повалил наземь и убил, совершив самое большое преступление в истории. (*Воз-*

гласы «Превосходно!» слева). И так как всякое преступление влечет за собой другое, то этот человек и его сообщники совершили вслед за этим злодеянием бесчисленные уголовные преступления. Пусть говорит история! *Воровство*: двадцать пять миллионов были насильственно «взяты взаймы» в банке; *подкуп чиновников*: полицейские комиссары, превратившись в преступников, заключили под стражу депутатов, пользовавшихся правом неприкосновенности; *подстрекательство военнослужащих к дезертирству и разложение армии*: осыпанных золотом солдат толкали на мятеж против законного правительства; *оскорбление правосудия*: солдатчина изгоняла судей с их мест; *разрушение зданий*: дворец Национального собрания был разрушен, особняк Салландруз был подвергнут обстрелу; *убийство*: Боден был убит, Дюссу был убит, на улице Тиктонн был убит семилетний ребенок, бульвар Монмартр был усеян трупами; позднее, ибо это чудовищное преступление распространилось на всю Францию, был расстрелян Мартен Бидоре (его расстреливали дважды), а Шарле, Сирас и Кюизинье были публично умерщвлены на гильотине. Впрочем, виновный во всех этих преступлениях был рецидивистом; и так как я ограничиваюсь только областью его уголовных преступлений, напомним, что он уже совершил раньше покушение на убийство: в Булони он стрелял из пистолета в армейского офицера, капитана Коль-Пюи-желье. Господа! События, о которых я напоминаю, чудовищные декабрьские события, не были только политическими преступлениями, они были и преступлениями уголовными; с точки зрения истории они распадаются на следующие составные части: вооруженное ограбление, подкуп, насилие над судьями, разложение армии, разрушение зданий, убийства. И я спрашиваю: против кого были совершены эти преступления? Против народа. Ради чьей выгоды? Ради выгоды одного человека. (*Возгласы «Превосходно! Превосходно!» слева.*)

Двадцать лет спустя Париж потрясла новая катастрофа — событие, последствия которого занимают вас сегодня.

После грозных пятимесячных атак Париж был поражен той страшной лихорадкой, которая на языке военных людей называется «осадной лихорадкой». Париж, изуми-

тельный Париж, стойчески вынес долгую осаду; он испытал голод, холод, тюремное заключение, ибо осажденный город — это город-узник; он выдержал ежедневные бои, снаряды и картечь, но он спас не Францию, а то, что, быть может, еще выше — честь Франции. (*Движение в зале.*) Он истекал кровью и не жаловался. Враг мог заставить его проливать кровь, но оскорбить его могли только французы, и они оскорбили его. Его лишили звания столицы Франции. Париж остался лишь столицей... мира. И тогда первый из городов пожелал стать хотя бы вровень с последней деревушкой — Париж пожелал стать коммуной. (*Шум справа.*)

Вот откуда гнев, вот откуда конфликт. Не думайте, что я пытаюсь здесь что-нибудь смягчить. Да, — и я не дожидался сегодняшнего дня, чтобы заявить об этом, слышите? — да, убийство генералов Леконта и Клемана Тома — это преступление, так же как и убийство Бодена и Дюссу; да, поджог Тюильрийского дворца и ратуши — это преступление, так же как разрушение зала Национального собрания; да, убийство заложников — это преступление, так же как убийство прохожих на бульваре. (*Аплодисменты на скамьях крайней левой.*) Да, все это преступления! И если ко всему прибавляется еще и то обстоятельство, что речь идет о рецидивисте, у которого на совести, скажем, выстрел в капитана Коль-Пюишелье, то дело осложняется еще больше; все это я признаю и добавляю: то, что верно для одной стороны, верно и для другой! (*Возгласы «Превосходно!» слева.*)

Существуют две группы фактов, разделенных промежутком в двадцать лет: события Второго декабря и события Восемнадцатого марта. Эти события объясняют друг друга; оба эти события политического характера, вызванные, правда, совершенно различными причинами, заключают в себе то, что вы называете уголовными преступлениями.

Установив это, я приступаю к оценке. Я хочу стать на точку зрения правосудия.

Очевидно, что отношение правосудия к одинаковым преступлениям должно быть одним и тем же; если же правосудие подошло к ним не одинаково, то оно должно было учесть, с одной стороны, что население, только что проявившее героизм перед лицом врага, вправе рассчиты-

вать на известную мягкость, что в конечном счете в этих преступлениях были *повинны не все парижане, а всего лишь несколько человек и что, наконец, если рассматривать самое существо конфликта, то Париж, право же, имеет право на автономию, так же как Афины, называвшие себя Акрополем, как Рим, называвший себя Urbs, как Лондон, называвший себя Сити; правосудие, видимо, должно было учесть, с другой стороны, и то, насколько омерзительна западня, устроенная этим лжецарственным выскочкой, который убивал, чтобы властвовать; и, поставив на одну чашу весов право, а на другую — дела узурпатора, правосудие, видимо, должно было приберечь всю свою снисходительность для народа, отчаявшегося и измученного, и всю свою суровость — для жалкого принца-авантюриста, ненасытного кровопийцы, который после Елисейского дворца захотел попасть в Лувр, который, сразив кинжалом Республику, этим же оружием пронзил насквозь собственную присягу. (*Возгласы «Превосходно!» слева.*)

Господа! А каков же ответ истории? Виселицы Сатори, Нумеа, восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре осужденных, ссылки на поселение, заключение, принудительные работы, каторга в пяти тысячах миль от родины, — вот как правосудие карало за Восемнадцатое марта! А что сделало правосудие в ответ на преступление Второго декабря? Оно присягнуло этому преступлению! (*Продолжительное движение в зале.*)

Я ограничиваюсь фактами юридического характера; я мог бы привести и другие, еще более прискорбные, но ограничусь этим.

Да, все это правда! Могилы, многие могилы были вырыты здесь и в Каледонии; после рокового 1871 года протяжные предсмертные крики врываются в атмосферу того своеобразного мира, каким является осадное положение. Двадцатилетний юноша приговорен к смерти за газетную статью. Ему заменяют казнь каторжными работами. Находясь в пяти тысячах миль от своей матери, он умирает от тоски по родине. Ностальгия привела в исполнение первоначальный приговор. Система наказаний была и остается по сей день ничем не ограниченной. Есть председатели военных трибуналов, запрещающие адвокатам произносить слова снисхождения и умиротворения.

Недавно, двадцать восьмого апреля, через пять лет после Коммуны, был вынесен приговор одному рабочему, признанному всеми свидетелями честным и трудолюбивым человеком; и вот он сослан в крепость; таким образом, кормилец оторван от семьи, муж — от жены, отец — от детей; несколько недель тому назад, первого марта, еще одна партия политических заключенных, вперемежку с обычными каторжниками, вопреки нашим протестам, была погружена на корабль для отправки в Нумеа. Мартовский ветер помешал отплытию судна. Порою кажется, что само небо хочет дать людям время подумать; милосердная буря дала отсрочку; но как только шторм стих, корабль отплыл. (*Сильное волнение в зале.*) Репрессии неумолимы. Вот как карают за Восемнадцатое марта!

Что же касается Второго декабря — я настаиваю на этом, — сказать, что оно осталось безнаказанным, было бы насмешкой; оно было прославлено! Его не только стерпели, его обожествили; преступление обрело силу закона, злодеяния стали легальными. (*Аплодисменты на скамьях крайней левой.*) Священники возносили молитвы во славу этих преступлений; судьи судили их именем; депутаты, которых били ударами прикладов, не только принимали эти удары, но были готовы их терпеть (*смех на скамьях крайней левой*) и стали прислужниками преступления. Преступник умер в своей постели, дополнив Второе декабря Седаном, измену родине крайней бездарностью и ниспровержение Республики крушением Франции. А что до его сообщников — Морни, Бийо, Маньяна, Сент-Арно, Аббатуччи, — то их именами были названы улицы Парижа. (*Сильное волнение в зале.*) Так, с двадцатилетним промежутком, вели себя представители высших правящих сфер в двух переворотах — Восемнадцатого марта и Второго декабря: против народа — со всей свирепостью, а перед императором — со всей низостью.

Пора успокоить потрясенную совесть людей. Пора покончить с позором двух различных систем мер и весов. Я требую полной и безоговорочной амнистии по всем делам Восемнадцатого марта! (*Продолжительные аплодисменты на скамьях крайней левой. Заседание прерывается. Оратор возвращается на свое место и принимает поздравления своих коллег.*)

Необходимо, наконец, привлечь внимание европейских правительств к факту, видимо настолько незначительному, что правительства как бы и не замечают его. Вот этот факт: убивают целый народ. Где? В Европе. Есть ли свидетели этого факта? Один свидетель — весь мир. Правительства видят его? Нет.

Над нациями стоит то, что ниже их, — правительства. В определенные минуты это противоречие вскрывается: народам присуща цивилизация, правителям присуще варварство. Сознательное ли это варварство? Нет; оно просто профессиональное. То, что знает род человеческий, неизвестно правительствам. Происходит это потому, что зрение правительств ограничено близорукостью — государственными соображениями. Человеческий род смотрит другими глазами — совестью.

Мы удивим европейские правительства, сообщив им, что преступления остаются преступлениями; что правительству, так же как и отдельной личности, не дозволяется более быть убийцей; что Европа связана общей ответственностью; что все творимое в Европе творит сама Европа; что если существует правительство-хищник, то с ним и надо обращаться как с хищником; что в настоящее время, рядом с нами, на наших глазах, идет резня, устраивают пожары, грабят, истребляют людей, перерезают горло отцам и матерям, продают девочек и мальчиков; что детей, которые слишком малы, чтобы быть проданными, рубят надвое ударом сабли; что сжигают целые семьи вместе с их домами; что в таком-то городе, например Балаке, за несколько часов из девяти тысяч жителей осталось тысяча триста; что кладбища завалены бóльшим количеством трупов, чем там можно похоронить; таким образом мертвые, которым живые ниспослали гибель, шлют им взамен то, что они и заслужили, — чуму; мы ставим в известность правительства Европы, что беременным женщинам вспарывают животы и уничтожают ребенка в утробе матери, что на городских площадях лежат горы истлевших женских трупов с распоротыми животами, что на улицах собаки гложут черепа изнасилованных девушек, что все это заставляет содрогаться, что правитель-

ствам Европы достаточно шевельнуть пальцем, чтобы этого не было, и что дикари, совершающие подобные злодеяния, страшны, а цивилизованные люди, допускающие, чтобы они совершались, внушают ужас.

Настало время возвысить голос. Поднимается всеобщее возмущение. Бывают часы, когда человеческая совесть берет слово и приказывает правительствам слушать ее.

Правительства бормочут какой-то ответ. Они уже пытались однажды что-то лепетать. Они говорят: «Слухи преувеличены».

Да, слухи преувеличены. Город Балак был истреблен не за несколько часов, а за несколько дней; говорят, что сожгли двести деревень, а на деле всего лишь девяносто девять; то, что вы называете чумой, только тиф; не всех женщин изнасиловали, не всех девушек продали, некоторые избежали этой участи. Пленников кастрировали, но им также отрубали головы, что делает факт не таким весомым; ребенок, которого, как говорят, перебрасывали с одной пики на другую, в действительности был лишь наколот на острие штыка; из одного вы делаете двоих, вы увеличиваете вдвое и т. д., и т. д., и т. д.

И кроме того — почему этот народ восстал? Почему стадо людей не позволяет распоряжаться собой как стадом животных? Почему... и т. д.

Подобный способ оправдываться лишь усиливает омерзение. Затевать тяжбу с общественным негодованием — нет ничего подлее. Преуменьшение вины ее отягчает. Это изворотливость, выступающая в защиту варварства. Это Византия, оправдывающая Стамбул.

Будем называть вещи их именами. Убийство человека в лесу, именуемом лесом Бонди или Шварцвальдом, — преступление; убийство целого народа в лесу, именуемом дипломатией, — тоже преступление.

Еще большее. Вот и все.

Разве преступление становится менее значительным от того, что оно слишком велико? Увы! Это действительно старый закон истории. Убейте шесть человек — и вы Тропман; убейте шестьсот тысяч людей — и вы Цезарь. Быть чудовищным — означает быть приемлемым. Доказательства: Варфоломеевская ночь благословляется Римом; дра-

гоннады прославляются Боссюэ; Второе декабря приветствуется Европой.

Однако настало время, когда старый закон должен смениться новым законом; как бы темна ни была ночь, все равно горизонт посветлеет.

Да, ночь темна. Дело дошло до того, что воскрешаются призраки; после «Силлабуса» появился коран; одна священная книга братается с другой; *jungamus dextras*¹; позади святейшего престола видна Высокая Порта; нам дают право выбрать мракобесие по вкусу, и, видя, что Рим предлагал нам свое средневековье, Турция сочла, что она может предложить нам свое.

Отсюда то, что происходит в Сербии.

До чего же там дойдут?

Когда прекратится истязание этого героического маленького народа?

Настало время, чтобы цивилизация торжественно положила этому конец.

Это предписание — положить конец преступлению — мы, народы, и объявляем правительствам.

Но нам говорят: «Вы забываете, что существуют «проблемы». Убить человека — преступление; убить целый народ — «проблема». У каждого правительства есть своя проблема; у России — Константинополь, у Англии — Индия, у Франции — Пруссия, у Пруссии — Франция.

Мы отвечаем:

Человечество тоже имеет свою проблему; и эта проблема, вот она, — она больше, чем Индия, Англия и Россия: это ребенок во чреве матери.

Заменим проблемы политики проблемой человечности.

Все будущее в этом.

Скажем прямо: что бы люди ни делали, будущее настанет. Все служит ему, даже преступления. Страшные слуги.

То, что происходит в Сербии, наглядно показывает необходимость создания Соединенных Штатов Европы. Пусть на смену разобщенным правительствам придут объединенные народы. Покончим со смертоносными империями. Наденем намордники на фанатизм и деспотизм. Сломим мечи, прислуживающие суевериям, и догмы, дер-

¹ Обменяемся рукопожатием (лат.).

жащие саблю в руке. Довольно войн, довольно убийств, довольно резни; нужны свободная мысль, свободный обмен, братство. Разве мира так уж трудно достигнуть? Республика Европы, Федерация Континента — другой политической реальности нет. Рассуждения это подтверждают, события тоже. В отношении этой реальности, которая является необходимостью, сошлись во мнениях все философы; ныне к доказательствам философов присоединяют свои доказательства палачи. Дикость, именно потому, что она ужасает, по-своему свидетельствует в пользу цивилизации. Под прогрессом стоит подпись Ахмеда-паши. Жестокости, совершаемые в Сербии, ставят вне сомнения тот факт, что Европе нужна единая европейская нация, единое правительство, единый всеобъемлющий и братский суд, демократия, живущая в мире сама с собой; все нации должны быть сестрами с общей столицей в Париже, иными словами — столицей свобод должен быть свет. Короче говоря, необходимы Соединенные Штаты Европы. В этом цель, это — гавань. Вчера это было лишь истиной; благодаря палачам Сербии сегодня это стало очевидностью. К мыслителям присоединяются убийцы. Доказательство было дано гениями, теперь его дают чудовища.

Будущее — это бог, чью колесницу влекут тигры.

Париж, 29 августа 1876

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНГРЕССА МИРА В ЖЕНЕВЕ

Париж, 10 сентября 1876

Уважаемый и дорогой председатель!

Шлю вам свои братские пожелания.

Конгресс мира продолжает настаивать на своем, и он прав.

При виде искалеченной Франции, при виде истерзанной Сербии цивилизация негодует, и протест Конгресса мира необходим.

Миру препятствует Берлин; свободе препятствует Рим. К счастью, папа и император не единодушны; Рим и Берлин на ножах.

Будем надеяться.

Сердечно жму вашу руку.

Виктор Гюго.

ЛИОНСКИЕ РАБОЧИЕ

25 марта 1877

Лионские рабочие страдают, парижские рабочие приходят им на помощь. Парижские рабочие, вы исполняете свой долг, и это прекрасно. Вы подаете благородный пример. Цивилизация приносит вам благодарность.

Мы живем в такое время, когда идея братства должна проявляться в великодушных деяниях: во-первых, потому, что доброе дело всегда есть благо; во-вторых, потому, что прошлое не хочет покориться своей участи и исчезнуть; в-третьих, потому, что пред лицом будущего, которое несет нациям объединение и согласие, прошлое пытается вновь пробудить ненависть. (*Аплодисменты.*)

Ответим ненависти солидарностью и единением.

Господа! Мои слова будут просты и серьезны. Говорить, обращаясь к народу Парижа, — высшая честь, и достоин ее лишь тот, кому свойственна прямота. И, прибавлю я, — умеренность. Ибо если прямота — это мощь, то умеренность — сила.

После этих оговорок разрешите мне высказать мою мысль до конца.

В настоящее время две противоположные силы борются за власть над миром.

Это странное время можно охарактеризовать немногими словами. О чем мечтают короли? О войне. О чем мечтают народы? О мире. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Контрастом лихорадочной деятельности королей и нападением для них является спокойствие народов. Правители вооружаются, народы трудятся. Народы любят друг

друга и объединяются. Королям, замысляющим и подготавливающим насильственные действия, народы противопоставляют величие мирных деяний.

Великолепный отпор!

Народы сближаются, договариваются, оказывают друг другу помощь.

Вы видите: Лион страдает — Париж приходит в волнение.

Да позволят мне собравшиеся здесь патриоты рассказать им о Лионе.

Лион — прославленный город, город тружеников и борцов. Выше Лиона только Париж. Воскрешая в памяти нашу историю, можно, пожалуй, сказать, что именно в Лионе зародилась Франция. Лион — одна из древнейших колыбелей современного мира. В Лионе латинская демократия была привита к кельтской теократии; в Лионе Галлия преобразовалась и переродилась настолько, что стала наследницей Италии; Лион — точка пересечения того, чем некогда был Рим и чем теперь является Франция. Лион был первым нашим центром. Агриппа сделал Лион узлом военных дорог Галлии, и этот решительный способ внедрения цивилизации впоследствии был повторен сооружением стратегических дорог Вандей. Как все города, имеющие некое предназначение, Лион пережил ряд бедствий: во втором веке город жестоко пострадал от пожара, в пятом — от наводнения, в семнадцатом — от чумы. Факт, достойный быть отмеченным историей: Нерон, сжегший Рим, отстроил Лион. Лион, знаменитый в истории, не менее прославился и в политике. В наши дни Лион выделяется среди других городов Европы смелым изобретательством, упорным, могучим и плодотворным трудом, усовершенствованиями в области промышленности, неуклонным стремлением к замене хорошего лучшим. В Лионе — трогательное, возвышенное явление, ибо лионский рабочий терпит нужду, — бедность создает богатство. (*Движение в зале.*) Да, граждане, я утверждаю: добродетель, заключенная в труде, социальная интуиция, угадывающая необходимость революций и неустанно требующая их, дерзание во имя прогресса, настойчивость, свойственная людям, несущим в себе будущее, — вот что характеризует Францию, вот что характеризует Лион. Лион был метрополией Галлии, он остался ею и ныне, с развитием

демократии. Это город ремесел, город искусства, город, где машина повинуетя духу, город, где в рабочем живет мыслитель и где Вольтер дополняет Жаккара. (*Аплодисменты.*) Лион — первый из наших городов, ибо Париж — нечто иное; Париж выходит за пределы нации. Лион — в сущности цитадель Франции, тогда как Париж — цитадель человечества. Вот почему помощь, которую Париж оказывает Лиону, вызывает восхищение. Можно даже сказать так: когда Париж помогает Лиону, столица мира помогает столице Франции. (*Возгласы: «Браво!»*)

Воздадим должное этим двум городам! В настоящий момент, когда реакционные партии, как видно, замыслили унижить Францию и пытаются низвести столицу революции на положение столицы монархии, следует еще раз напомнить о том, чем являются для нас великие центры французской культуры: Лион — город труда и Париж — город просвещения. (*Сильное волнение. Многочисленные возгласы: «Браво!»*)

Вокруг этих двух столиц теснятся толпой их братья и сыновья, все наши прославленные города, и среди них — наш изумительный Марсель, которому нужно отвести особое место, ибо он во Франции представляет Грецию, точно так же как Лион представляет в ней Италию.

Но расширим наш горизонт, окинем взглядом Европу, различные нации и, показав солидарность наших городов, укажем, граждане, для блага цивилизации все видимые нам признаки грядущего единства человечества.

Эти признаки заметны во всем.

Как я уже сказал вначале, в переживаемые нами смутные дни все, что внушает тревогу, исходит от королей, все, что внушает надежду, — от народов.

За звериным ожесточением войны, развязанной семь лет тому назад двумя императорами, за угрозами резни и разгрома, которые раздаются вновь и вновь, а иной раз, как показывает удушение Болгарии Турцией, приводятся в исполнение, за мобилизацией армий, за всей этой злоеющей военной шумихой ощущается могучая воля к миру.

Я повторяю, и я настаиваю на этом: кто хочет войны? Короли. Кто хочет мира? Народы.

Мне кажется, сейчас готовится небывалый поединок между войной, которой жаждет прошлое, и миром, которого жаждет настоящее. (*Аплодисменты.*)

Граждане, мир победит!

Это торжество будущего видно уже сейчас, оно приближается, мы накануне его. Оно будет называться Выставкой 1878 года. Что такое в самом деле Международная выставка? Это подпись всех народов под договором о братстве. Это союз промышленности с искусством, это сотрудничество науки с изобретательством, это взаимодействие мысли и труда, это вызванный прогрессом рост благосостояния, это сочетание идеала с действительностью. Это общение наций в гармонии, созданной трудом. Борьба, если хотите, но борьба благотворная; изумительная схватка трудящихся, оставляющая после себя не смерть, а жизнь, не трупы, а прекрасные творения; грандиозная битва, в которой все — победители. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Париж — тот город, который по праву должен явить миру это величественное зрелище.

1870 год — ужасная война-ловушка — был делом рук Пруссии; 1878 год — победа мира — будет ответом Франции.

Всемирная выставка 1878 года будет жесточайшим поражением, которое мир нанесет войне.

Это будет примирение с Парижем, необходимое всему земному шару.

Мир — это голос будущего, предвестник создания Соединенных Штатов Европы; мир — это имя, которым будет наречен двадцатый век при его рождении. Мы, философы, должны неустанно возвещать мир всему миру. Так раскроем же полностью содержание этого великого слова.

Скажем прямо, что именно нужно Франции, Европе, всему цивилизованному человечеству, что осуществимо уже сейчас, чего мы хотим: это — религия без нетерпимости, то есть разум вместо догматизма; карательная система без смертной казни, то есть исправление вместо мщения; труд без эксплуатации, то есть достаток вместо нужды; передвижение, не стесняемое границами, то есть свобода вместо преград; нации без взаимной вражды, то есть посредничество вместо войны (*движение в зале*); словом, все виды разоружения, за исключением одного — разоружения совести. (*Многочисленные возгласы: «Браво!»*)

Да, я настаиваю на этом исключении. Потому что, покуда политика будет прибегать к войне, карательная система — к эшафоту, религия — к запугиванию адом, а общество — к принуждению; покуда принцип, иначе говоря право, будет противоположен факту, иначе говоря — кодексу; покуда гражданский закон будет провозглашать нерасторжимость, а уголовный — непоправимость; покуда можно будет заключать в оковы свободу и удушать истину; покуда судье будет предоставлена возможность превращаться в палача, а правителю — в тирана; покуда перед нами будут зиять бездны, вырытые нашими же руками; покуда будут существовать угнетенные, эксплуатируемые, притесняемые; покуда невинные будут истекать кровью, а слабые — исходить слезами, — необходимо, граждане, чтобы совесть оставалась во всеоружии. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Вооруженная совесть — это грозный Ювенал, это вдумчивый Тацит, это Данте, клеймящий Бонифация, то есть праведный человек, карающий «непогрешимого», это Вольтер, требующий отмщения за Каласа, иначе говоря — правосудие, призывающее к порядку суд. (*Сильное возбуждение. Тройной взрыв аплодисментов.*) Вооруженная совесть — это нелицеприятное право, ставящее преграду криводушному закону, это философия, отменяющая пытку, это терпимость, уничтожающая инквизицию, это свет истины, вытесняющий из души свет ложный, это сияние зари, сменяющее зарево костров. Да, совесть была и будет вооруженной, голос Ювенала и Тацита будет мощно звучать, покуда человеческое правосудие будет удовлетворяться своим отдаленным сходством с божественным правосудием, покуда государственная необходимость будет служить оправданием для жестокости, покуда будет царить грозное *vae victis*¹, покуда призыв к милосердию будет считаться призывом к мятежу, покуда будут упорно отказываться сделать то единственное, что может предотвратить гражданскую войну, — объявить амнистию. (*Сильное волнение. Продолжительные аплодисменты.*)

На этом я закончу. И закончу словами надежды.

Будем верить в наше отечество. Судьба Франции

¹ Горе побежденным (лат.).

неразрывно сплетена с будущим человечества. Вот уже три века, как свет всему миру исходит из Франции. Мир не переменит своего факела.

Не думайте, однако, благородные патриоты, что мои надежды переходят в иллюзии. Я верю во Францию как сын своей родины — и, следовательно, страстно; но в то же время верю в нее как философ — и, следовательно, разумно. Господа, я говорю искренно и вместе с тем мужественно; я не хочу ничего скрывать. Нет, я не забываю, что говорю с гражданами Парижа. Перед такой аудиторией ответственность соразмерно возрастает. Достойна народа только правда, и сказать правду — мой долг.

Так вот. Правда заключается в том, что мы переживаем грозные дни. Правда заключается в том, что, если воцарится полный мрак, возможна гибель. За катастрофами следуют кризисы. И все же — я надеюсь.

Более того — я исполнен уверенности. Почему? Скажу вам, и это будет мое последнее слово.

Движение человечества к будущему сопряжено с теми же трудностями, какие испытывают мореплаватели в поисках новых земель. Прогресс — это плавание по океану, зачастую во мраке ночи. Человечество, можно сказать, находится в открытом море. Огромный корабль движется медленно, вокруг него бушуют волны, бури швыряют его во все стороны, и бывают страшные минуты. Порою горизонт заволакивается мглой, а тогда корабль плывет словно наугад, — куда? В пучину! На пути встречается подводный риф — империя, немного дальше мель — «Силлабус», а потом налетает шквал — Седан. (*Движение в зале.*) Год провозглашения непогрешимости папы — это год падения Франции. Ураганы попеременно с ударами грома. Грозной тучей, насыщенной молниями, нависло над головами прошлое. Эта молния — меч; вот эта — скипетр; этот грохот — война. Что ждет путешественников? Неужели они пожрут друг друга? Уж не кончится ли все плотом «Медузы» — рукопашной изголодавшихся, потерпевших крушение людей, свалкой во мраке? Неужели гибель неотвратима? Путешественники поднимают глаза к небу. Они ищут там знамения, надежды, помощи. Ужас достигает предела. Где спасение? И вдруг туман начинает

рассеиваться, откуда-то брезжит свет. Словно разорвалась черная завеса туч, мрак рассеялся, и на горизонте, над безднами, поверх облаков, охваченное трепетом человечество видит яркий светоч, восемьдесят лет тому назад зажженный гигантами на исходе восемнадцатого века, величественный маяк, один за другим обращающий к истомленным народам те три луча, из которых складывается цивилизация будущего: Свобода, Равенство, Братство. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Свобода — это призыв к народам. Равенство — призыв к человечеству. Братство — призыв к душам людей.

Путешественники, пережившие катастрофу, причальте к этому великому берегу — республике!

Здесь — гавань. (*Долго не смолкающие приветственные возгласы. Крики: «Да здравствует республика!», «Да здравствует амнистия!», «Да здравствует Виктор Гюго!»*)

ШЕСТНАДЦАТОЕ МАЯ

Г. Отсрочка заседаний

Речь на собрании левых депутатов сената

18 мая 1877 года

При каких обстоятельствах совершается событие, вызывающее у нас такую тревогу?

Позвольте мне изложить вам это. Меня поражают две вещи.

Вот первая из них:

Франция пребывала в состоянии ничем не омраченного мира; полная самообладания, она быстро восстанавливала силы после несчастий, перенесенных ею за последние годы. Франция являла миру великие примеры — пример в труде, пример в развитии промышленности, пример во всех видах прогресса. Она была прекрасна в своей безмятежности и в своей деятельности; она собиралась пригласить к себе представителей всех народов; она взяла на себя инициативу организации всемирной выставки и, израненная, изувеченная, но попрежнему великая, готовилась устроить празднество в честь цивилизации. И вот, в этот момент кто-то нарушил ее плодотворное, священное спо-

ко́йствие. Кто именно? Ее же правительство. Произошло нечто равносильное объявлению войны. Кому? Франции, пребывающей в мире. С чьей стороны? Со стороны властей. (*Возгласы: «Да! Да!» Единодушное одобрение.*)

А вот второе обстоятельство, поражающее меня.

Если во Франции царит мир, то в Европе его нет. Если положение внутри страны не внушает беспокойства, то положение за ее пределами вызывает тревогу. Пламя охватывает континент. На востоке столкнулись две империи; на севере выжидает удобного случая третья; могущественная соседняя держава на севере бьет боевую тревогу. Сейчас более чем когда-либо необходимо, чтобы Франция оставалась мирной, — только при этом условии она останется сильной. И вот такой момент избирают для того, чтобы ее будоражить! В этот час, когда страна полна благоразумия, правительство совершает безрассудства.

Два важнейших факта — мир во Франции, война в Европе — требовали, чтобы правительство было мудрым. Правительство же в этот час вступило на путь авантюры.

Достаточно одной искры, чтобы все вокруг воспламенилось, а правительство размахивает факелом. (*Глубокое волнение в зале.*)

Да, правительство авантюры. В данный момент мне не хочется оценивать его более сурово, ибо я все еще надеюсь, что некие страшные воспоминания послужат ему предостережением и оно не пойдет дальше. Я рекомендую сторонникам единоличной власти внимательно прочитать конституцию. (*Движение в зале.*)

Там есть несколько важных статей, говорящих об ответственности.

Я мог бы сказать больше, но ограничиваюсь этими немногими словами. У меня — сенатора — есть определенные обязанности; у меня — гражданина — есть определенный долг. И я не пренебрегу ни тем, ни другим.

Я знаю и утверждаю, что вы, мои коллеги, окажете мужественное сопротивление противозаконному превышению власти и антиконституционной узурпации. Будем же более пристально чем когда-либо следить за действиями правительства. В нынешнем положении нужно помнить следующее: чем большее недоверие вы проявите к новому министерству, тем большее доверие вы встретите со стороны нации.

Господа, успокоим же Францию. Успокоим ее относительно настоящего, успокоим ее и относительно будущего.

Республика — это окончательное освобождение. Надежда — одно из имен свободы. Любые козни потерпят крах. Истина и разум одержат верх. Справедливость восторжествует над судьями. Человеческая совесть восторжествует над духовенством. Народный суверенитет восторжествует над диктатурой, как клерикальной, так и военной.

Франция может положиться на нас, а мы можем положиться на нее.

Так будем же верны всем нашим обязанностям и всем нашим правам. (*Единодушное одобрение. Продолжительные аплодисменты.*)

II. Распуск

Речь в четвертой комиссии сената

21 июня 1877 года

Я до сих пор хранил молчание и не собирался выступать в прениях, так как надеялся, что главный вопрос обязательно будет поставлен, и предпочитал, чтобы это сделали другие, а не я.

Однако этот вопрос не был поставлен. Я вижу, что заседание собираются закрыть, и считаю своим долгом выступить. Я не хочу, чтобы меня выбрали председателем комиссии, и прошу моих друзей вместе со мною проголосовать за нашего уважаемого коллегу господина Берто.

Сказав это и подчеркнув мою полную незаинтересованность в результатах предстоящего голосования, я перехожу к вопросу, требующему, с моей точки зрения, немедленного разрешения.

Здесь присутствует министр. Пользуясь его присутствием, я обращаюсь к нему; и вот что я хочу сказать господину министру торговли:

Невозможно допустить, чтобы президент республики и члены нового кабинета не предусмотрели вероятного хода дальнейших событий, который для нас совершенно очевиден. Речь идет о том, что через три месяца распущенная сегодня палата может появиться вновь с возросшим числом депутатов-республиканцев. Мало того,

В этом случае ее авторитет и влияние значительно усилятся благодаря тому, что полномочия этой палаты будут заново подтверждены решающим волеизъявлением суверенной Франции.

Что же будет делать правительство перед лицом этой палаты, которая одновременно будет и старой палатой, отвергнутой нашим единоличным правителем, и новой палатой, угодной суверенному народу? Какой план действий оно выработало? Какую линию поведения рассчитывает оно проводить?

Выполнит ли президент без колебаний свой долг, состоящий в том, чтобы подчиниться воле нации и уйти в отставку? Сойдут ли со сцены вместе с ним и министры? Одним словом, каково будет решение президента и его кабинета в том серьезном случае, на который я только что указал?

Я ставлю этот вопрос присутствующему здесь члену кабинета. Я ставлю его категорически и недвусмысленно. Никакие увертки невозможны: либо министр мне ответит, и я зафиксирую его ответ; либо он откажется отвечать, и я отмечу его молчание. В обоих случаях моя цель будет достигнута; и независимо от того, скажет ли министр что-нибудь, или будет молчать, в этот вопрос будет внесена ясность, которой я добиваюсь.

При этих словах, среди глубокого молчания, в обстановке напряженного ожидания со стороны всех сенаторов поднялся г-н де Мо. Вот его ответ: «Вопрос, поставленный господином Виктором Гюго, может быть задан только президенту республики. Он превышает компетенцию министров». Этот ответ вызвал сильное волнение. Раздались возгласы. Виктор Гюго продолжал:

Вы слышали ответ господина министра. Так вот: я приведу уважаемому господину де Мо факт, который имеет почти прямое отношение к нему лично.

Весьма близкий ему человек, видный оратор правой, чьим другом я был в палате пэров и чьим противником я был в Законодательном собрании, господин де Монталамбер, хоть он и принадлежал в то время к числу сторонников Елисейской партии, после июльского кризиса 1851 года встревожился по поводу намерений, которые приписывались тогда президенту, господину Луи Бонапарту, заверявшему, впрочем, всех в своей лояльности.

Тогда господин де Монталамбер, памятуя о нашей старой дружбе, попросил меня задать министру Барошу от имени нас обоих тот самый вопрос, который я только что задал господину де Мо. (*Глубокое внимание в зале.*) И тогдашний министр дал на этот вопрос совершенно тот же ответ, что и нынешний министр.

А через три месяца свершилось то преступление, которое вошло в историю под названием «Второе декабря». (*Сильное волнение в зале.*)

III. Речь на публичном заседании сената

22 июня 1877 года

Господа! Между двумя властями вспыхнул конфликт. Сенату надлежит рассудить их. Сегодня сенат станет судьей.

И вместе с тем сегодня сам сенат будет судим. (*Аплодисменты слева.*)

Ибо если над правительством есть сенат, то над сенатом есть нация.

Никогда еще положение не было столь серьезным.

Сегодня от сената зависит, будет ли Франция умиротворена или взбудоражена.

Умиротворить Францию — значит успокоить Европу; взбудоражить Францию — значит встревожить весь мир.

От сената зависит, свершится ли избавление или наступит катастрофа.

Господа, сегодня сенату предстоит испытание. Сенаторам сегодня предоставляется возможность учредить подлинный сенат. (*Шум справа. Одобрение слева.*)

Это неповторимый случай, и вы не должны его упустить.

Некоторые публицисты сомневаются в полезности сената; докажите, что сенат действительно необходим.

Франция в опасности, придите на помощь Франции! (*Возгласы «Браво!» слева.*)

Господа! Прошлое иногда дает полезные уроки. От некоторых преступлений, которые история не забывает, исходит зловещий отблеск, и можно сказать, что этот отблеск смутно освещает вероятный ход дальнейших событий.

Эти преступления уже позади, но временами нам кажется, что мы видим их перед собой.

Среди вас, господа, есть люди, которые помнят, а иногда помнить — значит предвидеть. (*Аплодисменты справа.*)

Эти люди двадцать шесть лет тому назад наблюдали странное зрелище.

С одной стороны, великая нация, не желающая ничего, кроме мира, нация, знающая, чего она хочет, знающая, откуда она идет, и имеющая право знать, куда она идет, нация, которая не лжет, ничего не скрывает, ни от чего не хочет уклониться и не имеет никаких задних мыслей, нация, которая с открытым лицом движется вперед по пути прогресса; Франция, подарившая Европе четыре блестящих столетия философии и цивилизации, устами Вольтера провозгласившая религиозную свободу (*протесты справа, живейшее одобрение слева*) и устами Мирабо — политическую свободу; Франция, которая трудится, учит, проповедует идеи братства; Франция, у которой есть лишь одна цель — добро, и она об этом прямо говорит; Франция, у которой есть лишь одно средство — справедливость, и она прямо об этом заявляет; и, с другой стороны, за этой великой страной, полной активности, полной доброй воли, полной света, — правительство в маске. (*Продолжительные аплодисменты слева. Протесты справа.*)

Господа, мы, видевшие это, сегодня пребываем в раздумье; мы с глубоким вниманием следим за тем, что происходит перед нашими глазами: дерзкие замыслы, которые пока еще не решаются осуществить, зловеще громыхающие сабли, клягвы в верности, произносимые странным тоном; мы узнаем эту маску. (*Сильное волнение в зале.*)

Господа, старики обладают даром предостерегать. Их задача состоит в том, чтобы расстраивать дурные дела и отговаривать от опасных поступков. Давать полезные советы, даже если они кажутся бесполезными, — таков их благородный и печальный удел. (*Возглас «Превосходно!» слева.*)

Я очень хотел бы поверить клятвам верности, но я помню, что мы уже верили им. (*Возглас «Правильно!» слева.*) Не моя вина, что я об этом помню. Я вижу

сходство, которое меня беспокоит. При этом я тревожусь не за себя, поскольку мне нечего терять в жизни, а в смерти я обрел бы все, я тревожусь за свою страну. Господа, вы, несомненно, прислушаетесь к голосу седого человека, уже видевшего то, что вам, быть может, тоже придется увидеть, человека, у которого на земле нет иных интересов, кроме ваших, человека, который с полной искренностью дает советы вам всем, друзьям и врагам, и который, находясь так близко от вечной истины, не может ни ненавидеть, ни лгать. (*Глубочайшее волнение в зале. Продолжительные аплодисменты.*)

Вам предстоит пережить авантюру. Так послушайте же того, кто уже пережил ее. (*Движение в зале.*) Вам предстоит столкнуться с неведомым, — послушайте же того, кто говорит вам: «Я знаю это неведомое». Вам предстоит ступить на корабль, чей парус колышется на ветру; этот корабль должен скоро отправиться в большое путешествие, которое, как вам кажется, много сулит, — послушайте же того, кто говорит вам: «Остановитесь! Я уже испытал кораблекрушение!» (*Аплодисменты.*)

Мне кажется, что я прав. Я хотел бы ошибаться, хотел бы, чтобы бог не допустил повторения в будущем чего бы то ни было из этого ужасного прошлого!

Теперь, сделав эти оговорки, — а я обязан был сделать их, — перехожу к рассмотрению современного положения в том виде, в каком оно предстает нам и воспринимается нами; я постараюсь не говорить ничего такого, что можно было бы оспаривать.

Я полагаю, никто не станет отрицать, что акт, совершенный шестнадцатого мая, был неожиданным.

Он как бы положил начало раскрытию преднамеренного заговора.

Впечатление, произведенное этим актом, было ужасно.

Вернемся на несколько недель назад. Франция была целиком погружена в труд, то есть в торжество. Она готовилась к Всемирной выставке 1878 года с той радостной гордостью, которая свойственна великим нациям, носительницам цивилизации. Она являла миру пример гостеприимства. Прославленный, великий Париж, выздоравливающий после болезни, воздвигал дворец в честь братства народов; несмотря на судороги, терзавшие континент,

Франция была полна доверия и спокойствия и ощущала приближение часа высшего триумфа, триумфа мира. И вдруг грянул гром среди ясного неба, и вместо победы Францию привели к катастрофе. (*Живейшее одобрение. Возгласы «Браво!» слева.*)

15 мая все процветало; 16-го все остановилось. Перед нами разворачивается умышленно подстроенное странное зрелище общественных бедствий. (*Сильное движение в зале.*) Внезапно кредитная система расстраивается; доверие исчезает; заказы прекращаются; топки заводов гаснут; фабрики закрываются, а самые мощные из них увольняют половину рабочих. Почитайте заявления торговых палат. Безработица, эта язва труда, распространяется и растет, начинается своего рода агония. Ущерб, причиненный этим бедствием, Шестнадцатым мая, нашей промышленности, нашей торговле, труду всей нации, исчисляется в сотнях миллионов. (*Возгласы «Полноте!» справа, «Да! да!» слева.*)

Так вот, господа, — чего же требуют от вас сегодня? Продлить эту агонию. Шестнадцатое мая стремится расшириться. Месяца агонии им мало; они хотят, чтобы она продлилась четыре месяца. Попробуйте распустить палату — посмотрим, до чего дойдет Франция к концу четырехмесячного срока. Продолжение Шестнадцатого мая означает продолжение катастрофы. Оно привело бы к губительным осложнениям. В торговле наступит застой, в политике лихорадка. Это будут три месяца распри и ненависти. К уже имеющимся бедствиям добавятся новые. Безработица приведет к банкротству; богатых ожидает разорение, бедных — голод; у избирателя останется только одно: его право; голосование станет единственным оружием голодного рабочего. Он гневно потребует справедливости. Таковы последствия, ожидающие нас в случае роспуска палаты. (*Движение в зале.*)

Если вы согласитесь на этот роспуск, господа, то услуга, оказанная Шестнадцатым мая Франции, будет равнозначна той услуге, которую оказывает лопнувший рельс поезду, несущемуся на всех парах. (*Возглас: «Верно!»*)

Я колеблюсь, следует ли мне излагать мою мысль до конца; однако необходимо если не все сказать, то по крайней мере обратить на все ваше внимание.

Господа, подумайте. Европа охвачена войной. У Франции есть враги. И если бы, при отсутствии парламента, в момент, когда национальной верховной власти не окажется на месте, если бы в этот момент чужеземец... (*Шум и протесты справа. Возгласы слева: «Не перебивайте!» Председатель: «Сохраниайте тишину!» Возгласы слева: «Об этом нужно сказать правой!»*) ...если бы чужеземец воспользовался этим оцепенением Франции, если бы... тут я останавливаюсь.

В этом случае, господа, положение оказалось бы настолько серьезным, что невозможно даже предвидеть, к чему оно могло бы привести. Недаром, как вы помните, члены правительства на заседаниях сенатских комиссий взывали к нашему патриотизму и просили нас не настаивать на уточнении.

Мы не настаиваем.

Но мы обращаемся к сторонникам единоличной власти и говорим им:

Происходящая сейчас за пределами Франции война, в сочетании с вызванным вами внутренним кризисом, создает такое положение, последствия которого, по вашему же признанию, невозможно даже предвидеть. Для чего же в таком случае вызывать этот кризис? Поскольку вы имеете возможность выбрать подходящий момент, зачем же вы выбираете именно этот? Вы не можете сделать палате депутатов никаких серьезных упреков. Слово «радикализм» в применении к ее тенденции или ее действиям лишено смысла. С моей точки зрения, палата совершила очень большую несправедливость, не проголосовав за амнистию; но я не думаю, что в этом и заключается причина вашего недовольства ею. (*Смех слева.*) В своем стремлении к примирению и согласию палата пошла на то, чтобы разделить с сенатом свои права в вопросе о налогах; иначе говоря, она сделала во Франции больше уступок сенату, чем палата общин палате лордов в Англии. (*Возглас «Правильно!» слева.*) Палата депутатов, если оставить в стороне бесчинства правой, проникнута духом умеренности, парламентаризма и патриотизма; но только между ней, палатой, выражающей национальные чаяния, и вами, выражающими интересы единоличной власти, существует несходство характеров; вы, повидимому, исповедуете такие политические теории, которые мешают вам

жить в добром согласии с палатой депутатов, исповедующей иные политические теории. Вот почему вы стремитесь к разводу. Пусть так. Но это дело не столь срочное. Зачем выбирать для этого самый опасный час? Распустить палату в этот момент — значит разоружить Францию. (*Движение в зале.*) Почему не дожидаться момента, когда утихнет европейский конфликт? Когда положение вновь станет спокойным, если к этому времени ваше несходство характеров не пройдет, если вы будете упорствовать в своих теоретических причудах, вы скажете нам об этом, и поскольку мы исполняем обязанности того учреждения, которое в Англии называют судом по разводам, мы рассмотрим это дело. Мы сделаем выбор между палатой депутатов и вами. А пока незачем торопиться, подождите. В этот момент мы должны действовать осторожно и не добавлять к внешним осложнениям, и без того опасным, внутренние осложнения, еще более опасные. (*Возгласы «Превосходно! Превосходно!» слева.*)

То, что мы говорим, — благоразумно.

Господа, меня поражает одно обстоятельство, и я должен о нем сказать: оно состоит в том, что сейчас, в переживаемый нами критический час, дух государственной мудрости присущ этой стороне (*оратор указывает налево*), а революционный дух — противоположной. (*Оратор указывает направо. Возгласы «Правильно! Правильно!» слева.*)

Действительно, чего хочет эта сторона, республиканская?

Она хочет сохранения существующего, медленного и мудрого совершенствования учреждений, постепенного прогресса, без всяких встрясок, без всякого насилия; она хочет всеобщего избирательного права, то есть мира между мнениями, и всемирной выставки, то есть мира между нациями. А что же представляет собой эта совокупность стремлений, обращенных к добру? Господа, это и есть дух государственной мудрости. (*Аплодисменты слева.*)

Ну, а противоположная сторона, монархическая, чего хочет она?

Ниспровергнуть республику; поставить общественный мир в зависимость от соперничества трех монархий; поддержать папу против нашей союзницы Италии; проявить

пристрастие к одному вероисповеданию, простирающееся до согласия на возможную религиозную войну (*возгласы отрицания справа, возгласы «Да! Да!» слева*), — и это в эпоху, когда Франция может и должна вести только патристические войны; поставить под сомнение всеобщее избирательное право; применением силы нарушить равновесие между законом и правом; отменить наше гражданское законодательство, поддержав притязания католической церкви; одним словом, поставить под вопрос все те установления, на которых зиждется современное общество. (*Продолжительные аплодисменты слева.*) Так что же представляет собой все это, господа? Это и есть революционный дух. (*Возгласы: «Да! Да!» Аплодисменты.*)

Итак, я был прав, господа: да, в этот час дух государственной мудрости присущ оппозиции, а революционный дух присущ правительству.

Что же такое роспуск палаты?

Это — возможность революции. Какой революции? Наихудшей из всех. Революции неведомой. (*Сильное волнение в зале. Ропот справа. Живейшее одобрение слева.*)

Господа сенаторы, поверьте мне. Будьте настоящим правительством. Пресеките в корне эту попытку. Начисто подавите этот странный мятеж шестнадцатого мая... (*Протесты справа. Возгласы: «К порядку! К порядку!» Продолжительные аплодисменты слева.*)

Председатель. Аплодисменты, которыми поддерживают оратора, не помешают председателю исполнить свой долг. Мало того, что вы обвинили часть этой палаты в стремлении к мятежу, вы еще назвали действие, не выходящее за рамки законности, революционным. Председатель выражает по этому поводу свое удивление.

Голос слева. Это пролог революции!

Г-н Валантен. Необходимо было сделать предупреждение!

Председатель. Господин Валантен, вы не имеете слова.

Голос слева (*обращаясь к Виктору Гюго*). Продолжайте!

Голос справа. Пусть оратор возьмет обратно слово «мятеж»!

Единодушный крик слева. Не берите обратно ничего!

Виктор Гюго. Господа, вам необходимо иметь волю, сильную волю, и проявить ее. Франция хочет, чтобы ее успокоили. Так успокойте же ее. Ее лишают уверенности. Так укрепите же ее. Вы — единственная власть, над которой нет другой власти. В конечном счете на такого рода власть падает вся ответственность. Палата депутатов зависит от вас, вы можете ее распустить; президент зависит от вас, вы можете его судить. Относитесь же с уважением, скажу даже больше — со страхом, к вашему всемогуществу и используйте его во благо. Опасайтесь самих себя и относитесь с осторожностью к тому, что вы собираетесь делать. Собрания, подобные этому, могут либо спасти, либо погубить нацию.

Спасите же вашу родину. *(Глубокое волнение в зале. Бурные аплодисменты слева.)*

Господа, логика навязанного нам положения возвращает меня к тому, что я говорил вам вначале.

Сегодня важнейшая проблема двух палат, поставленная конституцией, будет решена.

Полезна ли двухпалатная система? Не предпочтительнее ли система однопалатная? Другими словами, нужен ли сенат?

Странное дело! Правительство, намереваясь поставить вопрос о палате депутатов, в действительности поставило вопрос о сенате. *(Движение в зале.)*

И не менее примечательно то, что именно сенат будет решать этот вопрос. *(Одобрение слева.)*

Вам предлагают распустить одну из палат. Вы можете спросить себя: «Какую?» *(Возглас «Превосходно!» слева.)*

Господа, я настаиваю на этом: сегодня от сената зависит умиротворить Францию или взбудоражить мир.

Франция сегодня безоружна перед лицом коалиции всех сил прошлого. Сенат — ее щит. Франция, ввергнутая в авантюры, имеет только одну точку опоры — сенат. Неужели она лишится и этой точки опоры?

Голосуя за роспуск, сенат нарушает общественное спокойствие и тем самым доказывает, что он представляет собой опасность для страны.

Отвергая роспуск, сенат приносит родине успокоение и тем самым доказывает, что он необходим стране.

Так вот, сенаторы, докажите, что вы необходимы стране. (*Одобрение слева.*)

Я обращаюсь к людям, которые в настоящий момент правят нами, и говорю им:

Если вы добьетесь роспуска, то через три месяца всеобщие выборы вернут вам эту палату.

Ту же самую.

Для вас даже худшую. Почему?

Потому, что она будет все та же. (*Глубокое волнение в зале.*)

Вспомните о цифре 221. Она звучит как эхо над пропастью, той пропастью, в которую упал Карл X. (*Сильное волнение в зале.*)

Правительство совершает крайнюю неосторожность, развязывая неведомые силы.

Господа сенаторы, вы отвергнете роспуск палаты. Таким образом вы успокоите Францию и учредите подлинный сенат. (*Возгласы «Превосходно!» слева.*)

Так можно одним голосованием достигнуть двух результатов.

Этого голосования ждет от вас Франция.

Господа, роспуск палаты таит в себе две опасности: либо мы преждевременно, очертя голову, некоординированным движением, без плавного перехода ринемся в прогресс, и в этих условиях прогресс может оказаться пропастью, либо мы очутимся в не менее опасной бездне, именуемой прошлым. В первом случае мы расшибем себе лоб, во втором — затылок. (*Аплодисменты слева, смех справа.*) Лучше было бы не падать вовсе. Вы проявите мудрость, которой нет у министров. Не удивительно ли, что правительство дошло до того, что предоставляет нам выбор между двумя безднами! (*Сильное волнение.*)

Так вот: мы не упадем ни в первую, ни во вторую. Ваше благоразумие спасет родину. О Франции можно сказать, что она не тонет. Если бы наступил потоп, она была бы ковчегом. Да, настанет час, когда Франция победит врагов, как внутренних, так и внешних. Я выражаю здесь не надежду, а твердую уверенность. Что представляет собой коалиция партий в сравнении с всевластной действительностью? Даже если одна из этих партий и захотела бы поставить божественное право над публичным, дру-

гая — саблю над голосованием, а третья — догму над разумом, — все равно невозможно в конце девятнадцатого века посадить цивилизацию под арест; конституция — не ущелье, в котором могут укрыться контрабандисты; нельзя ограбить французскую революцию; человеческий прогресс невозможно обогнуть, как обирают пассажиров дилижанса. Наши враги могут заключить между собой союз. Пусть! Их союз бесцелен. В переживаемый нами период колебаний и бурь уже сейчас можно различить сквозь глубокий мрак контуры могучей фигуры, которую невозможно свалить с ног. Это — закон, вечный закон честности и справедливости, порожденный общественной совестью; за густым туманом, окутывающим поле боя, на котором мы сражаемся, скрывается победитель — будущее. (*Глубочайшее волнение в зале. Аплодисменты слева.*)

Наши дети увидят это ослепительное будущее. Но и мы тоже, и при этом с большим основанием, чем древние крестоносцы, можем сказать: «Так хочет бог!» Нет, прошлое не одержит верх! Пусть на его стороне сила, на нашей стороне справедливость, а справедливость могущественнее силы. Мы олицетворяем философию и свободу. Нет, все силы средневековья, сосредоточенные в «Силлабусе», не смогут победить Вольтера; нет, все силы монархии, будь она даже тройственной и будь она, подобно гидре, о трех головах, не смогут победить республику. (*Возгласы «Нет! Нет! Нет!» слева.*) Народ, опирающийся на право, это Геракл, опирающийся на па-лицу.

Так пусть же Франция продолжает пребывать в мире. Пусть народ хранит спокойствие. Чтобы вселить уверенность в цивилизацию, достаточно присутствия отдыхающего Геракла.

Я голосую против катастрофы.

Я отказываюсь санкционировать роспуск палаты. (*Единодушные продолжительные овации слева. Сенаторы левой поднимаются и горячо поздравляют г-на Виктора Гюго, возвращающегося на свое место. Заседание прерывается.*)

Париж, 19 июля 1877

Дорогие и мужественные сограждане!

Я с волнением прочитал ваше прекрасное послание. Я был счастлив уже тем, что, выполняя свой долг, выполнил его ради вас. Теперь я еще более счастлив. Благодарю вас.

Я буду продолжать свое дело; вы будете опираться на меня, а я — на вас.

Нынешний час таит в себе угрозы; возможно, что период тяжелых испытаний наступит вновь. Мы будем поступать так же, как поступали до сих пор. Мы тоже пойдем *«до конца»*.

Вопреки нашей воле, увы, нас ставят в опасное положение. Что же, поскольку это необходимо, мы принимаем вызов. Что касается меня, то, выполняя долг, я не отступлю ни перед чем. Возвращение из изгнания дает право вновь туда вернуться. А принести в жертву жизнь гораздо легче, чем принести в жертву родину.

Но не будем страшиться чего бы то ни было. За нас, свободных граждан свободной Франции, сама сила фактов, подкрепленная силой идей. А они-то и составляют два великих потока цивилизации.

Не может быть никаких сомнений относительно будущего. Истина, разум и справедливость победят, и благодаря всемогуществу всеобщего избирательного права из нынешнего жалкого конфликта, быть может даже без потрясений и борьбы, возникнет процветающая, умеренная и сильная республика.

Французский народ — войско человечества, а лионская демократия — его авангард. Куда идет это войско? К миру. Куда идет этот авангард? К свободе.

Граждане Лиона, братья, я приветствую вас.

Виктор Гюго.

1 октября 1877 года

Эта книга больше чем своевременна — она необходима. Я публикую ее ¹.

VI. Выборы

12 октября 1877 года

Господа!

В вашем округе баллотируется выдающийся человек. Мы поддерживаем его кандидатуру.

Вы изберете его; ибо избрать его — значит возродить ту палату, председателем которой он был.

Страна призовет обратно эту палату, распущенную столь странным образом. Она переизберет ее и тем самым проявит суровость в отношении тех, кто ее разогнал.

Избрать Жюля Гревиз — значит внести поправку в прошлое и дать залог будущему.

Я не стану ничего добавлять к тому, что вам только что рассказали об этом человеке, воплощающем в себе необходимые политическому деятелю качества, которые Цицерон определил так: красноречие и честность.

Я ограничусь тем, что изложу вам, с краткостью и сдержанностью, которые вы, несомненно, оцените, несколько мыслей; возможно, что эти мысли окажутся полезными в данный момент.

Избиратели!

Вам предстоит осуществить великое право и исполнить великий гражданский долг.

Вам предстоит избрать законодателя.

Это значит воплотить в одном человеке вашу верховную власть.

Граждане, к такому выбору нужно подойти серьезно.

Законодатель являет собою самое высшее выражение воли нации.

¹ В связи с тем, что создававшаяся обстановка напоминала обстановку кануна бонапартистского переворота 2 декабря 1851 года, Виктор Гюго счел необходимым немедленно опубликовать свою книгу «История одного преступления» и предпослал ей эти две строчки.

Его обязанности стоят выше любых других обязанностей. Почему? Да потому, что законы создает его совесть.

Совесть — внутренний закон; закон — внешнее проявление совести. Отсюда и вытекает то благоговение, с которым мы обязаны относиться к закону. Уважение к законам — долг юристов, обязанность духовенства, дело чести армии. Закон — это догмат для судьи, предел для священника, приказ для солдата. Слова *«вне закона»* выражают одновременно самое страшное преступление и самое грозное возмездие. Откуда проистекает это главенство закона? Повторяю, оно объясняется тем, что закон для народа — то же, что совесть для человека. За его пределами и выше его ничего нет. Именно этим объясняется, что в разумно управляемых государствах исполнительная власть подчинена законодательной власти. (*Живейшее одобрение.*)

Это подчинение необходимо; оно должно быть строгим и безусловным.

Всякое сопротивление исполнительной власти воле законодательной власти представляет собой беззаконие; всякое нарушение прав законодательной власти со стороны власти исполнительной представляет собой преступление. Применение силы против права — такое злодеяние, что Восемнадцатого брюмера достаточно для того, чтобы зачеркнуть славу Аустерлица, а Второго декабря достаточно для того, чтобы поглотить имя Бонапарта. И Восемнадцатого брюмера и Второго декабря потерпела крушение не Франция, а Наполеон.

Если я произношу сейчас это имя, Наполеон, то лишь потому, что никогда не вредно напомнить факты и сослаться на принципы; однако само собою разумеется, что это имя занимает слишком большое место в истории, чтобы мне пришло в голову сопоставлять его с именами наших нынешних правителей. Я не хочу задевать ничью скромность. (*Возгласы: «Браво!» Смех.*)

Я хочу лишь заявить, и заявить непреклонно, что власти обязаны проявлять глубокое уважение к закону, к законодателю, создающему законы, и ко всеобщему избирательному праву, создающему законодателя.

Вы видите, господа, что необходимо, ступень за ступенью, восходить к всеобщему избирательному праву. Оно и отправной и конечный пункт; ему принадлежит и первое и последнее слово.

Господа, всеобщее избирательное право скажет свое слово, и это слово будет непререкаемым и решительным. Окончательное решение, произнесенное священным голосом Франции, будет одновременно и повелением и приговором — повелением для республики, приговором для монархии. (*Возгласы: «Да! Да!» Аплодисменты.*)

Порою, господа, — это видно из истории, — правительства овладевает мятежный дух. Они навязывают стране то, что можно назвать «кризисами по прихоти», и эти кризисы — самые губительные. Они тем более опасны, что они бессмысленны и безрассудны; им присущи бессознательность невежества и раздражительность каприза. Внезапно, грубо, беспричинно, ради собственного удовольствия они приостанавливают труд, промышленность, торговлю, обмен, развитие идей, вызывают противоречия между людьми, нарушают денежное обращение, угнетают мысль, затрудняют все, вплоть до свободы передвижения. Эти кризисы имеют наглость заявлять, что они намерены продолжаться, и выставляют свои условия. Их настойчивость ошеломляет ущемленную и обедневшую страну. О некоторых правительствах можно сказать, что они затягивают узел на общественном благоденствии. Этот узел можно либо перерезать, либо распутать; его перерезают революции, его распутывает всеобщее избирательное право. (*Аплодисменты.*)

Все распутывать, ничего не перерезать — в этом, граждане, и заключается великое достоинство всеобщего избирательного права.

Народ правит посредством голосования — это и есть порядок; народ властвует посредством выборов — это и есть мир.

Итак, необходимо, чтобы всеобщему избирательному праву подчинялись. Так оно и будет. Воля всеобщего избирательного права — воля неба. Народ — это верховная власть; Франция — это свет. Нельзя разговаривать повелительным тоном ни с народом, ни с Францией. Бывают случаи, когда правительство, недостаточно просвещенное, как бы теряет представление о соразмерности; в этих случаях всеобщее избирательное право напоминает ему о ней. Франция — совершеннолетняя; ей известно, что она собою представляет, она поступает так, как считает нужным; она управляет цивилизацией при помощи своего

разума, своей философии, своей логики, своего искусства, своего героизма; Франция великолепно сознает, что она необходима миру; на нее обращены взоры народов, и поступь ее подобна поступи богини. Кем бы мы ни были, будем взвешивать свои слова, когда нам оказана величайшая честь — говорить с ней. Франция — страна столь прославленная, что перед ней склоняют голову даже самые выдающиеся люди. Перед ее величием в изумлении останавливаются самые великие. Монтескье не отважился бы сказать ей: «Моя политика», а Вашингтон, безусловно, не осмелился бы сказать ей: «Моя воля». (*Одобрительный смех.*)

Граждане, всеобщее избирательное право победит. Нынешняя туча рассеется. Франция отдаст приказ, и ему подчинится каждый. Я не хочу никого оскорбить подозрением в неповиновении. Победа будет полной. Уже сейчас мы поглощены мыслями о мире, и мы испытываем некоторую жалость. Мы не будем доводить нашу победу до логического предела, но торжество права и закона несомненно. Будущее одержит верх над прошлым. (*Всеобщее одобрение.*)

Граждане, будем верить в нашу родину. Никогда не будем отчаиваться. У Франции есть свое великое предназначение. Она заботится о народах, она — полезная нация, она не может прийти в упадок или потерпеть урон, свои увечья она покрывает своим сиянием. В переживаемый нами час, окровавленная, расчлененная, ограбленная, лицом к лицу с заговором сил прошлого, оспариваемая, подвергнутая обсуждению, поставленная под сомнение, она величаво улыбается, и мир восхищается ею. Она проникнута сознанием своей необходимости. Так неужели же она может испугаться пигмеев, она, победившая гигантов? Она творит чудеса в сфере идей, она совершает невероятное в реальной жизни; чтобы заложить основы будущего, она, всемогущая, обращает на пользу все вплоть до катаклизмов. Да, граждане, — и это будут мои последние слова, — можно всего ожидать от той Франции, которая из самой грозной бури — революции — сумела извлечь самую устойчивую форму правления — республику. (*Продолжительные аплодисменты.*)

ГОДОВЩИНА МЕНТАНЫ

Муниципалитету города Рима

Версаль, 22 ноября 1877

Сын Франции шлет привет сынам Италии. Ментана — одно из позорных действий Луи Бонапарта и одно из славных деяний Гарибальди. Братство народов протестует против этого преступления империи, вызывающего скорбь Франции.

Для нас, французов, Италия — такое же отечество, как и Франция; и Париж, в котором живет дух современности, протягивает руку Риму, в котором живет душа античности. Народы, будем любить друг друга.

Мир людям, свет умам.

Виктор Гюго.

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ВОЛЬТЕРА

30 мая 1878 года

Сто лет тому назад в этот день умирал человек. Он умирал бессмертным. Он уходил от нас, обремененный годами, обремененный творениями, обремененный самой славной и самой ужасной ответственностью — ответственностью за совесть людей, которую он предупреждал и стремился наставить на правильный путь. Он уходил, сопровождаемый проклятиями и благословениями — проклятиями прошлого и благословениями будущего, — таковы, господа, две прекрасные формы славы. Лежа на смертном одре, он слышал, с одной стороны, овации современников и потомства, а с другой — гиканье и гул ненависти, которые неумолимое прошлое обрушивает на тех, кто с ним боролся. Он был больше чем человек — он был эпоха. Он исполнял долг и осуществлял миссию. Для дела, которое он совершил, его, безусловно, избрала высшая воля, проявляющаяся столь же отчетливо в законах судьбы, как и в законах природы. Восемьдесят четыре года, прожитые этим человеком, занимают промежуток, отделяющий зенит монархии от зари революции. Когда он родился, еще царствовал Людовик XIV, когда он умер, уже царствовал Людовик XVI, так что его колыбель могла видеть последние лучи великого трона, а его гроб — первые проблески великой бездны. *(Аплодисменты.)*

Прежде чем продолжать, господа, договоримся о значении слова «бездна»; существуют и благие бездны — те, в которые проваливается зло. *(Возгласы: «Браво!»)*

Господа, раз уж я себя прервал, позвольте мне дополнить свою мысль. Ни одно неосторожное или дурное слово не будет здесь произнесено. Мы собрались на праздник цивилизации. Мы собрались сюда, чтобы утвердить прогресс, рассказать философам о благодеяниях философии, принести восемнадцатому веку доказательства уважения со стороны девятнадцатого века, почтить великодушных борцов и служителей добра, приветствовать благородные усилия народов, промышленность, науку, труд, мужественное продвижение вперед, скрепить единение людей, одним словом — для того, чтобы прославить мир, это возвышенное выражение всеобщей воли. Мир — добродетель цивилизации, война — ее преступление. (*Аплодисменты.*) Мы собрались сюда в этот величественный момент, в этот торжественный час, чтобы благоговейно склониться перед нравственным законом и сказать миру, прислушивающемуся к словам Франции, следующее: «Существует только одна сила — совесть на службе справедливости; существует только одна слава — гений на службе истины».

(*Движение в зале.*)

Сказав это, я продолжаю.

До Революции, господа, социальное устройство было таково:

Внизу — народ.

Над народом — религия в лице духовенства.

Рядом с религией — правосудие в лице суда.

Что же представлял собой народ в тот период жизни человеческого общества? Невежество. Что представляла собой религия? Нетерпимость. Что представляло собой правосудие? Несправедливость.

Выразился ли я слишком резко? Судите сами.

Я ограничусь тем, что приведу два факта, но достаточно убедительных.

13 октября 1761 года в Тулузе, в комнате нижнего этажа одного дома, находят повешенным молодого человека. Народ взволнован, духовенство мечет громы и молнии, судебные власти начинают следствие. Это было самоубийство, но его изображают как убийство. В чьих интересах? В интересах религии. И кого же обвиняют? Отца. Он гугенот и хотел помешать сыну стать католиком. Это обвинение чудовищно с точки зрения моральной и невозможно с точки зрения физической; какая разница! Этот

отец убил своего сына, этот старик повесил молодого человека. Правосудие работает, и вот развязка. 9 марта 1762 года седовласого человека, Жана Каласа, привозят на площадь, раздевают донага, кладут на колесо. Он связан, голова свисает на грудь. Три человека находятся на эшафоте: муниципальный советник по имени Давид, которому поручено наблюдать за казнью, священник с распятием и палач с железной полосой в руке. Потрясенный и охваченный ужасом старик не смотрит на священника, он смотрит на палача. Палач поднимает железную полосу и раздробляет ему руку. Осужденный издает вопль и теряет сознание. Советник суетится, осужденному дают понюхать солей, и он возвращается к жизни; тогда — снова удар железной полосой, снова вопль; Калас теряет сознание; его приводят в чувство, и палач начинает все снова; и поскольку каждая рука и нога должны быть перебиты в двух местах, по каждой из них наносятся два удара, что составляет восемь казней. После восьмого обморока священник подносит к его устам распятие, но Калас отворачивает голову, и тогда палач наносит ему последний удар — он раздробляет ему грудную клетку толстым концом железной полосы. Так умер Жан Калас. Это продолжалось два часа. После его смерти было доказано, что сын покончил самоубийством. Но убийство было уже совершено. Кем? Судьями. (*Сильное волнение. Аплодисменты.*)

Другой факт. Вслед за стариком — юноша. Три года спустя, в 1765 году, в Абвиле, после ночи с грозой и сильным ветром, на мосту находят старое распятие из полумертвого дерева, три столетия украшавшее перила моста. Кто сбросил с перил это распятие? Кто совершил богохульство? Неизвестно. Может быть, какой-нибудь прохожий. Может быть, ветер. Где виновник? Епископ амьенский пишет увещательное послание. Вот что представляет собою увещательное послание: это приказ всем верующим, под страхом вечных мук, сказать, что они знают или предполагают о том или ином событии, убийственный приказ фанатизма невежеству. Увещательное послание епископа амьенского делает свое дело: сплетни, разрастаясь, приобретают характер доноса. Правосудие устанавливает — или полагает, что установило, — что в ночь, когда распятие было брошено на землю, два чело-

века, два офицера, по имени Лабарр и д'Эталонд, проходили через Абвильский мост, что они были пьяны и распевали гвардейскую песню. Суд — абвильское сенешальство. Сенешалы Абвиля стоят советников Тулузы; они не менее справедливы. Издаются два приказа об аресте. Д'Эталонд скрывается, Лабарр взят. Начинается судебное следствие. Он отрицает, что проходил по мосту, но сознается, что пел песню. Абвильское сенешальство выносит обвинительный приговор; Лабарр апеллирует к парижскому парламенту. Его доставляют в Париж; там приговор находят правильным и подтверждают. Закованного в цепи, Лабарра вновь привозят в Абвиль. Я буду краток. Наступает чудовищный момент. Шевалье де Лабарра прежде всего допрашивают, затем подвергают мучительной пытке, чтобы заставить его назвать соучастников. Соучастников чего? Перехода через мост и пения. Во время пытки ему переламывают колено; услышав, как трещат переламываемые кости, его исповедник падает в обморок. На следующий день, 5 июня 1766 года, Лабарра волокут на городскую площадь; там уже пылает костер. Подсудимому читают приговор, затем отрубают кисть руки, затем железными щипцами вырывают язык, затем, из милости, отрубают голову и бросают ее в костер. Так умер шевалье Лабарр. Ему было девятнадцать лет. (*Длительное глубокое волнение в зале.*)

Тогда, о Вольтер, ты издал крик ужаса, и этот крик будет твоей вечной славой! (*Взрыв аплодисментов.*)

Тогда ты начал невиданный процесс против прошлого; защищая интересы человеческого рода, ты вступил в тяжбу с тиранами и чудовищами, и ты выиграл эту тяжбу. Великий человек, будь благословен вовеки! (*Снова аплодисменты.*)

Господа, ужасные вещи, о которых я вам только что напомнил, происходили в просвещенном обществе; жизнь была весела и легка, люди жили не задумываясь, не обращая внимания ни на то, что делается наверху, ни на то, что делается внизу; безразличие переходило в беззаботность, грациозные поэты — Сент-Олер, Буффлер, Жан-тиль-Бернар — сочиняли красивые стихи, при дворе один праздник сменял другой, Версаль сиял, Париж тонул в невежестве. И в это время, под влиянием религиозного фанатизма, судьи колесовали старика, а священники

вырывали язык у юноши за то, что он пел песню. (*Сильное волнение в зале. Аплодисменты.*)

Перед лицом этого легкомысленного и жалкого общества один Вольтер, имея против себя все эти соединенные силы — двор, знать, финансистов, эту могущественную, но бессознательную и слепую толпу, вызывающий отвращение суд, столь прубый к подданным и столь покорный владыкам, сокрушающий одних и угрожающий другим, склонивший колени перед королем на плечи народа (*возглас: «Браво!»*), духовенство — зловещую смесь лицемерия и фанатизма, — один Вольтер, повторяю, объявил войну этой коалиции всех сил социальной несправедливости, этому огромному и страшному миру и вступил с ними в бой. Каким же оружием он воевал? Оружием, в котором сочетаются легкость ветра и мощь грома, — пером. (*Аплодисменты.*)

Этим оружием он сражался, этим оружием он победил. Господа, склонимся перед ним.

Вольтер победил. Вольтер вел войну лучезарную, войну одного против всех, то есть великую войну. Войну идеи против грубой материи, войну рассудка против предубеждений, войну справедливости против несправедливости, войну против поработителя в защиту угнетенного, войну добра, войну гуманности. Ему были свойственны нежность женщины и гнев героя. То был великий ум и необъятное сердце. (*Возгласы: «Браво!»*)

Он победил старый кодекс и старую догму. Он победил феодального сеньора, старинного судью, римского священника. Он возвысил чернь до степени народа. Он просвещал, умиротворял и цивилизовал. Он боролся за Сирвена и Монбайи так же, как за Каласа и Лабарра: он испытал все угрозы, все оскорбления, все преследования, клевету, изгнание. Он был неутомим и несокрушим. Он победил насилие усмешкой, деспотизм — сарказмом, непогрешимость — иронией, упрямство — настойчивостью, невежество — истиной.

Я только что произнес слово «усмешка». На нем следует остановиться. Усмешка — это и есть Вольтер.

Следует сказать об этом, господа, ибо стремление к умиротворению составляет великое качество философов, — в Вольтере всегда в конце концов восстанавливалось равновесие. Как бы ни был справедлив его гнев, он

проходит, и раздраженный Вольтер всегда уступает место Вольтеру спокойному. И тогда в его глубоких глазах появляется усмешка.

Усмешка эта — сама мудрость. Усмешка эта, я повторяю, и есть Вольтер. Усмешка часто переходит в смех, но он умеряется философской грустью. По отношению к сильным он насмешлив, по отношению к слабым — ласков. Он внушает беспокойство угнетателям и успокаивает угнетенных. Для высокопоставленных — язвительность, для униженных — жалость. Да! Проникнемся прелестью этой усмешки. В ней сияние зари. Она озаряла истину, справедливость, добро — все, что есть честного в полезном; она освещала все тайники суеверий, ибо эти уродства необходимо показывать людям. Эта усмешка была лучезарна и плодотворна. Новое общество, стремление к равенству и уступкам, первое проявление братства, именуемое терпимостью, взаимная добрая воля, соразмерное распределение прав между людьми, признание разума высшим законом, уничтожение предрассудков и пристрастий, душевная ясность, дух снисходительности и прощения, гармония, мир — вот что родилось из этой великой усмешки.

В тот день, — а этот день, без сомнения, близок, — когда будет признано тождество мудрости и милосердия, в тот день, когда будет провозглашена амнистия, в тот день, я уверен, там, наверху, в надзвездном мире, Вольтер усмехнется. (*Тройной взрыв аплодисментов. Возгласы: «Да здравствует амнистия!»*)

Господа, между двумя служителями человечества, разделенными промежутком в восемнадцать столетий, существует таинственная связь.

Бороться против фарисейства, разоблачать лицемерие, повергать в прах тиранию, узурпацию, предрассудки, ложь, суеверия, разрушить храм, чтобы соорудить новый, то есть заменить ложь истиной, нападать на жестокость суда, нападать на кровожадное духовенство, взять бич и изгнать всех торгашей из святилища, требовать наследства для лишенных его, защищать слабых, бедных, страждущих, подавленных, сражаться за преследуемых и угнетенных — вот война Иисуса Христа. И кто же тот человек, который вел эту войну? Вольтер. (*Возгласы: «Браво!»*)

Деяния евангельские дополняются деяниями философа; то, что начал дух кротости, продолжает дух терпимости; скажем же с чувством глубокого уважения: Иисус плакал, Вольтер усмехался; из этой божественной слезы и этой человеческой усмешки родилась та любовь, которой проникнута современная цивилизация. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Всегда ли улыбался Вольтер? Нет. Часто он негодовал. Я говорил об этом в начале своей речи.

Конечно, господа, чувство такта, сдержанность, соразмерность — высший закон разума. Можно сказать, что умеренность — это само дыхание философа. Усилия мудреца должны быть направлены к тому, чтобы сконцентрировать в спокойной уверенности все то приближенное, из которого складывается философия. Но в известные моменты вспыхивает могучая и неудержимая страсть к истине, столь же правомерная, как сильный вихрь, очищающий воздух. Никогда — я настаиваю на этом, — никогда ни один мудрец не сокрушит две священные опоры общества — справедливость и надежду, и все будут уважать судью, если он олицетворяет справедливость, и все будут почитать священника, если он несет надежду. Но если судом называют пытку, если церковью называют инквизицию, тогда человечество всматривается в их лица и говорит судье: «Я не хочу твоего закона!» и говорит священнику: «Я не хочу твоей догмы! Я не хочу твоего костра на земле и твоего ада на небесах!» (*Сильное волнение в зале. Продолжительные аплодисменты.*) И тогда разгневанный философ поднимается, и разоблачает судью перед лицом справедливости, и разоблачает священника перед лицом бога. (*Бурные аплодисменты.*)

Вот что совершил Вольтер. Он велик.

Я сказал, чем был Вольтер; теперь я скажу, чем был его век.

Господа, великие люди редко приходят одни; большие деревья кажутся еще больше, когда они возвышаются над лесом, — там они в своей стихии. Вольтер был окружен лесом умов; этот лес — восемнадцатый век. Среди этих умов есть высочайшие — Монтескье, Бюффон, Бомарше, и в особенности два, самые высокие после Вольтера, — Руссо и Дидро. Эти мыслители научили людей рассуждать. Правильные рассуждения приводят к правильным

поступкам. Ясность ума делает сердца справедливыми. Эти труженики прогресса поработали с пользой. Бюффон основал естественную историю; Бомарше, вслед за Мольером, открыл новую форму комедии, почти социальную комедию. Монтескье произвел в законе столь глубокие раскопки, что ему удалось извлечь из него право. Что же касается Руссо, что касается Дидро, будем произносить эти имена отдельно; Дидро, широкий любознательный ум, нежное сердце, проникнутое духом справедливости, стремился положить в основу правильных идей достоверные знания и создал свою Энциклопедию. Руссо оказал чудесную услугу женщине, он дополнил мать кормилицей, он поставил рядом этих двух королев колыбели; Руссо, красноречивый и пылкий писатель, глубокий оратор и мечтатель, часто угадывал и провозглашал политические истины; его идеал соприкасался с действительностью; ему принадлежит слава быть во Франции первым человеком, назвавшим себя гражданином; в Руссо преобладает гражданское начало, в Вольтере — общечеловеческое. Можно сказать, что в плодотворном восемнадцатом веке Руссо олицетворяет Народ, Вольтер же, дух еще более широкий, олицетворяет Человека. Эти могучие писатели исчезли; но они оставили нам свою душу — Революцию. (*Аплодисменты.*)

Да, французская революция — их душа. Она — их сверкающее излучение. Она исходит от них; их следы видны повсюду в той благословенной и величественной катастрофе, которая завершает прошлое и открывает будущее. Благодаря свойственной революциям прозрачности, которая позволяет видеть за причинами их следствия, а за первым планом — второй, мы видим за Дидро — Дантона, за Руссо — Робеспьера и за Вольтером — Мирабо. Первые породили последних.

Господа, сводить целые эпохи к человеческим именам, давать имена столетиям, превращать их в какой-то степени в человеческие личности — этот дар был дан только трем народам: Греции, Италии, Франции. Говорят: «век Перикла», «век Августа», «век Льва X», «век Людовика XIV», «век Вольтера». Эти названия имеют великий смысл. Эта привилегия — давать имена векам, — принадлежащая только Греции, Италии и Франции, есть самое высшее проявление цивилизации. До Вольтера векам

давались имена глав государств. Вольтер больше чем глава государства — он глава идей. Вольтером начинается новая эра. Чувствуется, что отныне высшим двигателем, управляющим человеческим родом, будет мысль. Цивилизация повиновалась грубой силе, теперь она будет повиноваться идеалу. Скипетр и меч сломаны, их заменяет луч света; на смену власти приходит свобода. Нет иной верховной власти кроме закона для народа и совести для личности. Каждый из нас отчетливо различает две стороны прогресса: осуществлять свое право, то есть быть человеком; исполнять свой долг, то есть быть гражданином.

Таково значение этих слов — «век Вольтера»; таков смысл этого величественного события — французской революции.

Два достопамятных века, предшествовавших восемнадцатому, подготовили его; Рабле сделал предостережение королевской власти в «Гаргантюа», Мольер сделал предостережение церкви в «Тартюфе». Ненависть к грубой силе и уважение к праву составляют отличительные черты этих двух великих умов.

Кто говорит теперь: *«сила выше права»*, тот говорит языком средневековья и обращается к людям, жившим триста лет назад. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Господа, девятнадцатый век прославляет восемнадцатый. Восемнадцатый век начинал, девятнадцатый завершает. И в своих последних словах я хочу спокойно и уверенно отметить торжество прогресса.

Время пришло. Право нашло свою формулу: всемирная федерация.

Ныне силу именуют насилием, ее начинают судить; война предана суду; на основании жалобы всего человечества цивилизация начинает процесс и заводит огромное уголовное дело против завоевателей и полководцев. (*Движение в зале.*) Вызван свидетель — история. Перед людьми открывается реальная действительность. Искусственное ослепление рассеивается. Во многих случаях герой оказывается разновидностью убийцы. (*Аплодисменты.*) Народы начинают понимать, что гигантский масштаб преступления не может служить оправданием для преступника, что если убийство — злодеяние, то убийство многих людей не может служить смягчающим

вину обстоятельством (*смех и возгласы: «Браво!»*), что если воровство — позор, то и насильственный захват власти не может составить славу (*продолжительные аплодисменты*), что благодарственные молебны мало что доказывают, что убийство человека есть убийство человека, что кровопролитие есть кровопролитие, что имена Цезарь или Наполеон ничему не могут помочь и что в глазах всевышнего лик убийцы не изменится от того, что вместо шапки каторжника ему на голову наденут корону императора. (*Длительная овация. Тройной взрыв аплодисментов.*)

Да! Провозгласим абсолютные истины. Обесчестим войну. Нет, кровавой славы быть не может. Нет, это и не хорошо и не полезно — превращать людей в трупы. Нет, жизнь не может трудиться ради смерти. Нет! О матери, окружающие меня, нельзя допустить, чтобы война, эта воровка, продолжала отнимать у вас ваших детей. Нет, пора положить конец этой бессмыслице: женщина рождает в муках, люди появляются на свет, народы трудятся и сеют, крестьянин обрабатывает поля, рабочий обогащает города, мыслители размышляют, промышленность создает поразительные вещи, гений творит чудеса, беспредельная человеческая активность напрягает силы перед лицом усеянного звездами неба и умножает творения — и все это гибнет на ужасающей международной выставке, именуемой полем битвы! (*Глубокое волнение в зале. Все присутствующие встают и устраивают овацию оратору.*)

Истинное поле боя — вот оно: это смотр лучших произведений человеческого труда, который Париж устраивает сейчас для всего мира.

Истинная победа — это победа Парижа. (*Аплодисменты.*)

Увы! Нельзя скрывать, что нынешний час, как бы он ни был достоин поклонения и уважения, имеет и мрачные стороны; есть еще тучи на горизонте; трагедия народов еще не кончилась; война, преступная война, еще живет, и у нее хватает дерзости поднимать голову даже во время этого величественного праздника мира. Вот уже два года монархи упорствуют в губительной бессмыслице, их распри препятствуют нашему согласию. Они поступают неосмотрительно, предоставляя нам возможность отметить этот контраст.

Пусть же этот контраст вернет нас к Вольтеру. Перед лицом угрожающих обстоятельств будем более миролюбивы, чем когда-либо. Обратим взоры к этому великому покойнику, к этому великому живому, к этому великому духу. Склонимся перед внушающей благоговение гробницей. Спросим совета у того, чья жизнь, столь полезная для людей, угасла сто лет назад, но чье творчество бессмертно. Спросим совета у других могучих мыслителей, союзников славного Вольтера — у Жан-Жака, Дидро, Монтескье. Дадим слово этим великим голосам. Остановим кровопролитие. Довольно, довольно, деспоты! А! Варварство упорствует; ну что ж, пусть философия протестует! Меч неистовствует; пусть цивилизация негодует! Пусть восемнадцатый век придет на помощь девятнадцатому; наши предшественники — философы — апостолы истины; призовем же эти прославленные призраки: пусть перед лицом монархий, мечтающих о войнах, они провозгласят право человека на жизнь, право совести на свободу, верховную власть разума, святость труда, благость мира; и раз от тронов исходит мгла, пусть из гробниц исходит свет! *(Единодушная продолжительная овация. Со всех сторон раздаются возгласы: «Да здравствует Виктор Гюго!»)*

ЕПИСКОПУ ОРЛЕАНСКОМУ

Париж, 3 июня 1878

Милостивый государь!

Вы поступаете неблагоразумно.

Вы напоминаете тем, кто мог об этом позабыть, что я был воспитан духовным лицом и что священники, а не я повинны в том, что моя жизнь началась с предрассудков и заблуждений. Подобное воспитание столь губительно, что «и сорок лет спустя», как вы сами утверждаете, я все еще испытывал его влияние. Все это было сказано. Я на этом не настаиваю. Я презираю бесполезные занятия.

Вы оскорбляете Вольтера и вы оказываете мне честь, понося меня. Это — ваше дело. О том, что мы за люди — вы и я — будет судить будущее. Вы утверждаете, что я стар, и даете мне понять, что вы молоды. Я верю в это.

Нравственное чувство развито в вас еще слабо: вы считаете «позором» то, что я считаю для себя честью.

Вы беретесь, милостивый государь, поучать меня. По какому праву? Кто вы такой? Обратимся к существу дела. Оно сводится к следующему: как понимаете совесть вы и как ее понимаю я?

Сравним.

Достаточно будет одного сопоставления.

Милостивый государь, Франция только что вышла из тяжелого испытания. Она была свободна; один человек вероломно, ночью завладел ею, поверг на землю и связал по рукам и ногам. Если бы было возможно убить народ, этот человек убил бы Францию. Он довел ее почти до гибели, чтобы суметь властвовать над нею. Он начал свое царствование, если это можно назвать царствованием, с вероломства, западни и резни. Он продолжал его с помощью угнетения, тирании, деспотизма, беспримерного издевательства над религией и правосудием. Он был чудовищем и ничтожен. Ему пели *«Te Deum»*, *«Magnificat»*, *«Salvum fac»*, *«Gloria tibi»*¹ и т. д. Кто пел эти гимны? Спросите себя. Закон отдал в его руки народ, церковь отдала в его руки бога. Во время правления этого человека рухнули право, честь, родина; он попирали ногами присягу, справедливость, честность, верность знамени, человеческое достоинство, гражданские свободы; благоденствие этого человека оскорбляло человеческую совесть. Это продолжалось девятнадцать лет. Все эти годы вы находились во дворце, а я в изгнании.

Мне жаль вас, сударь.

Виктор Гюго.

РЕЧИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНГРЕССЕ

И. Речь при открытии конгресса

Заседание 17 июня 1878 года

Господа!

Величие достопамятного года, который мы переживаем, состоит в том, что он, не обращая внимания на

¹ Названия католических гимнов: «Тебя, бога, хвалим», «Коль славен», «Спаси нас и помилуй», «Славься» (лат.).

крики и вопли, властно заставил враждебные прогрессу силы, потрясенные этим вмешательством, прервать свою возню и предоставил слово цивилизации. О нем можно сказать: это год, которому все повинует. То, что он хотел свершить, он свершает. Вместо старого порядка дня — войны — он выдвигает новый порядок дня — прогресс. Он преодолевает всякое сопротивление. Еще звучат угрозы, но согласие, подобно улыбке, воцаряется между народами. Деяния 1878 года будут нерушимы и совершенны. Ничего временного. Во всем, что делается, ощущаешь нечто законченное. Этот славный год провозглашает парижской выставкой единение промышленности; столетней годовщиной со дня смерти Вольтера — единение философских школ; собравшимся здесь конгрессом — единение литератур (*аплодисменты*); этот год провозглашает широкий союз труда во всех его видах, возводит величественное здание человеческого братства, основу которого составляют крестьяне и рабочие, а вершину — умы. (*Возгласы: «Браво!»*)

Промышленность стремится к пользе, философия — к истине, литература — к красоте. Польза, истина, красота — вот тройная цель всех человеческих усилий; торжество этих возвышенных устремлений и есть, господа, цивилизация среди народов и мир среди людей.

Чтобы утвердить это торжество, вы и съехались сюда со всех концов цивилизованного мира. Все вы — выдающиеся умы, любимые и почитаемые народами, прославленные таланты, благородные голоса, к которым прислушиваются, люди, посвятившие себя труду на пользу прогресса. Вы боретесь за умиротворение. Вы приходите сюда в сиянии славы. Вы — посланцы человеческого разума в нашем великом Париже. Добро пожаловать! Писатели, ораторы, поэты, философы, мыслители, борцы, Франция вас приветствует! (*Продолжительные аплодисменты.*)

Вы и мы, все мы — сограждане всемирного города. Будем же рука об руку утверждать наше единение и наш союз. Вступим все вместе в великое светлое отечество, где царит абсолютная справедливость и где идеалом является истина.

Не ради личных и узких интересов собрались вы сюда, а ради всеобщей пользы. Что такое литература? Это

шествие человеческого разума. Что такое цивилизация? Это постоянные открытия, которые совершает на каждом шагу шествующий вперед человеческий разум; отсюда и самое слово — Прогресс. Можно сказать, что литература и цивилизация тождественны.

О народах судят по их литературе. Двухмиллионная армия исчезает, «Илиада» остается; у Ксеркса была армия, но ему нехватало эпоеи, и Ксеркс исчез бесследно. Греция мала по территории, но велика благодаря Эсхилу. (*Движение в зале.*) Рим — всего лишь город; но благодаря Тациту, Лукрецию, Вергилию, Горацию и Ювеналу этот город заполняет собою весь мир. Когда вы вспоминаете Испанию, перед вами возникает Сервантес; когда вы говорите об Италии, перед вами встает Данте; когда вы называете Англию, появляется Шекспир. В определенные периоды вся Франция выражается в одном гениальном имени, и блеск Парижа сливается с сиянием Вольтера. (*Многочисленные возгласы: «Браво!»*)

Господа, у вас высокое предназначение. Вы — своего рода учредительное собрание литературы. Вам дано право если не принимать законы, то во всяком случае их предлагать. Провозглашайте справедливые истины, высказывайте верные мысли, и если, что вряд ли возможно, вы не будете услышаны, — ну что ж, тем хуже для законодательства.

Вам предстоит учредить институт литературной собственности. Она вытекает из права, вы хотите внести ее в свод законов. Ибо — я утверждаю это — ваши решения и советы будут приняты во внимание.

Вы дадите понять законодателям, которым хотелось бы низвести литературу до масштабов местного явления, что она — явление всемирное. Литература — это руководство человеческого разума человеческим родом. (*Возгласы: «Браво!»*)

Литературная собственность полезна для всех. Все старые монархические законы отрицали и отрицают до сих пор литературную собственность. С какой целью? С целью порабощения. Писатель-собственник — это писатель свободный. Лишить его собственности — значит лишить его независимости. На это по крайней мере надеются. Отсюда — своеобразный софизм, который мог бы показаться ребяческим, если бы он не был коварным: мысль

принадлежит всем, она не может быть чьей-либо собственностью, следовательно, литературной собственности не существует. Здесь прежде всего странное смешение способности к мышлению, которая свойственна всем, с мыслью, которая индивидуальна; мысль — это я; затем — смешение мысли, понятия отвлеченного, с книгой, вещью вполне материальной. Мысль писателя, пока она еще только мысль, неосязаема, она ускользает от всякого прикосновения; она летит от души к душе; ей присущи такой дар и сила — *vim volitare per ora*¹; но книга отличается от мысли: она настолько осязаема, что ее иногда хватают и изымают. (Смех.) Книга, созданная в типографии, принадлежит промышленности и порождает широкие коммерческие операции в различных формах; она продается и покупается; она является собственностью, ценностью созданной, а не благоприобретенной, богатством, которое писатель присоединяет к национальному богатству. И, конечно, со всех точек зрения, она является наиболее неоспоримым видом собственности. И вот на эту-то неприкосновенную собственность посягают деспотические правительства; они конфискуют книгу, надеясь таким образом отнять у писателя свободу. Отсюда система королевских пенсий: забрать все и вернуть немного; ограбить и подчинить себе писателя. Сначала его обкрадывают, затем покупают. Впрочем, это бесполезная попытка. Писатель не поддается. Его превращают в нищего, но он остается свободным. (Аплодисменты.) Кто сумел бы купить эти возвышенные умы — Рабле, Мольера, Паскаля? Но все же такие попытки делаются, и их результаты пагубны. Трудно даже представить себе, как беспощадно высасывает монархия жизненные силы народа; историографы наделяют королей титулами *отцов народа* и *отцов литературы*; все подавляется зловещей монархической системой: с одной стороны, об этом свидетельствует льстивый Данжо; с другой стороны, это подтверждает суровый Вобан; обратимся, например, к той эпохе, которую именуют «великим веком»: правление королей, отцов народа и литературы, привело тогда к двум мрачным явлениям — народ остался без хлеба, Корнель без башмаков. (Продолжительные аплодисменты.)

¹ Летать из уст в уста (лат.).

Какой мрачный штрих в картине великого царствования!

Вот к чему приводит отторжение собственности, рожденной трудом, независимо от того, ложится ли оно своей тяжестью на народ или на писателя.

Господа, вернемся к принципу: уважение собственности. Установим литературную собственность, но одновременно учредим и общественное достояние. Пойдем дальше. Расширим его пределы. Пусть закон предоставит книгоиздателям право публиковать все книги после смерти писателя с единственным условием — уплачивать прямым наследникам очень скромную сумму, которая не должна превышать ни в коем случае пяти или десяти процентов от чистой прибыли. Эта в высшей степени простая система, которая примиряет неоспоримое право собственности писателя с не менее неоспоримым правом общественного достояния, была предложена в Комиссии 1836 года тем, кто сейчас выступает перед вами; это предложение, вместе со всеми дополнениями, можно отыскать в протоколах Комиссии, опубликованных тогда же министерством внутренних дел. Не следует упускать из виду, что мы имеем дело с двойным правом собственности. Книга как таковая принадлежит автору, но как создание мысли она принадлежит — и это не преувеличение — всему человечеству. Все умы имеют на нее право. Если бы одно из этих прав, право писателя или право человеческого разума, пришлось бы принести в жертву, это было бы, конечно, право писателя, ибо интересы общества — наша главная забота, и *все*, утверждаю я, должны стоять выше, чем *мы*. (*Многочисленные знаки одобрения.*)

Но, как я только что сказал, в этой жертве нет необходимости.

Свет! Всегда свет! Повсюду свет! В нем нуждаются все! Он содержится в книге. Раскройте же книгу шире. Дайте ей возможность сиять, предоставьте ей действовать. Кто бы вы ни были, если вы хотите просвещать, вдыхать жизнь, наставлять, смягчать, умиротворять — распространяйте книги повсюду; учите, показывайте, доказывайте; умножайте число школ. Школы — светоносные точки цивилизации.

Вы проявляете заботу о своих городах, вы хотите жить в безопасности в своих домах, вы боитесь оставлять улицы в темноте; подумайте же о еще большей опасности — оставлять в темноте человеческий разум. Умы подобны большим дорогам: и здесь встречаются прохожие, и здесь появляются благонамеренные и злонамеренные путники, и здесь попадают зловещие бродяги; дурная мысль подобна ночному вору, в душе тоже есть злоумышленники; пусть же повсюду будет свет; не оставляйте в человеческом сознании темных уголков, где может гнездиться суеверие, где может скрываться заблуждение, где может таиться ложь. Невежество — это сумерки, там рыщет зло. Думайте об освещении улиц, пожалуйста; но думайте также, думайте прежде всего о просвещении умов. (*Продолжительные аплодисменты.*)

Для этого необходим, конечно, огромный расход света. Этим благородным делом Франция занимается уже три столетия. Господа, разрешите мне, сыну своей родины, высказать мысль, которая, впрочем, звучит и в ваших сердцах: ничто не может затмить Францию. Франция предана общественному благу. Франция восходит на горизонте всех народов, и они восклицают: «Смотрите, уже утро, вот и Франция!» (*Возгласы: «Да! Да! Bravo! Bravo!»*)

Кажется удивительным, что по адресу Франции могут раздаваться осуждающие голоса; и все же они раздаются: у Франции есть враги. Это одновременно и враги цивилизации, враги книги, враги свободной мысли, враги раскрепощения и освобождения, враги разума — все те, кто в догме видит вечного наставника, а в роде человеческого вечного ученика. Но они напрасно хлопочут: прошлое принадлежит прошлому, народы не возвращаются к своей блевотине, всякому ослеплению приходит конец, невежество и заблуждение имеют предел. Делайте свое дело, люди прошлого, мы не боимся вас! Торопитесь, действуйте, мы с любопытством взираем на вас! Пробуйте свои силы, поносите Восемьдесят девятый год, низвергайте Париж, предавайте анафеме свободу совести, свободу печати, свободу трибуны, вопите: «Анафема гражданскому закону, анафема революции, анафема веротерпимости, анафема науке, анафема прогрессу!» Не покладайте рук! Мечтайте, пока вы еще существуете,

о «Силлабусе», способном задушить Францию, о гасильнике, способном потушить солнце! (*Единодушное одобрение. Тройной взрыв аплодисментов.*)

Мне не хочется заканчивать горькими словами. Возвысимся до неколебимого спокойствия мысли и сохраним его. Мы начали утверждение мира и согласия; продолжим же это высокое и несущее успокоение начинание.

Я уже говорил об этом в другом месте и вновь повторяю: вся мудрость человеческая заключена в двух словах — Примирение и Умиротворение; примирение идей и умиротворение людей.

Господа, мы находимся среди философов; воспользуемся же случаем и не стесняясь будем говорить правду. (*Смех, знаки одобрения.*) Вот одна грозная истина: род человеческий болен, болен ненавистью. Ненависть — мать войны; мать — отвратительна, дочь — ужасна; ответим же им ударом на удар. Ненависть — ненависти! Война — войне! (*Сильное волнение в зале.*)

Знаете ли вы, что означают ныне слова Христа: «Возлюбите друг друга»? Это — всеобщее разоружение. Это — исцеление рода человеческого. Истинное искупление заключено в этом. Любите друг друга. Легче обезоружить врага, протягивая ему руку, чем показывая ему кулак. Этот совет Иисуса — повеление господне. Он хорош. Мы приемлем его. Что касается нас, мы идем вместе с Христом! Писатель — рядом с апостолом; тот, кто мыслит, рядом с тем, кто любит. (*Возгласы: «Браво!»*) Бросим же клич цивилизации! Нет! Нет! Нет! Нам не нужны ни варвары, которые ведут войны, ни дикари, которые убивают! Мы не хотим ни войны народа против народа, ни войны человека против человека. Всякая бойня не только жестокость, но и безумие. Меч — безрассуден, кинжал — нелеп. Мы — сторонники разума, и наш долг — препятствовать сражению между живыми существами; наше предназначение — всегда становиться между двух армий. Право на жизнь неприкосновенно. Мы не обращаем внимания на короны, если даже они есть, мы всегда видим лишь головы. Прощать — значит утверждать мир. Когда наступает роковой час, мы просим у королей пощады для народов, мы просим у республик пощады для императоров. (*Аплодисменты.*)

Это поистине славный день для изгнанника — день, когда он выступает заступником государя перед народом и когда он стремится использовать в интересах императора свое великое право на милость, право, даруемое изгнанием.

Да, примирять и умиротворять. Таково наше предназначение, предназначение философов. О мои собратья по науке, поэзии и искусству, утвердим всемогущество мысли — необходимое условие цивилизации! Пусть с каждым шагом, который род людской делает по пути к миру, ощутимо растет в наших сердцах глубокая радость торжества истины. Преисполнимся чувством гордого удовлетворения от сознания полезности нашей работы. Есть только одна истина, и она не допускает отклонений; у нее лишь один синоним — справедливость. Не существует двух источников света, есть лишь один — разум. Не существует двух возможностей быть честным, рассудительным и правдивым. Луч, заключенный в «Илиаде», тождествен свету, заключенному в «Философском словаре». Этот немеркнущий луч проходит сквозь века — прямолинейный, как летящая стрела, и сияющий, как заря. Этот луч победит мрак, другими словами — вражду и ненависть. В этом и состоит великое чудо литературы. Нет чуда более прекрасного! Сила, ошеломленная и пришедшая в замешательство перед правом, война, остановленная разумом, — о Вольтер, это — насилие, укрощенное мудростью, о Гомер, это — Ахилл, схваченный за волосы Минервой! (*Продолжительные аплодисменты.*)

А теперь, перед тем как закончить, разрешите мне высказать пожелание, обращенное не к какой-либо одной партии, а ко всем сердцам.

Господа, некогда существовал римлянин, который прославился своей навязчивой идеей, он постоянно повторял: «Уничтожим Карфаген!» Так вот, мною тоже целиком владеет одна мысль, вот она: «Уничтожим ненависть!» Если у литературы существует истинное предназначение, то именно это. *Humaniores litterae*¹. Господа, лучшее средство уничтожить ненависть — прощение. Пусть же этот великий год закончится решительным умиротворением, пусть он закончится в обстановке мудрости и сердечности, а за-

¹ Человечнейшая литература (лат.).

тем, потушив внешние войны, пусть потушит он и гражданскую войну. Это самое сокровенное наше желание. В этот час Франция являет миру свое гостеприимство, пусть же явит она и свое милосердие. Милосердие! Возложим на чело Франции этот венец! Всякое празднество неотделимо от братства, если на празднике кого-либо не прощают — это уже не праздник. (*Общее волнение, повторяющиеся возгласы: «Браво!»*) Без амнистии невозможна общенародная радость. Увенчаем же ею это великолепное торжество — Всемирную выставку! Примирение! Примирение! Эта встреча совместных усилий рода человеческого, этот смотр чудесных изделий промышленности и труда, сравнение, сопоставление и переключка лучших образцов — бесспорно, величественное зрелище. Но есть зрелище более величественное — это изгнанник, появляющийся на горизонте, и родина, раскрывающая ему свои объятия! (*Долгие приветственные возгласы; французские и иностранные делегаты конгресса окружают на эстраде оратора, пожимают ему руки и поздравляют его под несмолкаемые аплодисменты всего зала.*)

II. Общественное достоинство с возмещением

Заседание 21 июня 1878 года

Господа, поскольку вы выражаете желание узнать мое мнение, я вам его выскажу. Впрочем, это будет просто беседа.

Господа, в важном вопросе о литературной собственности следует считаться с двумя сторонами. автором и обществом. Я пользуюсь словом «сторона» для краткости; это как бы два различных лица.

Сейчас мы затронем вопрос о третьем лице — о наследнике. Что касается меня, то я не колеблясь скажу, что право самое безусловное, самое полное принадлежит названным мною двум сторонам: первая из них — автор, вторая — общество.

Автор создает книгу, общество принимает или отвергает ее. Творец книги — автор, творец ее судьбы — общество. Наследник не создает книги; он не может претендовать на права автора. Наследник не создает успеха книги, он не может претендовать на права общества.

Я был бы огорчен, если бы конгресс придал хоть какое-нибудь значение воле наследника.

Не будем исходить из ложных предпосылок.

Автор знает, что делает, общество знает, что делает; наследник — не знает. Он бездействует, он пассивен

Исследуем сначала противостоящие друг другу права двух сторон: автора, который создает книгу, и общества, которое принимает или отвергает его творение. Автор имеет неограниченное, полное право на собственное произведение; это очевидно. Право это простирается очень далеко, вплоть до права на уничтожение своего труда. Внесем ясность в этот вопрос.

До опубликования произведения автор обладает неоспоримым и безграничным правом. Вообразите себе писателя, скажем Данте, Мольера, Шекспира. Представьте его в минуту, когда он только что окончил великое творение. Его рукопись здесь, перед ним; предположите, что ему пришла в голову причуда бросить ее в огонь, — никто не может ему в этом помешать. Шекспир может уничтожить «Гамлета», Мольер — «Тартюфа», Данте — «Ад».

Но после того как произведение опубликовано, автор уже не является его господином. Тогда уже другое действующее лицо завладевает книгой. Называйте его как угодно: человеческий разум, общественное достояние, общество. Теперь уже это лицо говорит: «Я здесь, я беру это произведение себе, я делаю с ним то, что считаю нужным, я — человеческий разум; я им владею, отныне оно принадлежит мне». И да позволит мне мой достопочтенный друг, господин де Молилари, сказать ему: произведение уже более не принадлежит автору. Отныне он не может ничего выбросить из него; все равно, после смерти автора, опущенное будет восстановлено. Воля автора уже бессильна. Пожелай Вольтер из глубины могилы наложить запрет на свою «Девственницу», господин Дюпанлу все равно опубликовал бы ее.

Человек, который обращается к вам в эту минуту, начал с того, что был католиком и монархистом. Он испытал на себе последствия дворянского и религиозного воспитания. Но отказал ли он когда-либо в разрешении переиздать его полудетские произведения? Нет. (*Возгласы: «Браво! Браво!»*)

Я считал нужным указать мой отправной пункт. Я хотел иметь возможность сказать: «Вот откуда я двинулся в путь и вот к чему я пришел».

Это было сказано мною в изгнании: «Я ушел от счастливой жизни и поднялся до высот несчастья, которое явилось следствием выполненного долга, подчинения велению совести». (*Аплодисменты.*) Но я не хочу вычеркивать первых лет моей жизни.

Я иду, однако, значительно дальше, я говорю: автору уже не дано право что-либо вычеркивать из своего произведения после того, как оно опубликовано. Он может вносить стилистические поправки, он не может вносить исправлений по существу. Почему? Потому что другое лицо — общество — вступило во владение его произведением.

Порою мне приходилось прибегать к суровым словам, которые позднее из великодушных побуждений я хотел бы стереть. Однажды мне пришлось — я могу вам в этом признаться — заклеить имя одного очень виновного человека; и я, бесспорно, поступил правильно, заклеив его. У этого человека был сын. Он героически окончил свой жизненный путь, он умер за родину. Тогда я воспользовался своим правом, я запретил произносить это имя в парижских театрах, где со сцены читали произведение, о котором я вам только что говорил. Но не в моей власти было изъять обесчещенное имя из опубликованного произведения. Героизм сына не мог загладить вину отца. (*Возгласы: «Браво!»*)

Я хотел бы это сделать, но не мог. Если бы мог, то сделал бы.

Итак, вы видите, до какой степени общество, человеческое сознание, человеческий разум — другая сторона, противостоящая автору, — обладает неограниченным правом, на которое нельзя посягать. Самое большее, что может сделать автор, — это писать искренно. Что до меня, то моя совесть чиста и спокойна. Этого мне достаточно. (*Аплодисменты*)

Мы оставляем свой труд, предоставим же судить о нем будущему. После смерти, после исчезновения автора его творение принадлежит лишь его памяти: оно опорочит или прославит ее. (*Возгласы: «Правильно! Превосходно!»*),

Я заявляю, что если бы мне пришлось выбирать между правом писателя и правом общества, я отдал бы предпочтение обществу. Прежде всего — мы люди долга и жертвенного служения; прежде чем трудиться для себя, мы должны трудиться для всех.

Но вот является третье действующее лицо, третий участник, к которому я испытываю живейший интерес; это — наследник, это — ребенок. Здесь возникает вопрос в высшей степени деликатный, в высшей степени любопытный, в высшей степени интересный — вопрос о литературном наследовании и о формах, в которые оно должно вылиться.

Я подверг внимательному изучению эту проблему и прошу у вас разрешения кратко изложить те мысли, которые, мне думается, возникают в связи с этим новым обстоятельством.

Автор создал книгу.

Общество ее приняло.

Наследник к этому непричастен. Это его не касается. Если бы Жозеф де Местр был наследником Вольтера, разве можно было бы дать ему право говорить: «Позвольте мне судить об этом».

Наследник не имеет права что-либо вычеркивать, уничтожить хотя бы строчку; он не имеет права задержать ни на минуту печатание произведения своего умершего родственника или уменьшить тираж книги хотя бы на один экземпляр. (*Возгласы: «Браво! Браво! Превосходно!»*)

Ему принадлежит лишь одно право — жить за счет наследства, которое завещал ему умерший родственник.

Господа, выскажусь прямо: я считаю все существующие законы, которые утверждают права наследника на определенный срок, отвратительными. Они даруют ему власть, которую не имеют права вручать, они даруют ему право публикации в течение определенного отрезка времени, что, кстати, бесполезно, ибо закон без труда обходят.

Повторяю: по моему мнению, наследник имеет лишь одно право — жить за счет трудов своего умершего родственника; это право — священо, и нелегко, конечно, было бы принудить меня лишить наследства наших детей и внуков. Мы работаем прежде всего для человечества, затем — для наших детей.

Но мы безоговорочно настаиваем на том, чтобы право издания полностью принадлежало обществу. Это — право человеческого разума.

Вот почему много лет назад — увы, я принадлежу к числу тех, кто имеет очень давние воспоминания, — я предложил очень простую систему, которая, как мне казалось и кажется до сих пор, обладает тем преимуществом, что примиряет права всех сторон: автора, общества и наследника. Вот эта система: после смерти автора его книга становится общественным достоянием; каждый имеет право немедленно публиковать ее совершенно свободно, ибо я — за свободу. На каких условиях? Сейчас я вам скажу.

В нашем законодательстве есть статья, нарушение которой не влечет за собой санкций; это приводило к тому, что ее очень часто нарушали. Эта статья закона требует, чтобы каждый издатель, прежде чем публиковать произведение, подавал в управление книжного дела при министерстве внутренних дел декларацию со следующими пунктами:

- какую книгу он собирается издать;
- какая типография ее будет печатать;
- каков будет ее формат;
- имя автора.

Этим исчерпывается содержание декларации, требуемой законом. Мне хотелось бы, чтобы она была дополнена еще двумя пунктами, которые я сейчас укажу.

Издатель будет обязан сообщить, во сколько ему обойдется каждый экземпляр книги, которую он намерен опубликовать, и по какой цене он предполагает продавать книгу. Между этими двумя цифрами, в их пределах, и заключена прибыль издателя.

При этом условии у вас будут достоверные данные: число экземпляров, себестоимость и продажная цена книги, и вы сумеете самым простым способом исчислить прибыль.

Мне возразят: «Вы определяете прибыль издателя, основываясь на одной лишь его декларации, не зная, продаст ли он свое издание». Нет, я хочу, чтобы закон был абсолютно справедлив. Я даже хочу, чтобы он склонялся скорее в пользу общественного достояния, нежели в пользу наследников. Поэтому я говорю: издатель должен

будет представить отчет о полученных им доходах лишь тогда, когда он явится с новой декларацией. Тогда ему скажут: «Вы уже распродали первое издание, коль скоро намереваетесь опубликовать второе; вы должны удовлетворить права наследников». Право наследника на вознаграждение, не забываяте этого, господа, должно быть очень умеренным, ибо необходимо, чтобы оно не могло превратиться в помеху для прав общества, в помеху для распространения книг. Я не собираюсь просить большего, чем отчисление пяти или десяти процентов от полученного дохода.

Здесь не с чем спорить. Издатель не может счесть обременительным условие о столь скромных отчислениях от уже полученной им прибыли; ибо если он заработал тысячу франков, у него просят всего лишь сто, а оставляют ему девятьсот. Вы видите, до какой степени ему выгоден закон, который я предлагаю и который, я надеюсь, будет принят.

Повторяю, что все это — лишь простая беседа. Я ищу, как и все мы, я стремлюсь прояснить положение. Я долго изучал этот вопрос в интересах просвещения и свободы.

Могут ли возникнуть возражения? Признаюсь, я их не нахожу. Я вижу, как рушатся все возражения, имевшие смысл при прежней системе; все, что было сказано по поводу доброй или злой воли наследника, по поводу епископа, изымающего Вольтера, было сказано превосходно и было справедливо по отношению к старой системе; при моей системе это отпадает. Наследник существует лишь как сторона получающая, удерживающая в свою пользу весьма скромный процент с прибыли от продажи произведения его умершего родственника. Издателю придется считаться с обязательствами, принятыми на себя и оговоренными самим автором еще при жизни: эти соглашения имеют силу закона; во всех других случаях издатель может печатать произведение в таком количестве экземпляров, в каком ему заблагорассудится, и таким форматом, какой ему нравится; он подает декларацию, уплачивает отчисления от прибыли, и этим все сказано.

Да, но одно возражение все же существует: дело в том, что в действующем законе имеется пробел. Среди участ-

ников нашего конгресса есть знатоки законов; им хорошо известно, что не может быть обязательных предписаний без определенных санкций; а вот за нарушение предписания о подаче декларации санкций не предусмотрено. Издатель подает декларацию, предписанную законом, лишь в том случае, если он этого пожелает. Отсюда — множество мошеннических проделок, жертвами которых уже теперь становятся писатели. Следовало бы предусмотреть в законе санкции за невыполнение этого обязательства.

Мне хотелось бы, чтобы юристы сооблаговолили сами определить характер этих санкций. Думается, что ложную декларацию, поданную издателем, можно было бы приравнять к подлогу в официальных или частных документах.

Но несомненно одно — санкции необходимы; только при этом условии можно будет, по моему мнению, применить систему, которую я имел честь вам изложить и которую я предложил уже много лет назад.

Система эта была рассмотрена с редкой прямоотой и знанием дела известным издателем, которого я, к сожалению, не вижу среди нас, — господином Этцелем; он опубликовал прекрасную статью по этому поводу.

Подобный закон будет, по-моему, полезен. Я, конечно, не могу навязывать свое мнение широко известным писателям, которые слушают меня, но было бы весьма полезно, если бы в своих резолюциях они уделили внимание тому, о чем я имел честь им сказать:

1. Существуют лишь две действительно заинтересованные стороны — писатель и общество; интересы наследника, хотя и достойные всякого уважения, должны учитываться лишь во вторую очередь.

2. Интересы наследника должны быть обеспечены, но лишь в скромных пределах, так, чтобы они ни в коем случае не заслоняли общественные интересы.

Я уверен, что будущее принадлежит решению, которое я вам предложил.

Если вы его не примете — что ж, будущее терпеливо, у него есть время, оно будет ждать. *(Продолжительные аплодисменты. Собрание принимает единодушное решение опубликовать эту речь.)*

ПРОТИВ ВЫДАЧИ ГАРТМАНА

Французскому правительству

Вы — правительство честное. Вы не можете выдать этого человека.

Между ним и вами стоит закон.

А над законом есть право.

Деспотизм и нигилизм представляют собой две чудовищные стороны одного и того же явления, относящегося к области политики. Законы о выдаче преступников не затрагивают политическую сферу. Все нации соблюдают эти законы; Франция также будет их соблюдать.

Вы не выдадите этого человека.

Виктор Гюго.

27 февраля 1880

ВТОРАЯ РЕЧЬ ОБ АМНИСТИИ

Заседание сената 3 июля 1880 года

Я хочу сказать только несколько слов.

Я не раз говорил об амнистии, и, быть может, мои слова еще не совсем изгладились из вашей памяти, — я не буду повторяться.

Предоставляю вам мысленно еще раз сказать себе все, что во все времена говорилось за амнистию и против нее с двух точек зрения — с точки зрения политики и с точки зрения морали. С точки зрения политической — все те же преступления, которые одна сторона ставит в вину другой; всегда, во все времена, кто бы ни были обвиняемые,

кто бы ни были судьи, все те же приговоры, и во мраке, окутывающем их, можно различить зловеще-спокойные слова: «победители судят побежденных». С точки зрения морали — все те же жалобы, все те же призывы, все то же красноречие, гневное или умиленное, и, что сильнее всякого красноречия, женщины, поднимающие руки к небу, матери, проливающие слезы. (*Сильное волнение в зале.*)

Я хочу обратить ваше внимание только на один факт.

Господа, Четырнадцатое июля — великий праздник; только несколько дней отделяют его от сегодняшнего голосования.

Этот праздник — праздник народный; посмотрите: все лица сияют радостью, повсюду оживленные разговоры. Это праздник более чем народный — это праздник национальный; взгляните на эти флаги, послушайте приветственные клики. Это более чем национальный праздник — это праздник международный; вы видите одинаковое воодушевление на всех лицах — англичан, венгров, испанцев, итальянцев; в нашей стране они не чувствуют себя иностранцами.

Господа, Четырнадцатое июля — праздник всего человечества.

На долю Франции выпала эта слава: великий французский праздник стал праздником всех народов, праздником, единственным по своему значению.

В этот день, Четырнадцатого июля, над Национальным собранием, над победоносным Парижем поднялась, в ореоле ослепительного сияния, гигантская фигура, исполненная большего величия, чем ты, Народ, большего, чем ты, Родина, — Человечество! (*Аплодисменты.*)

Да, падение Бастилии было падением всех тюрем. Крушение этой крепости было крушением всякой тирании, всякого деспотизма, всякого гнета. Это было освобождение, просветление, — ночной мрак, окружавший всю землю, рассеялся. Человек пробудился для новой жизни. Разрушение этой цитадели зла было созиданием цитадели добра. В этот день, после долгих мучений, после многовековых пыток, великое и достойное почитания Человечество воспрянуло, с короной на голове, и попрало свои цели ногами.

Четырнадцатое июля знаменует конец всякого рабства. Это великое усилие человечества было божествен-

ным усилием. Когда все поймут, что (если употреблять слова в их абсолютном смысле) всякое деяние человечества есть в то же время деяние божественное, то этим все будет сказано, и миру останется только идти по пути спокойного прогресса к великолепному будущему.

Итак, господа, вам предлагают в нынешнем году торжественно отметить этот день двумя решениями, и оба они будут одинаково благородны. Вы примете и то и другое. Вы дадите армии стяг, знаменующий одновременно и славную войну и могущественный мир, и вы дадите нации амнистию, которая означает согласие, забвение прошлой вражды, умиротворение; этим вы докажете, что там, высоко, в царстве света, гражданский мир побеждает гражданскую войну. (*Возгласы: «Превосходно! Bravo!»*)

Да, вы принесете этот двойной мирный дар своей великой стране — знамя, олицетворяющее братство народа и армии, и амнистию, олицетворяющую братство Франции и человечества.

Мне же позвольте закончить одним воспоминанием: тридцать четыре года тому назад я впервые говорил с трибуны Франции — с этой трибуны. По воле бога мои первые слова были посвящены защите прогресса и истины; по его же воле эти мои слова — может быть, последние, если вспомнить о моем возрасте, — посвящены защите милосердия и справедливости. (*Глубокое волнение и шумные аплодисменты.*)

ПРИЗЫВ

Происходят события, странные своею новизной. Деспотизм и нигилизм продолжают войну, разнузданную войну зла против зла, поединок темных сил. По временам взрыв раздирает эту тьму, на момент наступает свет, день среди ночи. Это ужасно! Цивилизация должна вмешаться! Сейчас перед нами беспредельная тьма, среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!), обреченные на смерть... А десять других должен поглотить русский склеп — Сибирь.

За что? За что эта виселица? За что это заточение? Собралась группа людей. Они объявили себя Верховным трибуналом. Кто присутствовал на его заседаниях? Никто!.. Как? Публика не была допущена? Да, публики не было... Кто сообщал о ходе процесса? Никто! Журналистов не было!.. Ну, а обвиняемые? Они тоже не присутствовали!.. Но кто же говорил? Неизвестно! А адвокаты? И адвокатов не было!.. Какой же кодекс применили к обвиняемым? Никакого!.. На какой же закон опирались? На все и ни на какой!.. И чем же все это кончилось?.. Десять осужденных на смерть!.. А остальные?..

Пусть русское правительство поостережется. Оно считает себя правительством законным. Ему ничего не угро-

жают со стороны другого законного правительства. Ему ничего не угрожает со стороны его народа; ему ничего не угрожает со стороны какой-либо политической силы. Но оно должно опасаться первого встречного, каждого прохожего, любого голоса, требующего милосердия! Любой голос — ничто и в то же время всё, весь мир, неведомый гигант... Этот голос будет услышан: он прозвучит во мраке: «Милосердие на земле влечет за собой милосердие на небе. Я прошу императора быть милосердным к народу! Я прошу бога быть милосердным к императору!»

Март 1882

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ ГРИЗЕЛЯ

10 мая 1882 года

Существуют два вида публичных собраний — собрания политические и собрания общественные.

Политическое собрание живет борьбой, полезной прогрессу; в основе общественного собрания лежит мир, необходимый обществу.

Слово «мир» здесь на устах у всех. Наше собрание — это собрание общественное, это празднество.

Героя этого празднества зовут Гризель. Он рабочий, машинист. Всю свою жизнь — жизнь человека, у которого любящие труд руки сочетаются с ясным умом, — Гризель отдал важному делу — железным дорогам. Однажды он вел поезд. На одном из перегонов он остановил его. «Продолжайте путь!» — приказал начальник поезда. Гризель отказался. Этот отказ означал увольнение, он зачеркивал всю его службу, он сводил на нет всю его жизнь. Гризель продолжал упорствовать. И в ту минуту, когда этот решительный и бесповоротный отказ нес ему несчастье, мост, на который Гризель не хотел вести поезд, рухнул. От чего же отказался Гризель? Он отказался допустить катастрофу.

То был замечательный поступок. Скромный и мужественный труженик, забыв только о самом себе, сохранил жизнь всем людям, находившимся в этом поезде, — вот что сегодня прославляет Республика.

Чествуя этого человека, она чествует двести тысяч работников железных дорог Франции, которых представляет Гризель.

Кто же создал такого человека? Труд. Кто создал это празднество? Республика.

Граждане! Да здравствует Республика!

КОММЕНТАРИИ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИКТОРА ГЮГО

1

В настоящий том включено подавляющее большинство публицистических произведений Виктора Гюго, составляющих его известную трилогию «Дела и речи» («Actes et paroles»).

Первая часть трилогии — «До изгнания» («Avant l'exil») — включает статьи и речи 1841—1851 годов, вторая часть — «Во время изгнания» («Pendant l'exil») — 1852—1870 годов, третья часть — «После изгнания» («Depuis l'exil») — 1870—1885 годов.

В этом обширном собрании произведений отражена многообразная общественно-политическая деятельность Гюго в течение почти сорокапятилетнего периода «Дела и речи» представляют собой ценный идеологический документ, отражающий политическую борьбу и общественные движения 40—70-х годов XIX века не только во Франции, но и во всем мире.

Творчество Гюго публицистично по своей природе Гюго-поэт и Гюго-трибун неотделимы. Он являет собою пример писателя-демократа, создававшего свои произведения для широких народных масс.

Буржуазная критика совершенно не уделяла и не уделяет внимания публицистике Гюго, в которой он смело защищал интересы трудящихся, разоблачал захватнические войны, неограниченный произвол монархов, колониальные грабежи.

Не было ни одного сколько-нибудь значительного события в истории того периода, которое не нашло бы отклика у Гюго. Его боевая публицистическая трилогия позволяет проследить сложный политический путь писателя и определить эволюцию его взглядов.

Преодолев лепитимизм юношеских лет, Гюго во второй половине 20-х годов присоединяется к передовому лагерю французского

общества, боровшемуся против реакционного режима Реставрации. Дальнейшее развитие демократических взглядов писателя было связано с подъемом революционного движения 30—40-х годов и особенно с революцией 1848 года, ставшей важной вехой в его общественно-литературной деятельности. С 1848 года Гюго выступает в Учредительном и Законодательном собраниях за сохранение и укрепление республиканского строя.

Имя Гюго — политического борца приобретает особенно громкую известность после декабрьского переворота 1851 года. Неприемимая борьба Гюго, гражданина и поэта, против диктатуры Луи Бонапарта не прекращается на протяжении двух десятилетий.

После возвращения во Францию в 1870 году Гюго, яростный враг прусского милитаризма и внутренней реакции, с новой силой выступает в защиту родины. Дальнейший период его общественной деятельности связан с борьбой за спасение героических участников Парижской Коммуны и с выступлениями против заговора президента республики Мак-Магона, подготавливавшего в то время монархический переворот.

Обширное публицистическое творчество Виктора Гюго, являясь органической частью его литературного наследия, характеризуется в основном теми же идейными и художественными особенностями, что и все его произведения, отражая сильные и слабые стороны его мировоззрения и художественного метода.

Сторонник идей утопического социализма, человек, несвободный от мелкобуржуазных иллюзий, Гюго, гневно осуждавший капиталистическое общество, не был в состоянии возвыситься до понимания движущих сил исторического развития и зачастую подменял анализ общественных фактов эмоциональными призывами и патетическими рассуждениями о борьбе добра и зла, света и мрака и т. д.

Несмотря на моменты идейной ограниченности, все лучшие творения Гюго, в том числе и его страстные публицистические произведения, представляют собой элементы той демократической культуры, которая рождается в борьбе с реакционной, антинародной культурой господствующих классов.

Отвергнув бесплодный принцип «искусство для искусства», Гюго ратовал за искусство, служащее народу. Он был убежден в огромном воспитательном значении искусства и стремился к тому, чтобы его произведения были доступными, понятными, действенными. Следует иметь в виду, что Гюго в своих статьях и прокламациях обращался не к правителям буржуазных государств, а к

народам, к патриотам, которые выступали на защиту отечества, боролись против монархического гнета, за независимость и свободу (греки острова Крита, жители Кубы, итальянские патриоты во главе с Гарибальди, борцы за независимость Польши и Сербии и другие). Все эти обстоятельства определили идейно-художественное своеобразие его публицистических произведений.

Весьма ощутимый публицистический элемент во всем творчестве Гюго был вполне закономерен. Писатель, который на протяжении всего своего творческого пути поднимал самые животрепещущие социальные вопросы, утверждая гуманистические, свободлюбивые идеи, никогда не считал себя связанным рамками жанра. Благодаря этому публицистика является органической составной частью творчества Гюго, его романов, стихов, драм, писем. В любом романе Гюго невозможно отделить публицистическое начало от сюжетной основы произведения, не нарушая целостности всего романа. То же самое можно сказать и о многих его стихотворных сборниках. С другой стороны, в произведениях чисто публицистического характера неизменно присутствуют те же особенности художественной манеры Гюго, какие свойственны его поэзии и романам. Было бы неправомерно отделять публицистику от всего остального творчества Гюго.

Г. В. Плеханов, обосновывая закономерность появления публицистического начала в художественном творчестве писателей, в статье, направленной против А. Волынского, справедливо писал:

«Враг публицистики г. Волынский, повидимому, и не подозревает, что есть эпохи, когда не только критика, но и само *художественное творчество* бывает полно публицистического духа... Если существуют действительно вечные законы искусства, то это те, в силу которых в известные исторические эпохи публицистика неудержимо врывается в область художественного творчества и распоряжается там, как у себя дома»¹.

Гюго-публицист, так же как Гюго-романист и стихотворец, всегда стремится выражать личное отношение к происходящим событиям. Все явления действительности он оценивает с точки зрения убежденного демократа, поборника народных интересов; поэтому его личная оценка зачастую выражает интересы и чаяния народной Франции.

Публицистике Гюго свойствен пафос оратора и трибуна, обращаясь к многотысячной аудитории. В его страстных статьях и памфлетах постоянно слышится звучание той же «медной стру-

¹ Г. В. Плеханов, Соч., т. X, ГИЗ, 1925, стр. 193.

ны», что и в его политической лирике. Отстаивая в публицистическом произведении прогрессивную идею, Гюго развивает и доказывает свою мысль с помощью многочисленных сравнений, метафор, эпитетов, примеров, почерпнутых из живой действительности, характерных наблюдений, отражающих богатый жизненный опыт и широкий общественный кругозор великого писателя.

Статьи и памфлеты Гюго написаны богатым по своей выразительности и яркости, энергичным языком, который помогает ему убеждать читателей в правоте своих идей, выражать ненависть и презрение к врагам прогресса.

Утверждая свои идеи, Гюго всесторонне развивает основную мысль публицистического произведения, прибегая обычно к образным и легко запоминающимся афоризмам («нельзя быть героем, сражаясь против родины», «народы истекают кровью, но не умирают», «народ возвеличивается, освобождая другие народы», «лицо будущего различимо уже сейчас: оно принадлежит единой и мирной демократии», «мир — это глагол будущего, этим именем будет наречен двадцатый век» и т. д.).

Развивая традиции ораторской прозы французской революции конца XVIII века, Гюго широко применяет в своих речах и статьях распространенные периоды, в которых приводит множество убедительных доказательств правильности своего основного тезиса. Многие речи и статьи Гюго благодаря исключительному богатству выразительных средств и умелому использованию классических приемов ораторского искусства достигают подлинной монументальности.

Флоримон Бонт в книге «Рыцарь мира» пишет: «В творениях Виктора Гюго наш французский язык не только заблистал как чудесное произведение искусства. Виктор Гюго выковал его как боевое орудие, как орудие пропаганды против всякого угнетения и всех тираний королей и императоров. Да, он чеканил и ваял с непостижимой точностью и творческим пылом, подобно Микеланджело, лики героев, образы народов и изображения людей. Да, он ослеплял и опьянял красками и светом, богатством форм и огненков своих стихов, драм и романов, писем, памфлетов и речей».

2

Став в 1848 году депутатом Учредительного собрания, Гюго принимал участие в разрешении всех основных вопросов, обсуждавшихся Собранием в сложной обстановке бурно развивавшейся буржуазно-демократической революции. В своих речах он защищал

свободу печати, высказывался за полную отмену смертной казни, отстаивал интересы трудящихся масс Франции. При этом, однако, он нередко обнаруживал и значительную политическую ограниченность. Так, в разгар июньских боев он осуждал справедливое восстание парижских рабочих, пытался уговорить их сложить оружие и разрешить классовый конфликт мирным путем.

Плодотворной, прогрессивной в политическом отношении была деятельность Гюго в Законодательном собрании Франции. Принимая активное участие в его работе, Гюго последовательно защищал конституционные права граждан, осуждал идеологов монархической и католической реакции, почти всегда присоединял свой голос к левому крылу парламента — партии Горы. Разумеется, что и во времена Законодательного собрания Гюго не был чужд ряда наивных иллюзий и заблуждений. Так, отстаивая сохранение парламентской республики, писатель полагал, что дальнейшее мирное развитие республиканского строя обязательно приведет к торжеству демократии. Он не понимал, что подлинно демократическая республика может утвердиться лишь под руководством революционного пролетариата, единственного последовательного борца за права народа.

Вместе с тем Гюго внимательно следил за ходом революционных событий в Европе и всегда активно выступал в защиту национально-демократических революций. Венгерская революция, героическая борьба итальянских республиканцев против австрийских, французских и испанских интервентов — на эти события поэт сочувственно откликался в своих публицистических выступлениях. В речи о Римской экспедиции (15 октября 1849 года) Гюго потребовал вывести из Рима французские войска, вторгшиеся туда по указанию Луи Бонапарта, чтобы восстановить светскую власть папы. Он резко осудил предательскую политику французского президента, стремившегося заручиться поддержкой католической партии для осуществления своих честолюбивых планов.

Непримиримая враждебность Гюго к французским католикам наиболее ярко проявилась при обсуждении законопроекта о народном образовании. Клерикалы добивались установления надзора церкви за всеми видами народного образования. Их притязания вызвали энергичное противодействие Гюго, выступившего 15 января 1850 года с речью о свободе преподавания. В этой речи он требовал бесплатного и обязательного обучения, требовал открыть врата науки для всех способных людей. Он страстно осуждал католиков, как врагов прогресса и цивилизации. Обращаясь к клерикалам Законодательного собрания, он воскликнул:

«Давным-давно уже вы пытаетесь обречь разум человеческий на немоту. И вы, вы хотите распоряжаться просвещением? А ведь нет ни одного поэта, ни одного писателя, ни одного философа, ни одного мыслителя, которого вы признавали бы! Все то, что написали, доказали, открыли, создали, постигли, озарили ярким светом, увидели, воплотили в своих творениях величайшие гении человечества, все сокровища цивилизации, все многовековое наследие бесчисленных поколений, общее достояние всех мыслящих людей, — все это вы отвергаете!»

Эту мужественную речь Гюго произнес в тот момент, когда господствующие классы бросились в объятия церкви, видя в ней своего главного союзника в борьбе с распространением революционных идей. Не удивительно поэтому, что католическая партия Франции рассматривала Гюго как своего непримиримого врага и охотно подвергла бы его публичной казни.

31 мая 1850 года Законодательное собрание приняло избирательный закон, представлявший собой попытку отстранить пролетариат от всякого участия в политической жизни. Из избирательных списков было вычеркнуто три миллиона человек. Виктор Гюго справедливо оценил этот закон как явное нарушение конституции и выступил против него со всей силой своего красноречия.

Уничтожив всеобщее избирательное право, правительство продолжало вести наступление на уже и без того ограниченные права народа. Франция превращалась в полицейское государство. Бонапартисты и монархическая «партия порядка», молчаливо поддерживаемые другими буржуазными группировками Законодательного собрания, вели Вторую республику к гибели. Новый закон о печати, принятый Собранием в июле 1850 года, создавал тягчайшие условия для издания брошюр и газет. Как депутат Собрания, Гюго решительно возражал против него в речи о свободе печати (9 июля 1850 года). В этой речи писатель защищал не только своих собратьев по перу; он с возмущением и гневом говорил о том, что у рабочих отняты хлеб и право на труд.

Отвечая представителям клерикальной партии, Гюго сказал: «Что же касается наших противников — иезуитов, этих ревнителей инквизиции, этих террористов от церкви... то им я могу сказать следующее: бросьте колоть нам глаза террором». Это заявление Гюго свидетельствовало о принятии писателем революционного якобинства XVIII века. Его положительное отношение к эпохе Конвента найдет впоследствии свое творческое воплощение в романах «Отверженные» и «93-й год», а также в целом ряде публицистических статей.

Назвав иезуитскую партию Монталамбера «партией страха», Гюго указал, что ее представители в других странах, так же как и во Франции, трепещут перед распространением революционных идей и потому стремятся уничтожить печать, убить разум. Гюго выразил уверенность, что иезуитам не удастся восторжествовать, к каким бы коварным методам они ни прибегали.

В июле 1851 года во французском парламенте обсуждался вопрос о пересмотре конституции. Президентские полномочия Луи-Наполеона истекали в мае 1852 года, и бонапартистская партия стремилась отменить статью конституции, запрещающую переизбирать одно и то же лицо президентом республики на последующие четыре года.

Речь Гюго в Законодательном собрании, посвященная вопросу о пересмотре конституции (17 июля 1851 года), произвела сильное впечатление на французское общественное мнение. Гюго смело разоблачил возглавляемый президентом заговор против французской республики.

Во Франции, утверждал оратор, отныне уже невозможна легитимная монархия, ибо принципы легитимизма окончательно скомпрометированы в глазах народа. Но зато республике угрожает реальная опасность со стороны бонапартистской клики, подготовляющей условия для установления империи.

«Нельзя допустить, — заявил Гюго, — чтобы Франция оказалась захваченной врасплох и в один прекрасный день обнаружила, что у нее неведомо откуда взялся император!»

После того как Гюго в этой речи впервые назвал Луи Бонапарта «Наполеоном Малым», на него яростно набросилась вся бонапартистская клика во главе с Барошем, Фаллу, Барро, ставшими впоследствии государственными чиновниками Наполеона III.

Самые мрачные предвидения Гюго скоро оправдались. В ночь на 2 декабря 1851 года бонапартистские заговорщики задушили республику. Большинство членов Законодательного собрания было арестовано. Гюго, которому удалось избежать ареста, сразу же после переворота начал активную борьбу против политических преступников, нарушителей конституции.

2 декабря, в 10 часов утра, в одном из домов улицы Бланш собралось несколько депутатов — левых республиканцев. Среди них был и Виктор Гюго. Поэт предложил немедленно призвать народ к оружию. По его инициативе был организован Комитет сопротивления из пяти депутатов Законодательного собрания, от имени которого Гюго обратился с воззванием «К армии». В прокламации говорилось: «Солдаты! Человек, имя которого вам известно, нару-

шил конституцию. Он изменил присяге, которую дал народу, преступил закон, топчет право, заливает Париж кровью, душит Францию, предает республику!»

Призыв Гюго с его наивной идеализацией «законности» не был поддержан армией. Выполняя приказ военного командования, она атаковала воздвигнутые республиканцами баррикады. В Сент-Антуанском предместье был убит геройски сражавшийся депутат Боден.

Подавив сопротивление в Париже и в провинции, бонапартистские заговорщики начали расправу с демократическими элементами страны. Последовали многочисленные аресты, ссылки, изгнание за пределы Франции.

В середине декабря 1851 года Виктор Гюго покинул родину, а в январе 1852 года был издан декрет об изгнании Гюго и других депутатов-республиканцев, боровшихся против бонапартистского переворота.

3

Героизм народных масс Франции в революции 1789—1794 годов и в революциях XIX века, «в которых, — по словам В. И. Ленина, — пролетариат неизменно играл роль главной движущей силы и которые он *довел* до завоевания республики»¹, вызвал восхищение Гюго и определил демократическую направленность его политических взглядов

Ветеран революционного движения французского пролетариата Марсель Кашен справедливо сказал о Гюго: «Отдадим ему должное: он боролся за права угнетенных всего мира — негров, цветных народов, пролетариев Европы».

В годы изгнания демократические идеи Гюго, неустанно разоблачавшего деспотический строй Второй империи, нашли свое выражение в многочисленных статьях, речах и письмах. За девятнадцать лет изгнания он написал десятки публицистических произведений и политических стихотворений, в которых беспощадно разоблачал Наполеона III, называл его убийцей, душителем республики, клятвопреступником, душителем свободы. Гюго обладал поразительной способностью связывать все свои выступления, чему бы они ни были посвящены, с главной задачей — борьбой против узурпатора, за республику и свободу.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 252.

Живя в уединенном изгнании, Виктор Гюго постоянно находился в центре общественной жизни всего мира, пристально следил за деятельностью и борьбой крупнейших прогрессивных деятелей эпохи — Гарибальди, Джона Брауна, Герцена, Барбеса, Флуранса и других. Со многими из них он был связан узами тесной дружбы.

Примечательным документом является статья Виктора Гюго «Седьмая годовщина 24 февраля 1848 года». В ней Гюго говорит об огромном значении революции 1848 года во Франции и других европейских странах. Он пытается с прогрессивных демократических позиций указать на пагубные последствия, вызванные поражением французской революции. «Если бы Франция, — пишет Гюго, — опираясь на славный меч Девяносто второго года, поспешила, как она обязана была это сделать, на помощь Италии, Венгрии, Польше, Пруссии, Германии», повсюду неизбежно последовали бы торжество демократии и гибель монархии. Если бы победила Европа народов, а не Европа королей, то наступило бы «всюду спокойствие, мирный труд, процветание, кипучая жизнь. Не было бы, от края до края нашего континента, иной борьбы, как борьба добра, красоты, величия, справедливости, истины, пользы со всем тем, что препятствует достижению идеала. Всюду — великая победа, имя которой — труд, озаренная сиянием, имя которому — нерушимый мир».

Но этим идеалам Гюго в XIX веке не суждено было осуществиться. Народные массы оставались под гнетом, и европейские монархи все-прежнему продолжали терзать свои народы губительными войнами.

Происходившая в то время Крымская война послужила Гюго убедительным аргументом для решительного осуждения милитаристской политики, проводимой Францией и Англией. «В настоящее время перед нами Европа, управляемая не народами, а королями. Что же делает Европа, управляемая королями?.. Повелевая всем миром, трудится ли она, во имя прогресса, цивилизации, блага человечества, над осуществлением какой-нибудь великой, священной задачи? На что расходует она находящиеся в ее распоряжении гигантские силы всего континента? Что она делает? Граждане, она ведет войну. Войну — в чьих интересах?.. В ваших интересах, народы? Нет, в интересах королей».

Гюго внимательно следил за ходом Крымской войны. Это видно хотя бы из того, что он приводит достоверные факты, свидетельствовавшие о том, что русские солдаты героически обороняли Севасто-

поль и, защищая свой берег и землю, наносили тяжелые поражения французским и английским войскам.

Касаясь хода военных событий в Крыму, Гюго писал, что в Севастополе за три неполных месяца погибло восемьдесят тысяч английских и французских солдат, что в севастопольской могиле погребены две армии.

Обрисовывая бедственное положение Франции, Гюго возвышается до признания необходимости революционным путем свергнуть тиранию королей, обрекающих народы на кровопролитные войны. «...Я уже говорил вам, и с каждым днем это становится очевиднее: теперь Франции и Англии остается только один путь к спасению, и путь этот — освобождение народов, общее восстание всех наций, революция. Величественная крайность! Как прекрасно, что спасение означает вместе с тем воцарение справедливости!»

После поражения европейских революций 1848 года одним из центров политической эмиграции становится Лондон. В 1864 году Маркс и Энгельс организовали в Лондоне международное товарищество рабочих — I Интернационал, возглавивший политическую и экономическую борьбу рабочих разных стран против капитализма. В Лондоне развернулась и активная революционно-публицистическая деятельность А. И. Герцена.

Столкновения Гюго с английским правительством начались вскоре же после его поселения на острове Джерси. Поэт-изгнанник использует любой повод для того, чтобы обличить беззакония, царящие под покровительством английского правосудия. Так, в феврале 1854 года, в связи с вынесением смертного приговора джерсийскому жителю Тэпнеру, Гюго возобновляет свою страстную агитацию против смертной казни.

Частный случай — осуждение Тэпнера — Гюго использует для того, чтобы показать несостоятельность существующего правопорядка, мрачным символом которого выступает в этом письме министр внутренних дел Пальмерстон: «Сильные мира сего, вы, между делом подписывая бумаги и улыбаясь, небрежно нажимаете большим пальцем руки в белой перчатке пружину виселицы...»

Письмо к Пальмерстону характеризует Гюго как страстного гуманиста и демократа, защищающего свои взгляды со свойственным ему красноречием и пафосом; в то же время этот документ обнаруживает политическую несостоятельность апелляции Гюго к «общечеловеческим» моральным принципам, к гуманным идеям, которые являются, по его мнению, главным стимулом общественного прогресса.

Столкновения Гюго-эмигранта с английскими властями обострились, когда в 1855 году, во время Крымской войны, Наполеон III прибыл в Англию по приглашению королевы Виктории. Гюго опубликовал статью, в которой еще раз заклеил позором преступления «Наполеона Малого» и выразил гневный протест против позорной сделки английского правительства с этим политическим авантюристом.

После того как Гюго в том же году выступил с новым протестом против репрессий, чинимых английским правительством по отношению к французским эмигрантам, он был выслан с острова Джерси и вынужден переехать на соседний остров Гернсей. Высылка Гюго вызвала возмущение английской прогрессивной общественности. В ряде городов были созваны митинги, участники которых резко осудили произвол английских властей. В приветствии организаторам этих митингов Гюго выразил уверенность, что в будущем союз между консервативно-аристократической Англией и бонапартистской Францией сменится «вечным союзом между свободным английским народом и свободным французским народом».

В 1859 году Гюго выступает в защиту Джона Брауна, возглавившего восстание против плантаторов-рабовладельцев Южных штатов США.

Когда весть о преступлении судебных властей Америки дошла до Гюго, он сразу же развернул кипучую деятельность для спасения героического повстанца и наряду с другими прогрессивными писателями Европы выступил в защиту поработенного негритянского народа, осудив изуверскую расистскую идеологию и безграничный произвол рабовладельцев. Писатель-гуманист обратился к Соединенным Штатам Америки с посланием-протестом («Джон Браун. К Соединенным Штатам Америки»), которое и поныне нельзя читать без волнения.

Несмотря на горячее заступничество Виктора Гюго, Джон Браун по настоянию рабовладельцев был казнен. Впоследствии Гюго не раз приводил в своих статьях имя Брауна как символ борьбы против угнетателей. Он даже написал картину, изображающую повешенного Брауна, и картина эта по сей день хранится в музее-квартире Виктора Гюго на острове Гернсей, напоминая о злодеянии американских расистов.

Освободительная борьба народов, стонущих под игом тирании, всегда вызывала у Гюго глубочайшее уважение и самые горячие симпатии. С момента основания Римской республики (1849), впоследствии задушенной Наполеоном III, Гюго поддерживал освобо-

длительное движение итальянского народа, направленное против австрийского владычества.

В 1855 году глава пьемонтского правительства Кавур повел тайные дипломатические переговоры с палачом Римской республики Наполеоном III, пытаясь подменить национально-объединительное движение, охватившее широкие слои итальянского народа, революцией сверху, мирным объединением Италии вокруг пьемонтского королевства Виктора-Эммануила. Кавур примкнул к англо-французской коалиции во время Крымской войны и послал экспедиционный корпус к стенам Севастополя.

В специально написанном обращении «Италии» (26 мая 1856 года) Гюго поддерживает революционный дух итальянского народа и предупреждает, что монархи и буржуазные дипломаты плетут интриги, чтобы погрузить страну в летаргический сон: «Не соглашайтесь на предложения двигаться вперед потихоньку на поводу у монархов. Настало время семимильных шагов, которые именуются революциями. Народы теряют века, но могут наверстать их в один час... Будем верить. Никаких отсрочек, никаких компромиссов, никаких полумер, никаких полупобед. Как! Итти на уступки, когда на вашей стороне право, принимать поддержку монархов, когда на вашей стороне поддержка народов?.. Прочь сон, неподвижность, дурман! Никаких передышек! Действуйте, действуйте, действуйте! Долг всех до единого, ваш и наш, — активная деятельность сегодня, восстание — завтра».

В последующие годы Гюго восторженно приветствовал Гарибальди, возглавившего поход за свободу и независимость Италии. В 1860 году, когда под его руководством в Сицилии началось восстание, Гюго произнес на митинге в Джерси замечательную, полную оптимизма речь, посвященную героической борьбе гарибальдийцев, за которой с волнением следило все прогрессивное человечество.

Гюго заклеил позором римского папу Пия IX и Наполеона III, объединившихся, чтобы задушить героическое восстание Гарибальди. Свою горячую речь Гюго закончил призывом, исполненным веры в торжество свободы и справедливости: «Да воцарится во всем мире надежда! Да воодушевятся ею все — и русский мужик, и египетский феллах, и пролетарий, и пария, и проданный в рабство негр, и угнетенный белый, — пусть все они надеются и верят! Все цепи составляют единую сеть, все переплетены между собой: стоит разорвать одно звено — и вся сеть распадется. Отсюда — солидарность деспотов; папа куда ближе к султану, чем он думает. Но, повторяю, с этим покончено. О, как прекрасна неодолимая сила

вещей! В освобождении есть что-то сверхчеловеческое. Свобода — дивная бездна, влекущая к себе. В основе революций лежит их неотвратимость».

В 1867 году Гюго воспел итальянского национального героя в большой поэме «Ментана», явившейся откликом на битву гарибальдийцев с отрядом папских войск и французским корпусом, посланным на подмогу Пию IX. В знак дружеской признательности Гарибальди посвятил Гюго поэму на французском языке.

Виктор Гюго не остался равнодушен и к судьбе китайского народа, который подвергся в 1860 году нашествию англо-французских интервентов, огнем и мечом прокладывавших себе дорогу в Пекин. В древней столице Китая колониальные разбойники разрушили Летний дворец и разграбили уникальные произведения народного искусства. В письме к капитану Бетлеру Гюго писал: «В одном уголке земного шара существовало чудо мира: оно звалось Летним дворцом... Это чудо исчезло... Перед судом истории один из бандитов будет называться Францией, другой — Англией. Но я протестую. преступления властителей нельзя вменить в вину тем, над кем они властвуют; правительства подчас бывают бандитами, народы же — никогда».

В каком бы месте ни совершались преступления и насилия над народами, Гюго тотчас же выступал на защиту поправленной справедливости. Он поднял голос против вторжения французских войск в Мексику и прославил мужественных защитников республики.

Вспыхнувшая в 1868 году революция в Испании побудила Гюго обратиться с посланием к испанскому народу. В этом послании он резко осудил феодально-монархический режим и призывал к провозглашению республики.

Гюго страстно изобличал правительства великих держав, спокойно взиравших на турецкие зверства в Болгарии и на острове Крит. Такой нейтралитет, несовместимый с элементарной человечностью, только поощрял янычар турецкого султана устраивать кровавые оргии в захваченных странах.

В обращении к восставшим острова Крит (17 февраля 1867 года) Гюго говорил: «Почему Крит восстал? Потому, что господь создал его прекраснейшей страной мира, а турки превратили его в несчастнейшую страну; потому, что на Крите все есть в изобилии и нет торговли, есть города и нет дорог, есть села и нет даже тропинок, есть гавани и нет причалов, есть реки и нет мостов, есть дети и нет школ, есть права и нет закона, есть солнце и нет света. При турках там царит ночь».

Крит восстал потому, что Крит — это Греция, а не Турция, потому, что иго чужеземца непереносимо, потому, что угнетатель, если он того же племени, что и угнетаемый, — омерзителен, а если он пришелец, — ужасен; потому, что победитель, ломаным языком провозглашающий варварство в стране Этиарха и Миноса, — невозможен; потому, что и ты, Франция, восстала бы!

Крит восстал — и это прекрасно!»

В 1870 году престарелый Гюго с юношеским пылом встает на защиту патриотов острова Кубы, восставших против испанского владычества. Он произносит глубоко знаменательные слова, актуально звучащие и сегодня: «Ни одна нация не имеет права наложить руку на другую нацию. Испания не властна над Кубой, так же как Англия не властна над Гибралтаром. Ни один народ не может владеть другим народом, так же как ни один человек не может владеть другим человеком... Повсюду льется кровь народов, и вампиры присосались к трупам. К трупам? Нет, я отвергаю это слово. Я уже говорил: народы истекают кровью, но не умирают».

Гюго был непримиримым противником бонапартистского режима и не шел в этом отношении ни на какие компромиссы с совестью. Вторая империя пыталась преодолеть переживаемый ею кризис либеральными реформами и подачами. Так, в 1859 году был издан декрет о безоговорочной амнистии за политические преступления. Многие эмигранты воспользовались возможностью вернуться на родину, но В. Гюго гневно отверг амнистию, дарованную преступником. Написанную по поводу этой амнистии декларацию Гюго заканчивал словами: «Когда вернется свобода, вернусь и я». Он был твердо убежден, что Вторая империя недолговечна, что ее ждет неминуемая гибель

Предсказания Гюго оправдались.

4

Вслед за разгромом французских войск под Седаном в Париже вспыхнула революция, и 4 сентября 1870 года во Франции была провозглашена республика. На следующий же день, 5 сентября, Гюго вернулся на родину.

Жители Парижа восторженно приветствовали писателя. В эти исторические дни Гюго обращается к своим соотечественникам с патриотическими прокламациями, в которых призывает народ к защите Франции и ее столицы от бисмарковской Пруссии.

Так, в пламенном воззвании «К французам» Гюго писал: «Народ! Тебя загнали в подземелье. Выпрямись же внезапно во весь свой рост. Яви миру грозное чудо своего пробуждения... Поднимемся на грозный бой за родину. Вперед, вольные стрелки! Пробирайтесь сквозь чащи, преодолевайте потоки, продвигайтесь под покровом тьмы и сумерек, ползите по оврагам, скользите, карабкайтесь, цельтесь, стреляйте, истребляйте захватчиков. Защищайте Францию героически, с отчаянием, с нежностью. Вселяйте ужас, патриоты!» Это воззвание, написанное с огненным красноречием и политическим темпераментом революционного борца, является великолепным образцом гражданской публицистики. Навсегда сохранив свою остроту и силу, оно спустя семьдесят лет вдохновляло французских патриотов в их героической борьбе с фашистскими оккупантами.

Вместе с героическим народом Парижа Гюго мужественно переносил все тяготы пятимесячной осады, не устывая призывать к сопротивлению и борьбе. Можно смело сказать, что никогда популярность Гюго в народе не была так велика, как в эти месяцы. Писатель решительно выступил против предательского мирного договора, подписанного реакционным правительством национальной измены с Германией. «Я не стану голосовать за этот мир... — говорил он в Национальном собрании, — ибо бесчестный мир — это ужасный мир. И все же в моих глазах он, пожалуй, имеет одно достоинство: такой мир означал бы прекращение войны, пусть, но вместе с тем он породил бы ненависть. Ненависть к кому? К народам? Нет! К королям! Пусть короли пожинают то, что они посеяли. Что ж, государи, действуйте! Кромсайте, режьте, рубите, грабьте, захватывайте, расчлняйте... Мщение зреет; чем больше угнетение, тем сильнее будет взрыв. Все, что потеряет Франция, выиграет Революция».

Гюго энергично возражал против бегства Национального собрания из столицы и настаивал на его возвращении в Париж, население которого проявило такое мужество и самопожертвование во время войны. Убедившись в том, что абсолютное большинство Национального собрания состоит из реакционеров-монархистов, предающих и позорящих родину, он отказался от своего мандата и уехал в Париж. Там он был и в день 18 марта 1871 года, когда совершилось восстание рабочих, приведшее к провозглашению Парижской Коммуны. Однако семейные обстоятельства, связанные со смертью сына, заставили его 21 марта выехать в Брюссель, где он и провел те два месяца, в течение которых шла героическая борьба коммунаров против объединенных сил французской и международ-

ной контрреволюции, закончившаяся разгромом славной Коммуны и расправой с восставшим народом.

Нельзя не отметить, что Гюго не смог подняться до понимания глубокой исторической справедливости Парижской Коммуны. Его мелкобуржуазная ограниченность, его страх перед покушением на частную собственность сказались в это время с наибольшей полнотой. Как явствует из напечатанного в настоящем томе письма Мерису и Вакери от 28 апреля 1871 года и некоторых статей, отношение В. Гюго к Коммуне было противоречивым. С одной стороны, он признает бесспорные права населения Парижа на самоуправление, признает также, что восстание парижских рабочих 18 марта было справедливым ответом на провокационную антинародную политику Национального собрания и правительства Тьера. И вместе с тем он совершенно игнорирует важнейшие социально-экономические преобразования, осуществленные Коммуной, и часто судит о ее деятельности по лживым пропагандистским утверждениям ее врагов и по второстепенным актам, не имевшим принципиального значения. Так, особое возмущение Гюго вызывает решение Коммуны о снятии Вандомской колонны, хотя сам Гюго неоднократно выступал против милитаризма и агрессивных войн, символом которых эта колонна являлась. Ориентируясь на реакционную печать, Гюго изображает изданный Коммуной декрет о заложниках как признак свирепости и жестокости коммунаров, тогда как в действительности этот декрет был лишь вынужденным ответом на жестокие репрессии версальцев. Общеизвестно, что одной из важнейших причин гибели Коммуны была ее чрезмерная гуманность и снисходительность по отношению к злейшим врагам народа, которые впоследствии отплатили коммунарам за эту гуманность невиданным в истории разгулом белого террора

Глубоко ошибочная позиция писателя в эти решающие дни вызвала разочарование народных масс. Неудивительно поэтому, что на выборах в Национальное собрание в июле 1871 года В. Гюго, баллотировавшийся в Париже, собрал всего 57 тысяч голосов вместо 214 тысяч, полученных им на февральских выборах того же года, и не был избран¹.

Как мы видим, Гюго не сумел понять великой исторической роли Парижской Коммуны, открывшей новый период в истории — период начавшегося упадка капитализма, период мощных ударов

¹ Другой причиной неизбрания Гюго было и то, что значительная часть буржуазии не поддержала его кандидатуру, так как не могла простить ему его выступлений против террора, за амнистию коммунарам.

пролетариата по капитализму; однако он страстно и настойчиво боролся против чудовищного террора победителей и злобных выпадов международной реакции. Так, когда бельгийское правительство объявило, что оно не признает коммунаров политическими изгнанниками и выдаст их версальским палачам, Гюго, находившийся в Бельгии, возмущился этим проявлением классовой ненависти к коммунарам. В газете «Эндепандаис бельж» он поместил резкий протест против решения бельгийского правительства и заявил, что если любой коммунар, бежавший в Брюссель, постучится к нему в дверь, он откроет ему и предоставит убежище. В его доме изгнанник будет неприкосновенен.

Ответом на это выступление Гюго было бандитское нападение брюссельской «золотой молодежи» на его квартиру, последовавшая за этим высылка Гюго из Бельгии и поток ненависти, обрушившийся на него со страниц буржуазных газет Франции и всего мира.

В обстановке кровавого террора Гюго вел упорную, неустанную, последовательную борьбу за амнистию коммунарам. Он неоднократно подчеркивал, что коммунары — не преступники, а революционные бойцы, и сравнивал их с деятелями 1793 года.

В 1876 году в речи, произнесенной в сенате, Гюго потребовал полной амнистии героическим коммунарам. В этой речи он, быть может даже невольно, вскрыл классовый характер буржуазного суда. «Виселицы в Сатори, Нумеа, — говорил он, — восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре осужденных, ссылка на поселение и с заключением в крепости, принудительные работы, ка торга в пяти тысячах миль от родины — вот как правосудие карало за 18 марта! А что сделало правосудие в ответ на преступление 2 декабря? Оно присягнуло этому преступлению!»

Доводы Гюго, разумеется, не убедили буржуазных политиков, и сенат почти единогласно отверг предложение об амнистии коммунарам. Члены буржуазного парламента вновь продемонстрировали свою лютую ненависть к трудовой героической Франции. Однако старый поэт продолжал упорную борьбу за амнистию до тех пор, пока она не была, наконец, объявлена (1880). О чем бы ни говорил и ни писал Гюго в эти годы, он все сводил к одному итогу — необходимости провозглашения амнистии. Недаром он сам сравнивает себя с Катонем, так же настойчиво повторявшим слова о необходимости разрушения Карфагена. Борьба Виктора Гюго за амнистию коммунарам, против белого террора составляет славный апофеоз его общественно-политической деятельности.

В 70-е годы, как и прежде, Гюго страстно борется против вдохновителей монархической и католической реакции, за окончательное утверждение во Франции демократического республиканского строя.

В 1877 году монархисты, возглавляемые тогдашним президентом республики маршалом Мак-Магоном, готовили низложение республиканского режима. 16 мая 1877 года Мак-Магон уволил в отставку правительство буржуазных республиканцев, опиравшееся на большинство палаты депутатов, и сформировал новое министерство Бройля, составленное из монархистов.

Готовясь к военному перевороту, Мак-Магон издал приказ по армии, где говорил о своей «миссии», которую он исполнит «до конца».

Возникла реальная угроза существованию республики. Гюго понял, к чему стремился Мак-Магон, и начал решительную борьбу против происков монархистов. В нескольких речах, произнесенных в сенате, он разоблачил монархических заговорщиков¹, Гюго подчеркивал, что опорой в его борьбе служат подлинные демократы-республиканцы и в первую очередь рабочие. «Нынешний час таит в себе угрозы; возможно, что период тяжелых испытаний наступит вновь. Мы будем поступать так же, как поступали до сих пор. Мы тоже пойдем «до конца», — писал он.

В связи с тем, что создавшаяся в тот момент обстановка весьма походила на обстановку кануна бонапартистского переворота 2 декабря 1851 года, Гюго считал необходимым немедленно опубликовать свою книгу «История одного преступления», разоблачавшую преступление Луи-Бонапарта и его сообщников. Своей книге Гюго предпослал следующие многозначительные слова: «Эта книга больше чем своевременна, она необходима. Я публикую ее».

Благодаря росту политической активности трудящихся масс попытка государственного переворота потерпела крах, и Мак-Магон был вынужден с позором уйти в отставку.

Большое политическое значение и особую актуальность имеют выступления Гюго в защиту мира.

В девятнадцатом столетии друзья мира еще не опирались в своей деятельности на широкие слои народа. Потому они не смогли достигнуть плодотворных результатов. Разумеется, их нельзя

¹ Эти речи объединены под общим заголовком «Шестнадцатое мая».

сравнивать с могучей армией мира, созданной в наши дни передовым человечеством.

На протяжении нескольких десятилетий Гюго в многочисленных статьях и речах, произнесенных на политических митингах и международных конгрессах, последовательно выступал за мир, прочное сотрудничество, экономические и культурные связи между народами. Политике силы, колониальных грабежей и войн он противопоставляет политику мира, свою оптимистическую веру в светлое будущее человечества, свой идеал — социальное равенство внутри стран и взаимную дружбу между народами. При этом, однако, в социальных прогнозах Гюго, как и во всем его мировоззрении, мы видим много наивного утопизма.

Передовые идеи Гюго сохраняют свое значение и в наши дни. Мужественный голос писателя-трибуна присоединяется сегодня к миллионам голосов простых людей, борющихся за мир.

Гюго, по его собственному признанию, в течение всей своей жизни «сеял зерна мира». Начиная с 40-х годов, когда он выступил как активный политический деятель, тема мира становится одной из центральных проблем его художественного и публицистического творчества.

В августе 1849 года происходил Парижский конгресс друзей мира, на котором присутствовали представители передовой интеллигенции многих стран: писатели, философы, публицисты, служители культа — люди различных политических и религиозных убеждений, объединенные одним желанием — устранить угрозу войны. Гюго был избран председателем конгресса.

В своей речи он с чувством горечи говорил о том, что если бы миллиарды, ассигнованные на войну, были отданы делу мирного созидания, это привело бы к обновлению всей земли, к уничтожению нищеты и голода, царящих среди широких масс трудящихся: «Если бы.. эта колоссальная сумма, сто двадцать восемь миллиардов, была употреблена таким образом.. знаете ли вы, что бы произошло? Лицо мира изменилось бы. Руслa рек были бы углублены, перешейки перерезаны каналами, а горы — туннелями, оба континента покрылись бы густой сетью железных дорог, торговый флот всех стран увеличился бы во сто раз, и нигде уже не было бы ни засушливых степей, ни полей под паром, ни болот».

Писатель указал на необходимость рассеять подозрительность и недоверие, еще существующие между народами, ибо эти чувства искусственно раздуваются злонамеренными людьми; политика силы должна уступить место мирным переговорам между равноправными и суверенными нациями: «Отныне цель разумной и правиль-

ной политики должна заключаться в том, чтобы признать права всех наций, воскресить историческое единство народов и путем установления мира во всем мире навеки сочетать это единство с цивилизацией... заменить сражения переговорами и, наконец, — в этом выражено все, — навсегда оставить за справедливостью то последнее слово, которое в старом мире принадлежало грубой силе».

Выступления Гюго в защиту мира выходили за пределы обычного пацифизма. Идею мира он связывал с борьбой за освобождение трудящихся масс от политического и социального гнета. Он указывал, что для избавления от ужасов войны народы должны вести решительную борьбу против деспотизма, должны добиться упразднения постоянных армий, «леса штыков», при помощи которого монархи ведут кровопролитные войны и грабят народы.

«Мы хотим мира, — говорил Виктор Гюго на Лозаннском конгрессе мира в 1869 году, — страстно хотим его... Но какого именно мира мы хотим? Мира любой ценой? Мира без всяких условий? Нет! Мы не хотим мира, при котором, согбенные, не смели бы поднять чело; не хотим мира под ярмом деспотизма, не хотим мира под палкой, не хотим мира под скипетром! Первое условие мира — это освобождение. Для освобождения, несомненно, потребуется революция, изумительнейшая из всех революций, и, быть может, — увь! — война, последняя из всех войн. Тогда все будет достигнуто. Мир, будучи нерушимым, станет вечным. Исчезнут армии, исчезнут короли. Прошлое сгинет бесследно. Вот чего мы хотим».

Выступая против тех войн, которые приносили неисчислимые бедствия народам и затевались во имя незыблемости тронов королей и обогащения капиталистов, Гюго в то же время горячо поддерживал национально-освободительную борьбу всех народов. Наряду с монархами, разжигающими войны, Гюго неизменно осуждал и пушечных магнатов, в частности Круппа, справедливо называя его злейшим врагом мира и цивилизации.

30 мая 1878 года Гюго произнес одну из своих самых прекрасных и вдохновенных речей — речь, посвященную столетию со дня смерти Вольтера, чьим наследником он, по справедливости, себя считал. В этой речи Гюго снова возвращается к проблеме войны и мира. Он смело разоблачает коронованных убийц, заливающих мир кровью: «Народы начинают понимать, что гигантский масштаб преступления не может служить оправданием для преступника, что если убийство — злодеяние, то убийство многих людей не может служить смягчающим вину обстоятельством... что кровопролитие есть кровопролитие, что имена Цезарь или Наполеон ничему не могут помочь и что в глазах всевышнего лицо убийцы не изме-

нится от того, что вместо шапки каторжника ему на голову наденут корону императора».

Речь Гюго о Вольтере была встречена исключительно враждебно клерикальной прессой. Особенно негодовал епископ орлеанский Дюпанлу, написавший в свое время брошюру в защиту изувечерского документа Пия IX — «Силлабуса» 1864 года. Дюпанлу напечатал письмо, в котором оскорблял Вольтера и Гюго. В ответе Дюпанлу Гюго заклеил его, как человека, в течение двадцати лет пресмыкающегося перед императором.

Одну из последних публичных речей Гюго посвятил представителю рабочего класса Франции — машинисту Гризелью. В 1882 году Гризеля чествовали как героя, предотвратившего крушение поезда. По просьбе делегации союза железнодорожных рабочих Виктор Гюго принял на себя председательство на этом торжественном собрании. В своей речи Гюго сказал: «Чествуя этого человека, республика чествует двести тысяч работников железных дорог Франции... Кто создал такого человека? Труд. Кто создал это празднество? Республика».

Так, в последние годы своей жизни поэт прославлял образ трудовой Франции, олицетворявший собой героизм, честь, величие всей страны.

Великий демократ Гюго хорошо понимал значение и могущество яркого и правдивого слова, замечательным мастером которого был он сам. Его мужественные, страстные, идущие из глубины сердца публицистические произведения были обращены на защиту мира и свободы человечества.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИЗ КНИГИ «ДО ИЗГНАНИЯ»

РЕЧЬ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ ВО ФРАНЦУЗСКУЮ АКАДЕМИЮ

В. Гюго баллотировался во Французскую Академию дважды: в начале 1840 г. — неудачно и 7 января 1841 г., когда и был избран. Свою вступительную речь он посвятил, как это было принято, восхвалению заслуг своего предшественника Лемерсье, а также защите конституционной монархии.

Стр. 10. *...он упразднил Альпы, подобно Карлу Великому...* — В империю Карла Великого входила значительная часть Италии, то есть Альпы перестали быть границей.

...и Пиренеи, подобно Людовику XIV... — Получив известие о том, что его внук, Филипп Анжуйский, стал испанским королем (1700), Людовик XIV будто бы воскликнул: «Нет больше Пиренеев!» — то есть не существует больше границы между Францией и Испанией.

...перешел Рейн, подобно Цезарю... — Юлий Цезарь во время войны в Галлии вел боевые действия не только на западном, но и на восточном берегу Рейна; Наполеон I включил в свою империю ряд земель, лежащих за Рейном.

...едва не перешел Ламани, подобно Вильгельму Завоевателю. — Герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель в 1066 г. высадился в Англии и завоевал ее; Наполеон I в 1803—1805 гг. готовил высадку своей армии в Англии, однако выступление русских и австрийских войск и поражение французов на море заставили его отказаться от вторжения на Британские острова.

...использовал как материал два независимых герцогства — Савойю и Тоскану... — Генерал Бонапарт по мирному договору

с Сардинским королевством (15 мая 1796 г.) включил Савойю и Ниццу в состав Франции; Тоскана была присоединена к Франции в 1807 г.

Стр. 10. *...и пять старинных республик — Геную, римские владения, Венецию, Валлис и Соединенные провинции.* — В 1797 г. Генуэзская республика была превращена в зависимую от Франции Лигурийскую республику, а позднее большая ее часть включена в состав Франции; Рим в 1798 г. стал республикой, зависимой от Франции; затем снова сделался владением папы, а в 1809 г. Рим и папская область были присоединены к империи Наполеона I; кантон Валлис — один из швейцарских кантонов, присоединенный к Франции в 1798 г.; республика Соединенных провинций в 1795 г. стала Батавской республикой, в 1806 г. Наполеон превратил ее в королевство Голландию, а в 1810 г. присоединил к Франции.

Своего приемного сына он женил на баварской принцессе... — Пасынок Наполеона I Евгений Богарне в 1806 г. женился на баварской принцессе Августе.

...своего младшего брата — на принцессе вюртембергской... — Жером Бонапарт был женат на вюртембергской принцессе Екатерине.

...отобрав у Австрии Тироль, чтобы придать его Баварии... — По Пресбургскому миру (26 декабря 1805 г.) Тироль и некоторые другие территории были отторгнуты от Австрии и переданы Наполеоном Баварии.

...и Иллирию, чтобы присоединить ее к Франции... — По Венскому миру 1809 г. Австрийская империя потеряла свои владения на берегу Адриатического моря, которые, под названием Иллирийских провинций, были присоединены к Франции.

...соизволил жениться на австрийской эрцгерцогине... — В 1810 г. Наполеон I женился на дочери австрийского императора Франца I эрцгерцогине Марии-Луизе.

Однажды его видели среди четырнадцати владетельных, коронованных и помазанных особ сидящим между кесарем и царем... — то есть между австрийским и русским императорами. Гюго имеет в виду свидание Наполеона I и Александра I в Эрфурте (1808), при котором присутствовали все зависимые от Наполеона европейские монархи.

...он дал возможность Тальма сыграть перед «партером королей». — Приглашая Тальма в Эрфурт, Наполеон сказал: «Вы будете играть перед партером королей».

...Людовика, герцога Пармы, он сделал королем Этрурии. — В 1800 г. Наполеон превратил Великое герцогство Тоскану в ко-

ролевство Этрурию и сделал герцога Пармского Людовика I ее королем.

Стр. 11. *...принудить королей Великобритании отказаться от титула «королей Франции»...* — Этот титул английские короли носили со времен Столетней войны (1337—1453), когда Англия захватила значительную часть территории Франции; в 1802 г., по условиям Амьенского мира, английский король отказался от этого титула и от изображения лилий — геральдического знака французских королей — на своем гербе.

...то делил Пруссию на четыре департамента... — После разгрома Пруссии в 1806 г. Наполеон I временно присоединил к Франции оккупированную им прусскую территорию, разделив ее на четыре департамента.

...то провозглашал Амстердам третьим городом империи... — В 1810 г. Голландия была присоединена к Франции, и Амстердам стал главным городом нового французского департамента.

...то извещал мир, что династия Браганца перестала царствовать. — После занятия наполеоновскими войсками Лиссабона (29 ноября 1807 г.) в газетах было объявлено: «Дом Браганца перестал царствовать в Португалии».

Старинное королевство Густава Вазы... попросило у него в короли одного из французских маршалов. — Маршал Наполеона I Бернадотт 21 августа 1810 г. был избран шведским наследным принцем, а в 1818 г. стал королем Швеции.

Наследник Карла V, правнук Людовика XIV, король Испании и обеих Индий... — Имеется в виду испанский король Фердинанд VII.

...отправлять под арест короля, командовавшего его кавалерией — то есть Мюрата, короля Неаполитанского.

Стр. 14. *...превратил венсенский ров в могилу внука великого Конде.* — Речь идет о герцоге Энгиенском.

Стр. 15. *...другой диктатор другому республиканцу: «Ti quoque!»* — Имеются в виду слова Цезаря, с которыми он якобы обратился к своему другу Бруту, увидев его в числе заговорщиков.

Стр. 17. *...ему «удавалось выжить»...* — Сьейес на вопрос, что он делал во время якобинского террора, ответил: «Оставался в живых».

Стр. 18. *«Вязальщицы»* — так называли женщин из народа, заполнявших во времена якобинской диктатуры залы заседаний Конвента, революционного трибунала и площади, на которых производились казни; они обычно приносили с собой вязанье.

Стр. 20. ...*каре́та 21 января*... — 21 января 1793 г. — день казни короля Людовика XVI.

...*пику 2 сентября*... — 2 сентября 1792 г. в числе других врагов революции была казнена ненавистная народу принцесса Ламбаль, голову которой носили на пике.

...*тележка 7 термидора* — то есть 25 июля 1794 г., когда был казнен поэт Андре Шенье.

Девятое термидора открыло для Франции новую эру... — 9 термидора (27 июля 1794 г.) произошел контрреволюционный переворот, положивший конец якобинской диктатуре.

Стр. 21—22. «*Господин Мерсье-Мелеагр*». — «Мелеагр» — ранняя трагедия, написанная семнадцатилетним Лемерсье; Мерсье-Мелеагр — писатель, современник Лемерсье.

Стр. 22. «*Генерал Вандемьер*» — так прозвали генерала Бонапарта после подавления им роялистского мятежа в Париже 5 октября 1795 г. (13 вандемьера IV года республики по революционному календарю).

...*артиллеристу Тулона*... — Наполеон Бонапарт прославился впервые в 1793 г., когда он умелыми действиями артиллерии отогнал английский флот от Тулона. Благодаря этому город был занят революционными войсками.

...*главнокомандующему египетской армии* — то есть Наполеону Бонапарту, назначенному на этот пост 5 марта 1798 г.

14 флореаля XII года — 4 мая 1804 г.; в этот день сенат обратился к первому консулу Бонапарту с письмом о необходимости «вручить правительство республики Наполеону Бонапарту, как наследственному императору».

Стр. 24. *Поэт Прометей* — Эсхил.

Поэт Фигаро — Бомарше.

Стр. 27. *Короли старшей ветви*.. — то есть династии Бурбонов, правившей во Франции с 1589 по 1792 и с 1814 по 1830 г.

Стр. 28. ...*бывшего лейтенанта Дюмуре и Келлермана*... — Король Луи-Филипп в молодости сражался в рядах революционных войск под начальством Келлермана и Дюмуре; вместе с последним он перебежал к австрийцам в 1793 г.

...*внука Генриха IV и внучатного племянника Людовика XIV*... — Гюго ошибается: Луи-Филипп Орлеанский принадлежал к гораздо более позднему потомству этих королей.

Стр. 31. ...*от цензурного кляпа, как в 1810-м*... — Имеются в виду два наполеоновских декрета 1810 г., узаконившие безудержный произвол в отношении прессы.

СЕМЕЙСТВО БОНАПАРТОВ

После поражения Наполеона I и вторичного возвращения Бурбонов (1815) все члены семьи Бонапартов были объявлены навсегда изгнанными из Франции. В 1847 г. младший брат Наполеона I Жером Бонапарт обратился к правительству Июльской монархии с просьбой разрешить ему и его семье возвратиться во Францию. Гюго выступил с поддержкой этой просьбы Жерома Бонапарта. В этой речи Гюго явно идеализирует Наполеона I и его кровавые захватнические войны.

Стр. 35. *...первый принц крови Франции стал преподавателем математики.* — Луи-Филипп Орлеанский, будучи в эмиграции, преподавал математику в одной из швейцарских гимназий.

Стр. 37. *Вспомните о провале страсбургской авантюры и вслед за ней — авантюры в Булони.* — Речь идет о двух неудачных попытках Луи Бонапарта захватить власть: в 1836 г. — в Страсбурге и в 1840 г. — в Булони.

ПИСЬМО ИЗБИРАТЕЛЯМ

Письмо написано перед выборами в Учредительное собрание, которые состоялись 23 апреля 1848 г. В. Гюго в это время примыкал к буржуазным республиканцам. Он не собрал необходимого количества голосов и стал депутатом Учредительного собрания лишь после дополнительных выборов 4 июня 1848 г.

ПОСАДКА ДЕРЕВА СВОБОДЫ НА ВОГЕЗСКОЙ ПЛОЩАДИ

Обычай сажать в торжественной обстановке на городских улицах и площадях «дерево свободы» как символ освобождения от деспотизма зародился в период борьбы американских колонистов за независимость (конец XVIII века).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Вопросу о национальных мастерских была посвящена первая речь В. Гюго в Учредительном собрании. Национальные мастерские были созданы 25 февраля 1848 г. буржуазным Временным правительством для того, чтобы предотвратить восстание безработных, требовавших работы. Организованы они были скверно. Более ста тысяч безработных Парижа выполняли в национальных мастер-

ских непроизводительные земляные работы. Буржуазные круги подвергали национальные мастерские постоянным нападкам как в печати, так и в Учредительном собрании и требовали их роспуска. Назревало восстание рабочих. Надежды Гюго на мирное разрешение надвигавшегося конфликта между буржуазией и рабочими, на классовое сотрудничество, братство, равное распределение богатств и т. п., разумеется, не осуществились. Провокационное решение правительства закрыть национальные мастерские послужило поводом для восстания рабочих Парижа.

ЗА СВОБОДУ ПЕЧАТИ И ПРОТИВ АРЕСТА ПИСАТЕЛЕЙ

После подавления июньского восстания парижских рабочих жестокие репрессии обрушились также на прессу. 25 июня 1848 г. «временно» были закрыты одиннадцать газет. Кроме того, декретом Учредительного собрания от 11 июля 1848 г. восстанавливался отмененный в феврале денежный залог для печати. Журналист Э. Жиарден, осмелившийся написать, что «мы опять попали под деспотизм сабли», был арестован. Этот арест, а также вопрос о закрытии одиннадцати газет послужили поводом для запроса правительству и развернувшихся вслед за этим прений, в конце которых взял слово Гюго. Учредительное собрание не поддержало Гюго, и репрессии против печати продолжались.

Стр. 55. *...закон о печати от 16 июля 1828 года...* — Этот закон был издан во время реставрации и отменял установленные ранее (1827) строгие цензурные формальности, высокие штрафы для авторов, издателей и типографов.

...этого писателя... девять дней держали в одиночном заключении и одиннадцать дней под арестом... — Гюго имеет в виду редактора запрещенной газеты «Пресса» Э. Жиардена,

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2 сентября 1848 г. в Учредительном собрании стоял вопрос об осадном положении, введенном во время июньского восстания 1848 г. Предложение об отмене осадного положения было поддержано рядом левых депутатов, в том числе В. Гюго. Учредительное собрание отклонило это предложение.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Речь была произнесена В. Гюго в связи с обсуждением статьи 5-й проекта конституции, которая гласила: «Смертная казнь за политические преступления отменяется». Писатель выступил за полную отмену смертной казни. Учредительное собрание приняло статью 5-ю в первоначальной редакции.

РОСПУСК СОБРАНИЯ

Вскоре после вступления Луи-Наполеона на пост президента монархисты начали борьбу против Учредительного собрания с целью добиться его роспуска. 6 января 1849 г. монархист Рато выступил с предложением назначить выборы в Законодательное собрание на начало марта, а Учредительное собрание распустить 19 марта 1849 г. Это предложение поддержало и правительство. 22 января 1849 г. во время обсуждения проекта Рато сложилась напряженная обстановка. Улицы, прилегающие к Собранию, с утра были заняты войсками, якобы с целью предупредить готовящееся революционное выступление. В действительности это было попыткой оказать давление на республиканскую часть Собрания и ускорить его роспуск. Буржуазные республиканцы ограничились речами и не обратились за поддержкой к народу, так как боялись его выступления не меньше своих противников. Большинством голосов Учредительное собрание решило продолжить обсуждение предложения Рато. Это был успех реакции. 14 февраля предложение Рато было принято.

Гюго выступал в защиту предложения Рато, то есть на стороне реакционной части собрания, хотя он исходил при этом из других позиций, ошибочно предполагая, что Законодательное собрание будет более левым, чем Учредительное.

Стр. 61. *...органические законы* — законы, дополняющие конституцию.

НИЩЕТА

Стр. 70. *До 13 июня...* — то есть до событий тринадцатого июня 1849 г.

РИМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Вопрос об отношении к революционным событиям в Италии вызвал борьбу между правительством, решившим начать интервенцию в защиту папы, и левыми мелкобуржуазными демократами.

Последние требовали признания Римской республики и оказания помощи итальянскому освободительному движению.

Военная экспедиция против Римской республики и ее удушение французскими войсками вызвали в стране новый политический кризис, проявившийся в выступлении мелкобуржуазной демократии против президента в Законодательном собрании и в неудачной демонстрации 13 июня 1849 г.

Гюго не понял, что политика французского правительства в итальянском вопросе как в Учредительном, так и в Законодательном собрании была реакционной. Ошибочным было также отношение Гюго к письму президента Луи-Наполеона к Эдгару Нею (см. примечание к стр. 80).

Стр. 77. *...вотум Учредительного собрания...* — то есть голосование об отправке военной экспедиции в Италию (30 марта 1848 г.).

Стр. 79 *Один триумvirат был заменен другим.* — Имеется в виду, во-первых, революционный триумvirат, стоявший во главе Римской республики: Мадзини, Цаффи и Армелини, и, во-вторых, назначенная папой после его возвращения в Рим комиссия из трех кардиналов во главе с Антонелли, подвергавшая римлян свирепым преследованиям.

Стр. 80. *...письмо президента республики к одному из его адъютантов...* — Письмо Луи-Наполеона Эдгару Нею от 18 августа 1849 г., в котором он в связи с негодованием, возбужденным во Франции репрессиями папской власти после подавления Римской республики, пытался оправдать французскую военную экспедицию и выразил пожелание, чтобы папа дал конституционные гарантии и прекратил террор. Письмо было написано и отослано президентом без согласования с правительством. Папа Пий IX отклонил вмешательство Луи-Наполеона.

Стр. 81. *...булла «Motu proprio»...* — Папские буллы обычно называются по первым латинским словам своего содержания: «*Motu proprio*» — «По собственному почину».

...в стенах другого собрания я горячо приветствовал его восшествие на папский престол. — 13 февраля 1847 г. в палате пэров Гюго приветствовал либеральные реформы, которыми папа Пий IX начал свою деятельность.

Стр. 82. *Один великий епископ сказал...* — Имеется в виду Боссюэ.

Стр. 83. *...чем Испанская экспедиция была для правительства Реставрации.* — Гюго напоминает о подавлении войсками Людо-

вика XVIII в 1823 г. революции в Испании, что вызвало острую политическую борьбу во Франции и ускорило падение Бурбонов.

Стр. 85. *...или привезти его в Фонтенебло...* — Гюго напоминает о том, как по приказанию Наполеона I папа Пий VII был арестован и привезен в Фонтенебло.

Стр. 87, *...своего рода Алжиром...* — Завоевание Алжира продолжалось семнадцать лет (с 1830 по 1847 г.).

...как только Австрия оставит Болонью, поскорее уйти из Рима. — После революции 1848 г. Австрия оккупировала север Италии и некоторые пункты центральной Италии, в том числе Болонью.

ОТВЕТ МОНТАЛАМБЕРУ

Речь Гюго по поводу Римской экспедиции возбудила ярость клерикалов. Один из лидеров католической партии, Монталамбер, выступил в защиту Римской экспедиции и папы и в своей речи сказал то, о чем упоминает Гюго.

СВОБОДА ПРЕПОДАВАНИЯ

14 января 1850 г. в Законодательном собрании началось обсуждение законопроекта о реформе народного образования, представленного комиссией во главе с мракобесом Фаллу. В проекте предусматривались два вида школ: государственные и частные. Последним предоставлялся ряд преимуществ, а католическому духовенству и религиозным конгрегациям обеспечивалось руководство и контроль над школами и учителями. Лицемерный лозунг «свободы» преподавания служил для клерикальной партии средством подчинить народное образование церкви.

В своей страстной речи Гюго выступил не только против «закона Фаллу», но и против католической реакции в целом. Реакционное большинство Законодательного собрания 15 января 1850 г. приняло гнусный закон Фаллу.

Стр. 97. *Вы устраиваете массовое изгнание и кричите: «Вот амнистия!»* — Гюго напоминает о булле папы Пия IX, изданной после подавления Римской республики, в которой вместо обещанной амнистии объявлялось об изгнании участников революционных событий.

Стр. 104. *...предотвращал кровопролитие на июньских баррикадах?* — Во время июньского восстания парижских рабочих (1848 г.) В. Гюго вместе с другими депутатами Учредительного собрания был послан к баррикадам, чтобы уговорить восставших сложить оружие.

31 октября 1849 г. Луи-Наполеон сформировал кабинет, состоявший из послушных ему людей, ненавидевших революцию. Министр юстиции Руэр внес в Законодательное собрание проект закона о ссылке, предусматривавший два вида наказания: простую ссылку и ссылку, усугубленную заключением в крепости в месте изгнания. Предполагалось придать закону обратную силу и применять к лицам, уже осужденным. Гюго выступил против проекта закона о ссылке. Хотя в его речи есть много мелкобуржуазных иллюзий («право голосовать отменяет право восставать»), но его полное пафоса и высокого гуманизма красноречие произвело на присутствующих огромное впечатление. На следующий день был начат сбор денег, чтобы отпечатать и распространить по стране речь Гюго, а Эмиль де Жирарден предложил выбить медаль с изображением писателя, датой выступления и следующими словами из этой речи: «Когда люди вносят в закон несправедливость, бог вносит в него справедливость и карает этим законом тех, кто его создал». Правительство разрешило выбить медаль, но без надписи.

Закон о ссылке был принят без существенных изменений.

Стр. 114. *Дулан, Мон-Сен-Мишель* — названия каторжных тюрем.

Стр. 117. *...воздвигла гильотины Робеспьера...* — Гюго имеет в виду революционный террор во время якобинской диктатуры (1793—1794). Он не понимал значения якобинского террора, без которого не могли быть выполнены задачи революции.

Стр. 120. *Изгнанник, вернувшийся из Гартуэла* — Людовик XVIII.

Изгнанник, вернувшийся из Рейхенау — герцог Луи-Филипп Орлеанский.

Узник Гамской тюрьмы. — После своей попытки произвести государственный переворот в Булони (1840) Луи-Наполеон Бонапарт был приговорен к пожизненному заключению и провел шесть лет в Гамской тюрьме.

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

На дополнительных выборах в Законодательное собрание 10 марта 1850 г. было избрано несколько левых депутатов, в том числе один из участников июньского восстания парижских рабочих. Результаты выборов вызвали панический страх среди буржуазии. В связи с предстоявшими в 1852 г. очередными выборами был выработан проект нового избирательного закона, лишавшего избирательных прав три миллиона французов. Этот законопроект вызвал

негодование в демократическом лагере. Одним из первых против него выступил в Законодательном собрании В. Гюго.

Стр. 137. *Семнадцать государственных мужей* — число членов парламентской комиссии, выработавшей проект нового избирательного закона.

РЕПЛИКА МОНТАЛАМБЕРУ

Стр. 140. ...я заклею того человека, который ее продал, и осудю того, который ее купил? — Герцогиня Беррийская скрывалась после неудачного легитимистского восстания (1832) и была выдана Дейцем, одним из ее агентов, которого подкупила полиция; министром внутренних дел был тогда Тьер.

Стр. 141. ...провозгласил ее регентшей... — 24 февраля 1848 г. палата депутатов, пытаясь спасти монархию, провозгласила регентство во главе с герцогиней Орлеанской; вооруженный народ сорвал замысел монархистов и добился провозглашения республики.

СВОБОДА ПЕЧАТИ

Речь Гюго была произнесена в связи с обсуждением нового закона о печати, который повышал сумму денежного залога для газет до 25 000 франков, восстанавливал отмененный в феврале 1848 г. штемпельный сбор (распространив его при этом и на брошюры политического содержания), запрещал печатать политические, философские, религиозные статьи под псевдонимами и т. п. Этот закон наносил удар по печати, фактически ликвидируя ее свободу, провозглашенную в феврале 1848 г. и записанную в конституции Второй республики.

Стр. 142. *31 мая* — имеется в виду закон от 31 мая 1850 г., лишивший три миллиона французов избирательных прав.

Стр. 145. ...закон 1814 года... — Этот закон сильно стеснял печать; он освобождал от предварительной цензуры только произведения размером менее двадцати печатных листов; для газет и периодических изданий требовалось специальное разрешение короля и т. п.

Стр. 148. *Презумпция невиновности* (юрид.) — предположение, что всякий человек считается невиновным, пока в установленном законом порядке не доказана его вина.

Стр. 149. ...мстит «Полиевкту» за «Тартюфа». — «Мученик Полиевкт» — трагедия Корнеля, в которой действующие лица являют

высокие примеры чувства долга и самопожертвования; «Тартюф, или лицемер» ~ комедия Мольера; у Гюго в смысле: мстит честному за лживого.

Стр. 151. *«Закон о справедливости и любви»* — закон 1827 г., устанавливавший строгую цензуру и большие штрафы для авторов, издателей и типографов. В официальной газете правительства, в статье, защищавшей этот закон, он был назван «законом о справедливости и любви». Оппозиция приняла это название, придав ему иронический оттенок. Закон был принят палатой депутатов, но правительство, боясь, что он будет провален в палате пэров, в апреле 1827 г. взяло его обратно.

Его оставили далеко позади те, кто вынес ему приговор... — Пейронне был в числе министров, подписавших июльские ордоны Карла X, явившиеся толчком к революции 1830 г.; после революции он, вместе с тремя бывшими министрами, был предан суду. Народ требовал казни министров-изменников, но реакционным кругам удалось спасти их, и 21 декабря 1830 г. они были приговорены к пожизненному заключению.

...господина Гизо оставили далеко позади те, кто возбудил против него обвинение. — Гизо после свержения Июльской монархии должен был предстать перед судом, но бежал за границу.

Стр. 153. *Прочтите мою речь, произнесенную 12 июня 1847 года...* — Гюго, повидимому, имеет в виду речь «Семейство Бонапартов» (см. наст. том), произнесенную не 12-го, а 14 июня 1847 г.

Стр. 154. *...семнадцать Эгерий.* — Имеется в виду комиссия Законодательного собрания, выработавшая реакционный проект закона против печати.

Стр. 157. *Закон о мэрах* — принят 21 марта 1848 г.; ограничивал права префектов в утверждении мэров. В марте 1850 г. правительство пыталось изменить этот закон, но большинство Законодательного собрания отклонило эту попытку чрезмерно усилить исполнительную власть. Правительство все же сместило сотни неугодных ему мэров и муниципальных советников демократического направления.

...вырвали несколько тополей из мостовых Парижа... — Префект полиции приказал срубить посаженные в начале революции «деревья свободы»; во многих кварталах Парижа это вызвало сопротивление народа.

...несмотря на принятый недавно пагубный закон... — то есть закон, отменяющий всеобщее избирательное право (31 мая 1850 г.).

Стр. 164. *И вот такая речь обойдется Франции в двадцать пять франков!* — 25 франков — дневное вознаграждение депутата Законодательного собрания.

ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ

Вопрос о пересмотре конституции 1848 г. находился летом 1851 г. в центре политической жизни Франции. Бонапартистские круги добивались отмены ряда статей конституции и в первую очередь 45-й статьи, запрещавшей избрание президента на второй срок. Для изменения конституции надо было иметь три четверти голосов Собрания, а противники пересмотра обладали почти одной третью голосов, что делало невозможным получение требуемого большинства. Прения по вопросу о пересмотре конституции начались в Законодательном собрании 14 июля 1851 г. В своей речи Гюго открыто заявил о заговоре бонапартистов и президента против республики. За пересмотр конституции проголосовало 446 реакционных депутатов (то есть меньше необходимых трех четвертей), против — 278 депутатов. Провал попытки Луи-Наполеона остаться у власти, соблюдая видимость конституционности, ускорил подготовку государственного переворота.

Стр. 167. *...фикция «легальной страны»...* — «Легальной страной» в период Реставрации и Июльской монархии иронически называли небольшую часть населения Франции, которая пользовалась избирательными правами.

...не собирается нарушать статью 111-ю... — В силу этой статьи предложение о пересмотре конституции должно трижды дебатироваться; дебаты должны быть отделены друг от друга месячным промежутком, и каждый раз за предложение должно быть подано не менее трех четвертей голосов при участии не менее пяти-сот депутатов.

Стр. 173 *...французская республика — это солнце, как в свое время сказал Бонапарт...* — 18 апреля 1797 г. в Леобене Наполеон Бонапарт отверг предложение австрийского представителя включить в текст мирного договора статью о признании Французской республики, заявив: «Французская республика сама себя признала. Не признавать ее существования — это все равно что не признавать существования солнца в ясный день».

Стр. 174. *...традиционной, то есть легитимной, монархии.* — Легитимная, то есть «законная» монархия Бурбонов была восста-

новлена во Франции в 1814 г., отсюда и название «легитимисты» для ее сторонников.

Стр. 175. *...не имею в виду принцев-изгнанников...* — то есть внука Карла X графа Генриха Шамбора и внука Луи Филиппа графа Парижского.

Стр. 182. *Здесь говорили о 1793 годе, и это дает мне право говорить о 1815-м.* — В ответ на упоминание о революционном терроре якобинской диктатуры (1793) Гюго напоминает о белом терроре, установившемся во Франции после вторичного возвращения Бурбонов в 1815 г.

Сорок пять сантимов — дополнительный налог в 45 сантимов к каждому франку основных налогов, введенный Временным правительством 16 марта 1848 г., который всей своей тяжестью падал на крестьянство. Налог толкнул крестьян в сторону контр-революции.

«Совещания социалистов в Люксембургском дворце!» — Имеется в виду созданная 28 февраля 1848 г. Правительственная комиссия по труду (Люксембургская комиссия) — маневр буржуазии с целью успокоить рабочий класс.

...тень маршала Нея! — Маршала Нея, как пэра Франции, судила и приговорила к смерти палата пэров, заседавшая в Люксембургском дворце.

...вы нашли бы там ваше кресло пэра Франции! — Намек на то, что Гюго был с 1845 г. пэром Франции.

Стр. 184. *...мы мертвецы, господин виконт?* — Намек на титул, полученный Гюго в 1845 году.

Стр. 187. *...когда Людовиком XVIII была дарована хартия...* — то есть конституция 1814 г., определившая образ правления Франции в период Реставрации.

Стр. 190. *...не посылали денежных подачек раненым бойцам Февраля.* — Намек на заигрывание с рабочими, бывшими основной боевой силой на февральских баррикадах 1848 г.

Стр. 191. *Спросите у вашего отца!* — Намек на служебную карьеру отца писателя, участвовавшего во время революции в подавлении мятежа в Вандее и других походах, а затем ставшего генералом империи.

Стр. 192. *... в крепости Бона... в застенках Бель-Иля...* — тюрьмы, в которых содержались участники июньского восстания 1848 г. и выступления 13 июня 1849 г.

...Австрия... душит Венгрию, Ломбардию, Милан, Венецию; в Сицилии расстрелы... — напоминание о жестоком подавлении рево-

люции 1848—1849 гг. в Австрийской империи и Неаполитанском королевстве.

Стр. 192. *...в Касселе так же, как и в Палермо...* — В Касселе (Германия) в 1850 г. было удалено либеральное министерство, отменена конституция, а вспыхнувшие волнения подавлены австро-баварскими войсками; в Палермо (Сицилия) в 1849 г. революция также была свирепо подавлена.

Стр. 193. *...слова генерала Шангарнье...* — В сентябре 1850 г. при посещении президентом республики Луи-Наполеоном военного лагеря в Сатори, близ Парижа, подкупленные группы (на которые намекал Шангарнье, говоря о «развращенных преторианцах») кричали: «Да здравствует император!»

...слова Тьера... «Империя уже создана?» — Эти слова были произнесены в Законодательном собрании во время обсуждения того же инцидента в Сатори.

...жалкая петиция о продлении полномочий? — то есть о продлении четырехлетнего срока президентства Луи-Наполеона.

...битву при Сатори? — Иронический намек на инцидент в Сатори (см. предыдущие примечания).

Стр. 194 *...после Августа — Августул?.. потому, что у нас был Наполеон Великий, нам придется терпеть Наполеона Малого?* — Гюго иронически сопоставляет первого римского императора Августа и последнего — ничтожного Ромула Августула, а также Наполеона I и авантюриста Луи-Наполеона.

Стр. 195. *Вы сами видели его лицом к лицу в Дижоне.* — 1 июня 1851 г. Луи-Наполеон произнес в Дижоне речь, полную нападок на Законодательное собрание и бонапартистской демагогии.

Стр. 197. *...останки покоятся в Доме Инвалидов...* — В Доме Инвалидов в Париже похоронен Наполеон I.

...предпочитал такой Европе Европу республиканскую? — Это утверждение Гюго неверно: император Наполеон I всегда враждебно относился к республике.

Стр. 202. *Для нас нет других лилий и орлов...* — Белые лилии — эмблема легитимной монархии Бурбонов, орлы — империи Наполеона I.

Стр. 205. *...приближается 1852 год* — год истечения четырехлетнего срока пребывания Луи-Наполеона Бонапарта на посту президента.

РЕЧИ НА КОНГРЕССЕ МИРА В ПАРИЖЕ (1849)

В 1849 г. в Париже открылся международный конгресс друзей мира — первый в истории Европы конгресс противников захватнических войн.

Гюго был единодушно избран председателем конгресса.

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНГРЕССА

Стр. 206. *...в этом городе, некогда провозгласившем только братство граждан...* — Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г., провозгласившая, в числе других прав человека, равенство граждан.

Стр. 211. *Мир в Европе длится вот уже тридцать два года...* — Утверждение неточное: за эти годы был ряд военных конфликтов (подавление революций в Италии и Испании, война Греции за независимость, русско-турецкая война 1828—1829 гг. и др.).

Стр. 212. *...Венгрия и Венеция, изнемогающие в героической борьбе...* — В это время шли последние недели сопротивления Венгерской республики (пала 27 сентября 1849 г.) и Венецианской республики (пала 25 августа 1849 г.).

Стр. 214. *...Англия сделала первый шаг...* — Имеется в виду английская буржуазная революция XVII века.

Второй шаг сделала Франция... — Имеется в виду буржуазная революция конца XVIII в.

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ БАЛЬЗАКА

Стр. 218. *...блестящая плеяда семнадцатого века...* — Имеются в виду поэты и писатели «золотого века» французской литературы (XVII в.): Корнель, Расин, Лафонтен, Мольер и многие другие.

Стр. 219. *Несколько месяцев назад он вернулся во Францию.* — Бальзак незадолго до смерти ездил в Россию, где женился на польской помещице Эвелине Ганской.

РЕЧЬ НА ПРОЦЕССЕ ШАРЛЯ ГЮГО

Сын писателя Шарль Гюго за опубликование в газете «Эвенман» статьи о казни браконьера, полной ужасающих подробностей, был привлечен к суду за неуважение к законам республики. Защитником сына на процессе выступил Виктор Гюго.

Красноречие Гюго не подействовало на буржуазный суд, и Шарль Гюго был приговорен к шести месяцам тюремного заключения.

Стр. 222—223. *...единогласно потребовала... в октябре 1830 года палата депутатов...* — После июльской революции, стремясь спасти арестованных министров Карла X, реакционная часть палаты депутатов внесла проект закона об отмене смертной казни за политические преступления.

Стр. 227. *... не было бы зловещей даты 21 января.* — 21 января 1793 г. — день казни Людовика XVI.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 2 ДЕКАБРЯ 1851 ГОДА

Во время государственного переворота Луи-Наполеона Виктор Гюго решительно выступил против узурпатора. По предложению Гюго был организован комитет сопротивления из нескольких депутатов разогнанного Бонапартом Законодательного собрания. От имени этого комитета Гюго обратился с известными прокламациями «К народу» и «К армии».

Стр. 233. *...бойню на улице Транснонен!* — 14 апреля 1834 г. при подавлении республиканского восстания в Париже солдаты зверски перебили мирных жителей дома № 12 на улице Транснонен, название которой сделалось нарицательным.

Стр. 234. *...обесчестили годовщину Аустерлица...* — Свой переворот Луи-Наполеон приурочил к 46-й годовщине битвы при Аустерлице.

ИЗ КНИГИ «ВО ВРЕМЯ ИЗГНАНИЯ»

ЧТО ТАКОЕ ИЗГНАНИЕ

Стр. 237. *...одетым в пурпурную тогу...* — В древнем Риме пурпурная тога была принадлежностью высших должностных лиц республики, а при империи — императора.

Стр. 239. *Нормандская герцогиня* — один из титулов английской королевы Виктории.

Стр. 250. *...должны были довольствоваться высылкой.* — В 1855 г. Гюго и некоторые другие французские эмигранты были высланы с острова Джерси в связи с протестом против приезда в Англию Наполеона III.

Экспьюльшен — английское произношение слова «expulsion» (изгнание, высылка).

Стр. 250. *В театрах глумились над Гомером...* — Намек на поставленную в 1864 г. в парижских театрах оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена», действующими лицами которой были герои гомеровской «Илиады».

Профессора истории утверждали, что Леонид и Вильгельм Телль никогда не существовали. — Гюго имеет в виду замалчивание истории освободительных и революционных движений во Второй империи.

Стр. 251. *Закон. о чужестранцах* — был принят в Англии в 1793 г. во время войны с революционной Францией; по этому закону иностранцы должны были объяснять причины их приезда, иметь специальные паспорта для передвижения и т. п., что облегчало реакционному правительству Питта борьбу с нежелательными лицами и высылку их из Англии.

...французский император поздравлял прусского короля. — Речь идет о Вильгельме I, прибывшем на выставку.

Стр. 256. *..написал достаточное количество произведений...* — Наполеон III был автором «Наполеоновских идей» (1832), «Уничтожения нищеты» (1844) и других книг, не имеющих научного значения и написанных, как правило, с демагогическими целями.

...занимавшемся историей Цезаря.. — В 1865—1866 гг. Наполеон III написал книгу «История Юлия Цезаря».

Стр. 258. *...мечется от Изабеллы к Амедею, от Амедея к Альфонсу, ожидая прихода к власти Карлоса.* — После революции 1868 г. и свержения Изабеллы II, кортесы, вопреки желанию народа, сохранили монархию и занялись поисками кандидата на испанский трон. В 1870 г. королем был провозглашен Амедей Савойский; в 1873—1874 гг. Испания была объявлена республикой, а в 1874 г. королем стал Альфонс XII; в эти же годы в стране шла гражданская война (Вторая карлистская война): сторонники дон Карлоса, претендента на престол, пытались возвести его на трон.

...повод к вмешательству Гогенцоллернов... — Протест Франции против кандидатуры Леопольда Гогенцоллерна (родственника прусского короля Вильгельма I) на испанский трон послужил формальным поводом франко-прусской войны 1870—1871 гг.

Стр. 264. *Десять миллиардов и две провинции.* — По Франкфуртскому миру 1871 г. Франция должна была уступить Германии Эльзас и Лотарингию и выплатить ей контрибуцию не десять, а пять миллиардов франков.

Стр. 266. *...силуэт двух башен-близнецов...* — то есть башен Собора Парижской богородицы.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕРИИ

После государственного переворота 2 декабря 1851 г. Луи-Наполеон начал подготавливать официальное восстановление империи. В августе — октябре 1852 г. в речах, произнесенных во время поездки по Франции, он открыто заговорил об империи, а в ноябре того же года послушный сенат вынес решение «о восстановлении императорской власти в лице Луи-Наполеона Бонапарта» 2 декабря 1852 г. империя была провозглашена, и Луи-Наполеон стал императором Наполеоном III.

Декларация Гюго — ответ на письмо парижских республиканцев — выражала настроения непримиримых противников империи.

Стр 269. *Он восстановил папу римского...* — Напоминание о подавлении Римской республики

...в памятный ему день 20 декабря. — 20 декабря 1851 г., в условиях террора и прямой фальсификации голосования, был проведен плебисцит, одобривший (7 839 000 голосов против 278 000) государственный переворот.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА ПОЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Годовщины польского восстания 1830 г. обычно отмечались всей европейской революционной эмиграцией.

Стр. 274. *Война разразилась из-за ключей гробницы...* — Формальным поводом к Восточной (Крымской) войне явился спор из-за ключей от мифического гроба господня и из-за других христианских святынь в Палестине; в действительности это была борьба России с Англией и Францией за преобладание на Ближнем Востоке.

ПИСЬМО ЛОРДУ ПАЛЬМЕРСТОНУ

18 октября 1853 г. некто Джон Тэпнер совершил убийство на острове Гернсей. Преступник был приговорен к смерти. После приговора В. Гюго опубликовал обращение к жителям Гернсея. Это полное высокого гуманизма письмо явилось новым страстным протестом писателя против смертной казни и всколыхнуло общественное мнение не только острова Гернсея, но и всей Англии. Английское правительство трижды откладывало казнь, но в конечном счете

приговор был приведен в исполнение На следующий день после казни — 11 февраля 1854 г. — Гюго обратился с письмом к английскому министру внутренних дел Пальмерстону. Гюго обрушил всю силу своего красноречия против английской классовой юстиции, обличая ее лицемерную жестокость, и нарисовал картину народной нужды, бедствий и социальных контрастов буржуазной Англии, переживавшей тогда высший период своего расцвета.

Стр 283 *..нарушил присягу?* — Имеется в виду присяга на верность республике, нарушенная Луи-Наполеоном.

..украл двадцать пять миллионов? — Намек на деньги, взятые из банка накануне переворота по приказу Луи-Наполеона.

ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА 24 ФЕВРАЛЯ 1848 ГОДА

Французские эмигранты-республиканцы, жившие в Англии, ежегодно отмечали годовщину февральской революции. Гюго являлся непременным участником этих собраний Шестая годовщина отмечалась в условиях, неблагоприятных для эмиграции, во время Крымской войны и англо-французского союза в этой войне.

Стр. 287. *...Франция встретится с Россией и Австрией лицом к лицу...* — Гюго, как и многие республиканцы, видел в революционной войне против русского царизма и австрийского деспотизма путь к началу освободительной войны, которая приведет к объединению государств Европы.

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ ФЕЛИКСА БОНИ

Стр 294. *Союз двух держав и война.* — Имеется в виду союз Англии и Франции в войне против России (Крымская война).

Стр. 296. *..из-за какого-то ключа..* — См примечание к стр. 274. *...война, убивающая без оружейных залпов...* — Во время Крымской войны союзные армии несли большие потери вследствие эпидемий.

...позор, постигший нас на Черном море, — очевидно, отзвук полного разгрома на Балтийском море... — Гюго имеет в виду неудачные действия франко-английской эскадры, которая, обстреляв Одессу (21 апреля 1854 г.), понесла большие потери, а также неудачи эскадры адмирала Нэпира на Балтике.

Стр. 296—297. *..не выдала свою тайну под Кронштадтом...* — Намек на неудачную попытку англо-французской эскадры взять Кронштадт летом 1854 г.

Стр. 297. *...раскроет ли она ее под Севастополем?* — 21 сентября 1854 г. союзники — англичане и французы — подошли к Севастополю, героическая оборона которого продолжалась одиннадцать месяцев.

...дымится подожженная снарядами Одесса... — Гюго, основываясь на официальных реляциях, преувеличивает результаты бомбардировки Одессы франко-английской эскадрой (21 апреля 1854 г.); повреждения были незначительны, и вся операция носила демонстративный характер.

...жестокости, учиненные в Синопе... — 30 ноября 1853 г. русская эскадра адмирала Нахимова уничтожила в Синопской бухте турецкий флот.

...на них обрушиваются неслыханные бедствия... на смертоносной стоянке в Карвалыке... — Гюго имеет в виду эпидемию холеры, унесшую несколько тысяч английских и французских солдат.

Стр. 298. *Они засыпали картечью Палермо...* — Здесь и далее Гюго говорит об эпизодах, связанных с подавлением революции 1848—1849 гг. в Европе.

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА

В начале 50-х гг. XIX в. в связи с так называемым «восточным вопросом», то есть с вопросом о том, от кого из европейских держав будет зависеть слабеющая Турция, обострились международные отношения. Русский царизм мечтал о разделе Турции. Против него выступили Франция и в особенности Англия, которая не могла согласиться, чтобы Россия завладела Дарданеллами и Босфором. Франция, кроме того, видела в войне против России способ укрепления режима империи, придав ему блеск военных успехов. Война между Россией и Турцией началась с истребления турецкого флота в Синопской бухте. В марте 1854 г. Англия и Франция объявили войну России, а в 1855 г. к ним присоединилась Сардиния. Военные действия развернулись на морских границах России, на Дунае и в Крыму, где началась одиннадцатимесячная осада Севастополя. Восточная (Крымская) война показала отсталость крепостнической России и в то же время героизм русского народа.

Стр. 299. *Славная годовщина* — то есть годовщина начавшегося 29 ноября 1830 г. в Варшаве польского восстания.

Стр. 300. *Пий VII освятил миропомазанием Маренго...* — то есть короновал в 1804 г. Наполеона I императорской короной.

...Пий IX не решался освятить... бульвар Монмартр. — Гюго снова напоминает о расстреле толпы на парижских бульварах 4 декабря 1851 г.

Стр. 302. *Султан ответил отказом.* — Во время своего посольства А. С. Меншиков требовал заключения с Турцией договора, куда были бы включены пункты о праве царя покровительствовать всем православным подданным султана. Поддержанный Англией, султан 4 мая 1853 г. отказался подписать этот пункт, что привело к срыву переговоров и отъезду Меншикова из Константинополя.

Стр. 303. *«Маркиз, возьми Бреду!»* — Бреда — город и крепость в Нидерландах, взятые в 1625 г. после десятидневной осады испанскими войсками под командованием Спинолы. Гюго иронизирует по поводу постоянных требований Наполеона III быстрее покончить с сопротивлением Севастополя.

Стр. 307. *...дал Англии этот совет.* — См. в наст. томе «Двадцать третья годовщина польской революции».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛУИ БОНАПАРТУ

Стр. 309. *...Америка... была подходящим местом для господина Бонапарта...* — После неудачной попытки государственного переворота в Страсбурге в 1836 г. Луи-Наполеон был выслан правительством Июльской монархии в Соединенные Штаты Америки.

СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА 24 ФЕВРАЛЯ 1848 ГОДА

Стр. 310. *...Италия принадлежала бы Италии, Польша — Польше, Венгрия — Венгрии...* — Части раздробленной Италии — Ломбардия и Венеция — входили в состав Австрийской империи; в Риме (с 1849 г.) находился французский гарнизон; польские земли со времени раздела в XVIII в. и Венского конгресса 1815 г. были разделены между Пруссией, Австрией и Россией; Венгрия принадлежала Австрии.

Стр. 322. *...мост через Березину.* — В 1812 г. при переходе через Березину, после того как часть отступавшей французской армии перешла на другой берег, Наполеон I, опасаясь преследовавших его русских войск, приказал сжечь мост, и не успевшие переправиться тысячи французских солдат были уничтожены. Здесь это выражение употреблено в смысле: западня.

Стр. 323. *...стены Иерихона, разрушенные Иисусом Навином.* — По библейскому мифу, неприступные стены города Иерихона в Палестине рухнули от звука труб израильских воинов, предводительствуемых Иисусом Навином и завоевавших Палестину во II тысячелетии до н. э.

Во время Крымской войны, с целью укрепления франко-английского союза, Наполеон III в апреле 1855 г. посетил Англию, где провел пять дней. Он был торжественно встречен официальной Англией. От лица французских политических эмигрантов Гюго обратился к императору с этим письмом, которое было расклеено на стенах в Дувре.

Стр. 324. *...чтобы вам пожаловали подвязку?* — Во время своего визита в Англию Наполеон III получил от королевы Виктории орден подвязки.

Стр. 325. *Рабочие устроили там встречу Гайнау.* — В 1850 г. Гайнау, запятнавший себя дикими жестокостями при подавлении итальянской и венгерской революций, прибыл в Англию и был любезно встречен английской знатью; но при посещении им одной из фабрик рабочие выгнали его на улицу и забросали грязью, а стоявшие неподалеку извозчики отхлестали его кнутами; Гайнау скрылся от преследователей, спрятавшись в мусорный ящик. На следующий день он покинул Англию.

Стр. 326. *...традиционный мешок, набитый шерстью...* — Спикер (председатель) палаты лордов сидит на мешке с шерстью; обычай сохранился с того времени, когда шерсть была основой богатства страны.

Стр. 328. *...не Наполеон, высящийся на колонне...* — Намек на Вандомскую колонну в Париже, поставленную в честь побед Наполеона I и увенчанную его статуей; эта колонна, отлитая из захваченных у неприятеля пушек, — символ милитаризма.

Стр. 329. *...там, где нас видели с дубинкой полисмена в руках...* — Во время демонстрации чартистов 10 апреля 1848 г. английское правительство, испуганное размахом рабочего движения, призвало на защиту частной собственности добровольных полицейских, в числе которых был и живший тогда в Лондоне Луи-Наполеон.

...Луи-Филиппа, который вам сохранил жизнь... — После неудачной попытки государственного переворота в 1840 г. Луи-Наполеон был приговорен не к смертной казни, а к пожизненному заключению.

...и которого вы обобрали... — Одним из первых декретов Луи-Наполеона после государственного переворота был декрет 22 января 1852 г. о конфискации имущества бывшего короля Луи-Филиппа.

...Ланкастерская башня расскажет вам о Генрихе Безумном... — Имеется в виду одна из башен лондонского Тауэра, названная так в связи с тем, что в ней в годы феодальной распри Алой и Белой

розы был заключен последний король Ланкастерской династии Генрих VI.

Стр. 329. ...*Йоркская — о Ричарде-убийце.* — Имеется в виду одна из башен лондонского Тауэра, связанная с именем короля Йоркской династии Ричарда III, в которой по его приказу были задушены малолетний король Эдуард V и его брат.

...«*Правь, Британия*» *вперемежку с «Как в Сирию собрался»*... — «Правь, Британия» — слова английской патриотической песни: «Как в Сирию собрался прекрасный, юный Дюнуа» — чрезвычайно популярный во времена Первой империи романс, слова которого сочинила мать Наполеона III Гортензия Богарне, своего рода «гимн» бонапартистов во время Июльской монархии и Второй республики

«*T. F.*» — первые буквы французских слов *Travaux Forcés* — каторжные работы.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОДУ ВЫСЫЛКИ С ОСТРОВА ДЖЕРСИ

После визита королевы Виктории во Францию к Наполеону III Феликс Пиа написал ей письмо, которое было перепечатано в джерсиской газете, издаваемой политическими изгнанниками. Губернатор Джерси, признав письмо Пиа оскорбительным, выслал с острова редактора газеты Рибейроля и еще двух причастных к этому делу эмигрантов. От имени политических изгнанников Гюго обратился с декларацией протеста. В ответ на это власти 2 ноября 1855 г. выслали с Джерси писателя и еще нескольких эмигрантов. Гюго переехал на соседний остров Гернсей. Этот акт произвола вызвал протесты в различных частях Англии, и Гюго обратился со словами благодарности к английскому народу.

ИТАЛИИ

На Парижском конгрессе 1856 г., завершившем Крымскую войну, премьер-министр Сардинского королевства Кавур пытался привлечь внимание европейских держав к итальянским делам. Кавур и его сторонники стремились объединить страну не революционным путем, а вокруг Сардинского королевства, рассчитывая при этом на поддержку иностранных государств, в первую очередь Наполеона III. Деятельность Кавура усилила позиции сторонников монархического пути объединения Италии. Его поддерживали и некоторые участники революции 1848—1849 гг., ради единства отказавшиеся от республиканских принципов. Тогда Мадзини обратился к Гюго со следующим письмом:

«Я прошу вас сказать слово, обращенное к Италии.

В этот момент она склоняется в сторону королей. Предостерегите и образуйте ее.

Д. Мадзини»

Гюго получил это письмо 25 мая 1856 г. и на следующий же день ответил на него. В своем ответе он предостерегал итальянский народ против интриг монархов и министров, призывая его к борьбе за революционный путь объединения Италии.

Стр. 336. *...кодекс Наполеона...* — Так назывался Гражданский кодекс 1804 г., закрепивший завоевания буржуазной революции конца XVIII в. Кодекс был шагом вперед по сравнению с законодательством феодально-абсолютистской Европы, но отступлением от демократического законодательства якобинской диктатуры.

Стр. 338. *...создавшим достопамятное Учредительное собрание и триумvirат...* — Имеется в виду Учредительное собрание и правительство Римской республики.

Замок святого Ангела, форт Урбано, Иския — тюрьмы в Италии.

Стр. 339. *...великую римскую программу* — то есть программу Римской республики.

...«Италия не нация, а географическое понятие» — слова, сказанные на Венском конгрессе (1814—1815 гг.) австрийским канцлером Меттернихом, стремившимся сохранить австрийское влияние в раздробленной Италии.

ПИСЬМО А. РИГОНУЛОСУ

Стр. 340. *Нужно, чтобы Греция окончательно освободилась от турецкого ярма...* — Хотя Греция получила независимость в 1829 г., но под властью Турции в 1856 г. еще находились некоторые греческие области (Крит, Самос и др.).

...чтобы Италия свергла австрийский гнет... — В это время под властью Австрии находились еще Ломбардия и Венеция.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОДУ АМНИСТИИ

17 августа 1859 г. бонапартистское правительство Франции, заигрывая с либеральными элементами, опубликовало указ об амнистии за политические преступления. Это была вторая амнистия, не оговаривавшаяся никакими условиями (первая амнистия — в 1856 г. — допускала возвращение во Францию при условии призна-

ния бонапартистского режима). Многие эмигранты воспользовались возможностью возвратиться на родину, но ряд непримкримых республиканцев отказался принять амнистию из рук преступника — Наполеона III. К их числу принадлежал и Гюго, опубликовавший полное достоинства и непримиримой враждебности к бонапартистскому режиму письмо.

ДЖОН БРАУН

Восстание Джона Брауна — яркий эпизод приближающейся гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Ярый противник рабства, Браун решил начать борьбу за освобождение негров на Юге, в самых рабовладельческих штатах, считая, что рабы немедленно примкнут к восстанию. С группой сторонников, среди которых были его сыновья и родные, он захватил форт в городке Харперс-Ферри (штат Виргиния), но, не получив поддержки, после кровавой схватки потерпел поражение и тяжело раненным был захвачен в плен. Гюго выступил в защиту приговоренного к смерти Джона Брауна, но безуспешно: Браун был казнен торжествующими рабовладельцами.

Стр. 342. *...чарлзтоунские судьи..* — Суд над Брауном происходил в городе Чарлзтоуне (штат Виргиния).

Стр 343. *...ему дана отсрочка — он умрет 16-го.* — Это было неверное известие. Браун был казнен 2 декабря 1859 г., в то время, когда Гюго писал свое письмо.

ГАРИБАЛЬДИ

После высылки с острова Джерси (1855) Гюго почти пять лет прожил на соседнем острове Гернсее и лишь 18 июня 1860 г. посетил Джерси. Торжественно встреченный жителями Джерси, писатель обратился к ним с речью, которую посвятил Гарибальди, чье имя было тогда у всех на устах.

Весною 1860 г. Гарибальди с отрядом численностью около тысячи человек высадился на острове Сицилии, чтобы помочь восставшим крестьянам. Гарибальдийская «тысяча» разбила войска неаполитанского короля и, поддержанная широкими массами крестьян и ремесленников, освободила остров Сицилию, совершив «один из наиболее удивительных военных подвигов нашего столетия»¹. Вслед за освобождением Сицилии, несмотря на запрет Сардинского правительства, боявшегося испортить отношения с Парижем, Гарибальди перенес борьбу на полуостров, к сентябрю 1860 г. занял Неаполь и

¹ К Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. 2, стр. 61.

уничтожил реакционное Неаполитанское королевство. Как политик Гарибальди, однако, оказался ниже Гарибальди-полководца. Стремясь во что бы то ни стало завершить объединение Италии, он не провозгласил республику, а передал освобожденные земли сардинскому королю.

Стр. 347. ...не *«Бурбоны»*, а *«Бомбы»*. — Намек на прозвище неаполитанского короля Фердинанда II, подвергнувшего в феврале 1848 г. варварской бомбардировке город Мессину.

Стр. 349. *После Марсалы — Палермо; после Палермо — Мессина; после Мессины — Неаполь; после Неаполя — Рим; после Рима — Венеция; после Венеции — вся Италия!* — Гарибальдийцы высадились в Марсале 11 мая 1860 г. и вступили в Палермо 27 мая; дальнейшие прогнозы Гюго исполнились, но в другой последовательности: Мессина была занята 20 июня, Неаполь — в сентябре 1860 г., Венеция присоединена в 1866 г., а Рим — в 1870 г.

...Парфенон страхивает с себя полумесяц... — Гюго имеет в виду окончательное освобождение Греции от турецкого господства (полумесяц — государственная эмблема Турции).

Стр. 349—350. *...Стамбул снова становится Византией...* — Столица Византии Константинополь был завоеван турками в 1453 г., превращен в столицу Османской империи и переименован в Стамбул.

Стр. 350. *.. до лагун святого Марка...* — то есть до Венеции, покровителем которой считался святой Марк.

Стр. 351. *...1860 год является продолжением 1849* — то есть борьба Гарибальди за революционный путь объединения Италии — прямое продолжение революции 1848—1849 гг., основной задачей которой было достижение единства страны.

.. позорной виселицы Чарлзтоуна... — См. примечание к стр. 342.

Стр. 352. *...Россия примиряется с неизбежным* — то есть с освобождением крестьян от крепостной зависимости, которое было проведено несколько месяцев спустя.

НЕГРЫ И ДЖОН БРАУН

Стр. 359. *...он подал великий пример; он сломил деспотизм.* — Остров Гаити был колонией Франции; буржуазная революция конца XVIII в. дала толчок освободительному движению населения, и после длительной борьбы, ряда восстаний негров и мулатов остров в 1804 г. стал независимой республикой, которая в 1844 г. разделилась на две, существующие и по настоящее время, — Доминиканскую республику и Гаити.

В 1860 г. Англия и Франция вели грабительскую войну в Китае. В октябре 1860 г. их войска заняли находившийся близ Пекина летний городок китайских императоров Юань-мин-юань. В городке, окруженном многокилометровой стеной, находилось тридцать шесть дворцов, создававшихся на протяжении нескольких веков. Каждый богдыхан строил для себя новый дворец, и Юань-мин-юань превратился в редчайшее собрание сокровищ искусства и архитектуры — «жемчужину Китая». Захватив дворцы, колонизаторы — солдаты, офицеры и генералы — учинили дикий грабёж. Чтобы уничтожить следы варварского ограбления, лорд Эльгин 6 октября 1860 г. приказал сжечь Юань-мин-юань.

Стр. 360. *...оно звалось Летним дворцом.* — Точнее, там было тридцать шесть дворцов: Белый дворец — из фарфора, Большой богдыханский дворец, Бронзовый дворец, Дворец слоновой кости и др.

Стр. 361. *То, что сделали с Парфеноном...* — В 1810 г. отец лорда Эльгина, сжегшего Летний дворец в Пекине, Томас Брюс Эльгин разграбил афинский Акрополь и Парфенон, вывез оттуда лучшие памятники скульптуры.

ОСУЖДЕННЫЕ ИЗ ШАРЛЕРУА

Письмо содержит просьбу о помиловании девяти человек, приговоренных к смертной казни в Шарлеруа. Письмо Гюго было напечатано в бельгийских и английских газетах и возымело действие: семерым осужденным наказание было смягчено.

Стр. 364. *Виселица простерла свою тень на братоубийственную войну Соединенных Штатов.* — Гюго имеет в виду Джона Брауна, повешенного незадолго до начала Гражданской войны в США (1861—1865).

АРМАНУ БАРБЕСУ

Это письмо — ответ Барбесу, который после выхода в свет «Отверженных» обратился к Гюго со словами благодарности («во имя Франции, за ваше великое произведение»). В том же письме — от 15 июля 1862 г. — он благодарил Гюго за то, что в 1839 г. Гюго добился у Луи-Филиппа отмены смертного приговора, вынесенного Барбесу.

Первая часть романа «Отверженные» вышла в свет в апреле 1862 г. одновременно в Париже и в Брюсселе, куда вскоре после этого приехал Гюго. На встрече, организованной в честь писателя издателями его сочинений, Гюго произнес эту речь.

Стр. 370. *...как Италию без Рима.* — В это время в Риме еще сохранялась светская власть папы и находился французский гарнизон.

...храбрецу, который распростерт там на ложе страданий — то есть Гарибальди. После присоединения Неаполитанского королевства к Сардинскому важнейшей задачей стало присоединение к единой Италии Рима и превращение этого города в столицу. Так как итальянское правительство, послушное Наполеону III, не делало никаких шагов для разрешения этого вопроса, Гарибальди сам предпринял поход на Рим. Королевское правительство Италии, боясь осложнений с Францией, преградило путь гарибальдийцам. 29 августа, при Аспромонте, Гарибальди был тяжело ранен и взят в плен. Возмущение предательской расправой с национальным героем Италии было настолько велико, что король вынужден был освободить Гарибальди и после выздоровления отпраздновал его в ссылке на остров Капрера.

ЖЕНЕВА И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Во время пересмотра женеvской конституции (1862) возник вопрос о смертной казни. При первом голосовании Учредительное собрание сохранило ее. Тогда противники смертной казни обратились к Гюго с просьбой поддержать их. Гюго немедленно написал это письмо.

Стр. 374. *...начиная с 1828 года...* — Гюго имеет в виду «Последний день приговоренного к смерти»: написан в конце 1828 г., вышел в свет 7 февраля 1829 г. (см. т. I наст. изд.).

Стр. 376. *...послала бы Жана Вальжана...* — Жан Вальжан — герой романа Гюго «Отверженные».

Стр. 384. *...соперничество Женевы и Рима...* — В середине XVI в. Женева была центром крайней антикатолической реформации и местопребыванием яростного противника папского Рима — Кальвина.

ДЕЛО ДУАЗ

Розали Дуаз была арестована по ложному обвинению в убийстве отца, подвергнута бесчеловечным пыткам и приговорена 9 октября 1862 г. к бессрочной каторге. Невинность Дуаз скоро выяснилась, и в ее пользу была объявлена подписка.

К РУССКОЙ АРМИИ

Когда царские войска начали подавление польского национального восстания 1863 г., неизвестный русский офицер обратился к В. Гюго с просьбой написать воззвание к русской армии.

Ответом на это было обращение Виктора Гюго к русской армии. Оно появилось 15 февраля 1863 г. в герценовском «Колоколе» и во французской печати.

ПИСЬМО ГАРИБАЛЬДИ

После неудачной попытки завершить объединение страны взятием Рима сосланный на остров Капрера Гарибальди, готовясь к продолжению борьбы, обратился к В. Гюго со следующим письмом:

«Капрера, август 1863

Дорогой друг!

Мне нужен еще миллион ружей для итальянцев.

Я уверен, что вы поможете мне собрать необходимые средства.

Деньги будут храниться у г-на Адриана Лемари, нашего казначея.

Ваш Д. Гарибальди»

ВОЙНА В МЕКСИКЕ

Прогрессивное правительство Хуареса в Мексике, стремясь поправить расшатанные недавней гражданской войной финансы, приняло решение об отсрочке на два года платежей по иностранным займам. Это решение вызвало вооруженное вмешательство Англии, Франции и Испании. Английские и испанские войска скоро покинули страну, и в Мексике остались только французские вооруженные силы, начавшие войну против мексиканского народа. Захватив (1863) столицу страны, французские интервенты объявили о свержении правительства Хуареса и провозгласили в Мексике империю, объявив императором австрийского эрцгерцога Максимилиана. Мексиканский народ повел ожесточенную борьбу против захватчи-

ков и их ставленников. В результате французские войска должны были покинуть Мексику. Лишенная поддержки извне, марионеточная Мексиканская империя не продержалась и нескольких недель. Максимилиан был разбит, взят в плен и расстрелян, а в стране восстановлен республиканский режим. Авантюра в Мексике дорого обошлась французскому народу, подорвала экономику страны и полностью дискредитировала бонапартистский режим, приблизив его падение.

Письмо Гюго защитникам Пуэблы, написанное в 1863 г., явилось ответом на воззвание к французским солдатам, в котором защитники Пуэблы писали: «Кто вы такие? Солдаты тирана. С вами Наполеон, с нами Виктор Гюго».

Стр. 389. *«Тулон, 18 брюмера...»* — Здесь иносказательно говорится о пути Наполеона I — от защитника республики (взятие в 1793 г. мятежного Тулона) до контрреволюционного переворота, уничтожившего республику.

«...2 декабря, Тулон» — иронический намек на бесславный путь Луи-Наполеона, начавшего с контрреволюционного переворота 2 декабря и сделавшего Тулон пересыльным пунктом для жертв бонапартистского террора, отправляемых на каторгу и ссылку.

ТРЕХСОТЛЕТНИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШЕКСПИРА

В связи с трехсотлетней годовщиной со дня рождения Вильяма Шекспира во Франции был образован шекспировский комитет для организации 23 апреля 1864 г. праздника, посвященного великому английскому драматургу. В состав французского комитета вошли Барбье, Александр Дюма, Теофиль Готье, Франсуа-Виктор Гюго, Поль Мерис, композитор Гектор Берлиоз, историк Мишле и другие. Председателем единодушно был избран Виктор Гюго — «великий поэт и великий гражданин». 16 апреля 1864 г. Гюго ответил на письмо комитета, извещавшего его об этом.

Стр. 390. *«Англия провозглашает Гарибальди гражданином Лондона...»* — Гюго имеет в виду торжественную встречу и почести, которые оказал английский народ прибывшему в Лондон Гарибальди. «Шекспиров день превратился в день Гарибальди», — заметил по этому поводу А. И. Герцен.

Письмо написано Гюго в связи с получением офортов Керуа, изображающих город Блуа.

Стр. 395. *...он провел три года в башне Буржа и отведал железной клетки.* — Людовик XI годами держал своих врагов в железной клетке у себя в замке.

...оба они были сладостно умерщвлены женщинами по имени Мария. — Гюго имеет в виду Марию Стюарт, супругу Франциска II, и Марию Тюдор, младшую сестру английского короля Генриха VIII, на которой в 1514 г. женился Людовик XII.

К ШЕСТИСОТЛЕТНИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАНТЕ

Стр. 397. *...провозглашая свое единство...* — 18 февраля 1861 г. в Турине собрался парламент, избранный почти от всех областей Италии. 7 апреля Виктор-Эммануил был провозглашен королем Италии, и Сардинское королевство было преобразовано в Итальянское, со столицей во Флоренции (впредь до включения в его состав Рима).

Стр. 398. *Она познала, увы, все семь кругов ада...* — В первой книге «Божественной комедии» Данте изображает ад разделенным на девять кругов (у Гюго ошибочно — семь); в переносном смысле слова: испытала полную меру страданий.

Стр. 399. *«Трактат о преступлениях и наказаниях»* — основное сочинение Беккариа.

КРИТ

Остров Крит с XVI в. находился под властью Турецкой империи. Население острова — в большинстве своем греки — неоднократно поднималось на борьбу против своих угнетателей. В июле 1866 г. на острове снова началось упорное и длительное восстание, охватившее все население. В сентябре 1866 г. созданное в Сфакии Национальное собрание провозгласило независимость Крита и расторжимость его союза с Грецией. Высадившиеся турецкие войска встретили упорное сопротивление. Борьбе критян сочувствовали не только Греция, но и передовые круги европейского общества; из различных стран на Крит прибывали добровольцы. Но в конце концов сопротивление было подавлено, не столько вооруженной рукой турецких солдат, сколько в результате дипломатического

давления европейских держав на Грецию, правительство которой с декабря 1868 г. прекратило помощь Криту. Горсть повстанцев продолжала героическую борьбу до начала 1869 г.

Стр. 401. *Из города Фидия и Эхила...* — то есть из Афин.

...корма которого украшена тиарой, а нос — чалмой... — Имеются в виду папа и султан.

Стр. 402. *Потопленная Польша снова выплывает на поверхность.* — Намек на польское восстание 1863 г.

Уже девяносто четыре года носится это мертвое тело... — Гюго имеет в виду первый раздел Польши (1772).

Италии нельзя вернуть Венецию, не возвратив Крит грекам. — После австро-прусской войны 1866 г. Италия, как союзница победоносной Пруссии, получила от Австрии Венецианскую область.

...как полгода назад на Германию. — Имеется в виду австро-прусская война 1866 г.

ОТВЕТ НАРОДУ КРИТА

Письмо Гюго является ответом на полученное им следующее обращение:

«Народ Крита — Виктору Гюго

*Омалос (Кидонийская епархия,
Крит), 16 января 1867*

Дуновение твоего могучего духа долетело до нас и осушило наши слезы.

Мы говорили нашим детям: «За морями есть великодушные, сильные народы, они хотят справедливости и разорвут наши оковы. Если мы погибнем в борьбе, если мы оставим вас сиротами, обреченными скитаться в горах с голодными матерями, эти народы усыновят вас, и вам больше не придется страдать».

Однако мы тщетно глядели на запад. Никакой помощи оттуда не было. Наши дети говорили: «Вы нас обманули». Но пришло твое письмо, более ценное для нас, чем самое отборное войско.

Ибо оно подтверждает нашу правоту.

Потому мы и восстали, что мы убеждены в ней.

Бедные горцы, плохо вооруженные, мы и не надеялись своими слабыми силами победить два больших государства, Египет и Турцию, объединившиеся против нас.

Но мы хотели воззвать к общественному мнению — единственному, как нас уверяли, властителю современного мира, — воззвать к тем великим душам, которые, подобно тебе, руководят этим мнением.

Благодаря успехам науки материальная мощь в наше время принадлежит цивилизации. Четыре века назад Европа была бессильна против варваров. Ныне она предписывает им законы.

Поэтому, когда Европа захочет, она положит конец угнетению одних людей другими.

Почему же Европа допускает, чтобы в виду итальянского побережья, в центре Средиземного моря, в тридцати часах пути от Франции продолжала существовать власть пашы, как в те времена, когда турки осаждали Странто в Италии и Вену в Германии?

Совсем недавно в Америке отменили рабство негров. Но наше рабство не в пример более омерзительно, не в пример более тягостно, чем была их неволя. Несмотря на все хартии, хозяин-турок всегда более жесток, нежели гражданин Соединенных Штатов.

Если бы ты мог узнать историю каждой из наших семей так, как ты знаешь историю нашей несчастной страны, ты всюду и везде увидел бы изгнания, преследования, смерть, отцов, изрубленных саблями наших тиранов, матерей, насильственно разлученных с маленькими детьми и ввергнутых в позорнейшее рабство, обесчещенных сестер, убитых или изувеченных братьев.

Тем, кто имеет возможность спасти нас и допускает, чтобы мы так жестоко страдали, мы скажем лишь одно: неужели вы не знаете правды?

Когда два корабля, один английский, другой русский, высадили в Пирее несколько наших семейств, при этом были иностранцы. Эти иностранцы увидели, что мы не преувеличивали своих мучений.

Поэт, ты — светоч! Заклинаем тебя — просвети тех, кто нас не знает, тех, кого обманщики восстановили против нашего святого дела.

Поэт — на нашем прекрасном языке это слово значит «творец»; подобно древним певцам, ты творишь народы.

Своими прекрасными «Восточными поэмами» ты уже много сделал для создания современного греческого народа.

Заверши свое дело.

Ты называешь нас победителями. Мы победим благодаря тебе.

Именем критян, по поручению военачальников
Крита правитель четырех областей Кании

И. Зимбракис

В 50-х гг. XIX в. в Ирландии было основано Ирландское революционное братство, вскоре названное фенианским (фении — название древнеирландских воинов). По своему составу организация фениев была демократической, но тактика, с помощью которой она хотела добиться независимой ирландской республики, была ограниченной, заговорщической. Заговор фениев был раскрыт незадолго до намеченного дня выступления, — аресты, процессы ослабили организацию и привели к неудаче восстание 1867 г. Брошенные в тюрьмы фении подвергались жестокому обращению, многим грозила смерть. В защиту фениев выступили прогрессивные представители различных стран. К. Маркс и Ф. Энгельс и руководимый ими I Интернационал также подняли свой голос в защиту фениев. В результате этой кампании, в том числе и выступления Гюго фении не были казнены.

Стр 407. *.. Англия приветствовала Кошута...* — Кошут в 1851 г. прибыл в Англию, встреча Кошута превратилась в мощную демонстрацию сочувствия незадолго до того подавленной Венгерской революции.

...польские, греческие, итальянские комитеты. — Англия предоставляла право убежища политическим эмигрантам, которые создавали там свои организации

Будьте Испанией — здесь в смысле — реакционной страной.

Стр. 409. *Habeas corpus* — изданный в 1679 г. закон, ограничивающий судебный произвол в отношении отдельных личностей. Парламент в случае необходимости мог приостанавливать действие этого закона, чем английские реакционные правительства широко пользовались.

Стр 410 *...Англией управляет женщина в трауре...* — У королевы Виктории незадолго до этого умер супруг — принц-консорт Альберт Саксен-Кобургский.

ПРЕЗИДЕНТУ МЕРСИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Письмо написано 20 июня 1867 г., то есть фактически на следующий день после казни Максимилиана, о чем Гюго не мог знать.

Стр. 410. *.. напали две монархии...* — Гюго имеет в виду Францию и Испанию.

МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ ДЖОНА БРАУНА

Парижская газета «Ла Кооперасьон», закончив подписку для вручения медали вдове Линкольна, открыла подписку на вручение такой же памятной медали вдове Джона Брауна и в связи с этим обратилась 30 июня 1867 г. к Гюго с письмом, в котором писала: «Ваше имя должно стоять в самом начале списка».

ОТВЕТ МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

В период Второй империи все произведения Гюго находились под запретом. В 1867 г. правительство, заигрывая с либеральными кругами, сняло запрет с «Эрнани». Первый же спектакль принял характер политической демонстрации. Вскоре запрет был наложен снова и удержался не только до конца империи, но и в первые годы Третьей республики. После спектакля 20 июня 1867 г. группа молодых поэтов (в том числе Сюлли-Прюдом, Поль Верлен и др.) обратилась к Гюго с письмом, которое мы приводим полностью:

«Дорогой и прославленный мэтр!

Только что мы самыми восторженными аплодисментами встретили вторичное появление на сцене вашего «Эрнани».

Новый триумф величайшего поэта Франции был огромной радостью для всей молодой поэзии. Вечер 20 июня составит эпоху в нашей жизни.

И все же этот праздник был омрачен грустью. Ваше отсутствие было тягостно для тех, кто разделял с вами славу в 1830 году и кто не мог пожать руку учителя и друга, но оно было еще большим горем для молодых, для тех, кому никогда не было дано коснуться руки, написавшей «Легенду веков».

Они хотят по крайней мере послать вам, дорогой и прославленный мэтр, выражение своей почтительной привязанности и безграничного восхищения».

Стр. 414. *Литературная революция 1830 года...* — Гюго имеет в виду удары по классицизму, нанесенные революционными романиками. Одним из таких ударов была драма «Эрнани», порывавшая с канонами классической трагедии.

МАНИИ

После австро-прусской войны 1866 г., в которой на стороне победившей Пруссии участвовала Италия, Венеция была возвращена Италии. В 1868 г. венецианские патриоты приняли решение пере-

нести прах Манина в родной город, борьбу за независимость которого он когда-то возглавлял. Гюго получил приглашение присутствовать при перенесении останков Манина в Венецию. Это письмо является ответом на приглашение.

Стр. 417. *...знаменательный день 22 марта.* — 22 марта 1848 г. была провозглашена Венецианская республика (Республика святого Марка).

Венеция была отнята у Манина, как Рим был отнят у Гарибальди. — Гюго имеет в виду подавление австрийцами Венецианской республики в 1849 г., после чего Манин вынужден был эмигрировать; Гарибальди командовал войсками Римской республики, в 1862 и 1867 гг. пытался захватить Рим, но был остановлен, в первый раз итальянскими, во второй раз итальянскими, папскими и французскими войсками.

Франция в такой же мере не имеет права навязывать свою волю Риму, в какой Австрия не имела права навязывать свою волю Венеции. — Гюго имеет в виду французский гарнизон, находившийся в Риме с 1849 г.; до 1866 г. Венеция принадлежала Австрии.

ГЮСТАВ ФЛУРАНС

Письмо написано Гюго в защиту Флуранса, который был в числе добровольцев, отправившихся на помощь народу Крита, восставшему против турецкого владычества.

Через три недели после опубликования этого письма В. Гюго получил следующий ответ от Флуранса:

Неаполь, 25 июля 1868

Мэтр!

Благодаря вам я вне тюрьмы и вне опасности. Общественная совесть заставила правительство выпустить человека, за которого вступился Виктор Гюго. Барбес обязан вам жизнью, я обязан вам свободой.

Гюстав Флуранс»

Стр. 418. *Когда вспыхнуло восстание на Крите...* — Восстание началось летом 1866 г.; Флуранс отправился на Крит в 1867 г. и находился там в течение года.

В сентябре 1868 г. в Испании началась революция. Королева Изабелла II бежала за границу. Все прогрессивные силы страны требовали провозглашения республики. В. Гюго горячо поддерживал это требование. Однако в феврале 1869 г. кортесы (испанский парламент), вопреки воле народа, объявили Испанию монархией.

Стр. 420. *...учредил кортесы в Леоне...* — Кортесы (сословное собрание) с участием представителей третьего сословия впервые собрались в 1188 г. в королевстве Леон; английский парламент был создан в 1265 г.

Стр. 420—421. *...у него была своя клятва в Jeu-de-Raume...* — В 1789 г. депутаты французского Национального собрания произнесли в зале для игры в мяч (Jeu de Raume) торжественную клятву не расходиться до тех пор, пока они не выработают конституцию; в конце XIII в., при короле Санчо IV, депутаты кортесов в Медина дель Кампо дали клятву бороться против королевского произвола.

Стр. 421. *...со времени кортесов в Борхе, третье сословие Испании стало преобладающим...* — Кортесы в Борхе (королевство Арагон) состояли из представителей знати; третье сословие в арагонских кортесах стало преобладающим с конца XIII в.

...в 1307 году, при Альфонсе III, испанский народ провозгласил право на восстание... — Гюго допускает неточность; право городов и знати на восстание против короля, творящего акты произвола, было провозглашено в 1285 г., и король Кастилии Санчо IV был вынужден признать это право.

...в Арагоне он ввел должность, которая именовалась «правосудие» и стояла выше должности... «король»... — В XI в. в Арагоне была введена должность «хустисиа» (по-испански правосудие); с 1265 г. хустисиа получил право разбирать тяжбы между королем и дворянами.

...отказался платить налоги Карлу V. — В 1516 г. кортесы ряда провинций Испании не платили налогов королю до тех пор, пока он не удовлетворил их требования.

Рождаясь, этот народ нанес поражение Карлу Великому, а умирая — Наполеону. — В 778 г. Карл Великий совершил поход в Испанию, но потерпел неудачу; в 1803—1813 гг. испанский народ

вел самоотверженную, героическую борьбу против французского нашествия и нанес наполеоновским войскам ряд поражений.

Стр. 422. ...*Португалия... вернулась бы в состав Испании...* — С 1581 по 1640 г. Португалия входила в состав Испании.

II

Стр. 424. *То, что Англия сделала в 1838 году...* — У Гюго неточность: акт об отмене невольничества в английских колониях был издан 23 августа 1833 г.

Стр. 425. ...*на Гибралтар больше и на Кубу меньше* — то есть захваченный Англией в 1704 г. Гибралтар будет возвращен Испании, а Испания освободит остров Кубу, где тогда происходило восстание против испанских порабощителей.

РЕДАКТОРАМ-ОСНОВАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «РАППЕЛЬ»

В 1869 г. в Париже стала выходить газета «Раппель», редакторами которой были сыновья Гюго — Шарль и Франсуа-Виктор, а также друзья В. Гюго — Поль Мерис, Огюст Вакери и Анри Рошфор.

Стр. 427. *Будучи наделен полномочиями, действие коих приостановлено, но срок которых не истек...* — Гюго имеет в виду свои полномочия депутата Законодательного собрания, незаконно распущенного во время государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Стр. 429. *В политике он поднимает знамя 1789 и 1792 годов, в литературе — знамя 1830 года.* — Имеется в виду буржуазная революция конца XVIII в. и победоносное столкновение демократического романтизма с реакционным классицизмом.

КОНГРЕСС МИРА В ЛОЗАННЕ

Стр. 437. *Мои социалистические убеждения восходят к 1828 году.* — Гюго имеет в виду влияние, которое на него оказали слабые стороны учения социалистов-утопистов, считавших, что любовь, добро, милосердие являются теми этическими началами, с помощью которых можно преобразовать буржуазное общество.

Феликс Пиа 15 августа 1869 г., после изгнания, вернулся во Францию и стал деятельным сотрудником газеты «Раппель». Его антибонапартистские статьи и выступление на банкете, где он предложил тост в честь пули, которая будет выпущена в императора, навлекли на него судебное преследование. Пиа был вынужден снова эмигрировать. Прибыв в Лондон, он написал письмо Гюго (9 сентября 1869 г.), в котором обрисовал, исходя из своих наблюдений, внутреннее и внешнее положение Второй империи.

ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1869 ГОДА

В октябре 1869 г. во Франции возник конституционный кризис. По конституции, сессия палат должна была открыться 26 октября, правительство же назначило ее на 29 октября. Это вызвало резкие возражения республиканцев. Луи Журдан опубликовал в газете «Сьекль» статью, в которой писал, что сейчас на одном полюсе находится император Наполеон III, а на другом — Виктор Гюго, и просил последнего выразить свое мнение по поводу событий, происходящих во Франции.

Стр. 440. ...манифестацию 26 октября. — В знак протеста против отсрочки открытия сессии Законодательного корпуса депутаты-республиканцы решили организовать шествие к Бурбонскому дворцу и явочным порядком открыть сессию палат. Однако затем они отказались от своего плана, опасаясь репрессий правительства, а также выступления народных масс, участие которых угрожало расширить протест за рамки, какие имела в виду республиканская буржуазная оппозиция.

...отказ от присяги. — С 1858 г. кандидаты в депутаты Законодательного корпуса должны были приносить присягу верности императору.

ШАРЛЮ ГЮГО

Стр. 441. ...великий продолжатель дела Бодена... — 2 ноября 1868 г. на могиле Бодена была устроена республиканская демонстрация и объявлена подписка на памятник Бодену. Правительство предало суду участников демонстрации. Одним из защитников на процессе выступил тогда еще молодой адвокат Гамбетта, обличительная речь которого против Второй империи положила начало его популярности.

Стр. 442. *Когда готовилось установление империи, кто... голо-
совал против нее?* — При установлении империи (1804) и проведе-
нии плебисцита армия, в которой сильны были республиканские тра-
диции, дала много отрицательных голосов

Стр. 443. *Она арестовала папу.* — Имеется в виду папа
Пий VII.

Кто боролся с ней в Испании и в Италии? Священники. —
Гюго забывает, что армия Наполеона I действовала в Испании как
захватническая, а испанский народ вел с ней справедливую, осво-
бодительную войну, характера которой не мсняет тот факт, что во
главе многих партизанских отрядов, в основном крестьянских,
стояли представители католической церкви, имевшей огромное влия-
ние в отсталой Испании.

...во времена Жозефа — то есть Жозефа Бонапарта, который
был королем Испании в 1808—1814 гг.

О КУБЕ

С начала XIX в. остров Куба становится очагом восстаний про-
тив испанских колонизаторов. Крупнейшим и наиболее продолжи-
тельным явилось восстание 1868—1878 гг. Повстанцы, укрываясь
в лесах и горах, вели мужественную борьбу с превосходящими си-
лами испанцев. Многие жители Кубы, спасаясь от преследований,
бежали в Соединенные Штаты. Из Нью-Йорка более трехсот жен-
щин Кубы обратились к В. Гюго с просьбой выступить в защиту
Кубы.

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ ЭНВЕТА ДЕ КЕСЛЕРА

Стр. 450. *...памятная тем, что на ней пал депутат народа.* —
Имеется в виду Боден, погибший на баррикаде 3 декабря 1851 года.

ТРУД В АМЕРИКЕ

Стр. 455. *...трудовая коалиция рабочих...* — Речь идет о Нацио-
нальном рабочем союзе, основанном в 1866 году.

ПЛЕБИСЦИТ

20 апреля декретом Наполеона III были незначительно расши-
рены права Законодательного корпуса и введено ответственное
перед парламентом министерство. В мае 1870 г. правительство про-
вело плебисцит; французы должны были дать ответ на вопрос —

одобряют ли они реформы, проведенные правительством с 1860 г. Правительство рассчитывало, что одобрение незначительных реформ явится одновременно и одобрением бонапартистского режима в целом. Результаты плебисцита не были благоприятными для империи, так как хотя Наполеону III и удалось собрать большинство голосов, но Париж и часть армии ответили: «Нет!» — выразив этим недоверие императору.

Стр. 457. *...возвеличить Германию и унижить Францию с помощью Садовой...* — После битвы при Садовой, завершившей астропрусскую войну, в 1867 г. был создан Северо-германский союз, куда вошло, под верховенством Пруссии, большинство немецких государств; на границе Франции появилось вместо раздробленной Германии сильное милитаристское государство, что ухудшило положение Второй империи.

...взять и упустить Люксембург... — Гюго имеет в виду неудачную попытку Наполеона III получить за свой нейтралитет в австро-прусской войне 1866 г. герцогство Люксембургское.

...обещать какому-то эрцгерцогу Мехико и дать ему Керетаро... — См. примечание к статье «Война в Мексике».

...принести Италии освобождение и свести его к вселенскому собору... — Гюго напоминает о предательской политике Наполеона III в войне 1859 г., начатой якобы в интересах национального освобождения Италии, а завершившейся сепаратным миром, передавшим Италии Ломбардию, но оставившим Венецию под властью Австрии; имеется в виду также Ватиканский собор 1869—1870 гг., увеличивший духовный престиж папы.

Стр. 458, *...способствовать поражению республиканской Испании...* — После испанской революции 1868 г. французское правительство противодействовало образованию республики и вмешивалось в вопросы, связанные с кандидатурой на вакантный испанский трон.

...суд, затыкающий уши при звуке пистолетного выстрела... — Намек на убийство принцем Пьером Бонапартом (кузеном императора) 10 января 1870 г. журналиста Виктора Нуара. Похороны Нуара вызвали крупнейшую в истории Второй империи демонстрацию. Суд оправдал принца-убийцу, бросив вызов общественному мнению.

Стр. 459. *...Италии без Рима...* — В это время Папская область и Рим находились еще под властью папы,

...суду с клеймом «Л. Н. Б.» — то есть Луи-Наполеон Бонапарт,

Стр. 464. *...отторжения Меца и Страсбурга?* — По Франкфуртскому миру 1871 г., завершившему франко-прусскую войну, к Германии отошли Эльзас и Лотарингия, на территории которых расположены Мец и Страсбург.

Стр. 465. *...выдержать чудовищную пятимесячную осаду...* — Осада Парижа во время франко-прусской войны продолжалась с 19 сентября 1870 г. по 28 января 1871 г.

...тяжелой пятой ландвера... — то есть прусской армии.

...вслед за Берлином — Рим. — Гюго говорит о создании Германской империи (1871) и о провозглашении догмата непогрешимости папы на Ватиканском соборе (1870) как о воскрешении средневековых институтов.

Стр. 468. *...к искреннему... гневу народа примешались и происки бонапартистов и происки легитимистов.* — Гюго напоминает о том, что отдельные бонапартисты и легитимисты пытались захватить руководство июньским восстанием рабочих Парижа в 1848 г.

Стр. 475. *...сначала — нападение чужеземцев на наше отечество, затем — братоубийственная война французов против французов.* — Речь идет о франко-прусской войне и о борьбе между коммунарами и версальцами.

Стр. 484. *...ученики Квиринала...* — Выражение употреблено в смысле: клерикалы; Квиринал — дворец в Риме, служивший до 1870 г. летней резиденцией пап.

Стр. 485. *...будет дан ход закону... который был принят ныне покойным Собранием.* — Имеется в виду принятый Национальным собранием 12 июля 1875 г. реакционный «Закон о свободе высшего образования», распространявший влияние церкви и на высшие школы.

..кемадеро Севильи — то есть костры, на которых по приговору инквизиции сжигали еретиков.

...удушение Катона рукою Борджа — то есть удушение республики рукой тирана.

Стр. 486. *В нынешний час Рим подчинил себе Бельгию...* — В Бельгии с 1870 по 1878 г. у власти находились католические министры.

Стр. 488. *...человек, которого нет больше в числе кавалеров ордена Почетного Легиона...* — Имеется в виду маршал Базен.

Стр. 489. *...22 мая 1876 года...* — В этот день В. Гюго выступил в сенате с требованием амнистии коммунарам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

5 сентября 1870 г., на следующий день после свержения империи и провозглашения республики, Гюго вернулся на родину из девятнадцатилетнего изгнания. В Париже писателя встретила большая толпа, к которой он обратился с этой речью.

ВОЗЗВАНИЕ К НЕМЦАМ

Седанская катастрофа покончила со Второй империей. 4 сентября 1870 г. Франция стала республикой, и вместе с тем война со стороны Германии превратилась в захватническую. Германские армии шли на Париж с целью захвата французских земель. В этот момент Гюго написал свое воззвание «К немцам».

Стр. 495. *Жюль Фавр красноречиво сказал вам об этом...* — Имеется в виду сделанное 6 сентября 1870 г. министром иностранных дел Жюлем Фавром заявление: «Мы не уступим ни одной пяди нашей земли, ни одного камня наших крепостей»; в действительности же правительство в это время начало с немцами переговоры о мире.

Стр. 496. *...народ «Закованных в броню сонетов» и «Клича шпаги».* — «Закованные в броню сонеты» и «Клич шпаги» — немецкие патриотические песни времен освободительной войны 1813—1814 гг. против Наполеона.

Стр. 497. *...вслед за Омаром пожар библиотеки человечества...* — то есть известной в древности Александрийской библиотеки, поджог которой приписывается халифу Омару, хотя в действительности она была уничтожена ранее христианскими церковными фанатиками.

ВОЗЗВАНИЕ К ФРАНЦУЗАМ

Стр. 500. *Крестьяне Испании первыми разбили Наполеона.* — 20 июня 1808 г. под Байленом генерал Дюпон сдался испанцам; это было первое поражение считавшейся непобедимой армии Наполеона, который так и не мог справиться с испанским народом, начавшим против него партизанскую войну.

Стр. 501. *Вольные стрелки* — так назывались вооруженные патриоты (франтиреры), боровшиеся против немецких оккупантов во время франко-прусской войны; это же название было воскрешено

во время второй мировой войны, при борьбе с гитлеровскими оккупантами.

...как вы сожгли Страсбург. — Город Страсбург за оказанное немцам сопротивление был подвергнут жесточайшей бомбардировке.

ПРИБЫТИЕ В БОРДО

28 января 1871 г. французское правительство, более всего боявшееся парижских рабочих, капитулировало, сдало Париж и подписало перемирие с Германией. 8 февраля были проведены выборы в Национальное собрание, которое должно было подписать мирный договор. За десять дней страна, треть которой к тому же была оккупирована врагом, не могла подготовиться к выборам, правильно оценить обстановку, и провинция послала в Собрание реакционное большинство — «худших людей Франции». В революционном Париже были избраны в большинстве левые депутаты, в том числе и В. Гюго, получивший 214 169 голосов. Местом своего пребывания Национальное собрание избрало город Бордо.

ЗА ВОЙНУ В НАСТОЯЩЕМ И ЗА МИР В БУДУЩЕМ

На заседании 1 марта 1871 г. Национальное собрание приняло предварительные условия мира с Германией и возложило ответственность за поражение в войне на Наполеона III.

Писатель выступал против подписания позорного мира, против реакционного большинства собрания, которое «диким ревом... заглушило слова Виктора Гюго».

Стр. 508. *...услышать жалкий лепет в защиту империи.* — На этом заседании Национального собрания несколько бонапартистов выступили в защиту Наполеона III и восхваляли низвергнутую империю. Эти выступления вызвали резкие протесты левой части Собрания, в том числе и Гюго.

...город... которым они не сумели овладеть... — Гюго имеет в виду капитуляцию Парижа, произошедшую на небывалых в военной истории почетных условиях. Регулярные части сдали оружие и стали военнопленными, а национальная гвардия не была разоружена и сохранила свою организацию. Немцы же из страха перед вооруженным народом не решились оккупировать Париж.

Стр. 509. *...факт появления средневекового императора рядом с... средневековым папой.* — Гюго имеет в виду провозглашение верховенства церкви над государством и догмата непогрешимости

папы на Ватиканском соборе (1870), а также провозглашение 18 января 1871 г. в Версале Германской империи во главе с Вильгельмом I.

Стр. 510. *...парламент, укрощаемый тюремным заключением для ораторов...* — Намек на заключение в тюрьму социалистических депутатов германского рейхстага А. Бебеля и В. Либкнехта.

Стр. 512. *Англичане завоевали Францию...* — Во время Столетней войны (1337—1453) Англия захватила значительную часть французской территории.

Стр. 513. *...как Рим изучал тактику карфагенян...* — Во время Пунических войн (264—146 до н. э.) Римская республика после тяжелой борьбы, учтя уроки первых поражений, разгромила Карфаген.

Стр. 514. *...ты меня избавила от моего императора...* — то есть Наполеона III, который был взят в плен при Седане (2 сентября 1870 г.), что явилось последним толчком к революции и провозглашению республики (4 сентября 1870 г.).

ОТСТАВКА ДЕПУТАТОВ ЭЛЬЗАСА И ЛОТАРИНГИИ

Стр. 514. *...депутаты Эльзаса и Лотарингии, в порыве благородного горя, подали в отставку.* — После того как 1 марта 1871 г. Национальное собрание приняло предварительные условия мира с Германией, передающие последней Эльзас и Лотарингию, двадцать восемь депутатов от этих областей коллективно подали в отставку.

...я сын человека, защищавшего Тионвиль. — Стец писателя генерал Сижизбер Гюго в 1814 г. возглавлял оборону Тионвиля (Лотарингия) против вторгшихся во Францию войск антинаполеоновской коалиции.

Стр. 515. *Мужественный мэр Страсбурга только что умер от нее.* — Во время оглашения заявления подавших в отставку депутатов Эльзаса и Лотарингии мэр города Страсбурга Кюсс скоропостижно скончался.

Стр. 516—517. *...Собрания, рожденного взаимным непониманием между Францией и Парижем...* — Выборы в Национальное собрание происходили в обстановке клеветы реакционных кругов на Париж и его революционных рабочих.

Стр. 517. *...у большинства в Собрании одна цель — монархия.* — В Национальном собрании 1871 г. более двух третей депутатов составляли монархисты.

После подписания предварительных условий мира стал вопрос о переезде Национального собрания из Бордо. Ненависть реакционеров к революционному Парижу была настолько велика, что большинство депутатов высказалось против переезда в Париж. «Париж посылает нам... революции!» — выражая общее мнение реакции, воскликнул один из представителей правых. В защиту Парижа безуспешно выступали Луи Блан, Сильва и, наконец, Гюго. 10 марта Собрание приняло решение перенести свои заседания в Версаль — старую резиденцию французских королей.

Стр. 521. *Пруссии там уже нет...* — По условиям перемирия немецкие войска 1 марта вступили в Париж, но, встретив непримиримую враждебность вооруженных парижских рабочих, через два дня покинули город и до подписания мира оставались под Парижем.

Стр. 524. *...там, где обосновался король Пруссии...* — Во время осады Парижа резиденцией прусского короля и германского командования был Версаль.

ОТКАЗ ОТ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА

Итальянский национальный герой Гарибальди сражался во время франко-прусской войны на стороне Франции. Несколько департаментов избрали его своим депутатом в Национальное собрание. Гарибальди прибыл в Бордо, но ненавидевшее его, как врага папы и борца за свободу, реакционное большинство Собрания на первом же заседании отказалось предоставить ему слово. Гарибальди подал в отставку.

8 марта 1871 г. в Национальном собрании были оглашены результаты выборов в Алжире, где громадным большинством голосов был избран Гарибальди. Реакционное большинство предложило аннулировать его мандат. Тогда выступил Гюго.

Вскоре после своей отставки В. Гюго получил от Гарибальди следующее письмо:

«Капрера, 11 апреля 1871

Дорогой Виктор Гюго!

Мне уже давно следовало выразить вам чувство благодарности за огромную честь, которую вы мне оказали в Собрании в Бордо.

Но нужны ли письменные заверения! Ведь наши души отлично понимают друг друга: ваша — вследствие оказанного благодеяния, моя — благодаря дружбе и признательности, которые я испытываю к вам с давних пор.

Ваша речь в Бордо явилась высокой наградой для меня, посвятившего всю жизнь служению священному делу человечества, первым апостолом которого вы являетесь.

Навеки преданный вам

Гарibaldi»

ПИСЬМО ПОЛЮ МЕРИСУ И ОГУСТУ ВАТЕРИ

Во время Парижской Коммуны Гюго жил в Брюсселе, куда он уехал 21 марта 1871 г. Он следил за событиями в Париже, но не понял значения Коммуны, открывшей новую эпоху в истории человечества. К тому же, сведения о действиях правительства Коммуны доходили до Гюго в искаженном виде в клеветнических статьях бельгийских и французских буржуазных газет. Гюго солидаризировался с теми кругами, которые пытались добиться примирения коммунаров с версальцами, не понимая невозможности этого акта. Все попытки соглашения с версальцами, предпринятые Лигой прав Парижа, мэрами некоторых округов города и другими, преследовали в конечном счете ликвидацию власти рабочих и стремились свести роль Парижской Коммуны к роли обыкновенного городского муниципалитета. Близкая Гюго газета «Раппель» поддерживала эти идеи.

Стр. 533. *Париж — это коммуна, это самостоятельная община...* — Здесь и далее Гюго показывает, что он не понял значения первого опыта диктатуры пролетариата и считал Коммуну обыкновенным городским самоуправлением.

Город Лондон обладает такими правами, что может остановить перед своими воротами самого короля Англии. — Речь идет о сохранившихся средневековых привилегиях лондонского Сити, по которым король без разрешения самоуправления Сити не может пройти на его территорию. Эта привилегия имеет чисто символический характер.

Стр. 534. *Национальное собрание, или, точнее говоря, его большинство.* — Поводом для восстания 18 марта 1871 г. в Париже была попытка отнять пушки у вооруженных рабочих Парижа. Гюго ошибается, говоря о непредумышленности этого шага. Известно, что эта провокация была заранее разработана и имела своей целью разоружение и последующее подавление парижских пролетариев.

Стр. 535. *...доводам Луи Блана...* — Имеется в виду выступление Луи Блана на заседании Национального собрания в Бордо 6 марта 1871 г., где он требовал переезда Собрания в Париж.

Стр. 536. ...*Коммуна... состоящая почти целиком из неизвестных лиц...* — В Коммуне наряду с представителями рабочих и трудовой интеллигенции, впервые ставшими государственными деятелями (в этом не недостаток, а заслуга Коммуны — первой диктатуры пролетариата), были и многие известные политические фигуры, как, например, Флуранс, Варлен, Делеклюз, Пиа и другие.

Стр. 537. ...*кроме объяснений, приведенных Коммуной в оправдание разрушения Вандомской колонны...* — Вандомская колонна была сооружена в 1806—1810 гг. (из захваченных в 1805 г. трофейных пушек) в честь побед Наполеона I и увенчана его статуей. 12 апреля 1871 г. Коммуна постановила снести колонну, как «символ грубой силы и ложной славы, апологию милитаризма». Колонна была разрушена, а площадь из Вандомской переименована в Международную, что еще более подчеркнуло антимилитаристский и интернациональный характер этого акта Коммуны. Гюго большое внимание уделяет второстепенным декретам Коммуны и обходит молчанием те прогрессивные мероприятия, которые были проведены Парижской Коммуной — государством нового типа.

Стр. 538. ...*я имею в виду декрет о заложниках.* — 5 апреля 1871 г. Коммуна, в ответ на зверства версальцев, убивавших пленных коммунаров, издала декрет о заложниках, по которому лица, виновные в сношениях с версальским правительством, должны быть арестованы и, в случае повторения убийств со стороны версальцев, расстреляны. Арестовано было двести шестьдесят человек. Это был справедливый декрет, и коммунары повинны только в излишней щепетильности и мягкости к врагам. Несмотря на жесточайший террор версальцев, первые заложники были расстреляны лишь во время кровавой «майской недели», после истребления десятков тысяч защитников Коммуны.

...*и революционером в литературе...* — Имеется в виду борьба против реакционного классицизма, которую Гюго вел с позиций демократического романтизма.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ИНЦИДЕНТ

25 мая 1871 г., в один из последних дней героического сопротивления Парижской Коммуны, министр иностранных дел Бельгии д'Анетан заявил, что Бельгия не будет рассматривать участников Коммуны как политических эмигрантов, не предоставит им права убежища, если они придут на бельгийскую территорию, и выдаст их версальцам. В ответ на это возмущенный Гюго написал свое знаменитое письмо,

После опубликования письма Гюго, в котором он предложил свое жилище в качестве убежища коммунарам, в ночь с 27 на 28 мая его дом подвергся нападению реакционной банды. Это был ответ бельгийских буржуазных католических кругов на солидарность Гюго с побежденными коммунарами. Полиция не предприняла никаких мер ни во время, ни после инцидента, Правительство, вместо расследования обстоятельств нападения, приняло решение о высылке самого писателя из страны. 31 мая 1871 г. этот вопрос обсуждался в сенате и палате представителей Бельгии. Несколько либеральных депутатов выступили с запросом правительству и протестом против высылки Гюго.

Стр. 544. *...объединения, именуемого Коммуной, в избрании которого Париж принял очень незначительное участие...* — Гюго ошибается: в выборах Коммуны 26 марта 1871 г. приняло участие 228 000 человек, то есть активность избирателей была значительно выше, чем до и после Коммуны. Например, в муниципальных выборах после подавления Коммуны участвовало 140 000 человек. Заявление о том, что большинство населения уклонилось от подачи голосов во время выборов в Коммуну, было клеветой, распространявшейся версальским правительством.

Стр. 545. *...огласил запись какой-то беседы, «подписанной мною».* — Министр иностранных дел Бельгии д'Анетан во время своего выступления в палате огласил следующее, якобы сделанное Гюго, заявление: «Против меня буржуазия, но рабочие за меня, ко мне приходила депутация от рабочих, которые обещали меня защищать».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После высылки из Бельгии Гюго переехал в соседний Люксембург.

Стр. 550. *...я защищал... Триумфальную арку от Национального собрания...* — Здесь иносказательно говорится о том, что Гюго защищал республику от монархистов, которых было большинство в Национальном собрании; на Триумфальной арке в Париже центральное место занимает революционно-романтическая скульптурная группа Рюда «Марсельеза».

...на выборах в июле... — В июле 1871 г. состоялись дополнительные выборы в Национальное собрание, которые принесли победу

республиканцам. Только в Париже, где продолжался белый террор после подавления Коммуны, большинство избранных депутатов оказались сторонниками Тьера. В Париже баллотировался и Виктор Гюго, получивший 57 854 голоса, против 214 169, полученных на выборах 8 февраля. Уменьшение числа голосов, поданных за Гюго, объясняется, во-первых, недовольством буржуазных элементов призывами Гюго к амнистии коммунарам и, во-вторых, разочарованием рабочих Парижа в связи с отношением писателя к Коммуне.

РЕДАКТОРАМ ГАЗЕТЫ «РАПШЕЛЬ»

Отношение Гюго к Парижской Коммуне было противоречивым. Не понимая истинного значения первой пролетарской революции, он осуждал «ошибки» и жестокости как версальцев, так и коммунаров, веря при этом реакционной пропаганде буржуазной печати, распространявшей небылицы про борющийся Парлж. Поражение Коммуны и неслыханный белый террор версальских победителей привел Гюго в лагерь побежденных. Своим знаменитым заявлением в Брюсселе он начинает благородный поединок в защиту коммунаров против их палачей. Во многих стихотворениях этого периода Гюго гневно протестует против кровавых зверств версальцев, возмущается суровым мужеством коммунаров. В этой статье Гюго впервые поднимает голос за амнистию коммунарам и в дальнейшем уже не прекращает этой борьбы.

Стр. 554. *...королевское прошлое, теократическое прошлое, военное прошлое — вступили в рукопашную схватку с Революцией.* — Гюго имеет в виду монархистов — орлеанистов, легитимистов и бонапартистов, составлявших большинство в Национальном собрании и стремившихся к восстановлению монархии.

Стр. 555. *...памятуя о плебисците 8 мая...* — См. примечание к статье «Плебисцит», стр. 750.

Стр. 556. *...расследование мартовских событий...* — то есть событий, связанных с возникновением Парижской Коммуны.

...событий майских и июньских... — то есть сопровождавшего подавление Коммуны белого террора.

ЛЕОНУ БИГО

Стр. 560 *...Папавуан — ужасное имя...* — Эту же фамилию носил преступник, убивший двух детей и казненный в 1825 г.

Стр. 563. *...конфискация поместий эмигрантов вернула пашню крестьянину и землю народу...* — Во время буржуазной революции

конца XVIII в. земли эмигрантов были конфискованы и вместе с землями духовенства составили земельный фонд, из которого земельные участки распродавались мелким собственникам.

...разрушенные города, Лион и Тулон... — В этих городах происходили контрреволюционные восстания против якобинской диктатуры. После подавления мятежей Конвент издал декрет о разрушении Лиона и переименовании «группы оставшихся домов бедняков и патриотов в «Освобожденный город»; такой же декрет был издан и в отношении Тулона, переименованного в «Порт Горы».

...четыре сержанта из Ларошели... — 25 апреля 1822 г. в Париже были казнены четыре сержанта 45-го линейного полка (Бори, Помье, Рауль, Гобен) за участие в заговоре против правительства Реставрации; имена ларошельских сержантов стали знаменем для республиканцев в их борьбе против Бурбонов.

РОБЕРУ ГИЙЕННУ

Стр. 566. *1871 год равнозначен 1815 году...* — Гюго сравнивает белый террор, установившийся во Франции после подавления Парижской Коммуны, с белым террором, сопровождавшим вторичное возвращение Бурбонов во Францию в 1815 г.

...омерзительное истребление заложников... — См. примечание к стр. 538.

К НАРОДУ ПАРИЖА

7 января 1872 г. происходили частичные выборы в Национальное собрание Франции. Победу одержали республиканцы. Гюго баллотировался в Париже, но не был избран.

Стр. 569. *Версаль, воплощающий идею монархии...* — Версаль, старинная резиденция французских королей, являлся в то время местом пребывания монархического Национального собрания.

АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ

Стр. 569. *...16 апреля, в Виллер-Коттере должно состояться погребение Александра Дюма.* — А. Дюма умер в 1870 г. в провинции; 16 апреля 1872 г. гроб с его телом должен был быть перенесен на родину романиста в Виллер-Коттере.

РЕДАКТОРАМ ГАЗЕТЫ «РЕНЕССАНС»

Стр. 572. ...напоминающее блестящий период шестнадцатого века. — Гюго имеет в виду группу молодых поэтов-гуманистов, названную, по примеру александрийских поэтов, Плеядой (Ронсар, дю Белле и др.); они боролись за развитие французской национальной литературы и языка, против придворной и латинской поэзии.

...в них заключен великий свет 1830 года... — Гюго напоминает о 1830 г. как о переломном в борьбе демократического романтизма с реакционным классицизмом.

ОТВЕТ РИМЛЯНАМ

Ответ на обращение римлян к французскому народу в мае 1872 г.

Стр. 573. ...перед лицом трех империй-чудовищ... этих трех призраков средневековья... — Имеются в виду Германская империя, Российская империя и Папская курия.

ГОДОВЩИНА РЕСПУБЛИКИ

21 сентября 1872 г. в Париже республиканцы специальным банкетом отметили восьмидесятую годовщину провозглашения первой французской республики. Гюго не мог воспользоваться приглашением, так как находился на острове Гернсей, и обратился к участникам банкета с письмом.

Стр. 578. Противопоставим трем императорам... — В это время (сентябрь 1872 г.) в Берлине происходило свидание германского, русского и австрийского императоров, положившее начало реакционному Союзу трех императоров.

АНРИ РОШФОР

После подавления Парижской Коммуны Анри Рошфор был арестован и приговорен к бессрочной ссылке. Гюго посещал Рошфора в тюрьме, а перед отправкой его в Новую Каледонию обратился с письмом к председателю совета министров герцогу Бройлю с просьбой об изменении места ссылки. Бройль отказал Гюго в его ходатайстве.

ПЯТИСОТЛЕТНИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ПЕТРАРКИ

18—20 июня 1874 г. в Авиньоне предстояло празднование пятисотлетия со дня смерти Петрарки. Гюго от лица демократической общественности был приглашен принять участие в этих торжествах.

Стр. 587. ...«Марсельеза» — голос юга... — Сочиненная Руже де Лиллем в Страсбурге «Песнь Рейнской армии» была подхвачена добровольцами южного города Марселя, в июле 1792 г. принесена ими в Париж и стала известной как песня марсельцев — «Марсельеза»; впоследствии она была объявлена французским национальным гимном.

Стр. 588. *Авиньон, город пап...* — С 1308 по 1378 г. город Авиньон был резиденцией римских пап, находившихся тогда под влиянием французских королей, — так называемое Авиньонское пленение пап.

Петрарка воспел женщину... — Героиней лирики Петрарки была Лаура, имя которой стало нарицательным для идеального образа возлюбленной, предмета поэтического преклонения и прославления.

ВМЕСТО ВОПРОСА О МИРЕ — ВОПРОС О ВОЙНЕ

Стр. 591. *Война 1870 года началась с западни ..* — Гюго имеет в виду провокационную политику Бисмарка накануне франко-прусской войны.

В день, когда Франция должна была уплатить пять миллиардов, мир предложил ей сорок пять. — Для уплаты пятимиллиардной контрибуции Германии французское правительство выпустило два займа. Первый заем (июнь 1871 г.) в два миллиарда франков разошелся в сумме четырех с половиной миллиардов. Подписка на второй заем (июль 1872 г.) в три миллиарда франков достигла со рока четырех миллиардов.

В ЗАЩИТУ СОЛДАТА

Стр. 593. *10 декабря 1873 года... в Трианоне...* — Высший военный совет дал положительный ответ на вопрос о виновности маршала Базена, на основании чего военный суд приговорил его к разжалованию и смертной казни, но президент республики, по ходатайству военного министра, заменил казнь двадцатилетним заключением.

Стр. 596. *...я прошу сохранить жизнь несчастному.* — Вмешательство Гюго возымело действие: солдат Блан не был расстрелян, его приговорили к пяти годам тюрьмы.

КОНГРЕССУ МИРА

Стр. 601. *...вы слышите крик одной из них — Герцеговины.* — Летом 1875 г. в Герцеговине (а затем и в Боснии) вспыхнуло народно-освободительное, преимущественно крестьянское, восстание против феодально-абсолютистского гнета турок.

ДЕЛЕГАТ ПАРИЖА — ДЕЛЕГАТАМ ТРИДЦАТИ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ОБЩИН ФРАНЦИИ

Закон 24 февраля 1875 г. устанавливал двухстепенные выборы в верхнюю палату Третьей республики — сенат. Сенаторы избирались делегатами от общин Франции. Муниципальный совет назначил Гюго делегатом на выборы, которые должны были состояться 30 января 1876 г. На этих выборах Гюго был избран сенатором.

Стр. 603. *...думали, что увидят Содом. Их встретила Спарта.* — Гюго имеет в виду, что вместо разложения и упадка немцы встретили мужественное сопротивление.

...Вавилон, героический как Сарагоса! — Прямой смысл этого выражения тот же, что и в предыдущем примечании: в последний период существования Вавилона жизнь в нем отличалась роскошью, а население — развращенностью, что сделало город легкой добычей врагов; город Сарагоса в Испании в 1808—1809 гг. прославился своим героическим сопротивлением наполеоновским войскам

Стр. 604. *...жалкие военачальники заставили Париж капитулировать...* — Гюго имеет в виду предательские действия Трошю и других реакционных генералов, боровшихся не столько с немцами, сколько со своими революционными рабочими...

...при... поддержке турецкого правительства.. — Еще до осады Парижа правительство Национальной обороны отправило в Тур трех своих членов, чтобы организовать сопротивление провинции; к ним присоединился Гамбетта, вылетевший 9 октября 1870 г. на воздушном шаре из осажденного Парижа. Турская делегация (или, как ее называет Гюго, турецкое правительство) во главе с Гамбеттой пыталась организовать энергичное сопротивление врагу.

Сорвав с Парижа венец столицы Франции.. — Имеется в виду демонстративный переезд монархического Национального собрания из Бордо в Версаль, а не в Париж.

Стр. 606 *Нас обвиняют в подготовке реванша...* — В 1875 г. Бисмарк и инспирированная им реакционная пресса Германии выступили с обвинениями французского правительства в подготовке войны против Германии с целью реванша. Хотя идея реванша и была популярна среди националистических кругов Франции, в данном случае это было провокацией со стороны бисмарковской дипломатии, чтобы навязать Франции, пока она полностью не оправилась от поражения 1871 г., новую войну.

2 февраля 1876 г. Гюго получил письмо от жены рабочего Симбозея, который почти через пять лет после Парижской Коммуны был арестован и приговорен к ссылке в колонии за участие в восстании 18 марта 1871 г. В своем письме она умоляла Гюго помочь ей и помешать высылке единственного кормильца семьи. Гюго в тот же день ответил полным участия письмом, в котором выражал надежду на амнистию в ближайшее время. Вслед за этим он отправил публикуемое в настоящем издании письмо президенту республики Мак-Магону. Ходатайство Гюго не имело успеха. Монархист, усмиритель Коммуны Мак-Магон не отменил приказа о высылке приговоренных, назначенной на 1 марта 1876 г.

Стр. 609. *...8 марта, приступят к своим обязанностям обе палаты вновь избранного парламента.* — Гюго говорит о первой сессии избранных в начале 1876 г. сената и палаты депутатов (последняя в большинстве своем состояла из умеренных республиканцев). Надежды Гюго, что новый парламент республики вотирует амнистию коммунарам, не оправдались: предложение об амнистии было отвергнуто.

РЕЧЬ ОБ АМНИСТИИ В СЕНАТЕ

Вскоре после открытия первой сессии парламента Третьей республики началось обсуждение вопроса об амнистии участникам Парижской Коммуны, внесенного в палату депутатов Распайлем, а в сенат — Виктором Гюго. Амнистия была отвергнута в палате депутатов 394 голосами против 52. В сенате речь Гюго произвела большое впечатление на публику, но не повлияла на реакционных сенаторов: за предложенную амнистию, кроме самого Гюго, голосовало девять сенаторов, и проект амнистии был отклонен.

Стр. 617. *...начавшийся арестом тридцати восьми тысяч человек...* — По официальным данным, до 1 января 1875 г. перед военными судами прошло 45 835 человек.

..шестьсот пятьдесят один ребенок пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет. — По официальным данным, среди арестованных детей были даже четырнадцатилетние (103), тринадцатилетние (47)) и в возрасте от 12 до 7 лет — 38 детей.

Стр. 618. *Вам об этом убедительно заявили в другой палате.* — то есть в палате депутатов, где 15—18 мая 1876 г. обсуждалось предложение Распайля об амнистии участникам Парижской Коммуны; Гюго имеет в виду выступление депутата Локруа, дожа-

зывавшего на основании данных парижского муниципалитета, что репрессии по отношению к коммунарам нанесли урон национальной промышленности.

Стр. 618. *Изгнание мавров положило начало разорению Испании, а изгнание евреев довершило его* — Изгнание мавров (1502) и евреев (1492) привело к тому, что из страны ушла значительная часть производительного, экономически развитого населения, что отразилось на экономике Испании.

Отмена Нантского эдикта обогатила Англию и Пруссию за счет Франции. — Нантский эдикт, изданный в 1598 г., после окончания религиозных войн, обеспечивал ряд религиозных и политических прав французским протестантам — гугенотам: при Ришелье гугеноты сохранили только свободу вероисповедания, а в 1685 г. Нантский эдикт был отменен полностью. Это привело к массовой эмиграции гугенотов, что нанесло удар французской торговле, промышленности, морскому делу и привело к утечке из страны значительных капиталов. Гугеноты нашли себе убежище в Англии, Голландии, Пруссии и других протестантских странах, принеся им большие выгоды.

Посмотрите, как просто оказалось отменить осадное положение — 24 мая 1876 г. палата депутатов приняла решение отменить осадное положение в последних четырех департаментах, в которых оно сохранялось со времени подавления Парижской Коммуны.

Стр. 619. *1830 год был ознаменован амнистией...* — После революции 1830 г. была провозглашена амнистия всем политическим жертвам режима Реставрации.

..Конвент провозгласил амнистию... — Имеется в виду амнистия, провозглашенная после контрреволюционного переворота 9 термидора (1794); в действительности термидорианский Конвент, открыв двери тюрем для пострадавших во время якобинского революционного террора, заполнил тюрьмы своими политическими противниками.

...Генрих IV амнистировал Лигу... — Взяв Париж и перейдя в католичество для получения трона, Генрих IV объявил амнистию, чтобы привлечь на свою сторону членов боровшейся с гугенотами Католической лиги.

...Гош амнистировал Вандею. — Генерал Гош, подавляя контрреволюционный мятеж в Вандее, объявил амнистию тем мятежникам, которые добровольно сложат оружие.

Стр. 621. *...двадцать пять миллионов были насильственно «взяты взаймы» в банке...* — Перед государственным переворотом 2 декабря 1851 г., по приказу президента Луи-Наполеона, министр финансов

взял в государственном банке 25 миллионов франков, которые были израсходованы на подкуп участников переворота; далее Гюго напоминает об отдельных эпизодах переворота 2 декабря.

...в Булони он стрелял из пистолета... — Имеется в виду попытка переворота, предпринятая Луи-Наполеоном в 1840 г.

Стр. 622. ...поджог Тюильрийского дворца и ратуши... — Поджог этих исторических зданий, сгоревших во время боев на улицах Парижа в мае 1871 г., версальцы приписывали коммунарам.

Стр. 623. ...после Елисейского дворца захотел попасть в Лувр... — то есть из президента (резиденцией которого был Елисейский дворец) захотел стать императором (Лувр — старинный дворец французских королей).

Виселицы Сатори.. — Сатори — место под Парижем, где производились казни коммунаров.

В ЗАЩИТУ СЕРБИИ

Вслед за Боснией, Герцеговиной и Болгарией против турецкого гнета поднялась и Сербия, объявившая 30 июня 1876 г. войну Турции. В августе сербы потерпели ряд поражений, и территория страны подверглась нашествию турок. Вторжение сопровождалось зверствами, о которых пишет Гюго. 26 августа сербский князь Милан обратился к представителям европейских держав с просьбой о посредничестве, но не добился успеха. Лишь в октябре 1876 г., когда турки нанесли окончательный удар маленькой сербской армии, открыв себе дорогу на Белград, вмешательство России спасло Сербию и принудило турок заключить перемирие.

Стр. 626. Они уже пытались однажды что-то лепетать. Они говорят: «Слухи преувеличены». — Гюго имеет в виду заявление английского премьер-министра Дизраэли, сделанное по поводу потрясших Европу зверств турецких усмирителей, подавивших восстание в Болгарии в апреле 1876 г.

...лесом Бонди или Шварцвальдом... — Лес Бонди — лес в окрестностях Парижа, где было много бандитов. Во время франко-прусской войны в этом районе шли ожесточенные бои. Шварцвальд — лес в юго-западной Германии, где часто совершались грабежи и убийства.

Стр. 627. ...позади святейшего престола видна Высокая Порта... — то есть за папской властью скрывается Турция (Высокая или Оттоманская Порта),

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНГРЕССА МИРА В ЖЕНЕВЕ

Стр. 628. ...*Рим и Берлин на ножках.* — Гюго имеет в виду борьбу, которую в 70-х гг. XIX в. Бисмарк вел против католической церкви в Германии в связи с тем, что немецкие католики были противниками господства Пруссии в объединенной Германии. Антикатолические законы Бисмарка и репрессии против католического духовенства временно обострили отношения Германии с папой.

ЛИОНСКИЕ РАБОЧИЕ

В начале 1877 г. в Лионе закрылось несколько предприятий и более 30 000 рабочих оказались без работы и средств к существованию. В связи с этим по всей Франции проводилась подписка и сборы в пользу лионских ткачей, продиктованные не только духом благотворительности, но и страхом перед новым восстанием лионских рабочих. 25 марта 1877 г. в одном из залов Парижа было устроено чтение в пользу лионских рабочих, на котором выступил Гюго.

Стр. 629. *О чем мечтают короли? О войне.* — Речь Гюго была произнесена за месяц до начала русско-турецкой войны.

Стр. 631. *В настоящий момент, когда реакционные партии... пытаются низвести столицу революции на положение столицы монархии...* — В это время значительно активизировались монархисты, мечтавшие покончить с республикой.

..*удушение Болгарии Турцией...* — Речь идет о зверском подавлении болгарского восстания в апреле 1876 г., когда турецкие усмирители вырезали более 15 000 мирных жителей.

Стр. 634. *Год провозглашения непогрешимости папы...* — Догмат о непогрешимости папы был провозглашен на Ватиканском соборе; это была попытка поднять духовный авторитет папы в связи с утратой им светской власти.

Уж не кончится ли все «плотом «Медузы»... — Фрегат «Медуза» затонул у берегов Африки в начале XIX в.; пассажиры и команда с этого фрегата долгое время носились по морю на плоту, сооруженном из остатков погибшего корабля, при этом большинство людей погибло от голода и жажды; Гюго говорит в иносказательном смысле: не кончилось бы все гибелью.

Под этим названием объединены выступления и статьи Гюго, связанные с попыткой монархистов покончить с республикой.

І. Отсрочка сессии парламента

16 мая 1877 г. президент республики, монархист и клерикал Мак-Магон уволил в отставку правительство Жюль Симона, состоявшее из буржуазных республиканцев и опиравшееся на значительное большинство в палате депутатов. Был сформирован новый кабинет во главе с герцогом Бройлем, состоявший исключительно из монархистов. Вслед за этим была отсрочена на месяц парламентская сессия. Эти действия президента противоречили конституции и представляли собой начало государственного переворота.

Стр. 635 *...она собиралась пригласить к себе представителей всех народов...* — Гюго имеет в виду всемирную выставку 1878 г. в Париже.

Стр. 636. *На востоке столкнулись две империи...* — 24 апреля 1877 г. началась русско-турецкая война.

...на севере выжидает удобного случая третья... — Имеется в виду, повидимому, Англия, правительство которой занимало во время русско-турецкой войны резкую антирусскую позицию.

...некие страшные воспоминания... — Гюго намекает на государственный переворот Луи-Наполеона 2 декабря 1851 г.

Роспуск

По прошествии месяца, 16 июня 1877 г., собрались обе палаты. Палата депутатов враждебно встретила заявление правительства о его намерении распустить палату депутатов и после бурных прений 20 июня выразила недоверие кабинету Бройля. Президент республики Мак-Магон обратился к сенату с требованием санкционировать роспуск палаты депутатов. 21 июня состоялось заседание комиссии сената, на котором обсуждался вопрос о роспуске палаты депутатов. На этом заседании произнес свою речь Гюго. На следующий день, 22 июня, Гюго выступил с речью на открытом заседании сената, в которой предупреждал о возможном государственном перевороте. В тот же день большинством 149 голосов против 130 сенат высказался за роспуск палаты депутатов.

Стр. 637. *...через три месяца... палата может появиться вновь...* — По конституции 1875 г. новые выборы и созыв палаты депутатов должны были произойти через три месяца после роспуска.

Стр. 638. *...к числу сторонников Елисейской партии...* — То есть партии президента Луи-Наполеона, резиденцией которого был Елисейский дворец.

...июльского кризиса 1851 года... — Этот кризис возник в связи с попыткой сторонников Луи-Наполеона изменить конституцию 1848 г.

Стр. 643. Европа охвачена войной. — Речь идет о русско-турецкой войне.

...палата пошла на то, чтобы разделить с сенатом свои права в вопросе о налогах... сделала... больше уступок сенату, чем палата общин палате лордов в Англии. — В Англии при обсуждении бюджета палата общин имела преимущество по сравнению с палатой лордов; во Франции по конституции 1875 г. сенат и палата депутатов располагали одинаковыми правами.

Стр. 646. *Палата депутатов зависит от вас, вы можете ее распустить...* — По конституции 1875 г. сенату предоставлялось право роспуска палаты депутатов.

...президент зависит от вас, вы можете его судить. — По конституции 1875 г. президент республики не нес ответственности за действия, совершенные им при исполнении своих обязанностей, но отвечал за уголовные преступления, совершенные им как частное лицо. При этом он подлежал суду сената.

Стр. 647. *Вспомните о цифре 221.* — В марте 1830 г. в палате депутатов оппозиция большинством в 221 голос приняла обращение к королю, содержавшее требование об отставке министров и протест против королевского произвола. На следующий день после принятия «адреса 221», 19 марта 1830 г., сессия палаты депутатов была отсрочена, что явилось прелюдией к ее последующему роспуску. После выборов число оппозиционных депутатов выросло, что приблизило падение Карла X.

Стр. 648. *...все силы монархии, будь она даже тройственной, и будь она... о трех головах...* — Гюго имеет в виду три группировки французских монархистов: орлеанистов, легитимистов и бонапартистов.

Ответ лионским рабочим

14 июля Гюго был вручен благодарственный адрес от рабочих Лиона за речь, прочитанную им 25 марта 1877 г. (см. в наст. томе «Лионские рабочие»). На альбоме с адресом была надпись: «Демократия Лиона — Виктору Гюго». Писатель ответил письмом.

Стр. 649. *Мы тоже пойдем «до конца».* — Гюго имеет в виду агрессивную позицию, занятую Мак-Магоном после роспуска па-

латы депутатов и во время выборной кампании, в том числе его приказ по армии от 1 июля 1877 г., заканчивавшийся словами: «Я убежден, что вы поможете мне поддержать уважение к властям и законам, необходимые при выполнении возложенной на меня миссии, которую я осуществляю до конца».

В ы б о р ы

Гюго произнес эту речь за два дня до новых выборов в палату депутатов, 12 октября 1877 г., на собрании избирательного округа Парижа, в котором баллотировался Жюль Гревь.

Стр. 652 *Монтескье не отважился бы сказать ей: «Моя политика», а Вашингтон, безусловно, не осмелился бы сказать ей: «Моя воля».* — Стремление президента республики Мак-Магона к неограниченной власти проявлялось во всех его выступлениях и манифестах, в которых он постоянно прибегал к таким выражениям: «мое имя», «моя мысль», «моя политика», «моя воля».

РЕЧИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНГРЕССЕ

Вскоре после открытия всемирной выставки 1878 г. в Париже собрался международный литературный конгресс, организованный Обществом писателей. На нем присутствовали русские писатели Л. Полонский, М. Драгомиров, вице-президентом конгресса был И. С. Тургенев.

Стр. 673. *...римлянин, который... постоянно повторял: «Уничтожим Карфаген!»* — Имеется в виду Катон.

ПРОТИВ ВЫДАЧИ ГАРТМАНА

Народоволец Лев Гартман, участник одного из покушений на Александра II, бежал во Францию и жил в Париже. Царское правительство потребовало его выдачи. Французские власти арестовывали Гартмана, и тогда Гюго опубликовал свое обращение к французскому правительству, которое возымело свое действие: Гартман не был выдан России.

ВТОРАЯ РЕЧЬ ОБ АМНИСТИИ

На этот раз закон об амнистии коммунарам был принят,

ПРИЗЫВ

В феврале 1882 г., в Петербурге, Особое присутствие сената по делам государственной измены рассматривало дело по обвинению 22-х народовольцев в террористической деятельности и подготовке убийства Александра III. 10 обвиняемых (А. Михайлов, Н. Суханов, М. Фроленко, А. Якимов, Г. Лебедева и др.) были приговорены к смертной казни через повешение, 10 других — к вечной каторге.

«Призыв» В. Гюго возымел свое действие. 17 марта 1882 г. Александр III заменил смертную казнь для девяти заключенных вечной каторгой. Н. Суханову повешение было заменено расстрелом.

РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ ГРИЗЕЛЯ

Банкет был организован железнодорожниками Франции в честь машиниста, предотвратившего катастрофу.

СЛОВАРЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Аббатуччи Жак (1791—1857) — активный участник государственного переворота 2 декабря 1851 г.; при Второй империи — сенатор и министр юстиции.

Абд эль Кадер (1808—1883) — вождь национально-освободительной борьбы алжирского народа против французских колонизаторов.

Августин Святой (354—430) — епископ, проповедник религиозного мракобесия, призывавший к жесточайшей расправе с инакомыслящими.

Агамемнон — герой поэмы Гомера «Илиада», предводитель ахейцев, осаждавших Троя.

Агриппа, Марк Випсаний (ок. 69—12 до н. э.) — видный римский полководец и государственный деятель. При нем в Риме были построены водопровод, Пантеон и другие сооружения.

Агриппина (16—59) — жена императора Клавдия, мать Нерона. Властолюбивая и жестокая женщина. Убита по приказу Нерона.

Алакок, Маргарита, известная после пострижения в монахини под именем *Мари* (1647—1690) — фанатичная католичка, учредительница культа «Святого сердца Иисуса», находившегося под покровительством иезуитов.

Аларих — король вестготов (395—410). Совершил разорительные походы в Грецию и Италию; в 410 г. разграбил Рим.

Александр VI Борджа — римский папа (1492—1503). Стремился подчинить себе Италию и шел для этого на любые преступления.

Алибо, Луи (1810—1836) — 25 июня 1836 г. неудачно покушался на жизнь короля Луи-Филиппа и был казнен.

Алкеста (мифол.) — героиня трагедии Еврипида, пожертвовавшая собой, чтобы спасти от смерти своего супруга Адмета; боги возвратили ее мужу.

Альфонс III Великий — король Астурии и Леона (866—910). Одержал ряд побед над маврами.

Альфонс XII — испанский король (1874—1885). Пришел к власти в результате военного переворота.

Амбуаз, Жорж (1460—1510) — кардинал и министр Людовика XII.

Амедей (1845—1890) — савойский принц; в 1871—1873 гг. — король Испании. После его отречения Испания была провозглашена республикой.

Амуру, Шарль (1843—1885) — рабочий, активный деятель I Интернационала и Парижской Коммуны 1871 г. Был приговорен к бессрочной каторге; после амнистии — депутат парламента.

Антонелли, Джакомо (1806—1876) — кардинал, государственный секретарь папы Пия IX. Свирепо расправлялся с населением после подавления Римской республики.

Аньядель — деревня в Италии, у которой в 1509 г. войска Людовика XII разбили венецианцев.

Арбуэс, Петр (1442—1485) — испанский инквизитор, жестокий фанатик, сжегший тысячи мавров и евреев.

Аргос — древнейший город Греции, центр ахейской цивилизации.

Арена, Жозеф (1770—1801) — участник заговора против Наполеона I; был казнен.

Аристид (540—467 до н. э.) — афинский полководец и политический деятель, глава демократической партии.

Арколе — селение в северной Италии, у которого 15—17 ноября 1796 г. французские войска генерала Бонапарта разбили австрийцев.

Арминий (17 до н. э. — 21 н. э.) — предводитель германского племени херусков; в 9 г. разбил римского полководца Вара в Тевтобурском лесу.

Артевельд, Якоб ван (1290—1345) — политический деятель, руководитель союза богатых фламандских городов, боровшихся за свои привилегии против притязаний французских королей.

Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — величайший физик и математик древности. Установив законы действия рычага, якобы произнес: «Дайте мне точку опоры — и я переверну мир!»

Асимптота (матем.) — прямая линия, к которой точка кривой неограниченно приближается при удалении в бесконечность,

Аспромонте — местность в Италии, где в 1862 г., во время похода на Рим, Гарибальди потерпел поражение, был ранен и взят в плен.

Атлас (Атлант) (мифол.) — один из титанов. По приказу Зевса держит на голове небесный свод.

Атриды (мифол.) — потомки царя Микен Атрея. Враждовали между собой и совершали ужасные преступления.

Афр, Дени-Огюст (1793—1848) — архиепископ Парижский. Убит во время июньского восстания при попытке остановить кровопролитие; хотя он погиб от пули правительственных солдат, ответственность за его гибель была возложена на повстанцев.

Ахмед-паша (1818—1891) — турецкий политический деятель, переводчик Мольера на турецкий язык.

Бабеф, Гракх (Франсуа Ноэль) (1760—1797) — французский революционер, коммунист-утопист. В 1796 г. возглавил «Заговор равных» против правительства Директории; был казнен.

Базен, Ашиль-Франсуа (1811—1888) — реакционный генерал-бонапартист. Во время франко-прусской войны предательски сдал врагу крепость Мец и 173-тысячную армию. В 1873 г. был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением; бежал из тюрьмы и умер в Испании.

Бакюлар, Франсуа-Мари д'Арно (1718—1805) — литератор, драматург; современник Вольтера.

Барбес, Арман (1809—1870) — мелкобуржуазный революционер-демократ. После восстания 1839 г. был приговорен к смертной казни, замененной, по ходатайству Гюго, пожизненным заключением. Освобожденный февральской революцией, принял участие в выступлении 15 мая 1848 г. и был снова арестован; амнистированный в 1854 г., эмигрировал.

Барбье, Огюст (1805—1882) — поэт, автор сатирических поэм бичующих буржуазию времен Июльской монархии.

Барош, Пьер-Жюль (1802—1870) — адвокат и политический деятель, бонапартист, автор ряда реакционных законов. В годы Второй империи — председатель Государственного совета, министр юстиции, сенатор.

Барра, Жозеф (1780—1793) — юный герой; попав в плен к ван-дейцам, отказался кричать: «Да здравствует король!», воскликнул: «Да здравствует республика!» и был убит. Конвент постановил установить бюст героя в Пантеоне.

Баррас, Поль (1755—1829) — один из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора. Возглавлял правительство Директории,

Барри, Джордж (он же *Ричард Бёрк* и *Эдуард Уинслоу*) — ирландский фений. В 1867 г. был приговорен к смертной казни, замененной затем десятью годами тюремного заключения.

Барро, Одилон (1791—1873) — адвокат, орлеанист. Во время февральской революции пытался спасти монархию. В 1849 г., будучи главой правительства, проводил реакционную политику.

Беккариа, Чезаре (1738—1794) — итальянский буржуазный юрист и публицист-просветитель. Одним из первых поднял вопрос об отмене смертной казни.

Беллар, Никола-Франсуа (1761—1826) — юрист, крайний реакционер, в эпоху реставрации — генеральный прокурор, отправивший на казнь Нея и других противников Бурбонов.

Березовский, Феоктист (1847—1907) — участник польского восстания 1863 г. В июле 1867 г. стрелял в Париже в Александра II, в виде мести за расправу с поляками; был приговорен к пожизненной каторге и сослан в Кайенну; амнистирован в 1906 г.

Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри (1737—1814) — писатель, последователь Руссо.

Беррийская герцогиня — мать наследника престола графа Шамбора (династия Бурбонов). После революции 1830 г. неудачно пыталась поднять легитимистское восстание в Вандее; была арестована и выслана из Франции.

Беррье, Пьер-Антуан (1790—1863) — адвокат и политический деятель. После Булонского путча защищал Луи-Наполеона. В Законодательном собрании (1849—1851) примыкал к «партии порядка». При Второй империи — лидер легитимистов.

Бертран, Анри-Грасьен (1773—1844) — генерал, приближенный Наполеона I; был с ним на острове Эльбе и на острове св. Елены.

Бесподобная палата — избранная после вторичного возвращения Бурбонов палата депутатов (1815), состоявшая почти исключительно из крайних роялистов; название «Бесподобная» дал ей Людовик XVIII.

Бийо, Огюст (1805—1863) — бонапартист, после 2 декабря 1851 г. — председатель Законодательного корпуса, министр юстиции.

Бильорей, Эдуард-Альфред (1840—1876) — художник, член центрального комитета национальной гвардии и Парижской Коммуны 1871 г.; после подавления Коммуны был сослан.

Бисетр — госпиталь и приют для престарелых и душевнобольных под Парижем; до 1832 г. — тюрьма для каторжников и смертников.

Блан, Луи (1811—1882) — историк, политический деятель, мелкобуржуазный социалист. Во время революции 1848 г. принес своей

соглашательской тактикой большой вред делу рабочего класса. После июньского восстания эмигрировал. Был противником Парижской Коммуны 1871 г.

Блюхер, Гебхард-Левверехт (1742—1819) — прусский фельдмаршал; участник сражения при Ватерлоо. Отличался особой ненавистью к наполеоновской Франции.

Богарне, Жозефина (1763—1814) — вдова казненного во время революции генерала Богарне; в 1796—1809 гг. — супруга Наполеона Бонапарта.

Боден, Виктор (1811—1851) — мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848 г. Убит на баррикаде 3 декабря 1851 г.

Бомарзунд — крепость на Аландских островах в Балтийском море. 16 августа 1854 г., во время Крымской войны, после ожесточенной бомбардировки была взята французскими войсками.

Бонапарт, Жозеф (1768—1844) — брат Наполеона I, король неаполитанский (1806—1808) и испанский (1808—1814).

Бонапарт, Жером-Наполеон (1784—1860) — младший брат Наполеона I, с 1807 по 1813 г. — король Вестфалии. В 1847 г., после длительной эмиграции, возвратился во Францию.

Бонапарт, Шарль-Люсьен (1803—1857) — племянник Наполеона I; участник революции 1848—1849 гг. в Италии (председатель Учредительного собрания Римской республики).

Бонифаций VIII — римский папа с 1294 по 1303 г. Последний из пап, притязавших на господство над светскими государями; потерпел поражение в борьбе с королем Франции Филиппом IV Красивым.

Бонне-Дювердые, Эдуард-Гильом (1824—1882) — республиканец, участник революций 1830 и 1848 гг. В 1849 г. эмигрировал. С 1875 г. — член палаты депутатов, выступал за амнистию коммунарам. Подвергался преследованиям за выступления против президента Мак-Магона.

Борджа — аристократическое семейство, игравшее в XV—XVI вв. видную роль в Италии. Особенно известны Александр VI, Цезарь (Чезаре) Борджа, стремившиеся объединить Италию под своей властью, пользуясь для этого любыми преступными средствами, и Лукреция Борджа — дочь папы Александра VI, жестокая и развращенная женщина.

Бордон, Жозеф (1821—1892) — генерал, друг Гарибальди, начальник штаба армии, которой тот командовал во время франко-прусской войны.

Боссюэ, Жан-Бенинь (1627—1704) — епископ, крупный писатель и богослов, идеолог абсолютизма и католической реакции.

Боцарис (1789—1823) — герой греческой национально-освободительной войны.

Браганца — династия, царствовавшая в Португалии с 1640 по 1807 г. и с 1814 по 1911.

Брандон, Чарльз, герцог Суффолк (1484—1545) — возлюбленный жены Людовика XII Марии Тюдор, а с 1515 г. (после смерти Людовика) ее супруг.

Браун, Джон (1800—1859) — фермер, выдающийся борец за освобождение негров в США. В 1859 г. поднял восстание с целью уничтожения рабства, но был разбит и казнен.

Бредшоу, Джон (1602—1669) — английский юрист и политический деятель, участник буржуазной революции XVII в. Был председателем суда, присудившего к смертной казни короля Карла I.

Бриарей (мифол.) — сторукий и пятидесятиголовый великан, сын неба и земли.

Бройль, Альбер (1821—1901) — историк и реакционный политический деятель, монархист; с 1862 г. — член Французской Академии; дважды был премьер-министром и министром иностранных дел (1873—1874 и 1877).

Бройль, Виктор (1785—1870) — министр во время Июльской монархии; депутат Учредительного собрания в 1848 г.

Бруно, Джордано (1548—1600) — великий итальянский мыслитель, материалист. Сожжен на костре по приговору инквизиции.

Брут, Марк Юний (85—42 до н. э.) — один из последних республиканцев древнего Рима и руководителей заговора против Юлия Цезаря.

Брюа, Арман-Жозеф (1796—1855) — командующий французским флотом на Черном море во время Крымской войны.

Брюмер — второй месяц республиканского календаря французской революции (22 октября — 20 ноября). Обычно Гюго имеет в виду 18 брюмера.

Буало, Николá (1636—1711) — поэт и теоретик классицизма. В своей поэме «Поэтическое искусство» сформулировал ряд догм и законов поэзии, против которых решительно выступал Гюго.

Буллa (лат.) — первоначально печать, прикладывавшаяся к государственным актам, а позднее сами императорские или папские указы.

Бурбон, Гастон, герцог Орлеанский (1608—1660) — брат Людовика XIII, участник Фронды (1648—1653). Был сослан в Блуа

Буфлер, Станислав (1738—1815) — придворный поэт.

Бьюкенен, Джеймс (1791—1868) — государственный секретарь (1845—1849), президент США (1857—1861), сторонник рабовладения. Способствовал развязыванию гражданской войны.

Бювинье, Эзеб-Исидор (1812—1860) — участник революции 1848 г., республиканец. После 2 декабря 1851 г. эмигрировал.

Бюзансе — местность во Франции, где в 1846 г. произошли голодные волнения, сопровождавшиеся убийством помещиков. Участники движения подверглись жестоким репрессиям.

Бюффон, Жорж-Луи (1707—1788) — выдающийся естествоиспытатель.

Ваграм — местечко близ Вены, у которого в 1809 г. армия Наполеона I разбила австрийцев. Обе армии ввели в бой свыше 900 орудий.

Ваза, Густав — шведский король с 1523 по 1560 г.

Вакери, Огюст-Эдуард (1819—1895) — поэт, публицист буржуазно-демократического направления, ученик Гюго и муж его дочери.

Валевский, Флориан-Александр (1810—1868) — сын Наполеона I и польской графини Валевской; в годы Второй империи — видный дипломат.

Валлес, Жюль (1832—1885) — писатель и журналист, член Парижской Коммуны 1871 г. После ее подавления бежал за границу.

Валюбер, Жан-Мари (1764—1805) — генерал, участник революционных и наполеоновских войн. Убит под Аустерлицем.

Вандемьер — первый месяц революционного календаря (22 сентября — 21 октября). Гюго обычно имеет в виду 13 вандемьера III г. республики — 5 октября 1795 г. — день роялистского восстания, подавленного генералом Бонапартом.

Варна — город в Болгарии, база французских и английских войск в начальный период Крымской войны. 22 августа 1854 г. пожар уничтожил значительную часть города и запасы продовольствия и амуниции.

Вашингтон, Джордж (1732—1799) — выдающийся американский государственный деятель времен борьбы за независимость, первый президент США (1789—1797), убежденный республиканец.

Веды — священные книги древней Индии.

Вейо, Луи-Франсуа (1813—1883) — реакционный журналист, выступавший за сохранение светской власти пап.

Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и реакционный государственный деятель. Командовал английскими войсками при Ватерлоо.

Венсан де Поль (1576—1660) — священник. Основал первые во Франции общины сестер милосердия, богадельни, больницы для бедных и приют для брошенных детей, которых он подбирал на улицах Парижа.

Вергилий, Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида», пастушеских песен («Буколики») и поэмы о земледелии («Георгики»).

Верцингеторикс (ум. 46 до н. э.) — галльский вождь, возглавивший в 52—51 гг. до н. э. всеобщее восстание против римлян.

Византия — у Гюго обычно в смысле Константинополь, который являлся столицей Византийской империи и был завоеван турками в 1453 г.

Вико, Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский буржуазный мыслитель, философ, социолог, юрист.

Виктория — королева Англии (1837—1901) и императрица Индии (с 1876 г.).

Вильгельм I Гогенцоллерн — король Пруссии (1861—1888) и германский император (1871—1888).

Вильгельм I Завоеватель (1027—1080) — герцог Нормандский и, после завоевания им Англии (1066), английский король.

Вириат — предводитель племен древней Испании, восставших против римских завоевателей. Убит в 139 г. до н. э.

Вителлий — римский император (I в. н. э.), известный чревоугодием, распущенностью и жестокостью.

Вобан, Себастьян (1633—1707) — маршал Франции, крупнейший военный инженер и полководец.

Восемнадцатое брюмера VIII г. республики (9 ноября 1799) — день контрреволюционного переворота, приведшего к установлению военно-буржуазной диктатуры Наполеона Бонапарта.

Восемнадцатое фрюктидора V г. республики (4 сентября 1797) — переворот в правительстве Директории, в результате которого Законодательный корпус был очищен от монархистов.

Второе сентября 1792 г. — день, когда начались массовые казни врагов революции, находившихся в парижских тюрьмах (продолжались до 4 сентября). Буржуазная историография искажала характер и значение этих событий, изображая их как бессмысленные «сентябрьские убийства». В действительности это была суровая, но необходимая мера в условиях вражеской интервенции, внутренней измены и бездеятельности буржуазных властей. Гюго не понимал истинного смысла и значения этих событий.

Вьейяр, Нарсис (1791—1857) — воспитатель Луи-Наполеона, депутат Учредительного и Законодательного собраний в 1848—1851 гг.; бонапартист; во время Второй империи — сенатор.

Гайнау Юлиус-Якоб (1786—1853) — австрийский фельдмаршал, зверски подавлявший итальянскую и венгерскую революции 1848—1849 гг.

Гаити — остров (Антильские острова), на котором находятся два государства: Гаити и Доминиканская республика. До 1804 г. был французской колонией.

Галгак — вождь кельтов Шотландии, боровшихся против римских захватчиков.

Галилей, Галилео (1564—1642) — великий итальянский мыслитель, астроном. За признание теории Коперника был осужден инквизицией.

Гамбетта, Леон-Мишель (1838—1882) — политический деятель, буржуазный республиканец; после падения Второй империи — член правительства Национальной обороны. Проявил большую энергию в борьбе с немцами. В Третьей республике — лидер умеренных республиканцев, председатель палаты депутатов и премьер-министр (1881—1882).

Гарвей, Уильям (1578—1657) — выдающийся английский врач, открывший кровообращение и выяснивший роль сердца в этом процессе.

Гарибальди, Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, борец за ее объединение, активный участник революции 1848—1849 гг. В 1860 г. возглавил поход в Сицилию, в результате которого Неаполитанское королевство было присоединено к Италии. В 1862 и 1867 гг. выступил против папы, стремясь присоединить Рим к Италии, но потерпел неудачу. Сочувствовал I Интернационалу и Парижской Коммуне. Принимал участие во франко-прусской войне на стороне Франции.

Гарлей, Ашиль (1536—1616) — президент парижского парламента в последний период войн между католиками и гугенотами.

Гаррота (исп.) — казнь удушением.

Гекатомба («сто быков», греч.) — жертвоприношение в древней Греции и Риме; в переносном смысле слова — массовое убийство, бессмысленная гибель многих людей.

Геккерен (Дантес), Жорж, барон (1812—1895) — убийца Пушкина, крайний реакционер; депутат всех парламентов 1848—1875 гг.

Генрих III — король Франции (1574—1589).

Генрих IV — король Франции (1589—1610), основатель династии Бурбонов. Вступил на трон после длительных религиозных войн, во время которых сначала стоял во главе гугенотов, а потом, чтобы устранить препятствие на пути к трону, перешел в католичество. Убит католиком-фанатиком.

Генрих VI Безумный — английский король (1422—1461) из династии Ланкастеров. Прозван Безумным после того, как в 1453 г. лишился рассудка.

Георг III — английский король (1760—1820). Проводил реакционную внутреннюю и внешнюю политику, боролся против французской революции. Последние десять лет жизни был безумным.

Георг Датский — датский принц, избранный на греческий трон в 1863 г. и бывший под именем Георга I королем до 1913 г.

Георгики — жанр античной поэзии, песни о земледельческом труде, например у Вергилия.

Гессiona (мифол.) — дочь троянского царя. Отец обещал отдать ее в жены Гераклу, но не выполнил своего обещания. Тогда Геракл напал на Трою, похитил Гессиону и увез в Спарту. Троянцы направили в Спарту племянника Гессионы Париса, который в наказание за похищение Гессионы похитил жену спартанского царя Менелая прекрасную Елену, что послужило поводом к Троянской войне.

Гидаль, Максимилиан-Жозеф (1765—1812) — генерал, участник революционных войн и подавления вандейского мятежа; республиканец, противник Наполеона I. Расстрелян за участие в республиканском заговоре.

Гиз, Генрих, герцог (1550—1586) — глава католической партии во время религиозных войн во Франции; один из организаторов Варфоломеевской ночи. Убит по приказу короля Генриха III.

Гизо, Франсуа (1787—1874) — буржуазный историк и реакционный политический деятель во время Июльской монархии (министр иностранных дел и премьер-министр). После февральской революции бежал в Англию.

Говард, Джон (1726—1790) — известный английский филантроп, изучавший положение заключенных и стремившийся его облегчить.

Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918) и германских императоров (1871—1918).

Гонфалоньер (ит.) — знаменосец; в средние века должностное лицо в городах-республиках северной и средней Италии; с XV в. эта должность потеряла свое значение и сохранилась как почетное наименование.

Гораций, Флакк Квинт (55—8 до н. э.) — крупнейший римский поэт.

Горчаков, Александр Михайлович, князь (1799—1883) — крупный русский дипломат, министр иностранных дел с 1855 по 1882 г.

Готье, Теофиль (1811—1872) — писатель-романтик, сторонник реакционной теории «искусство для искусства».

Греви, Жюль (1807—1891) — буржуазный государственный деятель; правый республиканец; участник революции 1848 г.; в 1871—1873 гг. — председатель Национального собрания; с 1879 по 1887 г. — президент республики.

Григорий VII — римский папа (1073—1085). Стремился подчинить всех светских государей власти римских пап. Вел упорную борьбу с германским императором Генрихом IV, но в конечном счете потерпел поражение и бежал из Рима.

Григорий VIII — римский папа в течение двух месяцев 1187 г.

Григорий XVI — римский папа (1831—1846). С помощью австрийских войск беспощадно подавил революционное движение в своих владениях.

Грин, Роберт (1558—1591) — английский драматург, современник Шекспира.

Гурго, Гаспар (1783—1852) — генерал, сопровождавший Наполеона I на остров св. Елены. В 1848 г. участвовал в подавлении июньского восстания в Париже.

Гус, Ян (1369—1415) — великий чешский патриот, боровшийся против католической церкви и немецкого влияния в Чехии. Сожжен на костре, как еретик.

Гюго, Франсуа-Виктор (1828—1873) — сын Виктора Гюго, историк и переводчик Шекспира.

Гюго, Шарль (1825—1871) — сын Виктора Гюго, публицист и литератор; в 1848 г. — секретарь Ламартина.

Давид, Жак-Луи (1748—1825) — выдающийся живописец; во время революции — член Конвента; при Наполеоне I — придворный портретист.

Давид д'Анже, Пьер-Жан (1788—1856) — известный скульптор.

Дама, Анн-Гиасинт (1785—1862) — военный министр и министр иностранных дел в 1824—1828 гг.

Дамьен, Робер-Франсуа (1715—1757) — совершил покушение на Людовика XV и был предан мучительной казни.

Данаиды (мифол.) — пятьдесят дочерей аргосского царя Дана, убившие своих мужей и осужденные за это вечно наливать

воду в бездонную бочку; «бочка Данаид» — выражение, обозначающее бесполезную работу.

Данжю, Филипп (1638—1720) — ловкий придворный, любимец Людовика XIV и его фавориток. Оставил мемуары о жизни двора.

Двадцать второе сентября 1792 г. — первый день Первой французской республики.

Дезе, Луи-Шарль (1768—1800) — генерал, талантливый полководец. Был убит в битве при Маренго.

Декарт, Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ, физик, математик, физиолог.

Делангель, Клод-Альфонс (1797—1869) — активный бонапартист, участник переворота 2 декабря 1852 г.

Делапальм, Эмиль (1793—1868) — генеральный прокурор во время Реставрации; в годы Июльской монархии — председатель суда по делу «Общества друзей народа», сен-симонистов и др.

Делиль, Жак (1738—1813) — поэт-роялист, противник Наполеона I.

Демосфен (384—322 до н. э.) — знаменитый афинский оратор и политический деятель; лидер демократической партии.

Демулен, Камиль (1760—1794) — видный деятель буржуазной революции во Франции; якобинец; блестящий оратор и журналист. Позднее выступил против углубления революции и был казнен во время якобинской диктатуры.

Демустье, Шарль-Альбер (1760—1801) — писатель, подражатель Дора.

Десятое августа 1792 г. — день свержения монархии Бурбонов.

Дефонтен, Пьер-Франсуа (1685—1745) — писатель-иезуит, враг Вольтера и злобный критик его произведений.

Дешанель, Эмиль (1819—1904) — литературовед, публицист; республиканец; после 2 декабря 1851 г. — эмигрант; в эмиграции сблизился с Гюго.

Джеффрис, Джордж (1640—1689) — лорд-канцлер Англии. Известен свирепым подавлением восстания против Стюартов. Его имя стало нарицательным для жестокого, несправедливого судьи.

Джон Буль — сатирический образ, созданный английским писателем Арбетнотом. Имя стало нарицательным для англичанина-буржуа.

Диатрибы (греч.) — философский, риторический спор; иногда в смысле замедления, проволоочки.

Дидо, Фирмен (1790—1876) — представитель семьи известных типографов и издателей.

Дидро, Дени (1713—1784) — выдающийся философ-материалист

и писатель; идеолог революционной буржуазии; основатель и редактор знаменитой «Энциклопедии».

Дидье, Шарль (1758—1816) — участник заговора против Людовика XVIII в Гренобле. Был казнен.

Долгий парламент — парламент английской революции (1640—1653).

Домбровский, Ярослав (1836—1871) — польский революционер-демократ; один из виднейших военных деятелей Парижской Коммуны. Погиб на баррикадах в мае 1871 г.

Доминик Святой (1170—1221) — основатель одного из самых реакционных монашеских орденов — доминиканского, беспощадно расправлявшегося с еретиками; инквизиторы обычно были из доминиканцев.

Донно де Визе, Жан (1636—1710) — литератор, критиковавший произведения Мольера.

Дора, Клод (1734—1780) — поэт, автор легкомысленных стихов.

Драгоннады (франц.) — кавалерийские постой в домах гугенотов, введенные как карательная мера после отмены Нантского эдикта (1685), лишившей протестантов свободы вероисповедания.

Дюбуа, Гильом (1655—1723) — воспитатель герцога Орлеанского; министр иностранных дел в период Регентства.

Дюкро, Огюст (1817—1882) — генерал-монархист. Потерпел во время осады Парижа (1870—1871) ряд неудач, повлекших за собой много жертв. Ярый враг Парижской Коммуны и рабочего движения.

Дюмурье, Шарль-Франсуа (1739—1823) — генерал, с 1792 г. — командующий Северной армией. В апреле 1793 г. изменил революции и бежал в Австрию.

Дюпанлу, Филибер, епископ орлеанский (1802—1878) — крайний реакционер, один из главных авторов реакционного закона о народном образовании (1850).

Дюпен, Андре-Мари (1783—1865) — адвокат; беспринципный политический деятель; во время революции 1848 г. — председатель Законодательного собрания. Не протестовал против переворота 2 декабря 1851 г. и в дальнейшем служил Второй империи.

Дююитрен, Гийом (1778—1835) — известный врач-хирург.

Дюрье, Ксавье (1817—1868) — журналист; депутат Учредительного собрания 1848 г.; противник переворота 2 декабря 1851 г., после которого был отправлен на каторгу. Умер в эмиграции.

Дюси, Жан-Франсуа (1733—1816) — поэт и переводчик Шекспира; противник Наполеона I.

Дюссу, Дени — брат депутата Законодательного собрания левого республиканца Гастона Дюссу. Вместо больного брата, надел

депутатский шарф и выступил против переворота Луи Бонапарта (2 декабря 1851 г.). Был убит.

Дюфор, Арман-Жюль (1798—1881) — адвокат; беспринципный политический деятель; при Третьей республике — министр юстиции (1871—1873), возглавивший кровавую расправу с коммунарами.

Евклид (Эвклид) (III в. до н. э.) — древнегреческий математик, оказавший огромное влияние на развитие математики. Гюго упоминает о постулате Евклида, то есть о суждении, принимаемом без доказательств.

Елизавета I — английская королева (1558—1603) из династии Тюдоров; представительница английского абсолютизма.

Жаккар, Жозеф-Мари (1752—1834) — лионский ткач, изобретатель станка для производства крупноузорчатых тканей.

Жеффрар, Фабр (1806—1879) — президент республики Гаити с 1859 по 1867 г.

Жирарден, Эмиль (1806—1881) — видный журналист и буржуазный политический деятель. После переворота 2 декабря 1851 г. на короткий срок был изгнан из Франции.

Жоаннар, Жюль (1843—1888) — рабочий, член I Интернационала и Парижской Коммуны 1871 г., после поражения которой был приговорен к бессрочной каторге, но бежал.

Жокрисс — тип глупого слуги в старых французских фарсах.

Жувансель, Поль (1817—1897) — публицист и политический деятель; участник революции 1848 г.; после 2 декабря 1851 г. — эмигрант; в 1871—1875 гг. — депутат Национального собрания.

Зоил (IV в. до н. э.) — древнегреческий грамматик и ритор, подвергавший придирчивой, мелочной критике творчество Гомера. В переносном смысле — злобный, придирчивый критик.

Зуавы — арабское племя в Алжире; с 1842 г. — название специальных отрядов французских солдат, несших службу в Алжире.

Изабелла II — королева Испании (1833—1868). Во время ее царствования происходили гражданские войны с претендентом на трон Дон Карлосом. Низложена во время революции 1868 г.

Инвектива (от позднелатинского *invectiva oratio*) — бранная речь, резкое выступление против кого-нибудь.

Иннокентий III — римский папа (1188—1216), стремившийся установить верховенство папской власти над странами Европы, Свирепо уничтожал инакомыслящих.

Институт — высшее научное учреждение Франции, объединившее в 1795 г. прежние Академии.

Июньское восстание — восстание парижских рабочих 22—26 июня 1848 г., вызванное роспуском Национальных мастерских. Было свирепо подавлено генералом Кавеньяком.

Кавеньяк, Луи-Эжен (1802—1857) — генерал; реакционный политический деятель; буржуазный республиканец. Потопил в крови восстание рабочих Парижа в июне 1848 г.

Кадудаль, Жорж (1771—1804) — один из главарей контрреволюционного восстания в Вандее, организатор двух неудачных покушений на жизнь Наполеона Бонапарта (в 1800 и 1803 гг.). Был казнен.

Калигула, Гай — римский император (37—41); жестокий и сумасбродный деспот. Был убит заговорщиками-преторианцами.

Кальвин, Жан (1509—1564) — основатель протестантского учения — кальвинизма, отвечавшего интересам буржуазии. Его учение распространилось во Франции (гугеноты), в Нидерландах, Англии и Шотландии (пуритане).

Камальдулы — основанный в XI в. итальянский монашеский орден.

Камбасерес, Жан-Жак (1753—1824) — после контрреволюционного переворота 9 термидора — председатель Конвента, затем министр юстиции; после переворота 18 брюмера — второй консул, позднее председатель сената империи; один из составителей Гражданского кодекса, закрепившего во Франции господство крупной буржуазии.

Камбиз — древнеперсидский царь (529—523 до н. э.).

Кампанелла, Томмазо (1568—1639) — итальянский коммунист-утопист, автор написанного в тюрьме (в которой провел 27 лет) «Города солнца»; в этой книге он нарисовал идеальное общество без частной собственности и социального неравенства.

Кампенон, Франсуа (1772—1843) — посредственный поэт-роялист; эмигрант во время революции.

Кампистрон, Жан-Жилибер (1656—1728) — драматург, подражавший Расину.

Кандия — итальянское название острова Крит и города Гераклиона; отсюда — кандiotы, жители Крита.

Канробер, Франсуа-Сертен (1809—1895) — генерал-бонапартист, жестоко подавивший сопротивление перевороту 2 декабря 1851 г.; главнокомандующий французскими войсками в Крыму

(с конца 1854 г.). Во время франко-прусской войны (1870—1871) был взят в плен при сдаче Меца.

Капрера — остров близ Италии, где жил Гарибальди.

Капуя — город в Италии, праздная, полная наслаждений жизнь в котором способствовала разложению зимовавшего там (в 216 г. до н. э.) карфагенского войска Ганнибала. Гюго употребляет название Капуя в смысле разложения, загнивания.

Карл V — с 1516 по 1556 г. испанский король, с 1519 по 1555 — германский император. В его огромную империю входили испанские колонии в Америке, Нидерланды, южная Италия и другие территории.

Карл VIII — король Франции (1483—1498). Возглавил грабительский поход в Италию, положивший начало франко-итальянским войнам.

Карл IX — король Франции (1560—1574), при котором фактически правила его мать Екатерина Медичи, организовавшая с согласия Карла IX Варфоломеевскую ночь.

Карл X — последний король Франции из династии Бурбонов (1824—1830); ярый реакционер.

Карлос Младший, дон (1848—1909) — претендент на испанский трон. Вел длительную борьбу за престол («карлистские войны»), но потерпел поражение.

Карлье, Пьер (1799—1858) — реакционер-бонапартист; с 1849 г. — префект полиции в Париже; один из организаторов переворота 2 декабря 1851 г.

Кассандра (мифол.) — дочь царя Трои Приама, взятая в плен Агамемноном; прорицательница, пророчествам которой никто не верил.

Кастелар, Эмилио (1832—1899) — испанский буржуазный политический деятель, историк, писатель; лидер правых республиканцев. Возглавлял правительство в 1873—1874 гг.

Каталафими — селение в Сицилии, у которого 15 мая 1860 г. гарибальдийцы разбили неаполитанские войска.

Катон Старший, Марк Порций (234—149 до н. э.) — римский политический деятель, защитник демократических привилегий и ярый сторонник войны с Карфагеном, призывом к разрушению которого он заканчивал все свои речи.

Квестор (лат.) — административная должность в Законодательном собрании Франции (и в других парламентах).

Келлерман, Франсуа-Кристоф (1735—1820) — генерал. Командовал революционными войсками в победоносной битве при Вальми (1792).

Кемадеро (исп.) — костер инквизиции, на котором сжигали еретиков.

Керетаро — крепость и город в Мексике; последний оплот императора Максимилиана, взятого там в плен и расстрелянного (1867).

Кернер, Теодор (1791—1813) — немецкий поэт, участник войны против Наполеона I; автор получивших известность патриотических стихов, изданных после его смерти.

Кине, Эдгар (1803—1875) — профессор истории; мелкобуржуазный демократ. После переворота 2 декабря 1851 г. был изгнан из Франции. В Национальном собрании 1871 г. поддерживал Тьера.

Клайв, Роберт (1725—1774) — один из наиболее жестоких английских колонизаторов периода завоевания Индии.

Клари, Юстиниан-Николь — бонапартист, участник подавления июньского восстания рабочих в 1848 г. В Законодательном собрании поддерживал Луи-Наполеона.

Клебер, Жан-Батист (1753—1800) — революционный генерал, участник египетского похода Бонапарта; в дальнейшем командовал армией в Египте и был там убит.

Клитемнестра (мифол.) — жена царя Аргоса Агамемнона, убившая своего мужа.

Кобден, Ричард (1804—1865) — английский буржуазный политический деятель, возглавлявший движение за свободу торговли (фритредерство).

Кобург — австрийский генерал, командовавший войсками европейской коалиции, воевавшей против Франции во время буржуазной революции конца XVIII в.

Кодр — римский поэт, современник Ювенала.

Коко, Винцент (1770—1823) — итальянский литератор и политический деятель Неаполитанского королевства в период господства Наполеона I.

Кола — русский город на Белом море, подвергшийся бомбардировке английской эскадры во время Крымской войны (1854). Попытки захватить сгоревший город закончились неудачей.

Коленкур, Арман-Огюстен (1772—1827) — генерал и дипломат, посол в России (1807—1811), сторонник укрепления франко-русского союза. В 1812 г. участвовал в походе на Россию. С 1813 г. и до падения империи — министр иностранных дел.

Комиции (лат.) — народные собрания в древнем Риме.

Конвент — высший законодательный орган во время буржуазной революции (1792—1795). Сначала в нем господствовали жирон-

дисты, затем якобинцы; после падения якобинской диктатуры (27 июля 1794) превратился в орудие буржуазной контрреволюции. Был распущен 26 октября 1795 г.

Конде, Луи II де Бурбон, принц («Великий Конде») (1621—1686) — крупнейший полководец, участник Тридцатилетней войны; победитель испанцев в битве при Рокруа (1653).

Конде, Луи де Бурбон, принц (1736—1818) — командующий роялистской армией эмигрантов во время буржуазной революции во Франции конца XVIII в.

Кондорсе, Жан-Антуан (1743—1794) — философ-просветитель, ученый, деятель буржуазной революции, один из лидеров жирондистов. В период якобинской диктатуры был арестован и отравился, чтобы избежать смерти на эшафоте.

Кондотьеры (итал.) — продажные предводители наемных войск в Италии в XIV—XV вв. Часто захватывали власть в отдельных городах.

Консальви, Эрколе (1757—1824) — кардинал, статс-секретарь папы Пия VII.

Констан, Бенжамен (1767—1830) — писатель, публицист и политический деятель; противник Наполеона I.

Консульство — режим, существовавший во Франции от переворота 18 брюмера до провозглашения империи (1799—1804), диктатура крупной буржуазии во главе с Наполеоном Бонапартом.

Консьержери — тюрьма в Париже, в которой во время революции содержались Мария-Антуанетта, жирондисты, Дантон и др.

Конча, Хосе (1812—1895) — испанский генерал. В 1872—1875 гг., будучи губернатором Кубы, жестоко подавлял народное восстание.

Коппеноль, Ливен (1598—1662) — известный голландский рисовальщик.

Корнель, Пьер (1606—1684) — выдающийся драматург, создатель драматургии классицизма. Важнейшие трагедии: «Сид», «Цинна», «Смерть Помпея».

Кортесы (исп.) — орган сословного представительства в Испании и Португалии, возникший в XII в.

Кошут, Лайош (1802—1894) — выдающийся буржуазный революционер, национальный герой венгерского народа, организатор народной борьбы во время революции 1848—1849 гг. После поражения революции эмигрировал.

Кратин (520—423 до н. э.) — афинский комедиограф, предшественник Аристофана.

Кребильон, Проспер (1674—1762) — поэт, драматург, член Французской Академии, враг Вольтера.

Кремье, Адольф (1796—1880) — адвокат; умеренный буржуазный либерал; во время революции 1848 г. — министр юстиции, депутат Законодательного собрания. Выступал против переворота 2 декабря 1851 г. После падения Второй империи — член правительства Национальной обороны и министр юстиции.

Кремье, Гастон (1836—1871) — адвокат; политический деятель, республиканец; организатор восстания 23 марта 1871 г., приведшего к образованию Марсельской Коммуны. После подавления восстания расстрелян.

Кромвель, Оливер (1599—1658) — крупнейший деятель английской революции XVII в. В 1649 г. возглавил республику, а с 1653 г. установил свою военную диктатуру.

Крузейль, Мари-Жан (1792—1861) — член палаты пэров во время Июльской монархии; при Второй империи — сенатор.

Курульное кресло — специальное сидение и один из атрибутов власти римских высших должностных лиц (консулов, преторов, эдилов и др.).

Курье, Поль-Луи (1772—1825) — публицист, автор блестящих памфлетов, направленных против полиции, духовенства и дворянства.

Кэслри, Роберт Стюарт (1769—1822) — английский реакционный государственный деятель; с 1812 г. — министр иностранных дел. Активно поддерживал Священный союз и феодальную реакцию в Европе.

Кэткарн, Джордж (1794—1854) — английский генерал, участник битвы при Ватерлоо. Убит в сражении под Инкерманом.

Кювье, Жорж (1769—1832) — видный ученый-естествоиспытатель, метафизик. Не признавал изменчивости видов. Сначала сочувствовал революции, затем стал реакционером-орлеанистом.

Кюизинье — участник выступления против бонапартистского переворота в районе Кламси. Казнен в 1852 г. по обвинению в убийстве жандарма.

Лабедуайер, Шарль (1786—1815) — офицер, участник наполеоновских войн. Во время Ста дней примкнул к Наполеону. Был расстрелян после вторичного возвращения Бурбонов.

Лабомель, Лоран (1726—1773) — писатель, враждовавший с Вольтером.

Лавалетт, Шарль (1806—1881) — дипломат, приближенный Луи-Наполеона; посол в Константинополе перед Крымской войной, позднее министр иностранных дел.

Лавальер, Луиза (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV.

Лагори, Виктор-Клод-Фанно (1766—1812) — генерал, республиканец, противник империи. В 1804—1808 гг. — в эмиграции. Расстрелян за участие в республиканском заговоре.

Лагранж, Жозеф-Луи (1736—1813) — выдающийся французский математик и механик.

Лагранж, Шарль (1804—1857) — участник революции 1830 г., лионского восстания 1834 г. и революции 1848 г. После переворота 2 декабря 1851 г. эмигрировал.

Ладзарони (итал.) — деклассированные, люмпенпролетарские элементы в Италии.

Лайнес, Диего (1512—1565) — один из основателей ордена иезуитов и составитель его статута; второй (после Лойолы) генерал ордена.

Ламарк, Жан-Батист (1744—1829) — выдающийся ученый-естествоиспытатель, создатель первой материалистической теории эволюции.

Ламартин, Альфонс (1791—1869) — буржуазный политический деятель; историк и известный поэт; в 1848 г. — министр иностранных дел Временного правительства.

Ламбаль, Мария-Тереза, принцесса (1749—1792) — приближенная королевы Марии-Антуанетты. Была убита 2 сентября 1792 г. во время расправы народа с контрреволюционерами.

Ламенне, Фелисите-Робер (1782—1854) — аббат; реакционный публицист. Проповедовал так называемый христианский социализм, стремившийся подчинить рабочее движение влиянию церкви.

Ламет Александр (1760—1829) и *Шарль* (1757—1832) — братья; во время буржуазной революции — лидеры партии либерального дворянства и верхушки буржуазии (фейяны). После свержения монархии эмигрировали.

Ламорисьер, Кристоф-Луи (1806—1865) — реакционный генерал и политический деятель, усмиритель июньского восстания 1848 г. После 2 декабря 1851 г. был изгнан.

Ламуаньон, Кретъен-Франсуа (1735—1789) — реакционер, президент Парижского суда при Людовике XVI.

Ларошжаклен дю Вержье, Анри (1805—1867) — депутат Учредительного и Законодательного собраний во время революции 1848 г.; лидер легитимистов.

Ласенер, Пьер-Франсуа (1800—1836) — бандит и убийца, выдававший себя за поэта и писателя. Совершил ряд зверских преступлений и был казнен.

Лас Касас, Бартоломео (1474—1566) — испанский священник и историк, участник походов в Америку. Выступал против ограбления индейцев и признавал за ними право на вооруженное сопротивление испанским захватчикам.

Ластейри, Жюль (1810—1883) — политический деятель, монархист, противник Луи-Наполеона.

Ла Тур д'Овернь, Теофиль (1743—1800) — офицер, проявивший выдающуюся храбрость в ряде кампаний. Наполеон присвоил ему звание «первого гренадера Франции». Погиб в сражении и был оставлен навеки в списках части.

Лафайет, Мари-Жозеф (1757—1834) — генерал и политический деятель; сторонник конституционной монархии; участник войны американских колоний Англии за независимость и французской буржуазной революции. После падения монархии бежал из Франции, был задержан австрийцами и просидел несколько лет в крепости Ольмюц.

Лафонтен, Жан (1621—1695) — писатель-баснописец.

Лебеф, Эдмон (1809—1888) — генерал; военный министр в 1869—1870 гг. Во время франко-прусской войны сдался в плен.

Лев X — римский папа (1513—1521). Слыл покровителем искусств.

Лев XII — римский папа с 1823 по 1829 г.

Ледрю-Ролан, Александр-Огюст (1807—1874) — мелкобуржуазный демократ; редактор газеты «Реформа» в годы Июльской монархии; после февральской революции — министр внутренних дел. Вел политику, враждебную рабочему классу. После провала демонстрации 13 июня 1849 г. эмигрировал.

Лезюрк, Жозеф (1763—1796) — чиновник, обвиненный в ограблении и убийстве. Был казнен. Несмотря на то, что в 1798 г. был найден и понес наказание истинный виновник, Лезюрк так и не был реабилитирован.

Леконт, Клод-Мартен (1817—1871) — генерал; бонапартист. Возглавил 18 марта 1871 г. отряд, которому было поручено разоружить национальную гвардию. Был расстрелян солдатами, которым приказывал стрелять в народ.

Лемерсье, Непомюсен (1771—1840) — писатель-драматург, автор поэмы «Пангипокризиада»; республиканец. Отказался присягнуть Наполеону I.

Лене, Жозеф (1757—1835) — умеренный буржуазный либерал; председатель палаты депутатов и министр внутренних дел во время реставрации Бурбонов.

Леонид (V в. до н. э.) — спартанский царь, прославившийся стойкой защитой от персов Фермопильского ущелья (480 до н. э.), где он героически погиб со своим отрядом. Его имя стало нарицательным для обозначения патриотизма и героизма.

Лепанто — город в Греции, близ которого в 1571 г. объединенный испано-венедианский флот разбил турецкий флот.

Лепик, Луи (1765—1829) — кавалерийский генерал, участник войн Первой республики и Первой империи.

Лесаж, Ален-Рене (1668—1747) — писатель, автор широко известных романов «Хромой бес», «История Жиль Блаза де Сантьяна» и ряда комедий. В своих произведениях сатирически изображал современное ему французское общество.

Лефрансе, Гюстав (1826—1901) — активный участник революции 1848 г.; после 2 декабря 1851 г. — эмигрант; участник Парижской Коммуны 1871 г. Был приговорен к смерти, но бежал. В дальнейшем принимал участие в социалистическом движении. Э. Потье посвятил ему свой «Интернационал», ставший гимном международного пролетариата.

Ликург — легендарный законодатель Спарты.

Линкольн, Авраам (1809—1865) — президент Соединенных Штатов Америки в 1861—1865 гг.; противник рабства негров. Деятельность Линкольна во время гражданской войны имела прогрессивное значение. Был убит агентом рабовладельческого юга вскоре после окончания гражданской войны.

Лициний, Кальвус (82—46 до н. э.) римский оратор и поэт.

Лоди — город в Италии, у которого 10 мая 1796 г. войска Наполеона Бонапарта разбили австрийскую армию.

Лойола, Игнаций (1491—1556) — основатель ордена иезуитов, один из виднейших представителей воинствующей католической реакции XVI в.

Лопес, Нарсиссо (1799—1851) — борец за освобождение Южной Америки и Кубы от испанского гнета. При очередной попытке высадиться на Кубе взят в плен и казнен.

Лорике, Жан-Никола (1757—1845) — крайний реакционер, иезуит; автор ряда трудов по религиозной истории Франции, классической истории и лингвистике.

Лоу, Гудсон (1769—1844) — английский генерал; с 1815 г. — губернатор острова св. Елены, надзиравший за Наполеоном I; тупой и ограниченный служака.

Лукан, Марк Анней (38—65) — римский поэт. Казнен за участие в заговоре против императора Нерона.

Лукиан (ок. 120 — после 180) — древнегреческий писатель-сатирик, выступавший против нравов эпохи разложения античного рабовладельческого общества.

Лукреций, Тит Кар (ок. 99—55 до н. э.) — римский поэт и философ, крупнейший представитель материалистической философии и атеизма; автор выдающейся философской поэмы «О природе вещей».

Лурмель (1811—1854) — генерал; бонапартист. Убит в сражении при Инкермане.

Людовик IX Святой — король Франции (1226—1270); значительно усилил королевскую власть; предпринял два крестовых похода.

Людовик XI — король Франции (1461 — 1483). Почти завершил территориальное объединение страны. Отличался крайней жестокостью.

Люлье, Шарль-Эрнест (1838—1891) — военный деятель Парижской Коммуны 1871 г., после подавления которой был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Мадзини, Джузеппе (1805—1872) — выдающийся буржуазный революционер, борец за национальное освобождение и объединение Италии; основатель тайной республиканской организации «Молодая Италия» (1831), подготовившей ряд вооруженных восстаний против иноземного гнета. В 1849 г. возглавлял правительство Римской республики (см.).

Мадье-Монжо, Нозль (1814—1892) — участник революции 1848 г. Противодействовал перевороту 2 декабря 1851 г., после которого эмигрировал. Депутат Национального собрания в 1875 г. Выступал за амнистию коммунарам, против клерикализма.

Максимилиан Габсбург (1832—1867) — австрийский эрцгерцог и император Мексики в 1863—1867 гг.; ставленник французских интервентов, после ухода которых был взят в плен и расстрелян.

Мале, Клод-Франсуа (1754—1812) — генерал и политический деятель, республиканец. В октябре 1812 г. пытался провозгласить республику; был арестован и расстрелян.

Малерб, Франсуа (1555—1623) — поэт и критик, один из основоположников классицизма XVII в.

Малуэ, Пьер-Виктор (1740—1814) — во время буржуазной революции — сторонник конституционной монархии; после 10 августа 1792 г. — эмигрант. Возвратился при Наполеоне I.

Мальзерб, Кретьен-Гийом (1721—1794) — видный политический деятель и юрист; сторонник ограничения абсолютизма и буржуаз-

ных реформ. Выступал защитником на процессе Людовика XVI. Казнен при якобинской диктатуре.

Мальмезон — замок близ Парижа, резиденция Жозефины Богарне.

Мандрен, Луи (1724—1755) — глава отряда, долгое время наводившего ужас на правительственных чиновников провинции Дофине. Гюго неправильно изображает Мандрена как разбойника; в действительности деревенская и городская беднота видела в нем своего защитника.

Манин, Даниэль (1804—1857) — итальянский буржуазный республиканец; участник революции 1848 г. — президент Венецианской республики (март 1848 — август 1849). После поражения революции эмигрировал и умер в Париже.

Маньян, Бернар (1791—1865) — генерал, участник зверской расправы с парижскими рабочими в июне 1848 г. Командуя войсками парижского гарнизона, подавил сопротивление республиканцев 2 декабря 1851 г. При Второй империи — маршал и сенатор.

Марат, Жан-Поль (1743—1793) — выдающийся революционер, оратор, ученый, публицист; один из наиболее решительных вождей якобинцев во время революции. В своей газете «Друг народа» (так народ прозвал и самого Марата) неустанно разоблачал контрреволюцию. Ненавидимый врагами, Марат был убит 13 июля 1793 г. террористкой Шарлоттой Корде. Образ Марата был искажен и оклеветан буржуазными историками.

Мариво, Пьер (1688—1768) — писатель, автор комедий и романов, написанных изысканным стилем.

Мармье, Альфред-Этьен (1805—1878) — реакционный политический деятель времен Июльской монархии и Второй империи; в Национальном собрании 1871 г. — орлеанист, ярый противник республики.

Марото, Гюстав (1849—1875) — участник Парижской Коммуны 1871 г. После подавления Коммуны был сослан в Новую Каледонию, где и умер.

Марсо, Франсуа (1769—1796) — талантливый генерал, одержавший победу над иностранными интервентами при Флерюсе 26 июня 1794 г.

Мастаи — кардинал, стал папой Пием IX.

Мевий (I в. до н. э.) — римский поэт, противник Горация и Вергилия.

Медичи — династия флорентинских герцогов-тиранов (1434—1737).

Медици, Екатерина (1519—1589) — жена короля Генриха II, фактическая правительница Франции в царствование ее сыновей Франциска II и Карла IX; главный организатор Варфоломеевской ночи.

Ментана — селение близ Рима, у которого 4 ноября 1867 г. папские и французские войска разбили Гарибальди, стремившегося захватить Рим и завершить национальное объединение страны.

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — русский генерал и адмирал. Выполнял дипломатические поручения Николая I и способствовал развязыванию Крымской войны, во время которой показал себя бездарным военачальником.

Мериме, Проспер (1803—1870) — известный писатель, был близок к бонапартистам.

Мерис, Поль (1820—1905) — романист, драматург и переводчик; левый республиканец; один из основателей газеты «Раппель»; друг Гюго.

Местр, Жозеф де (1753—1821) — реакционный философ и писатель; крайний клерикал, сторонник восстановления средневекового могущества пап, ярый враг революции.

Мильтон, Джон (1608—1674) — великий английский поэт, публицист и политический деятель; активный участник буржуазной революции XVII в. Автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» и ряда политических памфлетов — блестящих образцов революционной публицистики.

Мирабо, Оноре-Габриэль (1744—1791) — видный деятель буржуазной революции во Франции; блестящий оратор; один из руководителей либерального дворянства и крупной буржуазии. Позднее выяснилось, что Мирабо был связан с королевским двором.

Миссолонги — город в Греции, прославившийся героической обороной против турок в апреле 1826 г. Защитники предпочли смерть сдаче. Резня, устроенная турками в Миссолонгах, возбудила негодование прогрессивных кругов Европы.

Мишель де Бурж (1798—1853) — участник революции 1848 г.; противник Луи-Наполеона и его политики. После переворота 2 декабря 1851 г. эмигрировал.

Мишле, Жюль (1798—1874) — виднейший историк радикально-демократического направления, противник клерикализма. За отказ присягнуть Луи-Наполеону был лишен кафедры.

Моле, Луи-Матье (1781—1855) — реакционный политический деятель, министр при Наполеоне I и во время Июльской монархии. Протестовал против переворота 2 декабря 1851 г. с монархических позиций.

Моланизм — учение последователей испанского иезуита Молина (1535—1601) о небесной благодати, осужденное католической церковью.

Мольте Старший, Хельмут-Карл (1800—1891) — прусский фельдмаршал; начальник генерального штаба прусской армии во время франко-прусской войны.

«Монитор» («Вестник») — официальная правительственная газета в 1789—1869 гг.

Монмартр — бульвар Парижа, на котором 4 декабря 1851 г. было расстреляно мирное население. В районе Монмартр началось восстание 18 марта 1871 г., завершившееся провозглашением Парижской Коммуны.

Монмирайль — город во Франции, у которого 30 января 1814 г. произошло сражение Наполеона I с русскими войсками.

Монталамбер, Шарль (1810 — 1870) — клерикал, непримиримый враг демократии, один из лидеров реакционной «партии порядка».

Монтебелло, Наполеон (1801—1874) — сын наполеоновского маршала Ланна; орлеанист; в 1849—1851 гг. — правый депутат Законодательного собрания; во время Второй империи — посол в Петербурге.

Мэнтень, Мишель (1533—1592) — прогрессивный философ. В своем сочинении «Опыты» подвергал сомнению важнейшие догматы церкви.

Монтескье, Шарль-Луи (1689—1755) — крупнейший просветитель, идеолог либеральной буржуазии, сторонник конституционной монархии.

Монфоко — холм на окраине Парижа, где в XIII—XVIII вв. производились казни и постоянно находилась виселица.

Мона, Шарлемань-Эмил (1818—1888) — приближенный Луи-Наполеона. Будучи префектом парижской полиции, активно содействовал перевороту 2 декабря 1851 г. При Второй империи — сенатор и министр полиции, жестоко преследовавший республиканцев.

Мор, Томас (1478—1535) — английский политический деятель и выдающийся ученый-гуманист, один из основоположников утопического социализма, получившего название от его произведения «Утопия».

Морни, Шарль-Огюст (1811—1865) — сводный брат Луи-Наполеона; один из главных организаторов переворота 2 декабря 1851 г.; при Второй империи — посол в России, председатель Законодательного корпуса.

Моро, Жан-Батист (1791—1872) — политический деятель, депутат Учредительного и Законодательного собраний от департамента Сены.

Моро, Жан-Виктор (1763—1813) — генерал, участник революционных войн. Возглавил оппозицию против Наполеона Бонапарта — первого консула и был выслан из Франции (1804). С 1813 г. — на русской службе, участвовал в войне против Наполеона, убит под Дрезденом.

Москова, де ла — см. *Ней Мишель* и *Ней Эдгар*.

Мурабиты — члены мусульманского военно-религиозного ордена в Северной Африке.

Мюрат, Иоахим (1767—1815) — маршал Наполеона I; муж его сестры; король неаполитанский (1808—1814). Изменил Наполеону в 1814 г., но во время Ста дней снова перешел на его сторону. Был взят в плен и расстрелян.

Навин, Иисус — легендарный вождь израильских племен. По библейскому преданию, остановил солнце.

Нарцисс (I в. н. э.) — фаворит римского императора Клавдия.

Ней, Мишель (1769—1815) — маршал Франции и один из ближайших соратников Наполеона I. После Бородинского сражения получил титул герцога де ла Москова. После падения империи служил Бурбонам, но во время Ста дней перешел на сторону Наполеона и был расстрелян после вторичного возвращения Бурбонов.

Ней, Эдгар (1812—1882) — сын предыдущего; адъютант президента Луи-Наполеона; во время Второй империи — генерал и сенатор.

Низар, Дезире (1806—1888) — историк литературы и критик; бонапартист.

Ниобея (мифол.) — дочь царя Тантала. За насмешку над богиней Лето поплатилась своими детьми и была превращена в скалу, источающую слезы.

Новара — селение в северной Италии, у которого 24 марта 1849 г. австрийцы разбили войска сардинского короля Карла-Альберта.

Нотт, Клод-Франсуа (1711—1793) — иезуит, литератор, противник Вольтера, остроумно им высмеянный.

Нума, Помпилий (715—672 до н. э.) — римский царь, которому легенда приписывает религиозное и государственное устройство древнего Рима.

Обинье, Агриппа д' (1552—1630) — политический деятель, поэт, гугенот, автор «Всемирной истории» и «Трагических поэм», расска-

зывающих о бедственном положении народа во время религиозных войн во Франции.

Омар — второй халиф арабов (634—644), сильно расширивший своими завоеваниями арабские владения.

Опуль, Анри (1789—1865) — генерал и военный министр в президентство Луи-Наполеона; участник переворота 2 декабря 1851 г.

Оратория — духовная конгрегация, основанная в Риме (1558). Ораторианцы, не принося монашеского обета, собирались для совместного чтения и толкования священных книг.

Орест (мифол.) — сын царя Аргоса Агамемнона, убивший свою мать Клитемнестру.

Орлеанская герцогиня (Луиз-Елизабет) (1814—1858) — мать графа Парижского, внука Луи-Филиппа, в пользу которого последний отрекся от престола в феврале 1848 г.; после провозглашения республики эмигрировала в Англию.

Орсини, Феличе (1819—1858) — итальянский республиканец, участник борьбы за освобождение и объединение Италии. Совершил покушение на Наполеона III и был казнен.

Осанна — молитвенное восклицание евреев и христиан; в переносном смысле — восхваление, превозношение кого-нибудь.

Осман, Жорж (1809—1891) — при Второй империи — префект департамента Сены. При нем Париж подвергся перестройке и безвкусному украшательству.

Палата пэров — верхняя палата французского парламента в период реставрации Бурбонов и Июльской монархии. В. Гюго в 1845 г. был возведен в графское достоинство и получил титул пэра Франции.

Палиссо, Шарль (1730—1814) — писатель, яростный противник Руссо, Дидро и энциклопедистов.

Паллас — фаворит римского императора Клавдия. Пользовался при нем огромной властью и все же отравил его и помог занять престол Нерону, который вскоре заточил Палласа в тюрьму.

Пальмерстон, Генри Джордж Темпл (1784—1865) — английский реакционный государственный деятель, лидер вигов, неоднократно занимавший министерские посты; один из главных организаторов Крымской войны; ярый враг революционного движения.

Пана, Доминик-Самюэль (1787—1860) — политический деятель, легитимист. Занимал дипломатические и административные должности при Наполеоне и Реставрации. С реакционных позиций выступал против переворота 2 декабря 1851 г.

Пантеон — в древнем Риме храм, посвященный всем богам; в Париже — вначале церковь, а со времени буржуазной революции усыпальница великих людей Франции. Там покоится прах Гюго.

Папин, Дени (1647—1714) — физик, один из изобретателей парового двигателя.

Паризель — врач; член Парижской Коммуны 1871 г., после поражения которой был заочно приговорен к смертной казни.

Паризи, Пьер (1795—1866) — епископ Лангрский, депутат Законодательного собрания 1849—1851 гг., монархист.

Партия порядка — так называли партию, состоявшую из монархистов — орлеанистов и легитимистов — и имевшую большинство в Законодательном собрании 1849—1851 гг.

Паскаль, Блез (1623—1662) — знаменитый математик, физик, философ; решительный противник иезуитов.

Патуйе, Луи (1699—1779) — иезуит, памфлетист. Ненавидел просветителей и был едко высмеян Вольтером.

Пашалык — в султанской Турции провинция или область, управляемая пашой.

Пексан, Генрих — генерал. Изобрел особый тип пушки (пушка Пексана).

Пелайо — полулегендарный первый король Астурии (718—737), начавший отвоевание Испании у мавров (реконкисту).

Пелисье, Амабль (1794—1864) — маршал, бонапартист. В Алжире свирепо расправлялся с восставшими арабами. В конце Крымской войны — главнокомандующий французской армией.

Пеллетан, Эжен (1813—1884) — политический деятель и писатель; при Второй империи — в оппозиции Законодательного корпуса; после революции 4 сентября 1870 г. — член правительства Национальной обороны и Национального собрания 1871 г.; сторонник Тьера.

Пенн, Вильям (1644—1718) — английский политический деятель, основатель колонии в Северной Америке (названной его именем — Пенсильвания), для которой он выработал прогрессивную конституцию.

Пердигье, Агриколь (1805—1875) — мелкобуржуазный демократ, идеолог ремесленников; во время революции 1848 г. — депутат Учредительного и Законодательного собраний. После переворота 2 декабря 1851 г. был выслан.

Перейра, Исаак (1806—1880) — известный банкир.

Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — государственный деятель Афин, при котором Афины превратились в экономический, культурный и политический центр древнегреческого мира.

Перье, Казимир-Пьер (1777—1832) — крупный банкир и реакционный политический деятель. В период Реставрации принадлежал к орлеанистской оппозиции.

Пиа, Феликс (1810—1889) — драматург, публицист и мелкобуржуазный политический деятель; участник революции 1848 г.; член Парижской Коммуны 1871 г., после поражения которой был приговорен к смертной казни, но успел скрыться. Возвратился во Францию после амнистии.

Пизакане, Карло (1818—1857) — итальянский революционный демократ, социалист-утоцист; активный участник революции 1848—1849 гг. (начальник штаба Римской республики). Убит при попытке поднять восстание на юге Италии.

Пий V — римский папа (1566—1572), одна из самых мрачных фигур на папском престоле. Жестоко преследовал врагов церкви и поддерживал католическую реакцию в Европе.

Пий VII — римский папа (1800—1823). Короновал Наполеона I императорской короной. В 1809 г. был по приказу Наполеона I увезен во Францию, где пробыл до падения империи.

Пий IX (Джованни Мастаи) — римский папа (1846—1878). В начале провел несколько либеральных реформ, но затем стал вдохновителем европейской реакции. Был изгнан Римской республикой и вернулся после ее подавления; опираясь на Наполеона III, противодействовал национальному объединению Италии.

Пиль, Роберт (1788—1850) — английский премьер-министр (1841—1846).

Пиндар (V в. до н. э.) — греческий лирический поэт, автор знаменитых од; борец против персов, за независимость Греции.

Пискатори (1799—1870) — реакционный политический деятель и дипломат.

Питт Младший, Вильям (1759—1806) — английский реакционный государственный деятель, премьер-министр; один из главных организаторов интервенции против французской республики и коалиций против Наполеона I.

Плавт, Тит Манций (ок. 254 — 184 до н. э.) — римский комедиограф, чьи комедии были близки к народному творчеству.

Порция — жена Брута, одна из героических женщин времен конца Римской республики. Участвовала в заговоре против Цезаря и покончила с собой, когда республика была разгромлена.

Поэрио, Карло (1803—1867) — итальянский буржуазный революционер, участник революции 1848 г. С 1849 по 1859 г. находился в тюрьме, откуда бежал.

Преторианцы — в древнем Риме привилегированные солдаты императорской гвардии. Участвовали в многочисленных дворцовых переворотах.

Прюдом — ставшее во Франции нарицательным наименование самодовольного мелкого буржуа.

Псара — греческий город, прославившийся упорной обороной против турок в 1824 г.

Пуэбла — город и крепость в Мексике, героически оборонявшийся (с марта по 17 мая 1863 г.) от французских интервентов и капитулировавший на почетных условиях.

Пьетри, Жозеф-Мари (1820—1902) — бонапартист; при Наполеоне III префект ряда департаментов (с 1866 г. в Париже). Жестоко преследовал всякие проявления народного недовольства. После падения Второй империи бежал в Англию; возвратился при Мак-Магоне.

Пьетри, Пьер (1809—1864) — активный бонапартист, один из организаторов переворота 2 декабря 1851 г.; с 1852 г. — префект парижской полиции.

Пятнадцатое мая 1848 г. — день революционной демонстрации трудящихся Парижа, переросшей в стихийную попытку создать новое революционное правительство. Поражение этой демонстрации явилось сигналом к активизации реакционных сил.

Рабб, Альфонс (1786—1830) — французский литератор.

Разрио, Андре (1759—1814) — известный чеканщик и гравер.

Раглан, Фицрой Джеймс Генри, лорд (1788—1855) — английский фельдмаршал, главнокомандующий английской армией во время Крымской войны.

Радецкий, Иоганн-Венцель (1766—1858) — австрийский фельдмаршал, кровавый палач итальянской революции 1848—1849 гг.

Рамбулье, Катрин, маркиза (1538—1665) — хозяйка известного литературного салона в Париже — отеля Рамбулье, где собирались виднейшие представители дворянской литературы.

Расин, Жан (1639—1699) — поэт, один из величайших представителей драматургии французского классицизма.

Регул, Марк (III в. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец времен Первой пунической войны. Потерпев поражение, попал в плен и был убит в Карфагене.

Рейнский союз (Рейнская конфедерация) — созданное в 1806 г. под протекторатом Наполеона I объединение из шестнадцати западных и южных германских государств. Это привело к изоляции

Пруссии и к распаду Священной Римской империи. После поражения Наполеона Рейнский союз распался.

Рейхлин, Иоганн (1455—1522) — немецкий гуманист, борец против средневековой схоластики; выдающийся знаток древних языков.

Рене Бретонская (1510—1575) — герцогиня Феррарская, дочь Людовика XII. Сочувствовала и покровительствовала гугенотам во время религиозных войн во Франции. Умерла в замке Монтаржи.

Рибейроль, Шарль (1812—1861) — участник революции 1848 г. и эмигрант после 2 декабря 1851 г.; автор книги «Остроги Африки» (1853), в которой рассказал об ужасных условиях жизни заключенных политических противников Наполеона III.

Риго, Рауль (1846—1871) — прокурор Парижской Коммуны 1871 г. Расстрелян версальцами.

Риего, Рафаэль (1785—1823) — испанский буржуазный революционер, один из вождей революции 1820—1823 гг., казненный после ее подавления.

Риенци, Кола ди (1313—1354) — итальянский политический деятель, гуманист, друг Петрарки. Возглавлял Римскую республику в 1347 и 1354 гг.

Рикамари — местечко во Франции, где в июне 1869 г., во время стачки углекопов, войска стреляли в забастовщиков.

Римская республика — высший этап революции 1848—1849 гг. в Италии. Была провозглашена 9 февраля 1849 г., после народного восстания и бегства папы. На призыв папы о помощи откликнулись Неаполитанское королевство, Австрийская империя и Французская республика, президент которой Луи-Наполеон рассчитывал, что это обеспечит ему поддержку церкви и части крестьянства. Посланные под предлогом защиты Рима от Австрии французские войска начали военные действия против республики, но потерпели вначале неудачу. С целью выиграть время было заключено перемирие. Получив поддержку реакционной части Законодательного собрания и подтянув новые силы, французы вероломно нарушили перемирие и после ожесточенных боев уничтожили Римскую республику и восстановили светскую власть папы.

Ричард III — английский король (1483—1485), отличавшийся чудовищной жестокостью.

Ришье, Клод-Франсуа (1805—1872) — реакционный депутат Учредительного и Законодательного собраний во время революции 1848 г. и Национального собрания 1871 г.

Ролан, Жан-Мари (1734—1793) — деятель французской революции конца XVIII в.; министр внутренних дел в жирондистском кабинете. После падения жирондистов покончил с собой.

Ролан, Полина (1803—1852) — журналистка, сторонница утопического социализма. После переворота 2 декабря 1851 г. была сослана в Алжир, где подвергалась издевательствам, но отказалась отречься от своих убеждений. Ссылка подорвала ее здоровье, и она вскоре умерла.

Ромье, Огюст (1800—1855) — журналист, бонапартист, автор брошюры «Красный призрак 1852 г.», которая, запугивая «красной опасностью», преследовала цель подгостовить переворот Луи-Наполеона. При Второй империи — директор департамента искусств.

Росбах — селение в Саксонии, у которого в 1757 г. прусские войска разбили франко-австрийскую армию.

Россель, Луи-Натаниэль (1844—1871) — военный деятель Парижской Коммуны 1871 г., после подавления которой расстрелян версальцами.

Росций, Квинт (I в. до н. э.) — знаменитый римский актер; друг Суллы и Цицерона, которому он давал уроки декламации.

Ротру, Жан (1609—1650) — драматург, которого высоко ценил Вольтер.

Рошфор, Анри (1830—1913) — буржуазный публицист и политический деятель. Приобрел известность своими памфлетами против Второй империи и изданием антибонапартистского журнала «Фонарь». За сочувствие Парижской Коммуне был сослан в Новую Каледонию.

Руайе-Коллар, Пьер-Поль (1763—1845) — политический деятель, буржуазный философ, участник революции конца XVIII в.; в период Реставрации — сторонник конституционной монархии. Выражал интересы умеренно-либеральных кругов буржуазии.

Руэр, Эжен (1814—1884) — ближайший сотрудник Наполеона III, министр юстиции до и после переворота 2 декабря 1851 г., председатель сената; во время Третьей республики — лидер бонапартистов.

Савонарола, Джироламо (1452—1498) — итальянский монах, проповеди которого, направленные против боачей и пороков католической церкви, ускорили народное восстание и установление республики во Флоренции (1494). Казнен сторонниками папы и Медичи.

Садова — деревня в Чехии, у которой 3 июля 1866 г. произошло решающее сражение австро-прусской войны, закончившееся поражением австрийцев.

Саламин — остров, у которого в 480 г. до н. э. древнегреческий флот разбил персидский.

Сальверт, Жозеф-Эзб (1771—1839) — писатель и политический деятель, представитель оппозиции в палате депутатов в период Реставрации и Июльской монархии.

Сарагоса — город в Испании, прославившийся своей героической обороной против войск Наполеона I в 1809 г.

Сатурналии (лат.) — ежегодные праздники в Риме в честь бога Сатурна. Сопровождались пирами и безудержным весельем.

Сбир — судебный, чаще полицейский чин в Италии; презрительно — в смысле полицейский, жандарм.

Светоний, Гай (ок. 70—160) — римский писатель, историк, автор биографий римских императоров («Жизнь двенадцати цезарей»).

Святого Ангела замок — в древнем Риме мавзолей императора Адриана. Впоследствии надстроен и превращен в тюрьму.

Священный союз — заключенный в 1815 г. реакционный союз Австрии, России, Пруссии и других европейских государств с целью поддерживать решения Венского конгресса 1814—1815 гг. и бороться против революционного и национально-освободительного движения.

Севенны — горы на юге Франции, центр крестьянского восстания в 1702—1704 гг., которое было свирепо подавлено.

Сезиньи, Мари (1626—1696) — писательница, «Избранные письма» которой являются образцом классической французской прозы XVII в.

Седан — город во Франции, под которым 2 сентября 1870 г. капитулировала французская армия и бывший при ней Наполеон III. Это привело к падению империи и провозглашению (4 сентября) республики.

Сен-Жюст, Луи-Антуан (1767—1794) — выдающийся деятель буржуазной революции, лидер якобинцев. Казнен после контрреволюционного переворота 9 термидора.

Сент-Арно, Жак-Леруа (1796—1854) — генерал, один из организаторов переворота 2 декабря 1851 г., жестоко подавивший сопротивление республиканцев; при Второй империи — военный министр и главнокомандующий союзными войсками во время Крымской войны.

Сент-Бев, Шарль-Огюстен (1804—1869) — поэт, писатель, критик либерально-буржуазного направления.

Сент-Олер, Франсуа-Жозеф (1643—1742) — незначительный светский поэт.

Сераччи, Джузеппе (1760—1801) — скульптор, участник французской революции, противник переворота 18 брюмера; расстрелян за участие в покушении на Наполеона Бонапарту.

Серван, Жозеф (1741—1808) — политический деятель; военный министр в 1792 г. После падения жирондистов находился в тюрьме до крушения якобинской диктатуры; вновь выдвинулся во время Империи.

Сетийях — название Афин во время турецкого владычества.

Сибарис — древнегреческая колония, жизнь богатых обитателей которой славилась роскошью; отсюда — сибарит.

Сибур, Мари-Доминик (1792—1857) — архиепископ Парижский с 1848 г. Выступил с оправданием переворота 2 декабря 1851 г. При Второй империи — сенатор.

Сид Кампеадор (1040—1099) — испанский национальный герой, прославившийся подвигами в борьбе с арабскими завоевателями. Воспет в народном эпосе. Герой одноименной трагедии французского драматурга Корнеля.

«Силлабус» — название буллы папы Пия IX (1864), в которой он предал анафеме всю прогрессивную мысль человечества и сформулировал реакционные притязания католической церкви на вмешательство в светские и политические дела.

Силуэтт, Этьен (1709—1767) — министр Людовика XV, пытавшийся провести налоговую реформу.

Синнамара — река во Французской Гвиане. Гвиана — место торговли и ссылки политических заключенных.

Сирас — участник восстания против бонапартистского режима в районе Кламси. Казнен в июне 1852 г. по ложному обвинению в убийстве.

Сирвен, Пьер-Поль (1709—1777) — протестант, казненный инквизицией по ложному обвинению в убийстве своей дочери из религиозных побуждений. Через пять лет после казни благодаря энергичному вмешательству Вольтера Сирвен был реабилитирован.

Сиснерос, Франсиско (1436—1517) — испанский кардинал и (с 1507 г.) «великий инквизитор», проводивший свирепые репрессии против еретиков-мавров и их культуры. Сжег много ценных арабских рукописей.

Скюдери, Жорж (1601—1667) — посредственный писатель, член Академии. Известен своей враждебностью к Корнелю.

Сократ (469—399 до н. э.) — греческий философ-идеалист. За враждебное отношение к афинской демократии был приговорен к смерти. Гюго не понимал антидемократической сущности философии и деятельности Сократа, видя в нем жертву несправедливого приговора.

Спаги — название четырех полков африканской конницы во французской армии, обычно стоявших в Алжире.

Спинола, Амбросио (1571—1630) — испанский генерал, участник Тридцатилетней войны (1618—1648).

Сталь, Анна-Луиза (1766—1817) — известная писательница; возглавляла либеральную оппозицию против Наполеона I и была изгнана из Франции.

Сфакия — город на Крите, в котором в сентябре 1866 г. было создано Национальное собрание, провозгласившее независимость острова.

Сцевола, Муций — герой римского предания; пытался убить этрусского царя Порсену, осаждавшего Рим в 507 г. до н. э.; был схвачен и сжег на огне жертвенника свою правую руку, чтобы показать презрение к пытке и смерти. Имя Сцевола — синоним героя, жертвующего собой для спасения родины.

Сципион Африканский, Публий Корнелий (235—183 до н. э.) — римский полководец, разбивший Ганнибала; стойкий республиканец.

Сьейес, Эмманюэль-Жозеф (1748—1836) — деятель буржуазной революции, защитник интересов крупной буржуазии; депутат Учредительного собрания и Конвента; участник контрреволюционного переворота 9 термидора. Играл видную роль в период Директории, способствовал перевороту 18 брюмера, после которого стал одним из консулов. В эпоху империи — сенатор.

Сюэн — адвокат-бонапартист, выступавший обвинителем по делу сына Гюго — Шарля.

Табарен (1584—1626) — актер народного театра, сочинявший и исполнявший веселые фарсы.

Тайберн — место казней в Лондоне с XII по XVIII в.

Талейран-Перигор, Шарль-Морис (1751—1838) — политический деятель и дипломат; до 1807 г. — министр иностранных дел Наполеона I. Корыстолюбивый, ловкий, беспринципный, он поочередно изменял всем режимам, которым служил.

Тальен, Тереза (1770—1835) — жена одного из руководителей переворота 9 термидора и Директории — Тальена. Играла известную политическую роль.

Тальма, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — выдающийся актер-трагик.

Тацит, Публий Корнелий (55—120) — знаменитый римский историк; сторонник аристократической республики.

Тевт — один из главных богов древних кельтов и германцев (бог войны).

Терсит (греч. «дерзкий») — ахейский воин, упоминающийся в «Илиаде» в связи с его выступлением против Агамемнона и других

вождей; изображается дерзким, уродливым, зловредным, хотя в действительности защищал в народном собрании интересы рядовых воинов против родовой аристократии.

Теруань де Мерикур, Анна (1762—1817) — активнейшая участница революции конца XVIII в. После свержения жирондистов, взгляды которых она в то время разделяла, лишилась рассудка и умерла в доме умалишенных.

Тиберий — римский император (14—37), жестокий деспот.

Тионвиль — город на северо-востоке Франции. В 1813—1814 гг. его упорно оборонял от интервентов отец Виктора Гюго — Сижисбер Гюго.

Тиртей (VII—VI в. до н. э.) — греческий поэт, воспевавший в своих элегиях военную доблесть спартанцев. Призывал к защите родины и вдохновлял своими песнями спартанских воинов.

Толбиак — старинный город в Германии, у которого в 495 г. король франков Хлодвиг одержал решающую победу над аллеманами.

Тома, Клеман (1809—1871) — реакционный генерал, усмиритель парижских рабочих в 1848 г. 18 марта 1871 г., в день восстания Парижской Коммуны, был арестован народом и расстрелян.

Топино Лебрен, Франсуа-Жан (1769—1801) — художник, участник революции, якобинец, противник переворота 18 брюмера. Расстрелян за участие в покушении на жизнь первого консула Наполеона Бонапарта.

Торе, Теофиль (1807—1869) — публицист, искусствовед, активный участник революций 1830 и 1848 гг.; противник Луи-Наполеона. После переворота 2 декабря эмигрировал.

Торквемада, Томас (1420—1498) — инквизитор, жестоко преследовавший еретиков; заточил в тюрьмы и сжег более 9 тысяч человек; изгнал из Испании евреев.

Тразей, Люций Пет (I в. н. э.) — римский сенатор-республиканец, приговоренный к смерти Нероном. Вскрыл себе вены.

Тразибул (ум. 399 до н. э.) — выдающийся афинский полководец.

Трестальон (Жан Дюпон) — один из вожakov роялистских банд, действовавших на юге Франции во время белого террора при реставрации Бурбонов.

Тридон, Гюстав (1841—1871) — адвокат, литератор, член I Интернационала, участник Парижской Коммуны, после поражения которой бежал в Бельгию, где вскоре умер.

Тринадцатое июня 1849 года — день, когда в Париже состоялась, под руководством мелкобуржуазных демократов, мирная

демонстрация протеста против нарушения конституции, а также реакционной политики президента и большинства Законодательного собрания. Демонстрация была разогнана войсками, и запоздалый призыв к оружию не дал ощутимых результатов. Это было поражение мелкобуржуазной демократии, доказавшей свою неспособность к решительной борьбе с реакцией.

Тролон, Реймон (1795—1869) — адвокат, бонапартист, председатель парижского суда; после переворота 2 декабря — председатель сената.

Тропман, Жан-Батист — бандит, убийца. Убил в Париже женщину с шестью детьми и закопал их в заранее вырытую могилу. Казнен в январе 1870 г.

Тьер, Адольф (1797—1877) — реакционный политический деятель, историк, публицист; с февраля 1871 г. — глава правительства; палач Парижской Коммуны.

Тюрго, Робер-Жак (1727—1781) — видный буржуазный экономист и политический деятель. С 1774 по 1776 г., будучи генеральным контролером финансов, провел несколько реформ, способствовавших развитию капитализма во Франции. Реформы затронули привилегии дворянства и духовенства, и Тюрго был уволен в отставку.

Тюрени, Анри (1611—1685) — выдающийся полководец.

Тюильри — королевский дворец в Париже, построенный в XVI в.; во время буржуазной революции — место заседания Конвента, затем резиденция Наполеона I и французских королей. Сгорел в 1871 г.

Уде, Жак-Жозеф (1773—1809) — участник революционных войн. Был противником переворота 18 брюмера; видный член тайного республиканского общества филадельфийцев. Привлекался по делу Моро. Убит при Ваграме.

Удино, Виктор (1791—1863) — генерал, сын наполеоновского маршала. При завоевании Алжира проявил чрезвычайную жестокость. В 1849 г. командовал французским корпусом, раздавившим Римскую республику (см.).

Уилберфорс (1759—1833) — английский общественный деятель, в течение многих лет боровшийся в парламенте за запрещение торговли неграми.

Ультрамонтаны — крайнее направление в клерикализме, выступавшее за полное преобладание католической церкви и папы как в духовных, так и в светских делах.

Урбан VIII — римский папа (1623—1644). В союзе с Францией боролся против Испании и австрийских Габсбургов. Предал суду Галилея (см.) и проклял его научную систему.

«*Утопия*» — произведение Томаса Мора (см.), в котором рассказывается о вымышленном острове с идеальным общественным строем; в переносном смысле слова — несбыточное.

Фавр, Жюль (1809—1880) — буржуазный республиканец; во время революции 1848 г. — депутат Учредительного и Законодательного собраний; противник бонапартизма; с 4 сентября 1870 г. — министр иностранных дел правительства Национальной обороны; противник Парижской Коммуны. Заключил позорный мир с Германией.

Фаллу, Альфред-Фредерик (1811—1886) — крупный помещик; лидер клерикалов. Будучи министром просвещения, в 1850 г. провел реакционный закон, поставивший народное образование под контроль церкви.

Фампу — железнодорожная станция на севере Франции, где 8 мая 1846 г. произошла крупная катастрофа с человеческими жертвами.

Фариначчи, Паоло (1522—1606) — итальянский живописец и гравер, работавший главным образом в Вероне.

Фельянтины (фельянтинцы) — монашеский орден, уничтоженный во время революции XVIII в. В здании фельянтинского монастыря с 1791 г. заседал политический клуб фельянов (фейянов) — сторонников конституционной монархии. В этом доме прошло детство Гюго.

Фенелон (1651—1715) — писатель, один из ранних предшественников просветителей XVIII в.

Феокрит (III в. до н. э.) — греческий поэт-лирик, писавший пастушеские, идиллические стихотворные сценки из сельской и городской жизни.

Фердинанд I — король неаполитанский (1759—1825). Зверски расправлялся с революционными выступлениями (в годы французской революции и в 1821—1822 гг.).

Фердинанд II — король неаполитанский (1830—1859). Был прозван «король-бомба» за варварский артиллерийский обстрел восставшего города Мессины (Сицилия).

Фердинанд VII — король Испании (1808 и 1814—1833). Отменил либеральную конституцию 1812 г., установил жестокий абсолютистский режим в стране, восстановил инквизицию.

Ферре, Шарль-Теофиль (1845—1871) — член Парижской Коммуны, помощник прокурора Коммуны. Расстрелян версальцами.

Ферула (лат.) — в средневековой школе линейка, которой били по рукам провинившихся учеников; в переносном смысле — гнетущая опека, надзор.

Феспис (VI в. до н. э.) — греческий поэт.

Фидий (V в. до н. э.) — великий греческий скульптор.

Филадельфийцы — тайное республиканское общество во французской армии в начале XIX в. Возникло после 18 брюмера; во главе общества стоял Уде (см.).

Филанджери, Карло (1784—1867) — неаполитанский генерал, зверски подавивший революцию 1848—1849 гг. в Сицилии; с 1859 г. — премьер-министр.

Филипп II Август — король Франции (1180—1223). Опираясь в своей борьбе против крупных феодалов на города, мелких и средних феодалов, укрепил королевскую власть.

Филипп IV — испанский король (1621—1665), в царствование которого Испания была ослаблена и потеряла международный престиж.

Фиц-Джемс, Эдуард (1776—1838) — ярый легитимист.

Флери, Эмиль (1815—1884) — генерал, приближенный Наполеона III; в последние годы Второй империи — посол в России.

Флокон, Фердинанд (1800—1866) — буржуазный публицист и политический деятель. После переворота 2 декабря 1851 г. эмигрировал.

Флореаль — восьмой месяц революционного календаря (20 апреля — 19 мая), символ весны.

Флориан, Жан-Пьер (1755—1794) — писатель-баснописец.

Флуранс, Гюстав (1838—1871) — революционер, ученый-естественник, видный член Парижской Коммуны 1871 г. В апреле 1871 г. попал в плен к версальцам и был ими убит.

Фокион (400—317 до н. э.) — выдающийся афинский полководец, казненный по ложному обвинению в измене.

Фокс, Чарлз Джемс (1749—1806) — английский политический деятель, виг, блестящий оратор. Боролся за примирение с американскими колониями. Сочувствовал революционной Франции.

Фонтан, Луи (1757—1821) — писатель-монархист.

Фонтенуа — деревня в Бельгии, у которой в 1745 г. французы разбили англичан, австрийцев и голландцев.

Фонтенебло — пригород Парижа и местопребывание (1808—1814) папы Пия VII, после лишения его светской власти.

Фоше, Леон (1803—1854) — буржуазный экономист и крупнейший предприниматель; в 1849 г. — министр внутренних дел, преследовавший демократические организации.

Фоше, Константин и Сезар (1759—1815) — братья-близнецы, генералы, участники революционных и наполеоновских войн. Расстреляны после реставрации Бурбонов 27 сентября 1815 г.

Франсе, Антуан (1756—1836) — публицист и государственный деятель времен Директории, Первой империи и Реставрации.

Франциск I — король Франции (1515—1547), при котором начал складываться абсолютизм. Возглавлял грабительские походы в Италию.

Франциск I — король неаполитанский (1825—1830).

Франциск II — король Франции (1559—1560). Был игрушкой в руках католической партии во время религиозных войн.

Франциск II — последний неаполитанский король (1859—1860).

Фредерик-Леметр (1800—1876) — сценический псевдоним крупнейшего французского актера-трагика.

Фрерон, Луи-Станислав (1765—1802) — участник буржуазной революции; один из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора и руководителей термидорианского Конвента и Директории.

Фридрих II, курфюрст Гессенский (1760—1785). Приобрел печальную известность продажей нескольких десятков тысяч своих подданных крестьян английскому правительству для борьбы против восставших американских колоний Англии.

Фруктидор — последний месяц революционного календаря — «месяц плодов» (17 августа — 16 сентября). Гюго обычно имеет в виду 18 фруктидора (см.).

Фульд, Ашиль (1800—1867) — крупный банкир; бонапартист; после избрания Луи-Наполеона президентом — министр финансов, финансировал переворот 2 декабря 1851 г.

Фуше, Жозеф (1759—1820) — якобинец во время революции, активный участник контрреволюционного переворота 9 термидора; министр полиции Директории, Наполеона I и Людовика XVIII; беспринципный и ловкий интриган и карьерист, предававший поочередно все режимы, которым он служил.

Фуэро-Хусго — испанский судебник, изданный в первой половине XIII в и бывший для своего времени прогрессивным.

Харперс-Ферри — населенный пункт в Виргинии (США), где находился арсенал, который пытался захватить Джон Браун (см.).

Хедив — титул наследственного правителя Египта с 1866 по 1914 г.

Хемпден, Джон (ок. 1594—1643) — английский политический деятель, один из лидеров оппозиции перед революцией; член Долгого парламента. Убит во время гражданской войны.

Хилл Роуленд (1795—1879) — английский государственный деятель, который ввел в 1838 г. почтовые марки для писем.

Хлодвиг — франкский король (481—511), объединивший почти всю Галлию под властью франков.

Хуарес, Бенито-Пабло (1806—1872) — президент республики Мексики (1858—1872). Возглавил победоносную борьбу против англо-франко-испанской интервенции и марионеточной Мексиканской империи (1861—1867).

Чекки (точнее *Чекко*), *Анджольери* (XIII — нач. XIV в.) — итальянский лирический поэт. Вначале был близок к Данте, но затем разошелся с ним.

Чернуски, Энрико (1821—1896) — гарибальдиец, участник борьбы за объединение Италии. Эмигрировав во Францию, занялся финансовой и промышленной деятельностью. Завещал городу Парижу музей японских и китайских предметов искусства.

Шангарнье, Николя (1793—1877) — генерал, монархист-орлеанист, выдвинулся при завоевании Алжира. После февральской революции командовал войсками парижского гарнизона; подавлял революционные выступления; пытался играть роль диктатора, что привело к конфликту с Луи-Наполеоном. После переворота 2 декабря 1851 г. — выслан.

Шарле — противник бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г. Был арестован при попытке перейти границу и казнен в июне 1852 г.

Шаррас, Жан (1810—1865) — генерал; буржуазный республиканец; участник революций 1830 и 1848 гг. Подавлял июньское восстание парижских рабочих. После 2 декабря 1851 г. был арестован и выслан из Франции. Умер в эмиграции.

Шаспо, Антуан (1833—1905) — рабочий, изобретатель нарезного ружья (1866), названного его именем.

Шатобриан, Франсуа-Рене (1768—1848) — писатель, глава реакционного романтизма в литературе; ярый монархист-легитимист, противник Наполеона I.

Шварценберг, Феликс (1800—1852) — австрийский государственный деятель и дипломат. Возглавлял правительство, удушившее революции в Италии и Венгрии в 1848—1849 гг.

Шевалье, Мишель (1806—1879) — экономист, сторонник свободы торговли.

Шельшер, Виктор (1804—1893) — левый республиканец; депутат Учредительного собрания 1848 г., в котором энергично выступал

против рабства в колониях. Активно сопротивлялся перевороту 2 декабря 1851 г. и был изгнан из Франции.

Шенье, Андре (1762—1794) — поэт и публицист, противник якобинской диктатуры. Казнен во время террора.

Шеридан, Ричард (1751—1816) — английский писатель и политический деятель либерального направления; талантливый парламентский оратор.

Шиндеханнес (Ян Буклер) — глава шайки бандитов, терроризировавших Рейнскую область в 1803 г.

Шоде, Гюстав (1817—1871) — адвокат; реакционный политический деятель. Расстрелян в числе заложников во время Парижской Коммуны 1871 г.

Шпильберг — крепость близ Брно (Моравия); с XVII по XIX в. — тюрьма для политических преступников.

Эбер, Жак-Рене (1757—1794) — участник буржуазной революции, левый якобинец; издатель популярной в народе газеты «Отец Дюшен». Выступил против политики Робеспьера и был казнен.

Эвпол (446—411 до н. э.) — афинский поэт, комедиограф, участник Пелопоннесской войны.

Эгерия (мифол.) — богиня, научившая Нуму Помпилия священным обрядам.

Эгист (мифол.) — возлюбленный жены Агамемнона Клитемнестры, убитый ее сыном Орестом.

Эдзелино III Падуанский — правитель нескольких итальянских государств в XIII в. Отличался чудовищной жестокостью.

Экушар-Лебрен, Понс (1729—1807) — поэт, автор многочисленных эпиграмм.

Эльгин, Джемс Брюс (1811—1863) — английский государственный деятель; с 1862 г. — вице-король Индии. В 1860 г. приказал уничтожить Летний дворец китайских императоров.

Энгиенский, герцог (Луи де Бурбон Конде) (1772—1804) — принц из династии Бурбонов. В 1804 г. был схвачен французской полицией, привезен во Францию и расстрелян в Венсенском замке близ Парижа по ложному обвинению в заговоре против Наполеона I.

«Энциклопедия» — Гюго имеет в виду французскую «Энциклопедию наук, искусств и ремесел», издававшуюся Дидро (1751—1780), вокруг которой объединились передовые французские мыслители, выступавшие против абсолютизма, средневековой схоластики и католической церкви. Энциклопедисты сыграли большую роль в идеологической подготовке революции.

Эпиктет (I в. н. э.) — римский философ, один из предшественников позднего стоицизма.

Эрдан, Александр-Андре (1826—1878) — литератор, журналист, враг клерикализма; сотрудник газеты «Эвенман», близкой Гюго.

Эскобар-и-Мендоса, Антонио (1589—1669) — испанский иезуит. В своих сочинениях оправдывал любые средства, даже самые преступные, если они ведут к достижению цели.

Эспинас, Эспри (1815—1859) — генерал; активный участник переворота 2 декабря 1851 г.; при Второй империи — адъютант Наполеона III и министр внутренних дел.

Этцель, Пьер-Жан (1814—1886) — литератор, издатель и политический деятель; друг семьи Гюго и издатель его сочинений.

Ювенал, Децим Юний (I в.) — крупный римский поэт и сатирик.

Яникул — возвышенность на берегу Тибра, район Рима.

Янычары — привилегированная гвардия турецких султанов.

СОДЕРЖАНИЕ

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

ВИКТОРА ГЮГО В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 1

Виктор Гюго — великий французский писатель. <i>Вступительная статья В. Н. Николаева</i>	5
Бюг-Жаргаль <i>Перевод Е. Шишмаревой</i>	35
Последний день приговоренного к смерти. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	195
Клод Ге <i>Перевод А. Толстой</i>	295
Стихотворения	
Из книги «Оды и баллады»	325
Из книги «Восточные мотивы»	365
Из книги «Осенние листья»	427
Из книги «Песни сумерек»	466
Из книги «Внутренние голоса»	508
Из книги «Лучи и тени»	534
Приложения	561
Комментарии	567

ТОМ 2

Собор Парижской богородицы. <i>Перевод Н. Коган</i>	7
Приложения	521
Комментарии	529

ТОМ 3

Марьон Делорм. <i>Перевод Анны Ахматовой</i>	5
Эрнани. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	167

Король забавляется. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	315
Лукреция Борджа. <i>Перевод А. В. Федорова</i>	457
Комментарии <i>С. Брахман</i>	529

ТОМ 4

Мария Тюдор. <i>Перевод М. Замаховской</i>	5
Анджело, тиран Падуанский. <i>Перевод М. Лозинского</i>	89
Рюи Блаз. <i>Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник</i>	163
Торквемада. <i>Перевод Леонида Мартынова</i>	317
Комментарии <i>С. Брахман</i>	441

ТОМ 5

Наполеон Малый. <i>Перевод М. П. Богословской и С. П. Боброва</i>	7
История одного преступления. <i>Перевод А. Н. Тетеревниковой и А. С. Кулишер</i>	223
Приложение	645
Комментарии	
Памфлеты В. Гюго — «Наполеон Малый», «История одного преступления». <i>А. И. Молок</i>	665
Примечания <i>Д. П. Прицкера</i>	675
Именной указатель	689

ТОМ 6

Отверженные	
Часть первая. Фантина. <i>Перевод Д. Г. Лившиц</i>	7
Часть вторая. Козетта. <i>Перевод Н. А. Коган</i>	349
Комментарии <i>С. Брахман</i>	645

ТОМ 7

Отверженные	
Часть третья. Мариус. <i>Перевод Н. Д. Эфрос</i>	7
Часть четвертая. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени. <i>Перевод К. Г. Локса</i>	279
Комментарии <i>С. Брахман</i>	649

ТОМ 8

Отверженные	
Часть пятая. Жан Вальжан. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i>	7
Приложение. <i>Перевод С. Рошаль</i>	319
Комментарии <i>С. Брахман</i>	325

ТОМ 9

Труженики моря. <i>Перевод А. А. Худадовой</i>	11
Комментарии	
«Труженики моря». <i>М. Трескунов</i>	449
Примечания <i>С. Брахман</i>	455
Объяснение морских терминов	469

ТОМ 10

Человек, который смеется. <i>Перевод Б. Лившица</i>	9
Комментарии	
«Человек, который смеется». <i>М. Трескунов</i>	645
Примечания <i>А. Андрес</i>	656

ТОМ 11

Девяносто третий год. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i>	7
Комментарии <i>А. И. Молока</i>	393

ТОМ 12

Стихотворения	
«Возмездие»	7
Из книги «Созерцания»	281
Из книги «Песни улиц и лесов»	413
Комментарии <i>Д. Прицкера, М. Трескунова</i>	507
Словарь собственных имен, географических названий и специальных терминов. <i>Д. Прицкер</i>	531

ТОМ 13

Редактор тома проф. А. А. Смирнов

Стихотворения	
Из книги «Грозный год»	7
Из книги «Искусство быть дедом»	143
Папа. <i>Перевод Леонида Мартынова</i>	173
Из книги «Четыре ветра духа»	221
«Революция». <i>Перевод Г. Шенгели</i>	263
Из книги «Легенда веков»	301
Из книги «Все струны лиры»	459
Из книги «Мрачные годы»	581
Из книги «Последний сон»	567
Комментарии <i>Д. Прицкера, Н. Таманцева, М. Трескунова</i>	591
Словарь собственных имен и специальных терминов. <i>Д. Прицкер, Н. Таманцев</i>	624

ТОМ 14

Из «Дневника юного якобита 1819 года». Мысли, соображения и заметки о прочитанном	5
Предисловия к различным изданиям сборника «Оды и баллады». <i>Перевод С. Брахман</i>	26
Статьи о литературе 1823—1824 годов	46
Предисловие к «Кромвелю» <i>Перевод Б. Реизова</i>	74
Предисловие к сборнику «Восточные мотивы». <i>Перевод С. Брахман</i>	132
Из «Дневника революционера 1830 года». Мысли и взгляды. <i>Перевод Г. Ермаковой</i>	137
Статьи и предисловия 1831—1840 годов	155
Из книги «Рейн». Письма к другу	177
Из книги «Что я видел»	259
Из трактата «Вильям Шекспир». <i>Перевод А. Тетеревниковой</i>	258
Париж. <i>Перевод Ю. Красовского</i>	402
Избранные письма	457
Комментарии	
Статьи, очерки и письма Виктора Гюго. <i>М. Трескунов</i>	645
Примечания <i>Л. Бланк, Ю. Красовского</i>	680
Словарь собственных имен, географических названий и специальных терминов. <i>Л. Бланк, Ю. Красовский</i>	714

ТОМ 15

Дела и речи	
Из книги «До изгнания»	9
Из книги «Во время изгнания»	237
Из книги «После изгнания»	463
Комментарии	
Публицистические произведения Виктора Гюго. <i>М. Трескунов</i>	689
Примечания <i>М. Рабинович</i>	710
Словарь собственных имен, географических названий и специальных терминов. <i>М. Рабинович</i>	773

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЛА И РЕЧИ

ИЗ КНИГИ «ДО ИЗГНАНИЯ»

Речь при вступлении во Французскую Академию. <i>Перевод Е. Канторовича</i>	9
Семейство Бонапартов. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	34
Обращения к избирателям (1848)	
Письмо избирателям. <i>Перевод С. Емельяникова</i>	40
Посадка дерева свободы на Вогезской площади. <i>Перевод С. Емельяникова</i>	41
Речи в Учредительном собрании (1848—1849)	
Национальные мастерские. <i>Перевод Т. Ивановой</i>	43
За свободу печати и против ареста писателей. <i>Перевод Т. Ивановой</i>	52
Осадное положение. <i>Перевод Т. Ивановой</i>	56
Смертная казнь. <i>Перевод Т. Ивановой</i>	59
Роспуск Собрания. <i>Перевод Т. Ивановой</i>	60
Речи в Законодательном собрании (1849—1851)	
Нищета. <i>Перевод Е. Максимовой</i>	67
Римская экспедиция. <i>Перевод А. Кулишер</i>	77
Ответ Монталамберу. <i>Перевод А. Кулишер</i>	90
Свобода преподавания. <i>Перевод А. Кулишер</i>	90
Ссылка. <i>Перевод А. Кулишер</i>	105
Всеобщее избирательное право. <i>Перевод В. Шора</i>	122
Реплика Монталамберу. <i>Перевод В. Шора</i>	138
Свобода печати. <i>Перевод В. Шора</i>	142
Пересмотр конституции. <i>Перевод В. Шора</i>	166

Речи на конгрессе мира в Париже (1849)

Речь при открытии конгресса. <i>Перевод А. Кулишер</i>	206
Речь при закрытии конгресса. <i>Перевод А. Кулишер</i>	214
Речь на похоронах Бальзака. <i>Перевод А. Кулишер</i>	218
Речь на процессе Шарля Гюго. <i>Перевод С. Емельяникова</i>	221
Воззвания 2 декабря 1851 года	

К народу. <i>Перевод А. Тетеревниковой</i>	232
К армии. <i>Перевод А. Тетеревниковой</i> *	232

ИЗ КНИГИ «ВО ВРЕМЯ ИЗГНАНИЯ»

Что такое изгнание. <i>Перевод А. Энгельке</i>	237
1852	
Декларация по поводу установления империи. <i>Перевод А. Кулишер</i>	268
1853	
Двадцать третья годовщина польской революции. <i>Перевод Л. Щетининой</i> *	271
1854	
Письмо лорду Пальмерстону. <i>Перевод А. Тетеревниковой</i>	276
Шестая годовщина 24 февраля 1848 года. <i>Перевод А. Кулишер</i>	286
Речь на могиле Феликса Бони. <i>Перевод А. Кулишер</i>	291
Восточная война. <i>Перевод А. Кулишер</i>	299
Предупреждение Луи Бонапарту. <i>Перевод А. Кулишер</i> *	309
1855	
Седьмая годовщина 24 февраля 1848 года. <i>Перевод А. Кулишер</i>	310
Письмо Луи Бонапарту. <i>Перевод А. Кулишер</i>	323
Декларация по поводу высылки с острова Джерси. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	332
К англичанам. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	334
1856	
Италии. <i>Перевод А. Тетеревниковой</i>	336
Письмо А. Ригопулосу. <i>Перевод А. Кулишер</i>	340
1859	
Декларация по поводу амнистии. <i>Перевод А. Анекштейна</i>	341
Джон Браун. <i>Перевод А. Кулишер</i>	341
1860	
Гарибальди. <i>Перевод А. Кулишер</i>	345

Возвращение на Джерси. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	353
Негры и Джон Браун. <i>Перевод Н. Надеждиной</i>	358

1861

Военная экспедиция в Китай. <i>Перевод Т. Хмельницкой</i>	360
---	-----

1862

Осужденные из Шарлеруа. <i>Перевод Л. Щетининой</i>	363
Арману Барбесу. <i>Перевод Н. Надеждиной</i>	366
Речь на банкете в связи с выходом в свет «Отверженных».	
<i>Перевод Д. Лившиц</i>	367
Женева и смертная казнь. <i>Перевод Л. Щетининой</i>	372
Дело Дуаз. <i>Перевод Л. Щетининой</i>	385

1863

К русской армии. <i>Перевод А. Энгельке</i>	387
Письмо Гарибальди. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	388
Война в Мексике. <i>Перевод А. Кулишер</i>	388

1864

Трехсотлетие со дня рождения Шекспира. <i>Перевод</i>	
<i>Д. Лившиц</i>	390
Улицы и дома старого Блуа. <i>Перевод А. Энгельке</i>	392

1865

К шестисотлетию со дня рождения Данте. <i>Перевод</i>	
<i>А. Кулишер</i>	397

1866

Крит. <i>Перевод А. Кулишер</i>	401
---	-----

1867

Ответ народу Крита. <i>Перевод А. Кулишер</i>	404
Фении. <i>Перевод А. Анекштейна</i>	407
Президенту Мексиканской республики. <i>Перевод А. Анекштейна</i>	410
Памятник Вольтеру. <i>Перевод А. Энгельке</i>	413
Медаль в честь Джона Брауна. <i>Перевод А. Энгельке</i>	414
Ответ молодым поэтам. <i>Перевод Д. Лившиц</i>	414

1868

Манин. <i>Перевод Д. Лившиц</i>	417
Гюстав Флуранс. <i>Перевод Д. Лившиц</i>	418
Два письма Испании	
I. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	420
II. <i>Перевод А. Энгельке</i>	423

Редакторам-основателям газеты «Раппель». Перевод Н. Надеждиной	427
Конгресс мира в Лозанне	
I. Письмо друзьям мира. Перевод А. Кулишер . . .	433
II Речь при открытии конгресса Перевод А. Кулишер . . .	435
III. Речь при закрытии конгресса Перевод А. Кулишер . . .	436
Ответ Феликсу Пиа Перевод Д. Прицкера	439
Октябрьский кризис 1869 года. Перевод Д. Прицкера . . .	440
Шарлю Гюго. Перевод Д. Лившиц	441

О Кубе	
I К женщинам Кубы. Перевод А. Тетеревниковой . . .	446
II Декларация. Перевод А. Тетеревниковой	448
Речь на похоронах Эннета де Кеслера. Перевод А. Энгельке	450
Морякам Ламанша. Перевод Д. Лившиц	452
Труд в Америке. Перевод А. Энгельке	455
Плебисцит. Перевод Д. Лившиц	456

ИЗ ГИНИ «ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ»

Париж и Рим Перевод Я. Лесюка	463
Париж (сентябрь — октябрь 1870)	
Возвращение в Париж Перевод Я. Лесюка	492
Воззвание к немцам. Перевод Я. Лесюка	493
Воззвание к французам Перевод Я. Лесюка	498
Воззвание к парижанам. Перевод Я. Лесюка	502
Бордо (февраль — март 1871)	
Прибытие в Бордо. Перевод Я. Лесюка	507
За войну в настоящем и за мир в будущем. Перевод Я. Лесюка	507
Отставка депутатов Эльзаса и Лотарингии. Перевод Н. Надеждиной	514
Вопрос о Париже. Перевод Я. Лесюка	520
Отказ от депутатского мандата. Перевод Я. Лесюка . . .	525
Брюссель (апрель — июль 1871)	
Письмо Полю Мерису и Огюсту Вакери. Перевод Д. Прицкера	532
Бельгийский инцидент Перевод М. Дмитриевой	542
Заключение. Перевод Д. Прицкера	549

Париж (октябрь — декабрь 1871)

Редакторам газеты «Раппель». <i>Перевод Д. Прицкера</i>	551
Леону Биго, защитнику Марото. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	559
Роберу Гийенну, главному редактору газеты «Демокраси дю Миди». <i>Перевод Д. Прицкера</i>	566

1872

К народу Парижа. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	568
Александр Дюма-отец. <i>Перевод Д. Лившиц</i>	569
Редакторам газеты «Ренессанс». <i>Перевод Д. Прицкера</i>	571
Ответ римлянам. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	573
Социальные проблемы. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	574
Годовщина республики. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	578
Будущее Европы. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	580

1873

Ответ на предложение вернуться в Собрание. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	583
Анри Рошфор. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	584
Гражданам Триеста. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	585

1874

Пятистолетие со дня смерти Петрарки. <i>Перевод Д. Приц- кера</i>	587
Вместо вопроса о мире — вопрос о войне. <i>Перевод И. Шрайбера</i>	589

1875

В защиту солдата. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	593
Речь на похоронах Эдгара Кине. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	596
Конгрессу мира. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	599

1876

Делегат Парижа — делегатам тридцати шести тысяч общин Франции. <i>Перевод И. Шрайбера</i>	603
Речь на похоронах Фредерик-Леметра. <i>Перевод Д. Приц- кера</i>	607
Осужденный Симбозель. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	609
Речь на похоронах Жорж Санд. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	610
Речь об амнистии в сенате. <i>Перевод И. Шрайбера</i>	612
В защиту Сербии. <i>Перевод Н. Надеждиной</i>	625
Председателю конгресса мира в Женеве. <i>Перевод Н. На- деждиной</i>	628

1877	Лионские рабочие. <i>Перевод А. Кулишер</i>	629
	Шестнадцатое мая. <i>Перевод Д. Прицкера</i>	635
	Годовщина Ментаны. <i>Перевод Н. Надеждиной</i>	654
1878	Столетие со дня смерти Вольтера. <i>Перевод А. Анекштейна</i>	655
	Епископу орлеанскому. <i>Перевод Я. Лесюка</i>	665
	Речи на международном литературном конгрессе.	
	I. Речь при открытии конгресса. <i>Перевод Я. Лесюка</i> .	666
	II. Общественное достояние с возмещением. <i>Перевод</i> <i>Я. Лесюка</i>	674
1880	Против выдачи Гартмана. <i>Перевод Д. Прицкера</i> . . .	681
	Вторая речь об амнистии. <i>Перевод А. Тетеревниковой</i> ,	681
1882	Призыв <i>Перевод под редакцией Д. Прицкера</i>	684
	Речь на банкете в честь Гризеля. <i>Перевод Н. Надеждиной</i>	685
Комментарии		
	Публицистические произведения Виктора Гюго. <i>М. Тре-</i> <i>скунов</i>	689
	Примечания. <i>М. Рабинович</i>	710
	Словарь собственных имен, географических названий и специальных терминов. <i>М. Рабинович</i>	773
	Содержание Собрания сочинений Виктора Гюго в пятна- дцати томах	817

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
В XIV ТОМЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ В. ГЮГО

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
648	17 снизу	реализм	роялизм
750	2 снизу	(1733—1856)	(1733—1817)

Редакторы
Д. Прицкер и М. Трескунов

Оформление художника
С. Пожарского

Художественный редактор А. Ермаков

Технический редактор Л. Чалова

Корректоры

А. Большаков и В. Вишняков а

*

Сдано в набор 17.X. 1956 г. Подписа-
но к печати 24.XII. 1956 г. Бумага
 $84 \times 108^{1/4} = 25,87$ печ. л. 42,43 усл. печ. л.
42,60 учетно-изд. л. Тираж 150 000 экз.
Заказ № 1683. Цена 12 р.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
„Печатный Двор“ им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.